

Н и к о
Ш т е р

ИНФОРМАЦИЯ,
ВЛАСТЬ
И ЗНАНИЕ

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2019



УДК 316.62:32

ББК 60.56

Ш 900

Штер Н.

Ш900 Информация, власть и знание / Н. Штер. – СПб.: Алетейя, 2019. – 572 с.

ISBN 978-5-907189-56-0

Взаимное влияние информации, знания, компетенций и свободы (и, следовательно, демократии) в сложно организованных современных обществах, а также изменение их взаимоотношений в эпоху модерна – одна из интереснейших тем нашего времени. Этот вопрос заслуживает постоянного систематического изучения потому, что в данном случае речь идет не о статичной, раз и навсегда зафиксированной взаимосвязи, а о динамично развивающемся взаимодействии, которое, с одной стороны, зависит от прогресса форм знания и значимых свобод, а с другой – от новых проблем демократии и стремительно растущих научных познаний.

В современных обществах неуклонно возрастает значение специального знания, в чем многие видят угрозу демократии. В чем заключается основная проблема – в том, что нам не хватает знаний, или в том, что мы знаем слишком много? Как наши знания влияют на гражданские свободы? Помогает ли знание справляться с новыми, комплексными задачами или, наоборот, мешает?

В этой книге подробно исследуется изменчивая динамика производства знания и ее влияние на условия и практики свободы, анализируется рост знания о знании и вклад постоянно развивающихся средств коммуникаций в этот процесс. Автор призывает читателей пересмотреть понимание социальной роли знания и предлагает концепцию «общества, основанного на знании», в качестве ключевого ресурса расширения свобод граждан.

УДК 316.62:32

ББК 60.56

ISBN 978-5-907189-56-0



© Н. Штер, 2019

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019

Свобода — дочь знания¹

¹ Название моего исследования возникло из вольной ассоциации на фразу Фридриха Шиллера о том, что «искусство есть дитя свободы» (из второго письма Шиллера герцогу Гольштейн–Аугсбургскому, впервые опубликовано в «Орах» в 1795 году под заголовком «Об эстетическом воспитании человека»). Шиллер, впрочем, был не единственным, кто высказывал подобные идеи в ту эпоху. Томас Джефферсон в письме к Франсуа д'Ивернпуа называет свободу «старшей дочерью науки». Маркиз де Кондорсе (Condorcet, [1796] 1996) был убежден в неделимом единстве познавательного прогресса и свободы, добродетели и признания естественных прав человека.

Введение

Прогресс и распространение знаний —
единственная гарантия свободы.

Джеймс Мэдисон (Madison, 1825)¹

Народ тем более привержен демократии,
чем более значительную роль
в общественных делах играют совместные
обсуждения, размышления, критика.

Эмиль Дюркгейм (Durkheim, [1957] 1991:128)

Взаимное влияние информации, знания и науки, с одной стороны, и свободы, а, следовательно, и демократии, с другой, в современных, высокоразвитых обществах, а также изменение их отношений — одна из увлекательнейших тем нашей эпохи. Эта проблема нуждается в систематическом изучении, причем не только потому, что в данном случае речь идет не о раз и навсегда зафиксированной, статичной взаимосвязи, а об исторической динамике отношений, зависящих, с одной стороны, от развития форм знания и релевантных свобод (какая свобода имеет значение?) и, с другой стороны, от неизвестных ранее проблем и испытаний демократии и стремительно прогрессирующих научных познаний в современных обществах.

Знание или, вернее, компетентность (knowledgeability) и в том числе связанное с ней субъективное ощущение собственных способностей и навыков может выступать в качестве ресурса сопротивления слабым обществу, в частности, государственным

¹ См. Three Letters and other Writings of James Madison 492 (J.P. Lippincott & Co. 1865; воспроизведение письма к Джорджу Томсону от 30 июня 1825 года).

учреждениям, а не только в качестве основы могущества власть имущих, как опасаются многие исследования. Тема этой книги — власть граждан в современных обществах в значении, отличном от власти избирателей, проявляющейся в электоральном поведении.

В самом общем виде представление о тематике моего исследования может дать следующий список проблем и вопросов: (1) Генеалогия отношений знания и свобод; (2) Создает ли знание гражданского общества более благоприятные условия для свободы? (3) Существуют ли проблемы и противоречия между свободой и знанием и в чем именно они состоят? (4) Какие есть объяснения демократических процессов? (5) Должно ли знание быть оперативным фактором? Или же (6) оно должно быть компетентностью в значении способности иметь собственные намерения? (7) Как выглядит социально-исторический контекст современных демократий и какую роль в нем играют знание свобода? И я еще раз кратко сформулирую основной вопрос: способствовало ли взаимодействие знания и демократического поведения бесспорному росту и утверждению либеральных политических систем в течение последних десятилетий так, чтобы можно было утверждать, что свобода — это дочь знания?

О генеалогии знания и свободы

Задаваясь вопросом о взаимодействии знания и демократии, не стоит абсолютизировать ни понятие демократии, ни понятие свободы. Ни то, ни другое не отражает некий готовый, обнаруженный исследователем объект. У нас нет оснований говорить о статичном понятии знания и демократии или, если быть более точным, о недифференцированном, внеисторическом понимании знания и демократии. Как ни парадоксально, спорность этих понятий очевидна, что, впрочем, не означает необходимости от них отказаться. Я, со своей стороны, не намерен останавливаться на анализе этой спорности с целью отражения многозначности соответствующих понятий. Разумеется, документация и обсуждение спорности понятий есть важная часть просвещения (ср. Eisenstadt, 1982), однако чтобы не стать пленником экзегезы и не ходить по кругу многозначности, необходимо преодолеть власть смыслового многообразия. Сосредоточенность коммуникации на себе самой

и на своих собственных предпосылках неминуемо заводит дискуссию в тупик (см. Luhmann, 2002: 291). Таким образом, чтобы приблизиться к цели исследования, нужно выбрать для себя одно конкретное определение неоднозначных понятий. Этому посвящена первая часть данной книги.

Очевидно, что в сравнительном соотнесении традиции и современности, равно как и в проблематике моего исследования речь идет об определенных формах знания и специфических формах демократии. Знания иерархически–феодалного мира средневековья, абсолютистского мира XVII–XVIII–го веков с характерной для него идеей прирожденного права или закрытого колониального мира XIX–го века с его непоколебимыми истинами находятся в антагонистических отношениях с демократией. Общество, не желающее перемен, не в состоянии смириться с временным, ненадежным или критическим знанием (см. также Plessner, [1924] 1985: 7–9).

Безусловно, в прошлом также имели место эпохи и исторические контексты, где конструктивная, тесная или даже прямая, но не исключаяющая критики связь между (научным) познанием, демократией и эмансипацией была частью непоколебимых убеждений и надежд населения. Так, например, гражданско–демократические движения XVIII–го века были тесно связаны со становлением современной науки. Основатели и сторонники социалистического движения, причем не только в XIX веке, были убеждены, что наука поможет рабочим в их борьбе за гуманизацию общества и духовную и материальную свободу.

Такое восприятие науки и ее демократического потенциала, по мнению Пола Фейерабенда (Feuerabend, [1978] 1980: 121), объяснялось в первую очередь ее способностью «ограничивать общественное влияние других идеологий и тем самым обеспечивать индивиду пространство для мышления». Этой положительной оценке эмансипирующей функции науки, разумеется, способствовали также и основанные на ней технические достижения и сохранившаяся и в XX веке убежденность в том, что техника освобождает человека и способствует прогрессу. Распространенные представления о демократии в связи с этим нередко опирались на теорию универсальной способности и едва ли не «естественной»

предрасположенности человека к демократическому правлению. В последнее время, хотя не только в наши дни, к взаимосвязи знания и демократии стали относиться гораздо более скептически. Научные познания, согласно этой распространенной критической оценке, были и будут инструментом патернализма и подавления.

Я в своем исследовании уделяю особое внимание взаимодействию между демократией или функционированием демократических институтов или обществ и знанием живущих в нем акторов. Действительно ли источник свободы есть функция «покорения жизни при помощи науки», как в гораздо более позитивном ключе констатирует Макс Вебер (Weber [1904] 1980: 64)? Можем ли мы говорить о том, что демократия и знания, т.е. в первую очередь компетентность (knowledgeability), а также масс-медиа, транслирующие эти знания², усиливают друг друга? Поддерживают ли, в частности, современные науки демократию, а демократия — науки? Или же недавнее развитие их отношений привело к появлению противоречия между демократией и знанием? Не наблюдаем ли мы своего рода неразрывную спайку знания и власти, в частности, в свете того, что ни одно решение сегодня не принимается без учета экспертного знания, что, по сути, означает «смерть демократии»? Не подрывает ли растущая компетентность и информированность внутри гражданского общества основы демократии? Можно ли, как вопрошает Сэнфорд Лакофф, рассчитывать на то, что власть имущие разумно распорядятся полу-

² Здесь я хотел бы отослать читателю к актуальной дискуссии о будущем традиционного книгоиздательства (см. также Frank Patalong, "Wer braucht noch einen Verlag?", Spiegel Online, 20.06.2011). Так, например, Стивен Картер (Carter, 2009) опасается, что традиционному книгопечатанию в скором времени придет конец. Книги же, как подчеркивает Картер, являются «неотъемлемым условием демократии. Не грамотность, хотя грамотность, безусловно, важна, не чтение, хотя чтение прекрасно — нет, сами по себе книги, их фактическое, физическое существование на полках библиотек, магазинов и домов транслируют некий смысл. В мире, где почти все вещи кажутся эфемерными, книги подразумевают постоянство: что существуют идеи и мысли, достойные того, чтобы их запечатлели в некой физической форме, требующей затрат на производство и места для хранения. Книга, вышедшая из печати, не может быть отозвана обратно. Автор, поменявший свое мнение, не может просто взять и изъять соответствующую страницу».

ченными ими знаниями? Ведет ли «технократизация» знания к сосредоточению политической власти в руках немногих и прежде всего представителей исполнительной власти и в результате — к политической апатии и самоустранению от участия в политическом процессе больших групп населения (Eisenstadt, 1990: 90)? Наконец, можно ли считать тех, кто владеет знанием и контролирует его, невосприимчивыми к коррупционным соблазнам?

Знание поддерживает демократию

Что демократический режим — даже если он существует только в науке, которая, по убеждению Полани (Polanyi [1962] 2000: 15), должна быть свободна от любых форм коррупции и отвлекающих влияний — способствуют познавательному процессу, — это один из тезисов, в наименьшей степени подвергаемых сомнению в контексте нашего исследования. Но все же и его нельзя назвать абсолютно бесспорным³. Еще менее очевидным представляется допущение о том, что знание в принципе всегда усиливает свободы в обществе⁴.

Это касается даже тех, кто убежден, что знание должно усиливать свободы. В ходе исторического развития знания и особенно научного познания освободительная функция знания постепенно ослабевает. Это происходит, в частности, оттого, что процесс принятия политических решений все теснее связан со специальным научным знанием, что отрицательно сказывается на способности многих людей эффективно влиять на решения политических институтов.

³ Так, в описании характеристик «республики науки» у самого Майкла Полани (Polanyi, [1962] 2000) присутствуют выраженные авторитарные и элитарные черты социальной организации научного процесса, без которых невозможна научная креативность и научный прогресс (см. об этом: Jarvie, 2001).

⁴ В своей работе «Республика науки» (Polanyi, [1962] 2000: 14), где он в целом положительно оценивает свободу науки, Майкл Полани обращает внимание на один факт, который для него является самоочевидным: «На протяжении по меньшей мере трех столетий научный прогресс все сильнее определял взгляд человека на Вселенную и кардинально изменил (в лучшую или худшую сторону) общепринятое значение человеческой жизни. Его теоретическое и философское влияние было огромным».

К вопросу о взаимосвязи знания и демократии, безусловно, относится вопрос о точном или изменчивом выражении этой взаимосвязи, если она все же существует: способствует ли рост научных знаний среди населения утверждению демократических институтов и установок, как подчеркивал, в частности, Джон Дьюи в 1930–е годы (Dewey, [1938] 1955), а демократическое окружение поддерживает свободную от догм научную практику, как в 1940–е годы, продолжая идеи Дэвида Юма⁵, писал об этом Роберт К. Мертон (Merton, [1938] 1973) в связи с проблемой власти в тоталитарных обществах? Или же в данном случае мы имеем дело с взаимным влиянием?⁶ Оказывает ли знание «демократизирующее» воздействие, или же демократические процессы принятия решений выигрывают от недостаточной информированности акторов (ср. Couzin et al., 2011)? Мы то и дело слышим сетования на невежество избирателей и манипуляции со стороны политических институтов, однако, по сравнению со всеми прошлыми периодами, сегодня мы наблюдаем беспрецедентную

⁵ Дэвид Юм (Hume, [1977] 1985: 118) не оставляет никаких сомнений в том, какого рода «причинно–следственные» связи, по его мнению, существуют между знанием и демократией: «Искусства и науки не могут первоначально возникать среди какого–либо народа, если этот народ не пользуется благами свободной системы правления. <...> Деспотизм <...> навсегда ставит преграду всем усовершенствованиям и удерживает людей от стремления к знаниям». Дэниел Лернер (Lerner, 1959: 23) в своих рассуждениях о будущем (социальных) наук в современном мире, в отличие от Юма, высказывает скептическую гипотезу: «На протяжении жизни последнего поколения социальные науки подвергались массовой атаке со стороны новых форм деспотизма, появившихся в XX веке. В своем контрастном противопоставлении на либертарианские основы современной демократии фашистские, националистические и коммунистические режимы официально объявили социальные науки в то виде, в каком мы их знаем, вне закона и деформировали их интеллектуально».

⁶ Осуществляется ли в демократических обществах демократический контроль за наукой и научной политикой? Как выглядит этот контроль? В этой связи я должен буду обратиться к теме демократизации процесса познания (Feuerabend, [1975] 2006), демократизации знания (см., например Neurath, [1945] 1996: 255), а также сциентификации политики (см., например Mannheim, 1929; Bell, 1960) и представлений о себе самом и о мире у современного человека (см., например Polanyi, 1992: 67; Thorpe, 2009).

информированность большей части населения в том, что касается государственного правления (Aron, [1965] 1984: 115)⁷.

Среди авторов, занимавшихся непосредственно данной тематикой и высказавших однозначное мнение на этот счет, необходимо назвать и Роберта Куна (Kuhn, 2003):

«Как правило, в качестве причины расходования бюджетных денег на большие и малые исследовательские проекты утверждается, что они могут продлить нашу жизнь и сделать ее более здоровой, безопасной, счастливой, продуктивной и приятной. О том, что наука, даже если речь идет о "чистой" науке, может укрепить демократию и обеспечить участие населения в политическом процессе как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, обычно не упоминают, хотя помнить об этом следует. Научные знания заряжают демократию энергией, <...> и в этом заключается важное дополнительное преимущество от прогресса науки».

Проблемы и противоречия между демократией и свободой

Вопрос о совместимости свободы и равенства — одна из главных тем теории либерализма (ср., например Rawls, [1971] 1991; Dworkin, [2002]; Eisenstadt, 1982). Можно ли исходить из того, что это касается и отношений между демократией и знанием, по аналогии с позицией Макса Хоркхаймера⁸, который, в отличие от

⁷ Отто Нейрат (Otto Neurath, [1945] 1996) в неопубликованном трактате под названием «Визуальное образование: гуманизация vs. популяризация» определяет знание как более или менее связанные между собой эмпирические высказывания и аргументы. Соответственно, передача знаний — это передача высказываний и аргументов. По мере того как этот процесс становится всеобщим, т.е. охватывает все общество, происходит демократизация знания. А поскольку каждый гражданин прямо или косвенно вовлечен в процесс принятия общих решений, то повсеместное распространение знаний, добавляет Нейрат, имеет решающее значение для «бесперебойного» функционирования демократии.

⁸ Например, в «Критике Готской программы Немецкой рабочей партии». В работах Джона Стюарта Милля, в наблюдениях Алексиса де Токвиля и в их дискуссиях с другими публицистами также встречаются схожие рассуждения о *неполной* совместимости равенства и свободы; так, например, Токвиль в своей книге «Старый порядок и революция» (Tocqueville, [1856]

Карла Маркса, настаивал на том, что справедливость и свобода ни в коей мере не усиливают друг друга? Серьезные предостережения о существенном сокращении возможностей участия граждан в политическом процессе и усилении роли экспертов и их знания, безусловно, свидетельствуют о вероятности того, что знания и демократия несовместимы друг с другом. Еще в большей степени это относится к тем теоретикам общества, которые в 1960–1970-х годах выступили с тезисом о нерасторжимой связи власти и знания. Монополизация знания властью имущими лежит в основе сохранения их власти и подавления тех, кто этой власти лишен⁹. Представляет ли тогда прогресс научного знания и прежде всего стремительный рост и трансформация знаний, вызванные усилением специализации научной практики, угрозу для демократии?

Является ли причиной диагностируемого многими исследователями «кризиса» или «выхолащивании демократии»¹⁰, наряду с усиливающейся глобализацией и интернализацией политиче-

1998: 280–281) пишет о Канаде: «Но в Канаде, по крайней мере, пока она остается под властью Франции, равенство соединяется с неограниченной властью», а Миллс высказывает схожие идеи в своей рецензии на «Демократию в Америке» де Токвиля в «*London Review*» (Mills, 1835). В отличие от этих тезисов о несовместимости свободы и равенства, Исайя Берлин (Berlin, 1949/1950: 378) называет «новый курс» Рузвельта в США «величайшим либеральным проектом» и «самым конструктивным компромиссом между индивидуальной свободой и экономической безопасностью, какой имел место в нашу эпоху». В целом же Берлин (см. Berlin, [1998] 2002: 22) соглашается с тезисом о принципиальной несовместимости равенства и свободы (см. также дискуссию о том, как соотносятся между собой благосостояние, действие и свобода в «Лекциях о Дьюи» Амартии Сена (Sen, 1985: 177–181).

⁹ Тони Джадт (Judt, 2005: 479) так конкретизирует вывод известных обществоведов этого периода: власть в обществе опирается уже не доминировавшую прежде теоретическую посылку о контроле над природными ресурсами и человеческим капиталом со стороны власти имущих, а на монополию на знание и именно на естественные науки и знания об общественности, жизненном мире и субъективных идентичностях, но прежде всего на знание о процессе производства знаний.

¹⁰ Кляйн и Хайтмайер (Klein, Neitmeier, 2011: 39) видят в выхолащивании демократии следствие «смещения контролирующей власти в сторону мирового капитала».

ских и экономических процессов, проблем и шансов, также или даже в первую очередь увеличивающийся разрыв между высоко специализированными научными познаниями и их использованием в процессе принятия политических решений, с одной стороны, и способностью среднестатистического гражданина участвовать в соответствующих специализированных дискурсах, с другой?

Угрозы для демократии, связанные с асимметричным распределением знания в современных обществах, и неравномерное разделение, еще больше усиливающееся по мере непрерывного роста знаний, кардинально изменили оптимистичные ожидания многих наблюдателей в отношении вероятности того, что растущая компетентность граждан будет способствовать укреплению демократии.

Сюда относятся, в частности, ограничения и риски, выявленные еще в начале прошлого столетия Робертом Михельсом и Максом Вебером и несколько позже — Йозефом Шумпетером и Мартином Липсетом. Макс Вебер, например, указывает на то, что причина «пацифизма социального бессилия» заключается не только в неудержимой бюрократизации современных обществ. Как ввиду «необходимости и обусловленного ею властного положения <...> государственного чиновничества», вопрошает Вебер (Weber [1918] 1980: 333), вообще возможно существование «сил, которые ограничивают господство этой непрерывно растущей по своему значению прослойки и действительно ее контролируют? Как будет вообще возможна демократия хотя бы в этом ограниченном смысле?» Политические процессы, зависящие от высокоспециализированных научных знаний, лишают граждан веры в себя и, как подчеркивает Джафранко Поджи (Poggi, 1982: 358) вынуждают их «воздерживаться от высказывания собственной позиции по политическим вопросам, если она основана исключительно на их врожденной способности морального суждения». Если противоречие между знанием, его развитием и распространением, с одной стороны, и либеральной демократией, с другой, действительно существует, то означает ли это, что оно появилось в недавнем прошлом, или же в наши дни оно лишь обострилось? Является ли дисгармоничность этих отношений следствием высокоспециализированных новейших познаний, или же причина заключается и в определенных формах прогресса современного,

практически значимого знания, в частности, в сфере биотехнологий, генетики, инструментальной диагностики и терапии в медицине или нанотехнологий?

Является ли возросшее недоверие и отказ широких слоев населения от традиционных форм активного политического участия во многих демократических странах (в частности, отказ от участия в выборах, выход из политических партий (см. Putnam, 2002: 404–416)) результатом утраты легитимности критических форм гражданства или признаком появления новых, неявных форм существования демократии (см., например: Rosanvallon, [2006] 2008: 274; Schmitter, 2010b)?¹¹

Исследователи, занимающиеся современными экологическими проблемами, как, например, проблема изменения климата, также обнаруживают новые барьеры и угрозы для демократии. В осуществляемой до сих пор политике в отношении глобального потепления они видят подтверждения того, что можно назвать «неприятной или неудобной демократией», т.е. такой демократии, которая не в состоянии адекватно и своевременно реагировать на глобальную угрозу изменения климата и реализовать на практике рекомендации ученых по решению этой проблемы¹². Сторонники тезиса о системной слабости демократии требуют едва ли не отстранения граждан от политики с тем, чтобы на проблемы, связанные с изменениями экологической ситуации, можно было реагировать без оглядки на обременительные демократические институты. Какие сферы ответственности можно выделить в данном случае, если подобные диагнозы вообще имеют под собой основание? Каковы причины того, что «наши политические системы постепенно утрачивают способность реагировать на социальные изменения и находить решения социальных и политических проблем» (Blokland, 2011: 1)?

¹¹ Подробное рассмотрение генеалогии понятия «гражданин» см. в: Dahrendorf, 1974.

¹² Всесторонний анализ того тезиса см. в экскурсе «Неудобная демократия». Стивен Х. Шнайдер (Schneider, 2009), исследователь климата, умерший в 2011 году, в своей книге «Наука как контактный спорт» формулирует данную проблематику иначе, но тоже скептически: «Способна ли демократия пережить сложность проблемы [изменения климата]?»

Конкурирующие объяснения демократических процессов

Где-то внезапный, а где-то постепенный переход к демократическим институтам, формам правления и обществам, а также их (до сих пор довольно редкое) крушение — это всегда вопрос исторической уникальности неповторимых и неординарных сил и обстоятельств, которые позволяют как непосредственным участникам, так и внешним наблюдателям этих процессов сделать вывод о самобытной комбинации характерных структурных трендов, редких событий и неординарных возможностей. В этой связи крайне сложно сделать какие-либо обобщения относительно условий, благоприятствующих или препятствующих стабильному демократическому господству¹³. Тем не менее, ученые попытались сформулировать некоторые общие выводы, которые помогли лучше понять условия возможности и хронические трудности демократии (см., например: Gleditsch, Ward, 2008).

Наиболее резко тезису о том, что свобода — дочь знания, противостоит утверждение, что катализаторы свободы — это либо рыночные процессы, либо результаты рыночной экономики. В этой связи достаточно назвать двух выдающихся экономистов прошлого столетия — Джона Мейнарда Кейнса и Йозефа Шумпетера, сформулировавших однозначный ответ на вопрос о том,

¹³ К явлениям, которые учитываются многими аналитиками процессов демократизации и которым даже приписывается важная роль в этих процессах, относятся определенные личностные характеристики, в частности, ценностные установки действующих акторов (см., например: Somer, 2011). Я в данном исследовании намерен обойтись без анализа индивидуальных, т.е. психологических свойств значимых акторов, поскольку он выходит за рамки интересующей меня тематики. Это, впрочем, не означает, что данные характеристики не могут способствовать зарождению демократических движений и сохранению демократий. Я также не рассматриваю гораздо более спорное утверждение о том, что причиной установления того или иного политического режима является неизменная территория и ее географические особенности и что на наши действия влияет не то, как мы видим эту территорию, а ее фактические материальные свойства. Географический и климатический детерминизм совершенно справедливо пользуется дурной славой в науке, но, несмотря на это, и в наши дни постоянно предпринимаются попытки его реанимировать (см., например: Kaplan, 2012).

существует ли связь между капитализмом и свободой. Для Кейнса капитализм, если говорить о размещении этой формы экономической жизни в системе значимых видов деятельности человека, не является самоцелью. Как он пишет, к примеру, в эссе «Экономические возможности наших внуков» (Keynes, 1930), капитализм «необходим для свободы, но сами по себе действия капиталистического общества не является значимой частью того, что включает в себя понятие свободы» (Backhouse, Bateman, 2009: 663).

Йозеф Шумпетер (Schumpeter, [1942] 1993: 297), напротив, настаивал на том, что «современная демократия есть побочный продукт капиталистического процесса». В наши дни этот основополагающий тезис нашел сторонника в лице еще одного знаменитого экономиста, а именно Мансура Олсона (Olson, 2000: 132). Олсон подчеркивает: «Нельзя назвать случайностью тот факт, что страны, достигшие самого высокого уровня экономического развития и пережившие долгий, на протяжении нескольких поколений, период процветания, все без исключения имеют стабильную демократическую систему правления». Разумеется, тезис о тесной взаимосвязи свободы и капитализма имеет и противников среди известных ученых, круг которых не ограничивается марксистами или сторонниками Макса Вебера (см., например: Weber, [1906] 1980). Они, в свою очередь, указывают на противоречие, существующее между капитализмом и свободой (и определенными формами равенства). Я в своей работе рассмотрю различные теоретические подходы, где делается акцент на других факторах, способствующих укреплению демократии, причем как эндогенных (таких как формальное образование, представления о ценностях, институты, масс-медиа) и экзогенных (процессы заражения, распространения и подражания).

Почему знание следует трактовать как непосредственно-оперативный фактор?

Знание я определяю как способность к действию (дееспособность), как возможность привести в движение или начать тот или иной процесс. Способность к действию (в отличие от (габитуального) поведения) обозначает не просто возможность осуществлять некие материально-физические манипуляции, например,

развести огонь, завести машину, продать акции или оказать сопротивление агрессору. «Приведение чего-либо в движение» может относиться и к способности осуществлять действия в символической сфере, например, сформулировать гипотезу, оценить «факты», классифицировать литературу по темам или же отстаивать тезис перед лицом опровергающих его «новых фактов».

Определяя знание как способность к действию я, хотя и временно, но все же оставляю в стороне вопрос об отношении знания и социального действия. На этом этапе остается неясным, каким образом производится знание, существуют ли различные формы знания и прогресс знания в долгосрочной перспективе¹⁴, как распределяется знание в обществе, как происходит переход от знания к действию и какие структуры этому способствуют, а какие — препятствуют. Именно этот статус способности или ресурса в контекстах общественного действия позволяет понять, что знание не может быть единственным оперативным фактором в формуле равенства знания и свободы. Непосредственная власть знания проявляется лишь в реализации способности к действию, а для этого, как будет показано впоследствии, необходима определенная свобода действий и/или отход от его рутинных форм. Поэтому важную роль в отношении знания и действия играет компетентность.

Компетентность

Значение знания гражданского общества для демократических форм правления, безусловно, уже оказывалось в центре эмпирических и теоретических исследований, однако, как правило, этот анализ не был исчерпывающим, и причина этого не в том, что авторы имели перед глазами другие общественные отношения, а в том, что ключевые понятия и гипотезы в рамках анализа демократии и знания обычно использовались в самом широком, неточном смысле. Это касается прежде всего смешения понятий информации и знания и знания и компетентности. Я, со своей стороны, постараюсь показать, что их строгое разделение может быть весьма полезным.

¹⁴ См. Elias, [1971] 2006: 219–256.

Компетентность обозначает комплекс социальных и когнитивных навыков и умений (способностей). Перенос акцента на компетентность обращает наше внимание не только на новую основу (интранзитивного или дистрибутивного)¹⁵ социального неравенства, понимаемого, впрочем, не в смысле строго психологических диспозиций, но и на расширение и появление новых шансов политического и общественного участия и конфликтов. Если говорить о политической сфере и политическом участии, то способности, из которых складывается компетентность, как, например, способность иметь и выражать собственное мнение¹⁶ (см. Hirschman, 1989), стимулируют интерес к политическим вопросам и способствуют большей осведомленности и способности рационально рассуждать на политические темы, самостоятельно принимать политические решения и оказывать влияние на других акторов.

Растущая способность небольших групп к самоорганизации и утрата некогда тотальной власти со стороны крупных общественных институтов — важная часть анализируемых мною изменений¹⁷. Помимо остающегося открытым вопроса о том, о каком именно знании и о какой именно демократии идет речь, ввиду неудержимой социальной трансформации современных обществ перед исследователем встают и другие сложные вопросы: является ли демократия (по-прежнему) дочерью знания? Можно ли считать уровень знаний граждан если не прямым, то, по крайней

¹⁵ См. обсуждение социальной стратификации у Дарендорфа (Dahrendorf, 1966: 3), где он различает транзитивное (выше—ниже) и интранзитивное социальное неравенство («размещение позиций в некой единой системе координат, а не расположение их друг относительно друга <...> интранзитивное неравенство описывает <...> некую дистрибутивную упорядоченность»).

¹⁶ Это описание одной из специфических способностей, из которых складывается компетентность, напоминает Оруэлловское определение свободы в неопубликованном предисловии к «Скотному двору»: «Если свобода вообще что-то значит, то она означает право говорить людям то, что они не хотят слышать».

¹⁷ Более подробно вопрос утраты власти со стороны крупных общественных институтов в современных обществах и появления новых сложностей, связанных с управлением этими обществами и организацией когерентной социальной системы, я рассматриваю в своей работе «Хрупкость современных обществ. Стагнация власти и возможности индивида» (Stehr, 2000a).

мере, косвенным путем к демократии? Обременяют ли, с другой стороны, неравномерное распределение знания и недостаток знаний со стороны общественности демократию? За этим вопросом сразу возникает следующий: какая форма демократии вообще возможна в условиях современных обществ? Или же в мире возрастающей сложности, динамичности, неустойчивости и неопределенности демократия как политическая идея в принципе устарела?

Что касается влияния знания (компетентности) на характер политического режима, то здесь имеет значение в первую очередь способность граждан ограничивать власть тех, кто стоит у кормила политической власти. Чтобы реально воздействовать на жизнь общества и эффективно влиять на политические решения, фактического участия, требующего непосредственного присутствия, недостаточно. Понятие «представительства» в концепции Ханна Питкин (Pitkin, 1967: 144) имеет более широкое значение, обозначая «присутствие чего-либо, что на самом деле отсутствует». Кроме того, компетентность повышает способность граждан к самоуправлению. Способность к самоуправлению на коллективном уровне способствует самоорганизации и благоприятствует утверждению демократии.

Социально–исторический контекст современных демократий

Для ответа на этот и другие фундаментальные вопросы о динамичном взаимодействии демократии и знания, помимо теории современных обществ, необходим также анализ актуального социально–политического состояния свободы и демократии, поскольку, с одной стороны, демократические институты постоянно меняются, а, с другой стороны, меняют социальное значение знания и уровень свободы в обществе.

Сегодня многие исследователи исходят из того, что человек в современном обществе не только сталкивается с огромным объемом знаний, но и нуждается в нем, чтобы в принципе иметь возможность жить в этом обществе. Для истории человечества характерно не только увеличение объема знания, но и изменение его форм (см. например: Elias, 1971). В доисторическом или примитивном обществе человек был уязвим, его жизни многое угрожало.

Однако то же самое можно сказать и о значительной части населения обществ с развитой, сложной социальной организацией, что не в последнюю очередь объясняется тем, что современные научные познания, в частности, о самом обществе и его природном окружении, порождают новые проблемы, требующие определенных политических действий. В то же время представители социальных наук констатируют резкое уменьшение уровня свободы в современных обществах: «В западных обществах непрерывно уменьшается уровень политической свободы граждан и сокращаются возможности влиять на развитие общества и, в более широком смысле, на собственную жизнь» (Blockland, 2011: 1).

О том, что игнорируемый многими вопрос о взаимодействии знания и демократии далек от разрешения, свидетельствуют отдельные аспекты практически – политических конфликтов недавнего прошлого, в частности, спор между штатом и городом Нью-Йорком о том, «насколько дорогим может быть знание». К этой показательной дискуссии я еще вернусь в одной из последующих глав.

Ввиду динамичности современных обществ и меняющихся отношений между демократией и знанием имеет смысл подвергнуть тщательному анализу как формы демократических обществ, так и социальную роль действующих в них компетентных акторов, объединений и движений. Наши знания о взаимодействии знания и социального контекста, а также меняющейся социальной реальности недостаточны. Как уже много лет назад писал Томас Лукман (Luckmann, [1982] 2002: 82): «Мы располагаем лишь весьма неточным представлением о том, в какой мере исторические трансформации и социальное распределение знаний являются причиной общественных перемен в целом». Это наблюдение остается верным и по сей день. Тем не менее, я надеюсь своими размышлениями внести некоторый вклад в устранение данного теоретического и эмпирического дефицита.

Я хотел бы высказать особую благодарность за критические замечания и комментарии следующим коллегам: Герберту Адаму, Мариану Адольфу, Свену Элизону, Райнеру Грундману, Рагнвальду Каллебергу, Жаклин Люс, Скотту МакНэллу, Александру Рузеру и Герману Штрассеру. Благодаря компетентной

помощи Хеллы Байстер и Вальтера Ротенбергера текст данного исследования стал более благозвучным.

В своей книге — в частности, в разделах, посвященных понятию знания, различию между знанием и информацией, рисками знания, а также возможности управлять современными обществами — я ссылаюсь на собственные работы прошлых лет, которые тесно связаны с темами данного исследования, несмотря на то, что изначально в них рассматриваются другие вопросы. В этой книге мои предыдущие разработки представлены и дополнены в свете новых идей, актуальной литературы и новейшего общественного развития.

1. Определение понятий

Большая степень гражданской свободы имеет, кажется, преимущество перед свободой духа народа, однако ставит этой последней непреодолимые преграды. Наоборот, меньшая степень гражданских свобод дает народному духу возможности развернуть все свои способности.

Иммануил Кант (Kant, 1783: 269)

Пожалуй, ни одно другое понятие не используется так часто во всех существующих языках и не обладает такой однозначно положительной коннотацией, как понятия «демократия» и «знание». Говоря более формальным языком, слово «демократия» есть типичный перформативный речевой акт, который не только обозначает, но и одновременно рекомендует данную форму правления (ср. Sartori, 1968; Andreski, 1972). Невероятная притягательность понятий «демократия» и «знания» неизбежно ведет к тому, что их используют все политические идеологии, и делают они это не с целью просвещения, а для легитимации собственной позиции (Saward, 1993: 63–64).

В то же время, пожалуй, ни один другой социальный феномен не имеет такого же значения для современного общества, как знание и демократия. Недемократические государства тоже любят украшать себя брендом демократии. Авторы одного из исследований на основании объективных критериев приходят к выводу о том, что на протяжении последних ста лет прослеживается однозначная тенденция демократизации современных обществ, и в настоящее время более половины всех существующих государств практикуют демократическую форму правления (Mansfield, Pevehouse, 2006; Sorensen, 2010: 441). И хотя предпочтение

демократических ценностей не всегда может считаться эмпирически надежным индикатором демократизации общества (ср. Teorell, Hadenius, 2006; Berg–Schlosser, 2003)¹⁸, результаты Всемирного исследования ценностей (Inglehart, 2003) показывают, что демократию поддерживает безусловное большинство жителей Земли.

Одновременно возрастает и общественная ценность научных знаний, прежде всего в связи с производственными процессами, но также в качестве двигателя общественного прогресса в целом и источника проблем, с которыми приходится сталкиваться политике и обществу. Во всяком случае, на коллективном уровне целых обществ распространение демократии совпадает с общим ростом знаний и компетентности, а также с беспрецедентным повышением жизненных стандартов значительной части населения.

Особые мотивы и ценности, на которые указывает наличие демократии и знания, а также недостатки, связанные с их отсутствием, оцениваются как едва ли не самые важные условия общественного благополучия, после базовых социально–психологических диспозиций, таких как любовь, счастье, личное достоинство (см., например: Ober, 2012) или здоровье. Это, однако, означает, что, как подчеркивал уже Иммануил Кант, между свободой и научным познанием существует сложные (взаимо)отношения, а также имеет место недостаток знаний и свободы.

С другой стороны, без этих двух понятий, несмотря на всю их спорность и неоднозначность, обойтись невозможно. Безусловно, мы не можем говорить о наличии надежных эмпирических индикаторов, свидетельствующих о компетентности граждан или о демократичности общества¹⁹. Это, впрочем, не означает, что

¹⁸ Ответ на вывод Теорелля и Хадениуса о влиянии ценностных установок на процессы демократизации см. в: Wenzel, Inglehart, 2006.

¹⁹ Дальтон, Шин и Джу (Dalton, Shin, Jou, 2007) в своей работе на основании нескольких масштабных эмпирических исследований анализируют понимание демократии в разных странах мира. Во всех этих исследованиях большинство опрошенных в качестве отличительных признаков демократии указывают свободу в целом, а также гражданские и социальные свободы. Дальтон, Шин и Джу (Dalton, Shin, Jou, 2007) приходят к выводу, что демократия не является исключительно западной идеей, понятной лишь гражданам богатых стран, а «воплощает общечеловеческие

любая попытка использовать понятия демократии и знания для изучения существующих между ними взаимосвязей изначально лишена смысла. Напротив, именно по этим причинам необходимо более точно описать данные понятия, причем не только для того, чтобы подвести солидный фундамент под соответствующее исследование ввиду многообразия существующих значений, но и для того, чтобы не потеряться в бесконечной экзегезе или генеалогии понятий и избежать ситуации, когда единственно возможный вывод заключается в том, что обе эти концепции в высшей степени спорны и неоднозначны.

Понятие «демократия» тесно связано с другим абстрактным и спорным понятием — понятием «свобода»²⁰. Однако данное понятие не всегда обозначает одно и то же состояние, а сама свобода лишь в редких случаях реализуется в полной мере. Свобода и демократия — это реляционные понятия. Поэтому демократия не может означать отсутствие любых форм власти или господства одних людей над другими или абсолютную свободу. Точно так же демократия не может означать и участие всех людей во всех политических решениях (см. Luhmann, [1986] 1987: 126–127), а демократическое господство не может ограничиваться клятвой в верности демократическим ценностям (см. Brecht, 1946: 199).

Понятия демократии и свободы указывают на определенные общественные (как правило, асимметричные) отношения между многими индивидами или социальными группами. В этом смысле оба этих понятия не обозначают персональные предпочтения, чувства или условия существования. Когда в качестве примера демократии или свободы говорят о неких индивидуальных условиях, например, утверждая, что личность свободна, если может беспрепятственно выражать свое мнения в существующем общественном контексте, то определяемая таким образом степень свободы той или иной личности есть функция изначально

ценности и принципы, понятные большинству населения земного шара» (см. также Sen, 2003).

²⁰ Я пока оставляю за рамками своего рассмотрения отстаиваемый Стюартом Миллем и Алексисом де Токвиллем тезис о том, что свобода отдельного индивида может оказаться в отношениях конфликта с демократией в значении формы государственного правления.

существующих социальных условий действия²¹, которые только и обеспечивают возможность быть свободным, подобно тому, как у человека появляется чувство свободы благодаря возможности общественно санкционированного развода в случае несчастливой семейной жизни.

Что касается понятия знания, то его реляционность не столь очевидна, поскольку, в отличие от просто мнения или веры, понятие «знание» нередко используется в значении абсолютных, т.е. верных для всех без исключения научных познаний — истинных, объективных и не зависящих от наблюдателя. Чтобы понять социальное значение знания, необходимо прежде всего сформулировать социологическое определение данного понятия. Так, например, можно различать то, что человек знает (содержание знания), и то, как он это знает (знание как процесс). Последнее предполагает некое отношение к вещам и фактам, но также к правилам, законам и программам. Знание как процесс требует той или иной формы участия, поскольку получить знания о вещах, программах, правилах, фактах — это значит в каком-то смысле «завладеть» ими, включить их в сферу личных ориентаций и опыта. Интеллектуальное овладение вещами или фактами может осуществляться напрямую или опосредованно. С тех пор как содержание знания может быть выражено в символах, в прямом контакте с предметом познания уже нет необходимости. Знание можно получить из книг (ср. Collins, 1993). Язык, письмо, книгопечатание, хранение данных и так далее — все это социально релевантные механизмы, поскольку они символически отображают знание и делают возможным его появление в другой, объективированной форме. Другими словами, возможность социального обмена и социального обращения знания зависит от разного рода носителей информации (байтов, бумаги, диаграмм, таблиц). О том, являются ли носители информации просто средством хранения знания, или их значение не ограничивается данной функцией, ученые спорят (ср. McLuhan, 1964; Edwards et al. 2011: 1401). Современные исследователи в этой области единодушны в том, что Интернет не только

²¹ См. также размышления Роберта К. Мертона (Merton, 1936: 865) о непреднамеренных последствиях намеренных действий.

определяет, что именно считается знанием, но и меняет сами знания (см. Weinberger, 2011). Ученые старшего поколения, в частности Жан–Франсуа Лиотар (Lyotard, [1979] 1984: 4) также полагали, что господство компьютерной техники решающим образом влияет на то, что общество принимает в качестве знания.

Таким образом, в том, что мы сегодня называем знанием и обучением, речь идет главным образом об установлении некоего отношения не непосредственно к фактам, правилам или вещам, а к объективированному знанию. Объективированное знание стало культурным ресурсом общества, а процесс познания — участием в распределении этого ресурса, которое, в свою очередь, зависит от стратификационных процессов. Индивидуальные возможности, стиль жизни и способность индивида оказывать влияние на развитие общества зависят от доступа к соответствующим запасам знания.

Понятия свободы и знания, как я уже подчеркивал выше, как правило, имеют положительную коннотацию, указывая на позитивные или «хорошие» характеристики и предпочтительные аспекты данных феноменов. Тем не менее, понятия свободы и знания остаются неоднозначными. Для них характерна не только «дескриптивная фрагментарность» (см. Cranston, 1971: 18), но и, как ни парадоксально, особая дискуссионность (Gallie, 1955–1956)²². Когда нам говорят, что кто–то умен или свободен,

²² Уолтер Б. Галли (Gallie, 1955–1956: 168–169) обращает внимание на то, что «мы обнаруживаем группы людей, несогласных с общепринятым использованием таких понятий, как, например, искусство, демократия или христианская традиция. Внимательно изучив различные способы употребления этих терминов и характерных аргументов, в которых они встречаются, мы довольно скоро обнаружим, что не существует четкого универсального модуса использования ни одного из них, который бы мы могли признать единственно верным или общепринятым». Даже выявив различные аспекты и функции этих понятий, мы не сможем абстрагироваться от дискуссий в отношении их значений. Споры вокруг этих терминов «не могут быть разрешены при помощи аргументов, а, наоборот, всегда будут поддерживаться благодаря самым убедительным и очевидным доказательствам. Именно это я и имею в виду, когда говорю о понятиях, которые спорны по своей сути, само употребление которых предполагает постоянные дискуссии об их корректном употреблении со стороны тех, кто их использует».

то мы по-прежнему не очень много знаем об этом человеке или об этой группе людей, если, конечно, мы не располагаем самыми общими и поэтому не очень информативными сведениям о характере и объеме их знаний. В связи с этим для меня в моем исследовании важно попытаться более точно определить понятия знания, свободы и демократии, а также их особую роль в обществе.

1.1. Знание: способность к действию?²³

Но по-настоящему мы понимаем лишь то, что могли бы сразу же осуществить, если бы у нас был необходимый для этого материал.

Иммануил Кант (Kant, Reflexion 395)

Как уже говорилось выше, я употребляю знание в конструктивистском или, если быть более точным, в социально-конструктивистском смысле. Знание я определяю как способность действовать, как дееспособность, как возможность «привести что-то в движение»²⁴. «Приведение чего-либо в движение» вполне может относиться к способности осуществлять символическую деятельность — например, сформулировать гипотезу, найти новую метафору для уже утвердившегося понятия,

²³ В данных рассуждениях о понятии знания я опираюсь на целый ряд своих предыдущих работ. Впервые понятие знания я подробно рассмотрел в своей книге «Труд, собственность и знание» (Stehr, 1994). После нее я неоднократно по разным поводам возвращался к данной проблематике. Во всех своих исследованиях я старался расширить дискуссию вокруг понятий знания и информации, вовлекая в нее все новые аспекты, но лишь в редких случаях полностью отказываясь от однажды сформулированных подходов. Точно так же я поступаю и в этой книге. Разумеется, определение знания как возможности действия резко контрастирует с концепцией знания как «заверенной информации» («Знание есть подтвержденная информация», см., например: Dretske, 1981) или «обоснованного догмата веры» («знание как оправданное убеждение», см., например: Huber, 1991; Nonaka, 1994: 15).

²⁴ Мое определение знания как дееспособности немного напоминает социологическое определение собственности у Людвиг фон Мизеса (Mises, 1922: 14): «В качестве социологической категории собственность выступает как способность определять способ употребления экономических благ».

оценить «факты», упорядочить литературу по той или иной теме или отстоять старый тезис вопреки «новым фактам»²⁵. Другими словами, способность действовать относится не только к возможности совершать что-либо в значении материально-физической работы, например, разводить огонь, водить машину, продавать акции или оказывать сопротивление агрессору. Способность к действию относится и к интеллектуальным умениям, например, к способности ориентироваться, как станет ясно из более подробного описания системы навыков и умений, которую я называю компетентностью²⁶.

Насколько мне известно, энергия — еще одна способность, имеющая решающее значение для социального действия — также определяется как «способность приводить нечто в движение» (White, 1995). В XIX и XX веках ископаемые энергоресурсы относились к наиболее важным способностям, обеспечивавшим возможность появления особых форм экономического действия в частности и социального действия в целом. В результате те общественные институты и организации, которые контролировали производство, распределение и использование ископаемого топлива и к которым не в последнюю очередь относилось и рабочее движение этого исторического периода, превратились в важнейшие властные центры индустриального общества. На сегодняшний день то, что Тимоти Митчел (Mitchell, 2009) называет «угольной демократией», осталось в прошлом, а ей на смену пришла демократия, основанная на знании. Общественный престиж знания вытесняет ценность энергии в значении способности действовать. К условиям способности приводить что-либо в движение, безусловно, относится также язык (Koselleck, 1989: 211) или,

²⁵ В этой связи я хотел бы указать, в частности, на тезис Доналда Шона о «смещении понятия» (displacement of concepts, Schon [1963] 1967) или на более конкретное предложение Эндрю Холданеса (Haldanes, 2009) рассматривать финансовый кризис начала этого столетия с точки зрения наук о жизни, прежде всего эпидемиологии и экологии, а не в рамках экономической парадигмы.

²⁶ Норберт Элиас по этой причине определяет знание как «социальное значение созданных человеком символов, таких как слова или цифры, с точки зрения их способности быть средством ориентации».

если смотреть шире, совокупность (объективных) материальных и нематериальных условий человеческого действия.

Знание как способность действовать служит моделью для реальности. Знание просвещает. Знание — это возникновение²⁷. Однако научные познания не ограничиваются пассивным знанием. Знание — как первый шаг к действию — в состоянии не только менять реальность²⁸, но и защищать и сохранять ее, а также организовывать и легитимировать сопротивление тем или иным конкретным реальностям. Защищать знание от других претендентов гораздо сложнее, чем ограничить доступ к капиталу или оружию (см. Elias, 1984: 252). Я понимаю знание как эффективное «оружие» слабых социальных групп и движений, которое дает им возможность организовать и мобилизовать силы

²⁷ Из этого определения понятия знания следует, что общественная легитимность исследований, равно как и легитимность научных знаний, не в последнюю очередь зависит от потребительской ценности науки. Во многих дискуссиях на тему пользы от генерируемых в процессе исследования научных знаний способность науки конструировать или менять условия повседневной жизни оценивается очень высоко (см. также Tenbruck, 1969: 63).

²⁸ Тезис о том, что знание есть модель для реальности, что оно проливает свет на реальность и способно ее изменить, близко и определению информации в концепции Альберта Боргмана (Borgmann, 1999: 1) и его понятию «рецепта» в значении «информационной модели для реальности». Впрочем, знание «как таковое» или знание само по себе, равно как и техника и технология, еще не представляют реальной силы. Лишь в соединении с человеческим действием и при определенных условиях знание меняет реальность и способно на нее повлиять. Только тогда имеет смысл говорить о знании как о силе или власти (см. также Gehlen, [1940] 1993: 341–354). Никлас Луман (Luhmann, 2002b: 97–98) близок к такому определению понятия знания, когда в своих наблюдениях об образовательной системе в обществе («образование производит знание») подчеркивает, что с получением знаний перед человеком открываются новые возможности, тогда как отсутствие знаний таких возможностей лишает, «задавая направление всей последующей биографии». Еще более однозначно эта особенность знания прослеживается в лумановском описании того, как функционирует современная наука (Luhmann, 1990: 714): «Наука больше не может считаться отражением мира, как он есть, и поэтому должна отказаться от притязаний на поучение всего мира. Она занимается поиском возможных конструкций, которые могут быть вписаны в мир и действовать в качестве формы, т.е. создавать различие».

сопротивления фактическому или задуманному контролю со стороны крупных общественных институтов, таких как государство, бизнес, наука, политические партии и так далее. Знание как ноу-хау (см. Zelenyi, 1987; Askeff, 1989)²⁹, как способность приводить что-либо в движение во многих отношениях обогащает систему человеческих возможностей. Знание — хотя, разумеется, не только оно — меняет общество.

Помимо всего вышеперечисленного, из определения знания как способности к действию можно сделать вывод о том, что поиск знаний определяется не столько стремлением «перевести неизвестное в известное» (Luhmann, 1990: 148), сколько желанием расширить диапазон существующих возможностей действия.

Определяя знание как способность к действию, я временно оставляю за рамками вопрос о соотношении знания и социального действия. Я сознательно не хочу приписывать знанию непосредственную перформативную эффективность, выделять конкретные формы познания и очерчивать границы силы знания (Stehr, 1991). Поэтому вопросы о том, как производится знание, существуют ли различные формы знания, как знание распределено в обществе, как мы переходим от знания к действию и какие структуры мешают этому или способствуют, остаются открытыми³⁰. Тем не менее, как еще будет показано ниже, созданные нами традиции использования понятия знания, несмотря на его эвристическое сокращение и, в частности, отказ от рассмотрения практик получения нового знания, связаны с нашим пониманием реальности, ее конструирования и способа воздействия на нее.

²⁹ Знание в значении ноу-хау показывает, что знание является культурным ресурсом, пусть даже в форме материальных объектов, если принять, к примеру, определение Димаджо (DiMaggio, 1997: 267; Swidler, 1986), который трактует культуру как «ящик с инструментами», в противоположность утверждению, что «люди воспринимают культуру как высоко интегрированную систему, что ее значения четко определены, что культура обязательна для всех и что получение культурной информации на опыте гораздо эффективнее, чем ее получение любым другим путем».

³⁰ В то же время необходимо отметить, что существует прямая связь между знанием и свободой: представляя способность индивидов и групп к действию, знание, особенно в значении растущего интеллектуального капитала, повышает эмансипаторный потенциал действующего субъекта.

В моем определении знание как способность действовать предстает как некий универсальный феномен или антропологическая константа³¹. Во временном измерении знание ориентировано на будущее. Поэтому в практическом пересечении научных знаний и действия, безусловно, верно сделанное еще в 1950-е годы не критически-оптимистичное наблюдение Ч.П. Сноу (Snow, [1959] 1964: 11) о том, что у ученых «будущее в крови».

В своей трактовке понятий я опираюсь на знаменитый тезис Френсиса Бэкона «Scientia est potentia» или, как его часто, но ошибочно переводят в научной литературе «Знание — сила»³². Бэкон утверждает, что особая польза знания объясняется его способностью порождать нечто новое — вещи и процессы, например (если говорить о современном обществе), новые средства коммуникации, новые формы власти, новые управленческие меры, новые химические вещества, политические организации, финансовые инструменты или новые болезни. Приведем лишь один пример знания как способности к действию. В 1948 году Клод Шэннон опубликовал небольшую статью под названием «Математическая теория коммуникации» (Shannon, 1948)³³. В ней он объясняет, как

³¹ Для антропологов, в частности, в их исследованиях взаимодействия культур и империй, знание стало одним из главных теоретических ориентиров. В анализе колониальных обществ колониализм трактуется как «Конкиста знания» (см., например: Cohn, 1996), но в то же время и как одна из основ развития современных форм знания (Ballantyne, 2011).

³² Подробный анализ различных импликаций бэконовской метафоры «scientia est potentia» см. в: Garcia, 2001. Среди существующих импликаций следует особо упомянуть выводимое из бэконовского тезиса требование в отношении политического господства практикующих «ученых», которые, в силу имеющегося у них экспертного знания, как утверждается, гораздо лучше справились бы с реализацией политической власти, чем аристократические правители с их специфическими способностями.

³³ Фримен Дайсон описывает случай Шэннона в одной из рецензий, опубликованных в «Нью-Йорк Ревью оф Букс» (New York Review of Books, 10.03.2011): «В 1945 году Шэннон написал статью "Математическая теория криптографии", на которую был наложен гриф секретности и которая так никогда и не была опубликована. В 1948 году он издал исправленную версию статьи 1945 года под названием "Математическая теория коммуникации"». Версия 1948 года увидела свет в «Техническом журнале Bell System» — печатном органе Лабораторий Белла — и сразу стала классикой: «Это

можно переводить в сигналы и передавать в электронном виде слова, звуки и изображения. Так Шэннон предсказал цифровую революцию в сфере коммуникаций.

Понятие «*potentia*» (способность) описывает «власть» или силу знания³⁴. Знание — это возникновение, ибо только «рефлексия позволяет [...] предвосхитить будущее» (Durkheim, [1950] 1992: 129)³⁵. Или, если быть более точным, как подчеркивает Фрэнсис Бэкон в начале «Нового Органона»: «Знание и могущество человека совпадают, ибо незнание причины затрудняет действие. Природа побеждается только подчинением ей, и то, что в созерцании представляется причиной, в действии представляется правилом» (Bacon, [1960] 1902: 11). Соответственно, знание человека о природе — это знание причин, но в то же время и знание правил действия, и, следовательно, оно включает в себя и способность запустить тот или иной процесс или создать нечто новое. Практическое воплощение знания во многих случаях является политическим событием или, по крайней мере, социальной ситуацией. Следовательно, успехи или последствия человеческих действий можно проследить по изменениям в реальности (см. также

основополагающая работа для современной науки об информации. После Шеннона информационные технологии пережили невероятный подъем, подарив человечеству компьютеры, цифровые камеры и Интернет».

³⁴ Этимологически понятие власти восходит к понятию способности, а одним из наиболее фундаментальных определений способности является «создание различия». В этом смысле и в том, в котором власть обычно обсуждается в связи с социальными отношениями, а именно в значении силы для получения той или иной вещи или установления господства над тем или иным человеком или людьми, в определении власти как способности присутствует и идея знания как обретения этой способности (ср. Dugberg, 1997: 88–99).

³⁵ Определение власти как способности действовать включает в себя также и то определение, которое Артур Лупиа и Мэтью Маккаббинс (Lupia, McCubbins, 1998: 6) рекомендовали в контексте своего исследования роли знания в демократическом процессе принятия решений, а именно: знание есть «способность предвидеть последствия социальных действий» (постольку, поскольку знание находит применение на практике). В этом определении, как и в нашем определении знания, ничего не говорится о характере последствий действий, основанных на знании.

Dewey, [1927] 1996: 131–132; Gehlen, [1940] 1993: 341–355; Krohn, 1981, 1988: 87–89)³⁶.

Теоретическая концепция знания как способности действовать открывает пространство для понятия агенсу, т. е. самоопределения акторов в социальных контекстах, подверженных влиянию знания (ср. Sen, 1985: 203–204; Barth, 2002: 3). «Собственность» на знание и, соответственно, право им распоряжаться, как правило, не являются исключительными. Тем не менее, господствующая теория права требует именно исключительности права распоряжения, поскольку видит в этом основную характеристику института собственности. Как известно, формальное право различает собственников и владельцев; отдельно выделяются индивиды, которым что-либо причитается по закону при том, что фактически они этого не имеют. С точки зрения правовой системы, собственность неделима, и неважно, идет ли речь о конкретных материальных или нематериальных «вещах». Социологическое значение знания также заключается главным образом в фактической способности распоряжаться знанием как возможностью действовать. Научное знание приобретает свой высокий статус благодаря своей способности менять реальность³⁷.

³⁶ Прагматическая теория познания, как известно, также подчеркивает ориентацию на будущее. Так, например, Дьюи обращает наше внимание на то, что «задача мышления заключается не в том, чтобы подтвердить или воспроизвести характеристики, которыми обладают те или иные объекты, а чтобы оценить их в значении возможностей, каковыми они становятся в свете предполагаемого действия».

³⁷ Здесь важно обратить внимание на разную общественную функцию естественнонаучного, социального и гуманитарного знания. С точки зрения Лумана (Luhmann, [1986] 1987: 55), естественнонаучное знание влияет на восприятие через переживание. В отношении гуманитарного знания верно обратное. Культурологическое знание влияет на действие через переживание и только через переживание (анализ различия между действием и переживанием см. в: Luhmann, 1979). Мы пока оставим в стороне вопрос о том, верно ли лумановское различие действия и переживания и его обоснование; но как бы то ни было, тезис, согласно которому знание есть способность к действию, по крайней мере, имплицитно присутствует в лумановской дихотомии.

Наука сегодня — это уже не только доступ и ключ к тайнам нашего мира. Она сама способствует становлению мира. Знание не просто возникает из определенного контекста (практик), но и порождает этот контекст³⁸. Концепции знания, меняющего и даже производящего реальность (знание как способность к действию), в отличие от трактовки знания как конформного по отношению к реальности, в случае социальных наук напрашиваются сама собой. Достаточно вспомнить понятие мысленного эксперимента или модели, которая должна быть реализована на практике³⁹. Если же исходить из более часто встречающегося понимания знания как наблюдения, конформного по отношению к реальности,

³⁸ Дункан Кеннеди (Kennedy, 2010: 88) в своем обобщающем анализе политической эпистемологии Бруно Латура обращает внимание на то, что работа ученых в данном контексте схожа скорее с работой «квалифицированных практикующих юристов, нежели теоретиков с привилегированным доступом к безличным, объективным, трансцендентным истинам или законам». Ученые производят практическое знание, ноу-хау или способность действовать. Эти операции не исключают самоисполняющиеся пророчества, подробно рассмотренные Робертом Мертоном (см., например: Merton, 1995).

³⁹ Политэкономия погружена в контекст существующей экономической формации (Callon, 1998), экономические модели находят практическую реализацию на финансовых рынках. Дональд МакКензи (MacKenzie, 2006) иллюстрирует такого рода случай в своем анализе модели Блэка–Шоулза, повлиявшую на торговлю опционами. Модель американских экономистов Кармен Рейнхерт и Кеннета Рогофф, описанная ими в статье под названием «Рост во время задолженности» в 2010 году, показывает, что идеи, влияющие на политику, необязательно должны быть «истинными», чтобы в качестве политических мер изменять реальность. Их тезис о том, что экономический рост включает задний ход, как только общая задолженность страны в процентах от ВВП достигает более 90 процентов, оказался ложным, вероятно, из-за ошибки в расчетах. Как подчеркивает в своем комментарии Пол Кругман («The Excel Depression», New York Times, 18.04.2013): «Статья вышла как раз в тот момент, когда Греция вступила в стадию кризиса, и поддержала многих управленцев в их стремлении сменить курс и перейти от стимулирования потребления и производства к режиму экономии. В результате статья получила известность в широких кругах и стала, безусловно, самым влиятельным экономическим анализом последних лет». Релевантные обстоятельства действия способствовали реализации определенной модели. И власть этой модели несколько не зависела от ее «истинности».

то определение научного познания как феномена, способного изменить реальность, вызывает некоторые трудности. Это касается, прежде всего, нашего понимания особых, практически значимых свойств естествонаучного знания. Впрочем, на примере современной биологии можно убедительно доказать, что подобный скепсис не всегда уместен. Так, современная биология занимается в том числе производством новых форм жизни. Она не просто исследует природу, но и трансформирует ее, порождая новую жизнь. Биология и биотехнология неразрывно связаны между собой⁴⁰.

Знание как общая способность действовать лишь там выполняет «активную» функцию в процессе социального действия, где ход этого действия не предписан стереотипизированными (Макс Вебер)⁴¹, привычными, не требующих никаких усилий образцами и не регулируется каким-либо иным способом⁴², т. е. только там,

⁴⁰ Идея о том, что знание следует рассматривать как общую способность к действию, как модель для реальности и, в случае успешного применения, как саму реальность, в каком-то смысле является принципом Гейзенберга наоборот. Принцип Гейзенберга или эффект наблюдателя, как, пожалуй, правильнее было бы сказать в данном контексте, используя общеупотребимые понятия, касается изменения наблюдаемого феномена посредством самого акта наблюдения (вследствие чего исчезает возможность наблюдать за данным феноменом). Поскольку в нашем случае знание определяется к способности к действию, оно, возможно, таким образом меняет соответствующий феномен, что в конечном итоге он становится похож на абстрактное представление о себе самом (ср. Scott, 1998: 14; прим. 6). В случае современного лесоводства XIX века это, к примеру, означало «создание — путем тщательно контролируемого высевания, выращивания и вырубки — такого леса, которым было легче управлять и манипулировать государственным лесоводам» (Scott, 1998: 15) — легче по сравнению с первоначальным лесом в его естественном состоянии, с отсутствием в нем единобразия и упорядоченности.

⁴¹ Интересный вариант этой мысли, на который ссылается также Фридрих фон Хайек (Hayek, [1960] 2005: 31), можно найти во «Введении в математику» Альфреда Норта Уайтхеда (Whitehead, [1911] 1948: 52): «Цивилизация идет вперед, увеличивая число важных операций, которые мы можем выполнять, не думая. Мыслительные процессы — это как кавалерийские атаки в бою: они численно четко ограничены, для них необходимы свежие лошади, и проводить их нужно только в решающие моменты».

⁴² Основываясь на предпосылке, согласно которой знание формирует дееспособность, можно выделить несколько форм знания в зависимости от

где, по каким бы то ни было причинам, существует свобода и необходимость принятия решений, что, в свою очередь, требует умственных усилий⁴³. Социальные практики, в рамках которых возможны и необходимы решения, отражают экологию знания или, если говорить точнее, экологию его применения — то, что можно назвать свободой действия или влияния. Поэтому для Карла Мангейма (Mannheim, 1929: 100) социальное действие начинается только там, «где открывается пока еще не рационализированное пространство свободы, где неурегулированные ситуации вынуждают человека принимать решения»⁴⁴. Если формулировать еще более конкретно:

того, какую именно способность к действию оно воплощает. Примером такого функционального разграничения форм знания может служить попытка Лиотара (Lyotard, [1979] 1984: 6) выделить, по аналогии с тратами на инвестиции и потребление, «потребительское» и «инвестиционное знание».

⁴³ Наблюдения Никласа Лумана (Luhmann, 1992: 136) относительно условий возможности принятия решений, пожалуй, предполагают еще более широкую сферу применения знания. Как он справедливо подчеркивает, принимать решение «можно только тогда и в той мере, когда еще неясно, что произойдет». При условии, что будущее в высшей степени неопределенно, использование знания в процессе принятия решения может простираться на гораздо более широкий спектр социальных контекстов, включая и такие, которые обычно определяются рутинной и привычным поведением.

⁴⁴ См. также идею социальной мобилизации у Карла В. Дойча (Deutsch, 1961) или размышления Эмиля Дюркгейма (Durkheim, [1957] 1991: 125–126) о рутинном, неподвижном состоянии общества в отличие от общественных условий, где возможности влиять на общественное устройство постоянно расширяются. Из факта расхождения рутины и господства Дюркгейм (Durkheim, [1957] 1991: 128) делает вывод о том, что «та или иная нация <...> тем более демократична, чем большую роль в решении общественных вопросов играют рассуждения, рефлексия и критический дух». С «интеракционистской» точки зрения, любые организации и социальные структуры представляют собой пример «договорного порядка» (Strauss et al., 1964: 1978). Впрочем, это не означает, что любой аспект социальной реальности той или иной организации постоянно или же с точки зрения определенных членов этой организации подлежит обсуждению и переопределению. Это верно лишь в отношении определенных и очень ограниченных взаимосвязей социальной структуры, и ввиду этих контингентных условий действия знание может быть мобилизовано, в частности, для планирования коллективных целей.

«Бюрократ, расправляющийся с пачкой официальных бумаг согласно данным ему предписаниям, не совершает действия. Не совершает действия и судья, подводящий то или иное дело под соответствующий параграф, и фабричный рабочий, изготавливающий шуруп строго по инструкции, и по сути даже инженер, комбинирующий законы природы ради той или иной цели, не совершает действия.

Все эти формы поведения следует называть репродуктивными, поскольку осуществляются они в рамках рационализированной структуры, в соответствии с предписаниями, без принятия личного решения»⁴⁵.

Таким образом, для Мангейма проблема отношения между теорией и практикой возникает только в определенных ситуациях. Разумеется, ситуации, которые полностью рационализированы и повторяются в одном и том же виде из раза в раз, тоже не исключают некоторых «иррациональных» (т. е. «открытых», допускающих различную интерпретацию) моментов. В то же время такой подход обращает наше внимание на условия знания, причем знания в значении результата человеческих действий. Знание может привести к тем или иным социальным действиям, но в то же самое время оно само есть результат социальных действий. Здесь уже прослеживается идея о том, что способность к действию отнюдь не тождественна фактическому действию, т. е. знание еще не есть действие⁴⁶.

⁴⁵ Схожие представления можно найти в эссе Фридриха Хайека «Об использовании знания в обществе» 1945-го года, где он, по сути, восхваляет децентрализацию знания, превозносит значение локального знания (dispersed knowledge) для действия и подчеркивает важность ценовой системы в роли посредника. Рынок и система цен собирают информацию и тем самым решают проблему координации ситуативного знания. Хайек (Hayek [1945] 1976: 82) обращает внимание на то, что экономические проблемы всегда «возникают только в результате тех или иных изменений. Пока все остается так, как есть, или, по крайней мере, развивается не иначе, чем ожидалось, не возникает новых проблем, требующих решения, а также не встает вопрос о необходимости нового плана действий». Спрос на знание определяется контекстной неопределенностью.

⁴⁶ Экономическое исследование (Howitt, [1996] 1998), в котором речь идет главным образом о различных понятийных трудностях в связи

Стало быть, встает вопрос, какие еще обусловленные ситуацией факторы запускают процесс поиска открытых характеристик контекста действия. К важнейшим пусковым механизмам относятся, безусловно, неоправдавшиеся ожидания и надежды. Однако сопротивление (см. также Luhmann, 2002: 99) или сомнения тоже могут запустить процесс рефлексии акторов. Несбывшиеся ожидания и надежды, сопротивление, необходимость оправдаться и сомнения — вот главные стимулы, заставляющие человека изыскивать новые возможности, мобилизовать и применять имеющиеся знания и таким образом восстанавливать новый, стабилизирующий ожидания баланс. Впрочем, запустить такого рода «розыск» открытых возможностей могут и внешние структуры. Другими словами, «когда все идет своим неизменном чередом, то для управления происходящим достаточно привычки; однако когда обстоятельства постоянно меняются, привычка ни в коем случае не должна служить главным ориентиром. Только рефлексия позволяет обнаружить новые полезные практики, ибо только она способна предвосхищать будущее» (Durkheim, [1950] 1992: 129)⁴⁷. Так, например, фирмам приходится ориентироваться на своих конкурентов, поставщиков и клиентов. Выбор

с квантификацией знания и его интеграцией в экономическую теорию, по крайней мере, некоторыми отдельными характеристиками напоминает мое определение знания как способности действовать: «Знание я определяю в понятиях потенциально наблюдаемого поведения, а именно как способность индивида или группы индивидов совершать что-либо или приказывать или каким-либо другим образом побуждать других людей совершать что-либо, т.е. действия, ведущие к предсказуемым изменениям материальных объектов» (Howitt, [1996] 1998: 99). Если не принимать во внимание это несколько невнятное определение Ховитта, то ограничение понятия знания манипуляциями материальными объектами представляет собой шаг назад в направлении к концепции «черного ящика» «операций» и «наблюдаемого поведения». В конечном итоге не исключено, что Ховитт напрямую отождествляет знание с действием.

⁴⁷ См. также понятие «критические моменты» у Болтански и Тевено (Boltanski, Thévenots, 1999: 359–361), когда «люди, вовлеченные в повседневные отношения, делающие что-либо вместе, скажем, в политике, на работе или в профсоюзном движении и вынужденные координировать свои действия, осознают, что что-то не так, что они больше не ладят между собой, что необходимо что-то менять».

альтернатив действия («менеджмент») — явно не простое дело, ибо включает в себя широкий спектр опций, начиная от вынужденных, привычных или случайных и заканчивая тщательно продуманными. Если выбор способа действия не является ни случайным, ни вынужденным, то размышления о возможных вариантах подвержены влиянию мировоззрений, социальных символик (Taylor, 2004) или нравственных убеждений и в них же черпают свое оправдание.

Трансформация знания в процессы и вещи

Очевидно, что в самом общем виде научное или технологическое знание обеспечивает возможность действия. В то же время научное знание не является некой непреложной, доступной для любых интерпретаций величиной, свободной или освобожденной, в частности, от банальных обстоятельств человеческого действия. Если верно допущение о том, что знание действительно практически беспрепятственно «приводит в движение» процессы и может применяться без значимых общественных преград, то верен и тезис об особой власти производителей научных знаний в обществе (технологизированное общество или господство технократов).

Понятие способности к действию подразумевает, что знание может остаться невостребованным, может быть использовано ради «иррациональных» целей или же использоваться для противостояния новым условиям действия. Мировоззренческие убеждения и разного рода культурные процессы приводят также к самым разным попыткам воспрепятствовать реализации существующих возможностей действия. Сегодня люди все чаще задаются вопросом, следует ли воплощать в жизнь новые знания и технические достижения, нужно ли реализовывать все дополнительные возможности действия, даже если это сулит экономическую выгоду или идет на пользу могущественным институтам, или же имеет смысл сразу же отправлять новые изобретения в музей, как того требовал еще Вернер Зомбарт в своей работе «Укрощение техники» (Sombart, 1934: 266). По мнению Зомбарта (Sombart, 1934: 264), государство поступает неразумно и безответственно, отдавая на откуп «кучке изобретателей и ушлых предпринимателей организацию нашей материальной культуры».

Государственные меры и ограничения со стороны гражданского общества могут служить стимулом и легитимацией контроля или даже запрета в отношении новых возможностей действия»⁴⁸. Зомбарт (Sombart, 1934: 266) не сомневается в том, что должны быть приняты меры, которые бы решительным образом препятствовали развитию техники в неправильном направлении. Любое изобретение подлежит обязательной регистрации и контролю в отношении своей ценности: патентное бюро должно служить не только частным коммерческим интересам, но в первую очередь интересам общества. Решение о допуске изобретений к реализации должен принимать верховный культурный совет, в который с правом совещательного голоса будут входить и технические специалисты. Культурный совет решает, выгодно ли данное изобретение, должно ли оно быть передано в музей или же реализовано на практике.

Плановые меры с такого рода целями можно объединить в понятии «политика знания» (Stehr, 2003).

Представление о том, что знание всегда и непременно реализуется, причем практически без учета последствий (как утверждает, к примеру, Ч.П. Сноу (ср. Sebley, 1973)), не так уж редко встречается среди наблюдателей и сторонников технологического развития. Поскольку при этом не называются никакие конкретные, внутренне присущие характеристики знания, предполагающие его практическую реализацию как неизбежное последствие его развития, то есть все основания вместе с Вернером Зомбартом (Sombart, 1934: 262) обратить внимание на широкое общественное одобрение автоматического применения научных и технических знаний: «Сегодня мы привыкли к тому, что можно делать и реализовывать все, что мы в состоянии сделать и реализовать». Однако утверждая, что наука и технология неизбежно (само)реализуются на практике за счет своих внутренних характеристик, мы игнорируем тот факт, что большую роль в реализации знания

⁴⁸ Дэвид Эджертон (Edgerton, 2011) анализирует «разумное» сопротивление инновационным возможностям действия в работе с характерным названием «Похвала луддизму» и видит значимые параллели между протестным движением рабочих текстильной промышленности в Англии XIX-го века и сопротивлением современным технологиям сегодня.

играет контекст и агенты его применения⁴⁹. Любая концепция непосредственной практической эффективности научных и технологических знаний переоценивает внутреннюю функциональность произведенных наукой знаний. Впоследствии я еще не раз буду возвращаться к проблематике границ практического применения и, следовательно, «силы» научного знания (см. также Grundmann, Stehr, 2011).

Точно так же было бы ошибкой утверждать, что понимать знание как способность к действию, а не нечто такое, что является истинным (если брать для противопоставления традиционную идею знания), — это все равно, что поменять местами составляющие формулы «Знание — сила». Для применения знания как способности действовать недостаточно одного только знания о том, как привести в движение тот или иной процесс или изменить ту или иную ситуацию. В практической реализации знание и власть (сила) или, точнее будет сказать, контроль над условиями действия, — союзники, когда речь идет о том, чтобы привести что-либо в движение при помощи знания. Однако отношения между властью и знанием нельзя назвать симметричными. Знание не всегда ведет к получению власти. Власть, в свою очередь, не всегда ведет к получению знания, а реализация власти не всегда зависит от знания.

Сама по себе неспособность человека или группы людей реализовать определенное знание на практике необязательно означает,

⁴⁹ Яркий пример такого рода ситуации и потенциальной дистанции между знанием и действием можно найти в исследовании Стефани Сноу (Snow, 2012). Сноу анализирует практическую реализацию нового понимания инсульта как неотложного случая, которая привела к внедрению определенных медицинских процедур во многих клиниках Англии и других стран. Вот как Сноу резюмирует результаты своего исследования (Snow, 2012: 1): «Трудности с внедрением новых процедур были связаны скорее с организационными и профессиональными барьерами, нежели с научными или технологическими сложностями. Исторически утвердившийся статус инсульта как заболевания, не поддающегося лечению, препятствовал принятию новых методов неотложной помощи. Выстраивание новых стратегий ведения пациентов с инсультом за счет разработки протоколов для выездных бригад и сотрудников пунктов неотложной помощи появилось как локальное решение локальной проблемы, однако впоследствии получило повсеместное распространение».

что этот человек или эта группа не имеют политических свобод, причем как в отношении данной конкретной ситуации, так и в более широком смысле. Если у человека нет необходимых экономических ресурсов, чтобы, к примеру, реализовать проект строительства дома, то причина невозможности построить дом для данного человека заключается в его бедности, а не в политической несвободе, если конечно мы не исходим из того, что недостаток ресурсов есть результат действий других акторов, например, репрессивных мер со стороны государства (см. также Berlin, [1958] 1969: 122–123).

Если мы рассматриваем науку как лабораторию (см. Krohn, Weyer, 1989: 349), то одной из базовых предпосылок переноса результатов и, соответственно, рисков исследовательского процесса из лаборатории в общество, например, в случае ядерной технологии, выращивания генно-модифицированных продуктов или применения определенных химикатов, является контроль за условиями действия, при которых можно ожидать повторного появления результатов, изначально наблюдавшихся в лаборатории. Таким образом, рамочные условия лабораторного эксперимента должны быть воспроизведены в естественных условиях. Это также означает, что любой реализации научного знания (а не только крупномасштабных экспериментов) должна сопутствовать способность контролировать условия реализации действия со стороны акторов, желающих на практике реализовать определенные лабораторные успехи (или тот или иной мыслительный эксперимент). Другими словами, «так называемое общественное "применение" научного знания требует приспособления к существующим в данном обществе рамочным условиям, или наоборот, существующая общественная практика должна быть приведена в соответствие с научно обоснованными стандартами» (Krohn, Weyer, 1989: 354)⁵⁰.

⁵⁰ Ханс Раддер (Radder, 1986: 675) приходит к аналогичному выводу, обращая внимание на то, что для практически успешного технологического производства в долгосрочной перспективе необходимо выполнение как материальных, так и социальных условий: «Создание и поддержание особых социальных условий (например, бюрократического централизованно-

Впрочем, особое, едва ли не уникальное место научного и технического знания в современном обществе (несмотря на то, что оно отнюдь не обладает монополией на производство нового знания) объясняется не тем фактом, что научные познания по-прежнему повсеместно трактуются как истинные и как безусловный прогресс, не нуждающийся в какой-либо дополнительной интерпретации, или же как нечто бесспорно объективное, что может распространяться без каких-либо существенных препятствий⁵¹, а тем, что научное знание в большей степени, чем любая другая форма знаний, непрерывно порождает и формирует дополнительные (инкрементальные) возможности действия. Таким образом, научные познания представляют собой такие возможности действия, которые постоянно расширяются и изменяются за счет производства новых шансов действия, который, пусть лишь временно, но могут приобретаться даже «частными лицами»⁵². Если говорить еще более кратко, то в современном обществе знание в значении возможности действия является основой и двигателем прогрессирующей модернизации (ср. Kerr, 1963: vii; Stehr, 2000a).

Социологическое определение знания как способности к действию обладает тем преимуществом, что знание в данном случае

го управления в случае атомной энергии) необходимо для того, чтобы гарантировать постоянный технологический успех того или иного проекта.

⁵¹ Как, в частности, утверждает Питер Друкер в своем описании «грядущего общества» («Economist», Nov. 1, 2001). В своем эссе Друкер смешивает понятия информации и знания. Подобное смешение очень часто встречается в научной литературе (см., например: Barth, 2002; Kitcher, 2006). По сути, поиск убедительных аргументов против частого смешения знания и информации — сизифов труд (Stehr, Adolf — работа готовится к печати).

⁵² Питер Друкер (Drucker, 1969: 269) придерживается мнения, что в наукоемкой, основанной на знании экономике экономические преимущества знания должны проявляться во всех его формах. Что действительно важно, добавляет он, так это практическая применимость знания, а не его давность или новизна. В социальной системе экономики значение имеют «воображение и навыки того, кто применяет знание, а не интеллектуальная проработанность или новизна информации». Я же, напротив, считаю целесообразным отличать экономическую функцию существующего, утвердившегося знания от экономической функции прироста маргинального знания. Процессы производства, транзакционные издержки, внедрение, передача знания одной и другой формы отличаются друг от друга.

понимается как нечто включенное в структуру социальных отношений, а не как феномен, не зависящий от контекста или обладающий характеристиками, способными высвободить его из контекста, такими как истинность или объективность⁵³. По сравнению с «классическим» понятием знания⁵⁴, социологическое определение обладает также тем преимуществом, что обращает наше внимание на вариативность объема знания в рамках одного общества, к примеру, между взрослыми и детьми, и на значительные различия между развитыми и традиционными обществами. Кроме того, понятие знания как способности воздействовать на мир позволяет увидеть, что знание кардинально отличается от широкого понятия «культура» (см. Barth, 2002: 1–2). Чтобы при помощи знаний в значении способности к действию привести в движение некий процесс в этом мире, мы нередко имеем возможность применить несколько разных форм знания для достижения одной конкретной цели. Это верно, например, в отношении осуществляемого при помощи знания и энергии (в значении способностей действовать) производства различных транспортных средств, у которых одна общая цель — доставлять нас туда, куда нам нужно.

Как мы уже подчеркивали выше, понятие знания как способности к действию предполагает, что не стоит спешить с отождествлением знания и власти, особенно со стороны власти предрежащих (см. также Touraine, 2001). Тем не менее, вопрос о том, как производство и циркуляция знания влияют на властные структуры, является важным, но в то же время спорным и открытым. Пока лишь формальное, схематичное описание знания как способности к действию оставляет открытой и проблематику отношения знания и управления (практического применения научных познаний). Практическое соотношения знания и правления может, с одной стороны, означать более эффективное управление,

⁵³ См. также разработанную не так давно в рамках науки о познании концепцию «социализирующего познания» (Böckler et al., 2010).

⁵⁴ Согласно «классическому» определению, знание есть «оправданное верное представление, истинное мнение вкупе с обоснованием» (Hilpinen, 1970: 109).

а, с другой стороны, указывать на возможность помешать власть имущим реализовать свою политическую волю.

В значении способности к действию знание может, во-первых, указывать на специализированные формы, такие как техническое ноу-хау или повседневное, обыденное знание (здравый смысл). Поэтому я начну с того, что рассмотрю различные системы классификации знания и типологизации его форм. Во-вторых, знание как способность к действию может означать, что социальные акторы обладают (или не обладают) разным объемом знаний или информации, которые, к примеру, считаются необходимой предпосылкой «просвещенного» участия в общественных делах. Не случайно опросы на тему политической информированности избирателей имеют давнюю традицию. В этой связи, как я еще покажу далее, важно различать знание и информацию. О существовании общества знания мы говорим не только по причине объема имеющегося знания. В-третьих, в рамках теории демократии, делающей акцент на выраженном присутствии определенных социальных норм и ценностей, необходимых для демократической формы правления, знание можно соотнести с добродетелями получения познаний, интегрированных в определенные моральные отношения. Научное сообщество зачастую рассматривается как такой социальный институт, внутри которого типичное для него социальное поведение базируется на демократических ценностях. В-четвертых, теснее всего с главным вопросом моего исследования связана идея о том, что лучше понять сферу пересечения демократии и знания нам помогает «близкая родственница» знания, а именно компетентность. Знание не тождественно компетентности, так же, как оно не тождественно информации. Предельно лаконичное определение компетентности указывает на степень самостоятельности индивидов и коллективов в мышлении и действии и на их способность разрабатывать и реализовывать на практике определенные идеи. В данном контексте под идеями понимаются высказывания, содержащие призыв к действию, как, например, это: «Получение новых научных знаний — деятельность, заслуживающая всесторонней поддержки». Подробный анализ понятия компетентности содержится во второй части данной книги. Идее о том, что наука является провозвестницей

свободы и в этом своем качестве транслирует и демонстрирует демократические ценности, посвящен специальный раздел.

В данной главе я еще раз обращаюсь к вопросу о том, какое знание имеется в виду, когда мы говорим, что свобода — дочь знания. Знание определяется мною как способность к действию, но если говорить еще точнее, то свобода — это дочь компетентности. В этом моя постановка вопроса отличается от часто встречающегося в научной литературе анализа взаимосвязи знания и демократии через изучение политического знания граждан, избирателей, членов политических партий или социальных движений. Как я покажу далее, указания на недостаточные политические знания акторов, зачастую подкрепленные результатами эмпирических исследований, как правило, говорят лишь о степени их политической информированности.

Отождествляя знание и информацию, понимаемую как политический актив граждан и основа демократического управления, современные исследователи рискуют необоснованно сузить значение данных ресурсов до доступа к знанию и/или информации и их предоставлению (см., например: Webster, 1999: 375). Поэтому я буду настаивать на том, что необходимо не только четко различать знание и информацию, но и подчеркивать особую роль компетентности для поддержания демократического режима.

1.1.1. Какое знание имеется в виду и почему?

В какой-то момент в Век Империи [1875–1914] разорвалась связь между знаниями ученых и той реальностью, которая доступна нам благодаря чувственному опыту, равно как и связь между наукой и той логикой, на основе которой выстроено обыденное знание (common sense).

Эрик Хобсбаум (Hobsbawm, [1994] 1996: 534)

Невзирая на то, что на самом деле различие между «здравым смыслом» или обыденным знанием (в значении общедоступного знания) и специализированным знанием появилось раньше, предложенная Хобсбаумом датировка разрыва между тем, что

можно понимать как часть повседневного чувственного опыта, и тем, что недоступно для чувственного восприятия, а также между логикой науки и логикой «здорового смысла», в очередной раз напоминает нам о том, что категории знания являются социально–историческими конструктами⁵⁵.

На сегодняшний день существует не только бесчисленное множество общих определений знаний, но и великое многообразие представлений о том, какие формы знания следует выделять и как определять отношения между знанием и другими формами процесса познания, например, «пониманием»⁵⁶. Впрочем, все терминологические дискуссии о формах знания так и не смогли добавить ничего существенно нового к категориям, сформулированным Максом Шелером в двадцатые годы прошлого столетия. Поэтому мы начнем с рассмотрения его типологизации форм знания. Все последующие терминологические разграничения форм знаний опираются на шелеровскую концепцию знания как пути к спасению, образовательного знания и знания–господства (Scheler, [1925] 1960).

С точки зрения Шелера, знание служит становлению или, если говорить точнее, «становлению другим». И в зависимости от того, какому именно становлению служит знание, Шелер выделяет образовательное знание, которое служит становлению и развитию личности, спасительное знание, которое служит становлению метафизического смысла мира, и знание ради господства или достижений, которое служит практическому покорению и переустройству мира ради наших человеческих целей и задач (Scheler, [1926] 1960: 205). С точки зрения теории науки и прежде всего характеристик познания, разработкой которых мы обязаны позитивистам, примечательно, что Шелер говорит о знании спасения или спасительном знании. Готовность причислить метафизиче-

⁵⁵ Исторический очерк об истоках понятия здорового смысла см. в: Rosenfeld, 2008.

⁵⁶ Приведем лишь один пример этих зачастую очень сложных отношений между знанием и другими видами когнитивной деятельности: Ханна Арендт (Arendt, 1953: 380) обращает внимание на симметричность отношений между знанием и пониманием — не бывает знания без понимания, так же, как не бывает понимания без знания.

ские высказывания к сфере знания в течение последующих столетий уступила место однозначной дихотомизации метафизических изречений и научных знаний. Лишь с развитием современной социологии знания, избегающей этого жесткого разграничения, шеллеровская категория спасительного знания была в каком-то смысле реабилитирована (ср. Stehr, Meja, 2005).

В исторической перспективе разработанные Шелером формы знания (Scheler, [1926] 1960: 207) отнюдь не равнозначны, а распределены иерархически:

Из этих трех идеалов знания [господства, образования и спасения] новейшая история Запада и его самостоятельно развивающихся культурных приращков (Америка и т. п.), все более впадая в односторонность, систематически культивировала почти одно только знание ради достижений, направленное на возможное практическое изменение мира в форме практикующих разделение труда специальных позитивных наук. Образовательное знание и спасительное знание в поздней истории Запада все больше и больше отходили на задний план.

Как уже говорилось, еще чаще встречается дихотомическое разделение форм знания, а чаще всего, пожалуй, разграничение научного и обыденного знания. Как правило, эта дихотомия указывает на эпистемологические свойства, объясняющие и подтверждающие принципиальное превосходство научных знаний. Знание, производимое в процессе научного исследования, не только более качественное, но и в большей степени соответствует действительности, свободно от иррациональных влияний и, следовательно, в целом более истинное, чем обыденное знание. Кроме того, такое знание гораздо эффективнее в практическом применении, что легко можно продемонстрировать на примере успешно внедренных технологий, основанных на научных познаниях.

И, как в связи с этим подчеркивает Рассел Хардин (Hardin, 2003: 4): «Обыденное знание почти в полной мере основывается на информации, полученной от предположительно надежных или авторитетных источников, хотя в большинстве случаев основания этой надежности неубедительны, а еще чаще мы и вовсе не можем вспомнить источник или его характеристики. Тем не менее, мы не станем проверять, что написано в газете или в энци-

клопедии или даже что нам подсказывает наша память; обычно мы склонны очень быстро прекращать наведение справок».

Со временем дихотомия между обыденным и научным знанием утвердилась практически повсеместно, что привело к тому, что ненаучное знание выжило и сохранилось в лучшем случае в качестве остаточной категории. Другим последствием такого развития стало то, что представители социальных наук никогда не занимались систематическим изучением характерных свойств и статуса повседневного знания⁵⁷, тем более что, во всяком случае, в рамках классических социологических теорий общества, доминировало представление⁵⁸, согласно которому традиционные и конвенциональные формы знания рано или поздно будут вытеснены научными формами знания.

Предпосылкой для такого убеждения, распространенного — сегодня в меньшей степени — среди представителей социальных наук, по меткому наблюдению Петера Вайнгарта (Weingart, 1983: 228), является то, что по мере того, как «различные сферы жизни становятся предметом научного анализа», первичный опыт «во все более широких сферах жизни заменяется производством и применением систематического знания в значении ориентации действия». Происходит вытеснение обыденного или традиционного знания, поскольку на основе научных знаний «устанавливаются различные системы координат и категоризации социального действия, и/или существующие ориентации разоблачаются как иррациональные или ошибочные с точки зрения преследуемых ими целей». В результате, как пишет Вайнгарт, «место интернализации норм и ценностей, в результате которой они становятся безусловными и обязательными, <...> занимает рефлексивное мышление в свете конкурирующих составляющих систематического знания».

⁵⁷ Исключение представляет интересная попытка Стивена Льюкса (Lukes, 2007) исследовать проблему иррациональных, на первый взгляд, представлений и догм, используемых в повседневной жизни.

⁵⁸ Исключениями из допущений классических теорий общества являются, например, теория Вильфредо Парето и психоанализ Зигмунда Фрейда, где признается функциональная ценность в том числе и ошибочных убеждений.

Все чаще встречается и несколько измененная, но близкая по смыслу дихотомия (высоко специализированного) профессионального знания и повседневного, нерационального знания. Однако поскольку профессиональное или экспертное знание нередко отождествляется с научным знанием, то и эта асимметричная дихотомия сводится к различению научного знания и других существующих в обществе представлений, которые проблематичны в том, что касается продолжительности их существования и практического смысла, и потому значат не больше, чем просто мнения. В целом наши представления о том, что есть знание, определяются положениями теории познания, которые, в свою очередь, опираются на четкое разделение научного и нерационального познания. Представители социальных наук часто трактовали такого рода демаркацию как четкое указание на оправданное разделение труда между общей теорией познания и отдельными науками. Вплоть до сегодняшнего дня лишь очень немногие решались нарушить негласный запрет на социально-научный анализ содержания научного знания.

В исследовании отношения знания и демократии мы неизбежно сталкиваемся с вопросом соотношения и различения знания и информации. Одно из различий между знанием и информацией в современных обществах касается имеющегося объема данных ресурсов: информации много, и она доступна⁵⁹; знание — дефицитный и дорогой товар. Еще одно принципиальное различие касается общественного «вклада» знания и информации, например, в отношении того, что информация может служить для сравнения совершенно разных продуктов, а знание — нет.

1.1.2. Информация и знание

Прежде чем рассмотреть возможность более точного определения информации и научного знания без непримиримого противо-

⁵⁹ Peter H. Lyman, Hal R. Varian, et al. (2003), «How Much Information?», <http://www.sims.berkeley.edu/how-much-info-2003> (последнее обращение 24 декабря 2011 года); см. также обсуждение так называемой «иерархии знания» от данных и информации до знания и мудрости.

поставления двух этих феноменов, необходимо, однако, ответить на вопрос, имеет ли подобное различие вообще какой-нибудь смысл. Этот вопрос встает прежде всего ввиду того факта, что и в науке, и в обыденной жизни оба эти понятия используются как равнозначные (например, Stewart, 1977: 24; Faulkner, 1994: 426)⁶⁰.

Ввиду исторического развития понятий «информация» и «знание» и принятой в современной науке и обыденном языке практике не проводить различий между знанием и информацией представляется едва ли не бессмысленным настаивать на их различии. И, тем не менее, я настаиваю на необходимости и эффективности этого понятийного различения, особенно ввиду того факта, что значение знания для возникновения и стабильности демократических отношений, как правило, сводится к ценности политической информации акторов.

Я ввел бы в заблуждение читателей, если бы стал утверждать, будто на сегодняшний день существует один-единственный способ разграничения знания и информации. В своем анализе я хотел бы уделить особое внимание не типичным формам инфраструктуры или масс-медиа, в контекст которых погружены знания и информация, а тому, что содержание информации в первую очередь касается характеристик продуктов или результатов (output; состояния, наличия)⁶¹, тогда как материя, из которой

⁶⁰ В этом отношении очень типично предложенное Томасом Стюартом определение информации как «сырья для знания». В результате разница между знанием и информацией почти полностью стирается. Так, Стюарт (Stewart, [1977] 1998: 27) подчеркивает: «Порой очень сложно понять, каким образом знание влияет на нашу хозяйственную жизнь, поскольку оно может принимать самые разные формы [...]: это и отчет о деятельности компании, и книги, и электроны, мчащиеся по киберпространству, и болтовня у кофеварки — все это формы обмена информацией». Стюарт, по-видимому, просто-напросто капитулирует перед безграничным разнообразием форм знания и гетерогенностью информации и решает использовать их как взаимозаменяемые понятия.

⁶¹ Мое определение информации не следует толковать в том смысле, что информация в принципе не может передавать какой-либо смысл. Цена того или иного продукта или же прилагающийся к нему сертификат транслируют определенный смысл для покупателя или наблюдателя. Так, цена продукта может отражать его репутацию в обществе, в то время как сер-

делается или состоит знание (или то, что из него следует), касается преимущественно нашедших применение характеристик процессов и ресурсов (input; процедура, технология)⁶². Таким образом, знание содержится не только в текстах (если, конечно, весь мир не понимается как состоящий из текстов или дискурсов), но и в вещах (ср. Hörning, 2001: 190). Также важно с самого начала подчеркнуть, что у знания и информации есть и общие атрибуты. Их главная общая характеристика заключается в том, что ни знание, ни информация никогда не существуют сами по себе, независимо от контекста. Пока я оставляю в стороне тот факт, что и информацией, и научными знаниями, как правило, обмениваются, помня об их притязании на истину. Однако прежде чем приступить к более подробному рассмотрению различия между информацией и знанием как различия между свойствами продуктов и технологий, уместно дать краткое описание других возможностей соотнесения этих двух понятий.

Почти симметричное или отрицающее какое-либо различие определение понятий «информация» и «знания» трактует информацию как «воспроизведенное знание» (Gehlen, [1957] 2004: 219) или как «знание, редуцированное до и конвертированное в сообщения, которыми субъекты принятия решений могут легко обмениваться между собой» (Dasgupta, David, 1994: 493). В рамках определенных дискуссий информация трактуется просто как один из элементов возможных форм знания⁶³ — «информация

тификат сигнализирует о моральном статусе соответствующего товара. По той же причине статистическая информация не только отражает общественную реальность, но, помимо этого, также раскрывает общественные проблемы. Такого рода статистические данные касаются того, какой могла бы быть реальность, и придают определенный смысл различным вариантам действия.

⁶² В том же направлении работает еще одно заманчивое различие между информацией и знанием: информация в нем трактуется как тело, а знание — как сознание; или еще одно разделение сигналов (знание) и шумов (данные, информация). В нашем мире объем шумов (big data) демонстрирует экспоненциальный рост, тогда как объем наших знаний увеличивается гораздо медленнее (ср. Silver, 2012).

⁶³ Еще один интересный тезис о потенциальном взаимодействии информации и знания встречается в юридических дебатах вокруг требования

всегда является лишь информацией в контексте определенного знания» (Abel, 2008: 17) — или, по крайней мере, как «косвенное» знание (см. Borgmann, 1999a: 49)⁶⁴. Под категорию сущностной симметрии знания и информации подпадает также историзирующее наблюдение, согласно которому знание трансформируется в информацию в результате широкой циркуляции («знание мутирует в информацию, как только достигается консенсус, и оно становится тривиальным, общим знанием» (Hecht und Edwards, in Edwards, 2011: 1422)).

В других контекстах информация описывается как кодифицированное знание, а знание — как накопленный запас информации (Burton–Jones, 1999: 5). Другими словами, информация (как

публичного неразглашения или полного запрета на упоминание той или иной информации по соображениям национальной безопасности. В дискуссиях о смысле и цели утаивания информации речь идет о «теории мозаики». Ее сторонники исходят из того, что «информация, кажущаяся незначимой, становится значимой, как только к ней добавляется другая информация» (Jaffer, 2010: 873). В конечном итоге, данный тезис сводится к тому, что комбинация более или менее несущественной информации может привести к пониманию способа функционирования целого, а, значит, к получению знания.

⁶⁴ Здесь достаточно привести еще один общий пример и указать на распространенную в литературе идею слияния информации и научного познания: «Информация формировалась как категория знания <...> По сравнению со знанием, она, как правило, в большей степени отдалена от теоретического контекста, в котором она создавалась. Информация обычно более тесно связана с технической, практической стороной знания <...> Информация есть часто встречающееся, но недостаточное знание» (Ezrahi, 2004: 257). В литературе о политическом знании также нередко можно встретить высказывания, в которых информация приравнивается к знанию, причем даже вопреки противоположным утверждениям со стороны одних и тех же авторов. Так, например, Эло и Рапели (Elo, Rapeli, 2011: 134) подчеркивают, что «одной из наиболее существенных слабостей научных работ о политическом знании и его взаимодействии с масс-медиа было недостаточно четкое разграничение знания и информации», но тут же добавляют: «В отличие от знания, информация обозначает привлекательно упакованный, очищенный, максимально сокращенный и концентрированный фрагмент знания». В дальнейших разделах этой книги я более подробно рассмотрю проблему смешения политического знания и политической информации.

может показаться) плавно перетекает в знание, и наоборот. При этом остается неясно, в чем вообще смысл этого различия между сырым материалом (информацией) и знанием (совокупностью этого сырого материала). Схожее понимание информации и отношения между информацией и знанием проявляется в тезисе о том, что знание и информацию связывают иерархические отношения, т. е. что информация является фундаментом или основой в процессе производства нового знания (например, Dretske, 1981: 86). Таким образом, информация трактуется как сырьевой материал «потенциала для решения интеллектуальных и практических задач» (Blome, 2006: 3). Это относится и к представлению о научных знаниях как об «осуществимой информации» — информации, трансформированной в знание (Jashapara, 2005).

В других концепциях знание в целом описывается как негласное, скрытое знание («tacit knowledge»), в котором видят ключ к пониманию информации (см. Dosi, 1996: 82–86). Здесь, если следовать классическому определению скрытого знания Майкла Полани (Polany, 1967: 204–206), речь идет об элементах знания, которые определяются лишь в самом общем виде, передаются преимущественно из уст в уста и отличаются высокой степенью привязанности к конкретным личностям и контекстам. По этой причине им не всегда можно научить другого путем эксплицитного объяснения, и они не всегда могут быть «упакованы» в пособия и учебные планы. Таким образом, знание и информация почти всегда, по крайней мере, негласно, оказываются нераздельно связаны между собой (см., например: Wikström und Normann, 1994: 10–11; Malik, 2005; Luhmann, 2002: 99). В любом случае произвольное смешение знания и информации — верный признак того, что знание утратило свое привилегированное положение. С другой стороны, отождествление знания и информации оставляет за скобками целый ряд интересных (междисциплинарных) вопросов (см. также: Fuller, 2001: 16–20). Некоторые из этих тем, ради которых следует различать информацию и научное знание, я хотел бы рассмотреть более подробно.

Несмотря на сильный соблазн пренебречь различием между знанием и информацией и рассматривать их если не как идентичные, то, по крайней мере, как тесно связанные между собой феномены,

многие исследователи все же пытаются более или менее четко различать знание и информацию. Так, например, Фриц Махлуп (1979а: 62) различает процесс переноса (информацию) и переносимое содержание (знание)⁶⁵. «Доставка» — это одна сторона медали, а доставляемый «объект» — другая. Старбак (Starbuck, 1992: 716), напротив, указывает на то, что понятие знания означает комплексную процедуру экспертизы, а не просто поток информации⁶⁶. Другими словами, научное знание относится к информации так, как капитал относится к доходам. Кеннет Боулдинг (Boulding, 1955: 103–104) поэтому предостерегает от определения знания как простого накопления информации. В отличие от информации, знание обладает структурой, оно представляет собой более или менее плотную сеть суждений и нередко также сложную форму взаимосвязей. Фриц Махлуп (Machlup, 1983: 644) обращает внимание на то, что новые знания можно получить, не имея новой информации. Наконец, Браун и Дугвид (Brown, Duguid, [2000] 2002: 119–120) подчеркивают, что знание обладает тремя характерными свойствами: во-первых, оно всегда указывает на знающего или на человека; во-вторых, его гораздо сложнее отделить от контекста, чем информацию; и, в-третьих, ассимиляция знания требует гораздо больших усилий, чем восприятие информации.

⁶⁵ В своем классическом исследовании «Производство и распределение знаний в США» Фриц Махлуп (Machlup, 1962: 15) предпринимает попытку эмпирическим путем определить объем основанной на знании и информации экономики в Соединенных Штатах, но при этом высказывается в пользу тесной взаимосвязи между информацией и знанием: «С точки зрения лингвистики, разница между знанием и информацией заключается, прежде всего, в глагольной форме: информировать кого-либо значит совершать действие, посредством которого передаются знания, тогда как знать что-либо — это уже результат. "Информация" как акт информирования создает в уме человека состояние знания. "Информация" как нечто, чем обмениваются люди, тождественна знанию в значении того, что эти люди знают».

⁶⁶ Поскольку за знанием признается более высокий интеллектуальный статус, вполне понятно, что, как пишут Джон Браун и Поль Дугвид (Brown, Duguid, [2000] 2002: 119), «индивиды все больше заинтересованы в том, чтобы их, безусловно, внушительный запас информации был сертифицирован как знание». Подобные амбиции ведут к тому, что понятия знания и информации все чаще совпадают.

Но, быть может, взаимозаменяемость понятий информации и знания, как она принята далеко не только в обыденном словоупотреблении, делает их разделение излишним? Конечно, в общественных местах — в аэропорту, торговом центре или на вокзале — очень часто можно встретить стойку информации, но очень редко — «стойку знания». Велика вероятность того, что эти традиционные неоднозначные практики словоупотребления вскоре окончательно утвердятся, да и кто, даже среди ученых, в состоянии провести четкую границу между обществом информации и обществом знания?⁶⁷

Не менее серьезным препятствием на пути к социологическому разграничению знания и информации стало буквально необозримое множество конкурирующих концепций знания и/или информации, которые к тому же возникли в рамках самых разных эпистемологических и онтологических подходов. Так, например знание и информацию можно развести с точки зрения экономических или других социальных взаимосвязей; но, с другой стороны, можно указать и на способ их, возможно, различного производства и распространения, на типичных носителей, на разные социальные последствия

⁶⁷ В поиске адекватного, с социологической точки зрения, различия между информацией и знанием я постараюсь ориентироваться на одну важную мысль, которую считаю нужным продолжить и развить. Я попытаюсь опровергнуть утверждение, высказанное в работе под названием «Новейший вклад в математическую теорию коммуникации» Уоррена Вивера (Weaver, 1949: 4): «Информацию нельзя путать со значением». В данном контексте примечателен пример телефонного счета, который приводит в своей книге Икиджуро Нонака (Nonaka, 1994: 16): «Счет за телефон рассчитывается не на основании содержания беседы, а исходя из длительности разговора и удаленности абонентов друг от друга». Я, впрочем, не принимаю ни синтаксическое определение Вивера (Weaver, 1949: 4), ни его тезис о том, что «информация определяется как логарифм количества выборов. Задействованные в коммуникации "байты" различаются в зависимости от того, что они переносят — либо способность приводить что-либо в движение, либо то, что передает атрибуты процессов и продуктов». В семантическом смысле информация может передавать определенное воззрение, которое необязательно совпадает с интерпретацией данной информации со стороны читателей или слушателей, например, их мнением, что цена того или иного товара неоправданно завышена.

и так далее. Некоторые из наиболее значимых концепций я хотел бы рассмотреть ниже.

Во многих языках присутствует различие двух форм знания — знания как знакомства с чем-либо и узнавания (knowledge of acquaintance) и знания чего-либо о чем-либо (knowledge-about). Слова «*connaitre*» и «*savoir*», «*kennen*» и «*wissen*», «*noscere*» и «*scire*» отражают именно это различие. Вот что пишет Уильям Джеймс (James, 1980: 221) о двух этих понятиях:

«Я знаком со многими людьми и вещами, о которых я знаю совсем немного, за исключением их присутствия в местах, где я их встречал. Я знаю синий свет, когда вижу его, и аромат груши, когда пробую ее; я знаю дюйм, когда отмеряю его пальцем; секунду, когда чувствую ее прохождение; попытку внимания, когда предпринимаю ее; разницу между двумя вещами, когда отмечаю ее; однако о внутренней природе этих вещей или о том, что делает их такими, какие они есть, я ничего не могу сказать».

Джеймсовское различие знания-знакомства и знания-о схоже с различием Гилберта Райла (Ryle, [1949] 2000: 27) между «знанием-что» и «знанием-как». «Знание-что» обозначает знание, которое можно выразить, тогда как «знание-как» включает в себя то, что лучше всего можно описать как «неявное знание»; из этого различия следует, что объем «знания-что» превышает объем «знания-как» (например, Ryle, [1949] 2000: 25). Это различие, проводимое Джеймсом и Райлом между знанием-знакомством и знанием чего-либо, возможно, в какой-то мере отражает различие информации и знания, при том что информация является менее фундаментальной и последовательной, более поверхностной и размытой формой знания какой-либо вещи или явления или описания какого-либо процесса⁶⁸.

Знание-через-знакомство или знание-признаков (Weltbank, 1999: 1), например, качеств или свойств продукта, добросовестности работника или рентабельности предприятия, относится к наличию (или отсутствию) информации о важных экономических «показателях» среди участников рынка. В экономичес-

⁶⁸ При этом Гилберт Райл (Ryle, 1945/1946), однако, подчеркивает, что «знание-что» необязательно или не всегда ведет к «знанию-как».

ком дискурсе понятие информации всегда используется именно в этом значении. В то же время эти понятия указывают скорее на инструментальную рациональность информации в значении свойства и инструкции.

Однако такое различие знания и информации даже в самом простом смысле слова не только асимметрично, но и таит в себе множество динамических аспектов, поскольку то, что можно было бы назвать «знакомством с чем-либо», превращается в «знание чего-либо» в том случае, если знание получает дальнейшее развитие, углубляется или достигает эксплицитной, артикулированной формы. Джеймс тоже учитывает эту тенденцию (James, 1890: 221), отмечая, что и та, и другая форма знания относительна, «поскольку является продуктом человеческого ума». Следовательно (и это подтверждается более поздними трактовками аргументации Джеймса (см., например, Park, 1940)), это различие соответствует, скорее, дихотомии между научным знанием в значении формального, аналитического, рационального и систематизированного знания, с одной стороны, и «информацией» в том смысле, в каком она впоследствии появляется во многих подходах к концептуальному различению знания и информации, с другой.

Учитывая, какое влияние на изучение данной проблематики оказала теория постиндустриального общества Дэниела Белла (Bell, 1973), имеет смысл рассмотреть и его представления об информации и знании (см. также Bell, 1979: 168) как о двигателе общественного развития. Прежде всего, Белл совершенно справедливо обращает внимание читателей на антропологическую константу: знание характерно и необходимо для существования любого человеческого общества. Что же касается постиндустриального общества, то в нем происходит трансформация характера самого знания: «Решающее значение для общества отныне приобретает теоретическое знание, примат теории над эмпирией и кодификация знания в абстрактные символические системы, которые можно использовать и трактовать разными способами. Каждое современное общество теперь живет за счет инновации и роста <...>. Теоретическое знание превратилось в матрицу инновации» (Bell, 1969: 353–354).

Проведение границы между современным теоретическим знанием, т. е. формами знания, типичными для индустриальных обществ, и «традиционными» научными знаниями, впрочем, ничего не говорит напрямую о попытке Белла разграничить понятие информации и знания: «Под информацией я понимаю обработку данных в самом широком смысле слова; хранение, повторное извлечение и обработка данных являются важнейшим ресурсом всех экономических и социальных процессов обмена» в постиндустриальном обществе (там же). Под знанием Белл понимает «упорядоченную совокупность высказываний или идей, представляющих рациональное суждение или результат эксперимента, систематическим образом транслируемый другим людям при помощи одного из средств коммуникаций»⁶⁹. Дэниел Белл, не говоря об этом напрямую, исходит из разного эпистемологического статуса (или ценности) знания и информации, что ведет к иерархической асимметрии между двумя этими понятиями. Информация тем самым легко превращается в «просто» информацию, в гору данных или в «давящее присутствие предметного» (Frühwald, 1998: 228), в то время как знание получает высокий статус методологически проработанных, рациональных, раскрытых и взвешенных познаний.

У этой дихотомии, кроме того, есть экзогенные, не связанные с данным конкретным феноменом качества, т. е. она никак не связана с контингентным характером производства и применения информации и знания. Далее, обращает на себя внимание тот факт, что знание и информация могут практически беспрепятственно перетекать друг в друга; остается неясным, есть ли связь между этими двумя понятиями, и если да, то какого рода. Наиболее активно, пожалуй, пропагандируется представление о том, что информация — это что-то вроде мальчика на побегушках у научного знания. Белл трактует знание и информацию преиму-

⁶⁹ Дэниел Белл предлагает еще одно, как он его называет, «операциональное» определение знания: «Знание есть то, что известно объективно, это интеллектуальная собственность, соотнесенная с конкретным именем или группой имен, подтвержденная авторским правом или какой-то другой формой социального признания».

пещественно как абстрактные, формальные, изолированные и отделенные от людей феномены. Одним словом, если говорить о специфическом характере знания, то концепция Белла не столько отвечает на вопросы, сколько поднимает новые. В конечном итоге создается впечатление, что Белл слишком сильно полагается на (непоколебимый) авторитет и власть информации и научного знания⁷⁰.

Еще один подход можно обнаружить в размышлениях экономиста Джованни Дози на эту тему. Те признаки, которые, согласно Беллу, как раз разделяют знание и информацию, Дози включает в понятие информации. Информация, как утверждает Дози, «обозначает однозначно сформулированные и кодифицированные гипотезы о "состоянии мира" (например, "идет дождь"), о свойствах природы (например, "А есть причина Б") или эксплицитных алгоритмах того, как достичь тех или иных целей. Знание, в свою очередь, <...> включает в себя когнитивные категории, коды интерпретации информации, имплицитные способности и эвристические решения проблем и поисковые методы, не сводимые к четко определенным алгоритмам» (Dosi, 1996: 84)⁷¹. Если брать за основу этот вариант разграничения информации и знания, то и здесь информация снова оказывается в значительной степени тождественной «кодифицированному знанию», в то время как знание приближается к «неявному» или неартикулированному (или в принципе не поддающемуся артикуляции) знанию⁷².

⁷⁰ Несколько несдержанную критику белловского понятия информации можно найти в работе Шиллера (Schiller, 1997: 106–109). Шиллер обращает внимание на позитивистскую трактовку этого понятия у Белла, что прежде всего означает принципиальное игнорирование специфических социальных и культурных контекстов информации (и ее смысла).

⁷¹ Доминик Форей (Forey, 2006: 4) в своей «Экономике знания» следует концепции Дози: «Информация <...> принимает форму структурированных и отформатированных данных, которые остаются пассивными и инертными до тех пор, пока их не используют те, кто обладает знанием и нуждается в этих данных». Информация подчинена знанию. Воспроизводство информации происходит по простому экономическому принципу удвоения.

⁷² В социально–научной литературе понятия «скрытого» или «локального знания» все чаще используются как близкие по значению, однако до

Несмотря на эти противоречия, обсуждение взаимоотношений между понятиями «знание» и «информация» имеет смысл уже хотя бы потому, что дает возможность проверить на прочность некоторые высказывания о роли знания в контексте общества.

Знание, согласно моему определению, есть способность к действию. Научное знание есть модель для реальности. В совокупности с контролем над случайными обстоятельствами действия, оно дает действующему субъекту возможность привести в движение, изменить что-то. Стало быть, знание в значении способности к действию — это необходимое, но еще не достаточное условие действия. Чтобы привести в движение что-то старое или начать что-то новое, обстоятельства действия должны находиться под контролем действующего субъекта (что не означает, что он должен контролировать все условия действия; независимо от того, кем является действующий субъект, всегда существуют какие-то условия действия, которые недоступны влиянию). Так, например, недостаточно знать, как перенести с места на место какой-то тяжелый предмет. Чтобы иметь возможность реализовать это намерение, нужно иметь в своем распоряжении подходящее транспортное средство. Ценность знания связана с его способностью приводить что-либо в движение, однако и здесь всегда необходимы дополнительные интерпретативные умения и контроль над ситуацией. Производство, распространение и применение знания конституируют форму действия. Знанием не обладают. Знание — это (когнитивная и коллективная) деятельность⁷³. Человек не потребляет знание, а усваивает.

сих пор отсутствует общее определение этих понятий (см. также подробно задокументированную историю их различного применения в научных исследованиях в: Cabrosio, Keating, 1998). Теоретик наукоемкого предпринимательства Икуджио Нонака (Nonaka, 1994: 18) подчеркивает тесную связь между «скрытым» и «эксплицитным» знанием, которая выражается в своеобразной спирали взаимного оплодотворения: «(1) от скрытого знания к скрытому знанию, (2) от явного знания к явному знанию, (3) от скрытого знания к явному и (4) от явного знания к скрытому».

⁷³ Фрэнк Блэклер (Blackler, 1995: 1022) прежде всего по этой причине называет знание «погруженным в мозг» («embrainded») (т. е. зависящим от понятийных и когнитивных способностей), в культуру («encultured»), обусловленным процессом достижения взаимопонимания), в контекст

Информация, как мы видим, выполняет, с одной стороны, более узкую, а, с другой стороны, более общую функцию, чем знание. Информацией обладают, и доступ к ней предъявляет относительно низкие требования⁷⁴. Вероятно, именно поэтому можно говорить о передаче или трансляции информации. Допустимо ли говорить о непосредственной передаче знания, напротив, вопрос спорный. «Передача» знания связана с активным (но необязательно индивидуальным) процессом переговоров, научения или даже открытия (ср. Carley, 1986). У того, кто «знает», есть определенная история, определенная социальная позиция и определенный взгляд на вещи (Oyama, 2000: 147). Знание означает усвоение

(«embedded», зависящим от систематических рутинных действий), в телесную форму (embodied, зависящим от тела) и систему символов (encoded, связанным со знаками и символами). В такой трактовке знание предстает как крайне сложный феномен, который невозможно описать при помощи одного, двух или трех характерных свойств.

⁷⁴ Понятие информации как ресурса восходит, если я не ошибаюсь, к предложенной Грегори Бейтсоном (Bateson, 1972: 482) концепции информации в значении «новости, создающей различие». В другом месте Бейтсон (Bateson, 1972: 381) обращает внимание на то, что информация исключает определенные альтернативы. Определяя информацию как «любое различие, проводящее различие в более позднем событии», он приближает понятие информации к понятию знания в значении способности действовать и модели для реальности, особенно в том случае, когда встает вопрос о конкретном различии, которое вносит та или иная информация, а также о том, относительно чего делается данное различие и для кого оно является таковым. Никлас Луман (Luhmann, 1997: 198) принимает определение Бейтсона: информация — это различие, которое проводит различие и, в значении «новости» (например, в случае указания на рост численности населения или климатические изменения), привлекает внимание системы и способствует тому, чтобы эта система двигалась в сторону изменившихся системных условий. Категориальный аппарат Лумана (Luhmann, 1997a: 198, Stehr, 2000a) позволяет ему принять бейтсоновское определение информации как различия, порождающего различие в значении «новости». Но, как в этой связи подчеркивает сам Луман (Luhmann, 1984: 101), «информация, повторенная в своем изначальном смысле, уже не является таковой. <...> С другой стороны, исчезая как событие, информация не теряется. Она меняет состояние системы, т. е. оказывает воздействие на ее структуру, и система реагирует на эти изменившиеся структуры и посредством этих изменившихся структур».

и переговоры, а не просто потребление или ассимиляцию. Знание требует, чтобы что-то делалось в определенном контексте, выходящем за рамки непосредственной ситуации, в которой происходит соответствующая деятельность или совершается нечто значимое. Знание — это действие. Другими словами, знание (получение знаний) — это когнитивное, коллективное и активное предприятие множественных акторов.

Информация, напротив, «перемещается», не встречая каких-либо серьезных препятствий. Информация относительно более мобильна и универсальна, поскольку не так дефицитна, как знания. Информация также менее чувствительна к контексту. Информация может существовать отдельно, сама по себе. Она может появляться изолированно, и она не так тесно связана с другой информацией, как связаны между собой знания. Кроме того, для одного или нескольких действующих субъектов доступ к информации и пользе от нее не ограничен напрямую.

Несмотря на то, что и знание — «скоропортящийся товар», информация все же, как правило, быстрее утрачивает свою ценность. Информация о том, что сейчас выгодно покупать акции компании X, стремительно теряет свою ценность, причем не только тогда, когда получает широкое распространение и служит ориентиром для многих покупателей. В более общей формулировке это означает, что предельная полезность информации, как правило, очень незначительная. При желании можно добиться резкого снижения ценности конкретной информации, действуя в соответствии с ней.

Впрочем, знание тоже может обладать ограниченной потребительской полезностью, поскольку само по себе знание не может привести в движение ни один процесс. Информация же, по крайней мере, может служить средством или стать первым шагом к получению знания⁷⁵. Знание — ненадежный товар, хрупкий и

⁷⁵ Пол Аттевелл (Attewell, 1992: 6) в своем исследовании о распространении компьютерных технологий подчеркивает, что «применение той или иной сложной новой технологии требует как индивидуального, так организационного обучения. Индивидуальное обучение включает в себя перевод индивидуального опыта в отношении соответствующей технологии в понимание, которое можно рассматривать как личные навыки и знания.

очень требовательный. Знание связано с неопределенностью. Оно более чувствительно к контексту. С помощью знания можно что-то начать или изменить. Информация же, будучи однажды усвоенной, может передаваться дальше или храниться с тем, чтобы быть использованной позднее или стать средством манипуляции.

Хорошим примером этой сигнальной функции информации является ценовая реклама и прочая рыночная информация, например, об ассортименте продукции⁷⁶. Такая информация, безусловно, может быть полезной, и она повсеместно представлена в современной экономике; однако само по себе обладание информацией такого рода не имеет каких-либо серьезных последствий. Потребителю информация о цене в сочетании со знаниями о тенденциях развития рынка может дать шанс сэкономить деньги. Однако информация о цене не помогает разобраться в плюсах и минусах разных экономических систем, внутри которых формируются эти цены. Сравнительный анализ плюсов и минусов различных экономических систем для определенных субъектов экономической деятельности требует специальных экономических и социологических знаний. Информация,

Организационное обучение состоит из этого индивидуального обучения членов организации, но имеет и свои характерные особенности. Организация учится исключительно за счет того, что индивидуальные представления и умения интегрируются в рутинную деятельность организации, ее практики и убеждения, способные существовать дольше индивидуальных».

⁷⁶ Альберт Боргман (Borgmann, 1999: 1–2) в своей концепции также подчеркивает сигнальную функцию информации; он выделяет «естественную» или непосредственную, «культурную» и «техническую» информацию. Для отнесения информации к одной из этих категорий имеет значение ее погруженность в определенные контексты (например, технические или культурные артефакты, в частности, географические карты, и способ передачи). До сих пор эти формы информации, возникшие и утвердившиеся в разные исторические периоды, сосуществуют в современном обществе. Однако Боргман (Borgmann, 1999: 2) опасается, что противостояние между ними завершится в пользу новых типов: «На сегодняшний день эти три типа информации где-то накладываются друг на друга, где-то сталкиваются друг с другом, а где-то — смещаются и отбрасываются. Однако очевидно, что технологическая информация представляет наиболее важный пласт современного культурного ландшафта, и во все большей степени это уже не столько слой, сколько неудержимый поток, лава, грозящая разрушить, снести и уничтожить своих предшественников».

как и язык, по сравнению со знанием, в гораздо большей степени является общедоступным благом. Отсюда следует общий вывод, что для описания распространения или «диффузии» информации достаточно относительно простой модели коммуникации.

Знание относится к атрибутам процессов (например, производства какого-либо товара) или применяемых содержаний (input), тогда как информация относится к свойствам или функциям данного товара (output). Как пишет Чарльз Линдблом (Lindblom, 1995: 686) в связи с атрибутами товаров и услуг и решениями, которые относительно этих товаров и услуг принимают потребители: в случае многих решений, принимаемых в условиях рынка, люди «не контролируют условия производства, и лишь немного знают о <...> том, как и где производится холодильник, какие условия труда у рабочих, используются ли в процессе производства вредные вещества, и так далее». Потребитель информирован о цене холодильника, о его энергоэффективности, о вероятном сроке службы, условиях гарантийного обслуживания, цвете, вместимости, габаритах и так далее. Однако ни одно из предоставляемых потребителю сведений ничего не сообщает о процессе производства холодильника, не говоря уже о наделении способностью самому сделать такой же.

1.1.3. Почему знание и информация должны рассматриваться как политический капитал?

Одна из главных тем моего исследования взаимосвязей между компетентностью и свободой касается вопроса о том, почему вообще следует рассматривать знание (не информацию) как политический капитал для демократий и в какой степени это относится к современным демократиям. Чтобы ответить на этот вопрос, я кратко рассмотрю теоретически и эмпирически обоснованные утверждения взаимосвязи между индивидуальным или общественным уровнем знаний граждан, их доступом к знанию и типом господствующего политического режима.

По причинам эвристического характера в центре моего внимания оказываются утверждения, признающие наличие взаимосвязи между высоким общим уровнем (рациональных) познаний,

интеллектуальных способностей и образования, с одной стороны, и возможностью и сохранением демократии, с другой. Те авторы, что подтверждают существование взаимоусиливающего отношения между знанием и демократией, как правило, исходят из того, что для появления и сохранения определенных ценностей, обязательств и способов поведения, которые, в свою очередь, поддерживают демократическое общество в его функционировании, решающее значение имеет знание граждан. При этом логика аргументации такова: знание усиливает неприятие политических убеждений, которые ставят под сомнение демократические идеалы; знание повышает способность или же снижает неуверенность в собственной способности участвовать в рациональных политических дискурсах; знание помогает верно оценивать политические альтернативы и напрямую связано с интеллектуальными способностями, необходимыми для оценки конкурирующих политических целей. Или, если говорить еще более обще, главной темой размышлений о знании и демократии является надежда, которую Филип Китчер, ввиду политических реалий во многих современных обществах, считает идеалом. Речь идет о надежде на то, что прогресс в сфере знания будет идти рука об руку с прогрессом в сфере развития политических институтов.

Один из виднейших теоретиков демократии Роберт А. Даль также говорит о необходимости «просвещенного понимания» политических взаимосвязей со стороны граждан, которое он считает одной из важнейших предпосылок и характеристик процедурной демократии. Говоря об этом критерии просвещенного понимания, Даль (Dahl, 1994: 30–31; см. также Dahl, 1989, 1977: 11) хочет обратить наше внимание на то, оправданием демократии не может служить сам по себе факт, что сумма не артикулированных, необоснованных мнений большинства граждан трансформируется в политические решения. «Глупо и исторически неверно полагать, что просвещение никоим образом не связано с демократией <...> Поскольку сторонники демократии всегда это понимали, они много внимания уделяли средствам информирования и просвещения граждан, таким как образование, дискуссия и обсуждение. Требование просвещенного понимания политических тем и процессов со стороны граждан означает, что государ-

ства в целом и альтернативные формы предлагаемых государством возможностей научиться участвовать в нахождении решений оцениваются по тому, насколько эффективно они могут реализовать требуемое Далем (Dahl, 1977: 12) просвещенное понимание.

Требование такого рода понимания, как признает и сам Даль (Dahl, 1977: 18), не только очень тяжело реализовать на практике, но и сложно определить⁷⁷, учитывая всего три названных им критерия успешной процедурной демократии⁷⁸. Что именно представляет собой просвещенное понимание, насколько всеобъемлющим оно должно быть, как трудно его достичь, какие ресурсы и усилия обязаны приложить граждане и государство — все эти важные вопросы, вытекающие из требования Даля, остаются без ответа. Сам Даль (Dahl, 1977: 18) вполне осознает ограниченные возможности реализации этого требования: «Было бы крайне нереалистично ожидать от граждан, даже самых образованных из них, такого уровня технических знаний», который бы позволил им участвовать в технологической и экономической дискуссии об взаимовлиянии инфляции и безработицы. Заключен ли один из важнейших или, быть может, даже самый важный ответ на эти сложные вопросы в незапланированных или неожиданных последствиях трансформации современных обществ в общества знания?

Сеймур Мартин Липсет (Lipset, 1959: 79) одним из важнейших общественных условий существования демократических государств считает высокий уровень образования. Однако в отношении взаимосвязи уровня образования и демократии имеют место характерные отклонения, как, например, национал-социализм в Германии или фашизм в Италии, не говоря уже о том, что авторитарные общества в целом обладают особой привлекательностью в глазах интеллигенции. Критикам роли школьного образования и его влияния на демократические убеждения легко найти аргументы в доказательство того,

⁷⁷ Здесь я хочу отослать читателя к экскурсу «Сколько знания нужно для демократии и насколько дорогим оно может быть?» в данной книге.

⁷⁸ Помимо «просвещенного понимания», доктрина процедурной демократии основывается на «политическом равенстве» и «эффективном участии» граждан. Легко увидеть, что все три характеристики демократии тесно связаны между собой.

что фактическая педагогическая практика во многих школах скорее подавляет чувство свободы и ограничивает личный опыт свободы: регламентация, дисциплина, подавление креативности и любознательности вряд ли могут служить основой для формирования устойчивого чувства свободы⁷⁹.

По мнению Липсета, решающее значение для существования и стабильности демократического режима имеет не объем знаний, которым располагает каждый конкретный индивид, а определенные ценностные представления, которые как раз и связаны с уровнем образования.

«Есть основания полагать, что образование расширяет кругозор, помогает людям понять необходимость норм толерантности, удерживает их от следования экстремистским и монистическим доктринам и повышает их способность совершать рациональный электоральный выбор».

Американский политолог Харольд Д. Лассвелл (Lasswell, 1966: 36) считает, что для свободного общества характерно распределение определенных ценностных образцов (объектов желания) в обществе, и демократия зависит от правильного распределения таких ценностей, как власть, уважение к человеческому достоинству и знание: «Там, где достоинство человека учитывается в полной мере, и власть, и уважение, и знание распределены между гражданами. Общество, в котором эти ценности широко распространены, — свободное общество». В отношении равномерного социального распределения знания и его роли в реализации демократии Лассвелл (Lasswell, 1966: 45) уточняет: «Чтобы демократические формы власти наполнились реальной жизненной силой, подавляющее большинство населения земли

⁷⁹ Мартин Липсет (Lipset, 1959: 70) констатирует, что «статистическое преобладание благотворного влияния на демократию такой переменной, как образование, показывает, что наличие отклонений (таких, как Германия, подчинившаяся диктаторскому режиму, несмотря на развитую систему образования) не могут служить солидной основой для отказа от данной гипотезы». Не укладывающийся в общую концепцию случай Германии свидетельствует, среди прочего, о том, что высокий уровень формального образования среди населения может идти рука об руку с трансляцией не-демократических ценностей.

должно быть наделено достаточными интеллектуальными навыками, позволяющими адекватно оценивать политические цели и альтернативы»⁸⁰.

Помимо общих высказываний о пользе знания для демократии в литературе можно найти множество эмпирических исследований, тема которых — политическое знание населения. К настоящему моменту собран колоссальный объем данных по политическому знанию во многих странах земного шара. Поиск эмпирических индикаторов для измерения и оценки роли политического знания в общем и целом базируется на допущениях, схожих с разнообразными суждениями о выгоде, которую приносит демократии хорошо информированные граждане. Но что значит — хорошо информированный актор (см. Schütz, 1946)? В одной из последующих глав я более подробно с критической дистанции рассмотрю то, что в литературе принято называть «политическим знанием». Однако уже сейчас необходимо подчеркнуть, что под политическим знанием обычно понимают «фактическую информацию о политике, хранящуюся в долгосрочной памяти» (Carpini, Keeter, 1996: 10)⁸¹.

Майкл Делли Карпини и Скотт Китер в своем мета-исследовании (Carpini, Keeter, 1996: 272) проанализировали большой объем эмпирических данных по политическому знанию американцев. В результате они пришли к выводу, что политическое знание играет немаловажную роль. Более подкованные в политических вопросах члены общества «с большей вероятностью участвуют в политике, имеют осознанные, устойчивые установки

⁸⁰ Практическая реализация распространенного желания относительно равномерного распределения власти, уважения и знания зависит и от других социальных процессов, которые либо способствуют широкому распространению этих ценностей в обществе, либо препятствуют ему. В наши дни Вилкинсон и Пикетт (Wilkinson, Pickett, 2009) исследовали эмпирическую взаимосвязь между структурами распределения доходов в обществе и определенным набором индивидуальных характеристик, в частности, здоровьем.

⁸¹ См. также исследование Говарда Шумана и Эми Корнинг, проведенное в 1994 году (Schuman, Corning, 2000), где они выявляют «знание» (а по сути информированность) русских респондентов в отношении ряда исторических событий последних шестидесяти лет в России и СССР.

по тем или иным вопросам, лучше соотносят свои интересы и установки, с большей вероятностью выбирают кандидатов, разделяющих их собственные убеждения, и поддерживают демократические нормы».

1.2. Демократия: кто правит?

После колоссальных откатов в первые два десятилетия прошлого столетия — в 1941 году в мире было всего одиннадцать демократических государств (см. Keane, 2009: xxiii) — во второй половине двадцатого века демократия становится господствующим политическим мировоззрением и политической реальностью во всех частях земного шара⁸². Несмотря на то, что во всем мире демократия вызывает уважение как желательная форма политического правления, на практике она не реализуется повсеместно и не признается безоговорочно всеми акторами. В настоящее время демократические формы правления «достигли такого статуса, что в целом считаются справедливыми. Теперь слово за теми, кто хочет раскритиковать ее в пух и прах, чтобы оправдать отказ от демократии» (Sen, 1999: 5). Условия свободы и условия демократического правления очень схожи, и в первую очередь это касается широко распространенного среди населения определения демократии, несмотря на то, что и в демократических странах часто попираются индивидуальные свободы и права⁸³. И, тем не менее, во многих демократических государствах общее одобрение демо-

⁸² Результаты Всемирного обзора ценностей позволяют понять, в какой степени демократия пользуется поддержкой во всем мире: «безусловное большинство населения земного шара поддерживает демократию» (Inglehart, 2003: 51).

⁸³ Определенная степень свобод — основополагающий элемент демократии, поэтому вслед за Самуэлем Хантингтоном (Huntington, 1984: 194) мы можем ожидать, что «в долгосрочной перспективе одним из последствий реализации демократической политики, возможно, станет расширение и углубление индивидуальной свободы». Фрэнк Х. Найт (Knight, 1938: 318) в ходе обсуждения содержания понятия «демократия» указывает на то, что «концепция свободного управления представляет собой парадокс или мнимое противоречие, ибо в принуждении — антониме свободы — заключена суть любого правления».

кратических принципов и идеалов идет руку об руку с широко распространенным разочарованием в отношении фактических достижений представительской демократии (ср. Norrgis, 2011a: 236–246). Современные тенденции экономического, политического, технического, социального и культурного развития, а также общественные кризисы не оставляют сомнений в том, что в будущем возникнут формы демократии, отличные от нынешних.

К значимым трудностям, с которыми приходится сталкиваться современным демократиям⁸⁴ и о которых я более подробно буду говорить ниже, относятся новые глобальные вопросы, будь то в связи с глобальной экономикой или глобальными экологическими проблемами, которые время от времени выливаются в призывы к созданию мирового правительства. Возможность глобального политического правления (без утраты политических прав со стороны индивидуальных и коллективных акторов, ср. Fischer, Green, 2004), по крайней мере, в некоторых политических кругах остается одной из главных надежд, которая, впрочем, не спешит сбываться. Однако же вопрос о том, на что вообще сегодня способна политика, встает не только в связи с глобализацией, но и в связи с проблемами и противоречиями, с которыми сталкивается демократия сегодня. Для многих народов — немногочисленные исключения составляют некоторые мусульманские государства, покинутые меньшинствами — сегодня характерно растущее этническое, религиозное и социально–культурное многообразие,

⁸⁴ В контексте социально–научных дискуссий о «траекториях политического развития» в послевоенный период как одного из проявлений модернизации (см. Deutsch, 1961; Huntington, 1965) демократизация предстает лишь одним из многих признаков политического развития. Наряду с ней речь идет о таких признаках, как «рационализация», «национальная интеграция» и «мобилизация и участие». Политолог Сэмюэль П. Хантингтон (Huntington, 1965: 388) и другие известные современные теоретики (см. Almond, Verba, 1963) обращают внимание на степень и культуру политического участия как на главный признак, отличающий современную политику от традиционной. Это различие, в свою очередь, резко контрастирует с наблюдаемой политической практикой и неоднократно высказываемыми опасениями в связи с постепенным, но неуклонным сокращением (формального) политического участия в современных демократических обществах.

социальная дифференциация (см. Bohman, 1999a). Определяемая таким образом неоднородность нации зачастую ведет к тесным социально–политическим связям за пределами национального государства (ср. Glazer, 2010; Linz, Yadav, 2010).

Неудивительно, что повсеместное распространение демократии за последние несколько десятилетий по разным поводам и причинам сопровождалось увеличением числа как консервативно, так и прогрессивно мыслящих критиков. Так, в глазах некоторых из них демократия предстает неудобной или обременительной формой правления, поскольку слишком медленно или неэффективно реагирует на глобальные кризисы, такие как, к примеру, изменение климата (см. Shearman, Smith, 2007) или экономический кризис (Gilley, 2012)⁸⁵. Одно из главных опасений, которое находит выражение в этих критических наблюдениях, касается глобализации без глобального правительства»⁸⁶.

В то же время новейшая концепция, согласно которой мы — по крайней мере, в западных демократических странах — на самом деле живем уже в условиях «постдемократии», больше не кажется странной и необоснованной характеристикой современной политической ситуации (см. Jökre, 2005). «Постдемократия» как понятие и критический диагноз, как правило, призвана обратить наше внимание на то, что политическая власть граждан в современных

⁸⁵ См. мой экскурс «Неудобная демократия» в одной из следующих глав. Высказываемая в этой связи критика демократии и демократически организованных политических процессов не исходит от представителей авторитарных политических систем; это скорее «тщательно продуманная, научно обоснованная и заслуживающая уважения критика демократии, сформулированная главным образом западными учеными» (Gilley, 2009: 113).

⁸⁶ В то время как подавляющее большинство наблюдателей убеждены в том, что хотя пока мир живет без глобального правительства, в той или иной форме оно все же необходимо, отдельные люди и группы людей убеждены в том, что в мире уже существуют эффективные, но тайные формы мирового господства (см., например: <http://www.google.se/search?q=global+round+table+club+of+rome&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a>). Вопрос о том, способствует ли глобализация деполитизации или реполитизации определенных сегментов общества в первую очередь в демократических странах, выходит за рамки моего исследования (см. Arce, Kim, 2011).

обществах неуклонно сокращается. В диагнозах политической пассивности или бессилия в качестве причин этих тенденций указываются самые разные социальные изменения в рамках отдельных государств или всего мира, в частности, «потребительство» (Wolin, 2001: 561–572), власть исследователей общественного мнения, глобальный капитализм (Crouch, 2004) или же фундаментальные транснациональные преобразования, радикально ограничивающие дееспособность национального государства (Hobsbaum, 1996: 271–274; Held, 1991: 885–887; Dahrendorf, 2002: 11).

Еще одно критическое замечание, часто высказываемое консервативными наблюдателями, касается не столько определенных недостатков демократических институтов и форм господства, сколько недостаточно выраженных характеристик граждан, поддерживающих демократию и наносящих ей ущерб, и тем самым повторяет предыдущие опасения (Lippmann, [1922] 1997) в связи с недостаточной гражданской компетентностью (Dahl, 1992). Нередко критики с горечью обращают внимание на политическое невежество, отсутствие интереса и иррациональность значительной части населения демократических государств (см., например: Posner, 2003: 16; Caplan, 2007; Somin, 2009) и отсутствие у них когнитивных способностей и знаний, релевантных для эффективного участия в процессе принятия политических решений⁸⁷.

⁸⁷ В научной литературе и масс-медиа можно найти множество наблюдений и диагнозов недостаточных когнитивных способностей и знаний у среднестатистического гражданина современного общества. Эксперт в области климата и энергетики Влацлав Смил (цитаты из его интервью с Робертом Брюсом можно найти в "Energy Tribune" 2007, <http://www.robertbryce.com/smil>), к примеру, глубоко убежден, что история еще никогда не знала «столь глубокого научного невежества и элементарной безграмотности», как сегодня. «Неудивительно, что, обладая фундаментальными знаниями в области физики, химии и биологии и столь же плохо понимая основы экономики, люди верят всему». Другие ученые дают общественности в роли партнера в разговоре о научных и технологических вопросах еще более суровую отповедь (см. Moonet, 2010: 2). См. также опубликованные под заголовком «Общественность хвалит ученых, ученые ругают общественность» и упомянутые в одной из последующих сносок результаты опроса в Интернете: <http://people-press.org/report/528>. В одной из следующих глав я вернусь к анализу и критике этого тезиса и предполагаемого

Фактически существующие демократические формы правления отличались многообразием характеристик и вариантов развития и поэтому очень неоднородны. Точно так же велико число нормативных, формальных и идейных концепций демократий, пытающихся ответить на вопрос, кто правит в обществе, какие свободы защищает та или иная политическая система и какие притязания она признает (см. Whitehead, 2011; Markoff, 2011). Пожалуй, в самом распространенном научном определении демократии акцент делается на наличие демократических институтов и форм правления⁸⁸.

Уже в силу приведенных выше фактов нет смысла искать одно, приемлемое для всех понятие демократии. Поэтому я приведу ряд определений демократии, кратко представлю источники их происхождения, а, самое главное, рассмотрю реальные общественные условия, в которых существуют демократические режимы, чтобы задать вопрос «Кто правит» и на основании полученных ответов дать реалистичную оценку шансов широкого демократического участия в современных обществах⁸⁹. Реалистичная концепция

влияния познавательных способностей и научных знаний среднестатистических граждан на политическую ситуацию в современных обществах.

⁸⁸ Помимо институциональных атрибутов, в центре некоторых концепций демократии оказываются также желательные психологические или личностные характеристики граждан. Так, например, Дэниел Лернер (Lerner, 1958) подчеркивает значение эмпатии и «общей способности представить себя в ситуации другого человека, благоприятной или неблагоприятной». В одном из последующих разделов я более подробно рассмотрю особые психологические характеристики, которые, по мнению Бернарда Берельсона (Berelson, 1952), способствуют стабильному функционированию демократии.

⁸⁹ Стоит взглянуть, к примеру, на оживленные обсуждения идеи демократии среди представителей политической философии, социологии и политологии в конце 1960–х–1970–х годах. Сторонники чисто описательной, нейтральной эмпирической теории (например, Dahl, 1961a), несмотря на самопозиционирование в качестве политически нейтральных ученых, стали объектом острой критики, выразители которой увидели в них сторонников идеологической по сути и консервативной трактовки демократии (например, Bay, 1965). В своем анализе этого спора Скиннер (Skinner, 1973) приходит к заключению, что ни критики, ни критикуемые ими ученые не смогли должным образом обосновать свою позицию. Скиннеровская оценка понятия демократии, как его трактовали Дал и другие американские теоретики,

возможности широкого политического участия и, соответственно, ограничения власти власть предержащих исходит из того, что теория должна учитывать фактическую ситуацию в современных обществах. К реалистичному подходу относится стремление рассматривать «причины» возникновения и стабильного функционирования демократического политического правления не в рамках аисторичных моделей, а изучать историческую трансформацию самих этих моделей. Еще одно реалистичное условие заключается в том, что демократические режимы должны расширять политическое участие на всех постоянно проживающих граждан той или иной страны, не создавая исключений в виде групп, объединенных по тому или иному признаку (например, тех, кто не владеет недвижимостью) (см. Dahl, 1998: 37–38).

До и даже во время эпохи французской революции понятие демократии употреблялось преимущественно в кругу ученых. Лишь благодаря сочинениям просветителей XVIII–го века оно выходит за пределы академической среды и становится общепотребительным, в частности, в качестве исторического понятия в размышлениях о прошлом или же актуального политического понятия в анализе актуальной социально–политической ситуации (ср. Palmer, 1953; Maier, 1971; Williams, 1988). В современном мире основной характеристикой демократий считается безусловное требование, чтобы «вся политическая власть происходила от граждан». Особенно отчетливо это требование выражено в конституциях государств, стремящихся установить и сохранить демократический режим. Такая формулировка отражает политическую независимость нации, которая является одновременно субъектом и держателем конституционной власти. В подобных конституционных условиях свобода и политическое равноправие — это право каждого гражданина или, по крайней мере, тех, кто, согласно конституции, способен действовать свободно и самостоятельно (Leibholz, 1938). Граждане имеют право влиять на политические

сводится к тому, что в данном случае речь идет о консервативной концепции. В то же время разработки эмпирических теоретиков имеют своей целью ответить на попытки поставить под сомнение утверждаемый ими демократический характер определенных ценностей и поведенческих паттернов.

и кадровые решения правительства; рекомендации граждан (consultation) обязательны к исполнению (ср. Tilly, 1999: 415).

Конституционные положения о равноправии граждан свидетельствуют о том, что главные характеристики демократии касаются обязательств государства перед гражданами. С недавнего времени в обязанности государства входит также предоставление количественной информации о социально-демократической и социально-экономической ситуации, в частности, по вопросам безработицы, демографического развития, криминальной статистике, статистике разводов, внешней торговли, регистрации транспортных средств, выбросов углекислого газа, тенденций развития ВВП и так далее (ср. Webster, 1999: 374–375).

Однако следует отметить также обязательства и сферы ответственности индивиды, связанные с членством в коллективе, а именно ответственность за то, что происходит в политике и обществе. Ярким примером здесь может служить дискуссия о «коллективной вине» проживающих на территории Германии граждан за преступления нацистского режима⁹⁰. Однако и в этом случае демократическое участие граждан лишь в редких, чрезвычайных обстоятельствах осуществляется в форме прямой демократии и, соответственно, непосредственной ответственности. Характерной чертой большинства демократических режимов является конкурентноориентированная партийная система.

В разработке общего, годного для данного исследования рабочего определения демократии я не могу учитывать множество частных и общих социальных, политических и экономических

⁹⁰ Параллельное требование имело место после революции 1918-го года в Баварии. Отто Нейрат (и В. Шуман; Neurath, Schumann, 1919: 1), занимавший пост руководителя службы планирования в Баварской советской республике, обращает внимание на индивидуальную ответственность каждого гражданина: «Революция в одночасье превратила каждого взрослого жителя Германии в участника последовательно реализуемого демократического правления. Это означает не что иное, как ответственность каждого мужчины и каждой женщины за то, что здесь происходит. Общественный порядок теперь не наша судьба, а наше деяние, наш грех. Каждый, кто имеет право голоса, влияет на то, какие силы и идеи приобретают значение. Более того, каждому индивиду вменяется в обязанность знать важнейшие характеристики нашего общественного строя и других возможных устройств».

проблем⁹¹, которые изначально послужили причиной основания демократических государств. Однако не вызывает сомнений тот факт, что именно те исторические трудности, которые должно было решить демократическое устройство, и по сей день влияют на ситуацию в соответствующих обществах (ср. Ankersmit, 2002). Утверждался ли демократический режим мирным путем, в результате добровольного ухода диктатора или революционного переворота — все это влияет не только на демократию самих государств, но и на политическое устройство их соседей. Как учит нас история и разнообразные нормативные концепции демократии, демократия может принимать различные формы, начиная от радикального эгалитаризма и заканчивая парламентской демократией (см. Leibholz, 1938: 96–100).

Мы слишком упростили бы себе задачу, если бы сосредоточились главным образом на истории развития идеи демократии в нашем исследовании взаимоотношений знания и демократического общества, добавив к этой проблематике разве что вопрос об условиях и людях, среди которых эта идея могла зародиться и которые стояли у истоков формулировки понятия демократии. Безусловно, нельзя замалчивать тот факт, что первые размышления об идее и сущности демократии являют собой пример практического знания, открывающего перед людьми новые возможности, и, будучи реализованными на практике, ответственны за появление демократических форм правления.

Для более широкой постановки вопроса о фактическом взаимоотношении между знанием и свободой нам необходима общая концепция демократии, которая бы описывала фактически существующие демократические общества, а не только (нормативную) идею. Такого рода концепция описывает социальную систему, в которой идеалы раннего научного дискурса о демократии нашли свое практическое воплощение. В связи с этим мое исследование ограничивается последним столетием и в первую очередь так

⁹¹ К общим условиям демократических процессов относится, к примеру, наблюдение Херманна Люббе (Lübbe, 2005: 86) о том, что «демократические структуры возникают не в последнюю очередь под давлением трудностей, сопровождающих самоорганизацию сложных обществ».

называемыми развитыми странами. В одних странах на протяжении XIX-го века избирательное право сначала получили лишь некоторые группы населения. Лишь в XX веке избирательное право стало всеобщим. Избирательное право, по крайней мере, в формально-юридическом смысле, гарантирует, что «граждане» в возрастающей степени «осуществляют коллективный контроль за решениями правительства, будь то прямым путем в форме всеобщего собрания или косвенно, через выборных представителей» (Dahl, 1999: 915), или каким-либо другим способом⁹².

В практической жизни демократических обществ норма политического представительства реализуется в разных институциональных формах. Конкретный способ и форма народного представительства — эмерджентная характеристика политических систем⁹³. Фактическая многослойность отношений между акторами и представителями — один из главных спорных вопросов, связанных с демократическим режимом (см., например: Pitkin, 1999; Urbinati, Warren, 2008: 389–391). В представительной демократии избиратели (во всяком случае, если их поведение соответствует желаниям многих политиков) должны вмешиваться в политику прежде всего во время выборов, в остальное же время политические решения являются прерогативой политиков. Специфическая добродетель демократической системы заключается, впрочем, не только в ее представительности. Как подчеркивают Урбинати и Уоррен (Urbinati, Warren, 2008: 390), общественные, а также глобальные политические и экономические трансформации в недавнем прошлом свидетельствуют о том, что «ландшафт демократического представительства заволокло туманом все возрастающей сложности вопросов, которые вызывают все большее напряжение сил представительных агентов, ставя под вопрос их способность действовать в интересах тех, кто их избрал». К вопросу

⁹² Процесс расширения избирательного права продолжается по сей день. Так, например, в Австрии в 2007 году избирательное право получили 16-летние граждане страны (см. также Touraine, 2001: 120).

⁹³ Анализ характеристик политических общностей, в которых велика вероятность возникновения подлинного представительства (модус отношений между органами политической власти (съездами и советами) и гражданами), см. в: Prewitt, Eulau, 1969.

возрастающей сложности политических проблем и возможностей консультативного участия широких масс населения в политике я еще вернусь, а сейчас хотел бы отметить, что и среди населения произошли изменения в понимании политики, и простое, некритичное долгосрочное делегирование осталось в прошлом.

С точки зрения сторонников сильных (и в особенности прямых) форм демократии или «власти масс», представительная система «несовместима со свободой, поскольку она делегирует и, следовательно, способствует отчуждению политической воли в ущерб подлинному самоуправлению и автономии» (Barber, 1984: 145). Тем не менее, в теории демократии представительство обычно оценивается как наилучшая из доступных замен инклюзивных форм демократии.

Помимо, как правило, официально санкционированного и регулируемого представительства, которое можно также назвать «политической демократизацией», в последнее время появилось множество новых, неформальных, ограниченных во времени форм политического представительства (см. Urbinati, Wager, 2008: 402–408), которые я предпочитаю называть формами политического участия. Политическое участие само по себе есть выражение демократизации общества⁹⁴. Прямое участие не всегда противоположно официальному представительству. Как подчеркивает Дэвид Плотке (Plotke, 1997: 19): «Противоположность представительства — это исключение, а противоположность участия — неучастие». Вопрос о том, являются ли представительство, как оно определено здесь, и политическое участие, основанное на представительстве, не легитимированном официальными выборами, дихотомичными формами политического правления или переходят одно в другое, остается спорным (см. Urbinati, 2000: 759)⁹⁵. Я утверждаю, что в данном случае мы имеем дело не

⁹⁴ Схожая идея встречается у Энтони Гидденса (Giddens, 1999), где он говорит о необходимости «углубить» демократию путем процесса, который сам он называет демократизацией демократии. Этому процессу могут способствовать различные тенденции развития общества, а главная его цель — эффективная, структурная передача власти.

⁹⁵ Макс Вебер (Weber, [1917] 1980: 284) обращает внимание на то, что политическая демократия необязательно подразумевает или влечет за собой

просто с двумя разными формами политического влияния, но что эти формы политического участия имеют и иное значение и вес, по сравнению с прежними демократическими режимами. Формы влияния, основанные на представительстве, в современных обществах постепенно теряют значение, тогда как формы участия оказывают все большее давление на политические решения⁹⁶.

После второй мировой войны ряд экономистов и прежде всего Кеннет Эрроу, Мансур Олсон и Энтони Даунс выступили с критикой ожиданий или требований от демократии максимально широкого общественного участия. В силу однотипности этой критики я ограничусь кратким рассмотрением так называемой «теоремы невозможности» Кеннета Эрроу. Эрроу исходит из того, что в капиталистических демократических странах, по сути, есть две возможности выразить свою волю. Первая возможность заключается в участии в политических выборах и, как правило, требует политических решений; вторая возможность связана с экономическими решениями, принимаемыми в рамках рыночной экономики. Политические выборы и экономические рынки позволяют выразить коллективные суждения, тогда как

демократизацию общественную. В качестве примера такого противоречивого развития Вебер приводит Соединенные Штаты: «Безграничная политическая "демократия" Америки, например, не препятствует тому, что возникает не только, как привыкли полагать у нас, грубая собственническая плутократия, но и пусть медленно — хотя и заметно, — сословная "аристократия", чей рост с культурно-исторической точки зрения не менее важен».

⁹⁶ В разделе под названием «Мягкая власть демократии» я более подробно рассмотрю тот факт, что, по мнению многих наблюдателей современных политических процессов, развитие и распространение цифровых технологий не только обеспечивает гражданам быстрый и легкий доступ к знаниям и информации, но и дает им дополнительные возможности политического участия и влияния. К. Коглианезе (Coglianese, 2003: 1), например, анализирует потенциальное общественное участие в «процессах установления административных правил». В Соединенных Штатах структуры государственной бюрократии и не выбранные населением чиновники производят «тысячи и тысячи норм и постановлений, влияющих практически на все аспекты социальной и экономической жизни». Можно ли при этом говорить о фактическом участии и насколько оно эффективно на практике, остается открытым.

диктатуры и социальные условности и договоренности ограничивают возможности выбора.

Проблематика, на которую обращает внимание Эрроу (Arrow, [1951] 1963: 2), сводится к вопросу: «Можно ли создать такую систему голосования, которая бы обеспечивала переход от известных индивидуальных предпочтений к комплексу социальных решений, отвечающих определенным естественным условиям»? Если на время забыть о различиях между рыночными механизмами коллективного выбора и политическими механизмами выбора и строго следовать теории «рациональности» всех акторов и их свободных решений, то все индивидуальные предпочтения и их последовательность должны находить отражение в коллективном результате. Изучив возможности агрегации индивидуальных предпочтений, Эрроу приходит к выводу, что существующая система голосования не может соответствовать одновременно все условиям для всех потенциально возможных структур предпочтений. В дискуссии на тему общественного выбора, последовавшей за публикацией тезисов Эрроу, можно найти новые формулировки, где исходные условия расширены, ослаблены или заменены другими, из чего делается вывод о необходимости пересмотра первоначальной теоремы невозможности. В этом смысле теоретический подход Эрроу стал инструментом универсализации и критической оценки теории голосования и расширения теории общественного выбора. В результате новый импульс развития получили теория выбора и принятия решений и новая политическая экономика (теория общественного выбора).

Согласно конституционным нормам демократических государств, на вопрос «Кто властвует?» существует однозначный ответ: по конституции, все граждане способны обладать политической власти. На вопрос «Кто управляет?» в обществе с демократической формой правления ответить гораздо сложнее. Ответы здесь могут быть самыми разными, в зависимости от общественных условий. На политические решения могут влиять формы представительства или неформального участия, особенно в крупных коллективах (см. Dahl, 2005).

Один из фундаментальных принципов демократических обществ заключается в равенстве политического участия

(единство граждан одного коллектива) и равной защите граждан от государственного произвола. Принцип равенства по сути исключает любую социальную дифференциацию на основании собственности, пола, религии или уровня образования; впрочем, этот же принцип может подразумевать дискриминацию по критерию гражданства или определенных психологических или юридических особенностей того или иного человека. Фактическое политическое представительство и участие не отменяет фундаментальных процессов включения и исключения. Фактическое участие нередко сильно разнится в зависимости от возраста, классовой, этнической или религиозной принадлежности, а также интересов индивида, конкретного вопроса, стоящего на повестке дня, и индивидуальной способности мобилизовать определенные ресурсы, позволяющие участвовать в демократически организованных процессах принятия решений. Результат этих процессов — это неизбежно появление большинства и меньшинства. Меньшинство априори вынуждено соглашаться с решением большинства.

Для моего исследования решающее значение имеет тот факт, что закрепленный в конституциях демократических государств принцип равенства допускает значительную степень неравенства в том, что касается информированности граждан. Независимо, насколько информирован избиратель — хорошо, плохо или вообще никак, это не имеет существенного влияния на его участие в процессе нахождения политических решений. Другими словами, несмотря на официальное неприятие неравенства (и возможность отстаивать свое право на устранение неравенств), для всех демократических обществ характерна значительная асимметрия. Влияние, фактически оказываемое путем различного рода гражданского участия, будь то в форме гражданских объединений, общественных движений или организаций гражданского общества, всегда будет сильно стратифицировано. Впрочем, возможность политического участия была и остается системным достоинством демократии, тогда как «недопущение к участию в политической жизни коллектива является самым грубым нарушением прав» (Sen, 1999: 9).

1.2.1. Свобода: какие свободы имеются в виду?

Концепции свободы напрямую проистекают из представления о том, что формирует самость, личность, человека.

Исайя Берлин (Berlin, [1958] 1969: 135)

Анализ понятия «свобода» (независимость, открытость, возможность выбора) и общественных условий, обеспечивающих свободу, не достиг той степени развития, на которой находится анализ отрицания свободы — за счет влияния, контроля, власти или господства. Безусловно, можно утверждать, что любой анализ власти в то же время является анализом свободы от принуждений. Соответственно, и исследование свободы — это всегда исследование состояний, ее ограничивающих. Особенно это касается подходов, где понятия свободы и ее отрицания трактуются как дихотомия. В следующем разделе я кратко рассмотрю вопрос о том, действительно ли таким образом можно определить понятие и состояние свободы или, наоборот, власти. Я начну с обсуждения общего понятия свободы и проведу границу между «свободой для» и «свободой от». Как будет показано ниже, основные работы, посвященные понятию свободы, не содержат отсылки к понятию знания: «свобода определяется через вещи, которые окружают индивида (права, ресурсы и опции), и, как может показаться, не зависит ни от чего, что находится внутри самого индивида» (Ringen, 2008: 25). Далее я задаюсь вопросом о том, какие именно свободы имеются в виду, и выделяю политические, экономические и социальные или гражданские свободы.

Когда речь заходит о том, какой объем свободы от внешних принуждений возможен или допустим и до какой степени свободным может быть воплощение собственных целей, то ответы на эти вопросы всегда оказываются очень разными. Как ясно из эпиграфа к этой главе, данное расхождение в оценке практических возможностей и границ свободы связано с различным пониманием того, что именно характеризует и формирует индивида, что можно очень хорошо продемонстрировать на примере этих различных представлений, а также рисков «манипуляции», с приме-

рами из новейшей истории и современной ситуации во многих странах. Помимо этого, любое понятие свободы сопряжено с ограничениями, определяемыми как условия свободы. Так, например, Эдмунд Берк пишет в своей книге «Размышления о революции во Франции» (Burke, [1790] 1955: 180): «Ограничения, накладываемые на людей, как и их свободы, должны рассматриваться как их права». Поэтому, причем независимо от того, насколько успешно демократическим государствам удастся организовать защиту свобод граждан и организаций, демократия неспособна элиминировать власть и господство в жизни людей (Luhmann, [1986] 1987: 126–127). По-прежнему существующие структуры социального неравенства, ограничения и принуждения, неизбежно возникающие в повседневной жизни, и неравномерное распределение многих общественно значимых ресурсов и характеристик приводят к тому, что никакой политической системе не удастся устранить феномен власти из жизненного мира. Но, невзирая на практические трудности, связанные с попыткой устранить различия, достоинство либеральных демократий заключается в толерантном отношении к этим различиям.

1.2.2. «Свобода от» и «свобода для»

Вопрос о подразумеваемых свободах (во множественном числе) необходим уже потому, что общая, универсальная концепция свободы существует лишь в виде неточного и спорного представления. Однако поскольку понятие свободы отсылает к самой сути понятия демократии и к ее практическому осуществлению и поскольку для него не существует однозначного, устраивающего всех определения, выход только один — рассмотреть ряд демократических отношений с разными степенями свободы. Бесспорным остается тот факт, что степени свободы действия, как бы они ни определялись, редко или даже никогда не реализуются в полной мере. Власть и господство можно ограничить, но не отменить.

В самом общем виде можно выделить свободу от чего-то и свободу для или ради чего-то («свободу действовать», Sen, 1994: 125). Это, разумеется, очень общая и поэтому едва ли не

бессодержательная дихотомия⁹⁷. Понятие «свободы для» тесно связано с классическими либеральными идеалами свободы мнения, договоров и собраний, тогда как понятие «свободы от» указывает на контролируемые определенным кругом лиц символические и материальные принуждения, которые могли бы налагаться на других акторов, но применяются лишь до определенной степени ради сохранения свободы. Пожалуй, самый знаменитый пассаж из классического сочинения «О свободе» Джона Стюарта Милля (Mill, [1869] 1948: 38) посвящен границам (коллективной и индивидуальной) «свободы для» и тому, что ученые позднее назвали принципом вреда («harm principle»):

«Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы установить тот принцип, на котором должны основываться отношения общества к индивидууму, т.е. на основании которого должны быть определены как те принудительные и контролирующие действия общества по отношению к индивидууму, которые совершаются с помощью физической силы в форме легального преследования, так и те действия, которые заключаются в нравственном насилии над индивидуумом чрез общественное мнение. Принцип этот заключается в том, что люди, индивидуально или коллективно, могут справедливо вмешиваться в действия индивидуума только ради са-

⁹⁷ Амартья Сен (Sen, 1994: 125), к примеру, обращает внимание на то, что понятия свободы «для» и свободы «от» ничего не говорят о том, что именно достигается при помощи этого типа свободы. Свобода достичь или добиться чего-либо «обозначает то, что человек свободен (волен) иметь — на основе его собственных действий или действий других». Сен приводит пример пребывания в сытом или голодном состоянии. «Так называемое "право не быть голодным" обозначает свободу достижения — в данном случае состояния сытости — и эта свобода может осуществляться либо за счет заработков человека, достаточных, чтобы купить необходимое количество еды, либо благодаря обеспечению едой или минимальным доходом со стороны социальных служб, что также позволяет человеку достичь состояния сытости (если он выбирает такой путь)». Способность достичь что-либо или «потенциальный аспект свободы» (Sen, 1993a: 552) связан с фактической способностью (свободой) человека или группы добиться определенной цели, тогда как «процессуальный аспект свободы» (Sen, 1993a: 523–524) обозначает невмешательство со стороны других и свободу самостоятельно принимать решения, независимо от их реалистичности.

мосохранения, что каждый член цивилизованного общества только в таком случае может быть справедливо подвергнут какому-нибудь принуждению, если это нужно для того, чтобы предупредить с его стороны такие действия, которые вредны для других людей».

Этот принцип Милля очень часто цитируют в ходе современных дебатов об ограничениях свободы отдельных индивидов, в частности, в уже почти утихших спорах вокруг запрета на курение в общественных местах. И если границы свободы индивидов, как их определяет Милль, кажутся сравнительно однозначными, то точное определение вреда по-прежнему остается крайне сложной проблемой (ср. Reeves, 2007: 265–268).

Понятие «свобода от» помогает нам выявить множество состояний и внешних препятствий, способных ограничить свободу наших действий; в свою очередь, понятие «свобода для» обращает внимание исследователя на различные способы реализации собственной свободы⁹⁸. Если условия «свободы от» соблюдены⁹⁹, то мы не зависим ни от каких средств, ограничивающих нашу свободу. В случае «свободы для» речь идет о том, что мы реализуем нашу свободу в условиях попыток ее ограничить¹⁰⁰.

⁹⁸ Различение «свободы от» и «свободы для» соответствует различению, которое Исайя Берлин (Berlin, [1958] 1969: 121–122) проводит между понятием позитивной свободы как ответом на вопросы, «что или кто служит источником контроля или вмешательства и заставляет человека совершать это действие, а не какое-нибудь другое, или быть таким, а не другим», и негативной свободой как ответом на вопрос: «Какова та область, в рамках которой субъекту — будь то человек или группа людей — разрешено или должно быть разрешено делать то, что он способен делать, или быть тем, кем он способен быть, не подвергаясь вмешательству со стороны других людей».

⁹⁹ Критическое отношение Барнарда Барбера к особому вниманию к «свободе от» основано на идее или наблюдении о том, что такого рода позиция зачастую выражает одностороннее предпочтение рыночной системы и, следовательно, подразумевает напряженные отношения между потребителем как частным лицом и гражданином, действующим в рамках коллектива. Барбер (Barber, 2008: 74–75) объясняет эту взаимосвязь следующим образом: «Граждан нельзя трактовать как просто потребителей, поскольку индивидуальное желание и общая позиция — это не одно и то же; общественные блага суть нечто большее, чем совокупность частных стремлений».

¹⁰⁰ В часто цитируемом определении либерализма К.Б. Макферсон (Macpherson, 1962: 3) описывает свободу как способность реализовать свои инди-

Когда неолиберальный экономист Милтон Фридман (Friedman, [1962] 2004: 15), говоря о роли государства в общественных контекстах, отмечает, что любое воздействие государства непосредственно ограничивает свободы индивида, а косвенно угрожает сохранению свободы, то под свободой он понимает свободу от любого государственного вмешательства. Это верно и в отношении Фридриха Хайеке (Hayek, [1960] 2005: 14), который в своем призыве к «конституции свободы» думает о таких жизненных условиях, в которых «степень принуждения со стороны других людей уменьшена настолько, насколько это возможно в совместной жизни». Эту возможность он определяет как состояние свободы. Таким образом, Хайек понимает свободу как свободу от принуждения.

Экономисты используют обе концепции свободы и независимости. При этом в рамках экономического дискурса акцент делается на индивидуальной или личной свободе, хотя свобода по определению является социальным отношением. В этом смысле свобода всегда обозначает «отношение человека к человеку, и единственное вмешательство в эту свободу — принуждение со стороны других людей» (Hayek, [1960] 2005: 16). Так, к примеру, определение независимости не касается природных условий, в частности, климата, который тоже может ограничивать свободу. «Свобода от» означает независимость от той или иной степени влияния со стороны других людей, включая их способность контролировать условия действий, в которых человек может реализовать свои намерения. Впрочем, независимость от ограничений со стороны других еще не означает, что человек обладает способностью совершать определенные действия¹⁰¹.

видуальные способности и, соответственно, свободу соединять инновацию и социальные отношения. Отдельная личность «свободна постольку, поскольку владеет самой собой и своими способностями <...> Свобода — функция владения. Общество становится сообществом множества равноправных свободных индивидов, связанных между собой в качестве владельцев своих способностей и того, что они приобретают благодаря их применению»; о недовольстве либерализмом в наши дни см. также Geuss, 2002.

¹⁰¹ Как подчеркивает Раймон Арон (Aron, [1965] 1984: 123): «Обладать свободой что-либо делать и обладать способностью — это две совершенно

С концепциями Фридмана и Хайека резко контрастирует утверждение Ханны Арендт о том, что «политическая свобода, в самом общем смысле, означает право "быть членом правительства", или не означает ничего». Тем самым она определяет свободу как способность к политическому участию и, соответственно, «свободу для» («свободу делать что-либо» или «свободу быть кем-либо», Sen, 1985: 201). Утрата способности действовать политически или как бы то ни было еще есть утрата «свободы для», что становится очевидно постольку, поскольку она трактуется как свобода действия или мысли.

Спорные представления о свободе вряд ли способствуют пониманию степени свободы, которая должна царить в обществе, чтобы это общество могло называться демократией. Различение «свободы для» и «свободы от» не позволяет нам сформулировать вывод об их отношении друг к другу; точно так же это различие не позволяет ответить на вопрос, в какой мере мы должны отказаться от индивидуальной свободы, чтобы государственная власть получила возможность реализоваться в достаточной мере. Где и как мы должны провести границы? То, что границы необходимы, очевидно, как и то, что конкретные границы зависят от контекста или должны проводиться заново в каждом отдельном случае. В этой связи и Исайя Берлин задается вопросом (Berlin, [1958] 1969: 124): «Что есть свобода для тех, кто не может ею воспользоваться? Без адекватных условий для реализации свободы — какова ее ценность?» Тезисы Берлина находят отражение в критике Фридриха Хайека (Hayek, [1960] 2005: 12–13) в адрес тех, кто трактует свободу как «свободу для». Хайек подчеркивает, что способность проводить в жизнь собственные (задуманные) намерения и планы важнее способности следовать множеству вариантов действия. Тем не менее, последняя является немало-важной характеристикой индивидуальной свободы¹⁰².

разные вещи. Неспособность лишь тогда становится несвободой, когда происходит из вмешательства других индивидов.

¹⁰² Этот принцип свободы от принуждения Хайек (Hayek, [1960] 2005: 17) формулирует следующим образом: «Свободен человек или нет, зависит не от сферы выбора, а от того, может ли он рассчитывать на то, что сам будет определять ход своих действий в зависимости от своих актуальных намерений, или же кто-то другой наделен властью менять обстоятельства таким

Меня в контексте моего исследования особенно интересует «общественная свобода» («social freedom», см. Oppenheim, 1960). Часть этой концепции свободы — свобода определенных акторов влиять на свободу действий других акторов.

1.2.3. Политические свободы

Говоря о политической свободе, в первом приближении можно выделить форму отношения акторов к политической системе и формы отношения политических институтов к акторам. Институциональный статус политических свобод включает в себя функцию коллективной политической свободы для прочих общественных сфер, например, для стабильности экономической политики в обществе (ср. Ali, Isse, 2004). На индивидуальном уровне политическая система может предъявлять более или менее строгие требования к своим гражданам или налагать на них большую или меньшую ответственность и предоставлять отдельным акторам ограниченную или полную свободу в отношении формирования и выражения собственного мнения в рамках политического пространства. Если ориентироваться на эти две разновидности политической свободы — свободы, контролируемой самим индивидом или ограничиваемой институтами, то на практике можно обнаружить целое множество различных формаций политической свободы. Эти формации простираются от эмансипированных, образованных и осведомленных граждан, действующих практически независимо от государственного авторитета или мнения других акторов, до индивидов, чья свобода в лучшем случае ограничи-

образом, что он будет действовать по воле другого, а не по собственной воле. Свобода предполагает, что индивиду обеспечивается частная сфера, что в его окружении есть некая область, в которую другие вмешиваться не могут». Наблюдения Хайека перекликаются с различием форм политической свободы в древнем мире и в современную эпоху, как его приводит Исайя Берлин (Berlin, [1955] 2002: 111). В древности главный вопрос заключался в том, кто мною правит, тогда как в Новое время самый важный вопрос касается того, насколько всеобъемлющей должна быть власть правящих институтов или лиц. Поэтому в современном мире появляется различие между частной и публичной сферой.

вается неучастием в формальных политических процессах, связанных с принятием решений. Фактические политические свободы во многих случаях описывают не возможности со стороны отдельного человека независимо выбирать определенные желаемые политические роли, а его способности менять одну роль на другую, а также готовность политической системы допустить и не запрещать эту смену.

Отто Нейрат, один из членов Венского кружка, о котором я еще буду говорить более подробно, разработал полезную для наших целей концепцию политических свобод. В рамках своего рассмотрения конфликта между государственным планированием и свободой Нейрат отмечает, что между авторитарным и демократическим режимом существует значимое различие в отношении характера и постоянства лояльности, требуемой режимом от своих граждан. При этом лояльность подразумевает в том числе и лояльность по отношению к определенным мировоззрениям. Для авторитарного управления характерна тенденция допускать одну форму лояльности, поглощающую все остальные формы, и не допускать сосуществования различных лояльностей (Neurath, [1942] 1973: 429), что предполагает запрет на изменение собственного мировоззрения на основании личного опыта и знаний. Политические свободы в рамках демократического общества позволяют сосуществовать нескольким лояльностям. Способность гражданина вступать одновременно в несколько союзов и организаций или распределять свои явные политические симпатии на несколько объединений или ассоциаций, которые в последнее время принято называть организациями гражданского общества, есть институциональная основа политической свободы:

«"Свобода" в демократическом государстве может быть представлена тем фактом, что каждому члену демократического общества позволено иметь более одной лояльности, например, быть лояльным по отношению к своей семье, своему локальному и профессиональному сообществу, политической партии, церкви, ложе, интернациональному движению и своей стране. В демократическом государстве исходят из того, что гражданин знает, как обращаться с этими множественными лояльностями и объединять их друг с другом» (Neurath, [1942] 1973: 429).

Раймон Арон (Aron, [1965] 1984: 46–120) описывает политическую свободу в более узком смысле, а именно как равноправную свободу граждан влиять на политические решения через не прямое участие посредством выборов легитимных представителей. Кроме того, Арон пытается сделать понятие политической свободы более конкретным, поднимая вопрос о статусе свободы в «технологизированном мире» (тогда еще разделенном холодной войной). Свою критику современности Арон выражает в вопросе о том, может ли вообще политическая свобода в индустриальном обществе означать не фикцию, а реальное политическое участие, особенно если речь идет о свободе в трудовом процессе — ведь и в том, и в другом случае мы имеем дело с общественными контекстами, в которых наблюдается сильная концентрация власти и которые, с одной стороны, ограничивают дееспособность отдельного индивида путем существенной рационализации трудовой сферы и, с другой стороны, при помощи скрытых соблазнов и убедительной рекламы на рынках превращают рабочих в не отвечающих за свои действия потребителей. Поскольку Арон помимо этого указывает на тенденцию успешной манипуляции общественным мнением со стороны масс-медиа, возникает вопрос, возможно ли вообще формирование независимого политического мнения в условиях описанного им индустриального общества. Точный ответ на этот вопрос, справедливо соотносимый самим Ароном с пессимистичным диагнозом в отношении политической свободы в современных обществах, зависит от конституционно-правового контекста в каждом конкретном государстве. Арон (Aron, [1965] 1984: 101–104), к примеру, констатирует, что, по сравнению с европейскими демократическими странами (где парламентские процедуры выродились в пустые ритуалы), защита политических свобод в Соединенных Штатах находится на гораздо более высоком уровне, поскольку там представители избирателей в наибольшей степени выступают гарантами влияния общественности и контроля за действиями правительства. Несмотря на это, Арон бьет тревогу в связи с общим упадком политических свобод. Разумеется, они пока не исчезли полностью — значимым препятствием на пути к их исчезновению остается существование политических партий, профсоюзов и потребительских ассоциаций.

1.2.4. Экономические свободы

Среди свобод, провозглашенных в 1941 году в Атлантической хартии, есть две важные свободы, обычно не упоминаемые в традиционных либеральных концепциях, а именно свобода от нужды и свобода от страха (the freedom from want and fear)¹⁰³. Я в своей работе хочу более подробно остановиться на понятии свободы от нужды, напрямую связанным с понятием экономической свободы. Нередко можно услышать, что демократические принципы свободы и беспрепятственное политическое участие не имеют смысла до тех пор, пока граждане не обеспечены необходимыми материальными ресурсами, которые по сути и дают им возможность политического участия. В связи с этим в соответствующей литературе все чаще встречается аргумент, что заинтересованность в установлении демократической политической системы, особенно в бедных странах, отражает лишь заинтересованность в улучшении материального положения или надежду на подобное улучшение. Нельзя отрицать, что западные демократические страны, как правило, отличаются высоким уровнем материального благосостояния, так что неудивительно, что в других регионах демократия ассоциируется с благополучием, равенством и безопасностью.

В то время как для большей части населения Земли качество жизни не менялось на протяжении веков и голод и жажда оставались привычными явлениями, сегодня в западных странах определенные товары и услуги, которые вплоть до недавнего времени считались роскошью, сегодня воспринимаются как необходимость. С точки зрения экономического и образовательного

¹⁰³ Атлантическая хартия была разработана премьер-министром Британии Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Д. Рузвельтом как план устройства послевоенного мира и подписана в августе 1941 года. Многие организации, появившиеся после окончания второй мировой войны, как, например, Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ), опирались на нормы и представления, сформулированные в Атлантической хартии. Пожалуй, можно сказать, что к этим формам свободы, обозначенным в 1941 году, относится и свобода выбора, касающаяся не только экономической сферы, при том что свобода выбора представляет собой своего рода мета-свободу.

капитала, мы живем в уникальную эпоху. Разумеется, благосостояние (в значении капитала) и уровень образования (в значении возможностей действовать) в индустриальных странах распределены отнюдь не равномерно, однако достаточно широко, во всяком случае, по сравнению со всеми другими эпохами в истории человечества. И все же богатство стратифицировано, воспоминания о голоде и само явление голода не исчезли, а бедность не побеждена. Усилия, направленные на то, чтобы все индивиды получили доступ к материальным благам и, с этой точки зрения, могли самореализоваться, должны рассматриваться как дополнение к классической либеральной концепции свободы (см. также Aron, [1965] 1984: 194).

1.2.5. Гражданские или социальные свободы

Помимо политической или экономической свободы, как подчеркивается в подходе, основанном на понятии способностей (Sen, 1985, 1999), существует широкое поле свобод и возможностей выбора на базе опций — свобод, которые могут оказаться даже более значимыми для многих индивидов и групп, чем свобода политических и экономических действий без ограничений со стороны государства, крупных общественных институтов и сограждан, а именно свобода самовыражения в соответствии с собственными идиосинкратическими желаниями и предпочтениями. Категория социальной или гражданской свободы — общая и всеобъемлющая, однако, как кажется на первый взгляд, отражает лишь остаточную сферу свобод, помимо политической и экономической свободы и значения, придаваемого ей как в теории, так и на практике.

Концепция социальной или гражданской свободы отражена, в частности, в классическом сочинении Джона Стюарта Милля «О свободе» (Mill, [1859] 1948: 1). В самом первом предложении Милль заявляет, что тема его эссе — «не так называемая свобода воли, столь неудачно противопоставленная доктрине, ложно именуемой доктриной философской необходимости, а свобода гражданская или общественная, свойства и пределы той власти, которая может быть справедливо признана принадлежащей

обществу над индивидуумом». В своем исследовании, ввиду необъятно широкого спектра потенциально возможных общественных и гражданских свобод, Милль ограничивается рассмотрением свободы мысли и свободы прессы. В целом, как подчеркивает Милль (Mill, [1869] 1999: 13), только такая свобода «заслуживает названия свободы, когда мы можем совершенно свободно стремиться к достижению того, что считаем для себя благом, и стремиться теми путями, какие признаем за лучшие, — с тем только ограничением, чтобы наши действия не лишали других людей их блага, или не препятствовали бы другим людям в их стремлениях к его достижению». При этом, впрочем, не стоит забывать, насколько всеохватна и непрерывна власть общества над индивидом.

Как мы уже убедились, вопрос власти неразрывно связан с интересующим нас вопросом о взаимоотношении свободы и демократии. Поэтому далее я рассмотрю «проблему власти» и постараюсь предложить нетривиальное объяснение феномена власти в современных обществах.

1.3. Проблема власти

Господствующие теории власти как выражения асимметричных отношений между акторами и группами практически во всех своих исторических вариациях описывают власть, которая отталкивает или зачаровывает. Это власть, которая, к примеру, отрицает, подавляет, контролирует или вытесняет телесность. На протяжении человеческой истории, в частности, в XVIII веке власть в виде новых технологий могла принимать более конкретные и точные формы, расширять сферу влияния, завоевывая новые пласты реальности и тем самым повышая собственную эффективность (Foucault, [1976] 2000: 125)¹⁰⁴, однако, как и знание, которое дает власть, сама власть по определению всегда остается влас-

¹⁰⁴ Мишель Фуко (Foucault, [1976] 2000: 86) так объясняет эту спорную взаимосвязь: речь идет о подчинении тела для того, чтобы превратить его в рабочую силу, т.е. «для надзирающей власти, которая появляется начиная с XIX столетия, тело приобретает совершенно иное значение; это уже не то, что подвергается пыткам, а то, что необходимо сформировать, изменить, откорректировать, то, что должно приобрести некие способности,

тью власть имущих. Да и как может быть иначе? Но разве можно утверждать, что в реальных социальных, политических и экономических контекстах действия власть действительно проявляется только таким категорическим образом?

Если быть последовательным в использовании данного понятия власти, то окажется, что оно обозначает строго иерархическую структуру властных отношений между людьми и группами в обществе. Власть порождает взаимоисключающие, дихотомические социальные отношения и контексты. Власть и безвластие (бессилие) находятся в отношении абсолютного противостояния. Трактующая таким образом власть пронизывает все проявления общественной жизни. Акторы либо обладают властью, которую могут применить, либо лишены ее. Ресурсы, необходимые для реализации власти, если понятие ресурсов вообще можно рассматривать независимо от понятия власти, а также от того, о каких конкретно ресурсах идет речь, по всей видимости, неизбежно служат тем, кто уже входит в круг власть имущих. Власть — это ключ к осуществлению господства. Те, кто пользуется властью, и те, кто ей подчиняется, кардинально разнятся. Две эти строго разделяемые группы — заложники определенных социальных категорий, между которыми, как правило, невозможен обмен или переход из одной группы в другую. Эти размышления о всемогуществе категории власти тесно связаны с тезисом о том, что власть представляет собой феномен с нулевой суммой: существует «фиксированное "количество" власти в любой системе отношений, и, следовательно, всякое приращение власти со стороны А должно по определению происходить за счет уменьшения власти, доступной для других единиц» (Parsons, 1963: 233). Лишь в крайне редких, революционных обстоятельствах устоявшиеся и непрерывно воспроизводимые отношения общественной власти могут поменяться на прямо противоположные. Поскольку революция — событие крайне редкое, господствующие властные отношения на протяжении многих десятилетий определяют, что возможно, а что невозможно в том или ином обществе. Власть, как правило, подтверждает и поддерживает саму себя.

получить определенный набор качеств, стать квалифицированным в качестве тела, способного трудиться».

Традиционное теоретическое понимание власти вполне соответствует классическому веберовскому определению власти как возможности отдельного индивида реализовывать собственную волю в данном социальном отношении даже вопреки противодействию. В данном случае власть также тематизируется с точки зрения власть имущих. Лишь в очень ограниченном смысле можно говорить о том, что те, кто подчиняется этой насильственной реализации воли, в данной формуле власти рассматриваются как действующие акторы. Самое большее, на что они могут рассчитывать, это появление в роли получателей или жертв власти, реализуемой властью имущими за их счет. Стало быть, власть над другими оказывается главной перспективой в общепринятых определениях социальной власти. Роль тех, кто лишен власти, сводится к общему отсутствию возможностей, что рассматривается как неотъемлемая характеристика и, в хронологической перспективе, непреодолимое свойство тех, кто не обладает властью.

В этой связи интересна парсонсовская критика господствующей концепции власти (см. также Allen, 2003: 38–44). Впервые Парсонс (Parsons, 1957: 139) излагает свою критику традиционного понятия власти в связи с анализом исследования Ч. Р. Миллса «Властвующая элита» (Mill, 1956a). Главным поводом для критики становится допущение, согласно которому власть есть феномен с нулевой суммой, а не «способность выполнять функцию в обществе и ради общества как системы, но интерпретируется исключительно как способность получать то, чего хочет группа власть имущих за счет лишения возможности другой группы — тех, кто не обладает властью — получить то, чего она желает»¹⁰⁵.

¹⁰⁵ В одной из более поздних работ Толкотт Парсонс (Parsons, 1963: 251) обращает внимание на тот факт, что допущение нулевой суммы неверно и применительно к деньгам (из-за возможности кредитов). В этом смысле деньги могут служить моделью для анализа власти и помочь избавиться от доктрины нулевой суммы. В ходе своей сложной аргументации Парсонс (Parsons, 1963: 254), в частности, указывает на то, что «в случае с демократическими избирательными системами, что политическая и финансовая поддержка должна рассматриваться как обобщенная уступка власти, ставящая в случае победы на выборах избранных лидеров в положение, аналогичное положению банкира». Политическая власть в этом смысле

Миллс, по мнению Парсонса (Parsons, 1957: 140) интересуется исключительно распределением, «кто обладает властью и чьим секторальным интересам он служит, игнорируя вопрос о том, как генерируется власть или каким образом она служит общим, а не секторальным интересам».

Согласно Парсонсу, власть — это не просто сама по себе эффективная форма устрашения, но и — и здесь парсоновское определение совпадает с понятиями власти и господства у Вебера — «обобщенная способность мобилизовать ресурсы для эффективного коллективного действия и для выполнения обязательств, данных коллективами их членом; кроме того [в отличие от денег], она должна быть и символически обобщенной, и легитимной» (Parsons, 1963: 243).

Если власть понимать как общую способность к социальному действию, то становятся очевидны — в качестве составляющей потенциальной реализации власти — вторичные, коллективные и не только дистрибутивные эффекты использования власти. Впрочем, это еще не все, ибо при таком взгляде на общественную власть становится очевидно, что нельзя придавать чрезмерное значение функции власти в социальных отношениях, как это происходит в традиционных подходах к изучению власти: власть не во всех обстоятельствах действия является единственным средством сплочения общества.

Таким образом, во-первых, распределение власти в обществе нельзя назвать игрой с нулевой суммой, поскольку здесь возможно расширение объема в связи с прочими ресурсами, играющими роль власти, а, во-вторых, распределение власти зависит от конкретных контекстов. Доступ к ресурсам власти (во всяком случае, в долгосрочной перспективе) не закреплен раз и навсегда за властью имущими — здесь всегда возможны колебания. Возможность расширения объема власти и изменения в общественном разделении власти объясняются трансформацией современных

не ограничена определенным объемом, а постоянно генерируется и обладает потенциалом роста. В то же время, как подчеркивает Парсонс, и эта формула растущей политической власти отягощена новыми рисками и неопределенностями.

обществ в целом. Стало быть, конкретные ситуации общества пусть не всегда, но все же отличаются тем, что власть в них распределена не по принципу «или–или», а в разной степени равномерности (см. Oppenheim, 1960).

Если прислушаться к проницательным замечаниям Адольфа Лёве (Lowe, 1971: 563), то в современных социальных системах можно обнаружить трансформацию общественной реальности, а именно переход от мира, в котором «вещи» просто «происходят» (по крайней мере, с точки зрения большинства), к социальному миру, в котором все больше вещей «делается»¹⁰⁶. Ввиду того, что научное и техническое знание проникло во все сферы жизни, представляется оправданным называть современное общество «обществом знания». Современный мир, включая и природу, все больше превращается в продукт нашего знания в значении способности действовать.

В обществах знания способность отдельного индивида действовать и жить по своему усмотрению значительно возрастает, уменьшается зависимость от природы (до поры до времени) и усиливается зависимость от других людей. Важные для общества последствия выхода многих акторов из–под влияния крупных социальных институтов и коллективов (профсоюзов, политических партий, общественных образовательных учреждений, объединений гражданского общества), с точки зрения распределения власти в обществах знания, можно описать следующим образом: в отношении крупных и влиятельных социальных институтов, а также индивидов и более мелких социальных объединений меняется соотношение автономии (власти, открытости, эманси-

¹⁰⁶ Схожее наблюдение можно найти у Ницше в «Человеческом, слишком человеческом». Ницше подчеркивает, что «люди могут сознательно решиться развивать в себе новую культуру, тогда как прежде их развитие шло бессознательно и случайно; они могут создать теперь лучшие условия для рождения людей, для их питания, воспитания, обучения; они могут рассудительно управлять миром как целым, взаимно оценивать и распределять общие силы человечества. Эта новая, сознательная культура уничтожает старую, которая, рассматриваемая в целом, вела бессознательную животную или растительную жизнь; она уничтожает также недоверие к прогрессу — прогресс возможен».

пации) и кондициональности (отсутствия власти). Общая сумма кондициональности и автономии не является константной. Автономность и кондициональность социальных действий могут как возрастать, так и уменьшаться. В обществах знания степень ощущаемой и фактической автономии индивидов и малых социальных групп возрастает, тогда как степень кондициональности уменьшается. В больших коллективах, таких, как, например, государство, крупная корпорация, наука, церковь и так далее, степень кондициональности действий вполне может сокращаться, в частности, благодаря большей независимости от природных условий, тогда как способность этих общественных институтов воплощать в жизнь свою волю вопреки сопротивлению граждан не возрастает пропорционально этому уменьшению.

Впрочем, кондициональность (условность) и автономность (или открытость) социального действия определяются не только распределением знания в обществе, но и политическим контекстом. Поэтому и главная тема моего исследования — это отношение знания и демократии. Вслед за Никласом Луманом (Luhmann, [1986] 1987: 126) можно констатировать, что основная особенность демократии — это «необычайная открытость в отношении того, каким может стать мир в будущем». Другими словами, изменение соотношения общественной кондициональности и автономии в пользу последней обусловлено двумя причинами: политическим режимом общества и распределением знания в обществе.

Одно из практических столкновений демократии и знания, которое представляет особый интерес в данном контексте и которое я хотел бы рассмотреть более подробно, касается длящегося уже много десятилетий политического и юридического противостояния между штатом и городом Нью-Йорк. В этом конфликте, в который в конечном итоге были вовлечены суды штата Нью-Йорк, включая и Верховный суд, речь идет о том, сколько должен знать будущий гражданин и избиратель города Нью-Йорка, чтобы — согласно требованиям конституции — быть компетентным участником демократически организованных политических процессов и компетентным образом исполнять свои, также закрепленные в конституции гражданские обязанности, в частности, в роли присяжного. Ответ на требования кон-

ституции является и ответом на вопрос о том, какой объем ресурсов должно инвестировать государство, чтобы государственные образовательные учреждения могли должным образом выполнять соответствующую программу. Стало быть, это и вопрос о том, какова цена знания, транслируемого государственным учебными заведениями. Правовой конфликт был окончательно исчерпан 20 ноября 2006 года, когда Верховный суд штата Нью-Йорк признал штат Нью-Йорк обязанным ежегодно выплачивать городу Нью-Йорку дополнительно 1,930 млрд. долларов на городское школьное образование.

Экскурс: Сколько знаний нужно демократии и сколько они должны стоить?

От гражданина демократического общества ждут информированности в политических вопросах.

Предполагается, что он знает, что это за вопросы, какова их история и фактическая основа, какие имеются альтернативные решения, какого мнения по ним придерживается та или иная партия и каковы вероятные последствия их развития.

*Берельсон, Лазарсфельд и МакФи
(Berelson, Lazarsfeld, McPhee, 1954: 308)*

Если оценивать избирателей по строгим критериям Бернарда Берельсона и его коллег, как они изложены в их классическом эмпирическом исследовании о формировании мнения в послевоенный период, то окажется, что во многих странах большинство избирателей даже не приблизились к желаемому интеллектуальному стандарту ни в 1950-е годы, ни сегодня. Если же, напротив, прислушаться не только к здравому смыслу, но и к распространенному среди политических наблюдателей мнению, то станет очевидно, что базовые знания и информация относятся к числу само собой разумеющихся характеристик, которых вполне можно, вслед за Берельсоном и его коллегами, ожидать от граждан

демократических стран¹⁰⁷. В первую очередь это утверждение относится к политической информации или к политическому знанию. Политическая информация считается той самой валютой или тем кодом, который, собственно, и определяет демократию и гражданство (см., например: Delli, Carpinì, Keeler, 1996: 8). Информация — это (объективный) источник политических предпочтений. Впрочем, о том, что стабильная демократическая система опирается на информированных граждан, ни для кого не новость. Нередко эта идея находит отражение в конституционной обязанности государства и политической системы передавать своим гражданам соответствующие базовые знания¹⁰⁸.

Отцы-основатели американской демократии, точно так же как и ее наблюдатель и автор классических сочинений на эту тему Алексис де Токвиль, ломали голову над вопросами «Сколько и какое знание нужно гражданам?» и «Может ли адекватное знание гарантировать стабильность демократической системы». В те времена ответ на второй вопрос, как правило, был положительным. Более конкретную позицию сформулировал Томас Джефферсон. В письме полковнику Эдварду Кэррингтону от 17-го января 1787 года он подчеркивает (цит. по: Koch, Peden, 1944: 411–412): «Коль скоро основа нашего правления — мнения людей, самой важной задачей должно быть сохранение этого права; и если бы мне позволили решать, должно ли наше правительство существовать

¹⁰⁷ Попкин (Popkin, 1991) придерживается иной, неортодоксальной позиции, полагая, что граждане совершенно не обязательно должны быть хорошо информированы, чтобы принимать правильные политические решения. Как я еще покажу ниже, Берельсон в работе, написанной без соавторов (Berelson, 1952), также выразил готовность принять менее строгие стандарты в отношении политической информированности электората.

¹⁰⁸ Тем не менее, некоторые наблюдатели с пессимизмом указывают на то, что те, кто, благодаря занимаемой позиции, располагает значимой информацией, а именно «избираемые чиновники и представители масс-медиа не имеют стимулов делиться этой информацией. Политики хотят, чтобы система следовала тому политическому курсу, который предпочитают они, [в то время как масс-медиа стараются] пробудить и поддержать интерес аудитории. Вместо того чтобы представлять общезначимые факты и их место в общем контексте, они делают репортажи о частных событиях и личных ситуациях, стараясь достичь максимального эффекта» (Kuklinski et al., 2000: 791).

без газет, или газеты должны существовать без правительства, то я бы, не раздумывая ни секунды, выбрал второе. Но при этом я должен подчеркнуть, что каждый должен выписывать эти газеты и быть в состоянии их прочесть».

Столетие спустя такого рода ответ на вопрос о соотношении образования и демократии стал едва ли не само собой разумеющимся. Так, Джон Дьюи (Dewey, [1961] 2000) в качестве условия демократии рассматривает не только разносторонние знания, но и высокий уровень образования. Сеймур Мартин Липсет (Lipset, 1959: 80) уже в послевоенный период на основании лонгитюдного эмпирического исследования, посвященного данным вопросам, приходит к выводу, что высокий уровень образования — условие, необходимое для стабильного существования демократических обществ. Недавние эмпирические исследования по-прежнему подтверждают этот тезис (см., например: Barro, 1999; Przeworski et al., 2000). Сеймур Мартин Липсет (Lipset, 1959: 79), обобщив результаты сравнительных эмпирических исследований в конце 1950-х годов, обратил внимание на то, что «самым важным единичным фактором, отличающим тех, кто дал демократические ответы, от остальных, оказалось образование. Чем выше образование человека, тем больше вероятность, что он будет верить в демократические ценности и поддерживать демократические практики». Исследование, посвященное роли и практике американского научного консалтинга и развитию научной политики в конце 1960-х годов, которое в какой-то степени можно рассматривать как реакцию на успешно запущенный в СССР в 1957 году первый спутник, подводит авторов к выводу, что «демократическая нация может совладать с научной революцией лишь в том случае, если ее мыслящие граждане знают, что она фактически влечет за собой» (Dupré, Lakoff, 1962: 181).

Тем не менее, Джон Дьюи в своей работе «Демократия и воспитание» (Dewey, [1916] 2000) предостерегает от ошибок, связанных с тем, что уровень формального образования в его обществе трактуется как некий «черный ящик». Как показывает пример Германии, авторитарный тип личности и характерное для него выраженное желание подчиняться требованиям государства вполне совместимы с высоким уровнем образования. Дьюи под-

черкивает (Dewey, [1916] 2000: 130–131), что в немецкой педагогической системе процесс воспитания понимается и практикуется «скорее как строгая дрессура, нежели как личностное развитие». Личностью становился только тот, кто «усваивал цели и смыслы организованных учреждений». Другими словами, «подчинение отдельных личностей высшим целям государства как целого» — вот подлинная цель философии образования и педагогической системы. Воспитание покорной личности, готовой «послушно подчиниться существующим учреждениям», — вот главная задача образовательной политики не только в кайзеровской Германии, но и в более позднем немецком обществе. Наблюдения Дьюи показывают, что высокий уровень формального образования в обществе совершенно не обязательно ведет к формированию демократических установок и моделей поведения. Стало быть, взаимосвязь между уровнем образования и демократии более сложная и требует более точного анализа нормативного и практически реализуемого содержания воспитательного процесса. В одном из следующих разделов я более подробно рассмотрю тезис Липсета о тесной взаимосвязи между уровнем образования и демократией, а пока хочу остановиться на вопросе о том, сколько знаний или образования необходимо гражданину современного общества и сколько эти знания должны стоить государству. Лучше всего этот вопрос можно изучить на примере многолетнего политического и судебного противостояния между городом и штатом Нью-Йорк, имевших место судебных процессов и случаев вмешательства различных групп в этот конфликт, в центре которого — деньги¹⁰⁹. Именно эта обязанность государства по отношению к гражданам закреплена в конституции штата Нью-Йорк.

¹⁰⁹ Аналогичный и тоже долгий процесс между штатом Нью-Джерси и истцами связан с недостаточным, с точки зрения одной из сторон, государственным финансированием некоторых школ в Нью-Джерси. Предоставляемые государством средства должны обеспечивать «предоставление образовательных услуг в объеме, достаточном для того, чтобы ученики овладели базовым содержанием учебных стандартов». 24-го мая 2011 года Верховный суд Нью-Джерси признал правоту истцов и обязал штат Нью-Джерси в следующем году повысить расходы на образование на 500 млн. долларов. Эти дополнительные средства должны были быть распре-

Более десяти лет длился судебный процесс между государством и городом Нью-Йорк, вызванный разногласиями в вопросе о том, достаточно ли средств выделяет штат Нью-Йорк городу Нью-Йорку для поддержания его разветвленной системы государственного школьного образования. Юридический конфликт развивался параллельно с так называемым «движением за образовательные стандарты». Его участники боролись за непрерывное повышение требований и стандартов школьных аттестатов. В целом ряде американских штатов, например, в Кентукки, суд действительно потребовал кардинального повышения стандартов.

На первый взгляд вся эта история кажется заурядным конфликтом между различными юрисдикциями по спорным вопросам финансового урегулирования между различными политическими уровнями, таким же, как и многие другие конфликты в любом демократическом обществе¹¹⁰. Штат Нью-Йорк покрывает примерно половину школьного бюджета города Нью-Йорка,

делены между 31 районом в исторически бедных городах. Суд постановил, что штат Нью-Джерси нарушил свои конституционные обязанности, не обеспечив школьникам возможности получить образование в соответствии с требованиями учебного плана. Конституция Нью-Джерси и в самом деле возлагает ответственность за образование и воспитание школьников в первую очередь на государство: «Законодательная власть должна обеспечить функционирование полной и эффективной системы государственного бесплатного школьного образования для обучения всех детей в штате в возрасте от пяти до восемнадцати лет» (NJ Const. Art. VIII, § 4(1)). Конституционное право на образование распространяется на всех детей в штате. Суд в своем решении ссылается на «особое учительское мнение / рекомендацию Верховному суду, переданную судье Питеру Э. Дойну» (источник: <http://www.judiciary.state.nj.us/opinions/index.htm>; Winnie HU, Rachard Pérez-Pena, «Court Orders New Jersey to Increase Aid to Schools», New York Times, 25.05.2011).

¹¹⁰ В своем изложении сути и хода конфликта между штатом и городом Нью-Йорком я среди прочего опираюсь на статью в «New York Times» от 30-го июня 2002 года («Джонни умеет читать, но достаточно ли хорошо, чтобы идти на выборы?»), а также на другие репортажи из этой же газеты и прежде всего на статью под названием «Решение вопроса о финансировании школ в Верховном суде», «New York Times», 11-е октября 2006 год (см. также Scherer, 2004–2005).

но одно из недавних решений в этом правовом споре указывает на фундаментальную философскую и конституционную проблему: каков минимальный объем знаний, информации и умений, который государство обязано успешно передавать ученикам государственных школ и сколько должно стоить поддержание образовательной системы, гарантирующее соблюдение такого рода стандартов? Как видно на примере конфликта в Нью-Йорке, речь здесь идет о проблемах, которые в конечном итоге должны решаться со стороны политической системы.

Согласно конституции штата Нью-Йорк, последний обязан «гарантировать сохранение и поддержку системы бесплатных государственных школ, где все дети штата могут получить образование». Трактовка этой конституционной нормы в значении обязанности государства обеспечить основательное («солидное, фундаментальное») начальное образование представляет собой конкретизацию конституционного постановления, закрепленного апелляционным судом штата Нью-Йорк в решении 1995-го года. Кроме того, суд постановил, что система государственного школьного образования должна гарантировать, что ученики смогут «продуктивно участвовать в жизни гражданского общества, будучи в состоянии участвовать в голосовании и выступать в суде». В еще одном постановлении от 2001-го года судья Конституционного суда штата Нью-Йорк обращает внимание на то, что, выступая в роли присяжных, граждане должны быть в состоянии отвечать на сложные вопросы: «присяжные должны решать вопросы, касающиеся экспертизы ДНК, статистического анализа и сложных финансовых махинаций, если ограничиться лишь этими тремя примерами». Апелляция штата на это решение была удовлетворена.

Тем не менее, в июне 2002 года суд штата Нью-Йорк (Апелляционный отдел нью-йоркского Верховного суда) принял решение о более узкой трактовке данной конституционной нормы: на основании релевантных конституционных норм, штат обязан обеспечить финансирование *минимального* уровня образования. Если говорить более конкретно, то после восьми или девяти лет обучения в школе ученики должны быть в состоянии читать агитационную литературу политических партий, выступать в каче-

стве присяжных в суде и занимать ту или иную профессиональную позицию с невысокими требованиями. Школьный аттестат должен служить подтверждением того, что ученик отныне может «получить место работы и сам обеспечивать свое существование, не обременяя государственную казну».

Решение суда вызвало противоречивые отклики. С одной стороны, установление минимальных образовательных требований было воспринято как своего рода капитуляция штата (государства), с другой стороны, многие приветствовали решение судей, поскольку ввиду влияния других факторов на возможности приобретения культурного капитала деньги (или увеличение финансирования) не обязательно являются адекватным решением проблем в сфере образования. Как подчеркивает суд, все, что выходит за рамки определения базового права гражданина на образование, как оно закреплено в конституции, не входит в компетенцию штата. Школы города Нью-Йорка гарантируют это базовое право. Что касается, например, права на компенсаторное школьное образование, то его у граждан нет. Если же население города не согласно с подобными минимальными целями, оно должно сменить ответственных за данный вопрос политиков. Истцы («Кампания за равенство в налогово-бюджетной политике») подали апелляцию.

Можно ли сказать, что данное решение одного из верховных судов штата Нью-Йорка отражает скорее дух промышленного общества, нежели общества знания? Достаточно ли в обществе знания такого уровня образования, который позволяет гражданам найти дорогу к избирательной урне и выступить в роли присяжного в суде? Впрочем, сегодня присяжные, как аргументирует суд в своем обосновании решения от 2001-го года, должны разбираться в сложных статистических данных, в доказательствах, основанных на анализе ДНК, и запутанных финансовых операциях.

20-го ноября 2006 года это юридическое противостояние, наконец, закончилось решением (без права апелляционного обжалования) высшей судебной инстанции штата Нью-Йорк, а именно Апелляционного суда, обязавшим штат Нью-Йорк дополнительно выделять городу Нью-Йорку 1,930 млрд. дол-

ларов в год на финансирование государственного школьного образования. Эта сумма существенно отличается от 4,7 млрд. долларов, предполагавшихся судом низшей инстанции. В своем окончательном решении суд ориентировался на рекомендацию комиссии, специально созданной губернатором штата Нью-Йорк Патаки в 2004 году. В своем заключении один из двух судей следующим образом сформулировал позицию меньшинства: «Хорошее базовое образование будет стоить около 5 млрд. долларов дополнительно к уже существующим расходам. При этом я не теряю надежду, что, независимо от решения, которое сегодня примет суд, политики будут и впредь стараться сделать школьное образование не просто отвечающим минимальным требованиям, но превосходным, и реализовать эту стратегию на всей территории штата». Все четыре судьи, поддержавших решение большинства, были назначены губернатором Патаки.

В следующих разделах моей книги я проанализирую «внутренние» и «внешние» общественные предпосылки демократии¹¹¹. Основное внимание при этом уделяется анализу так называемых нематериальных факторов. Далее, напротив, я уделяю особое внимание экономическим характеристикам общества как основе демократического правления.

¹¹¹ Барбара Вейнерт (Wejnert, 2005) в своем сравнительном исследовании распространения демократических форм правления выделяет внутренние факторы, к которым относятся в первую очередь социально-экономические факторы, и внешние процессы диффузии. По результатам сравнения этих двух групп факторов Вейнерт пишет (Wejnert, 2005: 73): «Диффузионные параметры территориальной близости и сетей оказались надежными прогностическими факторами демократического развития как в мире, так и во всех регионах».

2. Объяснения условий и устойчивости свободы

Человек может знать, поэтому он может быть свободным.

Карл Поппер (Popper, [1960] 1968: 6)

Свободы возникают под воздействием определенных общественных сил; другие, хотя и схожие силы отвечают за устойчивость свобод. Существует множество конкурирующих гипотез, авторы которых обращают внимание на самые разные предпосылки и условия установления и укрепления демократических систем политического управления. Теории и идеи¹¹², в которых анализируются главным образом происхождение демократии, ее легитимация, развитие и стабильность, играют важную роль не только в социальных науках, но и в политической практике, поскольку в особенности идеи (например, «Демократия — такая форма правления, к которой надо стремиться») всегда одновременно несут в себе указания к действиям для повседневной политической практики, а именно относительно того, как мы можем способствовать установлению и сохранению демократии и препятствовать ее уничтожению.

В этом разделе своей книги я сосредоточусь лишь на нескольких из этих тезисов и теорий. К общественным процессам, считающимся ответственными за установление устойчивых

¹¹² Подробное объяснение понятия «идея» и ее отличий от знания и информации можно найти в рамках описания навыков, в совокупности составляющих то, что я называю «компетентностью». В данном контексте идеи обозначают высказывания, имеющие все шансы попасть в политическую повестку дня и стимулировать к определенным политическим действиям (см. также S. Fisch, "Ideas and theories: The political difference", New York Times, 2.5.2011).

демократических отношений, безусловно, относятся экономические и политические задачи и определенные ценностные представления¹¹³, т.е. в целом речь идет о политических и/или далеких от политики условий (см. Rustow, 1970), навязывающих истории определенное направление развития. Вот как, например, Френсис Фукума объясняет свой неоднозначный тезис о конце соперничающих идеологий в XX веке: «Существуют базовые экономические и политические задачи,двигающие историю в одном направлении — в направлении усиления и распространения демократии»¹¹⁴. Но, как показывает пример войны в Ираке в 2003 году, с другой стороны, с некоторым преувеличением можно говорить о наличии идеалистических ожиданий, по крайней мере, в правящих кругах Америки, в отношении того, что демократия может возникнуть и из противоположных процессов: применение власти в морально–политических целях.

Уже одно перечисление внутривнутриполитических и не связанных с политикой общественных атрибутов и процессов — например, мирный общественный порядок (Olson, 2000: 119), уровень знаний членов общества, формальное образование (Botero, Ponce, Shleifer, 2012)¹¹⁵, уровень морали в обществе (Alvey, 2001), роль

¹¹³ Примером ценностных представлений или ценностей, имеющих значение для процессов демократизации, могут считаться, например, субъективные эмансипационные ценности, на которых делают акцент в своем исследовании Вельцель, Инглхарт и Клингеманн (Welzel, Inglehart, Klingemann, [2001] 2003: 341) и которые являются частью более широкого «синдрома» факторов, в целом способствующих общественному прогрессу. Повсеместно признанные ценности, как, например, «предпочтения свободы», безусловно, влияют на функционирование и развитие общества, но, как подчеркивают Вельцель и Инглхарт (Welzel, Inglehart, 2005: 82), «определяют не все формы коллективного действия и, что самое важное, не детерминируют стратегические действия элит».

¹¹⁴ Цит. по: Michael Grove, «Why I fear today's brave world», The Times, 16.05.2003. Ответ Френсиса Фукуямы критикам его тезиса о конце истории см. в предисловии ко второму изданию книги 1992–го года (Fukuyama, 2006).

¹¹⁵ В анализе, основанном на эмпирических данных, Ботеро, Понсе и Шляйфер (Botero, Ponce, Shleifer, 2012: 17–18) приходят к выводу, что, независимо от формы правления, существует универсально–положительная взаимосвязь между общим уровнем образования той или иной нации и качеством действий ее правительства. Авторы этого исследования объясняют

масс-медиа и политическая культура, а также особенности конкретного национального государства и межгосударственные сетевые связи — показывает, что, по всей видимости, в демократических процессах определенную роль играют все эти факторы в совокупности. То же самое верно и в отношении взаимодействия общественных процессов, например, корреляции между системой образования и уровнем знаний среди населения. Как бы то ни было, в силу высокой комплексности релевантных факторов сложно делать какие-либо прогнозы о будущем отдельных наций (см. также Huntington, 1984: 215–218)¹¹⁶.

В центре многих «классических» исследований развития политических режимов — долгосрочные национальные модели демократизации, например, национальных моделей классовых отношений и влияния национальных характеристик общества на возникновение демократических режимов (ср. Saroccio, Zibblatt, 2010). Более поздние работы, напротив, посвящены краткосрочным моментам трансформации режимов, в частности, влиянию культурных факторов или «культовых» событий, как, например, падение Берлинской стены, роли масс-медиа, мировоззрениям и ценностным представлениям, в частности, религиозным или этнически обусловленным ценностям, и не в последнюю очередь значению транснациональных процессов, например, роли международных политических сетей и глобальных трендов. Следует, однако, подчеркнуть, что на сегодняшний день число эмпирических исследований и обоснованных данных о значении культурных традиций для установления и сохранения демократии невелико. Исследования, посвященные

это частотой жалоб, поступающих от граждан: «Мы утверждаем, что образованные граждане чаще подают жалобы и что именно это способствует улучшению поведения чиновников, испытывающих страх наказания, и, соответственно, повышению качества политического правления».

¹¹⁶ Более четверти века назад Сэмюэль Хантингтон (Huntington, 1984: 116) рискнул дать прогноз относительно шансов демократизации в мусульманских странах Среднего Востока. Его ожидания нельзя назвать радужными: «В мусульманских государствах и в особенности в странах Среднего Востока шансы демократического развития, по всей видимости, не очень велики. <...> Возрождение ислама скорее всего еще больше сократит вероятность демократического развития <...> Помимо всего прочего, многие мусульманские страны очень бедны <...> Те, кто богат, находятся под контролем государства».

влиянию культуры на экономику страны, гораздо более обширны и информативны (ср. Fernández, 2010).

В связи с войной в Ираке, хотя в какой-то мере и до нее, наблюдатели обратили внимание на тесную взаимосвязь между религиозными ценностями — или, в более широком смысле, определенными культурными установками — и возможностью появления демократических институтов. Провокационный тезис Сэмюэля П. Хантингтона (Huntington, 1993) о непреодолимых противоречиях и расхождениях между «цивилизациями» этого мира выражает убежденность автора в том, что укорененные в культуре различия имеют решающее влияние на характер политического режима (см. также Norris, Inglehart, 2002). В одном из следующих разделов я рассмотрю вопрос релевантности культурного измерения для возникновения и утверждения демократического режима прежде всего с точки зрения политической культуры общества.

Очевидно, что к установлению демократии ведут самые разные констелляции исторических факторов и самые разные пути. Достаточно просто сравнить историю демократии прошлого столетия в таких странах, как Индия, Германия, Венгрия, Польша или Чили или же новейшую историю прежде автократических государств арабского мира¹¹⁷. Существует множество фундаментальных, конкурирующих друг с другом теоретических описаний общественных и культурных условий, позволяющих свободному политическому режиму возникнуть и утвердиться в обществе. В контексте своего исследования я не могу ни проигнорировать все эти разнообразные теоретические подходы, ни оставить без внимания идею о том, что все общественные процессы неизбежно направлены на установление демократии. Для тех, кто придерживается телеологического взгляда на историю, ее ход в конечном итоге предопределен и представляет собой результат некоего исторического процесса, направляемого внутренними закономерностями.

¹¹⁷ Неоднородный исторический опыт перехода к демократии породил попытки классифицировать трансформационные процессы. Так, Хантингтон (Huntington, 1991) выделяет трансформацию (навязанную сверху), интервенцию (навязанную извне), смену власти (революцию) и «трансплейсмент» (договорная трансформация).

стями и ведущего к установлению демократии, в то время как экономические, культурные и психологические или «обусловленные средой» факторы играют в лучшем случае второстепенную роль.

Одним из главных аргументов конкурирующих между собой объяснений условий, способствующих большей степени свободы, за исключением отвергаемой мною телеологической концепции, касается материальных результатов экономической системы того или иного общества. В следующем разделе своего исследования я более подробно рассмотрю и проанализирую данный тезис. Несмотря на то, что в литературе указания на экономические или другие общественные условия, способствующие утверждению и сохранению свободы, такие, как, например, уровень грамотности, образования или экономические стимулы, зачастую тесно переплетены, я в этой главе отдельно остановлюсь на исследованиях, авторы которых пытаются в качестве причин шансов на возникновение и устойчивое существование свобод проанализировать прежде всего неэкономические процессы.

Разнообразные и нередко тесно связанные между собой социальные, правовые, психологические и культурные факторы, которые, по всей видимости, играют решающую роль в историческом процессе появления свобод для большей части населения модернизирующихся обществ, довольно сложно рассматривать отдельно друг от друга. Проблемы, возникающие при попытке разделить эти процессы, понятны, поскольку все названные выше факторы существуют в тесной территориальной и временной взаимосвязи и влияют друг на друга. С другой стороны, широко распространенные теории дифференциации современных обществ подчеркивают автономность значимых социальных институтов и, соответственно, исключительную компетенцию и господствующее положение неэкономических социальных институтов (например, права, религии, образования, науки) как условия возникновения и стабильности демократических политических отношений в современных обществах¹¹⁸. Этот тезис об особом зна-

¹¹⁸ Целый ряд примеров из истории развития демократических стран показывает, что демократические институты и институты правового государства необязательно существуют в одно и то же время. Можно обнаружить при-

чении экономических условий и процессов как двигателя модернизации, в свою очередь, может рассматриваться как результат признания центральной роли экономики для материальных условий жизни в том или ином обществе, а также «экономизации» жизни современных обществ, о которой, как правило, говорят в критическом ключе: образовательные учреждения или организации системы здравоохранения, но также и сама экономическая система (см. Stehr, 2007) или же культура знания подпадают под строгий императив экономического типа мышления и вытесняют специфические для того или иного социального института цели.

2.1. Знание и свободы

К XIX-му веку с его непоколебимой верой в общественный прогресс¹¹⁹ относится отстаиваемая либеральными мыслителями

меры того, что демократические институты необязательно сопряжены с наличием независимой правовой системы и что независимая правовая система необязательно встречается исключительно в демократических странах. Этот противоречивый диагноз верен и в отношении такого фактора, как «религия», которому классики социальных наук (Маркс, Вебер и Дюркгейм) придают гораздо меньшее значение в качестве фактора развития современных обществ. Поэтому, как подчеркивает в том числе и Роберт Барро (Barro, 1999: 175), «теория взаимодействия между религией и политической структурой» относится к тем аспектам теории демократии, которые остались практически без внимания (см. также Woodberry, 2012). По всей видимости, значимое влияние религиозной принадлежности и/или господствующей религии в том или ином современном обществе реализуется в зависимости от или во взаимодействии с другими социальными и культурными характеристиками и процессами (см. также Michel, 1992). Эмпирическое исследование (Vlas, Cherhina, 2012) на основании данных Европейского исследования ценностей (European Value Survey, 1999) подтверждает этот вывод; однозначных указаний на непосредственную корреляцию между религиозной принадлежностью и демократическими установками нет (см. также Bloom, Arikan, 2012).

¹¹⁹ Как подчеркивает в одном из интервью индийскому журналу «Outlook India» Хобсбаум (<http://www.outlookindia.com/full.asp?fodname=20041227&fname=Hobsbawm+%28F29&sid=1>), вера в цивилизационный прогресс следующим образом отразилась на политической практике XIX-го века: «Это означало растущую конституционность, а в международных отношениях — более цивилизованное взаимодействие между государствами. Хорошим

идея об эмансипационном потенциале знания в отношении политической системы. Так, Джон Стюарт Милль в своей книге «Дух эпохи», опубликованной им в 1831 году после возвращения из Франции, где он познакомился с политическими идеями последователей Сен-Симона, еще раз подчеркивает свое изначальное глубокое убеждение, что широкий общественно-цивилизационный прогресс возможен, и возможен он прежде всего благодаря распространению, культивированию и усилению прогресса интеллектуального. В то же время возможность прогрессивного развития общества и улучшения социальных условий, как подчеркивает Милль (Mill, [1831] 1942: 13), является результатом не накопленной «мудрости» или коллективного прогресса в области науки, а гораздо более общего и всеохватного социального распространения знания в обществе.

«Возможно, люди и не думают лучше, размышляя о великих вопросах, важных для человечества, но они думают больше. Важные темы обсуждаются больше, дольше и с участием большего количества людей. Дискуссии проникли в самую глубь общества; и если гораздо больше людей, чем прежде, достигли более высокого уровня интеллекта, меньше осталось тех, кто пребывает в состоянии глупости».

Либеральный английский философ Джон Стюарт Милль восхищался классическим исследованием Алексиса де Токвиля «Демократия в Америке» (1835–40), которое вышло почти одновременно с «Духом времени» и на которое Милль написал рецензию. Тем не менее, в их оценке демократии и особенно роли образования и знаний для демократических режимов и внутри них существуют значимые различия. Де Токвиль из своих наблю-

примером здесь может служить постепенное разоружение гражданского население и ограничение принуждающей власти государства и его агентов. Другой пример — неприятие пыток как метода получения информации. Все страны, включая империалистические державы, считали, что должны быть другие, лучшие способы. Суд и исполнение наказания должны реализовываться иначе. Позвольте напомнить мне, как сильна была эта традиция. Это было время, когда Соединенные Штаты не хотели иметь спецслужбу. Именно тогда появилось сегодня кажущееся странным представление, что джентльмены не читают чужих писем».

дений американского общества приходит к выводу, что уровень образования граждан США является важным фактором, способствующим сохранению демократии в этой стране. Милль же выражает уверенность в том, что просвещение, образование, знания и интеллектуальные способности могут быть достаточным условием для укрепления демократии (и в связи с этим подчеркивает ключевую роль интеллектуалов и ученых для политической ситуации в стране). Для де Токвилля знания — это необходимое, но не достаточное условие установления демократического режима. Что, по его мнению, действительно способно укрепить демократию, так это личный опыт участия каждого отдельного гражданина в работе политической системы¹²⁰.

Ожидания и надежды на лучшее общество, которые Милль и де Токвиль в середине XIX-го века связывали с повсеместным распространением (пусть даже лишь «поверхностных») знаний и образования, в чем и тот, и другой видели условие появления возможности у широких слоев населения выбирать между несколькими альтернативами, освободившись от власти традиционных предпочтений, подводят нас к идее современных обществ как обществ знания и прежде всего к проблеме доминирующей модели распределения власти — режима неравенства, а также роли крупных социальных институтов, которые в значительной степени определяли ситуацию в обществе не только во времена Милля, но и в XX столетии.

Безусловная вера либеральных мыслителей XIX-го века, в частности Джона Стюарта Милля или Алексиса де Токвилля, в распространение знаний как основу общественного прогресса

¹²⁰ Здесь имеет смысл привести более пространную цитату из Алексиса де Токвиля (de Tocqueville, [1835–40] 2000: 3): «Поэтическая одаренность, красноречие, цепкость памяти, светлый ум, огонь воображения, глубина мысли — все эти дары, розданные небесами наугад, приносили пользу демократии даже тогда, когда ими овладевали ее противники, они все равно работали на демократию, наглядно воплощая идею природного величия человека. Таким образом, торжество цивилизации и просвещения одновременно знаменовало собой победоносное шествие демократии, а литература была открытым для всех арсеналом, где слабые и бедные ежедневно подбирали для себя оружие».

в последующие столетия, безусловно, не только подверглась суровым испытаниям, но и столкнулась со скептическим отношением. К числу скептиков относится и Фридрих Хайек (Hayek, [1960] 2005: 326), который замечает: «... в своем рационалистическом либерализме они часто высказывались об общем образовании в том смысле, что распространение знаний способно решить все основные проблемы и что необходимо лишь передать массам тот незначительный перевес знаний, которым уже владеют образованные слои общества, и тогда "ликвидация невежества" положит начало новой эры. <...> Знания и невежество — в высшей мере относительные понятия, и далеко не очевидно, что разрыв уровне знаний, который существует в каждую историческую эпоху между более и менее образованными слоями общества, может иметь столь решающее влияние на его характер».

В связи с этим Хайек скептически относится к обязательному школьному образованию в системе, подконтрольной одной—единственной инстанции, и выступает за многообразие в том, что касается путей получения образования.

Тем не менее, общая убежденность в том, что образование (чем больше, тем лучше) способствует усилению демократических установок и поддержке существующих демократических институтов, по—прежнему распространена. В следующих разделах моей книги я дам критический анализ этого представления, опираясь в первую очередь на эмпирические данные о тесной взаимосвязи образования и демократических предпочтений. Выдвинутый мною тезис связан с волюнтаристской моделью участия. Согласно этой модели, политическим интересам и свободному от принуждения участию в политическом процессе больше всего способствуют знание, интеллектуальная компетентность акторов и способность терпимо относиться к противоречащим друг другу политическим воззрениям.

К эмпирическим индикаторам, с помощью которых, как правило, измеряется уровень знаний, в модернизирующемся обществе относится показатель грамотности населения, а в развитых обществах, где грамотно подавляющее большинство, — уровень (формального) школьного образования. Я начну свой анализ с рассмотрения взаимосвязи между уровнем формального

образования и демократическими ценностями (соотнесения образования с этими ценностями), а также поддержкой демократических институтов и процессов и участием в них. «Взрыв знаний» в XX веке является частью функциональной демократизации — широкого распределения власти в обществе. Несмотря на то, что распространение и демократизация знаний, как отмечает Норберт Элиас (Elias, 1984: 253), только началась, «образовательные стандарты выросли настолько, что очень существенно возрос и властный потенциал населения». Именно этот тезис вдохновляет ученых на анализ роли образования в демократических процессах.

2.2. Роль формального образования (посещения школы)

Чем быстрее идет процесс просвещения
населения, тем чаще оно свергает
правительство.

Сэмюэл Хантингтон (Huntington, 1968:47)

Аттестаты о формальном образовании или количество лет, проведенных в школе, в эмпирических исследованиях (которые, как правило, работают с большим объемом данных) зачастую используются в качестве индикаторов объема знаний, когнитивных способностей или информированности индивида в современном обществе. Между тем, характер связи, существующей между знанием/информацией, когнитивными способностями, установками, поведением и образованием, отнюдь не очевиден. В одном из распространенных подходов предполагается, что всеобщее образование и быстрый рост образовательной системы в стране идут рука об руку с коллективным просвещением населения и могут рассматриваться как важное условие демократического движения и установления демократии в обществе, но в то же время и как одна из причин политической нестабильности, как подчеркивает, в частности, Сэмюэл Хантингтон. В более узком смысле сторонники данного подхода исходят из того, что образовательные программы транслируют демократические ценности

(см., например, Finkel, 2003)¹²¹. В целом на основании существующей литературы на эту тему можно прийти к выводу, что школьное образование способствует развитию «культуры демократии» (см., например: Chong, Gradstein, 2009) и поэтому оправдывает наблюдаемые во многих странах государственные меры по предоставлению населению бесплатного школьного и университетского образования. Впрочем, как подчеркивает Роберт Даль в своем гораздо более скептическом заключении (Dahl, 1992: 50), уровень образования во многих странах растет, но еще быстрее растет уровень сложности политических тем и решений в современных демократических государствах, а, значит, и требований к интеллектуальным способностям граждан.

Одну из наиболее известных общих гипотез об усилении демократических установок и моделей поведения сформулировал в своем исследовании социальных условий демократии Сеймур Мартин Липсет (Lipset, 1959: 79–80): «Считается, что образование расширяет кругозор, помогает людям понять необходимость норм толерантности, удерживает их от присоединения к экстремистским или монистским доктринам и повышает способность принимать рациональные электоральные решения. <...> И хотя мы не можем утверждать, что высокий уровень образования является достаточным условием для установления демократии, доступные на сегодняшний день данные дают основания предполагать, что он близок к тому, чтобы мы могли назвать его необходимым условием».

Более поздние сравнительные исследования, представленные, в частности, в работах Роберта Барро (Barro, 1999), Адама Пршеворского и его коллег (Przeworski et al., 2000) или Глэзера и

¹²¹ Результаты проведенного Финкелем и Смитом (Finkel, Smiths, 2011: 432–434) эмпирического анализа Кенийской национальной образовательной программы, которая в период между 2001 и 2002 годом охватывала мероприятия более чем 50 000 неправительственных организаций и более 15 процентов населения, показывают, «что потенциальное влияние гражданского образования взрослого населения на укрепление демократической политической культуры в переходных обществах гораздо выше, чем ожидалось». Тем не менее, такого рода программы вряд ли могут компенсировать дефицит демократических ценностей и устранить существующие этнические или религиозные предубеждения.

соавторов (Glaeser et al, 2004), подтверждают тезис Липсета о том, что средняя продолжительность школьного образования среди населения коррелирует с наличием демократических институтов в стране. Поскольку, однако, речь здесь идет об анализе поперечных (одномоментных) эмпирических данных, в которых не учитывается целый ряд промежуточных переменных, Аджемоглу и его коллеги подчеркивают: «Возможно, существующие взаимосвязи объясняются не учтенными факторами, оказавшими долгосрочное влияние и на образование, и на демократию». Так, например, можно было бы ожидать, что вследствие распространения всеобщего школьного образования соответствующее государство станет «более демократическим». Однако это не так: «В странах, где вырос уровень образования, не наблюдается тенденции к увеличению уровня демократии» (Acemoglu et al., 2006: 44). Нельзя однозначно сказать, какие именно факторы, коррелирующие как с общим уровнем школьного образования, так и с демократической ситуацией в стране, остаются без внимания. Это может быть, например, степень экономического развития общества или структура распределения школьного образования среди населения, но могут быть и национальные особенности той или иной страны. К «вневременным» фактором можно было бы отнести численность коренного населения в стране или природные и, в частности, климатические условия. Результаты исследования Аджемоглу и его коллег (Acemoglu, 2006: 47) показывают, что эмпирическая корреляция школьного образования и демократии ослабевает, если в корреляционной матрице учитываются специфические для той или иной страны факторы. Отсюда авторы делают вывод о спорности тезиса о причинно—следственной взаимосвязи между образованием и демократией.

Ампаро Кастелло—Климент (Castelló—Climent, 2008) сомневается в верности выводов Аджемоглу, или, если быть более точным, в эту дискуссию о взаимосвязи между демократией и образованием он вносит важные теоретические тезисы и новые объемные эмпирические данные. В своем исследовании Кастелло—Климент использует иные статистические методы, что позволяет ему определять влияние национально—специфических факторов на корреляцию образования и демократии. В свой анализ он вводит

показатель структуры распределения формального образования и профессиональной подготовки среди населения. Общественная структура распределения продолжительности школьного образования позволяет выявить потенциально возможную ситуацию, когда в среднем высокий уровень формального образования в стране объясняется прежде всего образовательными стандартами элиты. Следуя тезису, изначально сформулированному Бургиньоном и Вердые (Bourguignon, Verdier, 2000), Кастелло–Климент (Castelló–Climent, 2008: 180) на основании выборки из 104 стран в период между 1965 и 2000 годом приходит к выводу, что равномерное распределение формального образования (т.е. уровень образования, достигнутый по меньшей мере 60 процентами населения) в качестве переменной сильнее влияет на ситуацию с демократией в стране (если используется «индекс политической свободы» компании «Фридом хаус»)¹²², чем показатель увеличения среднего количества лет, проведенных в системе формального образования, среди жителей страны старше 25 лет. Тезис о роли распределения образования в стране подтверждается и после проверки возможных промежуточных переменных (доход на душу населения, доля инвестиций в ВВП, уровень урбанизации,

¹²² Индекс свободы компании «Фридом хаус» (ср. www.freedomhouse.org) основывается на 25 вопросах о политических и гражданских правах в той или иной стране. Результаты сводятся в числе от 1 до 7. Чем меньше число, тем выше степень политических свобод. Вопросы, касающиеся политической свободы, подразделяются на три категории: вопросы о выборном процессе, о политическом плюрализме и участии, а также о способе работы правительства. Вопросы о гражданских правах включают в себя четыре индикатора: свобода мнения, свобода организаций, правовая система и индивидуальная автономия и права. Альтернативный инструмент представляет собой так называемый индикатор POLITY (Marshall, Jaegggers, 2005). Этот метод измерений я упоминаю в связи с обсуждением транснациональных сетей как двигателя демократизации. Наконец, следует указать на идеи и аргументы Коппеджа с соавторами (Coppedge et al., 2001: 248) о других техниках измерения уровня демократии в разных странах. В их работе можно найти и критический анализ индекса «Фридом хаус» и POLITY. Говоря о понятии и методиках измерения демократии, они выделяют шесть элементов: «определение, точность, охват и источники, кодирование, сведение данных и проверка на надежность и обоснованность».

численность населения, показатели здоровья, разрыв между уровнями образования среди мужчин и женщин, коэффициент Джини, этно–лингвистическое расслоение, доля мусульманского населения в стране). Ни одна из названных контрольных переменных не меняет главный результат эмпирического исследования Каstellло–Климентa (Castelló–Climent, 2008: 186). Кроме того, автор проверяет влияние целого ряда специфических национальных факторов, в частности, те характеристики страны, которые сформировались под влиянием географических и прочих природных условий. Однако и после этой проверки главный вывод исследования сохраняет свое значение. Таким образом, мы можем констатировать, что результаты исследования Каstellло–Климентa подтверждают тезис Липсета о влиянии формального образования на политический режим и социальные ценности.

Темой еще одного недавнего эмпирического исследования, также подтверждающего тезис Липсета, является положительное влияние школьного образования на политическое участие и гражданскую активность населения. В начале своей работы Томас Ди (Dee, 2003: 2; см. также Milligan, Moretti, Oreopoulos, 2003), впрочем, подчеркивает, что, возможно, речь здесь идет о мнимой корреляции, поскольку не исключено, что индивиды, «выросшие в дружной семье и в сплоченном сообществе, где большое внимание уделялось гражданской ответственности, одновременно с большей вероятностью готовы продолжать учебу в школе». Существование такого рода ненаблюдаемых переменных означает, что корреляции, рассчитанные в рамках обычных техник, неизбежно переоценивают влияние образования на гражданскую позицию. Тем не менее, эмпирические результаты его собственного исследования показывают, что школьное образование имеет статистически значимое влияние на электоральное поведение и отдельные ценностные представления (поддержка гарантий свободы слова). Еще большее значение для нас имеет другой результат исследования, проведенного Ди (Dee, 2003: 24). Автор «выяснил, влияет ли улучшение успеваемости на показатели гражданской активности, проверив возможные внешние источники вариативности в показателях школьного образования, которые обычно никак не связывают с гражданскими показателями во

взрослом возрасте (географическая доступность двухгодичных колледжей в подростковый период и действие закона о детском труде). Результаты позволяют сделать вывод о том, что успеваемость и в средних, и в высших учебных заведениях имеет сильное независимое влияние на большинство показателей гражданской активности и гражданских установок».

Недавние политические трансформации и революции в отдельных странах Ближнего Востока породили новую волну интереса к общественной роли стремительно меняющейся структуры формального образования, а также профессиональной подготовки населения и прежде всего женской его части, а также к связанным с ними изменениям в ожиданиях и установках людей в отношении их индивидуального и коллективного будущего и к возможным влияниям общественных трансформаций на народные протесты в арабских странах. Роберт Барро и Ли Йон Ва (Barro, Lee Jong Wha, 2010) зафиксировали стремительный рост уровня школьного образования в странах, охваченных политическими трансформациями: «Так, например, в Египте и Тунисе отмечено значительное увеличение общего количества лет, проведенных в образовательных учреждениях, среди населения 15 лет и старше — в период с 1980 по 2010 год с 2,6 до 7,1 и с 3,2 до 7,3 лет, соответственно. Из 20 стран мира с наибольшими показателями повышения уровня формального образования 8 были членами Лиги арабских государств» (Campante, Chor, 2011b: 1). Схожая ситуация складывается с участием женщин (причем не только образованных и высоко квалифицированных) в социальных движениях и процессах, направленных на демократизацию этих стран.

Ввиду резкого и существенного повышения уровня формального образования среди молодого населения стран Ближнего Востока, безусловно, встает вопрос о том, в какой мере приобретенные таким образом интеллектуальные способности и связанные с ними ожидания относительно экономических возможностей и преимуществ находят отражение в трудовой жизни или, в том случае, если экономика страны не в состоянии обеспечить соответствующие новым компетенциям рабочие места и денежные вознаграждения, выливаются в политическую активность. Исследование Кампанте и его коллег (Campante, Chor, 2011b) дает

убедительный ответ на вопрос о влиянии формального образования на политическую активность в странах, для экономики которых характерен в целом низкий уровень квалификации трудоспособного населения и при этом стремительно растущий уровень профессиональной подготовки среди молодых. Экономические системы стран Ближнего Востока, как правило, не являются наукоемкими. До сих пор арабским странам, впрочем, как и многим государствам в других регионах, в частности, в Центральной и Южной Америке, не удается расширить наукоемкий сектор экономики пропорционально массивному расширению участия молодого поколения в формальном образовании. Здесь, безусловно, прослеживается связь «между индивидуальными навыками и нехваткой экономических возможностей по достоинству их оценить, что сыграло ключевую роль в политических событиях, потрясших страны арабского мира» (Campante, Chor, 2011b: 2). Кроме того, как демонстрируют эмпирические данные из исследования Кампанте и Кора (Campante, Chor, 2011b: 20), «индивиды, чей доход не достигает уровня, какого можно было бы ожидать, исходя из уровня их формального образования, в большей степени склонны использовать свой человеческий капитал в политических акциях, таких как демонстрации, забастовки и захват зданий».

По мнению ряда историков и социологов (см., например, Stone, 1969; Lerner, 1958), в домодерных и модернизирующихся странах большое значение имеет не столько влияние растущего уровня формального образования, которое стало заметно лишь в последнее время, сколько показатель грамотности среди населения.

Кристофер Хилл (Hill, 1967: 124) в своем анализе работы Питера Ласлетта «Мир, который мы потеряли» (Laslett, 1965) высказывает сомнение в том, что политическая активность и непосредственное участие в революционных политических переворотах являются прерогативой грамотных членов общества: «Французская, русская, китайская, а также английская революции немыслимы без политических действий безграмотных масс, несмотря на ведущую роль образованной части общества». Ниже для прояснения этого вопроса я обращаюсь к результатам эмпирического исследования Джона Маркоффа (Markoff, 1986), в центре которого — значение

уровня грамотности среди (мужского) населения Франции в эпоху французской революции.

Однако сначала я хотел бы обратить внимание читателей на разработанную Дэниелом Лернером трехфазовую модель демократизации и модернизации (Lerner, 1958), где уровню грамотности отводится решающая роль двигателя общественных трансформаций (Lerner, 1958: 60): «Главную роль играет урбанизация <...> В новом урбанистическом контексте получают развитие другие характеристики двух последующих этапов — грамотность и рост масс-медиа. Между ними существует тесная взаимосвязь, поскольку грамотность способствует развитию масс-медиа, а те, в свою очередь, способствуют распространению грамотности. Тем не менее, главную роль на втором этапе играет грамотность. Умение читать, которым вначале обладают лишь немногие, дает людям возможность выполнять многообразные задачи, которые ставит перед ними модернизирующееся общество <...>. В результате этого взаимодействия появляются те институты участия (в частности, голосование), которые мы обнаруживаем во всех развитых современных обществах».

Если придерживаться трехфазовой модели модернизации, то уровень грамотности населения — это, безусловно, главный момент демократизации общества. Однако с тех пор как Дэниэл Лернер сформулировал этот тезис в середине 1950-х годов, выяснилось, что во многих модернизирующихся странах ликвидация безграмотности не обладает ожидаемым мощным потенциалом, по крайней мере, в средне- и краткосрочной перспективе. Это, конечно, не означает, что в будущем не обнаружится тесная корреляция между уровнем грамотности и демократией. Однако будет ли данный фактор обладать ожидаемым потенциалом, предсказать невозможно. В любом случае и другие культурные, экономические или международные тенденции общественного развития будут иметь не меньшее влияние на процесс демократизации.

Относительно вопроса о том, почему уровень грамотности населения оказывает влияние на политические установки и политические действия граждан, существует целый ряд гипотез. К ним относится, к примеру, тезис, согласно которому общества, где

функция культурной трансляции возложена не на письменный нарратив и письменную историю, а на устную передачу, имеют иной политический профиль. Политически релевантную легитимацию прошлого в письменных культурах гораздо проще привлечь для критического противопоставления в современных конфликтах и дискуссиях. Здесь проще увидеть, что все может складываться и по-другому. По этой же причине проще легитимировать и объективировать сопротивление и оппозицию. В письменных культурах больше возможностей столкнуться с критическим политическим мышлением, поскольку в них проще распространить подобные идеи. Наконец, в обществах с письменной культурой и ее носителями проще организовать политическую мобилизацию. Как подчеркивает Маркофф (Markoff, 1986: 326), умение читать и писать «существенно повышает возможность отправлять различным участникам одно и то же послание, отправлять послания, значимость которых не уменьшается с увеличением расстояния или по прошествии времени, получать ответ на вопросы и критику собственных предложений, касающиеся самой сути, поскольку эти вопросы и предложения были тщательно продуманы во всех подробностях в свободное время».

Проведенный Маркоффым анализ французской революции являет собой попытку проверить тезис о влиянии уровня грамотности на организованные политические действия в контексте крупномасштабных политических революций. На основании эмпирических данных Маркофф ищет ответ на конкретный вопрос: как можно описать связь между географией восстаний и географией уровня грамотности во Франции 1789–го года? Данные о географическом распределении умения читать и писать существенно разнятся от департамента к департаменту в диапазоне от 5 до 91 процента. В первую очередь эти данные (Markoff, 1986: 332) показывают, что «нет четких свидетельств того, что грамотность во всех без исключения случаях облегчала мобилизацию граждан, независимо от целей коллективной активности, за счет повышения способности к координированным действиям. <...> Также нет и видимых признаков бесцельной отчужденности, обиды или неудовлетворенности, которые, как иногда считают, характерны для мыслительных процессов, обусловленных грамотностью».

Несмотря на это, Маркофф не считает, что различный уровень грамотности среди французского населения не имел никаких политических последствий. Вполне возможно, что в целом готовность восстать против господствующего политического устройства коррелирует с разными политическими стратегиями в регионах с разным уровнем грамотности, т.е. умение читать и писать, «возможно, все же имело значение для того, какие формы принимало это противостояние и против каких объектов была направлена эта мобилизация» (Markoff, 1986: 333). На основании этих размышлений Маркофф выдвигает новую гипотезу об округах, в которых имела место политическая мобилизация: какую роль в этих случаях сыграло умение читать и писать? Приведенные в книге данные (Markoff, 1986: 334) показывают, что на самом высоком уровне грамотности резко возрастает вероятность того, что в соответствующем баляже отмечались нападения на землевладельца, церковь или государство, что по мере увеличения уровня грамотности наблюдалось неуклонное и существенное уменьшение проявлений Великого страха (распространения паники в сельской местности, где деревенские общины вооружались и готовились защищаться от несуществующих нападений бандитов, городского населения, аристократов или иностранных армий) и что, несмотря на значительную вариативность, нет четкой связи между спекулянтами, набегами на рынки и воинственных требований отдать товар по честной цене и безграмотностью».

По результатам своего исследования Маркофф приходит к следующему выводу: «Если в отношении тех или иных регионов можно было утверждать, что в них зародились социальные движения, приведшие к изменениям критикуемых общественных институтов, а не к немедленным, но временным решениям в условиях кризиса, то это были регионы с наиболее высоким уровнем грамотности в сельской Франции». Таким образом, умение читать и писать среди населения разных регионов Франции во времена французской революции оказывало влияние не столько на политическое действие в целом, сколько на формы этого политического действия (Markoff, 1986: 342).

Несмотря на активные аналитические и эмпирические исследования, приходится констатировать, что вопрос корреляции между

образованием, прежде всего в значении уровня формального образования, и процессами или препятствиями демократизации остается спорным. Неоднозначность оценок характерна в первую очередь в отношении каузальной корреляции между когнитивными способностями и уровнем формального образования, учитывая большое количество других релевантных факторов, как, например, возраст респондента, его семейное положение или социальное происхождение (ср. Carlsson, Dahl, Rooth, 2012). Спорность этой взаимозависимости отражается и в неоднозначности взаимосвязи между компетентностью, когнитивными способностями и демократическими процессами.

2.3. Компетентность как социальный феномен

С тех пор как работа интеллекта превратилась в источник силы и богатства, все развитие науки, все новые знания, всякую новую идею можно рассматривать в качестве зародыша будущего могущества, вполне доступного для народа.

*Алексис де Токвиль
(Tocqueville, [1835–40] 2000: 5)*

Понятие «компетентности» (или осведомленности, *knowledgeability*) не входит в число распространенных или общепринятых терминов социальных и гуманитарных наук, а следовательно, не относится и к спорным понятиям (в том смысле, как их трактует в своей концепции сущностно спорных понятий фон Галли (von Gallie, 1955–1956)). Тем не менее, в социальных науках иногда встречаются обсуждения понятия «компетентность», и прежде чем я приступлю к изложению своего понимания этого социального явления, я хотел бы кратко, не пускаясь в долгие терминологические дебаты, рассмотреть понятие компетентности, как его использует, к примеру, Энтони Гидденс в своей теории структуризации (Giddens, 1984: 21–22).

Свои интересы в сфере социальной теории Гидденс описывает как стремление показать, «как можно выстроить такую перспективу

социального анализа, которая бы учитывала компетентность социальных акторов, но в то же время и границы этой компетентности, и позволяла бы использовать некоторые из этих выводов, не отказываясь от результатов институциональных исследований» (в: Mullan, 1997: 81). Под компетентностью Гидденс понимает прежде всего практическое знание или практическое сознание, знание в значении «обычной» или обыденной, разделяемой многими, не выраженной эксплицитно системы координат социального действия. Определяемое таким образом знание является одним из базовых условий социального действия. В терминологии Пьера Бурдьё повседневное знание почти всегда тождественно нереплексивному «практическому смыслу». Повседневный, здравый смысл опирается на непосредственную способность человека понимать этот мир, однако рефлексировать саму себя эта способность не может (Bourdieu, [1980] 1990: 19). Она не подразумевает знания практических навыков и умений, генерирующих или делающих возможным такого рода знания. Практическое отношение к социальному миру является, по словам Бурдьё (Bourdieu, [1980] 1990: 19) отношением «ученого незнания» (*docta ignorantia*).

В своем определении знания Гидденс опирается главным образом на этот универалистский, неисторичный, непосредственно релевантный для действия аспект, оставляя в стороне вопросы, тесно связанные с проблемами исторической трансформации и интересующие меня в первую очередь, в частности, как связаны между собой конститутивные признаки волевого действия и демократия; как и почему возрастает объем общественно доступного знания; как знания (и особенно компетентность) распределены в современных обществах; какое знание транслируют те, чья профессиональная деятельность опирается на знание (эксперты, консультанты и советники); меняется ли соотношение общественного статуса компетентности и социальных структур; как из знания возникают авторитет, солидарность или экономический рост; какое влияние на политическое управление и, соответственно, на властную структуру общества имеет знание? И могли бы знание и осведомленность стать оружием социально слабых? Оружием, сила которого возрастала бы благодаря информационным структурам, не находящимся под контролем власть предержащих?

Гидденс сосредотачивает свое внимание на общественных, т.е. широко распространенных и доступных характеристиках знания действующих акторов в контексте непреднамеренных последствий их действий (Giddens, 1981: 28); меня же интересует знание (пусть даже временное, не явленное в настоящий момент), которое акторы зачастую должны сначала приобрести. Речь идет о социально стратифицированных формах знания, распределение которого становится предметом политического и экономического противостояния. Гидденс выдвигает онтологический тезис. Меня же волнует тот факт, что акторы не довольствуются тем, что уже знают, а хотят знать больше других, а, стало быть, и то, что знание в социальном контексте представляет собой стратифицирующий или разделительный феномен социального действия.

Мое определение компетентности как индивидуального и систематического атрибута социального действия, который с большой долей вероятности может рассматриваться как часть и двигатель социально-исторических процессов, влияющих на возникновение и устойчивость пространства общественной свободы, равно как и мое понимание распределения этой компетентности в обществе не связано ни с так называемым повседневным, нерефлексивным или «обычным» знанием, ни с высоко специализированными, научно-техническими познаниями. Не следует отождествлять компетентность со знанием или с понятием познания, а тем более с используемым во многих эмпирических исследованиях статистическим показателем «лет обучения в школе» в значении индикатора уровня образования или объема знаний, которым обладает отдельный индивид или совокупность индивидов. Указание количества лет, проведенных в образовательных заведениях, проблематично постольку, поскольку данный индикатор, как правило, соединяет в себе множество разных по качеству учреждений и трактует формальное образование как своего рода «черный ящик». Особенно это актуально применительно к обществам с разветвленной и сильно стратифицированной системой образования.

С другой стороны, понятие компетентности в значении совокупности навыков и способностей, погруженной в тот или иной социальный контекст, находится в более или менее тесной

взаимосвязи с такими понятиями, как ум, мудрость и способность суждения. В свою очередь, эти понятия, насколько я могу судить, указывают прежде всего на индивидуальные интеллектуальные способности, обладающие ценностью в силу своей редкости, но так же, как и понятие компетентности, направленные на практические достижения и результаты.

Понятие компетентности родственно понятию рефлексивного, а также теоретического знания. К различным формам знания относятся повседневные и теоретические знания, а также разные подходы к реальности. С точки зрения формирования шансов общественного, в первую очередь политического, но также и экономического участия, компетентность можно было бы определить как совокупность социальных навыков и умений, позволяющих индивиду мобилизовать социальные способности и знания в определенных ситуациях, распознавать возможности инноваций (см. von Hippel, 2006)¹²³, выдвигать темы для политической повестки дня, разрабатывать и практиковать новые формы политической внимательности (social attentiveness, см. Rosanvalon [2006] 2008: 40), поднимать социальный престиж — другими словами как современную основу социальной стратификации и потенциала реализации социально—политической воли.

Особый интерес, разумеется, представляют социальные условия, обеспечивающие возможность общественной мобилизации компетентности, способствующие ее повышению или препятствующие ей (как, например, так называемые «критические моменты» социального действия (Boltanski, Thévenot, 1999), в отличие от обычных неproblemатичных обстоятельств действия в повседневной жизни (см., например, Luckmann, [1982] 2002: 79–80))¹²⁴, которые я в своей

¹²³ «Демократический» вариант инновационных возможностей подразумевает способность конечных потребителей товаров и услуг — как фирм, так и отдельных индивидов или групп — осуществлять инновационную деятельность, независимо от их формального образования и производственной сферы (см. von Hippel, 2006: 1).

¹²⁴ Фридрих фон Хайек (Hayek, [1945] 1976: 109) в своем эссе «Использование знаний в обществе» также обращает внимание на то, что, «быть может, не совсем лишним» будет напомнить, что только «проблемы» влекут за собой мобилизацию знаний и что проблемы есть результат социальных трансформаций:

работе не могу рассмотреть более подробно, а также те социальные поля и пространства, в которых транслируется компетентность (см. Sörlin, 2002)¹²⁵. Так, в последнее время исследователи стали обращать внимание на значение интернета в приобретении компетентности, а также на опасность того, что влиятельные интернет-концерны с помощью программного обеспечения систематически персонализируют и тем самым ограничивают или контролируют доступ индивидов к информации в Интернете¹²⁶.

Как я уже подчеркивал, компетентность не тождественна формальному образованию, несмотря на существующую тесную связь между уровнем образования и компетентностью. Это касается, в частности, различий в отношении локуса контроля у акторов с более высоким и с более низким уровнем формального образования (см. Schieman, Plickert, 2008). Впрочем, высокая компетентность может отличать человека или группу людей и с низким уровнем формального образования. Если отвлечься от спекулятивных рассуждений о различиях в компетентности и уровне формального образования, то в целом совокупность интеллектуальных способностей и умений, отражающих образование, компетентность и грамотность населения той или иной страны, может рассматриваться как значимый показатель той роли, которую когнитивные факторы в целом играют в процессе демократизации данного общества (см. также Dewey, [1961] 2005). Как показывает приведенный ниже перечень специфических характеристик компетентности, она является коллективным показателем и изначально отсылает нас к коллективам (ср. Fuerstein, 2008: 78), например, в значении сетевой структуры значимых для конкретного индивида людей (см. Grofman, Norrander, 1990).

Однако констатируя важную роль знания в обществе и в особенности мобилизации знания среди растущих слоев населения,

«До тех пор пока ход вещей остается прежним или, по крайней мере, его развитие не отличается от ожиданий, не появляются новые проблемы, требующие решения, не возникает необходимости разрабатывать новый план.

¹²⁵ Здесь я хотел бы обратить внимание читателя на мое рассмотрение (открытых) социальных контекстов, в рамках которых только и возникает спрос на знание.

¹²⁶ См. статью Эли Паризер в «Нью-Йорк Таймз» под заголовком: «Когда Интернет думает, что знает Вас»: New York Times, 22.05.2011.

мы еще ничего не говорим о приобретении и степени «наследственности» этих ресурсов. Если придерживаться тезисов Пьера Бурдьё (см., например, Bourdieu, [1979] 1982) о приобретении знаний, в частности, в форме культурного капитала, то складывается впечатление, что мы имеем дело с ресурсами, накапливаемыми главным образом теми слоями населения, которые могут опереться на культурный капитал своей семьи. Это, безусловно, верно в отношении более или менее высокой доли всего населения в целом, однако же не объясняет причин того, что представители других слоев (казалось бы, социально слабых и безынициативных), несмотря на дефицит унаследованного культурного капитала, способны приобретать качества компетентности. Таким образом, доступ и обращение с этими качествами, по-видимому, зависят не только от передаваемых по наследству, традиционных способностей, но и от принципиальной открытости компетентности. В то же время аргументация Бурдьё оставляет без ответа вопрос о том, почему и каким образом возрастает объем имеющегося в обществе знания (ср. Goldthorpe, 2007). По сравнению с другими общественными ресурсами, специфическая характеристика знания заключается не только в том, что знание не является феноменом с нулевой суммой, но и в том, что доступ к этому ресурсу гораздо труднее контролировать.

2.4. Компетентность как совокупность социальных способностей

Природа современного государственного и общественного устройства обуславливает стабильно привилегированное положение специальной профессиональной подготовки и тем самым образования, этой сильнейшей составляющей сословной стратификации в рамках современного общества.

Макс Вебер (Weber, [1917] 1980: 266)

В истории индустриальных стран Западной Европы и Северной Америки, как я уже упоминал ранее, не было другого такого периода, который можно было бы сравнить с периодом общественного

развития с 1950-го по 2000-й год. К концу этого временного отрезка лишь для пятой части населения еще сохранялась опасность крайней нужды, которая на протяжении многих десятилетий до этого постоянно угрожала жизни едва ли не 75 процентов всех граждан этих стран. Конечно, абсолютная бедность не исчезла даже в самых богатых странах, однако уровень жизни большинства семей на протяжении этих пятидесяти лет продолжал неуклонно расти или, по крайней мере, не демонстрировал тенденцию к снижению, в результате чего был достигнут уровень, который в середине прошлого столетия называли «адекватным жизненным стандартом».

Кроме того, за этот же период времени во многих странах существенно расширился доступ населения прежде всего к среднему школьному и университетскому образованию, как о том свидетельствует количество выпускников средних и высших образовательных учреждений среди молодого поколения. Исторически уникальный средний уровень благосостояния населения, возросшие шансы на получение формального образования, а также относительно мирное сосуществование народов в данных государствах — вот важнейшие характеристики, делающие данный отрезок времени уникальным.

Смещение внимания на феномен компетентности указывает не только на новое основание социального неравенства (впрочем, как я уже подчеркивал, не в смысле строго психологических установок, см. Lane, 1953)¹²⁷, но и на возросшие и совершенные новые шансы политического и общественного участия и конфликты¹²⁸.

¹²⁷ Здесь я имею в виду типологию политических характеров, которую Роберт Лейн (Lane, 1953) разработал по аналогии с предложенной Дэвидом Рисменом дихотомией понятий индивидов, «ориентированных изнутри», и индивидов, «ориентированных извне».

¹²⁸ Дэниел Белл (Bell, 1973: 44) обращает внимание на то, что каждый новый общественный режим или новая общественная система вызывают острое чувство социального неприятия у тех, кому кажется, что нововведения оставляют его за бортом или грозят ухудшить его жизнь. Среди главных общественных проблем и новых социальных различий в постиндустриальных обществах следовало бы назвать прежде всего «конфликт, порожденный меритократическим принципом, имеющим ключевое значение для социального статуса в обществе знания».

Если говорить непосредственно о сфере политики и политического участия, то навыки и способности, из которых складывается компетентность, ведут к большей (фактической и субъективной) политической осведомленности¹²⁹, к большему интересу к политическим вопросам и повышают информированность и способность разумно рассуждать на политические темы, принимать независимые политические решения, оказывать политическое влияние на других акторов и, что немаловажно, усиливать и расширять общественное давление на крупные институты (церковь, государство, экономику, образование), побуждая их давать отчет гражданам о результатах своей деятельности.

Однако какими именно когнитивными ресурсами действия объясняется появившаяся возможность новых политических конфликтов и форм участия? Как эти возможности действия должны быть распределены в обществе? Как именно функционирует знание в значении властного ресурса в контексте политического противостояния?

Менее абстрактно, чем в предыдущем разделе, компетентность можно определить как совокупность социальных и интеллектуальных навыков, умений и способностей. С этой точки зрения, данный подход имеет определенное сходство с концепцией потенциала или способностей (*capabilities*), разработанной по отдельности и совместно (Nussbaum, Sen, 1993) Амартием Сеном (см., например: Sen, 1984a; 2002) и Мартой Нуссбаум (Nussbaum, 1993). Согласно данной концепции, люди сами определяют свою судьбу и устраивают свою жизнь во взаимодействии и сотрудничестве с другими на основании определенных способностей. Реализация выделенных Нуссбаум и Сеном способностей ради достижения определенных целей и составляет содержание человеческой жизни: «Ключевые способности не носят исключительно инструментальный характер по отношению к целям; считается, что они сами содержат некую ценность, поскольку

¹²⁹ См. также аргументацию и международное сравнительное эмпирическое исследование субъективной политической компетенции в западных обществах в: Almond, Verba, 1963: 57–78.

делают жизнь своих носителей подлинно человеческой» (Nussbaum, 2000: 74)¹³⁰.

Лучше всего раскрыть эту совокупность и определить каждый основанный на знании ресурс в отдельности можно, перечислив эти ресурсы действия так, как акторы привлекают их в зависимости от потребностей в конкретной ситуации действия (см. Walker, 2008). Различные комбинации навыков и умений, их взаимозаменяемость и варианты совмещения в зависимости от меняющихся требований приводят к тому, что социальные различия в современном обществе знания в меньшей степени когерентны и однородны, а иногда и вовсе неразличимы по сравнению, к примеру, со структурами социального неравенства в индустриальном обществе. В обществе знания стратификационные структуры гетерогенны, а социальные различия всегда зависят от ситуационного контекста. Еще Георг Зиммель (Simmel, [1907] 1989: 607) более ста лет назад обратил внимание на то, что «всеобщее повышение уровня знаний» не влечет за собой «всеобщего уравнивания», а скорее ведет к постепенному исчезновению ярко выраженного непреодолимого неравенства в современных обществах. Идеи о всеобщем равенстве по-прежнему остаются утопичными.

Ниже я кратко перечислю главные умения и способности, основанные на знании и влияющие на структуру социально-политического участия:

Умение исчерпывающе использовать свободу принятия решений: поскольку социально сконструированные правила, нормы и стандарты обыденного и необыденного поведения, а также их применение и контроль практически всегда оставляют за индивидом определенное пространство свободы, они допускают различные варианты интерпретаций и конкретного воплощения, которые «компетентные» акторы могут использовать для обеспечения

¹³⁰ Амартия Сен (Sen, 1992: 5) перечисляет множество самых разных целей, определяемых способностями индивида их достичь: «Эти вытекающие из способностей задачи охватывают целый спектр, начиная от самых элементарных целей, таких как стремление хорошо питаться, по возможности избежать заболеваний и преждевременной смерти, и заканчивая весьма сложными, изощренными достижениями, такими как самоуважение, возможность участия в жизни общества и так далее».

выгодного и избежания невыгодного положения в тех или иных ситуациях. Умение использовать свободу принятий решений означает, таким образом, способность создавать относительное преимущество, будь то в сфере правил дорожного движения, налогового законодательства, инвестиционных возможностей, профессиональной карьеры, профессионального образования, повышения уровня доходов или в какой-либо другой области. Так, например, сегодня все чаще можно услышать о проблеме «исчезающего налогоплательщика»: по всему миру налоговые службы отмечают снижение налоговых сборов в связи с тем, что предприятия и участники сделок используют мобильность как ресурс, позволяющий избежать налогов. Что касается электронных сделок, то их в любом случае сложнее контролировать (ср. The Economist, 31.05.1997; The Economist, 20.09.2014).

Возможность организовать защиту: символические и материальные убытки, вытекающие из неумения организовать адекватную защиту, могут оказаться весьма существенными. Принятие соответствующих мер и обнаружение возможностей защиты опять-таки связано с особым умением акторов обеспечить себе доступ к специальным знаниям с тем, чтобы защитить, например, свою частную собственность, частные ресурсы (см. Klapper, Lusardi, Panos, 2012) и предотвратить потери вследствие структурного или нетипичного обесценения.

Способность и навык говорения (ср. также Bourdieu, 1975) и эффективного участия: данная способность базируется на умении соответствующим образом мобилизовать знания в релевантном контексте и почти всегда предполагает параллельное отмежевание от тех, кто не обладает навыком говорения в этом смысле. Одна из возможностей демократического контроля связана со способностью акторов вносить в политическую повестку дня те или иные темы; другая возможность состоит в способности ставить под сомнение мнение экспертов (ср. Feyerabend, [1978] 1980; Selinger, 2003). Если же индивид относит себя к оппозиции, то данная способность означает также умение формулировать политические цели. Все эти навыки и умения важны для многих социальных взаимосвязей и ситуаций в повседневной жизни, в профессии или в контексте гражданского общества, но

означают также и способность обычной публики или отдельных людей – неспециалистов принимать участие в качестве «спикеров» в дискуссии экспертов и «возражать сомнительной правде дискурса, оправдывающей их практики» (Larson, 1990: 37). В то же время неумение обращаться со знанием, независимо от механизмов исключения или принадлежности, неизменно связанных с уровнем образования, все чаще интерпретируется как признак личной несостоятельности.

Способность учитывать различные (в некоторых случаях и противоречащие друг другу) точки зрения¹³¹: эта способность посредством сетевых действий привлекать разные подходы к одной проблеме, проверять и расширять их, или же объединять конкурирующие точки зрения, например, в сфере политического дискурса, инвестиционного поведения, образа жизни или коллективных действий, а также в области других обыденных или нестандартных проблем заключается в когнитивном умении вырабатывать и отстаивать собственную позицию, убеждать других и просвещать окружающих относительно ценности собственного мнения или решения. Способность четко формулировать, соотносить и в определенных обстоятельствах объединять разные точки зрения («integrative complexity» [ср. Tetlock, 2002]) включает в себя также умение использовать «распределенное» в обществе знание (Hayek, [1945] 1976: 77)¹³². В области политического

¹³¹ Определение, которое Ч. Райт Миллс (Mills, 1959: 7) дал социологическому воображению, довольно точно отражает суть этой составляющей компетентности: «Ибо такое воображение дает возможность социологам переходить от одной перспективы к другой, от политической к психологической, от рассмотрения отдельной семьи к сравнительному изучению государственных бюджетов разных стран, от воскресной школы к армейскому подразделению, от обследования отдельного предприятия к изучению современной поэзии. Социологическое воображение позволяет перейти от исследования независимых от воли отдельного индивида общих исторических изменений к самым сокровенным свойствам человеческой личности, а также видеть связь между ними».

¹³² Классическая концепция распределения знания в работах Фридрих Хайека (Hayek, [1945] 1976: 103–104) непосредственно касается только знания, распределенного среди экономических акторов: «Собственно, суть рационального экономического устройства определяется тем фактом, что

действия данная способность включает в себя, в частности, умение «соотносить несколько дискретных корпусов знания, различным образом распределенных среди политического сообщества» (Fuertes-tein, 2008: 78), не предполагая, впрочем, полного владения всеми знаниями того или иного научного поля¹³³. Наконец, данная характеристика компетентности включает в себя способность включать в свой кругозор разные политические воззрения и одновременно уметь признавать противоречащие друг другу идеи¹³⁴.

Способность мобилизовать силы сопротивления: данная способность представляет собой важный компонент стратифицирующего потенциала знания (см. Essed, 1991). Так, например, способность критиковать практики экспертов, государства или корпораций и требовать от них отчета является важным (позитивным) фактором, позволяющим знанию расширять возможности

знание обстоятельств, которым мы пользуемся, никогда не существует в обобщенном виде или как некое целое, а всегда лишь в виде разрозненных фрагментов неполных и зачастую противоречивых знаний, которыми по отдельности обладают различные индивиды <...> Стало быть, экономическая проблема общества <...> есть проблема использования знания, которое никому не дано в своей совокупности». Впрочем, нет сомнений в том, что проблема разделения знания относится ко всему обществу и указывает на решение вопроса о различении знания и незнания (ср. Stehr, 2012a).

¹³³ Хейли Стивенсон и Джон Дрыжек (Stevenson, Dryzek, 2012: 192) трактуют понятие рефлексивной модернизации и рефлексивной традиционализации как проявление способности распознавать альтернативные дискурсы: «Рефлексивная модернизация и рефлексивная традиционализация обозначают пространство, открывающееся для построения дискурсов, на которые влияют осознанные выборы компетентных агентов, в результате более полного понимания альтернативных дискурсов. Чем более распространена данная способность в обществе, тем больше шансов у демократии».

¹³⁴ Умение терпимо относиться к конфликтующим точкам зрения переключается с разработанной Джоном Роулзом (Rawls, 1997: 766) концепцией публичного разума (public reason): в демократическом обществе «граждане осознают, что они не могут достичь согласия или даже взаимопонимания на основании их непримиримых универсальных доктрин. Понимая это, они должны решить, какого рода причины они могут привести друг другу, когда на кону важные политические вопросы. Я предлагаю, чтобы в публичном разуме всеохватные доктрины правды или справедливости были заменены идеей политической оправданности, адресованной гражданам».

участия. В этой связи можно вспомнить, к примеру, морализацию рынков (Stehr, 2007), а также связанное с компетентностью умение концентрировать политическое внимание как средство контроля над властью имущими.

Способность избегать или исключать что-либо, усиливая выносливость и сопротивляемость актора, домохозяйства или фирмы: способность избегать чего-либо — это еще одно стратифицирующее умение людей и коллективов, мобилизовать которое можно на основании различных компетенций. Я имею в виду стратегии, гарантирующие, что некоторые из опасностей, подстерегающих нас в современном обществе, будут распределены по-разному, например, в сфере общей безопасности, в случае столкновения с конфликтами, насилием или угрозой для физического или психического здоровья, а также способность справляться с собственными промахами и неудачами. В то же время не исключено, что наблюдаемый в большинстве развитых стран колоссальный рост «неформальной экономики», т.е. всех тех легальных и нелегальных способов и форм экономической трансакции, которые не подлежат контролю со стороны государства или юридической системы, также проистекает из стратифицирующего потенциала знания.

Способность генерировать новые убедительные идеи или воззрения¹³⁵, которые уже в силу своей убедительности и без использования властных ресурсов могут оказаться на политической повестке дня¹³⁶.

¹³⁵ Джозеф Най (Nye, 1990) называет способность формулировать новые убедительные идеи, которые при определенных обстоятельствах достигают политической повестки дня, одной из форм «мягкой власти». Этот термин в целом верно описывает ключевые характеристики разных форм компетентности.

¹³⁶ Способность компетентности генерировать новые убедительные идеи или воззрения в каком-то смысле переключается с экономической функцией компетентности членов «креативного класса» в исследовании Ричарда Флориды «Креативный класс» (Florida, 2002). Состав креативного класса, если не брать во внимание его суперкреативное ядро в лице ученых, университетских профессоров, поэтов и архитекторов, — это люди самых разных профессий, которые «подвизаются в креативном решении проблем, используя сложные комплексы знаний для решения специфических

В отношении всех характеристик данной совокупности компетенций можно сказать, что эффект от их применения для отдельных индивидов или коллективов, связанный, например, с высказываемыми ими мнениями или идеями или с умением обращаться со знаниями, разумеется, может иметь и отрицательные стороны и поэтому не всегда влечет за собой повышение статуса и уровня удовлетворенности или расширения возможностей влияния в том, что касается конструктивных перемен в обществе. Ни знание в значении способности действовать, ни информация, описывающая свойства людей или вещей, не содержат конкретных указаний на то, что следует делать, ни, тем более, на то, как следует применять те или иные познания на практике (*enacted knowledge*). Стало быть, только идеи с заложенным в них диагнозом положения вещей (как, например, тезис о том, что социальное неравенство зиждется на несправедливости) способны предлагать нам цели действия и мобилизовать силы. Именно они содержат призыв к действию¹³⁷.

В целом весь набор основанных на знании социальных компетенций открывает доступ к ресурсам действия, которые, в свою очередь, позволяют в той или иной степени контролировать свою жизнь, проявлять инициативу, мобилизовать навыки и брать на себя ответственность, в частности, в отношении собственного здоровья (продолжительности жизни)¹³⁸, финансового статуса,

проблем» и «от которых <...> регулярно требуется <...> думать самостоятельно» (Florida, 2000: 69).

¹³⁷ В контексте дискуссий о возможностях измерения качества жизни с помощью традиционного экономического показателя ВВП Альберт Хиршман (Hirschman, 1989) задается вопросом, следует ли возможность «иметь мнение» считать благом, которое необходимо включать в индекс качества жизни в той или иной форме. Вот как сам Хиршман в характерных для его работ экономических терминах отвечает на данный вопрос: «Формирование и усвоение мнений приносит индивидам существенную пользу. В то же время с определенного момента этот процесс может иметь опасные побочные эффекты — он потенциально опасен для функционирования и стабильности демократического устройства. При нынешних культурных ценностях эти побочные эффекты не учитываются в индивидуальных расчетах — они воспринимаются как внешние издержки».

¹³⁸ В широкомасштабном американском панельном исследовании, посвященном корреляции между различными индивидуальными и семейными

личного стиля жизни, карьерных возможностей, долгосрочных материальных гарантий, общественной жизни и так далее или же выискивать необходимые компетенции для решения данных задач и тем самым облегчать рефлексивное, социально дифференцированное обращение с релевантными формами знания.

Умение мобилизовать ресурсы сопротивления, использовать возможности свободного решения, организовать защиту, мобилизовать знания, предлагать новые убедительные идеи и принимать решения — это, безусловно, важная часть подобных тактик и стратегий, и поэтому оно в существенной мере способствует формированию независимого, эффективного сознания (или «внутренней эффективности», *internal efficacy*), при помощи которого субъект в состоянии контролировать социальную и политическую ситуацию, чтобы не стать игрушкой или жертвой случайных обстоятельств, и в определенных случаях, имея соответствующие идеи и представления, менять общественные условия («внешняя эффективность», *external efficacy*). Описанная мною растущая компетентность акторов — этот набор основанных на

характеристиками и в первую очередь взаимосвязи между когнитивными и некогнитивными характеристиками лиц в подростковом возрасте (14 и 15 лет) и их же здоровьем во взрослом возрасте (41 год) показывает, что, как резюмируют Кёстнер и Кэллисон (Koestner, Callison, 2011: 63), «когнитивные способности и самооценка демонстрируют прямую значимую корреляцию с показателями здоровья во взрослом возрасте». Еще одно исследование, проведенное ранее британскими учеными, показало еще более тесную связь между когнитивными способностями и измеренными позднее показателями здоровья (см. Carneiro et al., 2007). Когнитивные способности измерялись при помощи Квалификационных тестов вооруженных сил (AFQT). Данный тест позволяет измерить словарный запас, умение понимать тексты, счет и математические знания. Кёстнер и Кэллисон (Koestner, Callison, 2011: 64) рассматривали также вопрос о том, могут ли «когнитивные и некогнитивные факторы в подростковом возрасте служить объяснением гендерных и расовых различий в отношении здоровья. В целом мы не обнаружили достаточно оснований полагать, что эти факторы могут объяснить значительную долю различий в отношении здоровья, которые наблюдаются между мужчинами и женщинами и черным и белым населением». Обнаруженные авторами различия могли объяснить лишь незначительную часть стандартного отклонения в разрыве между черными и белыми мужчинами.

знании навыков и умений — представляет собой фундамент для роста самоорганизации малых групп акторов в разных социальных ролях, будь то в качестве потребителей, туристов, школьников или участников политических действий. Компетентность повышает способность акторов осмысленно и независимо подходить к политическим вопросам. Отсюда следует, что компетентность лежит в основе индивидуальной и коллективной способности реализовывать однажды сформулированную идею, причем не только при условии сравнительной свободы от влияния или «манипуляций» со стороны других индивидов (Stigler, 1978: 214). Подводя общий итог, отметим, что чем более распространена в обществе совокупность способностей, составляющих компетентность, тем больше вероятность возникновения и стабильного существования демократии.

2.5. Организации гражданского общества

Общий тезис о политическом значении организаций гражданского общества, которые можно поместить где-то между (политическим) управлением, с одной стороны, и семьей, с другой, и которые действуют на благо демократии, независимо от государственной власти, вот уже на протяжении двадцати лет воспринимается как очевидный и само собой разумеющийся диагноз современных обществ¹³⁹. Социологи и политологи видели и видят в гражданском обществе едва ли не панацею против тенденций, грозящих разрушить общественную солидарность, — растущего индивидуализма, с одной стороны, и усиливающейся власти государства, с другой¹⁴⁰.

¹³⁹ Гильермо О’Доннел и Филипп Шмиттер (O’Donnell, Schmitter, 1986), вопреки доминирующему мнению об организациях гражданского общества как двигателе или стабилизирующем факторе процессов демократизации, убеждены, что, подобно определенным культурным и нормативным представлениям, организации гражданского общества следует рассматривать не как причину, а, скорее, как продукт демократии (см. Schmitter, 2010a: 18; Inglehart, 2009: 91–95).

¹⁴⁰ См. эссе Гертруды Химмельфарб «Пересмотр понятия гражданского общества» в: *The Weekly Standard*, Band 17, Nr. 30 (23.04.2012).

Еще Алексис де Токвиль видел в различных, основанных на добровольных началах гражданских объединениях Америки надежный барьер для атомизирующего воздействия демократии на общества. Аналогичным образом и Эмиль Дюркгейм в своем классическом исследовании общественного разделения труда (Durkheim, [1930] 1977: 63) указывает на значимость средних или второстепенных ассоциаций как гарантов действующей демократии¹⁴¹.

Одним словом, в литературе, посвященной феномену демократии и в особенности в радикальной теории демократии (ср. Cohen, Arato, 1992: 19) царит единодушие в признании истинности того, что Эрнест Геллнер сформулировал так (Gellner, 1994): без гражданского общества нет демократии. Внутри гражданского общества, как утверждает Пьер Розанваллон (Rosanvallon, 2006: 193), «в действительности осуществляется политика, но это не громкий, а спокойный процесс, результат долгих размышлений и неявных выборов, о которых даже невозможно дать себе отчет». По той же причине отсутствие организаций гражданского общества трактуется как серьезное препятствие для построения демократических отношений, точно так же как ликвидация соответствующих связей и сетей может нести угрозу для демократических процессов. Произошедшие за последние десятилетия XX века политические трансформации в ряде стран Латинской Америки, в Южной Корее, Филиппинах или Польше еще раз продемонстрировали, какую роль в возникновении и развитии демократии играет активность гражданского общества (ср. Wnuk–Lipinski, 2007: 683–690)¹⁴².

¹⁴¹ Сеймур М. Липсет (Lipset, 1959: 84–85) более конкретно определяет конструктивную функцию посреднических организаций и институтов в демократических обществах: «Они являются источником компенсирующей силы, не позволяющей государству или какому-либо другому общественному источнику частной власти захватить все политические ресурсы; они являются источником новых мнений; они могут быть средством обмена идеями, в особенности оппозиционными, среди широких слоев населения; они позволяют гражданам приобретать навыки политической активности и помогают повышать уровень интереса и политического участия» (см. также Skocpol, 2004).

¹⁴² Сэмюэль Хантингтон (Huntington, 1991) назвал этот исторический период конца XX–го века «третьей волной демократизации», которая получила мощный импульс в связи с окончанием холодной войны.

Впрочем, этим выводам противоречит диаметрально противоположный диагноз того пути развития, который проделала структура отношений граждан и общезначимых вопросов управления в развитых странах за последние несколько десятилетий. В этом диагнозе отмечается значительное ослабление организаций гражданского общества и уход граждан в сферу индивидуальной активности, частной и семейной жизни. Историк Эрик Хобсбаум (Hobsbawm, 1996: 272) также поддерживает данный тезис и дает типичное для его сторонников описание социальных трансформаций и некоторых из его причин в 1980–1990-е годы прошлого столетия:

«Не может быть ни малейших сомнений в том, что связи между гражданами и общественными делами находятся в фазе затухания, во всяком случае, в странах с демократической формой правления, на что существует несколько разных причин. Одна из них — ослабление массовых идеологических партий, электоральных "механизмов" политической мобилизации и других организаций гражданской активности масс (таких как профсоюзы); другая причина — это распространение ценностей потребительского индивидуализма в век, когда удовлетворение от растущего материального потребления одновременно широко доступно и постоянно пропагандируется».

Что касается участвовавших (по крайней мере, в некоторых странах, в частности, в США с появлением так называемого «поколения 9/11» (Sander, Putnam 2010)) *в настоящий момент* манифестаций гражданского участия ввиду определенных политических событий и изменений, поддерживаемых новыми, технологическими возможностями завязывания и сохранения контактов, то они, по всей видимости, знаменуют собой новую фазу развития организаций гражданского общества. Молодое поколение стало громче заявлять о себе — оно хочет быть услышанным.

Понятие гражданского общества часто рассматривается в связи с понятием социального капитала — порой они трактуются как два взаимозаменяемых феномена. В научной литературе социальный капитал (Coleman, 1988; критический анализ данного понятия см. в: Smith, Kulynych, 2002) описывается как живая основа функционирования и стабильности демократии (см. Putnam, 1993;

Fukuyama, 2001: 7). Социальный капитал и, добавлю от себя, компетентность составляют способность акторов к самоорганизации в рамках малых групп или, другими словами, способность основывать организации гражданского общества на добровольной основе и формировать не зависящие от государства структуры и сети социального взаимодействия на основе норм взаимопомощи. Поскольку социальный капитал распределен неравномерно, возможно, даже более неравномерно, чем материальное имущество или человеческий капитал, вопрос о том, кому именно выгодно гражданское участие, оказывается в той же мере актуальным, как и наблюдение, что не все организации гражданского общества автоматически поддерживают демократические процессы. Утверждение о секулярном уменьшении коллективного социального капитала означает, что, «возможно, некоторые основополагающие социальные и культурные предпосылки эффективной демократии были разрушены». В последние десятилетия сокращение социального капитала, во всяком случае, в Соединенных Штатах, стало следствием «постепенного, но широко распространенного процесса гражданской безучастности» (Putnam, Goss, 2002: 3). В связи с этими данными возникает вопрос: каково политическое значение сокращения коллективного социального капитала? Приходится исходить из того, что условия индивидуального и коллективного гражданского участия вытекают не только из индивидуальных характеристик человека, в частности, его образовательного уровня, а являются также следствием системных свойств релевантных социальных контекстов, в частности, этнической разнородности общества, структуры социального неравенства или того, в какой мере экономика контролируется изнутри или извне (ср. Blanchard, Matthews, 2006).

Фактическая политическая роль организаций гражданского общества зависит от того, какую идею демократии они поддерживают. Как аргументирует Шмуэль Эйзенштадт (Eisenstadt, 1999: 11), «конституционная концепция демократии в целом имеет тенденцию способствовать автономии гражданского общества по отношению к государству, тогда как коллективистская и в особенности коммунитарная концепции нередко демонстрируют тенденцию к объединению государства и гражданского общества».

Тем не менее, именно в современных обществах существует множество самых разных организаций гражданского общества — крупных и малых, влиятельных и слабых, всеобъемлющих и сосредоточенных на какой-то одной теме.

Спектр современных организаций гражданского общества простирается от официальных объединений, таких как профсоюзы, религиозные ассоциации и политические партии, и менее формальных гражданских активностей, таких как протесты, петиции, демонстрации и спонтанно возникающие организации, служащие одной единственной цели (например, проведению переписи населения), до бойкота какого-то определенного продукта или корпорации (см. Lipsky, 1968). Привлекательность организаций гражданского общества без структуры и устава объясняется легкостью, с которой к ним можно присоединиться или вновь покинуть их. Формальные организации гражданского общества, напротив, подчиняются олигархическим закономерностям, зачастую управляются малочисленной элитой и приобретают свойства бюрократических объединений¹⁴³.

Поскольку повсеместно вызывает одобрение тот факт, что структуры гражданского общества служат надежным фундаментом для развития и устойчивого функционирования демократии, становится очевидно, что тезис о политической ценности гражданского общества имеет сильные нормативные коннотации, указывающие на то, что мы здесь имеем дело с речевым актом, содержащим явное самовосхваление (ср. Broman, 2002: 5). Чтобы беспристрастно оценить политическое значение гражданского общества внутри и для демократии, необходимо отказаться от посылки, согласно которой организации гражданского общества в любом случае имеют большое значение для демократии. Для этого необходимо сосредоточить внимание на совершенно конкретных организациях гражданского общества и не рассматривать их как некий «черный ящик». Разумеется, члены отдельных организаций, возможно, воодушевлены представлением о том, что их деятельность — это

¹⁴³ См. ниже раздел, посвященных так называемому железному закону олигархии Роберта Михельса.

двигатель демократии. Но как и почему существование организаций гражданского общества способствует построению и укреплению демократии? В какой мере и какие именно организации гражданского общества успешно выполняют функцию посредничества между институциональными рамками демократии и участием граждан в демократических процессах? И что не менее важно в данном контексте: какие политические, экономические или культурные процессы способствуют подавлению общественного и, следовательно, и политического участия граждан?

В поисках ответов на все эти вопросы об общественно–политической роли гражданского общества прежде всего следует отметить, что в целом предмет всех разговоров о гражданском обществе — это политическая роль граждан, причем тех граждан, которых затрагивает работа и решения правительства, а не конституционно–правовые рамки, «рациональные» рыночные отношения, абстрактные идеалы или какие–либо другие институциональные рамочные условия демократических обществ. Как показывает эмпирическое исследование, проводившееся на протяжении последних 35 лет в 67 странах (см. Karatnycky, Ackerman, 2005), вероятность трансформации авторитарного режима в либеральную демократию «более чем в четыре раза выше в случае поддержки сильных и ненасильственных гражданских объединений по сравнению с ситуацией отсутствия какой–либо поддержки со сторон гражданских организаций» (Shin, 2007: 267).

Возникновение и развитие политически значимых организаций гражданского общества как один из двигателей в борьбе за демократизацию предшествует, собственно, переходу к демократии. Различные ключевые общественные функции, как например, функционирование независимых каналов коммуникации или не контролируемых государством публичных пространств, служат предпосылкой возникновения на добровольной основе политически эффективных объединений в контексте враждебных политических условий. Причины неудач организаций гражданского общества связаны также с условиями, существовавшими еще до противостояний вокруг демократии. В любом

случае, как доказывают авторы соответствующей литературы, они имеют особое значение для политической культуры общества. Концепция политической культуры играет в данном контексте центральную роль, и мы рассмотрим ее более подробно в следующем разделе. Пока же достаточно подчеркнуть, что отношение к демократии — это определяющее свойство политической культуры общества. Без (практической и нормативной) явной или скрытой поддержки демократии со стороны обычных граждан вероятность того, что в стране возникнет и будет стабильно существовать демократическое управление, крайне низка. Однако как только формируется определенная легитимность (доверие) и практическая эффективность политического режима, то этот режим если не защищен от любых рисков, то, по крайней мере, имеет некоторые шансы на выживание. Неявная поддержка демократии может проявляться в «мягких» демократических убеждениях, которые не переходят в политические действия, тогда как явная поддержка демократических процессов выражается в практическом поведении, в частности, в политическом участии и в попытке повлиять на политическую ситуацию в коллективе или обществе (см. Klingemann, 1999).

Участники обсуждения роли организаций гражданского общества по большей части обращают внимание на их положительный вклад (в отличие от их оппозиционной роли или возможности «противостояния» со стороны отдельных членов (exit; см. Hirschman, 1970)), например, в демократическую социализацию членов (см. van der Meer, van Ingen, 2009), перевод индивидуальных проблем в терминологию общественных интересов или защищенность, которую обеспечивают объединения. При этом в тени оказывается значение гражданского общества и его организаций как источника уравнивающей силы (countervailing power) или места сопротивления политике и политическим платформам официальных политических акторов. Посреднические организации, как отмечает в том числе и Сеймур Мартин Липсет (Lipset, 1958: 84), могут служить источником «уравнивающей силы», «не позволяя государству или любому другому единичному источнику частной власти завладеть всеми политическими ресурсами; они являются источником новых

мнений; они могут быть средством обмена идеями, в особенности оппозиционными, среди широких слоев населения; они позволяют гражданам приобретать навыки политической активности и помогают повышать уровень интереса и политического участия». Поэтому вопрос о растущей способности гражданского общества к самоорганизации и о политических целях, оказывающихся на повестке дня в связи с возросшей способностью гражданского общества проявлять политическую активность, приобретает особое значение.

2.6. Политическая культура

Авторы одной из самых значимых теорий распространения и стабильности демократических институтов, ожиданий и поведенческих паттернов подчеркивают, какое большое значение имеют для процессов демократизации политические и культурные ценности¹⁴⁴ (см. Meyer et al., 1997), а также обращают внимание на вероятность того, что традиционные культурные предпочтения и в особенности близкие к авторитаризму ценности, как, например, философия Конфуция, могут стать препятствием на пути к демократизации. Произошло ли так, к примеру, в Азии, сказать сложно (см. Dalton, Ong, 2005). В отношении влияния на демократию экономических факторов, о которых пойдет речь в следующем разделе, не может быть сомнений, что культурные процессы в целом и аспекты политической культуры общества в частности в любом случае служат мостом между экономической и политической системой этого общества, а, возможно, и сами оказывают влияние на демократические процессы.

¹⁴⁴ Различные культурные атрибуты могут иметь как краткосрочное, так и долгосрочное, зачастую неявное влияние на распространение демократических предпочтений и представлений о том, как должно выглядеть государство. В отличие от них, влияние транснациональных организаций представляет собой осознанные и решительные попытки в самое короткое время изменить политическое и экономическое устройство общества (см. раздел о значении межнациональных сетей для распространения демократических государственных форм и политических моделей).

Любой перечень многообразных характеристик политической культуры общества показывает, что теория и практика эмпирического исследования данной темы неизбежно разнообразны и противоречивы. В данном разделе своей работы я могу рассмотреть лишь небольшую часть обширной и постоянно увеличивающейся литературы, посвященной политической культуре. На самом деле всякая политическая система погружена в контекст диффузных представлений, различных воззрений и значений, политических взглядов, мировоззрений и ценностей, трансцендентальных верований, идеологий, особых национальных убеждений или, если говорить короче, в практикуемый в данном обществе социальный–культурный этос.

Как подчеркивает Габриэль Алмонд (Almond, 1956: 396), политическая культура общества необязательно тождественна его общей культуре и не может быть приравнена к политической системе. Так, например, у нескольких стран всеобщего благосостояния общая политическая культура, которая проявляется в определенных общих политических ритуалах, но при этом разные политические режимы (от авторитарного до демократического), в то время как другая группа западноевропейских государств имеет схожие политические системы, но различные политические культуры и ритуалы. Безусловно, существуют некие содержания политической культуры, поддерживающие демократическое устройство, хотя большинство политически релевантных содержаний демонстрирует предпочтение авторитарного режима. Первый случай касается, например, стран, где среди граждан существует высокий уровень доверия; второй случай описывает общества, для которых типичны иерархические социальные отношения (см. также Lipset, 1959: 89; Huntington, 1984: 209).

Один из спорных вопросов, возникающих в этой связи, касается значения гетерогенности культуры и ее влияния на политическое устройство общества. Джон Стюарт Милль (Mill, [1959] 1948) в своей работе «О свободе» выражает абсолютную убежденность в том, что репрезентативная демократия возможно только в гармоничном, с точки зрения культуры, обществе: «Существование свободных учреждений практически невозможно в стране,

объединяющей разные национальности. Среди людей без общих взглядов, особенно если они читают и говорят на разных языках, не может возникнуть объединенное публичное мнение, необходимое для успешного функционирования представительного правления». Несмотря на то, что ряд видных политологов популистских партий (например, Dahl, 1971; Lijphart, 1997) и, причем не только в последние годы, поддерживают тезис Милля, у исследователей нет надежных эмпирических данных, подтверждающих связь между культурным многообразием и демократией. Результатом одного из недавних широкомасштабных эмпирических исследований (Fish, Brooks, 2004), посвященного данной проблематике и охватившего в совокупности 166 стран мира, стало то, что ни этническое, ни языковое, ни религиозное многообразие не оказывает статистически значимого влияния на демократию.

Еще одна важная гипотеза в отношении основ современной демократии касается роли СМИ в демократических государствах: является ли представительная демократия в то же время медийной демократией? Этот вопрос я рассмотрю в следующем разделе, но прежде я обращусь к вопросу средств коммуникации в обществе, где интернет вытеснил радио и телевидение (Broadcast Society). То, какие последствия имело распространение интернета как возможности коммуникации, основанной на индивидуальном запросе (по крайней мере, с точки зрения Google), имеет для демократии, я проанализирую в специальной главе данной работы. Пока неясным остается вопрос о том, можно ли в принципе средства коммуникации разных исторических периодов рассматривать отдельно друг от друга (и, соответственно, использовать это разделение для датировки разных исторических периодов), например, сравнивая общество теле- и радиовещания с обществом эпохи интернета, характеризуя первое как в целом стабильное, линейное и нормативное, а последнее — как динамичное, интерактивное и чувствительное к нарушениям (см. Edwards et al., 2001). Сам этот тезис тоже принадлежит к определенному историческому контексту, транслирует определенные допущения и выполняет определенные функции в данном контексте.

2.7. Роль СМИ

Газета не просто способна предложить людям общий план; она предоставляет людям средства для совместного осуществления замыслов, которые придумали они сами.

*Алексис де Токвиль
(Tocqueville, [1835–40] 2000: 518)*

Мы настолько погружены в изображения, созданные масс-медиа, что на самом деле уже не видим их, не говоря уже об объектах, которые они должны отражать. Правда в том, что масс-медиа, как они организованы на сегодняшний день, присваивают себе наше видение.

Ч. Райт Миллс (Mills, 1956b: 333)

На сегодняшний день не остается сомнений в том, что способы коммуникаций и институты (киностудии, телевизионные компании, университеты, корпорации, государства, правовые нормы), в контексте которых существуют СМИ, влияют на политическую динамику социальной системы. Это верно как в отношении устной коммуникации, так и той, что позднее использует бумажный носитель, а еще позднее пропагандирует отказ от такового. Самая радикальная идея в данном контексте принадлежит Ч. Райту Миллсу, который подчеркивает, что средства коммуникации — а речь здесь в конечном итоге всегда идет об определенных технических средствах — структурируют сознание или, по крайней мере, влияют на его структуру.

Многими исследователями признается истинность гипотезы, согласно которой СМИ является одним из важнейших оплотов демократии, а хорошо информированные граждане играют активную роль в демократических процессах. Соответственно, содержание СМИ должно гарантировать надлежащую информированность граждан. При этом спорным остается вопрос о том, является ли влияние контента так называемых масс-медиа на структуру сознания и информированность граждан непосредственным и неотфильтрованным, т.е. не зависящим от партнеров

социального взаимодействия, и в каком количестве времени и интеллектуальных ресурсов он нуждается (ср. Graber, 2003).

Когда особую роль средств коммуникации в том, что касается их воздействия на сознания, соотносят с тенденциями политической реальности, в центре внимания оказывается наследие Гарольда Инниса и в первую очередь его классическое исследование «Империя и коммуникация» 1950-го года. Иннис (Innis, [1950] 2007: 26) предпринимает грандиозную попытку проследить и понять исторические взлеты и падения, а также тенденции сплочения и распада мировых империй с точки зрения господствующих на их территории форм коммуникаций и их влияния на сознание акторов, в котором он видит условие возможности определенных политических и организационных структур. Выстраивая свой магический треугольник СМИ, сознания и политической системы, Иннис пишет о двоякой роли средств коммуникации в развитии цивилизаций — с точки зрения объединения времени (time-binding) и с точки зрения объединения пространства (space-binding): «Средства, делающие акцент на времени, долговечны и прочны — это пергамент, глина или камень. Эти тяжелые материалы пригодны для развития архитектуры и скульптуры. Средства, делающие акцент на пространстве, как правило, менее долговечны и легки, как, например, папирус и бумага. Они пригодны для расширения территории правления и торговли». Материалы, «делающие акцент на времени, способствуют децентрализации и иерархическому типу институтов, тогда как материалы, ориентированные на пространство, способствуют централизации и менее иерархической системе правления». Огромные могущественные империи, по мнению Инниса, выживают за счет «компромиссов» между этими двумя формами коммуникации.

Технические средства коммуникации меняют горизонт восприятия акторов, а с изменением горизонта восприятия меняются и контексты действий, в частности, их диапазон, структура отношений между акторами или адаптация ценностей, оставшихся от предыдущих поколений. Так, например, социальные трансформации в общине новозеландских аборигенов Тони Бэллантайн (Ballantane, 2011: 256) описывает как результат новых, введенных

колонистами средств коммуникации: «Появились новые возможности для торговли и путешествий, появились новые растения, животные, товары, которые можно было купить и продать, а также новые идеи и опыт, который необходимо было оценить и переработать». Процесс расширения социального мира (см. Stehr, 1994: 64–69) сообществ новозеландских аборигенов изменил их традиционный мир, но в то же время позволил сохранить традиционное знание и исконные социальные структуры. Новое, в данном случае, средство коммуникации — бумага — выполняет, если использовать терминологию Гарольда Инниса (Innis, [1950] 2007: 26), обе функции, соединяя не только пространство, но и время.

Власть новых средств коммуникаций, транслируемая теми, кто умел ими пользоваться, т.е. умел читать и писать, изменили и уменьшили значение и ценность автохтонных культур (Ballantyne, 2011: 259). Существуют ли в современных обществах схожие случаи, раскрывающие роль масс-медиа и прежде всего их влияние на политику обществ? Каким бы ни был полный ответ на данный вопрос, не остается сомнений, что под влиянием СМИ меняется демократия. И в этом смысле прав был Гарольд Иннис, полагавший, что в случае изменения доминантных средств коммуникации меняется и смысл демократии. Демократия и формы коммуникации не являются трансцендентальными социальными феноменами.

Несистематизированные и противоречивые данные по этому вопросу подталкивают к выводу о том, что новые медиа, как и уже так называемые масс-медиа прошлого века (радио, телевидение) стали причиной тривиализации политических контекстов, утраты смысла профессиональной журналистики и ухода граждан из политики, создав возможность непосредственного доступа политиков к избирателям, что, в свою очередь, привело к тому, что политические процессы все чаще стали зависеть от восприимчивости электората к популистским обещаниям и демагогии. Меняющееся потребление медиа, в частности переход от аналоговых носителей к цифровым или от газет к телевидению и интернету, как утверждают некоторые, сопровождается утратой социального капитала в обществе (см. Putnam, 1996: 14). Так, согласно Патнэму, растущее потребление телевидения ведет к сокращению гражданского участия; при этом, с одной стороны,

играет свою роль временной фактор, а, с другой стороны, обычно транслируемый телеканалами отталкивающий образ внешнего мира. Не все медиа имеют одинаковое воздействие, и один и тот же носитель может оказывать различное влияние в разных обществах (ср. Starr, 2004). Как показал пример нацистских режимов, масс-медиа могут процветать не только в свободных, но и в авторитарных обществах. Для Роберта Патнэма очевидно, что между влиянием разных медиа, например, между прессой и телевидением, существуют большие различия. Ряд эмпирических исследований в странах с высокой долей коммерческих телеканалов показал, что люди, читающие газеты, лучше информированы в политической сфере, чем люди, предпочитающие смотреть телевизор (Norris, 1996: 478). Однако и здесь не следует забывать, что не все национальные медиа-ландшафты одинаковы.

Даже мой неполный список отрицательных последствий появления новых медиа для политической ситуации в обществе позволяет увидеть, насколько сильна культурно-критическая подоплека такого рода диагнозов. Это касается Патнэма в той же мере, что и Адорно с Хоркхаймером (Adorno, Horkheimer, [1947] 1987) и их известной концепции власти культурной индустрии в современных обществах или же теоретиков постмодерна, продолжающих разработку диагнозов последствий масс-медиа (см., например: Baudrillard, 1988)¹⁴⁵. Опасения насчет появления массового общества (Mills, 1956a: 320–322; Kornhauser, 1959), безусловно, только усилились в связи с новизной, потенциальной властью, а вскоре и повсеместным присутствием массовой коммуникации и масс-медиа. Одновременно в анализе современного общества произошли едва уловимые, но важные изменения. Страхи и сомнения по поводу открытой эксплуатации, запугивания, насилия и принуждения уступили место дискуссиям о психологическом воздействии на массы, «настраивании массовой

¹⁴⁵ В научной литературе понятие масс-медиа на сегодняшний день практически вышло из употребления. Поэтому, как правило, оно относится к той эре коммуникации, на смену которой пришли радикальные технические изменения и более полный контроль со стороны пользователей (см., например: Chaffee, Metzger, 2001: 369).

аудитории на социальный и экономический статус—кво» (Lazarsfeld, Merton, [1948] 1957: 458)¹⁴⁶. Сегодня уже едва ли не магическая вера в невероятную силу убеждения масс—медиа и их власть над популярной культурой, которая в эстетической сфере проявляется в виде дурного вкуса и недостаточной критической способности¹⁴⁷, в более или менее схожей форме возвращается в рамках аргументации, отныне направленной против объединенных сил культурной глобализации.

Авторы исследований масс—медиа часто соглашаются с идеей коммерциализации и коммодификации общественности, и поэтому мы нередко сталкиваемся с нарративами, содержащими сетования на оглушение публики и в целом на упадок публичной коммуникации (ср. McNair, 2000: 201). Впрочем, встречаются и прямо противоположные диагнозы современного состояния медиа—ландшафта, авторы которых говорят о возросших благодаря масс—медиа шансах политического участия граждан и о политических столкновениях и конфликтах вокруг проблемы недопущения государственного контроля над медиа или над отдельными составляющими интернет—контента¹⁴⁸. Сторонники этой точки зрения указывают также на сформировавшие—

¹⁴⁶ Лазарсфельд и Мертон (Lazarsfeld, Merton, [1948] 1957: 472), казалось бы, поднимают темы, относящиеся к контексту разработки теории массового общества, но по сути дают более дифференцированный анализ власти масс—медиа. Их исследование условий, в которых масс—медиа могли бы достичь «максимальной пропагандистской эффективности» (а именно условий «психологической квазимонополии», или же когда их цель не изменение, а трансляция базовых установок, или когда медиа функционируют во взаимодействии с непосредственными личными контактами), подтолкнуло их к осторожному выводу о том, что данные общественные условия «лишь в редких случаях присутствуют одновременно в пропаганде ради неких общественных целей».

¹⁴⁷ См., впрочем, прямо противоположное мнение Рисмана (Riesman, [1950] 1961: 290–292), который подчеркивает роль современных фильмов, способствующих эмансипации населения и приобретению новых навыков и способностей.

¹⁴⁸ «New York Times» от 12—го июня 2011—го года («США финансируют интернет в обход цензорам») сообщают о поддерживаемых министерством иностранных дел попытках разработать «теневую» систему интернета и мобильной связи, которой могли бы пользоваться диссиденты в репрес—

еся под влиянием свободных СМИ и нацеленные на фактическое участие ожидания граждан, их более полные политические знания, невозможность — во всяком случае, в долгосрочной перспективе — заставить СМИ служить демагогическим и авторитарным политическим движениям, а также высокую вероятность того, что коммуникация при помощи современных средств коммуникаций гораздо чаще похожа на разговор равноправных людей. Современные средства коммуникации способствуют формированию массового политического рынка (см. Bösch, Frei, 2006), который служит связующим звеном между диктатурой и демократией. Некоторые наблюдатели, настроенные еще более позитивно, даже верят в то, что в совокупности современные средства коммуникаций способны исправить недостатки современной демократии, в возникновении которых они же отчасти и повинны, налаживая мосты между политикой и разочаровавшейся в ней общественностью (см., например: Coleman, 1999; Coleman, Blumler, 2009). К недостаткам, о которых обычно идет речь в данном контексте, относится уже зафиксированная Патнэмом утрата социального капитала, уменьшение уровня доверия к политике и политикам, а также растущее чувство беспомощности и неведения у избирателей и ослабление тесной связи граждан с политическими партиями центра, которые на протяжении нескольких послевоенных десятилетий доминировали в политическом ландшафте.

В своем анализе, основанном на эмпирических данных за 2004–й год, Питер Лисон рассматривает взаимосвязи между степенью свободы средств коммуникации¹⁴⁹ от государственного контроля и уровнем политической информированности граждан¹⁵⁰, их политической активности и участия в выборах. Лисон

сивных государствах на тот случай, если их властям удастся заблокировать доступ к интернету и мобильной связи.

¹⁴⁹ Независимая переменная «свобода средств коммуникаций» в работе Лисона (Leeson, 2008: 159) оценивается по докладу «Фридом Хаус» о свободе средств коммуникаций за 2003–й год (Freedom House, 2004).

¹⁵⁰ Зависимая переменная основана на данных исследования Евробарометра для стран-кандидатов в ЕС (Candidate Countries Eurobarometer Survey, 2004) о состоянии политических знаний в Центральной и Восточной

(Leeson, 2008: 155) констатирует: «Там, где власти владеют значительной частью информационных агентств и инфраструктуры, в большей степени вмешиваются в функционирование медиа-индустрии и контролируют содержание новостей, граждане отличаются сравнительно низким уровнем политической осведомленности и апатичностью».

В рамках регрессионного анализа стран, желающих вступить в ЕС (включая и Турцию), Лисон пытается выяснить, влияют ли индивидуальные характеристики респондентов, такие как доход, возраст и образование, и институциональные характеристики страны, такие как размер государственных расходов на образование, на взаимосвязь между свободой масс-медиа и политической информированностью, и приходит к выводу, что корреляция этих двух факторов остается неизменной. Это касается и показателей политического участия. Впрочем, как и ожидалось, существует положительная корреляция между доходом, уровнем образования и возрастом респондентов и их информированностью в области политики. Необходимо, однако, учитывать, что один перекрестный анализ не может служить достаточным обоснованием какой бы то ни было казуальности.

В отношении спорных по своей сути вопросов потребления различных медиа нетрудно найти исследования, авторы которых приходят к совершенно другим результатам, нежели те, кто

Европе. В октябре и ноябре 2003-го года были опрошены 12000 граждан с целью выяснить их осведомленность о девяти принципиальных фактах о Европейском Союзе. Опрос проводился в следующих странах: Болгария, Кипр, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения и Турция. Индекс политической информированности респондентов основывается на их ответах (правильных или неправильных) на следующие вопросы: 1) ЕС объединяет 15 государств (верно); 2) Европейское Сообщество было основано после первой мировой войны (неверно); 3) Европейский флаг — желтые звезды на светло-голубом фоне (верно); 4) На флаге Евросоюза 15 звезд (неверно); 5) Штаб-квартиры ЕС располагаются в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге (верно); 6) Члены Европейского парламента избираются в результате прямого голосования граждан ЕС (верно); 7) У Евросоюза есть президент, которого избирают все граждане (неверно); 8) У ЕС свой гимн (верно); 9) Между странами ЕС нет границ (верно) (Leeson, 2008: 157).

констатирует политическую пассивность или, наоборот, политическую мобилизацию, обусловленную современными медиа. Так, например, Усланер (Uslaner, 1998) утверждает, что между потреблением продукции телевизионных компаний и уменьшением объема социального капитала нет никакой связи. Вполне возможно, что каузальная цепочка разворачивается в другом направлении: люди, не заинтересованные в разнообразных социальных контактах вне дома, чаще смотрят телевизор (Norris, 1996)¹⁵¹. Также не выявлена тесная взаимосвязь между восприятием воображаемого телевизионного мира и восприятием реального общественного окружения. Впрочем, возможно, что новые медиа способствуют распространению новых форм общения, не предполагающих личной встречи.

Media Freedom and Political Knowledge

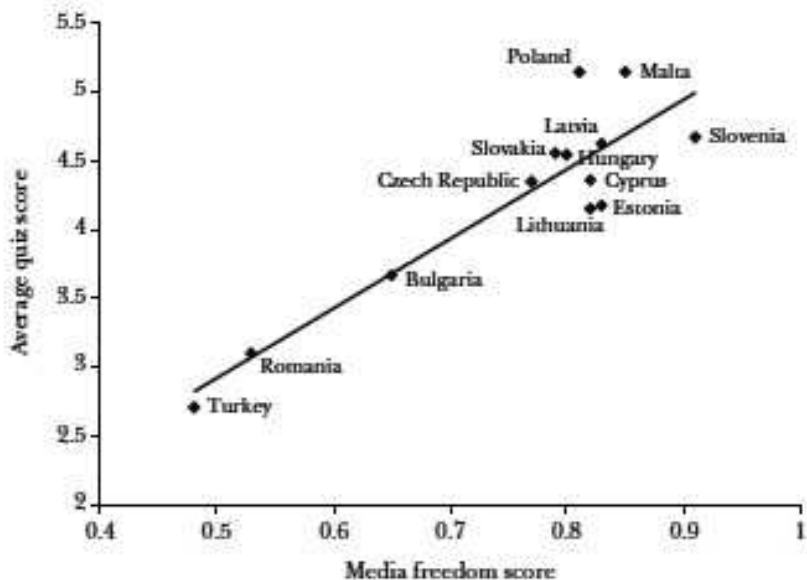


Рисунок 1: свобода медиа и политическое знание.
Источник: Leeson (2008: 158).

¹⁵¹ Пиппа Норрис (Norris, 1996: 479) в своей критике концепции Патнэма добавляет, что «современная Америка — это страна членов самых разных организаций с густой сетью гражданских объединений».

Авторы одного из сравнительных эмпирических исследований контента телевизионных новостей и доли международных новостей в странах с разными медиа-ландшафтами — в Дании и Финляндии (разные каналы общественного телерадиовещания), Великобритании (как частные, так и общественные телеканалы) и США (почти исключительно коммерческие каналы) — приходят к выводу, что общественные каналы транслируют больше новостей, их зрители чаще смотрят новости, а различия в уровне информированности среди них меньше, чем у зрителей коммерческих каналов. Впрочем, остается неясным, не является ли последнее обстоятельство случайным побочным эффектом (например, если зрители смотрят новости в ожидании интересующей их передачи). Сравнительно низкая доля международных новостей не удивляет постольку, поскольку общественные телекомпании ориентированы на внутреннего потребителя. Точно так же не удивляет и тот факт, что американские коммерческие каналы практически никак не освещают события в мире.

2.8. Национальное государство и демократия

До сих пор значительная часть моих объяснений условий установления и стабильного функционирования свободного государства вращалась вокруг традиционных характеристик и функций общества, таких как система культуры и образования или же типичные для того или иного общества медиа. Эти характеристики, поддерживающие или блокирующие возникновение демократии и достижение определенного уровня свободы, я называю традиционными общественными процессами, поскольку речь здесь идет о характеристиках национальных государств. Эти традиционные особенности каждой страны в отдельности совершенно обоснованно оказываются в центре исследования, касающегося определенного исторического времени или места. Однако как только эти признаки общества утрачивают свое значение в качестве основы общественных изменений, в исследование необходимо включить новые, эмерджентные характеристики общества. Что касается анализа, ориентированного на традиционные признаки, то здесь в целом можно сказать, что большое

значение для демократии имеет национальное государство. Если это так, то отсюда можно сделать вывод, что уменьшение суверенитета национального государства влечет за собой ослабление национально–государственных процессов и специфических для данной страны свойств, а также их значения для возникновения и устойчивости национальных демократических институтов. Двигателем современного сокращения суверенитета национальных государств являются, конечно же, процессы политической и экономической глобализации. И ввиду этих тенденций, а также интернационализации финансовых рынков или возросшего значения интернета возникает вопрос: возможна ли вообще демократия внутри или за пределами национального государства в этих условиях?

Базовой территориальной единицей многих социально–научных теорий до сегодняшнего дня было общество или социальная система в значении национального государства, вследствие чего и «демократия оказалась заключена в границы государственной территории» (Connolly, 1991: 476). Понятия общества и национального государства практически неразличимы, например, в контексте социологического дискурса и зачастую используется как некая мыслительная единица. В политическом дискурсе государство — неоспоримый центр любых рассуждений. Уже само понятие «национальной экономики», по крайней мере, когда речь идет о Германии, свидетельствует о том, что экономический дискурс в какой–то мере и до сегодняшнего дня также не смог отмежеваться от этих, географически четко очерченных представлений. Слияние двух понятий — национального государства и общества — является наследием социально–научного дискурса XIX–го века. В те времена, безусловно, еще существовали достаточные теоретические и практические причины отождествлять границы политической, социальной и экономической системы с границами национального государства. Формирование социально–научного дискурса исторически совпало с появлением и развитием идентичности национальных государств и с часто вооруженными конфликтами в связи с проведением границ между ними. Однако если говорить о дне сегодняшнем, то исторических причин явно недостаточно для того, чтобы и впредь

придерживаться географических границ как само собой разумеющейся системы координат¹⁵².

Важнейшие институты современного общества — рыночная экономика, государство, система образования, наука, религия, а также паттерны повседневного поведения все больше определяются прогрессирующей «глобализацией» человеческой деятельности и, следовательно, условиями, в которых «высвобожденные институты, связующие локальные практики с глобальными социальными отношениями, организуют главные аспекты каждодневной жизни» (Giddens, 1990: 79). Из этого, казалось бы, универсального и одномерного правила, безусловно, существуют важные исключения, однако во многих конкретных случаях и процессах (эмпирически) релевантные границы общественной системы на самом деле совпадают с границами национального государства.

И, как подчеркивает, например, Эрик Хобсбаум (Hobsbawm, 1996: 272; см. также Grundmann, Stehr, 2011): «Главная причина кризиса социально-демократической и кейнсианской политики, доминировавшей в системе западного капитализма в третьей четверти [прошлого] столетия заключается в том, что власть государств устанавливать уровень занятости, зарплат и расходов на социально-культурные потребности на своей территории была подорвана воздействием международной конкуренции со стороны экономик с более дешевым и более эффективным производством».

¹⁵² Удалось ли классическому социально-научному дискурсу найти убедительные причины (как, например, соответствие реальности) для использования понятия «общество» как базовой социальной единицы, это отдельная тема. Фридрих Тенбург в этом сомневается: для него общественные изменения всегда обусловлены в том числе и влиянием среды, окружающей то или иное общество, и поэтому не могут трактоваться как «внутренние процессы». Тенбрук (Tenbruck, [1989] 1996: 97) требует полного отказа от понятия общества, поскольку оно является спорным конструктом и «не может быть выявлено эмпирически». Целый ряд антропологов, историков и археологов в результате своих исследований пришли к выводу, что эндогенные объяснения, как правило, очень сомнительны; понятие «миросистемы» они считают релевантным «только для далекого прошлого» (ср. Friedman, 1992: 335–372).

Под воздействием растущего, игнорирующего границы потока людей, товаров, изображений, денег, болезней и знаний становятся спорными демаркационные линии, меняются идентичности, государства теряют прежнюю значимость, трансформируются пространства, однако эти релевантные для действия факторы не исчезают полностью и не утрачивают своего влияния. Уменьшение значения места и времени как факторов, влияющих на производство, изменение экологии, болезни, организованная преступность, распространяющаяся и действующая вопреки существующим национальным границам, глобальная сеть телекоммуникаций, растущая финансовую сеть, не подконтрольная национальному государству, прогрессирующая интернационализация науки и образование, расширение транснациональной культурной активности, динамика и вес многонациональных концернов, а также растущее значение постнациональных политических учреждений и соглашений — все это факты и тенденции подталкивают к мысли о том, что отправной точкой для построения географических координат в социально-научных теориях национальное государство или национально ограниченное общество уже быть не может.

Тем не менее, критическое отношение к классическим утверждениям о тождественности социальной системы и национального государства необязательно подразумевает безусловное принятие тезиса о растущей релевантности более широких границ общественной системы или, более того, мирового общества. Так, например, идея о падающем значении национальных границ совершенно необязательно дополняется представлением о неуклонной, охватывающей все большие территории «гомогенизации», унификации и глобализации социальных институтов и поведенческих паттернов. С другой стороны, все же верно, что границы власти и автономия национального государства в каких-то немаловажных аспектах сместились и/или утратили свою прежнюю роль. Социальные изменения, обусловленные нетерриториальным устройством общественной жизни или «глобализацией», вполне могут повлечь за собой возникновение совершенно новых культурных и структурных различий, а также закрепить уже существующее социальное неравенство. Однако одновременно с этим они сокращают или даже устраняют социальные и культурные различия другого рода.

Если фактическое социально–историческое развитие вынуждает исследователя отказаться от идеи национального государства как исключительно релевантного теоретического и эмпирического элемента социологической теории, то это в первую очередь означает, что необходимо задуматься о реляционных конвергенциях и взаимном влиянии прежде автономных национальных государств, а не постулировать наличие абсолютно идентичных структур социальных трансформаций. Социальные, политические и экономические изменения в разных государствах, возможно, и имеют схожую направленность, однако этого недостаточно, чтобы не учитывать исторически сложившиеся культурные различия, а также материальное неравенство внутри соответствующих государств и между ними. Понятие глобализации не означает, что процессы, берущие начало в какой–то конкретной точке мира, в конце концов затронут каждого, оказав неизбежное и одинаковое влияние на жизнь всех людей. На самом деле глобализация проявляется в активных, деятельных реакциях отдельных «общин» на тенденции развития, которые, возможно, не поддаются контролю «на местах», но могут иметь специфические для данного места последствия. Факторы, не зависящие от контекста, должны рассматриваться вместе с действиями, непосредственно связанными с контекстом. В анализе необходимо проследить пути «вторичного усвоения и переработки внеконтекстных отношений с целью их адаптации (пусть частичной и временной) к местным условиям времени и пространства» (Giddens, 1990: 79–80).

2.9. Международные сети

Нет ни одного примера эффективного демократического института, который бы существовал вне национального государства.

Ральф Дарендорф (Dahrendorf, 2000: 1067)

Как мы видели, абсолютное большинство всех исследователей демократических процессов объясняют — в полном согласии с утверждением Дарендорфа о границах демократии в границах

национального государства¹⁵³ — возникновение и устойчивое существование демократических форм правления внутригосударственными факторами. Однако в новейших гипотезах, объясняющих причины глобального распространения демократического устройства, в отличие от утверждения Ральфа Дарендорфа, основное внимание уделяется активной роли межгосударственных или международных организаций, в огромном количестве возникших после второй мировой войны (Torfason, Ingram, 2010), а также распространению их политических рекомендаций и влиянию зарубежных политических моделей на национальную политику.

Так, Уильям Коннолли (Connolly, 1991: 479) обращает внимание на запрет на разглашение государственной тайны, а также на то, в какой мере государство может противостоять национальному демократическому протесту против правил неразглашения для государственных служащих, усиливая контроль и управление схемами классификации и политическими символами лояльности, угрозы и безопасности. Негосударственные транснациональные демократические движения и объединения, по мнению Коннолли, в состоянии преодолеть границы национального государства. Это ведет к «глобальным каналам, по которым можно предать гласности государственные практики сохранения секретности и другие манипуляции, содействуя тем самым их делегитимизации в нескольких государствах одновременно». Негосударственные, международные объединения «могут дать новый импульс демократическим движениям внутри государства, оказать внешнее давление на секретные практики государств» и укрепить лояльность, самоидентификацию и решимость граждан (Connolly, 1991: 479). В результате

¹⁵³ Здесь достаточно указать на два примера такого подхода в литературе. Хедли Булл (Bull, 1977: 252) утверждает: «Нет ни малейших оснований полагать, что суверенные государства в текущем столетии согласятся подчиниться некому мировому правительству, основанному на консенсуальном согласии». Роберт Коехейн (Coehane, 2006: 77), со своей стороны, подчеркивает, что ожидание демократического контроля над глобальными политическими процессами «утопичны, как утопична иллюзия, т. е. в реалистически прогнозируемых условиях его появление невозможно».

открывается возможность, помимо нелояльности по отношению ,отношению к транснациональным объединениям¹⁵⁴.

За последние несколько десятилетий резко возросло не только число государственных международных ассоциаций и их членов, но также и количество так или иначе связанных с ними негосударственных международных организаций (см., например: Beckfield, 2003). В настоящий момент существует более 300 международных организаций. Авторы соответствующих исследований обращают особое внимание не на межгосударственное влияние культурных норм и вынужденных политических трансформаций, а на значение нормативных и неофициальных влияний, проистекающих из социальных структур международных сетей. В центре исследований оказывается сетевая структура международных организаций, основанных на добровольном членстве, например, Всемирного банка или же Международного Валютного Фонда (МВФ). Среди других примеров международных организаций следует отметить Европейский центральный банк, ООН и Межправительственную группу экспертов по изменению климата (IPCC, International Panel on Climate Change).

Основная гипотеза одного из этих исследований (Torfason, Ingram, 2010: 356) звучит так: «Эта [международная] сеть имела ключевое значение для распространения демократии, поскольку

¹⁵⁴ В своем объяснении понятия «глобализирующая демократия» Бенджамин Барбер (Barber, 2000: 16) соглашается с тем, что хотя до сих пор история не знала глобального политического устройства, оно необходимо, чтобы, в частности, сглаживать крайности, связанные с бесконтрольным функционированием глобальных рынков. Свои рассуждения он дополняет провокационным утверждением, «что мы глобализовали наши экономические пороки, <...> но не наши гражданские добродетели» (Barber, 2000: 17). Впрочем, неубедительным представляется тезис Барбера о том, что многие из названных им экономических пороков, такие, как, например, преступное поведение, употребление наркотиков или террор, встречаются во многих странах, хотя их существование нельзя объяснить современными процессами глобализации. Роберт Коохейн (Koeheane, 2006: 79) более оптимистичен в своей оценке перспектив глобального правительства и, несмотря на сохраняющееся асимметричное распределение власти в мировой политике, предлагает «плюралистическую систему подотчетности», предполагающую необходимость объяснения каждого случая злоупотребления властью.

государства, контактирующие со странами с более развитой демократией в рамках сети государственных международных организаций, сами с большей вероятностью избирают демократический путь развития». Влияние слабых, с точки зрения административного принуждения, сетей межправительственных организаций на процесс демократизации осуществляется посредством доминирующих нормативных ориентаций в рамках этих сетей, а не благодаря особому распределению властных отношений и, в частности, различному властному потенциалу отдельных стран–участниц. В этом смысле авторы говорят о силе слабых международных сетей.

О каких именно нормативных ориентирах в контексте данных сетей идет речь, и какие факторы обуславливают доминирование этих ценностей? Торфасон и Ингрэм (Torfason, Ingram, 2010: 356) в отношении влияния негосударственных международных организаций соглашаются с наблюдением Боули и Томаса (Boli, Thomas, 1997) о том, что «неправительственные международные организации содействуют формированию "мирового гражданства", в значении индивидуалистической эгалитаристской конструкции, которая поддерживает демократическое правление и лишает легитимности автократию». Аналогичные ценности присутствуют и в государственных международных организациях и вовлечены в процесс влияния не со стороны организаций в целом, а влияния участников друг на друга.

Торфасон и Ингрэм проверяют следующие гипотезы: (1) Влияние одной страны–участницы на статус демократии в другой стране зависит от того, насколько тесно эти страны связаны между собой в сети межправительственных организаций (в скольких организациях состоят обе эти страны?); (2) сеть межправительственных организаций в большей мере способствует утверждению демократии в странах с демократической формой правления, чем в странах с менее демократической властью¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Операционализация степени демократичности (или автократичности) той или иной страны в рамках проекта POLITY IV (Marshall, Jaggers, 2005) основана на совокупности критериев, таких как, например, конкурентность политического участия или степень открытости управленческих позиций, которые в данной модели сведены в один коэффициент.

Авторы, впрочем, не исследуют ни источники демократических ценностей, транслируемых сетевыми структурами, ни группы лиц, являющиеся носителями процессов распространения международных норм. Вместо этого они подчеркивают легитимность западной концепции демократии в мире, а также привилегированное положение западных обществ в межправительственных организациях.

Катерина Лайнос (Linoss, 2011) в своем исследовании также занимается вопросом распространения международных норм, уделяя особое внимание ключевой роли национальных элит и их стимулам и политическим возможностям в принципе «импортировать» международные нормы и воплощать их на национальной почве либо препятствовать их проникновению. Кроме того, в разработанной Лайнос теоретической модели делается акцент на той степени, в которой ограниченные возможности избирателей получить информацию о той или иной конкретной политической модели какого-либо зарубежного государства (в данном исследовании речь идет о декретном отпуске) и усилия политиков, направленные на переизбрание на выборах, влияют на распространение международных политических концепций и идей. Из эмпирических данных по США, которые привлекает Лайнос, можно сделать вывод, что мнение избирателей имеет существенное влияние на готовность политических элит поддерживать международные нормы на местной почве. Если говорить еще более конкретно, то, как подчеркивает Лайнос (Linoss, 2011: 692), «местные лидеры, по всей видимости, способны реализовывать международные модели у себя в стране лишь в той степени, в какой национальная общественность поддерживает их взгляды».

Наблюдавшаяся в последние десятилетия тенденция к демократизации, безусловно, не объясняется одним только влиянием международных организаций и распространением международных политических моделей, и все же, как подчеркивают Торфасон и Ингрэм (Torfason, Ingram, 2010: 359), «каналы взаимодействия, предлагаемые международными организациями, в существенной степени поддерживают и ускоряют данный процесс. Международные государственные организации дают площадку для интерпретации и взаимодействия элит и в то же время поддерживают

общую идентичность среди простых граждан стран–участниц; это увеличивает вероятность перемен, не противоречащих разделяемым нормам, и снижает вероятность перемен, которые этим нормам противоречат».

Еще один подход к исследованию процессов демократизации, также основанный на внешних, международных факторах, исходит из наблюдения о том, что в распространении демократической формы правления в мире, а также в переходе к демократии наблюдаются как временные, так и географические кумуляции. Из этого наблюдения делается вывод, что должны существовать некие «механизмы диффузии», имеющие существенное влияние на национальные политические институты и микросоциальные трансформации. Гледич и Уорд (Gleditsch, Ward, 2008: 263–264; см. также Boix, Stokes, 2003), в частности, подчеркивают значение внешних факторов, запускающих процесс изменения силового соотношения режима и оппозиции, а также изменения предпочтений определенных моделей правления в разных социальных группах. К конкретным механизмам диффузии как среди политического класса, так и среди рядовых граждан относятся средства принуждения, конкуренция, обучение и определенные формы социального подражания. Так, например, политические меры и модели других стран влияют на мнения электората. Политики, в свою очередь, интерпретируют эти изменения во мнениях граждан как стимул для поддержания и реализации у себя в стране зарубежных моделей, в частности, в семейной политике. Следуя этой модели, Катерина Лайнос (Linos, 2011: 692) поэтому полагает, что «более существенную диффузию мы будем наблюдать в тех политических областях, которые на виду у электората, по сравнению со сферами и регионами, где элита защищена от критического внимания общественности и может проводить ту политику, какую считает нужной». Общий вывод из этих исследований, посвященных процессам международной диффузии политических норм и моделей, звучит так: процессы демократизации, как правило, запускаются различными механизмами, затрагивают разные группы акторов и являются результатом воздействия не только национальных причин, но и «внешних факторов, которые в целом являются более показательными для перспектив

перехода, нежели внутренние характеристики страны» (Gleditsch, Ward, 2008: 264).

К современным общественным тенденциям, поддерживающим политические свободы, относится восприятие экономической деятельности как ключа общественной эволюции. Впрочем, как подчеркивает Амартья Сен (Sen, 1993а: 519), гораздо чаще успехи и риски, связанные с развитием рыночной конкуренции, анализируются на предмет их влияния на индивидуальное (материальное) благосостояние и реже — с точки зрения их воздействия на степень свободы индивида. Кроме того, опасения относительно того, что процветающая коммерция, растущая торговля и промышленность ограничивают свободу, активно обсуждались в доиндустриальную эпоху и в первые десятилетия индустриальной эры, но в настоящее время они не относятся к темам, возникающим в ходе дискуссий о шансах и препятствиях на пути свободы.

3. Экономические формации обеспечивают (не)возможность свободы

В бедности заключена причина неисправностей демократического правления. Вот почему необходимо обеспечить устойчивый уровень процветания. Там, где демократическое правление не может опереться на средний класс, а беднота представляет подавляющее большинство, возникают трудности, и демократия быстро приходит в упадок.

Аристотель (Aristotele, 1932: 35)

У моего тезиса о том, что свобода — это дочь знания, разумеется, есть свои непримиримые противники. Прежде всего, ему противостоит утверждение, что катализаторы свободы — это либо процессы, либо результаты рыночной экономики. И Джон Мейнард Кейнс, и Йозеф Шумпетер, если говорить лишь о двух выдающихся экономистах прошлого столетия, высказали свое мнение о том, существует ли связь между капитализмом и свободой. Для Кейнса капитализм не был главнейшей задачей или самоцелью. Он был, как Кейнс сформулировал, к примеру, в своем эссе «Экономические возможности наших внуков» (Keynes, 1930), «необходим для свободы, но активность капиталистического общества сама по себе не является важной частью того, что описывается понятием свободы» (Backhouse, Batenman, 2009: 663). Йозеф Шумпетер, напротив, настаивал на том, что «современная демократия есть побочный продукт капиталистического процесса» (Schumpeter, [1942] 1993: 297). Этот основополагающий тезис нашел сторонников и среди современных экономистов. Так, например, Мансур Олсон (Olson, 2000: 132) подчеркивает: «Неслучайно страны,

достигшие наивысшего уровня экономического развития и на протяжении нескольких поколений демонстрирующие устойчивый экономический рост, все имеют стабильную демократическую форму правления». Разумеется, и у тезиса о тесной связи свободы и капитализма есть свои знаменитые противники. Те, кто выступает против увязывания демократии с капитализмом, а это не только марксисты или Макс Вебер (см., например: Weber, [1906] 1980), утверждают как раз обратное, а именно противоречие, существующее между капитализмом и свободой (и определенными формами равенства). Для критиков сущностной связи между демократией и капитализмом существуют лишь незначительные, случайные пересечения этих двух явлений.

Общие высказывания о корреляции между экономическим благосостоянием и демократией, которые встречаются не только в науке, но и описывают политические цели международных организаций (Мирового банка, ООН, см., например: Newman, Rich, 2004) и определяют политику развития отдельных государств, оставляют, однако (причем не только в силу своей абстрактности), без ответа вопрос о том, в какой приблизительно момент капиталистический процесс порождает демократический режим и какие именно социальные группы в современных обществах особенно важны в качестве гарантов свободы. Можно ли сказать, что в индустриальных странах эту роль играют, к примеру, собственники средств производства? Или же те граждане, которые имеют хорошее материальное положение и активны в политической сфере? И еще: можно ли в связи с тем, что в экономической системе современных стран повышается статус потребления, чего нельзя сказать о производстве, утверждать, что роль потребителя (и/или инвестора) вытесняет роль гражданина в ее значении для всего общества, как аргументирует, например, Роберт Райх (Reich, 2007: 5)? Рыночные решения потребителей, в силу их новой экономической власти, имеют важные политические последствия (см. Sagoff, [1988] 2008: 46–52; Stehr, 2007). С другой стороны, возникает вопрос, как вообще возможно эффективная, с политической точки зрения, реализация индивидуальных свобод, если у экономически слабых людей и групп нет доступа к экономической власти и благосостоянию?

И идея о том, что свобода есть дочь знания, и представление, согласно которому демократия тесно связана с уровнем благосостояния конкретного общества, восходят к оптимистичной картине мира эпохи Просвещения. Экономически успешные страны действительно, как правило, имеют демократическую форму правления¹⁵⁶. Бенджамин Фридман (Friedman, 2008: 50–52) убежден в том, что связь «между растущими жизненными стандартами и социальными установками или политическими институтами не ограничивается странами с низким уровнем дохода или исключительно процессами установления новых электоральных институтов. Так, например, в Америке периоды, во время которых экономический рост приносил постоянную материальную прибыль большинству населения страны, совпадают с периодами, во время которых расширялись индивидуальные возможности и свободы, политические институты становились более демократическими, а отношение общества к социально слабым — более щедрым. И наоборот, наиболее ужасающие антидемократические явления, которые легли позорным пятном на историю Европы в XX столетии, следовали за периодами экономической стагнации или упадка».

Несмотря на то, что в социально–научной литературе и в мире политики можно встретить утверждения о том, что «уровень национального дохода является самым важным фактором, объясняющим изменения уровня демократии внутри страны» (Borooah, Paldam, 2007), вряд ли можно говорить о существовании

¹⁵⁶ Роберт Фогель (Fogel, 2008: 95) в одной из своих работ пытается спрогнозировать, как будет выглядеть взаимосвязь между капитализмом и демократией в 2020 году. Он обращает внимание на то, что «богатые страны, которые на протяжении второй половины XX–го века были главным бастионом либеральной демократии — ЕС15, США и Япония, утратят свое относительное значение к 2040 году. В 2000 году на эту группу стран приходился 51 процент мирового валового продукта, однако к 2040 их совокупная доля предположительно снизится до 21 процента. Наибольшие опасения вызывает снижение ВВП в ЕС15 с 21 до 5 процентов от глобального валового продукта. Учитывая, что на протяжении последних нескольких столетий Западная Европа являлась колыбелью либеральной демократии, экспортируя эту форму правления в Новый Мир и Океанию, возникает вопрос, кто заполнит этот пробел для следующих поколений?» Ответ Фогеля — Азия.

автоматической взаимосвязи между демократией и отнюдь не единообразными путями развития материального благосостояния, экономического роста, экономических кризисов или распределения доходов и имущества в том или ином обществе, точно так же как нельзя проследить автоматическую взаимосвязь между ростом или неравномерным распределением знаний и свободой.

Если бы такого рода неизбежная конвергенция между демократией и благосостоянием или знанием и свободами действительно существовала, то мы не могли бы объяснить, почему для формирования демократических режимов потребовалось так много времени и почему в разных странах периодически происходил откат к авторитарным формам правления. Мы не можем игнорировать такие явления, как политический распад¹⁵⁷, как называет это Сэмюэль П. Хантингтон (Huntington, 1965: 393; 1968: 86; Tilly, 2003b), или дедемократизация. История знает достаточно примеров, подтверждающих, что политические процессы в принципе обратимы и что для их объяснения необходима специальная теория деградации.

В долгосрочной перспективе, однако, можно утверждать, что свобода и в особенности экономические свободы ведут к более высокому среднему уровню благосостояния населения по сравнению со странами, где этих свобод нет (см. Dunn, 2008; Feng, 1997: 410). Впрочем, если говорить о более узких временных рамках, то не исключено, что экономическое процветание или рост, наоборот, послужит опорой диктатору или оправданием отсутствия политических прав.

Результаты рыночной экономики, приносящие выгоду широким слоям населения, а уж тем более непрерывный экономический прогресс в значительной мере автономной экономической системы и воспринимаемое как справедливое распределение общественного богатства, — вот факторы, которые, если следовать данной аргументации, обуславливают не только устойчивую институционализацию демократических отношений, но и формируют и укрепляют веру именно в эти общественные институты

¹⁵⁷ Шмуэль Эйзенштадт (Eisenstadt, 1999: 89–98) — один из немногих теоретиков, открыто тематизирующих проблему деконсолидации демократий.

и способствуют признанию их легитимности, а, следовательно, и в значительной мере их независимости, выходящей за пределы экономической свободы отдельного индивида¹⁵⁸.

Схожий, но основанный, скорее, на статистических данных тезис гласит, что главный гарант свободы — это доступ к правам частной собственности. Поэтому основной вопрос заключается в том, можно ли в растущих жизненных стандартах видеть нечто большее, чем просто улучшение материального положения индивидов и домохозяйств, а именно условие улучшения (когнитивных) способностей членов общества, что означало бы, что жизненные стандарты влияют на политические установки и политическое поведение (см. Inglehart, Welzel, 2010)¹⁵⁹ и, в конечном итоге, на характер принятых в обществе представлений о морали (см. Stehr, Henning, Weiler, 2006; Friedman, 2006).

И все же, как подчеркивает, в частности, экономист Барро (Barro, 1999: 182; см. также Robinson, 2006: 504), который также, в свою очередь, проверил наличие статистической корреляции благосостояния и демократии, нет убедительной, аргументированной теории, объясняющей характер связи между демократией и благосостоянием. Такую теорию еще предстоит разработать. Будет ли подобная теория делать акцент на контингентных или даже случайных факторах (см., например: O'Donnell, Schmitter, 1986) или же на властных констелляциях, сетях и способностях акторов или каких-либо других процессах, в частности, на роли элит, форме демократического представительства (Knutsen, 2011) или продолжительности существования демократии в конкретной стране (Gerring, Kingstone, Lange, 2011), покажет время.

¹⁵⁸ Здесь необходимо сделать одно ограничение: ранние формы демократии вряд ли могли быть результатом рыночных процессов, поскольку сетевые структуры рынка, в том виде, как они существуют сейчас, появились лишь в середине XIX-го века (ср. Polanyi, 1947: 113).

¹⁵⁹ Согласно теории модернизации Инглхарта и Вельцеля (Inglehart, Welzel, 2010: 553), «повышение уровня экзистенциальной безопасности способствует переходу от традиционных ценностей и от борьбы за выживание к ценностям самовыражения». Изменения ценностей в направлении стремления к свободам рассматривается как устойчивое развитие, связанное с формированием гражданского общества, равенством полов и демократизацией.

В спорных эмпирических исследованиях о взаимосвязи между уровнем благосостояния и демократической формой правления особенно бросается в глаза невнимание к (когнитивным) способностям и предпочтениям акторов и коллективов и тем общественным условиям, при которых способности такого рода (знания) развиваются, а также к общественным приоритетам, таким как безопасность, справедливость, равенство, свобода, здоровье или счастье и к формам взаимодействия и статусу этих ценностей в меняющихся экономических условиях¹⁶⁰.

Совокупное влияние долго– и краткосрочных макро– и микро–социальных процессов на возникновение демократических режимов и их выживание сложно для понимания и до сих пор до конца не изучено. Более быстрое и успешное экономическое развитие в сравнении с другими, схожими в остальных отношениях странами может способствовать формированию демократических политических структур в отдельных странах (так утверждает, к примеру, в: Minier, 1998), однако в других странах те же процессы могут никак не отразиться на стабильности авторитарных режимов. Грожан и Сеник (Grosejan, Senik, 2011: 365), опираясь на данные опроса, проведенного Всемирным банком и Европейским банком реконструкции и развития в 28 постсоциалистических странах, приходят к выводу о «положительном и существенном влиянии демократии на поддержку рыночной экономики при отсутствии какого–либо влияния рыночной либерализации на поддержку демократии». В целом, вслед за Вебером (Weber, [1904] 1952: 443), можно говорить о том, что переход к новым общественным отношениям и, соответственно, в том числе и к демократической форме правления, как правило, не является результатом какого–то одного, исторически инвариантного процесса. Следовательно, и влияние экономического развития на демократию тоже условно и ситуативно.

¹⁶⁰ Об этих теоретических и эмпирических недостатках в объяснениях демократического развития говорится в критической работе Стивена Хаггарда и Роберта Кауфманна (Haggard, Kaufmann, 1997: 265): невозможно «выстраивать теорию перехода к демократии, <...> игнорируя факторы, влияющие на формирование приоритетов и способностей акторов, а также условия, при которых они могут меняться с течением времени».

Кроме того, следует отметить, что основную роль в эмпирическом изучении влияния экономической системы и результатов ее функционирования на демократию в последнее время играют экономисты, вследствие чего в исследованиях доминирует конвенциональная статистика. В этой связи имеет смысл дать краткий критический анализ показателя, который часто используют экономисты.

Здесь я хотел бы обратить внимание читателя на различие среднего уровня благосостояния (*prosperity*) и зачастую сконцентрированного в руках немногих богатства (*affluence*) страны. Для благосостояния интерес представляет распределение релевантных показателей (имущества, доходов, собственности), тогда как для богатства значение имеет концентрация данных атрибутов. В зависимости от задач исследования выбираются и методики статистических измерений.

Различие между благосостоянием и богатством — это различие, касающееся разных периодов истории современных обществ. Нынешний уровень благосостояния стал возможен в результате уникального экономического роста в послевоенное время. Благосостояние среднего домохозяйства в этот, сравнительно небольшой отрезок времени существенно возросло, и, стало быть, в истории индустриальных обществ Западной Европы и Северной Америки нет ничего, что соответствовало бы опыту, пережитому с 1950-й по 2000-й год. Вот как формулирует этот вывод Алан Милвард (Milward, 1992: 21; см. также: Judt, 2005: 324–353): «К концу этого периода [к 1985-му году] постоянно присутствующая возможность финансовых невзгод, которая прежде угрожала жизни 75 процентов населения, отныне касалась приблизительно 20 процентов. И хотя абсолютная бедность продолжала существовать даже в самых богатых странах, материальный стандарт жизни большинства людей почти непрерывно и часто очень быстро улучшался на протяжении тридцати пяти лет. Помимо всего прочего, это характеризует данный опыт как уникальный в своем роде»¹⁶¹.

¹⁶¹ Безусловно, такие понятия, как благосостояние, богатство и изобилие — в высшей степени спорные, ибо отсылают к явлениям, которые тяжело поддаются квантификации, имеют различное значение в зависимости от места и времени и, в свою очередь, тесно переплетены с разнообразными

Так, например, в период с 1950 по 1973 год реальный доход на душу населения в Германии вырос втрое. Еще большее общественное значение исторически уникальный рост среднего уровня благосостояния или жизненных стандартов¹⁶² приобретает ввиду «старения» многих западных обществ. В последующие десятилетия возрастает доля населения, которое в послевоенный период с характерным для него почти непрерывным экономическим ростом либо достигло своего уровня благосостояния самостоятельно, либо унаследовало его от родителей, т.е. получило непосредственную выгоду от повышения общего уровня благосостояния. Показатель богатства общества отсылает нас к нередко сильно стратифицированному распределению материальных ресурсов и состояния в стране и в связи с этим в первую очередь поднимает вопрос о концентрации собственности. Исследователей, как правило, интересуют вопросы и последствия конкретной формы распределения состояния.

Освобождение от нужды с угрозой для жизни и экономической кабалы среди широких слоев населения, чего не смогли предсказать Маркс и Энгельс, но что предвидел Кейнс (Keynes, 1930) в разгар экономического кризиса 1920-х и что, пусть не в равной мере и не с равной скоростью, но все же наступило во всех индустриальных странах, создает материальную основу не только для новых форм неравенства (см. Stehr, 1999), но и для морализации рынков.

моральными дискурсами, трактующими благосостояние как добродетель или как символ глубоко укорененной общественной несправедливости. В количественном аспекте мое различие благосостояния и богатства населения опирается на показатель среднего дохода домохозяйств.

¹⁶² Подробное обсуждение понятия «жизненные стандарты» и его истоков см. в: Coffin, 1999. Впервые понятие жизненных стандартов появляется в литературе в начале прошлого столетия, а именно в тот момент, когда экономисты и представители других социальных наук обратились к теме потребления, до того момента оставшейся без какого-либо внимания. Анализ понятия «жизненный стандарт», который опирается не на материально-количественное определение, а трактует его как одну из форм свободы, см. в: Sen, 1984. В своем определении жизненного стандарта Сен (Sen, 1984: 78) делает акцент на «возможности жить хорошо, и в особом экономическом контексте жизненных стандартов этот показатель измеряет возможности, связанные с экономической стороной жизни».

Речь здесь идет о характере экономического развития, которое способно противостоять тяжелым экономическим кризисам и, несмотря ни на что, обеспечивать надежную поддержку демократическому правлению. Экономического благосостояния в значении материального благополучия большого числа домохозяйств, которое в некоторых странах было достигнуто еще до второй мировой войны, а во многих развивающихся странах — лишь недавно, недостаточно для стабильного функционирования демократии. К условиям, способствующим сохранению демократического правления, относится высокий уровень благосостояния среди широких слоев населения и общественные последствия такого распределения.

Историческая новизна прироста общего благосостояния заключается не в том, что богатая верхушка в состоянии позволить себе предметы роскоши. Новизна состоит в том, что большая часть или даже большинство домохозяйств в развитых странах располагают достаточным количеством денежных средств, чтобы позволить себе такой стиль жизни, который еще несколько десятилетий назад был привилегией самой богатой и немногочисленной прослойки населения в этих обществах. Как резюмирует в «Нью-Йорк Таймс» Пол Беллоу, руководитель отдела анализа рынков и промышленности корпорации «Дженерал Моторс»¹⁶³: «Уровень материального комфорта в этой стране [США] просто ошеломительный; вы можете убедиться, что более состоятельная половина общества живет так, как 50 лет назад жили всего 5 процентов».

Типичное домохозяйство в развитых странах (ОЭСР) сегодня несравнимо состоятельнее, чем в середине прошлого века. Впрочем, Джон Мейнард Кейнс в начале 1930-х годов в своем прогнозе эволюции социальных и экономических условий, которые должны были наступить приблизительно через сто лет, не уделял внимания структуре распределения благосостояния среди населения земного шара или проблеме концентрации богатства (Stiglitz, 2008: 41–42). В настоящее время все большая часть

¹⁶³ Дженни Скотт, Дэвид Леонхарт: «Классы в Америке: едва уловимые границы, которые по-прежнему разделяют общество» (New York Times, 15.05.2005).

общественного дохода приходится на долю владельцев капитала и высококвалифицированных наемных работников, т.е. экономическое неравенство отнюдь не исчезло, а в некоторых странах, наоборот, даже усилилось за последние несколько десятилетий.

Научный интерес к значению не только благосостояния, но и богатства лучше всего можно проследить по работам Сеймура Мартина Липсета 1959-го года, где он анализирует общественные предпосылки демократии и в особенности влияние путей экономического развития на демократические политические отношения. Вот к какому выводу приходит Липсет в конце 1950-х годов (Lipset, 1959: 75; см. также Crain, Rosenthal, 1967): «Чем выше уровень благосостояния страны, тем больше шансов на то, что она сохранит демократическую форму правления». Эмпирические данные, которые Сеймур М. Липсет привлекает для проверки своей гипотезы (Lipset, 1959: 76–79), относятся к послевоенному периоду. В то же время работа Липсета дала толчок большому количеству новых исследований на тему взаимосвязи экономического развития и демократии. В данном контексте значение имеет не только само по себе экономическое развитие, но и исторически уникальное благосостояние населения в развитых странах в последующие десятилетия. Поэтому Дженни Миньер (Miner, 1998: 241) в своем исследовании значения среднего уровня благосостояния в стране и отдельных домохозяйствах указывает на недостаточную изученность проблемы на протяжении двух столетий и задается вопросом, не пора ли исправить положение: «Благосостояние пока еще не добавили к свободе, равенству и братству, ассоциируемым с деятельностью демократов-активистов. Не пора ли это сделать?»

3.1. Роль благосостояния

Формулируя определение благосостояния (и богатства) страны, экономисты, как правило, опираются на показатели, поддающиеся числовому выражению, и в первую очередь, разумеется, на валовый внутренний продукт (ВВП). Его преимущество заключается в том, что мы здесь имеем дело с одним единственным числом, которое можно соотносить с множеством других, легко

доступных числовых показателей, как, например, численность населения или количество домохозяйств в стране. Экономисты полагают, что статистика по ВВП отражает релевантную, с точки зрения политики, информацию, которая за короткий промежуток времени может воплотиться в конкретных политических мерах¹⁶⁴. Главная предпосылка этого количественного подхода заключается в том, что рост ВВП отражает улучшение благосостояния в соответствующей стране. Однако вера в то, что материальное положение страны и граждан автоматически улучшается в связи с ростом ВВП, распространена отнюдь не только среди экономистов. В этом убеждены многие представители общественности, масс-медиа и политики. Впрочем, все громче раздаются и критические голоса тех, кто не считает статистику по ВВП адекватным и точным инструментом измерения благосостояния и богатства страны. Если не ставить себе целью приблизительное, упрощенное представление о феномене благосостояния и не ценить превыше всего эвристическое преимущество этих легко доступных статистических данных, с одной стороны, охватывающих большое количество стран, а, с другой стороны, пригодных и для лонгитюдных исследований, показатели ВВП не могут ничего рассказать о различных источниках благосостояния.

А между тем именно источники благосостояния нации нередко связаны с характером политического правления в соответствующей стране. Как впервые в 1970 году обратил внимание Махдэви (Mahdavy) и как считают многие современные исследователи, природные богатства и в особенности залежи нефти и газа могут стать проклятием для демократии (Ross, 2001; Robinson, Torvik, Verdier, 2006; Aslaksen, 2010; Ramsey, 2011). Впрочем, как показали недавние сравнительные исследования, природные ресурсы в целом являются благом для политической жизни страны. Стивен Хейбер и Виктор Менальдо (Haber, Menaldo, 2011: 26) в своем крупномасштабном лонгитюдном исследовании приходят к выводу, что залежи нефти и минералов совершенно не влияют на установление диктатуры в стране. Это, разумеется, не означает, что у данного правила не может быть отдельных важных исключений.

¹⁶⁴ «Подъем и падение ВВП», New York Times, 10.05.2010.

В целом же большинство имеющихся на данный момент эмпирических исследований посвящено тезису о том, что природные богатства поддерживают автократический политический режим.

Кевин К. Цуй (Tsui, 2010: 111) в своей работе знакомит читателя с результатами исследования стран со значительными запасами нефти и с разработанными нефтяными залежами, и эти результаты указывают на то, что богатство, основанное на нефти (на фактически существующих нефтяных запасах), находится в отрицательной корреляции с долгосрочным демократическим развитием этих стран. Эта отрицательная корреляция касается всех стран при отсутствии сверхпропорциональных показателей для крупных поставщиков нефти из арабского мира. Объяснение этой взаимосвязи сравнительно простое. Лидеры автократических нефтяных государств отвергают демократическое развитие своих стран, поскольку «они больше потеряют, лишившись власти, если их свергнет либо население, <...> либо другой недемократический противник...» (Tsui, 2010: 90)¹⁶⁵. По этой же причине, как можно судить в рамках данных теорий, в автократических странах появляются новые импульсы для демократического развития, как только уменьшается их основанное на нефти богатство, например, в результате падения цен на нефть. Следует, однако, отметить, что благосостояние страны в данных случаях не является следствием демократического устройства общества.

Когда экономисты, масс-медиа, политики и общественность обращаются к вопросу последствий качества жизни в стране, все они единодушны в своей критике традиционного показателя благосостояния (см. также Kennedy, 1968; Hirschman, 1989).

¹⁶⁵ Дэвид Бирс и Лакс Хантник (Bearce, Huntник, 2011) предлагают альтернативное объяснение сохранения автократии в странах, богатых природными ресурсами, и утверждают, что проклятие природных богатств на самом деле проявляется в проклятии иммиграции. Переход к демократии в автократических странах с большим запасом полезных ископаемых затруднен массовым притоком граждан из других государств. Вероятность формирования демократической формы правления в этих странах низка, поскольку иммиграция «способствует перераспределению материальных благ, тем самым умиротворяя население, живущее в условиях автократии» (Bearce, Huntник, 2011: 689).

Существуют разные причины для критики ВВП как показателя благосостояния и финансового благополучия общества (см. Stiglitz, 2005)¹⁶⁶. Общая критика заключается в том, что не имеет особого смысла ставить благосостояние и развитие общества в зависимость от какого-то одного экономического показателя, и требует более комплексного подхода (удачным примером здесь может служить так называемый Индекс человеческого развития (Human Development Index, HDI))¹⁶⁷. Кроме того, как обращают внимание критики, задача построения стабильной экономики и устойчивого общества требует новых показателей благополучия. Следует также помнить о том, что благосостояние и его рост, измеряемые на основании традиционных показателей, невозможно бесконечно проецировать в будущее, и оно не всегда затрагивает все общественные группы (ср. Skidelsky, Skidelsky, 2012).

В настоящее время разрабатываются более комплексные показатели благосостояния и в целом благополучия страны, и постепенно они приходят на смену методикам, основанным на показателях ВВП¹⁶⁸. К ним относятся Канадский индекс

¹⁶⁶ Саймон Кузнец (Kuznets, 1973: 257), изобретатель так называемого национального бюджета, говоря о развитых странах, самокритично замечает: «Совершенно ясно, что в теории и оценке экономического роста в развитых странах остается целый ряд аналитических и методологических проблем, и что остается лишь надеяться на кардинальные изменения в некоторых аспектах анализа в системе национального хозяйственного расчета и в фонде эмпирических данных, которым будут пользоваться экономисты развитых стран в последующие годы».

¹⁶⁷ Индекс человеческого развития включает в себя еще два показателя, а именно информацию об образовании и здоровье (см. <http://hdr.undp.org/en/statistics/>). Другие дополнения к ИЧР см. в: Ranis, Stewart, Samman, 2006; Ringen, 2010.

¹⁶⁸ Одним из первых критиков традиционной монетарной статистики как критерия благосостояния нации был Отто Нейрат (Neurath, [1937] 2004). В своей статье «Условия жизни», опубликованной в «Журнале социальных исследований», он предлагает привлекать к измерению уровня благосостояния всю совокупность общественных институтов. Нейрат (Neurath, [1937] 2004: 514–515) подчеркивает, что исчерпывающее определение условий жизни в стране должно учитывать не только информацию о «питании, проживании, одежде, безопасности, заболеваниях, профессиональной усталости и досуге», но также статистику о «субъективном самочувствии» человека.

благополучия¹⁶⁹ или Индекс состояния США¹⁷⁰. Эти индикаторы разрабатывались для того, чтобы учесть в одном сводном индексе показатели по таким важным отраслям, как здоровье, образование, занятость и экология. Индекс состояния США включает в себя около 300 различных отдельных индикаторов по таким темам, как преступность, энергетика, инфраструктура, жилищное строительство и экономика. Одна из недавних попыток создать универсальный индекс связана с учрежденной бывшим президентом Франции Николя Саркози Комиссией по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса — экспертный орган, который возглавили Джозеф Стиглиц, Амартия Сен и Жан-Поль Фитусси. На основании проведенной до сих пор работы эта комиссия пришла к выводу, что необходим новый показатель качества жизни, выходящий за рамки конвенционального ВВП и включающий в себя еще, по крайней мере, шесть дополнительных индикаторов: здоровье, образование, экология, занятость, модели межчеловеческой коммуникации и политическая активность. Еще сложнее разработать субъективные, но поддающиеся количественному выражению показатели благополучия, как, например, психологические факторы (счастье или религию), которые, в свою очередь, можно было бы соотнести с политическими убеждениями, паттернами участия и поддержкой демократической формы правления.

Легко перечислить возможные трудности, которые влечет за собой изменение техники измерения благосостояния нации: Как прийти к консенсусу относительно различных индикаторов, которые должны стать частью новой методики? Как разработать стандартизированные, однородные методы? Как побудить пользователей статистических данных обращаться к альтернативным техникам измерения? Но даже если ученым удастся развеять сомнения относительно новых показателей, статистическая конструкция по-прежнему остается конструкцией. И всегда можно сослаться на то, что обычно между показателем благосостояния, рассчитываемым традиционным способом (ВВП на душу

¹⁶⁹ <http://www.ciw.ca/en/Home.aspx> (последнее обращение 16 октября 2010 года).

¹⁷⁰ <http://www.stateoftheusa.org/> (последнее обращение 13 ноября 2012 года).

населения), и альтернативными показателями качества жизни в стране существует тесная корреляция.

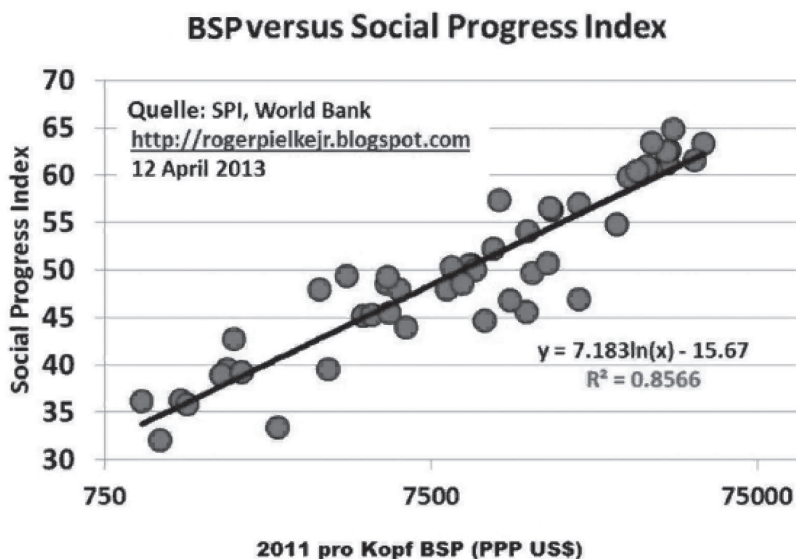


Рис. 2: ВВП на душу населения и показатель общественного развития.

Разделяемый многими учеными, политиками и общественными деятелями тезис о том, что рыночные процессы сами по себе способствуют расширению свобод, легко можно опровергнуть на основании их собственных допущений, показав, что в данном случае речь идет о нереалистичном условии возможности демократии: «Заявления, что рынок обеспечивает возможность свободы, опирается на предположение, что каждый покупатель и каждый продавец могут обратиться к альтернативам» (Lindblom, 2001: 188). Однако, как все мы хорошо знаем, альтернативы как на стороне предложения, так и на стороне спроса часто ограничены, а в отдельных случаях и вовсе отсутствуют. Давление со стороны, запугивание, принуждение, неравенство, равнодушие, но также и моральные убеждения — вот лишь несколько из часто встречающихся факторов, ограничивающих и отчасти определяющих рыночное поведение продавцов и покупателей. Кроме того,

неясно, как именно выглядят политические последствия ограниченных рыночных процессов. Зачастую это так и остается невыясненным. Но в любом случае эти последствия никогда не бывают самоочевидными, чтобы можно было говорить об автоматическом влиянии рыночных процессов на политическую систему и политическое поведение. В то же время не вызывает сомнений, что какое-то влияние есть, но заложит ли оно основы для политических свобод, неизвестно. Взаимосвязь между экономическими институтами и не ограничиваемыми ими экономическими, политическими, социальными и гражданскими «свободами от» и «свободами для» не являются симметричными. Экономические свободы не гарантируют свободу политическую или гражданскую, а политические и гражданские свободы не всегда сосуществуют со свободой в хозяйственной сфере (см. Kennedy, 2010b).

В наблюдениях на тему взаимосвязи экономических и демократических условий можно выделить по меньшей мере три главных тезиса. Первое: истоки демократической формы правления тесно связаны с материальным развитием общества; второе: между экономическими неудачами и крушением демократических режимов существует тесная взаимосвязь; третье (здесь речь идет о несколько измененном тезисе Йозефа Шумпетера о корреляции демократии и благосостояния): характер экономической системы, а, точнее, капиталистической экономики, и ее сопряженность с демократией являются источником благосостояния нации.

Поскольку я в своем исследовании основное внимание сосредоточиваю на общественных факторах, способствующих успеху или, наоборот, ослаблению демократии, экономические факторы и их связь с демократической формой правления я рассмотрю лишь коротко (см. об этом Baum, Lake, 2003; Narayan et al., 2011; Sirowy, Inkeles, 1990; Huntington, 1987; Feng, 1997; Jacobson, Soysa, 2006; Doucouliagos, Ulubasoglu, 2008; Norris, 2011b: 8–11, 14–19).

Под эту категорию размышлений попадает, к примеру, так называемая «гипотеза Ли» (названная так по имени ее знаменитого сторонника Ли Куан Ю, бывшего президента Сингапура). Ли, исходя из своих политических интересов, утверждал, что с наибольшей вероятностью экономический рост возможен в условиях недемократического режима. Другие, в последние годы все чаще

встречающиеся аргументы указывают на определенные природные и, в частности, климатические условия, препятствующие экономическому росту (см. Sen, 1999: 5–6; Sachs et al., 2004; Dell et al., 2008)¹⁷¹.

Экономист Роберт Барро (Barro, 1996, 1999; см. также Sirowy, Inkeles, 1990; Przeworski, Limongi, 1993) в целом ряде эмпирических работ исследует положительное влияние отдельных макросоциальных характеристик на рост экономики; к таким характеристикам он относит, например, комплексную систему норм правового государства, свободные рынки, степень государственного вмешательства в рыночные процессы, а также значимость человеческого капитала. По аналогии были выявлены другие признаки демократических обществ, которые могут помешать экономическому росту; среди них можно назвать, например, тенденцию распределять доходы в пользу богатых (в том числе путем земельных реформ) или сильное политическое влияние лоббистов в странах с представительской демократией (ср. Barro, 1996: 1; Helliwell, 1994: 244).

В целом, впрочем, спорным остается вопрос, какое именно влияние на рост экономики оказывают особые формы демократии, демократические процессы и институты, а также распространение продемократических установок в обществе (ср. об этом также: Barro, 1999). Торстен Персон и Гвидо Табеллини (Persson, Tabellini, 2006; 2007) в своем недавнем трудоемком эмпирическом исследовании, а Буа (Voix, 2011) — в своем анализе данных панельного лонгитюдного исследования приходят к выводу, что переход к демократическому режиму и его укрепление демонстрируют положительную корреляцию с экономическим

¹⁷¹ Результаты сравнительных исследований историков экономики Джоэля Мокира (Мокут, 1990) и Дэвида Лэндиса (Landes, 1998) говорят о том, что материальное благосостояние страны проистекает из наличия определенных рыночных институтов, ограниченного государственного влияния и гарантии прав собственности. Фенг (Feng, 1997: 398–399), в свою очередь, подчеркивает значение политической стабильности демократических институтов для экономического роста: «вполне вероятно, что демократия имеет значительное косвенное влияние на рост экономики благодаря своему вкладу в обеспечение политической стабильности <...> Регулярная смена правительства, возможно, имеет положительное воздействие на рост, как правило, отражая политические и экономические изменения в ответ на требования общества, включая экономические стимулы».

ростом¹⁷² и доходами и что, наоборот, распад демократической формы правления ведет к спаду в сфере экономики¹⁷³.

Этой аргументации в каком-то смысле противоречит интересное наблюдение Амартии Сена (Sen, 1983) о том, что в независимых странах с демократическим управлением никогда не бывает голода. В этом своем утверждении Сен одновременно высказывает и свою позицию по вопросу влияния демократических отношений на экономику страны. Кроме того, Сен (Sen, 1999: 8) делает еще одно обобщение: «...положительная роль политических и гражданских прав способствует предотвращению экономических и социальных катастроф в целом» (см. также Miljkovic, Rimal, 2008).

Если Аристотель одним из первых отстаивал тезис о том, что стабильность демократии нерасторжимо связана с господствующим экономическим режимом в обществе, то Макс Вебер (Weber, [1904] 1952: 425) в своем исследовании конституционной демократии в России на рубеже веков (приходится признать, не самой своей удачной научной работе)¹⁷⁴ приходит также к однозначному,

¹⁷² Последовательность общественных изменений также имеет значение. В странах, где сначала произошла либерализация экономики, а затем были утверждены политические права, наблюдается более широкомасштабный рост экономики (см. Persson, Tabellini, 2006).

¹⁷³ Торстен Персон и Гвидо Табеллини (Persson, Tabellini, 2007: 3) так сформулировали результаты своего исследования: «Полученные нами эмпирические данные подталкивают к выводу о том, что при сравнении разных стран можно выявить эмпирически значимые разнородности, что в свою очередь означает, насколько важна гибкость, допустимая в полупараметрических методах. Мы показываем, что переход от автократии к демократии связан со средним усилением роста примерно на 1 процент, что приводит к увеличению среднедушевого дохода примерно на 13 процентов к моменту окончания всего периода. Этот 1 процент влияния на экономический рост рассчитан очень приблизительно, однако он в любом случае выше, чем в оценках тех, кто использует прямой метод разность разностей. <...> Влияние смены режима в обратном направлении еще сильнее: откат от демократии к автократии замедляет рост примерно на 2 процента в среднем, что подразумевает снижение доходов на 45 процентов к концу расчетного периода. Эти влияния гораздо сильнее, чем обычно описывается в соответствующей литературе».

¹⁷⁴ Что касается качества веберовского анализа социально-исторических условий в российском обществе столетие назад, то Пайпс (Pipes, 1955) оценивает его гораздо менее скептически.

но пессимистичному выводу: «Шансы на «демократию» и «индивидуализм» были бы невелики, если бы мы положились на «закономерное» действие материальных интересов»¹⁷⁵. Все как раз наоборот: за экономическое благополучие «масс» приходится платить, жертвуя свободой. В результате массы добровольно втискиваются в «каркас будущих крепостных отношений»¹⁷⁶.

Макс Вебер (Weber, [1904] 1952: 425) не оставляет никаких сомнений и возможностей для разных интерпретаций, когда со всей определенностью заявляет о сомнительности взаимосвязи между «развитым капитализмом» и демократией: «Если дело только в «материальных» условиях и определяемых ими (прямо или косвенно) комбинациях интересов, то любой трезвый наблюдатель должен видеть: все экономические тенденции ведут к возрастанию «несвободы»» (см. также Marshall, 1950: 34). Как вообще возможна свобода в условиях зрелого капитализма? Как свобода может выжить при господстве капиталистической экономики? Если следовать Веберу, то главный конфликт, «порожденный демократией и гражданскими правами, заключается в том, что они могут посягать на прерогативы и операции капитализма» (Jacobs, 2010: 24). С другой стороны, возможно, что акторы, усилившие свои позиции благодаря экономической свободе, будут ущемлять свободы более слабых акторов. Непокосимый вердикт Вебера оставляет без ответа вопрос о том, какие общественные трансформации привели к возникновению и стабильному

¹⁷⁵ По мнению Пайпса (Pipes, 1955: 383), Вебер подчеркивает, что перенесение западной культуры и капиталистической экономики в Россию ни в коей мере не гарантирует, «что Россия также приобретет свободы, сопровождавшие их становление в европейской истории <...> Европейская свобода родилась в уникальных, возможно, неповторимых обстоятельствах, в эпоху, когда материальные условия для этого были исключительно благоприятными».

¹⁷⁶ Еще хуже обстоят дела с демократией, как можно судить по замечанию бывшего министра иностранных дел Германии, председателя FDP Гвидо Вестервелле, сделанному им в начале февраля 2010 года по вопросу о том, как «без усилий» достичь процветания общества: «Тот, что обещает нации высокий уровень благосостояния без каких-либо усилий, тот открывает перед ней перспективы позднеримского упадка. Такие идеи могут привести к краху Германии» (Die Welt, 10.02.2010, S. 6).

существованию демократического режима. Однако ниже Вебер высказывается на этот счет.

Он приводит ряд исторически уникальных факторов и ситуаций, «стечений обстоятельств», которые «никогда больше не повторятся» (Weber, [1906] 1980: 64; см. также Buncse, 2001), которые мы встречаем и в более поздних исследованиях, в частности, в исследовании Сеймура Мартина Липсета (Lipset, 1959, [1960] 1962), где они описываются как контингентные общественные феномены, ответственные за возникновение современной свободы. Макс Вебер относит к ним в первую очередь колониальную экспансию, особенности экономической и социальной структуры раннекапиталистических западноевропейских обществ¹⁷⁷, подчинение жизни науке и «возвращение духа в себя». «...наука же как таковая больше не способствует «универсальности личности». И, наконец, в конкретных и своеобразных исторических обстоятельствах возникло особое религиозное настроение, породившее идеальные ценностные представления, которые в комбинации с бесчисленными и тоже своеобразными политическими обстоятельствами и материальными предпосылками определили «этическое своеобразие» и «культурные ценности» современного человека» (Weber, [1906] 1980: 64–65). Перечисление культурных условий демократии еще раз подчеркивает веберовское неприятие теории, согласно которой экономическое процветание сыграло важную роль в процессе формирования демократии.

Скепсису Веберу противостоит надежда на то, что экономические успехи страны могут породить или усилить демократию. Это объяснение весьма распространено в политической практике и пропаганде сторонников как капиталистической, так и социалистической экономики. Вот как сформулировал его Питер Друкер: (Drucker, 1939: 35): «Капитализм как социальная система и кредо есть выражение веры в экономический прогресс, ведущий к свободе и равенству в обществе равных возможностей. Марксизм исходит из того, что такое общество возникнет в результате отказа от частной выгоды».

¹⁷⁷ «Современный капитализм» Вернера Зомбарта Макс Вебер называет одним из главных источников информации о характеристиках раннего капитализма.

Несколько десятилетий спустя страстный приверженец рыночного капитализм Милтон Фридман (Friedman, [1962] 2004: 32) в более сдержанной формулировке также подчеркивал, что свободный рынок и частное предпринимательство, не обязательно сопровождающиеся экономическим благополучием общества, являются необходимым, но не достаточным условием политической свободы и демократии. История знает примеры — начиная с фашистской Италии и Испании и заканчивая Японией до второй мировой войны — доказывающие, что частное предпринимательство вполне может сосуществовать с тоталитарным режимом: «Стало быть, нет непреодолимых препятствий для того, чтобы иметь в стране экономические структуры, капиталистические по своей сути, и политические структуры, не допускающие политической свободы» (Friedman, [1962] 2004: 33).

С другой стороны, добавляет Фридман (Friedman, [1962] 2004: 32), в истории не было такого общества, где наблюдалась бы высокая степень политической свободы и «в то же время не существовало бы пространства, сравнимого со свободным рынком, где могла бы в полной мере раскрыться экономическая свобода». И все же нельзя полностью исключить вероятность того, что свободная рыночная экономика в принципе не может помешать ограничению политических и иных свобод и/или что она обременяет демократический режим политического правления (ср. Reich, 2007)¹⁷⁸. Как подчеркивает Чарльз Линдблом (Lindblom,

¹⁷⁸ Насколько нам известно, в истории не было случаев, чтобы демократический политический режим попытался радикальным путем ликвидировать уже существующую в стране рыночную экономику. Чарльз Линдблом (Lindblom, 2001: 230) убежден, что ответ на вопрос, почему ни одно демократическое общество не хочет устранить основанную на рыночной экономике организацию производства, распределения и потребления товаров, следует искать в широко распространенных общественных идеях — «примечательно высокой степени конформности мышления, одобряющего или принимающего рыночную систему <...> Историческая связь основывается на состоянии ума, а не на механизме рынка или демократии». Единообразие мировоззренческих убеждений, в свою очередь, являются, по мнению Линдблома (Lindblom, 2001: 232), следствием успешного влияния негосударственных элит на политическое сознание масс: «Любым обществом, если только им не управляет земельная аристократия при

2001: 236): «Рыночная система удерживает демократию на низком уровне <...>, не давая возникнуть подлинной, но при этом вполне достижимой демократии». Экономический механизм рынка, являющийся, вероятно, главной причиной обесценивания демократических отношений и возможностей, заключается в неравенстве доходов и состояния, которое возникает и поддерживается в результате свободного взаимодействия сил на рынке. К этому добавляется еще и то, что влияние крупных корпораций и их лобби в политике могут стать серьезным препятствием на пути к достижению настоящего политического неравенства. Пресечение демократических отношений может также происходить в результате переноса индивидуальных прав и властных полномочий на коллективы, в частности, если права, закрепленные за отдельными гражданами, могут реализовываться фирмами, которые в итоге получают возможность выступать в суде в роли потерпевшего (Lindblom, 2001: 240).

Но, как вопрошает Милтон Фридман (Friedman, [1962] 2004: 30), следует ли в данном контексте считать «безумной» идею о том, что экономика и политика представляют собой два никак не связанных между собой института: «Экономические организации играют двоякую роль в построении свободного общества. С одной стороны, свобода в контексте экономических договоренностей трактуется как одна из составляющих свободы в целом, так что экономическая свобода уже становится самоцелью. С другой стороны, экономическая свобода — это неотъемлемая часть процесса достижения свободы политической»¹⁷⁹.

Тезис о том, что благосостояние или, в более узком смысле, растущие доходы и жизненные стандарты как результат

неустановившейся рыночной системе или революционная элита, успевшая эту систему ликвидировать, управляет диффузная элита, чьи привилегии и власть зависят от правил и условностей рыночной системы».

¹⁷⁹ Социальный механизм, который в этой связи имеет в виду Фридман и который гарантирует, что экономика не может служить основой политической власти, — это свободный рынок, который не может быть источником принуждения, ибо «выводя организацию экономической деятельности из сферы контроля политических инстанций, рынок одновременно элиминирует источник этой власти» (Friedman, [1962] 2004: 38–39).

экономического роста могут не только повысить уровень жизни индивидов, но, помимо этого, изменить «характер» общества и в особенности «моральные характеристики населения» (Friedman, 2005: 4; см. также Stiglitz, 2005), а также социальное и политическое устройство общества, перекликается с представлением о том, что неуклонный рост благосостояния способствует утверждению демократического режима. В более широком смысле, как в этой связи с оптимизмом констатирует Милтон Фридман (Friedman, 2005: 4), экономический рост, «означающий повышение жизненного уровня для безусловного большинства граждан, в большинстве случаев способствует расширению пространства возможностей, повышению уровня толерантности, социальной мобильности и приверженности таким ценностям, как социальная справедливость и демократия». Несмотря на то, что названные Бенджамин М. Фридманом (Friedman, 2005: 9) последствия могут иметь разные причины и в том числе, как подчеркивает Макс Вебер, особые исторические обстоятельства, он настаивает на том, что «влияние экономического роста и стагнации есть важная, зачастую самая важная часть истории».

В последующих разделах я более подробно рассмотрю, какие эмпирические взаимосвязи существуют между материальным благосостоянием, экономическим ростом и распределением доходов и имущества, с одной стороны, и демократическими убеждениями, с другой. В контексте данного исследования я, как уже упоминалось выше, меньше внимания уделяю вопросу о влиянии демократического устройства на экономический рост, несмотря на то, что в последнее время эта тема очень часто оказывалась в центре дискуссий, среди прочего еще и потому, что в недавнем прошлом в целом ряде стран наблюдался существенный экономический рост и процветание, однако это не привело — по крайней мере, пока — к ощутимым общественным переменам в направлении утверждения демократии¹⁸⁰.

¹⁸⁰ Широкомасштабное эмпирическое исследование Лил Шеннон (Shannon, 1958: 381), посвященное проблеме корреляции между рядом социально-экономических характеристик (как, например, природные ресурсы, количество голов скота на душу населения, производство и потребление

3.2. Богатство как основа демократии

Торговля исцеляет нас от пагубных предубеждений. Можно считать почти общим правилом, что везде, где нравы кротки, там есть и торговля, и везде, где есть торговля, там и нравы кротки.

*Монтескье, «О духе законов»,
Книга двадцатая*

В своем эссе о национальном характере американцев, написанном в начале 1950-х годов и вызвавшем широкий общественный резонанс, американский историк Дэвид Поттер (Potter, [1954] 1958: 112) уделяет внимание и взаимосвязи между благосостоянием или материальным изобилием и демократическим правлением. Так, он сухо и без каких-либо оговорок констатирует, что демократическое устройство общества, по всей видимости, лучше всего подходит для стран с высоким уровнем благосостояния (см. также Lippmann, [1922] 1997: 197).

Тезис Поттера и других наблюдателей, которые приходят к тому же выводу, подтверждается и эмпирической закономерностью, обнаруженной Адамом Пршеворским (Przeworski, 2004: 9): «Ни один демократический режим, включая исторический период до начала второй мировой войны, не рухнул в стране со среднедушевым доходом выше, чем среднедушевой доход в Аргентине в 1975 году — 6,055 \$. Это поразительный факт, учитывая, что даже за меньший срок, а именно с 1946 года было зафиксировано 47 случаев краха демократической формы правления в более бедных странах. Для сравнения, в 35 странах

некоммерческих видов топлива) и «государственным устройством» (самоуправление vs. не-самоуправление), показывает, что «самоуправление опирается на любой уровень развития». Мэтью Баум и Дэвид Лейк (Baum, Lake, 2003: 345) в своем недавнем исследовании приходят к выводу, контрастирующему с прежними исследованиями влияния демократического устройства и тезисом об отсутствии корреляции с экономическим ростом, утверждая, что влияние все же существует, пусть даже «едва уловимое, скрытое и зависящее от уровня развития» (см. также Nelson, Singh, 1998; Durham, 1999).

с высоким уровнем благосостояния демократия просуществовала 1046 лет, и ни в одной из них демократия не рухнула. Богатые демократические режимы оказались способны пережить войны, восстания, скандалы, экономические и политические кризисы и любые испытания».

В качестве объяснения, почему это так, можно указать на целый ряд очевидных общественных последствий, которые все без исключения тем или иным образом способствуют сохранению демократии и зависят от наличия значимых экономических ресурсов, инвестируемых частными лицами или государством в повышение уровня грамотности и образования в обществе и тем самым — в обеспечение доступа к знанию и информации. Сэмюэль Хантингтон (Huntington, 1984: 199; см. также Acemoglu, Robinson, 2000; Acemoglu, Robinson, 2012: 364–367) указывает на совокупность других социально–политических процессов, которые способствуют сохранению демократии и зависят от уровня и распределения благосостояния в стране, а также влияют, например, на уменьшение остроты политических конфликтов и ослабление социальной разобщенности (как следствие существования институтов, поддерживающих чувство принадлежности к общности и социальной солидарности), изменяя условия, влияющие на степень социального неравенства, или не позволяя ей проявиться в полной мере в связи с постоянно возрастающим общим уровнем благосостояния. Помимо всего вышесказанного, часто, хотя и не всегда с возрастающей комплексностью общества и экономики становится все сложнее управлять этой многоплановой социальной системой при помощи авторитарных методов.

Опыт мирового финансового кризиса сентября 2008 года, по всей видимости, может служить еще одним подтверждением гипотезы об устойчивости демократического правления в богатых странах (см. Diamond, 2011). Во всяком случае, ни в одной западной стране с рыночной экономикой, больше всего пострадавшей от этого самого сильного, со времен Великой депрессии, финансового кризиса, не произошло политической революции. И все же, как мы покажем более подробно далее, финансовый кризис оставил след и в богатых странах.

Как я уже констатировал выше, между стабильностью демократических режимов и средним уровнем формального образования существует статистическая корреляция. Кроме того, формальное образование коррелирует с уровнем дохода. Влияние материального благосостояния населения, вероятно, сильнее, чем влияние формального образования (ср. Przeworski, 2004). С другой стороны, демократия представляется неподходящей формой правления для обществ, страдающих от материальной нужды. Предельно четко этот дихотомический тезис сформулировал Поттер: «Экономическое изобилие благоприятствует установлению демократии». Впрочем, в литературе на эту тему находится немало опровержений этого вывода.

Авторы социально–исторических исследований и, в частности, Баррингтон Мур в своей работе «Социальные истоки диктатуры и демократии» (Moore, 1966), по духу явно близкой к веберовскому анализу дореволюционной России, приходят к выводу, что глобальное распространение капиталистической экономики необязательно повышает шансы на установление демократического правления, поскольку путь к «капиталистической» демократии основывается на таких исторических констелляциях, повторение которых совершенно не гарантировано.

В конце 1950–х годов Сеймур Мартин Липсет (Lipset, 1959: 75) исследовал социальные условия установления демократии, не зависящие от политической системы в стране (такие, как, к примеру, ценности, общественные институты, исторические события) с точки зрения социологии и теории поведения. Опираясь на доминировавшую в то время теорию модернизации, Липсет исходил из того, что можно выделить ряд фактически существующих общественных условий, способствующих утверждению и сохранению демократии. В своем поиске этих факторов он сосредоточился на двух условиях — экономическом развитии и легитимности. В другом крупномасштабном исследовании, посвященном основам политики («Политический человек», Lipset, [1960] 1962: 70), Липсет добавляет еще одно важное измерение демократического правления, а именно функциональность или фактическую эффективность правящего режима. Следующий отсюда обратный вывод гласит, что политическая система, не сумевшая

на всех трех фронтах реализовать и упрочить внутреннюю легитимность, фактическую эффективность и экономический рост, по всей вероятности, переживает крайне сложный период.

Как подчеркивает Липсет, его сравнительное статистическое исследование политических систем следует рассматривать всего лишь как своего рода иллюстрацию к небезосновательным теоретическим допущениям. Результаты статистического корреляционного анализа не могут претендовать на выяснение причинно—следственных связей между различными переменными и показателями положения в обществе. Переменную «экономическое развитие» (в отличие от «капиталистического экономического развития») Липсет называет сводной переменной, поскольку речь здесь идет о совокупности данных об индустриализации, благосостоянию, урбанизации и системе образования в стране. Отдельные показатели индекса экономического развития тесно связаны между собой. Понятие легитимности Липсет (Lipset, [1960] 1962: 70) трактует традиционно как общее принятие властных отношений¹⁸¹ и, соответственно, измеряет степень признания правомерности существующих общественных институтов.

Даже в своих теоретических предпосылках Липсет не ждет высокой корреляции между такими структурными факторами, как доход, образование и религия, и демократией, поскольку политическая система существует и действует автономно. Как показывает история Германии прошлого столетия, некая совокупность уникальных исторических факторов может привести к появлению политического режима, противоречащего структурным условиям. Германия — пример «страны, где структурные трансформации — прогрессирующая индустриализация, урбанизация, рост уровня благосостояния и образования — благоприятствовали установлению демократической системы, но ряд неблагоприятных исторических событий не позволил демократической форме правления достичь надлежащей степени легитимности» (Lipset, 1959: 72). Уникальные исторические условия, характерные исключительно для данной страны, могут, стало быть, привести как к становлению, так и к крушению

¹⁸¹ См. Weber, 1946: 78.

демократического режима¹⁸². Как мы убедимся далее, подход Липсета, основанный на популярной в то время теории модернизации, в последнее время снова оказался в центре внимания в связи с гораздо более крупномасштабными и комплексными исследованиями на тему корреляции между благосостоянием и демократией.

Проведенная Липсетом эмпирическая проверка, равно как и теоретический нарратив основаны на сравнении богатых западноевропейских и англоязычных стран, а также государств Латинской Америки. В первой группе стран он выделяет «стабильные демократии» и «демократии и диктатуры», установившиеся со времен первой мировой войны, а в латино-американских государствах — «демократии и нестабильные диктатуры» и «стабильные диктатуры».

Чтобы проверить свою гипотезу, Липсет на основании переписи населения в каждой стране разрабатывает показатели уровня богатства, индустриализации, образования и урбанизации. Так, например, главный показатель богатства выводится из соединения таких показателей, как доход на душу населения, количество людей на один автомобиль и одного врача, а также количество радиоприемников, телефонов и газет на тысячу жителей. В отношении всех этих показателей — богатства, индустриализации, образования и урбанизации — Липсет обнаруживает значимую корреляцию с демократическим режимом, причем в обеих группах. Так, например, страны с самым низким среднедушевым доходом подпадают под категорию «менее демократические», а страны с самым высоким среднедушевым доходом — под категорию «более демократические».

Далее Липсет рассматривает проблему легитимности и эффективности политических систем, а также социальных механизмов, помогающих сократить социальные различия в обществе. Социальные предпосылки, способные «умерить пыл партизанской борьбы, <...> следует искать среди ключевых характеристик

¹⁸² См. также обсуждение трех парадоксов демократии (парадокс свободы, толерантности и демократии) в книге Карла Поппера «Открытое общество и его враги» (Popper, 1965: 602–603). Поппер, впрочем, не считает, что демократии губят сами себя.

демократической политической системы <...> Характер и содержание главных расхождений, влияющих на политическую стабильность общества, во многом определяются историческими факторами» (Lipset, 1959: 91–92). В западных обществах можно выделить три причины социальных различий: (1) религиозная принадлежность; (2) всеобщие права; (3) распределительная справедливость. Решения, соединяющие друг с другом социальные расслоения и правовые и социально–экономические различия (см. Marshall, 1950), сильно повышают жизнестойкость демократии.

Политическая легитимность, которая может быть очень неоднородно распределена в обществе, в зависимости от принадлежности индивидов к тому или иному социальному слою, и фактическая эффективность работы политической системы, например, в форме стабильного и устойчивого роста общественного богатства, сами являются элементами политической системы¹⁸³. Между эффективностью и легитимностью существует корреляция, однако даже стабильность политических систем с высокой степенью легитимности при повторяющихся или продолжительных сбоях экономической эффективности оказывается в опасности. Тем не менее, на основании знаний о степени легитимности того или иного политического режима можно сделать обоснованные выводы о стабильности политических институтов страны.

Своей кульминации аргументация Липсета достигает в тезисе о взаимосвязи богатства и демократии, вошедшем в историю социальных наук как «тезис Липсета» (см. также Shannon, 1958). Липсет обращает внимание на то, что у данного тезиса долгая интеллектуальная история, поскольку, начиная с Аристотеля и до наших дней, многие наблюдатели политических трансформаций утверждают следующее: «Только в богатой стране, где лишь сравнительно немногие граждане живут по–настоящему бедно,

¹⁸³ Для Липсета (Lipset, 1959), который придерживается концепции символических элементов политической легитимности Габриэля Алмонда, важным показателем легитимности государственной власти является «степень, в какой данные страны смогли сформировать общую секулярную политическую культуру, национальные ритуалы и праздники, служащие поддержанию легитимности различных демократических практик».

могла сложиться ситуация, в которой большинство населения могло принимать разумное участие в политике и создать некие механизмы самоограничения, необходимые для того, чтобы не поддаваться сомнительным призывам безответственных демагогов». Липсет (Lipset, 1959: 103), впрочем, релятивирует свой тезис, добавляя, что его вывод не дает оснований для оптимистичных упований на то, что «повышение уровня благосостояния, увеличение среднего класса, развитие образования и других релевантных факторов будут автоматически означать распространение или стабилизацию демократической формы правления».

Как показывают цитаты из работы Липсета, наряду с отсутствием широкой материальной нужды и глубоких социальных противоречий при наличии эффективности и легитимности политического режима, существует по меньшей мере еще один значимый элемент, решающим образом влияющий на сохранение демократии, а именно когнитивные условия и способности, способствующие участию граждан в политике. В конце концов, богатство, как подчеркивает Липсет, не является ни единственной, ни достаточной предпосылкой способности разумным образом участвовать в политическом процессе и аргументированно отстаивать свою позицию в спорных политических контекстах. По этой причине авторы других эмпирических исследований, сравнимых с работами Липсета, к показателю богатства как движущей силы устойчивого функционирования демократии добавляют уровень образования или какой-либо другой индикатор «ума», образования и компетентности индивидов.

Так, например, широкомасштабное панельное исследование Роберта Барро (Barro, 1999: 160), охватывающее 100 стран в период с 1960 по 1995 год, подтверждает эмпирические результаты Липсета: (измеренный с учетом различных факторов) более высокий жизненный стандарт (ВНП на душу населения) и более высокий уровень образования в обществе коррелируют с более сильным субъективным предпочтением демократии. С другой стороны, демократические режимы, возникшие без предшествовавшего экономического развития, как правило, существуют недолго и тем самым подтверждают общий вывод, что демократия опирается на благосостояние или богатство. Барро в своем определении

демократии подчеркивает роль выборов и политического права участвовать в общих выборах (Barro, 1999: 160).

Эвелин Хубер, Дитрих Рюшемайер и Джон Д. Стефанс (краткую версию см. в: Huber, Rueschenmeyer, Stephens, 1993: 74–75; более подробно в: Rueschemeyer, Stephens, Stephens, 1992) в своем исследовании взаимосвязи между экономической системой и демократией придерживаются тезиса Липсета, однако их объяснение развития и стабильности демократического режима отличается от его объяснения тем, что они делают акцент на роли капиталистического строя: «Капиталистическое развитие связано с демократией, поскольку оно меняет соотношение классово́й власти, ослабляет могущество землевладельческого класса и усиливает положение низших классов». Кроме того, они замечают: «Рабочий и средний класс — в отличие от низших классов в истории — приобретают беспрецедентную способность самоорганизации благодаря таким тенденциям развития, как урбанизация и фабричное производство, а также новым формам коммуникации и транспортировки». Связь между демократией (и в особенности всеобщим избирательным правом, сначала, впрочем, только для мужчин) и уровнем развития (если употреблять нейтральный термин) нельзя назвать ни однолинейной, ни автоматической. Если бы в этой системе взаимовлияний необходимо было выделить особо значимый фактор, то им, вероятно, стал бы баланс между классово́й властью и исторически уникальными классовыми интересами. По сути, само по себе повышение уровня благосостояния или среднедушевого дохода не благоприятствует демократии. Другими важными факторами для развития демократической формы правления, по мнению Хубер, Рюшемайера и Стефенса (Huber, Rueschemeyer, Stephens, 1993: 85), являются обусловленные индустриализацией и урбанизацией изменения классовых отношений и социальной структуры.

Еще одно крупномасштабное эмпирическое исследование взаимосвязи между сравнительно высоким уровнем доходов на душу населения и демократией провел Дарон Аджемоглу с коллегами (Acemoglu et al., 2008: 836). Эта работа, также опирающаяся на теорию модернизации, теоретически тесно связана с концепцией Липсета. В результате своего анализа Аджемоглу приходит к выводу, что встречающийся в литературе по политэкономии

тезис о «каузальном» влиянии среднедушевого дохода не подтверждается эмпирическими данными¹⁸⁴. Несмотря на наличие положительной корреляции между доходом и демократией, в послевоенный период и даже на протяжении всего последнего столетия невозможно найти доказательств причинно–следственной связи. На самом же деле, как подчеркивает и Липсет, лишь неповторимая специфика «путей развития <...> является основной причиной статистической связи между долгосрочными экономическими и политическими трансформациями» (Acemoglu et al., 2008: 836). Вероятностная выборка нового среднего класса в трех китайских городах, проведенная Ченом и Лу (Chen, Lu, 2011: 707) и объясняющая поддержку демократии положительным отношением «к совокупности демократических норм и институтов», показывает, что проявляющаяся в соответствующих позитивных установках поддержка демократии выражена слабо. Если исходить из того, что представленные результаты не являются всего лишь отражением ожиданий авторов, соответствующих их политической позиции, «большинство членов этого нового среднего класса <...> приветствуют индивидуальные права, <...> [но] опасаются политических свобод, таких как свобода демонстраций и организаций, а также не проявляют ни заинтересованности в демократических институтах, таких как всеобщие соревновательные выборы лидеров без каких–либо ограничений, <...> ни энтузиазма по поводу участия в правительственных и политических делах» (Chen, Lu, 2011: 715–716). Результаты этого опроса подтверждают и дополняют тезис о том, что взаимосвязь между модернизацией и экономическим благополучием зависит от национальной специфики, которая может влиять не только на экономическое, но и на политическое развитие общества. Лишь наблюдения на протяжении целого столетия и более способны показать, является ли взаимосвязь между общим уровнем

¹⁸⁴ Выводы Аджемоглу и его коллег спорны. Че (Che et al., 2012) утверждает, что полученные им результаты (Acemoglu et al., 2008) обусловлены исключительно методологией исследования. Используя те же статистические данные, но обрабатывая их при помощи обобщенного метода моментов, Че с коллегами приходят к выводу, что между уровнем доходов и демократическими процессами, безусловно, существует положительная корреляция.

благосостояния в стране и развитием демократии чем-то большим, чем просто статистическая корреляция.

3.3. Экономический рост и демократические страны

Несмотря на то, что не так просто разграничить потенциальное влияние материального благосостояния, общественного распределения богатства и экономического роста на становление и устойчивое функционирование демократической формы правления, я хотел бы, как это уже отчасти происходило в соответствующей литературе, отдельно рассмотреть вопрос о роли экономического роста. Точное определение экономического понятия «рост экономики» можно найти в работах Саймона Кузнеця (Kuznets, 1973: 247): «Экономический рост страны можно определить как долгосрочное увеличение способности хозяйства обеспечивать все более разнообразные потребности населения с помощью все более эффективных технологий и соответствующих им институциональных и идеологических изменений».

Утверждение, истинность которого нам предстоит проверить, заключается в том, что экономический рост оказывает положительное воздействие на легитимность и популярность правительства страны. Уже из самой этой формулировки становится ясно, что рост экономики может поддерживать как авторитарную, так и демократическую власть, точно так же как стагнация или спад экономики могут подорвать лояльность политическому режиму и признание его легитимности среди населения. Кратко интересующий нас вопрос можно сформулировать так: оказывают ли форма, темп и устойчивость экономического роста систематическое влияние на политический строй общества?

Релевантные, основанные на международном сравнении теоретические подходы, а также результаты эмпирических исследований не позволяют сделать однозначных выводов. Более того, среди специалистов встречаются прямо противоположные мнения. Большая часть исследований на тему взаимосвязи экономического развития и демократии приходится на 50-е и 60-е года минувшего столетия, когда проблема «модернизации» в первую очередь развивающихся стран вызывала большой интерес

у представителей социальных наук. Поэтому теперь имеет смысл обратить особое внимание на соотношение демократии и различных форм экономического развития в стабильных демократических обществах.

Вопреки очевидности и тому, что в целом политологи рекомендуют демократический режим (ср. Sirowy, Inkeles, 1990: 127), сами они исходят либо из прямого конфликта целей (демократия — роскошь, непозволительная для стран, находящихся в процессе экономического развития; сначала — рост, затем — демократия, т.е. акцент на функциональности авторитарного режима), либо из принципиальной совместимости демократии и экономического развития.

Аргументы обеих сторон лежат на поверхности: с одной стороны, политическая нестабильность (даже при наличии демократических институтов)¹⁸⁵ имеет дисфункциональные последствия для экономической ситуации и демократизации общества. Подобная аргументация применима и к современным экономическим режимам и политическим системам. Особые экономические трудности, встающие перед развивающимися обществами, например, в связи с необходимостью финансировать инвестиции и сдерживать потребление, невозможно преодолеть без принудительных мер (централизованного) государства, что приходит в противоречие с процессом демократизации (см. Kuznets, 1955).

С другой стороны, авторы, которые исходят из принципиальной совместимости экономического развития и демократических институтов в развивающихся странах, приходят к выводу, что постулируемая их противниками необходимость централизации в условиях тоталитарного господства просто — на просто миф. Авторы, отстаивающие тезис о совместимости демократии и экономического роста, в свою очередь, обращают внимание на

¹⁸⁵ Сировы и Инкелес (Sirowy, Inkeles, 1990: 129) конкретизируют данный тезис следующим образом: «Выборный процесс, без которого невозможна демократия, способен деформировать экономику и лишить правительство возможности действовать, поскольку чиновники варьируют свою лояльность в соответствии с краткосрочной политической ситуацией, вместо того чтобы сосредоточиться на политических мерах, направленных на национальное развитие в долгосрочной перспективе».

дисфункциональные последствия централизованного управления, в частности, на тенденцию к коррумпированности власти и растрате природных ресурсов, а также на значение экономических свобод (рыночной конкуренции, прав собственности) и политического плюрализма для развития экономической системы (см., например: Goodin, 1979). Сировы и Инкелес упоминают также подход, сторонники которого скептически относятся как к концепции конфликта, так и к концепции совместимости и исходят из того, что демократические институты не оказывают существенного влияния на рост экономики, а рост экономики не влияет на демократизацию политической системы страны.

Не исключено, что различные исторические условия и общественный контекст в разных регионах и странах мира способствуют формированию неповторимых путей развития и предопределенностей экономического процесса, равно как и многообразие структурных поперечных связей между экономическим развитием, демократизацией и демократической формой правления. Как бы там ни было, в наибольшей степени анализ соответствующих явлений и в особенности определение типичных моделей развития затрудняет тот факт, что релевантные отношения необязательно носят линейный характер, а демонстрируют разнообразные паттерны запаздывания, отклонения и зоны разрыва и по-разному могут реагировать на удаленные социально-экономические процессы или внезапные изменения (см. также Treisman, 2011). Поэтому имеющиеся на сегодняшний день эмпирические исследования не позволяют сделать однозначных выводов: разные теоретические подходы и многообразие методов, показателей, независимых и контрольных переменных, техник обработки данных, времени проведения и масштабов исследований затрудняют сравнение. Существуют эмпирические доказательства как тезиса о конфликте (см., например: O'Donnell, 1978), так и тезиса о совместимости, равно как и скептической точки зрения (см., например: Marsh, 1988)¹⁸⁶.

¹⁸⁶ Более подробный мета-анализ см. в: Sirowy, Inkeles (1990: 150–151): «Рассмотренные исследования делятся примерно поровну в зависимости от того, приходят ли их авторы к выводу об отсутствии связи или о наличии

3.4. Неравенство и демократия

По сути, именно благодаря неравенству распределения богатства и капитала стала возможной та невероятная концентрация материальных ценностей и те инвестиции, которые отличают эту эпоху от всех остальных. В этом, собственно, и заключается главное оправдание капиталистической системы.

*Джон Мейнард Кейнс
(Keynes, [1919] 2009: 17)*

Джон Мейнард Кейнс (Keynes, [1919] 2009) не только в своих размышлениях об «Экономических последствиях мира», но и в ключевых пассажах «Общей теории занятости, процента и денег» (Keynes, 1936: 342–343) неоднократно обращается к теме «социального и психологического оправдания существенного неравенства в уровне доходов и благосостояния». Между тем представляется очевидным, что результаты рыночной экономики не гарантируют справедливого распределения доходов и благосостояния.

Впрочем, широкая дискуссия о структурах экономического неравенства и оправдании этих структур не ограничивается лишь нормативными рассуждениями. В центре внимания оказывается также функция экономического неравенства для политической жизни в условиях демократии, ее возможное влияние на политическую легитимность государства и политическое участие граждан, степень неравенства, допустимая для демократических

отрицательной корреляции между демократией и демократическим ростом <...> исследователям предстоит проделать немалую эмпирическую работу». Четверть века спустя это утверждение по-прежнему остается верным, как показывает работа Пшеворского (Przeworski, 2004: 10): «Положительное влияние экономического роста на сохранение демократии сложно определить. Эмпирические модели показывают, что демократия менее стабильна в странах, где показатель доходов на душу населения либо остается на одном уровне, либо падает. Однако направленность каузальной зависимости неясна: происходит ли крушение демократии потому, что она действует неэффективно, или же демократический режим становится неэффективным, когда ему грозит крах?»

обществ, и вопрос о том, действительно ли демократическая форма правления в состоянии сократить экономические различия. Но сначала я хотел бы рассмотреть, как возможен статистический учет экономического неравенства.

Представители социальных наук, интересующиеся общественным распределением богатства и доходов, немало усилий приложили для выявления концентрации богатства, но гораздо меньше любознательности проявили в отношении вопроса о том, какие изменения претерпел средний уровень экономического благосостояния с течением времени. Были разработаны специальные статистические методики измерения дисперсии, такие как коэффициент Джини или кривая Лоренца, для того чтобы свести эмпирические структуры неравенства к одному—единственному количественному показателю. Так, например, коэффициент Джини может варьироваться от 0 до 1 (или от 0 до 100 процентов). Чем меньше значение этого показателя, тем равномернее распределение доходов между домохозяйствами, чем оно больше, тем выше концентрация богатства в стране. Государства с низким коэффициентом Джини — это скандинавские страны. В 2005 году этот показатель неравенства доходов равнялся 25 процентам в Швеции и 41 проценту — в Португалии¹⁸⁷. По крайней мере, в Европе за период с 1995 по 2005 год коэффициент Джини оставался практически неизменным. Гораздо более высокая концентрация материальных средств наблюдается в африканских и латиноамериканских странах. В США в 2007 году коэффициент Джини равнялся 45 процентам¹⁸⁸.

Несмотря на то, что статистика на тему концентрации материальных средств или доходов не отражает общие тенденции улучшения жизненных стандартов в стране, вполне разумно предположить, что различные формы общественного распределения доходов и имущества имеют статистически значимую корреляцию с возможностью, стабильностью и легитимностью демократических политических систем (ср. Huntington, 1984; Solt, 2008),

¹⁸⁷ См.: <http://www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife/eurlife/index.php?template=3&radioindic=158&idDomain=3>

¹⁸⁸ http://www.nationmaster.com/graph/eco_dis_of_fam_inc_gin_ind-distribution-family-income-gini-index

когда сильно выраженное экономическое неравенство подавляет участие и интерес к политическим процессам прежде всего среди бедных слоев населения (ср. Dahl, 2006: 85–86; Tilly, 2003b). Это верно, в частности, в тех случаях, когда в обществе отсутствуют другие явно выраженные формы неравенства. Несмотря на изменение характера социального неравенства в современных обществах и его значения для политического процесса, по-прежнему сохраняется угроза для демократии со стороны определенных социальных категорий. Так, например, Чарльз Тилли (Tilly, 2003a: 36) пишет: «Это происходит оттого, что неравенство приносит выгоду определенным слоям населения, давая им стимулы и средства для отмены или отказа от равных прав, равных обязанностей, равноправных переговоров и одинаковой безопасности». Впрочем, возможно, непрерывное улучшение общих жизненных стандартов служит своего рода компенсацией за высокую степень материального неравенства.

Еще двадцать–тридцать лет назад большинство представителей социальных наук лелеяли надежду на то, что индустриальное общество или, если говорить более обще, модернизационный сдвиг будет способствовать, с одной стороны, формированию менее иерархической и в целом менее неравномерной системы стратификации, а с другой стороны, — появлению стандартизированной, тесно связанной с индивидуальными способностями системы социального неравенства. Структура деления общества на слои, как ожидалось, станет более открытой и менее жесткой, по сравнению с эпохой зарождения индустриального общества с характерными для него зачастую непроницаемыми классовыми границами (Schelsky, 1955: 218–242; Golthorpe, 1966: 650; Dahrendorf, [1967] 1974: 68; Beck, 1983)¹⁸⁹. С этими ожиданиями было

¹⁸⁹ Впрочем, понятие «нивелированного общества среднего класса», которое предложил Гельмут Шельски (Schelsky, [1953] 1965; 1955: 222) и на которое я в данном случае ссылаюсь, основано на представлении о своеобразной регрессии к среднему значению социальной стратификации, когда нивелирование неравенства является (главным образом) результатом восходящей и нисходящей социальной мобильности. Толкотт Парсонс (Parsons, 1954: 431, 434), применивший свой «новый аналитический подход к теории социальной стратификации» к системе неравенства

связано и ослабление интереса социологов к вопросам социального неравенства. При этом недостаток интереса к данной проблематике ни в коей мере не объясняется исчезновением социального неравенства в промышленных странах¹⁹⁰.

Тем не менее, в этот период, как подчеркивает, в частности, Джон К. Гэлбрейт (Galbraith, 1957: 95; см. также Gellner, 1983: 22), отсутствующее (несмотря на требования и протесты) перераспределение общественного бремени и вознаграждений компенсировалось стабильными и растущими результатами производства, а также гибкостью общественного богатства (вертикальной мобильностью и диверсификацией материального благополучия; см. Voix, 2003; Freeman, Quinn, 2012). Как видно из широко известных современных примеров, неизменно растущий рост национального дохода, при условии, что он благоприятно отражается на жизни широких слоев населения, может точно так же способствовать укреплению авторитарного политического режима. С другой стороны, это означает, что неадекватное финансовое вознаграждение за работу, требующую высокого уровня формального образования, может привести к всплеску политической активности и протестам (см. Campante, Chor, 2011a). В своем классическом исследовании экономического развития и политической легитимации Сеймур М. Липсет (Lipset, 1959: 31) отмечает: «Демократия

американского общества, наряду с факторами профессионального статуса и заработка, подчеркивает важность «степени `сжатости` шкалы, коль скоро доход рассматривается как константная величина на протяжении последнего поколения», а также тот факт, что основание пирамиды профессий «ничтожно мало. Классовая структура американского общества станет еще более однородной вследствие преобладания среднего класса, чем теперь».

¹⁹⁰ Джон К. Гэлбрейт (Galbraith, 1957: 85) полагал, что недостаток интереса к феномену неравенства в это время объясняется тем, что, с одной стороны, степень неравенства в капиталистических странах, вопреки прогнозам марксистов, не усилилась, а, с другой стороны, уменьшились престиж и власть богатых (в США). С тех пор, впрочем, степень экономического неравенства, особенно в США, существенно возросла (cp. Noah, 2012). Движение «Захвати Уолл-стрит» является одной из политических реакций на усиление социального неравенства в США. В целом, однако, по-прежнему можно говорить о том, что проблематика неравенства во многих западных странах не стоит на политической повестке дня.

связана с уровнем экономического развития. Чем выше благосостояние нации, тем больше шансы, что в стране сохранится демократия» (см. также: Friedman, 2010). В современном мире, где экономический рост зачастую «длится на протяжении жизни нескольких поколений», он может «обеспечить легитимность политической системы; в современном мире эффективность производства означает неуклонный экономический рост» (Lipset, 1959: 91; см. также Gellner, 1994: 22; Przeworski, 1991: 32).

К настоящему моменту оптимистичные ожидания 1950–х и 1960–х годов развеялись. Прежде всего обращает на себя внимание то, что ожидаемого выравнивания стратификационной структуры так и не произошло; экономическое неравенство осталось одной из характерных черт индустриального общества, несмотря на то, что в отношении других аспектов неравенства наблюдается регрессия к среднему (или к движущемуся среднему). Это касается, в частности, средней продолжительности жизни, шансов на получение образования, доступа к системе здравоохранения и определенных аспектов социальной защищенности. Гораздо сложнее, однако, выявить изменения в структуре власти или господства вместо использования простых статистических показателей степени концентрации доходов.

В последние годы представители социальных наук все чаще обращают внимание на неуклонно увеличивающийся на протяжении последних двадцати лет разрыв в доходах во многих развитых странах (см., например: Acemoglu, 2002) и на политические последствия этих изменений (см. Haggard, Kaufmann, 2012). Результаты анализа этих тенденций заставляют предположить появление новых форм социального разграничения. Новые формы неравенства чрезвычайно устойчивы; также необходимо отметить вероятность того, что высокая степень неравенства в распределении доходов и богатства может не только повлиять на политическое поведение (ср. Lupu, Pontusson, 2011)¹⁹¹, но

¹⁹¹ В своем эмпирическом исследовании политических последствий структуры социального неравенства в развитых демократических странах Ноам Лупу и Йонас Понтуссон (Lupu, Pontusson, 2011: 312) приходят к выводу, что «политика властей демонстрирует тенденцию к перераспределению,

и оказаться бременем для демократии. Впрочем, приведенный ниже график на тему взаимосвязи ощущаемой разницы в доходах в ряде стран и сильно разнящейся степенью концентрации доходов (измеряемой при помощи коэффициента Джини) показывает, что, с одной стороны, разрыв в уровне дохода воспринимается как слишком большой при сравнительно низком коэффициенте Джини (как, например, в Венгрии, Австрии или Словакии), с другой стороны, в странах с высокой концентрацией доходов (США, Австралия, Великобритания) различия в уровне доходов, по всей видимости, не вызывают возмущения.

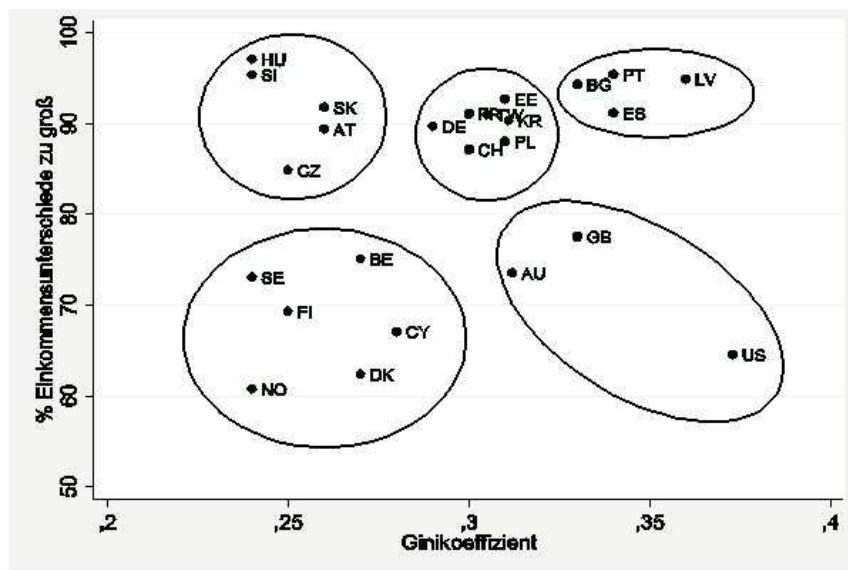


Рис. 3: Восприятие разницы в уровне дохода как слишком большой и коэффициент Джини в разных странах.

Источник: база данных ISSP 2009/2010; коэффициент Джини: Social Indicators Monitor (SIMon); данные по США и Австралии: LIS-Database.

если показатель дисперсии в распределении доходов более состоятельной половины населения высок, и отсутствие данной тенденции, если высок показатель дисперсии в распределении доходов менее состоятельной половины населения».

Во многих странах ОЭСР, хотя не только в них, неравенство за последние годы резко усилилось. Так, например, в Великобритании в 2008 год верхний дециль имел доход в двенадцать раз выше, чем нижний дециль, а 25 лет назад — лишь в восемь раз выше. Даже в скандинавских странах и Германии неравенство доходов только усиливается; особенно резко это увеличение разрыва в таких странах, как Индия, Китай и Бразилия¹⁹².

При помощи таких понятий, как «подлинно ущемленные» (*truly disadvantaged*; Wilson, 1987) или «низший класс», ученые пытаются отразить необратимость классовой принадлежности и отсутствие каких-либо перспектив социальной мобильности. Несмотря на недостатки понятия низшего класса в контексте традиционной классовой теории, связанные с тем, что «подлинно ущемленные» не являются классом-в-себе и не имеют никаких шансов сформировать класс-для-себя, это понятие адекватно отражает, по всей видимости, незыблемую позицию в социальной иерархии, которую занимают конкретные индивиды и семьи. Перманентность социальной позиции значительной части подлинно ущемленных членов общества отражается в невозможности получить место работы, причем даже в периоды экономического подъема, а также в поразительной готовности многих членов общества принять существующее расхождение между ценностью равенства и фактическим неравным распределением материальных средств (ср. Hondrich, 1984: 268). Некоторые наблюдатели (см., например: Dahrendorf, 1996: 238) видят причину усугубления социального неравенства в современных обществах в том, что касается материального вознаграждения, шансов и достижений, в усиливающейся глобализации. Другие исследователи (см., например: Stewart, 2011) связывают эту тенденцию с экономическими и налоговыми преимуществами в финансовом секторе.

Фредерик Солт (Solt, 2008) на основании выборки наиболее состоятельных демократических стран, согласно Всемирному обзору ценностей, Евробароментру и предвыборным опросам

¹⁹² <http://www.guardian.co.uk/society/2011/dec/05/income-inequality-growing-faster-uk>. См. также: OECD, *Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising*. Paris: OECD, 2011.

на территории ЕС, проанализировал влияние растущего экономического неравенства на политическую активность (интерес к политике, частота политических дискуссий, участие выборов). В качестве показателя национальной структуры неравенства Солт использует коэффициент Джини, отслеживая при этом целый ряд других промежуточных переменных. В целом результаты его исследования (Solt, 2008: 58; см. также Soss, 1999) позволяют сделать вывод о том, что «снижение интереса к политике, сокращение дискуссий на политические темы и участия в выборах среди необеспеченных граждан вкупе с усиливающимся неравенством свидетельствуют о возросшей способности сравнительно богатых индивидов лишать смысла политическую активность в глазах людей, обладающих низкими доходами в данных обстоятельствах. Как показывают результаты этого исследования, демократия имеет больше шансов выполнить свое обещание обеспечить политическое равенство всех граждан при более равномерном распределении экономических ресурсов».

Эмпирические результаты и прогнозы относительно структур экономического неравенства в современных обществах уже содержат ответ на вопрос о влиянии социального неравенства на демократию. Роберт Андерсон (Anderson, 2012: 12) обращает внимание на то, что широкая поддержка демократии имеет место не во всех богатых странах. Одной из возможных причин этих различий является, вероятно, форма экономического неравенства: «Страны с высокой степенью неравенства доходов, как правило, демонстрируют более низкий уровень поддержки демократии, чем страны с невысокой степенью неравенства»¹⁹³.

Однако можно ли, с другой стороны, утверждать, что демократия ведет к уменьшению экономического неравенства? Ученые провели целый ряд исследований, пытаясь найти ответ на этот

¹⁹³ Андерсон использует данные «Всемирного обзора ценностей» за 2001 год для 35 стран. Так, например, средний уровень дохода в Германии в 2000 году — 26.056 долларов — был ниже, чем средний доход в Швейцарии — 41.000 \$, при том что средний уровень поддержки демократии в Швейцарии составил 21,8, а коэффициент Джини — 0,359; в Германии при коэффициенте Джини 0,292 показатель поддержки демократии составил 23,5 (Anderson, 2012: 25).

вопрос, но с момента первой публикации Дайнингера и Сквайера для Всемирного банка (Deiningner, Squire, 1996) ни одно исследование не пришло к однозначному выводу. В исследовании Всемирного банка используется простое деление на демократические и недемократические страны, которое перешло и в последующие аналитические работы, а его авторы приходят к выводу, что для демократии характерен более низкий уровень социального неравенства. Несколько лет назад Тиммонс (Timmons, 2010) использовал актуализированную и переработанную базу данных для анализа более многочисленной группы стран на протяжении более долгого периода. Результаты, к которым приходит Тиммонс (Timmons, 2010: 742), неоднозначны. Он констатирует, что полученные им данные не указывают на существование систематической связи между демократией или гражданскими правами и более низкой степенью экономического неравенства. Результаты исследования Тиммонса не отличаются от результатов исследования Всемирного банка, если ограничиваться их выборкой стран. Полученные Тиммонсом данные заставляют предположить, что ни простая дихотомия демократия/не–демократия, ни операционализация зависимой переменной (т.е. неравенства) не дают действительно надежных показателей, с помощью которых можно было бы измерить влияние демократии на социальное неравенство. Вполне возможно, что структура общественного неравенства играет не столь значимую роль, нежели влияние демократии на общие (средние) жизненные стандарты.

3.5. Экономическое благополучие и знание

Одна из гипотез, основанная не только на теоретических концепциях, но и на надежных эмпирических данных, гласит, что в долгосрочной перспективе компетентность и информированность в самом широком смысле слова укрепляют экономическое благополучие индивидов и коллективов. Экономическое благополучие общества во все большей степени зависит от объема знаний и информации в данном обществе. В первую очередь в связи с формирующейся наукоемкой экономикой (ср. Stehr, 2001) корреляция между знанием и экономическим

успехом как на индивидуальном, так и на коллективном уровне становится еще теснее, чем в прошлые периоды истории (см. Weede, Kämpf, 2002).

Поскольку в современных экономических системах к традиционным, но в значительной степени исчерпанным факторам производства — земле, труду и капиталу — добавляется новый фактор — знание, значение традиционных факторов, разумеется, уменьшается, тогда как экономическая значимость знаний и информации существенно возрастает. В этой связи сам собой напрашивается вывод, уже неоднократно сделанный ОЭСР и другими наблюдателями современной экономики, что «самыми эффективными из современных экономических систем будут те, которые будут производить наибольший объем информации и знаний, а также обеспечивать доступность этой информации и знаний для максимального количества индивидов и предприятий» (Schleicher, 2006: 4). И, как аргументирует далее Шляйхер, существуют убедительные эмпирические доказательства того, что «страны и континенты, вкладывающие большие средства в образование и профессиональные навыки, получают как экономическую, так и социальную выгоду от своего выбора. За каждое евро, вложенное в приобретение высокой квалификации, налогоплательщики получают большую сумму благодаря экономическому росту» (Schleicher, 2006: 4).

В то время как имеющиеся научные знания о значении инвестиций в образование для современной экономики подтверждают выдвинутые гипотезы, однозначных эмпирических подтверждений того, что экономическое благосостояние способствует повышению индивидуального и коллективного уровня знаний, информированности и образования, напротив, нет. На самом деле этот аспект взаимосвязи благосостояния и знания редко становится предметом исследований, так как многим представляется очевидным, что высокий уровень благосостояния является одним из важнейших двигателей роста коллективного знания. Поэтому, если мы хотим взглянуть на данную проблему с критической точки зрения, следует поставить вопрос о том, каким образом различаются экономические условия и компетентность, знание и информация в их

потенциальной роли основы демократического режима. Так, например, необходимо прояснить значение разных временных масштабов: знание как экономический ресурс в определенных обстоятельствах быстро девальвируется, экономическое благосостояние также постоянно трансформируется с течением времени и поэтому не может выступать в качестве стабильного ресурса для производства новых знаний.

Подводя итоги, следует отметить, что продолжавшийся уже более столетия теоретический и эмпирический поиск убедительных доказательств того, что демократия способствует экономическому процветанию, или однозначных подтверждений в целом общепризнанного тезиса о преимуществах демократической системы для экономики страны, до сих пор не увенчался успехом. Существует слишком много примеров стран, где экономика достигла высокого уровня развития, но в то же время граждане обладают лишь незначительными свободами, а также демократических государств, экономические достижения которых отстают от достижений автократических обществ. Это, впрочем, совершенно не означает, что тезис о значении экономической системы для демократии и, наоборот, о значении демократии для экономического процветания не обладал значительным весом в научной дискуссии и идеологической притягательностью на протяжении долгого времени. Кроме того, нельзя забывать, что пути развития разных стран, несмотря на такие универсальные понятия, как индустриальные или постиндустриальные общества, очень различны. За общими понятиями, призванными описывать типы обществ, скрывается множество исторических особенностей общественных трансформаций.

Если тезис о свободе как о дочери знания находится, казалось бы, в непримиримом противоречии с утверждением о том, что на самом деле главными катализаторами утверждения свобод в обществе являются характер и достижения экономики страны, возможная структурная близость науки как организации и ее основополагающих нормативных идей, очевидно, гораздо вероятнее объясняется соотнесенностью с демократическими процессами. Поэтому в следующей части моей работы я анализирую

не только тезис о значении социальной организации науки как образца для политической системы, но и предположение о том, что научные познания изначально обладают антиавторитарными признаками (см., например: Elias, 1984: 262; Schmitt, 1984: 125). Что, однако, остается за рамками такой обобщенной характеристики, так это тот факт, что научные знания неоднородны, и поэтому без ответа остается критический вопрос о том, какие именно формы реально существующих научных познаний здесь имеются в виду.

4. Scientia est libertas

... Крайне желательно, а в определенных условиях и возможно, чтобы все люди стали учеными по своим убеждениям <...> Это желательно потому, что подобные убеждения образуют единственную безусловную альтернативу предрассудкам, догмам, авторитарности и принуждения, оказываемого в чьих-то особых интересах.

Джон Дьюи (Dewey, [1938] 1955: 38)

Социальные науки, как правило, не ограничивают личную свободу, а, наоборот, расширяют пространство свободного выбора, разъясняя рациональные альтернативы.

Дэниел Лернер (Lerner, 1959: 31)

Если провести мысленный эксперимент и представить себе, что наука способна или должна служить образцом для демократии, то две важные идеи возникают в связи с вопросом о том, как именно наука или результаты научной деятельности могут выполнять эту социальную функцию. С одной стороны, есть надежда, что наука как производитель форм рациональных знаний и широкого распространения этих знаний в обществе способна быть двигателем демократии. С другой стороны, сообщество ученых есть показательная демократическая организация и уже по одной этой причине может служить образцом для всего общества в целом, поддерживая процессы демократизации. Наконец, нельзя недооценивать аргументы, в которых утверждается идейное родство между эпистемологическими тезисами, научными познаниями и нравственной организацией науки, и именно это соединение

морали и результата научной работы рассматривается как образец для формы государственного правления (см. Dahrendorf, [1963] 1968: 254-255). Описываемый Робертом К. Мертонем этос науки, который я хочу рассмотреть в данном разделе, отсылает именно к этой связи между моралью и результатами научного труда, которая должна служить примером при выборе формы государственного правления.

В конце цепочки влияния научных познаний на общество находится превращение граждан в ученых и носителей научных познаний, которым удастся при помощи науки вытеснить все другие, низшие, т.е. традиционные и повседневные формы знания. Впрочем, у этого процесса может быть и обратная сторона: столь всеохватная зависимость общества и политики от научных знаний может серьезным образом подорвать свободу отдельных индивидов и их способность участвовать в организации и контроле демократической власти. В одном из последующих разделов я уделю внимание подробному изложению и критическому анализу этой предполагаемой угрозы демократии со стороны растущего значения научных знаний. В любом случае критическая дистанция и двойственное отношение к общественному влиянию науки, научных познаний и технического развития — неизменно присутствующая часть рефлексивного наблюдения за наукой в рамках самых разных интеллектуальных традиций (например, марксизма, анархизма, феминизма; см. Horkheimer, [1932] 1998; Croissant, Restivo, 1995: 67–80).

Сторонники первого тезиса о выдающейся политической функции науки исходят из того, что наука сильно влияет на мышление людей, укрепляя демократические формы жизни. В этом разделе своего исследования я приведу конкретные примеры подобных визионерских убеждений.

Если система науки может считаться примером демократической организации, где каждый ученый свободен в определении своего вклада в коллективное знание, то вполне возможно, что и демократизация общества может проходить по образцу социальной организации науки и ее поведенческих норм. Этим ожиданиям, однако, противоречит не только бюрократизация современного научного процесса и, соответственно, ограниченное

индивидуальное участие отдельных акторов и небольших групп в управлении наукой, но и тот факт, что научное сообщество представляет собой в высшей степени стратифицированную социальную организацию, где сильно конкурентно-ориентированное поведение ученых и всепроникающая когнитивная дифференциация ведут к ярко выраженному неравенству, которое, возможно, и отражает разные достижения отдельных членов, однако ни в этом, ни в каком-либо другом отношении не может служить примером равноправного и равного участия всех ученых. Современное сообщество ученых, таким образом, обладает как типичными для демократии, так и враждебными по отношению к ней социальными характеристиками (ср. Salomon, 2000).

Оба этих подхода отличает уверенность в том, что наука определяет поведение и мышление членов общества. Кроме того, не так просто разделить эти две возможности влияния науки на общества, в связи с чем я в последующих разделах рассмотрю как концепции, подчеркивающие значение научных познаний для демократизации общества, так и подходы, уделяющие внимание прежде всего влиянию санкционированных наукой и практикуемых в ней демократических способов поведения.

Идеи Джона Дьюи об образцовом соотношении моделей поведения и ценностей внутри научного сообщества являются показательным примером тесного переплетения поведения и мышления, которое часто встречается в связи с осмыслением статуса и веса науки, ее социальной организации и норм, в обществе. Джон Дьюи был не только убежден в том, что здравый смысл должен стать «научным» и, соответственно, способствовать преодолению типичных характеристик обыденного мышления, в частности, стереотипов и догм; он был также убежден, что социальная организация науки сможет разрешить одну из главных дилемм современного общества, а именно создать необходимое равновесие между моделями поведения, укрепляющими (коллективное) господство, и моделями поведения, увеличивающими (индивидуальную) свободу. Согласно Дьюи (Dewey, [1936] 1939: 359), именно в науке было найдено практическое решение потенциально конфликтного отношения между авторитетом и свободой: «Несмотря на то, то наука в своем развитии зависит от свободной инициативы,

изобретения и предприимчивости отдельных исследователей, авторитет науки проистекает из и основывается на коллективной деятельности, организованной по принципу сотрудничества». Конфликт между разнонаправленными силами коллектива (господства) и индивида (свободы) в науке был успешно разрешен. Как следствие, Дьюи (Dewey, [1936] 1939: 360) рекомендует рассматривать «функционирование коллективного разума, как оно имеет место в науке», как «работающую модель соединения свободы и власти» для общества в целом. Так, например, при помощи практикуемого научным сообществом способа улаживания данного конфликта можно взять под контроль безудержный эгоистический индивидуализм, практикуемый в экономической системе. Перенос найденного в сравнительно небольшой общественной подсистеме — науке — решения проблемы соотношения свободы (перемен) и господства (стабильности) на другие сферы социального поведения не принесет обществу ничего, кроме пользы, и поможет решить главную общественную дилемму — отношение свободы и коллектива. Впрочем, несмотря на оптимистичный диагноз Дьюи в отношении успешного примирения коллективных и индивидуальных задач и притязаний в социальной организации науки, внутри нее вплоть до сегодняшнего дня наблюдаются как эгалитарные (например, «уничтожение через поглощение», см. Merton, 1995: 408–410), так и элитарные (например, «эффект Матфея», см. Merton, 1968) нормы и способы поведения.

Несмотря ни на что, представление о том, что контролирующее себя, самоуправляемое научное сообщество являет собой пример демократических норм и что знание, производимое наукой на базе демократической организационной формы, включая и результаты социальных и гуманитарных изысканий, напрямую или косвенно поддерживают демократические формы жизни, широко распространено как в науке, так и в обществе в целом. Еще одно общепринятое мнение, которое можно рассматривать как предпосылку первого убеждения, касается того, что в наши дни происходит всеохватная сциентификация общества. Как практически ориентированные институты общества, так и его политическая система, а также мир искусства, масс-медиа и литература все больше проникаются духом и особенностями мышления,

характерными для естественных наук (Brooks, 1965: 69). Это означает, что мы наблюдаем не просто реализацию утилитаристской функции научных знаний, например, в экономике, но и процесс замещения традиционных способов мышления растущим влиянием науки на жизненный мир.

Доступные и повсеместно присутствующие знания, разум и просвещение зачастую трактуются как самая эффективная сила, способная противостоять эмоциональной и идеологической притягательности недемократических форм правления, властному произволу и необоснованным обещаниям разрешить самые серьезные общественные и экономические проблемы, как, например, высокие показатели безработицы, социальный и культурный раскол общества, отказ от участия в политической жизни или недоверие по отношению к правящей политической власти.

Наибольшей поддержкой это представление о симметричности знания и демократии пользовалось в эпоху Просвещения. Многие практически проекты и политические меры этой эпохи, как, например, «универсальный язык, наглядные энциклопедии, естественнонаучные музеи, общедоступное образование и тому подобные замыслы, призванные усилить роль знания и информации в построении и организации политического мира без опоры на иерархические инстанции» (Ezrahi, 2004: 265), отличаются мировоззрение этой исторической эпохи от более ранних исторических периодов. Вопрос о том, действительно ли общие высказывания о политических и мировоззренческих добродетелях научных знаний касаются практики науки, а также последствий, который может иметь перенос формы научной работы на все общество в целом, или же они лишь служат украшению торжественных речей политиков и ученых, я более подробно рассматриваю в следующих разделах.

Пока же я сознательно воздерживаюсь от анализа обратного отношения между развитием, распространением и приростом знаний и демократией и, соответственно, влияния демократических структур общества в целом на шансы и перспективы успешного развития научного познания. То, что расцвет наук, к примеру, в XIX веке получил новые импульсы благодаря развитию демократических идей и появлению первых институтов,

управляемых в соответствии с принципами демократии, не вызывает сомнений. Поменяв местами составляющие этого тезиса, мы получим, что вопрос о значении демократии для науки всякий раз оказывается в центре критических размышлений тогда, когда возникает угроза демократии, как, например, в недавней истории со стороны тоталитарных режимов — национал-социализма, фашизма и коммунизма, чья властная сфера идеологически и фактически поглотила структуры производства научных знаний.

Однако нельзя оставить без внимания и более пессимистичную гипотезу, согласно которой способ производства научных знаний не является кооперативным и критическим, а сообщество ученых, как и любой другой крупный социальный институт, имеет олигархические черты. Если бы Роберт Михельс в своем классическом исследовании олигархических тенденций в крупных организациях, преследующих и отстаивающих демократические цели, избрал объектом исследования не демократические практики Социально-демократической партии, а практику науки, то, возможно, он пришел бы к схожим результатам.

Но даже в этом случае можно утверждать, что производство научного знания порождает социальную иерархию или даже нуждается в таковой. В науке иерархия базируется, по крайней мере, на сильно выраженном неравенстве, в котором находят отражения неизбежные различия в уровне достижений, разный доступ к исследовательской инфраструктуре, а также различный социальный и культурный капитал ученых (ср. Merton, 1968; 1988). Означает ли это, что надежда философов Просвещения, а в дальнейшем, к примеру, представителей философского прагматизма на то, что наука своим примером способна поддержать или даже породить демократические практики за пределами научного сообщества, не более чем иллюзия? Или, во всяком случае, неоправданная надежда, поскольку внутри самой науки правят эксперты, образующие олигархические структуры?¹⁹⁴ Или же ученым удалось утвердить демократические нормы и свободы внутри науки, в то время как их «отношения с внешней реальностью

¹⁹⁴ Норберт Элиас (Elias, 1984: 254) говорит об экспертах (узких специалистах в своей области) как об олигархах знания.

постепенно становились все более иерархическими и мистическими, превращаясь в отношения доминирования», как полагает, в частности, Гернот Бёме (Böhm, 1992: 53)? Безусловно, надежды Просвещения на повсеместную победу разума в ходе человеческой истории неоднократно подвергались сомнению после мировых войн прошлого столетия. Исторические события серьезно подорвали веру человека в неизбежный триумф разума и свободы.

В последующих разделах своего исследования я рассмотрю как организацию научного сообщества в ее функции примера для политической организации общества, так и тезис об усилении демократических отношений вследствие проникновения научного мышления во все сферы общественной жизни. Обратную сторону взаимодействия науки и демократии, как она отражена, в частности, в тезисе о том, что растущее влияние научно-технических знаний на политический процесс вредит демократии, лишая «невежественную» часть населения возможности политического участия, я подробно рассмотрю в отдельной главе.

4.1. Истоки и надежды науки

Великое движение за равноправие и свободу, начавшееся в эпоху Возрождения, неизменно вдохновлялось беспрецедентным эпистемологическим оптимизмом — самым оптимистичным представлением о возможности человека распознать истину и обрести знания.

Карл Поппер, (Popper, [1960] 1968: 5)

Когда философ Иоганн Готлиб Фихте (Fichte, [1794] 1959: 47) в конце XVIII века описывает модус воздействия современного его эпохе ученого на общество как «верховный надзор за подлинным развитием человечества в целом и неизменное содействие этому прогрессу», в своей лаконичной формулировке он выражает суть оптимистического восприятия практической функции ученого и науки в эпоху Возрождения. Достоинство, признаваемое Фихте за наукой, пока еще — вплоть до промышленной революции — основывалось не на ее вкладе в развитие материальной

экономики «гражданского общества», а на том влиянии, которое наука, благодаря своему методическому подходу, оказывала на культурный и политический капитал общества и, следовательно, на отношение людей друг к другу, но не к природе. За счет этого науки, в глазах многих современников, вносили выдающийся вклад в политическую трансформацию и планомерное изменение общества. Наука поставляла идеи. Знание как способность действовать в этот исторический период состояло из конкретных, политически–практических знаний или из указаний к действию в форме идей и просвещения, например, стратегий по легитимации вмешательства в ход истории, которое считалось необходимым для обеспечения уже заложенного в ней, внутреннего пути развития в значении «постоянного прогресса». Ученый «должен привить людям чувство их истинных потребностей и познакомить их со средствами их удовлетворения» (Fichte, [1974] 1959: 50). Следующий век отказывается от такого понимания общественной функции науки и начинает мыслить в категориях модерна: человек — это не только актёр, но и автор истории. Отныне к важнейшим функциям науки относится ее вклад в развитие производительных сил.

Несмотря на то, что Поппер (Popper, [1960] 1968: 8) видел в научно–теоретическом оптимизме Возрождения и более поздних теорий науки (Френсиса Бэкона и Рене Декарта) одну из исторически уникальных духовных и нравственных революций в истории человечества, тезис о том, что «люди могут знать: поэтому они свободны», по крайней мере, в такой сжатой формулировке, с точки зрения Поппера, не выдерживает критики. Дело в том, что для Карла Поппера (Popper, [1960] 1968: 29), который относил себя к либералам и восхищался способностью человека мыслить, отличающей его от животных, еще большее значение имела другая человеческая способность, а именно «пессимистичное» познание принципиального неведения человека. Конечно, мы должны стараться непрерывно получать новые знания, но в этом своем старании мы лишь узнаем, что знаем не очень много: «Это состояние узанного невежества может помочь во многих наших затруднениях. И всем нам хорошо было бы помнить о том, что, различаясь в различно малых частицах того, что мы знаем, мы все равны в нашем бесконечном неведении».

Если сообщество ученых на самом деле представляет собой данный тип социального института, если эта модель социального поведения и именно этот кластер социальных норм и ориентиров на самом деле представляют свободу в ее наилучшем проявлении, если, таким образом, образцовую культуру науки должны перенять культурные системы других, окружающих ее социальных институтов (политики, религии, образования, морали), то успешный экспорт ценностей научного сообщества начался не сразу, т. е. не с расцветом новой науки в Англии и Франции XVII века. В XVII веке наука выполняла лишь маргинальные социальные функции и была отрезана от таких важнейших социальных институтов, как школы или университеты. В начале своего пути сообщество ученых было обязано своей культурной легитимностью не вытеснению конкурирующих ценностей, а собственной «гарантии невмешательства в доминирующие институты и идеологии» (Daele, 1977: 30–31) абсолютистского общества того времени¹⁹⁵. Гернот Бёме (Böhme, 1992: 53) присоединяется к выводу ван ден Деле относительно роли ранней науки в обществе и призывает «признать тот факт, что вскоре после своего возникновения наука отделилась от общего демократического и эмансипационного движения <...> Наука как социальная структура применяла идеалы либеральной демократии главным образом внутри собственных границ, однако ее отношения с внешним миром становились все более иерархическими и мистическими; со временем они превратились в отношения господства». Тем не менее, в истории западных наук, как подчеркивает Рой Маклеод (MacLeod, 1997: 369), «риторическая связь науки с силами разума, регулирования, либерализма и индивидуальной свободой» чрезвычайно сильна. Эта связь между наукой и демократическими ценностями, однако, очень скоро подверглась строгой критике.

Вполне ожидаемое наблюдение о том, что в начале своего пути наука не транслировала свои ценности напрямую в другие сферы общества, впрочем, ни в коем случае не означает, что эти ценно-

¹⁹⁵ Единственный интеллектуальный контекст, «от которого институционализированная наука не отгораживалась, составляли "полезные искусства", т.е. технология» (Daele, 1977: 31).

сти не совпадали с тем, что позднее стали описывать при помощи метафоры «*Scientia est libertas*». Какими же были эти ценности и познавательные цели, определявшие представления основателей современной науки о научной работе?

4.2. Наука как модель для демократии

В литературе часто можно встретить поддерживаемое многими представление о том, что научное сообщество не только организовано по образцу определенных характеристик демократической политической системы, но и функционирует по аналогии с принципами свободной либеральной экономики. Так, например, Майкл Полани (Polanyi, [1962] 2000) подчеркивает, что социальная организация «научной республики» соответствует модели свободного общества, объединяющего независимых ученых для добровольного сотрудничества и соревнования¹⁹⁶. Социальная координация деятельности ученых происходит за счет взаимного последовательного приспособления к результатам исследования, полученным независимыми представителями научного сообщества. Так как координация экономических действий представляет собой лишь частный случай общего (или высшего) принципа координации социальных действий через взаимное приспособление, данный процесс, по аналогии с «невидимой рукой» рынка и до тех пор, пока функционирует эта самоорганизующаяся координация (включая оценку и рейтинг) научной работы, приводит к наиболее эффективной организации научного прогресса (Polanyi, [1962] 2000: 3). В то же время как эпистемологические, так и социальные нормы науки (интеллектуальная прозрачность, солидарное поведение, направленное на решение проблемы, или организованный скептицизм по отношению к авторитетам) можно назвать ценностями, которые должны определять и поведение в демократическом обществе. Если перенести или экстраполировать сущностные нормативные характеристики научной

¹⁹⁶ Впрочем, собственное видение научной республики у Майкла Полани изобилует противоречиями, поскольку он исключает науку из принципов свободы и демократии (критику этих противоречий см. в: Jarvie, 2001).

республики на общество в целом, то возникающее в данном случае «свободное общество» (общество открывателей) гарантирует неограниченное стремление к индивидуальному самосовершенствованию (*excellence*), без каких-либо коллективно одобренных или разрешенных предписаний, в попытке воплотить в жизнь широкий спектр истины.

Более принципиальное значение имеет вопрос, который еще только предстоит задать: может ли наука, если она следует демократическим принципам, служить образцом для политической системы общества, и открыта ли вообще наука для демократических правил и моделей поведения? Разные исследователи, разумеется, дают разные ответы на эти вопросы. Оптимисты, верящие в образцовую функцию науки, как правило, относятся к эпохе, когда занятие наукой сильно отличалось от социальных и политических отношений. Разумеется, за последние десятилетия научное сообщество сильно увеличилось, однако гораздо важнее в данном контексте роль науки и технологии как двигателя экономического развития. В своих размышлениях о противоречии планирование и свободы, высказанных непосредственно после войны, философ Чарльз Моррис выражает уверенность в том, что научные методы «будут теми методами, при помощи которых открытое общество улучшит и исправит свои существующие институты». Что касается второй части нашего вопроса, то современный ответ Даниэля Гринберга (Greenberg, 2001: 207), напротив, отличается горьким пессимизмом: «Печальная, недемократическая правда заключается в том, что наука в США и других странах мира процветает в полном отрыве от общественного понимания сущности науки, относительных приоритетов внутри ее областей и особенностей научной политики». В своем исследовании о современной науке и обществе Даниэл Гринберг (Greenberg, 2001: 331) цитирует лауреата Нобелевской премии Кэри Муллиса: «Возможно, самый важный шаг в развитии науки XX века заключался в том, что экономика заменила любопытство в роли движущей силы исследований». Во многих областях науки исследования не только очень дорогостоящие — в академической среде они в принципе возможны только при поддержке государства, фондов или частных корпораций.

4.3. Научный этос и демократия¹⁹⁷

Сформулированный Робертом К. Мертоном этос науки (Merton, [1942] 1985: 87), или, если использовать его терминологию, «комплекс культурных ценностей и поведенческих правил», был опубликован в тот исторический период, когда многие ученые и интеллектуалы по понятным причинам ощущали угрозу науке со стороны тоталитарных политических режимов левого или правого крыла (Boas, 1938; Turner, 2007). Кроме того, автономии науки угрожали, в зависимости от общественной формации, различные острые культурные конфликты (ср. Hollinger, 1995: 443–444; [1983] 1996). Мертон (Merton, [1942] 1985: 86) исключает разночтения в отношении повода, побудившего его написать это эссе: «Угроза и фактические нападки на неприкосновенность науки недвусмысленно показали ученым, что они зависят от наличия общественных структур совершенно особого рода». Как аргументирует далее Мертон (Merton, [1942] 1985: 87), эти конфликты в то же время способствуют прояснению и укреплению этоса науки. И хотя явление научной работы не ограничивается демократическими обществами, для многих, наверное, очевидно, что наука более продуктивна в том случае, если она достигла определенного уровня автономии и защищена от политических нападков и мелочной ревности (ср. Merton, [1938] 1973: 254–258). Нас в данном контексте интересует вопрос о том, поддерживают ли институциональные нормы, объединенные Мертоном в этос науки, демократию, например, в значении общественных норм, усиливающих «контексты демократических институтов и культуры, способствующие внедрению инноваций и основанные на обучении» (Ober, 2010: 38).

Мертон (Merton, [1942] 1985: 88) описывает этос науки как ее «культурную структуру», как «аффективно окрашенный комплекс ценностей и норм, считающийся обязательным для человека науки. Нормы выражаются в форме предписаний, запрещений, предпочтений и разрешений. Они легитимируются

¹⁹⁷ Отчасти этот раздел основывается на моей работе (Stehr, 1978), в которой я даю критический обзор мертоновских норм науки.

в терминах институциональных ценностей. Эти императивы, передаваемые наставлением и примером и поддерживаемые санкциями, в различных степенях интернализируются учёным <...>. Хотя этос науки не кодифицирован, его можно вывести из того морального консенсуса ученых, который находит выражение в обычной научной практике, в бесчисленных произведениях научного духа и в моральном негодовании, направленном на нарушения этого этоса».

Мертон выделяет четыре основополагающих для научного сообщества нравственных императива, которые, в свою очередь, образуют основу для социальных отношений внутри науки и профессиональной идентичности отдельных ученых и, следовательно, являются сущностными элементами социально-культурной структуры науки:

1. Универсализм предписывает проверку притязаний на истинность на основании «заранее обусловленных, безличных критериев», вне зависимости от «индивидуальных или социальных признаков» ученых (Merton, [1942] 1985: 90), а также сопряженность карьерных шансов с достижениями и компетентностью. При этом важно отметить, что речь идет о нормативном требовании, т.е. о таком положении вещей, к которому следует стремиться, но не всегда об описании реальной научной практики).
2. «Коммунизм» описывает «коммунальный» (публичный) характер научного знания, ограниченные «права» авторов и разработчиков на признание и уважение и, соответственно, аномальный характер интеллектуальной собственности в науке, а также императив не утаивать знание и институциональную цель расширения познаний, усиленную стимулом «получить признание в глазах других, что, разумеется, возможно лишь на основании публикаций» (Merton, [1942] 1985: 94).
3. Бескорыстность — нравственный императив на институциональном уровне науки — говорит сама за себя и указывает на четкую структуру контроля за частными мотивами ученых.
4. Организованный скептицизм — это «одновременно и методологическая, и институциональная норма» (Merton, [1942]

1985: 99). Притязания знаний на истинность не должны приниматься без беспристрастной (социально организованной) проверки, осуществляемой с отсылкой на технические нормы науки.

Помимо этого Мертон (Merton, [1942] 1973: 269–270) указывает на определенные технические (или методологические) нормы, сертифицированные познания (институциональную цель науки), институциональные нормы и другие составляющие научной культуры. К нормам научной деятельности относятся также «индивидуализм» и «рациональность» (Barber, 1952: 86–90; Barnes, Dolby, 1970: 9), «объективность» и «обобщение» и разные другие термины, предлагаемые в качестве элементов этоса науки. Как правило, эти дополнительные нормы вполне совместимы с изначальной мертоновской концепцией этоса науки.

Еще одна упомянутая Мертоном норма (Merton, [1957] 1973: 294) касается «акцента на оригинальности на институциональном уровне» науки. В том же эссе норма оригинальности противостоит норме скромности и создает почву для нормативного конфликта (Merton, [1957] 1973: 303, 305; ср. также Merton, 1976).

В этой связи многие критики обращают внимание на то, что наука как социальный институт, в отличие от любых других социальных институтов, характеризуется потенциально несовместимыми нормативными требованиями (нормами и антинормами)¹⁹⁸. Если потенциально противоречивые нормы не «секционировать» (Deutscher, 1972), они могут породить подлинную «амбивалентность», например, в отношении притязаний на приоритет в ситуации одновременных, не зависящих друг от друга открытий. Впрочем, в итоге Мертон обращает внимание на то, что существует сравнительно немного эмпирических примеров разной реакции на определенные нормы науки (Merton, [1957] 1973: 321) и подчеркивает применимость своей теории социальной структуры и аномии в том числе и к науке как к институту (Merton, [1957] 1973: 308, прим. 51).

¹⁹⁸ Объяснение социально–структурных предпосылок и последствий норм и антинорм в социальных организациях см. в: Merton, 1976.

Четыре главных нравственных императива науки — не просто нравственные принципы. Эти нормы представляют собой различные возможности влияния на когнитивное развитие науки, так как, согласно Мертону (Merton, [1942] 1985: 89–90), «поведенческие правила в науке имеют также методологическую основу, однако обязательными они являются не только в силу их процедурной эффективности, но еще и потому, что научное сообщество считает их правильными и хорошими». Никлас Луман (Luhmann, 1969, 1970) с точки зрения своей системной теории описал функциональную необходимость социальных механизмов, действующих в науке как механизмы познания. Отсюда можно заключить, что между нравственными императивами и прогрессом научного знания должна существовать однозначная корреляция. Мертон (Merton, [1942] 1985: 90) также подчеркивает: «Объективность исключает какой-либо партикуляризм. То обстоятельство, что научно верифицированные формулировки указывают на объективные последовательности и корреляции, препятствует всяким попыткам навязать партикуляристские критерии достоверности». Другими словами, эти нормы регулируют не только поведение или социальные отношения членов научного сообщества, но и способствуют приближению к институциональной цели науки — расширению верифицированного знания.

Обсуждение мертоновской концепции научного этоса, как правило, вращается вокруг вопроса о том, соблюдаются ли фактически эти нормы внутри научного сообщества. Критики Мертона выражают сомнение в том, что выделенные им нормы на самом деле определяют поведение и действия ученых, и по этой причине считают их неважными. Сторонники концепции Мертона, напротив, убеждены, что эти нормы помогают понять, как функционирует наука. Рагнвальд Каллеберг (Kalleberg, 2007), к примеру, полагает, что ранний мертоновский анализ этоса науки стал даже более значимым в силу прогрессирующей коммерциализации научных исследований, поскольку на современном этапе развития науки основополагающие нормы, как, например, норма непредвзятости, нарушаются.

Тот факт, что тщательно проработанное Мертоном в одном из эссе 1942 года¹⁹⁹ «научное» объяснение²⁰⁰ этики науки изначально носило меткий заголовок «Мысли о науке и демократии», которое, без каких-либо подробных указаний на это, разумеется, относилось к современному социально-историческому и интеллектуальному контексту, пожалуй, объясняет, почему в последующие годы и десятилетия обсуждения мертоновских идей часто приводили к внеконтекстным дискуссиям. В работе Мертона, опубликованной в самый разгар второй мировой войны и по прошествии почти десяти лет после прихода нацистов к власти, а также установления авторитарных режимов в других странах, высказывается распространенное на тот момент убеждение, что наука и демократия поддерживают друг друга и что господствующие тоталитарные режимы представляют угрозу для науки.

Значение науки для общества и, соответственно, духовное родство науки и демократии можно объяснить однонаправленностью этоса науки и нравственных основ демократии. Так, например, норма универсализма теснейшим образом связана с безличным характером научного сообщества; более того, целесообразность здесь тождественна морали (Merton, [1942] 1985: 92). И, как подчеркивает далее Мертон (Merton, 1968: 588) в связи с социальной

¹⁹⁹ Впервые статья Мертона была опубликована в первом номере нового научного «Журнала социологии права и политики», который издавал французский эмигрант, социолог знания Жорж Гурвич. Более поздняя редакция носила название «Этос науки» (см., например: Merton, [1942] 1996). Для последующих изданий автор практически ничего не менял в тексте. Вот к какому выводу приходит Рагнвальд Каллеберг в своей статье «Этос науки и этос демократии» (Kalleberg, 2010): «История вокруг названий несколько более запутанная. Название, напечатанное на первой странице статьи в 1942 году, звучит как "Заметки о науке и демократии". Однако в оглавлении этого первого выпуска журнала Мертона озаглавлена как "Заметки о науке и технологии в условиях демократического режима", и именно на это изначальное название как Мертон ссылался в переизданиях».

²⁰⁰ Характеристика конструируемого Мертоном нарратива как «научного» должна привлечь внимание читателей на тот факт, что автор воздерживается от четких сведений о биографическом и социальном контексте, который можно было бы рассматривать как повод для его наблюдений (см. также: Stehr, Meja, 1998).

нормой универсализма, «предполагается, что этос науки как социального института включает в себя универсальные критерии научной обоснованности и ценности, а, значит, включает в себя ценности, легко совместимые с ценностями свободного общества, где значение имеют способности и достижения человека, а не приписанный статус или происхождение». Поэтому «этос демократии <...> тоже включает в себя универсализм как важный принцип. Демократизация означает последовательное устранение препятствий, мешающих реализации и раскрытию высоко ценимых в обществе способностей. Безличные, ориентированные на результат критерии вместо констатаций статуса характеризуют открытое, демократическое общество» (Merton, [1942] 1985: 93). Норма организованного скептицизма поддерживает демократические отношения еще в одном отношении, ибо «ставящий все под сомнение научный скептицизм препятствует навязыванию новой комбинации ценностей, требующей беспрекословного принятия» (Merton, [1936] 1973: 257).

Угроза институциональной автономии науки в тоталитарных режимах символизирует утрату одного из важных атрибутов демократии, а именно свободу от вмешательства более могущественного института — государства. Когда «происходит сдвиг от предыдущей структуры, где ограниченные локализации власти присутствуют в различных сферах человеческой деятельности, к структуре, где существует лишь одна централизованная локализация власти над всеми фазами поведения» (Merton, [1938] 1973: 259), научно-философские и моральные представления науки приходят в конфликт с внешними, отныне более могущественными властными инстанциями. В либеральном обществе социальная интеграция представляет собой прежде всего функцию «набора культурных норм, на которые ориентирована человеческая активность. В рамках авторитарной структуры интеграция осуществляется главным образом за счет формальной организации и централизации социального контроля» (Merton, [1938] 1973: 265). В результате стираются границы функциональной дифференциации.

Несмотря на то, что Мертон открыто говорит о духовном родстве между этосом демократии и этосом науки, он не разрабатывает

подробной концепции взаимосвязи между нравственными основами науки и государственного устройства. По всей видимости, Мертон полагает, что мораль в одной сфере подталкивает к моральному поведению в другой. В результате взаимосвязь между этосом науки и демократии превращается в своего рода самовосхваление. Мертон сосредотачивается на описании норм этоса науки, но при этом не уделяет внимания разработке теоретической перспективы, которая учитывала бы хрупкость и напряженность взаимосвязи между нормами науки и политической практики в целом, а также того способа, каким индивиды и группы в своих конфликтах могут извлечь выгоду из духовной близости научной практики и политических действий.

4.4. Совместимы ли (научное) познание и демократия?

Будучи ученым, я не могу не быть демократом, ибо реализовать требования, вытекающие из законов природы и природы человека, можно только в демократическом государстве.

Рудольф Вирхов (Virchow, [1848], 1907)

Во время революции 1848/1849 года в Германии Рудольф Вирхов — известный врач, антрополог, биолог и политик — в одном из писем родителям подтверждает свою глубокую убежденность в том, что между наукой и демократией существует тесная и, возможно, даже эссенциальная взаимосвязь. Во взглядах Вирхова отразились представления философов Просвещения о том, что знания обладают освобождающей функцией и способствуют утверждению свободы и автономии в обществе. Идея о том, что прогресс знания служит гражданскому и культурному прогрессу, в те времена воспринималась как самоочевидная. Следует, однако, упомянуть, что отождествление знания, науки и прогресса подвергалось сомнению не только в последнее время. Вплоть до эпохи философа Френсиса Бэкона (1561–1626), приложившего немало усилий для того, чтобы общество признало эту формулу равенства прогресса и познания, она не пользовалась

особой популярностью. Бэкон прекрасно понимал, что приравнение прогресса в науке к прогрессу в обществе не может восприниматься как само собой разумеющееся, а должно прежде всего найти отклик среди представителей правящего класса. В эпоху античности идеи прогресса не было как таковой. В средние века прогресс человеческого общества никак не связывали с возникновением мирских наук и не считали один результатом другого.

Если же мы хотим назвать дату или решающие исторические события, предопределившие начало постепенного упадка всеобщей веры в науку, то мы неизбежно придем к так называемому ядерному веку, но не к моменту сбрасывания атомных бомб на японские города Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, а к разработке ядерной энергии и к первым протестам в 1950–х годах²⁰¹.

Политическая дискуссия о «моральном» статусе ядерных исследований дала повод Джону Дьюи (Dewey, [1927] 1954: 231) в написанном в июле 1946 года послесловии к переизданию его книги «Общественность и ее проблемы» обратить внимание читателей на то, что, хотя определенные «аспекты моральной проблемы статуса физической науки существовали уже давно», все же «... последствия физических исследований <...> не привлекали такого сильного внимания, чтобы практика и статус науки оказались в фокусе политического внимания. Применение этих наук для наращивания разрушительной силы войны поставило этот поразительно очевидный вопрос в связи с расщеплением атома, так что теперь мы решаем его в политической плоскости».

Внешним поводом для защиты автономии науки и научных идей в прошедшие несколько десятилетий явились периодические нападки на свободу науки, которую отстаивали как надежный оплот, позволяющий противостоять «реакционным козням», в частности, в публичных дебатах вокруг попыток законодательной

²⁰¹ Именно поэтому Роберт К. Мертон в предисловии к книге Барбера «Наука и социальный порядок» (Barber, 1952) подчеркивает: «Взрыв над Хиросимой и ядерные испытания имели побочный эффект, пробудив уснувшее беспокойство общественности по поводу науки. Многие люди, воспринимавшие науку как данность, за исключением тех случаев, когда они поражались "чудесам науки", были встревожены и напуганы этой демонстрацией разрушительной силой человека».

власти США в 1920–е годы запретить теорию эволюции, а также существование и растущее значение авторитарных политических систем, враждебных свободной науке. Сторонники теории эволюции полагали, что научные познания в целом следует применять для активного воздействия на общественное мнение и для сопротивления живучим, широко распространенным «традиционным лжеучениям». Так, например, выдвигались требования, чтобы Ассоциация содействия развитию науки взяла на себя ответственность за тех невежественных граждан, которые, к всеобщему сожалению, обладают политическим влиянием: «Научное знание в самом широком смысле должно стать неотъемлемой частью образования, с самого первого до последнего его этапа» (Robinson, 1923: vii). В наши дни, в особенности в Соединенных Штатах, также время от времени вспыхивают общественные дебаты о роли эволюционной теории в учебных планах государственных школ, и тогда ученые снова оказываются по разные стороны баррикад. При этом некоторые ученые, чувствуя себя ответственными за так называемый «интеллектуальный дизайн» нашего мира, высказывают требование сформировать инклюзивную образовательную программу, включающую не только учение Дарвина.

Ниже я кратко рассмотрю концепцию одного из наиболее известных представителей этого подхода, а именно философа и теоретика науки Пола Фейерабенда (Feyerabend, [1978] 1980: 123–133). Предостережения и требования, выдвинутые Фейерабендом имеют значение для моей аргументации относительно взаимосвязи между демократией и научными познаниями, с одной стороны, и социальным устройством науки как общественной системы, с другой, поскольку они прежде всего обращают внимание на угрозу доминирования (консенсуальных) научных знаний в обществе и, следовательно, опасность подавления конкурирующих идей, или, другими словами, на отсутствие какой-либо толерантности по отношению к взглядам, идущим вразрез с господствующими воззрениями, а также на угрозу демократии и ее сущностным ценностям в ситуации доминирования науки.

Если в качестве определяющей и, следовательно, не зависящей от времени характеристики идеально функционирующей демократии считать наличие «адекватного плюрализма»

конфликтующих доктрин (Rawls, 1997: 765–766) и одновременно полагать, что процесс познания в науке, напротив, стремится не столько к сосуществованию идей, основанному на взаимной толерантности, сколько к консенсусу, вопрос о совместимости научных знаний и демократии встает под другим углом. Однако многообразие нестыковок и противоречий между научными знаниями и демократическими обществами не сводится к этому формальному различению знания, принуждающего к консенсусу, и демократическими нормами, требующими плюрализма идей. Существуют и другие, более специфические аспекты этой напряженности.

Еще один характерный источник конфликтов обнаруживается, если, вслед за Полом Фейерабендом (Feyerabend, [1975] 2006: 365), видеть в современных науках не что иное, как прибежище идеологии: наука — одна из многих идеологий, влияющих на общества, и именно так ее следует трактовать и соответствующим образом с ней обращаться. На протяжении некоторого времени и в первую очередь в XVII–XVIII веках наука находилась в авангарде интеллектуальной борьбы за освобождение от авторитаризма и суеверия. Однако сегодня, как констатирует Фейерабенд (Feyerabend, [1975] 2006: 360), наука выродилась в идеологию, напичканную неприкосновенными репрессивными истинами, устойчивыми к критике и напоминающими, скорее, практики индоктринации: «Наука сегодня стала столь же деспотичной, как и те идеологии, с которыми ей некогда приходилось сражаться». Практика современной науки, по мнению Фейерабенда, ограничивает свободу мысли и, следовательно, приходит в противоречие с тем, что составляет одну из сущностных характеристик демократии — мирным сосуществованием разных идейных констелляций. Внутри общества существует идеологическое давление, ограничивающее формы знания, произведенные не наукой. Вывод, который можно сделать из особого господствующего положения, которое отводится в обществе науке, заключается, по мнению Фейерабенда, в необходимости разделения науки и государства в интересах демократии и свободы, в первую очередь в отношении государственного образования. С другой стороны, к источникам социальных конфликтов относятся последствия определенных, противоречащих устоявшимся ценностным представлениям

научных знаний или последствия новых технических артефактов, воспринимаемые членами общества как угроза.

В отличие от них, научные познания трактуются как этапы постепенного разрешения общественных конфликтов, поскольку происходящие в науке процессы обсуждения, аргументации и поиска компромисса помогают преодолеть расхождения интересов и усилить солидарность, делают возможным взаимопонимание среди членов одного общества и поддерживают легитимность политических решений. В данном контексте я имею в виду роль научных знаний как рациональной, по мнению многих, помощи политикам. Научные знания, согласно такого рода убеждениям, ведут к правильным решениям.

Еще один конструктивный аспект взаимосвязи между научными знаниями и демократией обнаруживается в том случае, если косвенным результатом науки — или, более того, ее основной функцией — считать определенные блага, вытекающие из научной деятельности для всего общества, как, например, материальное благосостояние, здоровье, безопасность, образование и так далее. Об этих и других спорных вопросах относительно роли и последствий научного знания более подробно речь пойдет в следующем разделе.

Пока же я хотел бы обратиться к «эпистемическим установкам» (см. Uebel, 2004: 47) Венского кружка. Венский кружок объединял ученых, прославившихся в период после первой мировой войны благодаря разработке научного миропонимания. Научное миропонимание Венского кружка основывается на ином представлении или на ином, не метафизическом понятии научного знания. Практическое значение этого понятия стало понятно лишь в борьбе за демократическое устройство общества.

4.5. Венский кружок

В 1920–е годы вопрос идеального устройства нового, свободного и равноправного общества зазвучал с новой силой. Среди конкурирующих проектов этого утопического устройства выделяется утопия Венского кружка. В идеях его членов, возникновение которых многим обязано традиции Просвещения, как

подчеркивает Элизабет Немет (Nemeth, 1994: 114), «наука сама становится местом утопии». От науки ожидается, что она проникнет не только во все формы познания, но и во все сферы жизни. Научные познания не только просвещают, но и определяют решения, выходящие за рамки жизненного мира.

В моем кратком рассмотрении я уделю особе внимание философским и политическим взглядам Венского кружка, оставив за рамками представления отдельных его членов о систематическом единстве науки. Кроме того, я попытаюсь избежать того, что в критических отзывах современных комментаторов нередко превращается в карикатуру на философские и политические взгляды членов Венского кружка, которых изображают как консервативных поборников статус-кво или радикально-позитивистской активности или как сторонников технократического подхода к политическому управлению (см., например: Marcuse, [1964] 1989; Habermas, 1968). Отстаиваемые членами Венского кружка философские и политические взгляды не были однородными (ср. O'Neill, 1999; Ibarra, Mormann, 2003). На самом деле ими было разработано множество сильно различающихся между собой научно-теоретических и политических подходов. Я уделю внимание прежде всего взглядам Отто Нейрата. Нейрат, как и остальные члены Венского кружка, был поборником просвещения и социальным реформатором, для которого общественный контекст науки имел большое значение. Поэтому неудивительно, что красной нитью через все его многообразное творчество проходит стремление разработать понятие познания, служащего инструментом эмансипации (Cartwright, Cat, Fleck, Uebel, 1996: 89–95).

В своем анализе я также непосредственно рассмотрю те идеи философии науки, благодаря которым Венский кружок приобрел широкую известность как в начале, так и в последующие периоды своего существования, а именно его антиметафизическую позицию. Если следовать аргументации членов Венского кружка, то метафизические предложения представляют собой гипотезы, якобы основанные на фактах, на самом же деле относящиеся к сферам или областям, не доступным для опыта. С метафизическими предложениями невозможно работать при помощи логико-эмпирических методов, применяемых

в различных научных дисциплинах, и поэтому они также не могут генерировать новое знание²⁰². В опубликованном в 1929 году Манифесте «Научное миропонимание» (Verein Ernst Mach, [1929] 1981), авторами которого были, по всей вероятности, Отто Нейрат, Ханс Хан и Рудольф Карнап (см. также Neurath, [1930/1931] 1994)²⁰³, эта позиция сформулирована предельно четко.

Однако чтобы прояснить само понятие научного миропонимания, следует обратиться к статье 1930–31-го года, которая под заголовком «Пути научного миропонимания» была опубликована в журнале «Познание». В этой статье Отто Нейрат (Neurath, [1930/1931] 1994: 107) объясняет, почему для проекта Венского кружка было выбрано именно это, а не общепринятое понятие научного мировоззрения: «Если говорят о научном миропонимании в противоположность философскому мировоззрению, то под "миром" имеют в виду не некое законченное целое, но постоянно растущую область науки». Опираясь на постулаты современной ему социологии знания, Нейрат подчеркивает, что развитие в направлении мышления в духе научного миропонимания тесно связано с конкретными социальными изменениями: «Наше мышление представляет собой орудие, которое зависит от социальных и исторических условий ... Наши сегодняшние идеи мы противопоставляем более ранним идеям, однако у нас нет возможности оценить и те, и другие с какой-то внешней точки зрения» (Neurath, [1930/1931] 1994: 123). В то же время Нейрат (Neurath, [1930/1931: 125] самокритично обращает внимание на то, что и научное миропонимание, как и любое человеческое мышление, ограничено и привязано к социальному контексту.

²⁰² В контексте философии имеются в виду метафизические системы, представленные в сочинениях Гегеля, Бергсона и Хайдеггера.

²⁰³ Нейрата, Хана и Карнапа впоследствии причисляли к «левому крылу» Венского кружка, причем не только по причине их активной поддержки Венских социал-демократов, но и потому, что с разработанным ими научным миропониманием они связывали также определенные социально-политические цели (см. Nemeth, 1994: 116; Reisch, 2005). После поражения рабочего восстания в Вене в феврале 1934 года полиция внесла «Союз Эрнста Маха» в список запрещенных организаций вследствие его близости к социал-демократической партии.

Чего мы можем ожидать от научного миропонимания на материалистической основе? Предвидеть это невозможно, ибо в принципе предвидеть мы можем лишь ближайшее будущее: «Планомерная совокупная умственная деятельность возможна, пожалуй, лишь в планомерно организованном обществе, которое при помощи земных средств в условиях строгого и сознательного контроля обустройства жизненного порядка, стремясь достичь земного счастья» (Neurath, [1930/1931] 1994: 124). В этой фразе отчетливо читается скептическое отношение Нейрата к плановому обществу, принципы которого неизбежно вступают в противоречие с политическими и прочими свободами.

Несколько лет спустя, радикализовав свои научно-теоретические воззрения, Отто Нейрат (Neurath, 1931: 393) подчеркивал, что так называемый «Венский кружок научного миропонимания» правильнее было бы назвать «Венским кружком физикализма», поскольку «"мир" — это понятие, которого нет в научном языке, и миропонимание часто путают с мировоззрением».

Авторы Манифеста 1929 года подталкивают читателя к двум выводам: с одной стороны, социальные изменения приводят «к духовным переворотам» (Neurath, [1930/31] 1994: 124)²⁰⁴, с другой стороны, интеллектуальные орудия враждебной по отношению к метафизике научной практики становятся практически эффективными инструментами «рационального переустройства общественного и экономического порядка» (Verein Ernst Mach, [1929] 1981: 304). Ориентированная на эмпирическое и позитивистское познание научная практика Венского кружка, по утверждению его членов, обращена как к истории, так и к современности (Verein Ernst Mach, [1929] 1981: 314). Логический, объективный эмпиризм и политические прожекты не противоречат друг другу. Наоборот, единство эмпирико-логических наук выступает в качестве средства единых социально-политических действий.

Очерченный участниками Венского кружка путь развития, где социально-политическое мировоззрение сближается с научным

²⁰⁴ В своих собственных работах Нейрат еще более подробно и последовательно опровергает идею о том, что научная практика представляет собой нечто вроде экстерриториальной сферы деятельности на территории общества.

пониманием, является, если быть более точным, результатом дальнейшего развития современного производственного процесса, который в возрастающей степени опирается на технологии и оставляет все меньше места для метафизических идей (Verein Ernst Mach, [1929] 1981: 314). Однако сближение науки и общественного устройства также тесно связано с «разочарованием широких масс в позиции тех, кто утверждает истинность устаревших метафизических и теологических учений <...> В результате во многих странах в наши дни широкие массы населения более осознанно, чем когда-либо прежде, отвергают эти учения и склоняются к более приземленным, эмпирическим воззрениям вкупе со связанными с ними социалистическими взглядами» (Verein Ernst Mach, [1929] 1981: 314–315).

Стало быть, несмотря на предвосхищение конфликтов и политических трудностей, члены Венского кружка исполнены надежд, что их понятие знания и соответствующая форма «рациональной» научной практики как инструмента планирования и рационализации в целях обеспечения широких возможностей организации общества и свобод взаимно обуславливают друг друга и, в конечном итоге, будут в значительной мере реализованы на практике. Первые признаки этой реализации можно наблюдать уже сегодня: «Мы становимся свидетелями того, как дух научного мировоззрения все больше и больше проникает в формы частной и общественной жизни, преподавания, воспитания, архитектуры, помогая организовывать хозяйственную и социальную жизнь в соответствии с рациональными принципами. Научное миропонимание служит жизни, а жизнь усваивает научное миропонимание» (Verein Ernst Mach, [1929] 1981: 315)²⁰⁵.

Для участников Венского кружка наука и общественные трансформации — неразлучные партнеры на пути в прогрессивное будущее. В этом будущем «земная», реалистичная наука — партнер и гарант свободы. Так, Эрнест Нагель (Nagel, 1936: 9) рассказывает о путешествии в европейские центры

²⁰⁵ Так, например, Питер Гэлисон (Galison, 1990) исследовал интеллектуальное родство движения «Баухаус» в Дессау и Венского кружка.

аналитической философии. Он описывает посещение лекций и семинаров Морица Шлика в Вене. Именно на занятиях в Вене Нагелю становятся понятны «ненаучные» мотивы и импульсы, вызвавшие общественный резонанс в связи с деятельностью Венского кружка: «Аналитическая философия, с формальной точки зрения, этически нейтральна. Преподаватели аналитической философии не внушают своим ученикам догмы о жизни, религии, расе или обществе. Впрочем, аналитическая философия представляет собой интеллектуальный труд в некоей специальной области, а когда рациональное использование разума становится частью хабитуальной природы человека, никакие догмы или институты не гарантированы от критической переоценки».

4.6. Джон Дьюи: наука и демократия

Философия прагматизма, особенно в том виде, в каком она представлена в работах одного из ее основателей Джона Дьюи (1889–1952), в контексте моего исследования представляет интерес по двум причинам. Первая причина — это допущение Дьюи о том, что научные знания определяются контекстом (см., например: Dewey, [1938] 2002: 182–183; Kaufmann, 1959; Mirowski, 2004), что на них влияет понимание проблемы и что сомнения играют решающую роль в получении нового знания. Отсюда логически следует, что основное внимание Дьюи направлено на социальное формирование научных знаний. Вторая причина связана с решающей для концепции Дьюи убежденностью в том, что знание играет важную роль в решении проблем и эмансипации общества, впрочем, без следования какой-либо линейной модели инструментальности научного познания. Наука и демократия, в понимании Дьюи, не противоречат одна другой, а обуславливают друг друга. Так, в «Демократии и образовании» Дьюи подчеркивает (Dewey, [1916] 2005: 301): «Подлинно научная теория <...> входит в реальность в качестве действующей силы на службе расширения действий и его установок за счет добавления новых возможностей»; отсюда следует, что «конечная цель и конечный критерий

оценки любого исследования есть преобразование некой проблемной ситуации» (Dewey, [1938] 2002: 564)²⁰⁶.

В этом отношении приверженцы прагматизма кардинально отличаются от тех философов науки, которые рассматривают производство научных знаний в строгом отмежевании от условий повседневного жизненного мира или же как работу в интересах небольшого, привилегированного сегмента общества²⁰⁷. Преимущество социальных наук, в глазах прагматистов, заключается именно в их близости к проблемам обыденного мира. Значение социальных наук для повседневных проблемных ситуаций носит не только теоретический характер; будучи представителями гуманитарных наук, ученых должны не бояться сознательно брать на себя моральную и политическую ответственность в рамках своего дискурса. Стало быть, помощь коллективам в решении индивидуальных и общих проблем — это обязанность социальных наук. Ввиду таких целей наука — это то, что «обозначает освобождение духа от приверженности привычным целям и задачам и открывает возможность систематического преследования новых целей. Так она становится движущей силой прогресса <...> Это обнаружение новых возможностей ведет к поиску новых средств реализации, и так осуществляется прогресс; обнаружение предметов, не использовавшихся ранее, также способно поставить новые цели» (Dewey, [1916] 2000: 295).

²⁰⁶ Помимо этого, Джон Дьюи (Dewey, [1938] 2002: 575), трактуя знание как способность действовать, обращает внимание на то, что социальные обстоятельства действий никогда не бывают «установлены раз и навсегда», что, в свою очередь, означает, что «они находятся в некоем процессе или, во всяком случае, движутся в направлении создания ситуации, в том или ином аспекте отличающейся от прошлого». Поэтому начальная функция «операции наблюдения» в социальном исследовании направлена на то, чтобы «разделить условия на препятствующие факторы и позитивные средства, <...> указать меры по вмешательству, которые придадут движению (и, следовательно, его последствиям) иную форму, нежели та, которую бы оно приняло, будучи пущенным на самотек».

²⁰⁷ Так, Дьюи (Dewey, 1984: 107) подчеркивает, что для него немалое значение имеет вопрос, «что наука может дать в деле построения иного мира и общества. Такая наука представляла бы другой полюс по отношению к науке, понимаемой как инструмент для достижения конкретных промышленных задач, и не более того».

Джон Дьюи (1859–1962) вместе с Чарльзом Сандеросом Пирсом и Уильямом Джеймсом входит в число наиболее выдающихся представителей американского прагматизма. Сам Дьюи, впрочем, не убежден в том, что понятие прагматизма адекватно описывает его философскую концепцию и научные устремления. Он предпочитает не использовать этот спорный «ярлык» (см. Kallen, 1934) и подчеркивает, что не только его личный главный познавательный интерес, но и любые умственные действия направлены на функцию последствий. В науке интерес к функции последствий является обязательным критерием проверки любых научных гипотез. Сторонники прагматизма полагают, что любое восприятие и любая интерпретация, а, следовательно, в целом любые ментальные операции определяются в том числе их функциональностью в контексте действия. В той мере, в какой философская концепция Дьюи подходит под это описание, он готов признать свою позицию «прагматической».

Как подчеркивает Дьюи в своей «Логике» (Dewey, [1938] 2002: 566), которая по сути представляет собой более позднюю переработку написанной сорока годами ранее работы под названием «Исследования по логической теории», он непримиримый противник идеи о том, что «такого рода исследование является подлинно научным лишь в том случае, если оно сознательно и систематически отказывается от рассмотрения проблем общественной практики». Этот тезис Дьюи, к слову, без каких-либо ограничений распространяет как на естественные, так и на гуманитарные и социальные науки. Логика социального исследования начинается и заканчивается с «имманентной соотнесенности с практикой» (Dewey, [1938] 2002: 587). Несмотря на то, что строгое разделение теории и практики в социальных науках и среди «лиц, непосредственно занимающихся управлением практическими делами» (Dewey, [1938] 2002: 567), принимается как само собой разумеющееся, Дьюи настаивает на том, что от этого допущения необходимо отказаться, чтобы эффективно использовать реконструктивный и преобразующий потенциал социальных наук.

На практике социально-научные познания зачастую не играют особой роли в том числе и потому, что практически действующие люди убеждены, что «существующие проблемы <...>

уже определены в общих чертах». Логическим следствием этого допущения является повсеместная тенденция «отказываться от работы по аналитическому различению, необходимому для того, чтобы разложить ту или иную проблемную ситуацию на множество условий, образующих определенную проблему» (Dewey, [1938] 2002: 567). Кроме того, отсюда следует, что в научной разработке проблем происходит разделение между адекватными мнениями и однозначным пониманием проблемы. Результат такого разделения заключается, с большой вероятностью, в резком ослаблении связи с реальностью.

Естественные науки, напротив, преодолели это характерное для социальных наук отставание. В попытке найти решение практических проблем естественным наукам удалось достичь конструктивной конвергенции метода и понимания проблемы. Надлежащий социально-научный подход также должен обладать способностью к «определению неопределенной ситуации» (Dewey, [1938] 2002: 7). Этот вывод, впрочем, не означает, что социальные и гуманитарные науки должны рабски подражать естествознанию или, что было бы еще хуже, ориентироваться на неверное понимание естественных наук. Такая попытка неизбежно привела бы к непригодным результатам. Общественные факты всегда связаны с человеческими целями и результатами действий (см. Dewey, 1931: 276)²⁰⁸.

Что необходимо сделать в первую очередь, чтобы перевести обыденное понимание проблемы в точное, научное определение? По мнению Дьюи, первый шаг должен состоять в отказе от любых моральных интерпретаций обыденного понимания ситуации.

²⁰⁸ Впрочем, как аргументирует Макс Хоркхаймер (Horkheimer, 1947: 46–49) в своей монографии «Помрачение разума», «преклонение <Дьюи> перед естественными науками» означает, что он находится в плену у методов и философии естествознания и потому неспособен сформировать критическую позицию. Однако на самом деле взгляды самого Дьюи гораздо менее сциентистские, чем то, какими они предстают в интерпретации Хоркхаймера. В статье 1929 года, в которой он занят «поисками достоверности», Дьюи пишет (Dewey, 1929: 200), что его понимают неправильно, когда приписывают ему убежденность в том, что «наука — это единственно верная форма знания» (см. также Biesta, 2007: 472–473).

Это, впрочем, не означает, что социально–научное исследование свободно от «ценностных суждений». Смысл этого требования воздержаться от моральных характеристик обыденного понимания проблемы заключается в обеспечении гарантий того, что исследование практических проблем будет включать в себя также указания на альтернативные целевые установки: «Чтобы социальное исследование отвечало требованиям научного метода, определенные объективные последствия должны трактоваться как цель, к которой стоит стремиться при данных условиях» (Dewey, [1938] 2002: 578).

Парадигматическое значение в этой связи имеет также сформулированная Дьюи научная и общественная функция философии: «Философия, однако [в противоположность позитивистскому пониманию роли науки], выполняет две задачи; во–первых, она призвана критиковать существующие цели с точки зрения актуального состояния науки, т.е. выявлять те ценности, которые оказываются устаревшими в результате интеграции новых источников вспомоществования, или же не имеющими практического значения в силу отсутствия средств их реализации, а, во–вторых, интерпретировать результаты отдельных наук с точки зрения их значения для будущих устремлений». В еще более широком контексте Дьюи (Dewey, 1941: 55) выражает надежду, что наука «должна иметь свое мнение о том, что нам делать, а не только о том, как нам делать это наиболее простым и экономичным способом».

Здесь в рамках рассмотрения концепции Дьюи я должен обратить внимание на некоторые главные аспекты критики в адрес прагматической трактовки взаимосвязи знания и действия. К этим ключевым аспектам относится, во–первых, критика чистого «инструментализма». Ее авторы указывают прежде всего на особое место функциональности мышления и на то, что знание в прагматизме рассматривается в первую очередь в его инструментальном значении. Энергичная поддержка идеи тесной взаимосвязи науки и действий со стороны Дьюи указывает, с одной стороны, на оптимистичное представление его эпохи о реформаторстве и общественном прогрессе, но, с другой стороны, снова провоцирует обвинение в том, что он является представителем сугубо технократической философии (см. Rogers, 2007). Впрочем,

разработанная им концепция тесной взаимосвязи между знанием и действиями как активного элемента коммуникации и политического участия имеет и вполне привлекательные черты. В рамках такого рода концепции знание, трактуемое как способность к действию, играет активную роль в устранении блокировок и других препятствий, в преодолении догматических воззрений и критической проработке альтернативных целей. Джон Дьюи (Dewey, 1984: 105) убежден, что интеграция науки в общество проходит не так, как следует, хотя недостаточная укорененность науки в общественной практике и не является ее главной чертой: «Представление о том, что естественные науки каким-то образом устанавливают границы свободы, подчиняя человека жестким necessities, не является продуктом самой науки, <...> а отражает социальные условия, в которых применение науки ориентировано исключительно на материально-экономическую функцию».

Второе направление критики касается тесной взаимосвязи знания и действия с точки зрения современных общественных отношений и характерного для них систематического пренебрежения традициями прошлого, «вечными» ценностями и значением исторического процесса в целом. С другой стороны, акцент на новых возможностях действия как часть прагматической парадигмы гарантирует неизменную критическую рефлексию и соблюдение дистанции по отношению к привычным, рутинным действиям и подчеркивает конструктивную роль новых идей и нового знания. Здесь, как и в некоторых других аспектах, эпистемологическая позиция Венского кружка пересекается с прагматизмом Джона Дьюи. В «Манифесте» Венского кружка подчеркивается эмансипационный потенциал научного мышления, т.е. тот факт, что логическое прояснение научных понятий, высказываний и методов освобождает человека от сковывающих его предубеждений (Verein Ernst Mach, [1929] 1981: 361).

Третий аспект критики направлен на готовность прагматистов исходить из того, что социальные и природные процессы тесно переплетены с общественными действиями или, во всяком случае, что речь здесь не идет об априори антагонистичных феноменах. Ввиду вновь возросшего интереса к отношению природы и общества в ходе недавних дискуссий на тему глобального

потепления климата такая критика, пожалуй, уже не играет той роли, что она играла раньше.

В полном соответствии с собственной социальной философией, являя собой пример ее практического приложения, Джон Дьюи воспринимал себя как публичного интеллектуала, который вмешивается не только в политические и социальные процессы своего времени, но и, неизменно рефлексирруя, в собственное мышление (см., например: Eisele, 1975). Оба этих тезиса Дьюи представляют для нас интерес. Мы сосредоточимся на его аргументах о соотношении научного исследования, власти знания и публичной роли ученого в обществе.

В своей монографии «Общество и его проблемы», опубликованной в 1927 году, Дьюи обращает внимание на повсеместный и беспрецедентный рост объема знаний и одновременное и еще более стремительное распространение полуправд и заблуждений в современном обществе. При этом, однако, как подчеркивает Дьюи (Dewey, [1927] 1996: 140), доступ общественности к научным знаниям существенно осложняет то обстоятельство, что для понимания успехов и прогресса в науке необходимо владеть соответствующим «аппаратом» знаний, в частности, специальной терминологией: «Иными словами, наука представляет собой высоко специализированный язык, более трудный для освоения, чем любой из естественных языков. Это искусственный язык — но не в том смысле, что он ненастоящий, а в том, что он представляет собой плод высокого искусства; он предназначен для конкретной цели, его нельзя ни усвоить, ни научиться понимать тем же путем, каким усваивается родной язык человека». В результате научные знания, революционизировавшие условия жизни общества, остаются для большинства безграмотных, в этом смысле, людей тайной, покрытой мраком. Казалось бы, в данном случае речь не идет о непреодолимом препятствии, однако усилия, необходимые для освоения требуемого аппарата знаний, значительно превышают усилия и умения, необходимые для понимания других «средств» общественного действия и овладения ими. Таким образом, власть знания в современных обществах находится в непримиримом противоречии с безвластием большинства людей. Это большинство отдано на произвол последствий научного и технического

развития. Оно не может ни использовать, ни контролировать проявления науки (Dewey, [1927] 1996: 141), поскольку не в состоянии их понять. Что же делать, чтобы преодолеть эту асимметрию властных отношений науки и жизненного мира? Один из возможных вариантов ответа на этот вопрос предлагает современник Дьюи Уолтер Липпман.

4.7. Липпман, Дьюи и демократическая форма правления

В 1922 году известный американский журналист Уолтер Липпман опубликовал свое исследование общественного мнения в США. Его исходные положения совпадают с диагнозом и критикой современных демократических отношений в США, представленными в работах Дьюи. Дьюи (Dewey, [1922] 1976: 337) одобрителем отозвался об исследовании Липпмана, назвав его «самым убедительным обвинением в адрес демократии из всех, что до сих пор ей предъявлялись». Липпман и Дьюи единодушны в том, что, говоря об оценке демократии и усовершенствовании демократической формы правления, мы говорим о фундаментальных философских вопросах, в частности, о вопросах истины и познания в контексте социально конструируемых жизненных миров.

В «Общественном мнении» Уолтер Липпман пытается обосновать модель элитарной демократии как альтернативу реально существующей демократической формы правления²⁰⁹. Главная

²⁰⁹ Здесь имеет смысл привести пространную цитату из «Общественного мнения» Уолтера Липпмана (Lippmann, [1922] 1997: 195): «Когда отсутствуют институты и образование, с помощью которых информация о среде доносится до людей столь успешно, что реалии общественной жизни могут быть сопоставлены с замкнутым на себе мнением отдельных групп, общие интересы полностью ускользают от общественного мнения и могут управляться только специальным классом, личные интересы которого выходят за пределы местного сообщества. Этот класс не несет ответственности, поскольку действует на основе информации, не являющейся всеобщим достоянием, в ситуациях, которые общество в целом не понимает, и может быть привлечен к ответственности только на основе свершившегося факта». В наиболее яркой современной критике демократической формы государственного правления приводятся те же

идея Липпмана касается недостаточных интеллектуальных способностей среднестатистического гражданина. Средний гражданин, как правило, политически безграмотен, он не знает ни политической повестки дня, ни игроков политической сцены, и поэтому лишь в недостаточной мере способен критически рассуждать о политике. Соответственно, и средний избиратель не в состоянии принять осмысленное решение. Масса электората в лучшем случае играет пассивную роль в демократическом правлении. Исправить эту ситуацию, по мнению Липпмана, не представляется возможным.

Таким образом, в кризисе демократии повинно не недостаточное политическое участие, а чрезмерное участие недостаточно информированных акторов. Решение проблемы — власть литы. Но как вообще возникает недостаток когнитивных способностей у широких масс? В поисках ответа Уолтер Липпман (Lippman, [1922] 1997: 55–56) по сути разрабатывает культурологический диагноз, впрочем, не свободный от убежденности в наличии неких врожденных способов мышления: «Для того чтобы охарактеризовать предмет, не обязательно видеть его. Обычно сначала мы даем ему определение, а потом рассматриваем. <...> Мы воспринимаем предметы через стереотипы нашей культуры».

Причина этих недостатков нашего видения, однако, заложена не в человеческой природе, а в доминирующих политических процессах, поощряющих пассивность; безвольной покорности масс можно избежать. Дьюи убежден, что добиться этого можно, развивая рефлекслирующий разум акторов при помощи адекватных

аргументы, что и у Уолтера Липпмана (подтвержденные статистикой; см., например: Converse, [1964] 2006), и точно так же, как и в «Общественном мнении», говорится о недостаточной гражданской компетенции или, еще более уничижительно, о политическом невежестве значительной части граждан демократических обществ (Hardin, 2006; Gilley, 2009: 117–120; Somin, 2009). Американский юрист Ричард Познер (Posner, 2003: 16) также подчеркивает, что среднестатистический гражданин, по сути, является политически неграмотным и что демократия должна стремиться к тому, чтобы стать инструментом в руках элит, сменяющих друг друга на правящих должностях.

образовательных мер, в частности, распространения научного миропонимания в обществе (ср. Grube, 2010).

Журналисты играют роль трансмиссии между политикой и общественностью. В условиях элитарной демократии журналисты выполняют функцию передачи и разъяснения общественной информации и знаний, производимых технической и политической элитой. Поскольку определенные взгляды масс отличаются от взглядов элит, СМИ не несут ответственности за обеспечение общественного согласия и не являются решающим органом, контролирующим общественное мнение. Из этих наблюдений нетрудно заключить, что Липпман сомневается в том, что та форма демократии, где большой (чрезмерно большой?)²¹⁰ объем власти сосредоточен в руках масс или непрофессионалов, вообще способна эффективно функционировать²¹¹.

Свой ответ на вопросы, поднятые Липпманом, Джон Дьюи дает в книге «Общество и его проблемы». Он предлагает альтернативное решение проблемы асимметрии между растущим значением научных знаний в обществе и недостаточной способностью большинства граждан понять эти научные знания.

²¹⁰ Современные политические реалии штата Калифорния часто приводятся в качестве примера «прямой» демократии (см. статью Андреаса Клута «Народная воля. Эксперимент по внедрению прямой демократии в Калифорнии провалился» в «The Economist» за 20-е апреля 2011 года; <http://www.economist.com/node/185638>; последнее обращение 15 ноября 2011 года). Речь идет об институте всеобщего референдума, появившегося после принятия так называемого «Предложения № 13» в 1978 году, которое позволяет избирателям напрямую вмешиваться в законодательство, конкурируя с избранными народными представителями.

²¹¹ Деннис Хонг и Джеймс Друкман (Chong, Druckman, 2007) в своем экспериментальном исследовании изучают способность элит влиять на общественное мнение. Полученные результаты они резюмируют следующим образом: «Эффект воздействия рамок восприятия в большей степени зависит от индивидуальной оценки качества рамок, чем от частоты, с которой они воспринимаются»; альтернативные позиции, как правило, побуждают к размышлениям о характеристиках конкурирующих интерпретаций, а сильная мотивация к повышению уровня политической информированности и размышлениям о политических вопросах влияет на заданные элитами рамки интерпретаций (Chong, Druckman, 2007: 651–652).

Впрочем, Дьюи не питает иллюзий на этот счет: «Главным условием осуществления демократической организации общества является обладание такими знаниями, тем уровнем понимания, которые в настоящее время не наблюдаются» (Dewey, [1927] 1996: 142)²¹².

И все же, несмотря ни на что, демократия не должна превращаться во власть элит или экспертов. Дьюи подчеркивает важность участия общественности и обсуждения политических решений (см., например: Dewey, [1927] 1996: 153–154; Benson, Harkavy, Puckett, 2007): «Но истинно публичная политика возможна лишь в том случае, если она опирается на знание, а знание невозможно добыть иначе как посредством систематического, основательного и хорошо оснащенного исследования с тщательной фиксацией результатов» (Dewey, [1927] 1996: 151). Класс экспертов, напротив, неизбежно отдаляется от общих интересов; «выделяясь в особый класс, они утрачивают возможность получать представление о тех потребностях, которые им надлежит обслуживать» (Dewey, [1927] 1996: 172; Westhoff, 1995).

Уолтер Липпман в своем тезисе о необходимости элитарной демократии и управляемой общественности исходит из схожей базовой предпосылки: он убежден, что отдельный индивид просто не в состоянии в должной степени выявлять, выражать и отстаивать свои интересы. Джон Дьюи же придерживается мнения, что демократическая общественность вполне в состоянии реализовать некую идею, что возможно благодаря эффективному распространению и обсуждению знаний, которым открыта общественность.

Однако теоретическая возможность реализации идеи демократической общественности требует, как подчеркивает Дьюи (Dewey, [1927] 1996: 173), «совершенствования методов и условий проведения дебатов, обсуждения вопросов и убеждения

²¹² Одним из главных условий, названных Дьюи (Dewey, [1927] 1996: 142), является «свобода социальных исследований и распространения их выводов»; обнародование и обсуждение «результатов социальных исследований и есть формирование общественного мнения» (Dewey, [1927] 1996: 150).

граждан. В этом и состоит основная проблема общества». Это усовершенствование общественных дискурсов, как неоднократно подчеркивает Дьюи, есть вопрос «раскрепощения и усовершенствования исследовательских процессов и распространения выводов, полученных в результате данных исследований» (Dewey, [1927] 1996: 173).

Это, впрочем, не означает, что разделение труда между наукой и общественностью следует устранить. Ученые являются «техническими экспертами, специалистами — в том смысле, в каком используют этот термин, говоря об особой подготовленности представителей науки или искусства. Нет никакой необходимости в том, чтобы знаниями и умениями, требующимися для осуществления соответствующих исследований, обладали многие из них; достаточно, чтобы эти многие были в состоянии судить о том, какое значение имеет добытое другими знание для общества в целом» (Dewey, [1927] 1996: 173–174).

Размышления о «неудобной демократии», которые я хочу представить в нижеследующем экскурсе, хотя и относятся прежде всего к роли климатической политики в политике в целом и в демократическом процессе, тем не менее, наглядно показывают, как возникают противоречия между желанием достичь определенных результатов, в частности, в сфере экологии, и демократическими процессами, когда достижение данных целей ставится выше всех других аспектов и отстаивается при помощи заявлений, будто на данный вопрос уже существует «объективный» ответ, т.е. существуют научные подтверждения некоего бесспорного результата и очевидных средств достижения целей.

Экскурс: Неудобная демократия: научные знания и изменение климата²¹³

...Мой личный и повседневный опыт показывает, что главные недостатки человека — это инертность и невежество. В совокупности это смертельно опасная смесь.

*Ханс Иоахим Шнельхубер
(Schnellhuber, 2010)²¹⁴*

Бравурное чествование деционизма, сметающего границы скучных аргументаций и обсуждений, постепенно стало рассматриваться <....> как наивернейший путь к возрождению воли.

*Пьер Розанваллон
(Rosanvallon, 2006: 191–192)*

Летом 2012 года, после целого ряда случаев экстремальных погодных условий (засухи, наводнений, аномальной жары) на разных континентах Земли и ввиду новейших результатов климатологических исследований, Джеффри Д. Сакс (Sachs, 2012)²¹⁵ потребовал немедленного политического вмешательства, которое необязательно во всех единичных аспектах должно быть одобрено всеми учеными, занимающимися вопросами причин и последствий глобального изменения климата: «Доказательства неопровержимы, и их число стремительно растет. Человечество, влияя на климат, подвергает себя растущей опасности. Мировое

²¹³ Данный экскурс о сомнениях относительно эффективности демократии среди некоторых исследователей климата и других наблюдателей климатической политики изначально был написан в соавторстве с Хансом фон Шторхом и впервые в более кратком виде опубликован 29 декабря 2009 года в «Spiegel online». Для настоящей книги я существенно дополнил и расширил первоначальный вариант. Английский перевод вышел в журнале «Society» (Stehr, 2013).

²¹⁴ Высказывание климатолога Ханса-Йоахима Шнельхубера в интервью журналу «Шпигель» (№ 12, 21 марта 2011, с. 29) в ответ на вопрос о том, почему общество не слышит ученых.

²¹⁵ Джеффри Д. Сакс «Наше лето правды о климате», Project Syndicate (27.06.2012): <http://www.project-syndicate.org/print/our-summer-of-climate-truth>

сообщество в ближайшие двадцать пять лет должно быстро и решительно перейти от экономики, основанной на ископаемом топливе, к экономике, основанной на новых, инновационных, низкоуглеродных технологиях. Глобальная общественность готова услышать эту идею и действовать в соответствии с ней. Лишь политики во всех странах мира не спешат с решениями, в первую очередь потому, что нефтяные и угледобывающие компании обладают огромной политической властью. Благополучие, более того, выживание человечества зависит от достижений науки и технологических ноу-хау, которые должны восторжествовать над недальновидной жадностью, политической нерешительностью и непрерывным потоком антинаучной пропаганды со стороны корпораций».

Спор об изменении климата и его глобальных последствиях, о различных (исторических и нравственных) подходах к вопросу ответственности, о природе отношений науки и общества и о возможностях эффективного преодоления возникающих опасностей представляет собой в равной мере фундаментальную и неоднозначную социально-политическую проблему. Политические дискуссии о природе изменения климата и возможных реакциях на него в огромной степени зависят от принципиальных политических убеждений, в частности, от консервативных или либеральных взглядов с характерной для них пропагандой неучастия государства во многих сферах общественной жизни, в противоположность мнению, согласно которому решение запутанных проблем, вызванных изменением климата, требует более глубокого и массированного государственного вмешательства в регулирование рынка и социального поведения.

Новейшая история изобилует пророчествами скорого отмирания политики и прихода власти рациональных научных знаний на смену власти человека над человеком²¹⁶. Экономист Фрэнк Найт (Knight, 1949: 271) обращает внимание (впрочем, не объявляя себя ее сторонником) на наивно-позитивистскую концепцию взаимосвязи научных познаний и общественных проблем,

²¹⁶ В Германии к этому контексту относится, вероятно, уже позабытые многими жаркие споры о технократии, имевшие место в 1960–х и 1970–х годах (ср. Koch, Senghaas, 1970).

которая в нашем контексте также находит определенный отклик: «Наука продемонстрировала свою способность решать проблемы, и нам необходимо лишь понять, являются ли проблемы социального порядка явлениями того же типа».

С возникновением острых глобальных экологических проблем все отчетливее заявляет о себе еще одно, новое — или хорошо забытое старое — представление о роли науки в политическом процессе. Прогнозы полного упразднения политики или границ «политического либерализма» в скором будущем и установления полной власти научного знания, в свою очередь, связаны со всеобщим недовольством практической неэффективностью демократии, недостаточным распространением научных знаний среди общественности и неверным пониманием фактической роли этих знаний в обществе.

Предположение о неэффективности и, более того, бесполезности демократической формы правления, в контексте неотложных проблем, стоящих перед человечеством, и непростительной бездеятельности политиков в вопросе практической реализации рекомендаций специалистов в области климата, разумеется, противоречит еще одному опасению, связанному с невозможностью существования демократии в современном обществе, а именно тезису об угрозе, исходящей от лишенных политической легитимации мнений экспертов, предостерегающих, в частности, от риска глобального потепления. Кто и каким образом может возразить этим экспертам?

К числу предостерегающих экспертов относится и историк Эрик Хобсбаум; в целом он не разделяет убежденности в том, что политические системы, опирающиеся на всеобщие выборы, способны гарантировать фактическую свободу прессы или гражданские права и независимость судебной системы. Скептическое отношение Хобсбаума (Hobsbawm, [2007] 2008: 118) к демократии, какими бы привлекательными ни казались демократические формы политического господства в идеальном воплощении, вызвано еще и сомнениями в эффективности демократических государств²¹⁷ в том, что касается скорого

²¹⁷ Жиль Меррит, генеральный секретарь «Друзей Европы», на «Зеленой неделе», организованной Европейской Комиссией в июне 2010 года,

решения экологических проблем, в частности, проблемы глобального потепления²¹⁸.

Таким образом, Хобсбаум оказывается среди растущего числа представителей современной науки и масс-медиа, уверенных в том, что демократические страны в принципе не в состоянии решить глобальные проблемы. Представленная Хобсбаумом критика демократии подразумевает, что те, кто противится господствующему мнению или, по каким бы то ни было причинам, не высказывает свою позицию, не стали бы возражать против рекомендуемого экспертами политического курса, если бы обладали всей полнотой информации по данному вопросу. По этой причине Исайя Берлин (Berlin, [1958] 1969: 134) обращает внимание читателя на то, что такого рода убеждения таят соблазн «убедить самого себя в том, что ты оказываешь давление на других ради их же собственного блага, в их, а не в твоих интересах. Я претендую на то, что я лучше их самих знаю, что им действительно нужно». Таким образом, я и другие, разделяющие мои убеждения, можем легитимно подавлять свободу тех, кто думает иначе. Существуют и другие, параллельные оправдания «власти лучшего знания» и верности решений, якобы опирающихся на более полные

подчеркивал, что «наши проблемы связаны с двумя явлениями, которыми мы больше всего гордимся. Это демократия и свободный рынок». Речь в данном случае шла прежде всего об экологических проблемах (см. <http://www.euractiv.com/en/sustainability/guilt-card-green-taxes-hailed-force-sustainable-consumption-news-494868>).

²¹⁸ В то же время представители науки и масс-медиа, с недоверием относящиеся к демократии, напоминают скептиков 1970-х годов, когда наиболее острым вопросом был вопрос допустимых пределов роста населения и выживания человечества. В то время ученые также предупреждали об опасности, связанной с медлительностью и инертностью демократических институтов, и выказывали предпочтение авторитарным решениям (см., например: Heilbroner, 1974; Hardin, 1977). Один из авторов исследования «Пределы роста» Деннис Медоуз (Meadows, 2011) спустя 40 лет в своем выступлении перед немецким бундестагом 24 октября 2011 года вновь выразил сомнение в дееспособности демократических институтов в контексте необходимости предотвратить угрозу человеческой цивилизации посредством политических действий, обратив внимание на «медлительность» и «недальновидность властей».

и верные познания. К ним относится, к примеру, определенное представление о роли государства. Вот как описывает эту ситуацию Эмиль Дюркгейм (Durkheim, [1957] 1991: 132): «Если государство лишь прислушивается к мыслям и желаниям отдельных индивидов, чтобы знать, какие из них имеют наибольшее распространение и, стало быть, как говорят, в большинстве, то оно не вносит подлинно личностного вклада в общественную жизнь. У государства нет задачи обобщать и выражать нерелексированные идеи масс; скорее, оно призвано добавить к этому нерелексированному мышлению более релексированное, которое по этой причине, разумеется, неизбежно будет отличаться от первого».

Современные Дюркгейму рассуждения о роли науки в обществе и адекватности и практическом потенциале демократической формы правления в контексте стремительного прогресса научного знания, роста числа острых социальных проблем и усложнения окружающего мира (в частности, по причине роста населения земного шара) имеют определенное сходство с сегодняшними дискуссиями о глобальных экологических проблемах и способности демократии эти проблемы решить. Некоторые ученые, причем не только марксисты, еще 80 лет назад были готовы мириться с большими ограничениями общественных свобод ради решения социальных и экономических проблем и пожертвовать демократическими правами. Так, например, Франц Боас (Boas, 1939: 1), защищая науку от нападок тоталитаризма, готов признать, что общество должно отказаться от некоторых форм индивидуальных свобод, сохранив, однако, свободу в науке: «Ограничения, которые мы принимаем как неизбежные последствия изобретательного гения человечества и роста нашей популяции, не распространяются на сферу мысли. Даже если бы мы хотели, мы не смогли бы обеспечить абсолютный индивидуализм в социальной и экономической жизни, однако это именно та цель, к которой мы стремимся в жизни интеллектуальной и духовной. Нам потребовалось немало времени, чтобы освободить мысль от ограничений, возникающих в результате навязывания догм. Но какие бы средства ни применялись, абсолютной свободы достичь не удалось. Идеи многих остаются ограниченными по их воле или вопреки ей, а попытки насильственным путем ограничить мысль, идущую

вразрез с общепринятыми убеждениями, по-прежнему встречаются слишком часто. Узколобое большинство, быть может, опаснее для свободы мысли, чем тяжелая длань диктатора. По этой причине мы требуем абсолютной свободы выражения, чтобы наше новое поколение было подготовлено к разумному использованию гражданских привилегий и обязанностей».

Насколько беспомощны тезисы Боаса, становится понятно при сравнении их с более ранним манифестом, где Боас (Boas, 1938: 4) еще подчеркивает, что в случае отстаивания свободы речь в каком-то смысле идет об игре с нулевой суммой: «Любая атака на свободу мысли в той или иной сфере и даже в такой далекой от политики области, как теоретическая физика, в конечном итоге является атакой на демократию как таковую». По мнению других ученых той эпохи, например, Джона Бернала (Bernal, 1939), необходимость более жесткого регулирования и ограничения свобод распространяется как на научное сообщество, так и на социум в целом.

Воинствующие климатологи, политики и многие сторонние наблюдатели единодушны в том, что последний саммит по проблемам климата в Копенгагене в конце 2009 года, а также последующие переговоры в Канкуне и Мехико оказались провальными. В рамках дискуссии, вызванной, впрочем, не только ошибками Копенгагенской конференции, выделяются две темы, и обе они касаются статуса демократии в современных обществах в контексте изменения климата. Первая тема — это роль климатологических исследований в политических дебатах о необходимых политических мерах. Может ли наука предписывать политике, что она должна делать? Климатологи действительно считают, что их наука дает четкие рекомендации. Это сильное желание климатологии определять политические стратегии в области климата нередко ведет к вопросу: «А почему тогда мы этого не делаем»? И тогда под подозрение попадает демократия с характерными недостатками, и вот уже у ученых готов политический ответ на обнаруженные дефициты.

Вторая, не столь очевидная тема касается взаимосвязи демократии и времени. Способна ли вообще демократия и другие, организованные по принципу свободы социальные институты,

в частности, свободный рынок, найти эффективный ответ на будущие социальные риски и нежелательные тенденции развития?

Известному американскому политологу и экономисту Чарльзу Линдблему принадлежит заслуга наиболее ясной, среди всех его коллег, проработки взаимосвязи между научными знаниями, рынком и демократией. Я также хотел бы еще раз обратиться к этой теме, причем не только в свете последствий недавнего государственного и финансового кризиса. В наши дни уже никто не сомневается в том, что достоинства свободной рыночной экономики — весьма спорное понятие. Информированные наблюдатели разделяются на скептиков или же убежденных противников либерального понимания рынка. С их точки зрения, решение финансового кризиса заключается не в последнюю очередь в ограничении рынка со стороны государства и общества.

Носители политических решений и климатологи, в частности, в Четвертом докладе об угольном топливе (декабрь 2010) британской государственной Комиссии по изменению климата, выступают с конкретными предложениями, как достичь достижимой, возможно, лишь с большим трудом цели повсеместного сокращения выбросов углекислого газа в ближайшие годы и десятилетия. В этой связи Комиссия также высказывает свои сомнения относительно способности «необузданного» рынка достичь подобных целей и выступает за возвращение к элементам «централизованной плановой экономики» — так, по крайней мере, интерпретирует ее политические рекомендации уважаемое печатное издание²¹⁹. Так, например, в связи с будущим рынка электроэнергии в Великобритании в докладе указывается на то, что «крайне маловероятно, что нынешние рыночные структуры будут инвестировать в низкоуглеродную энергетику нового поколения в достаточном объеме. Система тендеров на долгосрочные контракты (например, низкоуглеродные контракты на разницу цен или договоры закупки электроэнергии) сократит риски, которыми энергетические компании не всегда в состоянии управлять (например, риск по ценам на уголь и газ и риск по объемам), и гарантирует

²¹⁹ См. статью Майкла Маккарти «Центральное планирование — единственный путь снизить выбросы углекислого газа» в: *The Independent*, 7.12.2010.

инвестиции при минимальных затратах для потребителя. Другие механизмы (например, расчет на ценовую саморегуляцию в угольной энергетике или расширение Обязательства по возобновляемым источникам энергии) не гарантируют требуемого объема инвестиций и предполагают неоправданно высокие расходы и цены на электроэнергию. Учитывая необходимость декарбонизации энергетического сектора и долгих сроков окупаемости низкоуглеродных инвестиций, реформирование существующих рыночных структур с целью внедрения системы тендеров на долгосрочные контракты является приоритетной задачей».

Как подчеркивает в том числе Линдблом, в научной среде сегодня очень редко можно встретить открыто высказываемые сомнения в добродетелях и преимуществах демократии как политической системы. Исключение составляют разве что высказываемые по требованию диктатора мнения об отсутствии демократии в собственной стране, но в этом случае авторы не могут претендовать на то, чтобы их воспринимали всерьез как ученых.

Однако такая ситуация царит далеко не во всех сферах жизни и политики. Так, в области исследования климата, а также политического решения и медийного освещения данных вопросов наблюдается обратная ситуация. Среди исследователей климата и представителей СМИ нарастает недовольство демократией и все чаще слышны упоминания чрезвычайных обстоятельств, оправдывающих недоверие к данной форме правления. Недовольство демократией идет рука об руку с изменением функций Международной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). На сегодняшний день МГЭИК все чаще воспринимает себя не как научную организацию, предлагающую некие политические опции для обсуждения и поиска решений в политическом поле, а как некий орган, который требует, чтобы очерченные им опции политических действий были реализованы на практике (см. Pielke, 2007).

Однако еще большее значение имеет аргументация, указывающая на чрезвычайные обстоятельства, т. е. на риски, связанные с изменением климата для человечества, которое «одно лишь в состоянии влить новую ощутимую энергию в угасающую или стесненную (политическую) волю» (Rosanvallon, 2006: 191). Отныне наблюдатели не просто сетуют на пропасть между

научным знанием о проблеме и фактическими действиями, но и открыто обвиняют неудобную демократию в сложившейся ситуации²²⁰. Как подчеркивает Майк Хьюльм, ученые, разумеется, испытывают сильную фрустрацию при мысли о том, что у общественности есть свои представления о существующей ситуации, а климатическую политику она относит к политическим вопросам.

Ведущие исследователи климата постоянно подчеркивают, что человечество стоит на распутье. Если продолжать нынешние тенденции в политике и экономике, то это приведет к катастрофе, а, возможно, даже к гибели человеческой цивилизации. Если говорить словами немецкого климатолога Ханса Йоахима Шнелльхубера, чтобы реализовать на практике образ жизни, позволяющий сохранить глобальную экологию, нам необходима незамедлительная «великая трансформация». Что именно понимается под этим термином, остается неясным. Один из элементов, если не ядро великой трансформации составляет смена политического режима и формы правления. Так, например, австралийские ученые Дэвид Ширман и Йозеф Вейн Смит (Shearman, Smith, 2007: 4) в своей книге «Проблема изменения климата и фиаско демократии» пишут об этом совершенно открыто: «Нам необходима авторитарная форма правления, чтобы воплотить существующий в науке консенсус относительно выбросов парниковых газов в практические действия». Знаменитый исследователь климата Джеймс Хансен столь же обреченно, сколь и расплывчато

²²⁰ Так, например, ведущий блог по экологическим вопросам на территории США (Grist, 21.01.2011) приводит следующую аргументацию: «Разве страна с авторитарной формой правления, где у власти находятся инженеры и ученые, не лучше подготовлена к преодолению опасностей 21-го века, чем страна, где всегда настороженно относились к интеллектуалам, а главную роль в политике играли чековые книжки лоббистов и неуязвимых промышленников, чьи интересы они представляют? Было бы ужасно, если бы это действительно было так, и главная загвоздка для США заключается в следующем вопросе: если мы не сможем все вместе осуществить переход к устойчивому и безопасному использованию природных ресурсов, то какова надежда на то, что нам удастся сохранить и демократию, и материальную цивилизацию?» (<http://www.grist.org/article/2011-01-21-is-chinas-quasi-dictatorship-better-prepared-for-the-21st-centur>).

добавляет, что в случае изменения климата демократический процесс не работает²²¹. Джеймс Лавлок в своей книге «Гея: ускользающий лик» (Lovelock, 2009) подчеркивает, что мы должны отказаться от демократии, чтобы единым фронтом выступить против вызова, который бросает нам изменение климата (см. также Gardiner, 2011). Мы находимся в положении, сравнимым с ситуацией войны²²². Чтобы вырвать мир из состояния летаргии, нам снова нужна пламенная речь про «кровь, пот и слезы», но чтобы на этот раз в ней говорилось о глобальном потеплении. Почему мы снова и снова слышим о необходимости радикального переустройства политической сферы любой ценой? И самое главное: как провести это переустройство на практике?

С одной стороны, национальная и глобальная климатическая политика, очевидно, не в состоянии реализовать даже свои собственные скромные цели, зафиксированные, например, в истекающем Киотском соглашении. К этому добавляются новые знания о стабилизирующих причинах и последствиях антропогенного изменения климата. Оба эти фактора способствуют усилению скептического отношения к демократии среди исследователей климата и тех, кто принимает политические решения по этому

²²¹ <http://www.guardian.co.uk/science/2009/mar/18/nasa-climate-change-james-hansen>

²²² В интервью с Лео Хикманом, опубликованном в «Guardian» 29-го марта 2010 года, Джеймс Лавлок подчеркивает, что государства с демократической формой правления представляют одно из главных препятствий для разумной климатической политики. Он подчеркивает: «Даже в наилучших демократических режимах признают, что когда начинается большая война, демократический процесс должен быть на время заморожен. Мне кажется, что изменение климата создает не менее серьезную ситуацию, чем военное положение. Возможно, нам необходимо на какое-то время отказаться от демократии». В интервью для канала MSNBC 23-го апреля 2012 года Лавлок пытается смягчить суровость своих предсказаний: «Проблема заключается в том, что мы не знаем, что происходит с климатом. 20 лет назад мы думали, что знаем. Это привело к появлению нескольких алармистских публикаций, включая и мою книгу, так как все казалось очевидным, но того, чего мы ожидали, не произошло» (http://worldnews.msnbc.msn.com/_news/2012/04/23/11144098-gaia-scientist-james-lovelock-i-was-alarmist-about-climate-change).

вопросу. В-третьих, важно подчеркнуть, что диагноз безрезультатной, ни на что не годной климатической политики относится в первую очередь к последствиям, т. е. к сокращению выбросов парниковых газов, а не к условиям политических действия. А когда внимание сосредоточено на целях или последствиях, то социально-политический вопрос легко сводится к технической проблеме (см. Radder, 1986). В результате такой интерпретации климатической проблематики происходит ее деполитизация (и одновременно политизация климатических исследований). Когда участники дискуссии целиком и полностью сосредоточены на вопросе митигации, возникает ощущение, будто решение или ослабление проблемы изменения климата — это чисто технический вопрос.

Подытоживая эти скептические наблюдения, можно сказать, что демократия, по мнению сторонников данной позиции, по своей сути неспособна эффективно реагировать на вызовы, перед которыми оказываются политика и общества в связи с последствиями изменения климата, в первую очередь в области необходимого сокращения выбросов парниковых газов (зачастую трактуемых исключительно как выбросы CO₂; см. Hartwell Papier 2010). Демократически организованные общества слишком медлительны для того, чтобы предотвратить изменение климата; их действия не бывают ни своевременными, ни исчерпывающими. Поэтому сильное государство должно принять «важные решения» и положить конец бесконечным дискуссиям. Нужно действовать — таков девиз сегодняшнего дня! И так демократия как цель превращается, в глазах этих наблюдателей, в неудобную демократию. Несколько десятилетий назад экономист и социальный философ Фридрих Хайек (Hayek, [1960] 2005: 36) в другом историческом контексте обратил внимание на парадоксальную тенденцию: ощущение колоссального уменьшения сферы «незнания» в науке укрепляет веру среди широких масс населения и даже самих ученых в то, что область человеческого невежества действительно сокращается, и мы уже можем стремиться к «полному и более осознанному управлению всеми видами человеческой деятельности». «Вот почему», — добавляет безо всякой надежды Хайек

(Найек, [1960] 2005: 36), — «те, кому вскружил голову прогресс науки, так часто становятся врагами свободы»²²³.

Таким образом, растущие сомнения в функциональности демократических отношений и предположение, согласно которому ценности и мотивы людей предопределены раз и навсегда²²⁴, сопровождаются дальнейшей эскалацией предостережений об апокалиптических последствиях потепления климата для человечества. Так, Всемирный гуманитарный форум в опубликованном недавно докладе предостерегает о возможной гибели 300.000 человек в год от жары, а также о финансовых потерях в размере 125 млрд. долларов. Аудитория подобного рода сообщений легко упускает из виду тот факт, что все эти данные — не что иное, как политическая арифметика. В конце концов, вопреки мнению некоторых наблюдателей, «обратно в каменный век» (Lovelock, 2006: 4) нашу цивилизацию ведет не только неудобная демократия, но и железная хватка самого климата, который за несколько лет или десятилетий способен лишит людей нынешних свобод и возможностей действия и тем самым подорвать основы демократии. Соединив два эти наблюдения, мы приходим к парадоксальному результату: спасти демократию можно, лишь ликвидировав демократические структуры.

Не следуя по пути радикальных прогнозистов и скептиков, я считаю необходимым еще раз уточнить, что распространенную

²²³ Вывод, к которому приходит Хайек, в каком-то смысле совпадает с наблюдением Фридриха Тенбрука (Tenbruck, 1977: 141) о том, что «с развитием и распространением науки всегда связана мечта о возможности предвидеть и контролировать реальность».

²²⁴ Размышления Джедедая Перди (Purdy, 2009: 1137) о «природе» человеческих ценностей и мотивов в этом контексте представляются не только важными, но и гораздо более реалистичными: «Подобные пессимистичные аргументы объединяет то, что их неопровержимость зависит от принятия "человеческой природы", т.е. характерных мотивов людского поведения, за некий неизменный факт, по крайней мере, ради достижения неких практических целей. Но если такого рода аргументация оказывалась неубедительной, то отчасти это было связано с тем, что "человеческая природа" менялась, причем менялась не случайным образом, а вследствие демократической политики, трансформировавшей мотивы поведения людей в одном и том же направлении».

тенденцию заявлять о провале демократии нельзя ни принимать как доказанный факт, ни бездумно отвергать как маргинальную позицию. Что именно здесь происходит? Мы имеем дело с требованиями и устремлениями «специалистов, стремящихся к власти, допустить их к управлению, поскольку они полагают, что только в этом случае их специальные знания будут использованы в полном объеме» (Науек, [1960] 2005: 5). Констатация тенденции сомневаться в демократии опирается на ряд наблюдений, которые, в свою очередь, тесно связаны между собой:

Во-первых, за последние несколько лет возросла не только обоснованность значимых научных результатов о потеплении климата и консенсус научного сообщества, но и количество исследовательских проектов, авторы которых прогнозируют намного более драматичные и продолжительные последствия глобального климата, чем предполагаемые ранее. Но как вообще возможна такая ситуация, все чаще спрашивают себя ученые, когда эти надежные выводы не имеют устойчивого воздействия на политические и повседневные решения политиков? Почему политика не в состоянии трансформировать настоятельные рекомендации науки в эффективные действия?

Во-вторых, проводимая до сих пор климатическая политика не привела к ощутимым успехам. Результатом спада мировой экономики стало непреднамеренное сокращение роста выбросов CO₂. Однако, как можно судить по реакции на этот кризис, правительства ведущих стран не рассматривают сокращение темпов роста национального богатства в качестве эффективного механизма сокращения выбросов. Напротив, по всему миру власти прилагают все усилия для того, чтобы снова стимулировать экономический рост в прежнем объеме. Понятно, что с ростом конъюнктуры объемы выбросов снова возрастут.

В-третьих, участники дискуссии о вариантах будущей политики, очевидно, исходят из того, что необходимо сохранить существующую — на самом деле неудачную — климатическую политику, но проводить ее более эффективно и рационально. Поэтому, как утверждается, все государства должны и впредь стараться достичь соглашений о конкретных, но при этом гораздо более широких целях в отношении сокращения выбросов. Другими

словами, помочь нам может только «супер – Киото». Однако вопрос о том, как эти благородные цели повсеместного сокращения выбросов будут реализованы на практике, теряется в тумане общих заявлений о намерениях, и это обстоятельство еще больше усиливает скептическое отношение ученых к политике. И отсюда, с точки зрения многих участников дискуссии, сам собой напрашивается вывод, что демократия непригодна для решения назревших проблем, а ее затянутые процедуры реализации политически значимых научных знаний ведут к серьезным неизвестным заранее рискам и опасностям. Демократическая система с ее ориентацией на сглаживание и умиротворение расходящихся интересов оказалась несостоятельной перед лицом этих угроз.

В – четвертых, о неудобной демократии, неспособной справиться с назревшими проблемами и оперативно воплотить в действия научные рекомендации, как правило, рассуждают ученые, до сих пор никак не проявившие себя в области политических или культурологических исследований.

В – пятых, в аргументации нетерпеливых критиков демократии мы наблюдаем ничем не обоснованное смешение природы и общества. Считается, что теми источниками неопределенности, которые естественные науки устранили из знаний о природных процессах, можно пренебречь и в отношении общественной стороны жизни. Это означает, что нам известно, что нужно делать — как применительно к природе, так и применительно к обществу. В итоге источники неопределенности, имеющие решающее значение для общества, воспринимаются как простые препятствия к действию, которые следует ликвидировать как можно скорее и, разумеется, по принципу «сверху вниз».

В – шестых, в дискурсе нетерпеливых на передний план выходят гегемонистические, правящие акторы, такие как мировые державы, правительства, транснациональные организации и многонациональные концерны. О партиципативных стратегиях речь заходит гораздо реже. Кроме того, стратегии смягчения последствий отдается предпочтение перед стратегией локальной адаптации, а «глобальное» знание одерживает верх над «местным» знанием.

Наконец, в – седьмых, в растущем нетерпении видных исследователей климата находит выражение неявная интеграция популярных

общественных теорий. В данном контексте я имею в виду прежде всего утверждения Джареда Даймонда о судьбе человеческих обществ. Даймонд полагает, что человеческая цивилизация имеет шансы на выживание только в случае отказа от неэкологичного образа жизни. По всей видимости, исследователи климата попали под влияние общественной теории Даймонда, но сделали из нее неправильный вывод о том, что только авторитарные режимы способны принимать эффективные и верные решения по проблеме климата.

Итог всех этих размышлений гласит, что демократическая форма правления непригодна для решения назревших проблем, а ее затянутые процедуры практической реализации политически значимых научных знаний ведут к серьезным, заранее неизвестным опасностям. Перед лицом этих опасностей демократическое умиротворение расходящихся интересов неуместно. Ввиду важных практически–политических и общественных задач вполне оправдано не только скептическое отношение к политическим идеалам и достижениям демократии (Hayek, [1960] 2005: 2), но и призывы к альтернативным формам правления, призванным гарантировать построение «лучшего мира»²²⁵. Если верить лауреату Нобелевской премии Полу Кругману, то очевидное бессилие и недостаточная дееспособность политики в демократических странах есть не что иное, как измена нашей планете. Для его коллеги из «Нью–Йорк Таймс», Томаса Фридмана, доказательств больше, чем достаточно: авторитарные режимы, такие, как, например, политическая система в Китае, представляют собой модель, которой в свете современных угроз экологии можно только восхищаться и которую при определенных обстоятельствах необходимо перенять²²⁶.

²²⁵ Во время презентации последнего доклада Римского клуба в Роттердаме в мае 2012 года его автор Йорген Рандерс (Randers, 2012) заявил, что нам нужна система правления, «мыслящая долгосрочными категориями», и что «Китай <...> добьется успехов, так как способен действовать» (цит. по статье в газете «Basler Zeitung» от 10.05.2012).

²²⁶ Впрочем, к такому выводу приходят не только влиятельные политические комментаторы, как, в частности, Томас Фридман, но и представители социальных наук. Как подчеркивает Марк Бизон (Beeson, 2010: 289), один из главных вопросов политического управления, вытекающий из дискуссии на тему экологии в целом и глобального потепления в частности,

Но, как учит нас история, на самом деле верно обратное. И поэтому современный Китай, вопреки надеждам австралийских ученых Ширмана и Смита или того же Бизона и других наблюдателей²²⁷, в этом отношении не может служить примером для подражания (см. также Baber, Barlett, 2005; Dryzek, Stevenson, 2011): эта политическая модель изжила себя.

Другими словами, когда речь идет об эффективном реагировании на риски, угрожающие обществу в связи с изменением климата, единственная альтернатива ликвидации демократического правления — это развитие и расширение демократии: больше демократии, больше возможностей участия во всем мире и повышение уровня компетентности индивидов, групп и движений, занятых экологическими вопросами. Существование «коварных» политических проблем (т.е. проблем «запутанных», к которым принадлежит и проблема изменения климата, включающая в себя открытые, сложные и недостаточно изученные системы [см. Rittel, Webber, 1973; Prins et al. 2010]) и комплексное устройство общественной жизни само по себе не противоречат демократии возможности демократического участия.

4.8. Границы свободы науки

Не только известные примеры кардинального вмешательства политики в развитие науки, в частности, в диктаторских режимах

заключается в том, «можно ли сохранить демократию в данном регионе [Юго–Восточной Азии] или, если уж на то пошло, вообще где бы то ни было в мире, учитывая беспрецедентную и неумолимую природу тех угроз, перед которыми мы все оказались <...> В подобных обстоятельствах формы "хорошего" авторитаризма, где неэкологичные способы поведения просто–напросто запрещены, не только оправданы, но могут даже сыграть решающую роль в выживании человечества, по крайней, мере хоть в сколько–нибудь цивилизованном виде». На свой вопрос Бизон отвечает так (Beeson, 2010: 289): «авторитарный режим [такой, как в Китае], пожалуй, в большей степени способствует сглаживанию экологических проблем, нежели любое другое правительство на Земле».

²²⁷ Например, Билл Маккиббен (McKibben, 2012) в статье «Настало время выступить против статус–кво» в: *Solutions: For a Sustainable and Desirable Future* 3: 29.

Сталина или Гитлера, свидетельствуют о границах свободы науки, но и определенные события в демократических государствах, доказывающие, что и там беспрепятственное развитие научного знания нередко сталкивается с некими пределами. Один из ярких примеров — влияние эры Маккарти на научное сообщество в Соединенных Штатах (Basdash, 2000).

В одной из своих работ о знании власти, которую Ч. Р. Миллс (Mills, [1955] 1967) писал под впечатлением от политического влияния сенатора–республиканца из Висконсина Джозефа Маккарти и президента Дуайта Д. Эйзенхауэра, Миллс обращает внимание на глубокую пропасть, разделявшую знание и власть в американском обществе в послевоенный период. Если в эпоху образования Соединенных Штатов сочетание образования и власти в лице политических актёров еще было само собой разумеющимся (Джордж Вашингтон читал «Письма» Вольтера и «Опыт о человеческом разумении» Локка, Дуайт Д. Эйзенхауэр двести лет спустя читает истории о Диком Западе и детективы), или, другими словами, образованная элита была в то же время элитой политической, то начиная с середины 1950–х годов это соединение знания и власти распалось. Помимо того, что в своей обеспокоенности по поводу растущей пропасти между образованием и знанием, с одной стороны, и политикой, с другой, Ч. Райт Миллс исходит из определенного понимания знания и образования, обращает на себя внимание то обстоятельство, что он, по всей видимости, не только убежден в традиционно превозносимом эмансипационном потенциале образования и знания в политике, но и игнорирует противоположное утверждение о репрессивной власти знания, несмотря на то, что с ним согласны многие социальные теоретики, которым Миллс в остальном симпатизирует.

Значительная часть видных социальных теоретиков рассматривает как прошлый, так и новый век не в последнюю очередь как эпоху ученых, советников и экспертов. Научная элита взаимодействует с властной элитой в роли оплачиваемых экспертов и консультантов. Прежняя формула, согласно которой власть предполагает знание, или, другими словами, власть имущие должны быть умными, сохранилась, по мнению Миллса, лишь в виде некоего стереотипа, проявляющегося, например, в вопросе, если ты

такой умный, то почему не богатый и не могущественный? Однако эта формула указывает на идею, распространенную лишь среди неспециалистов: власть — это знание. Тот, кто утверждает, что успех зависит от знания, утверждает, по сути, что власть есть знание, или же что знание легитимирует власть.

Сегодня невозможно себе представить, чтобы представители социальных или культурологических наук последовали совету, сформулированному более ста лет назад протестантским богословом и либеральным политиком Фридрихом Науманом (Naumann, 1909: 626–627): «Быть может, есть своя правда в том, когда объяснение политических сил начинают с рассуждения о власти людей, не причастных к политике <...> Этими людьми управляют, с них, по возможности, взимают налоги, с них берут штрафы, если они едут по тротуару верхом на лошади или если они не заботятся о том, чтобы их дети были привиты, но то, что они представляют собой политическую силу, меньше всего приходит в голову им самим». В самом деле, вплоть до сегодняшнего дня на это обращали внимание лишь очень немногие представители общественных и гуманитарных наук. Их ответ на рекомендацию Наумана — главная тема следующего раздела моей работы.

5. Знание власть имущих

Представители социальных наук питают серьезные сомнения в отношении адекватности демократической формы правления тем проблемам, что встают перед современными обществами, т. е. в отношении способности демократических режимов принимать политические решения при помощи институциональных структур, обеспечивающих участие и информированность максимального числа граждан. В предыдущем разделе я рассмотрел некоторые из надежд и опасений в отношении демократии, высказанных в контексте оценки общественной роли науки как института. Взгляды философов Венского кружка и Джона Дьюи представляют один полюс этого спектра; другой полюс, а именно более пессимистичный или, как сказали бы его сторонники, более реалистичный взгляд на возможность сохранить политический идеал демократии как формы правления в современных обществах ввиду насущных и, возможно, неразрешимых задач, представлен в работах Уолтера Липпмана и некоторых исследователей климата²²⁸. В следующих разделах моего исследования я рассмотрю общественную роль научных знаний и их влияние на политические отношения и политическое поведение в обществе. При этом ключевое значение для меня имеет модель разделения знаний в обществе и стратификация доступа к научному знанию. Тезис о принципиальной неравномерности общественного распределения научных знаний есть не что иное, как утверждение о привилегированном статусе власть имущих в результате их одностороннего контроля над плодами научного труда.

²²⁸ Имеется в виду, в частности, изменение климата, представляющее собой проблему, которая, возможно, никогда не будет «решена», но над которой придется постоянно работать (см. Prins et al., 2010).

Поэтому в первом разделе, посвященном этим темам, я рассматриваю спорный вопрос о концентрации знания в современном обществе и трудности, возникающие в связи с его неравным распределением в обществе. К предпосылкам традиционного взгляда на распределение знания относится не только идея о том, что знание распределено асимметрично, но и о том, что элиты контролируют и имеют исключительный доступ к важнейшим и, самое главное, способствующим утверждению их господства знаниям. В завершающем разделе своего исследования я объясню причины своего сомнения в истинности этого подхода, превратившегося едва ли не в железный закон, и рассмотрю противоположную и гораздо более интересную постановку вопроса о том, не может ли знание служить «оружием» социально слабых членов общества и не могут ли обычные граждане мобилизовать научные познания в поддержку своих убеждений и целей.

Традиционный тезис о симметрии знания и власти опирается на ряд допущений, которые, в свою очередь, были сформулированы в контексте различных познавательных интересов, как, например, тезис Вебера о господстве за счет знания или идея Ральфа Дарендорфа о том, что существует нечто вроде отдельного глобального класса (представителей которого можно наблюдать в лаунж-зонах международных аэропортов), чьи властные преимущества являются следствием привилегированного доступа к знанию, эффективному в политической, экономической или культурной сфере, или же их способности пользоваться услугами экспертов, которые, в свою очередь, могут мобилизовать такого рода знания. Кроме того, ряд видных общественных теоретиков исходит из того, что современные общества во все возрастающей степени основываются на знаниях и что пути их развития уже не зависят от классических факторов производства, т.е. от труда и собственности. Соответственно, и в современных обществах, как и в некоторых более ранних общественных формациях, происходит конвергенция власти и знания.

Концентрация власти в современных обществах, как подчеркивает, в частности, Алвин Гулднер (Gouldner, 1978: 159), определяется классовой принадлежностью. Гулднер особо выделяет так называемый «новый класс», чье положение в обществе основано

на знании: «Новый класс элитарен, он находится в поисках себя и использует свои специальные знания для продвижения своих интересов, укрепления власти и контроля над своим положением на рынке труда <...> Власть нового класса продолжает расти <...> Власть этого неоднозначного, с точки зрения морали, нового класса усиливается, и он владеет закладной, по крайней мере, на какое-то одно историческое будущее». Так или иначе, в самых разных теориях современных обществ, например, в теории информационного или сетевого общества, особо выделяется принимаемый многими вывод о том, что в такого рода социальной системе на основании неравномерного распространения знаний в обществе складывается еще одна стратификационная структура, параллельная, в частности, той, что возникает по итогам рыночной экономики.

Гораздо меньше единодушия сторонники различных теоретических подходов демонстрируют, когда речь заходит об оценке конкретных социальных последствий сосредоточения знания в руках небольшой социальной прослойки. В зависимости от того, на какие тенденции ориентируются тот или иной подход, концентрация знания в обществе рассматривается либо как благо для всех граждан (ввиду создания добавленной стоимости), либо как нарушение базовых демократических прав. Точно так же отсутствует консенсус среди наблюдателей в отношении причин сосредоточения знаний в руках тех, кого называют «лидерами», или же отдельных групп в рамках различных социальных институтов.

Прежде всего я хотел бы кратко рассмотреть три теоретических подхода, сторонники которых единодушны в том, что в современных обществах существуют новые структуры неравенства, тесно связанные с выборочной передачей и распространением науки и техники, а также культурного и человеческого капитала. Далее в том же разделе я изложу четыре конкретных разработки идеи о возникновении новых классов в современных обществах: класса производителей смыслов, класса производителей информации, креативного класса и глобального класса. Каждый из этих классов извлекает выгоду из привилегированного доступа его членов к новым знаниям в обществе.

Хайнц Ойлау (Eulau, 1973: 170) в начале 1970-х годов обратил внимание на тенденцию так называемой революции умений (skill revolution, которую, впрочем, не стоит путать с идеей соответствующей «элиты умений») как на один из характерных признаков индустриального и технологического общества. Принципиально новой является доля профессий, требующих высоко специализированных профессиональных знаний. Ойлау убежден, что рост специальных знаний имеет место повсюду, независимо от классовой принадлежности, т. е. как среди среднего класса, так и в рабочей среде. Примерно в тот же период Дэниел Белл (Bell, 1971: 5) занялся изучением технологического и научного развития как движущей силы политических преобразований и изменения структур поиска политических решений в современных обществах, которые, по его мнению, носят все более «технический характер». Белл, однако, не соглашается с выводом Ойлау о перераспределении власти в обществе вследствие этой тенденции. Он прогнозирует появление нового правящего класса, члены которого будут рекрутироваться не из «предпринимателей и бизнеса», а из среды наукоемких предприятий, промышленных лабораторий, экспериментальных исследовательских учреждений и университетов (Bell, 1967: 27). Одновременно с этим, по мнению Белла, рабочий класс будет сокращаться, а прослойка работников интеллектуального труда постепенно будет занимать место господствующего класса в постиндустриальном обществе (Bell, 1967: 4)²²⁹.

Как мы видели, Ойлау (Eulau, 1973: 1721), напротив, не убежден в том, что мы являемся свидетелями возникновения новой элиты, отличающейся своими особыми профессиональными знаниями. Революция умений — не единственный важный тренд в развитии общества: «Тенденции, противоположные революции умений и появившиеся в ответ на сбои в функционировании общественной

²²⁹ Список социальных теоретиков, которые по схожим причинам и примерно в то же время приходят к выводу, что мы наблюдаем формирование новой политической элиты в результате сосредоточения общественно важных форм знания, легко можно продолжить (см., например: Young, 1961; Galbraith, 1967).

системы, возможно, ослабят или рассредоточат концентрацию власти в руках тех, кто обладает новыми умениями и специализированными знаниями». По поводу возможных политических последствий растущего значения специальных знаний Ойлау (Eulau, 1973: 189) пишет, что в политике, равно как и в сфере услуг в обществе будущего сформируется так называемое «делиберативное управление»²³⁰.

Алвин Гоулднер (Gouldner, 1978: 163; 1979) в своей уже упоминавшейся концепции формирования нового класса также исходит из того, что власть и влияние этого класса будут зависеть от их монополии на технические знания и что благодаря контролю над техническими знаниями «производительных сил и административных рычагов» он «де-факто уже в значительной степени контролирует способ производства и, следовательно, систему механизмов регулирования, с помощью которой он преследует свои интересы». Конфликтующие между собой классы современных обществ борются за контроль над «механизмом» производства и управления, и эта конкуренция «отчасти заключается в противостоянии между классом, обладающим законным правом собственности на средства производства, и классом, чьи технические знания позволяют ему эффективно овладеть средствами производства».

В заключительной части моего исследования, посвященной, с одной стороны, политике в обществах знания, а с другой, вопросу о шансах общественно-политического участия и о доступе к знаниям, я делаю акцент на тематике распределения знания. В особенности в разделе о возможностях участия и знании я стараюсь не исходить априори из того, что распределение знаний в обществе носит ярко выраженный асимметричный характер. Утверждение о том, что знание и демократия не всегда совместимы, неоднократно воспроизводилось многими наблюдателями на протяжении последних десятилетий и нашло отражение не только в так называемом «железном законе олигархии», но

²³⁰ Одним из теоретиков, прогнозирующих и в целом приветствующих переход к правлению экспертов, является Роберт Лейн (Lane, 1966), автор концепции «компетентного общества».

и в различных попытках вдохнуть новую жизнь в марксистскую классовую теорию.

Гипотеза о так называемом разрыве в уровне знаний ("knowledge gap"), сторонники которой в своих формулировках и эмпирических данных, как правило, свободно обращаются с понятиями информации и знания, нередко смешивая их (см., например: Jeffres, Neuendorf, Atkin, 2012: 59; Cacciatore, Scheufele, Corley, 2012), — еще один значимый пример широко распространенного допущения о том, что распределение знаний и/или информации в обществе стратифицировано и попытки смягчить различия, в частности, при помощи масс-медиа или сети Интернет, наоборот, приводят к тому, что изначальный разрыв в уровне знаний и информации еще больше увеличивается. Впервые гипотеза о разрыве в уровне знаний была сформулирована Тиченором и его коллегами в Миннесоте (Tichenor, 1970; Tichenor, Donohue, Olien, 1980: 159–160)²³¹. На основании ряда различных исследований и данных о распространении новостей, о меняющихся тенденциях, о забастовке в газетной редакции и о полевом эксперименте, а также на основе новой интерпретации результатов этих исследований авторы приходят к выводу, что «растущий поток новостей по той или иной теме ведет к увеличению объема знаний по данной теме среди более образованных слоев населения» (Tichenor et al., 1970: 159).

Для лучшего понимания того, что привело к получению подобных результатов, необходимо расширить контекст, включив в него те контингентные условия, которые связаны с возникновением разрыва в уровне знаний. Интерпретации конкретных причин, различных мотивов (ср. Genova, Greenberg, 1979) и институциональных факторов, в частности, образовательного уровня акторов, сильно варьируются (ср. Ettema, Kline, 1977; Holbrook, 2002).

²³¹ Концепция «информационного перенасыщения», по крайней мере, в некоторых аспектах, в частности, в век Интернета, чрезвычайно схожа с концепцией «разрыва в уровне знаний», поскольку и та, и другая указывают на «полноту» имеющейся информации и тем самым обращают внимание на то, что мы, если лишить нас возможности рассчитывать на кого-то еще, кроме себя самих, неспособны действовать; чтобы иметь возможность действовать (или принимать решения), мы должны рассчитывать на некие другие силы, находящиеся вне нас.

Тем не менее, авторы всех исследований и интерпретаций исходят из того, что такой разрыв действительно существует, и преодолеть его очень сложно, если вообще возможно. За прошедшие годы тезис о разном интеллектуальном капитале расширился и теперь относится не только к отдельным людям, но и к целым регионам и странам (ср. World Economic Forum, 2011). По аналогии с различиями внутри общества, здесь тоже существуют сомнения, что разрыв в уровне знаний между разными обществами удастся сократить в ближайшем будущем. Напротив, многие обращают внимание не только на вероятность сохранения этого разрыва, но и на то обстоятельство, что «разрыв в уровне знаний, скорее всего, усугубит различия между богатыми и бедными, не позволив многим развивающимся странам покинуть зону относительной бедности» (Persaud, 2001: 108).

При поверхностном рассмотрении ожидание общественного и политического участия широких масс населения, которые при максимально благоприятных обстоятельствах могли бы обращаться к правительству через неспециалистов, не входит в круг опасений в отношении работоспособности демократической формы правления. В статье в «Нью-Йорк Таймс» от 2.01.2000 о высокой доле граждан США, не участвующих в выборах, говорится о том, что у более половины детей в Соединенных Штатах родители не ходят на выборы. В 2000 году на президентские выборы в США впервые, после 1924 года, не явилось большинство граждан из тех, кто обладает правом голоса.

5.1. Господство на основе знания

Один из самых известных, последовательных и влиятельных анализов когнитивного авторитета (инструментального) знания и мира экспертов представлен в веберовской теории бюрократической организации, которая легла в основу его теории современной политики. Вебер пишет (Weber, [1922] 1976: 129): «Бюрократическое правление означает господство на основе знания — в этом заключается его специфически рациональный характер. Помимо крепких властных позиций за счет профессионального знания, бюрократия (или использующий ее правитель) имеет тенденцию

наращивать свою власть за счет должностного (служебного) знания: знания фактов, приобретенного при продвижении по службе или "из документов". Главным «преимуществом бюрократического управления являются профессиональные знания, неизбежная потребность в которых обуславливается современной техникой и экономикой производства товаров», и поэтому, как аргументирует Вебер (Weber, [1922] 1976: 128) в своей однозначной старопрусской манере (ср. Niethammer, 1989) и, возможно, опираясь на личный опыт, «совершенно неважно, каким образом организовано это управление — капиталистически — что, при условии необходимости достижения тех же технических результатов, означало бы лишь несоразмерный рост значимости профессиональной бюрократии — или социалистически». Ввиду того, что господин, причем независимо от того, какому именно «господину» (народу или парламенту) служит бюрократия, «перед вовлеченным в административную машину, специально подготовленным чиновником всегда оказывается в положении "дилетанта" перед лицом "специалиста"» (Weber, [1922] 1976: 572), трудно себе даже представить, каким образом можно пошатнуть власть «профессионально знающих» людей.

По мнению Вебера, бюрократия способна действовать с непревзойденной эффективностью, надежностью, предсказуемостью, точностью и рациональной подконтрольностью. Авторитет этого аппарата управления проистекает из правовых норм²³² и технических знаний, являясь одновременно основой и результатом непрерывной работы чиновников в учреждениях.

Законодательные нормы и правила сходятся в одной точке; успешное применение общих правовых норм требует абстрактного знания. Тесная связь правовых норм и знания в объективном, формальном и техническом дискурсе, который Вебер описывает как главный элемент легального господства, есть репрезентативное выражение отношений бюрократических организаций в девятнадцатом веке. В этой классической веберовской

²³² Вера в «легальность установленного порядка и права отдавать распоряжения со стороны тех, кто призван этим порядком господствовать», образует основу рационального (легального) господства (Weber, [1922] 1976: 124).

концепции ключевым субъектом знания, прежде всего в рамках государственных бюрократий, является «правовая система и в особенности те ее элементы, которые составляли правительственный и административный аппарат, контролировали их деятельность и регулировали их отношения с частными лицами. В праве видели язык самого государства» (Poggi, 1982: 356).

Рациональное, бюрократическое знание процветает в «бесчеловечном», обездушенном социальном контексте: «Господство <...> без ненависти и страсти, а значит, без "любви" и "энтузиазма", исключительно под давлением понятия о долге; без "уважения к личности", формально одинаковое для "всех и каждого", т. е. всех просителей, находящихся в одном и том же фактическом положении, обслуживает идеальный чиновник своего ведомства» (Weber, [1922] 1976: 129). Бюрократический аппарат наиболее эффективно выражает ментальность современной культуры и в наибольшей степени способствует развитию ее специфических характеристик:

«Свое специфическое, благоприятствующее капитализму своеобразие она развивает тем успешнее, чем больше "обесчеловечивается", т.е. чем совершеннее становится специфическая особенность, которую ставят ей в заслугу: исключение любви, ненависти и любых других сугубо личных, в целом любых иррациональных, не поддающихся расчету элементов восприятия из совершения должностных дел. Вместо правителей прежних формаций, которыми двигало личное участие, благоволение, милость, благодарность, современная культура, чем более сложной и специализированной она становится, требует для внешнего аппарата, поддерживающего ее, все более по-человечески безучастного и, стало быть, строго "объективного" специалиста» (Weber, [1922] 1976: 563).

Современной бюрократии удастся рационализировать иррациональное. Особенно эффективно она функционирует в том случае, если умеет избегать привычных конфликтов между формальной и материальной рациональностью, например, за счет того, что не претендует на такую функцию политиков, как определение целей²³³. Поэтому для Вебера (Weber, [1922] 1976: 565) имеет

²³³ История развития понятия «рациональной организации» кратко и убедительно изложена в: Mannheim, 1935: 28–30.

решающее значение тот факт, «что, по сути, за каждым деянием подлинно бюрократического управления стоит система поддающихся рациональному обсуждению "причин", т. е. либо подведение под те или иные нормы, либо взвешенная оценка целей и средств».

Бюрократия как идеальный тип является также ключевым элементом веберовской концепции модернизации. Бюрократическое господство — самый однозначный признак современного общества, контрастирующий с традиционным административным господством. «Прогресс, ведущий к формированию бюрократического <...> чиновничества, — столь же однозначный показатель модернизации государства», поскольку «так называемый прогресс, ведущий к утверждению капитализма, с эпохи средневековья является однозначным показателем модернизации экономики» (Weber, [1921] 1980: 320). Кроме того, в бюрократии Вебер в каком-то смысле видит категорию естественной истории. И от прочих «общественных носителей современного общественного уклада» она отличается «гораздо большей неминуемостью» (Weber, [1922] 1976: 834). Бездушная пассивность, которой требует от индивида современная система господства, фатализм и триумф основанной на разделении труда бюрократизации всех жизненных форм современного мира именно вследствие ее беспрецедентно рациональной формы позднее нашли отражение в понятии «управляемого мира» в работах Адорно и Хоркхаймера²³⁴.

Наконец, в рациональности профессиональной специализации в контексте действий бюрократических организаций сокрыта модель строго рациональной власти машины, а значит, она таит в себе опасность вездесущей и неразрушимой формы рационального господства чистой целесообразности:

²³⁴ Мы не будем останавливаться на вопросе о том, отличает ли творчество Вебера противоречивость познавательных интересов (см. об этом: Alexander, 1987), так как, с одной стороны, он ориентирован на анализ реализации индивидуальных свобод и институционализации плюралистического господства в развитых западных странах, а, с другой стороны, уделяет особое внимание процессу усиливающейся рационализации или даже технологизации контекстов действия и, следовательно, пассивности индивида в современных обществах (которая, при определенных условиях, оценивается положительно).

«Безжизненная машина представляет собой сгустившийся дух. Только то, что она такова, наделяет ее силой принуждать людей служить ей и определять будни их рабочей жизни так властно, как это фактически происходит на фабрике. Сгустившийся дух — это еще и та живая машина, какой является бюрократическая организация с ее требующим специального обучения профессиональным трудом, с ее разграничением компетенций, с ее уставами и с иерархически ступенчатыми отношениями подчинения. В союзе с мертвой машиной эта организация стремится изготовить оболочку той будущей личной зависимости, с которой люди — подобно феллахам в древнеегипетском государстве — вероятно, со временем вынуждены будут бессильно смириться, если с чисто технической точки зрения хорошее, т.е. рациональное управление и обслуживание со стороны чиновников будет для них последней и единственной ценностью, выносящей решения об управлении их делами» (Weber, [1918] 1958: 352; [1922] 1976: 835).

Помимо закрепленных в конституциях современных государств гражданских прав, устанавливающих пределы господству государственно-бюрократического аппарата, единственным средством сопротивления против этого неукротимого марша современной бюрократизации является формирование собственных организаций, которые, впрочем, в конечном итоге подчиняются тому же закону функционирования властных структур. По-видимому, имея в виду классическое исследование Роберта Михельса (Michels, [1915] 1970) о самоорганизации политических партий²³⁵, Вебер обращает внимание на то, что «обычно подданные могут сопротивляться существующему бюрократическому господству лишь посредством создания собственной анти-организации, точно так же подвластной процессу бюрократизации».

Разумеется, Вебер понимал, что и способность государства к эффективным действиям, и относительные преимущества

²³⁵ Вольфганг Моммзен в своей книге «Политическая и социальная теория Макса Вебера» (Mommesen, 1989: 87–105) анализирует различия и сходства в трактовке бюрократизации политической жизни у Михельса и Вебера. По сравнению с Михельсом, Вебером гораздо меньше был обеспокоен последствиями бюрократизации политической жизни и тенденцией к олигархическим структурам в политических партиях.

рационального бюрократического знания также имеют свои границы. По мнению Вебера (Weber, [1922] 1976: 129), существует лишь один социальный институт, систематически превосходящий бюрократию по уровню знания — «специальных и фактических знаний в своей сфере интересов»: это «заинтересованное частное лицо, занимающееся своим делом». Стало быть, предприниматель—капиталист — единственный, кто выходит из—под контроля этой системы благодаря своему знанию. Лишь ему удастся сохранять иммунитет по отношению к легальной власти. В чем же причина этой независимости капиталиста от государственной бюрократии? Вебер (Weber, [1922] 1976: 574) так отвечает на этот вопрос: «Компетентность бюрократии превосходит только компетентность представителей частной экономики в экономической области. Объясняется это тем, что для них точные фактические знания в их сфере являются вопросом хозяйственного выживания: ошибки в служебной статистике не повлекут прямых экономических последствий для совершившего их чиновника, тогда как ошибки в расчетах капиталистического предприятия ведут к финансовым потерям и, возможно, к банкротству».

Если в «Хозяйстве и обществе» Вебер описывает чистый, формальный тип господства, осуществляемого бюрократическим штабом управления, то в своих политических работах он исследует разнообразные сбои и несовершенства бюрократии, ее тенденцию к обособлению, границы бюрократического модуса правления и его институциональные связи, одним словом, то, что бюрократия делать не может или не должна (Merton, 1939: 660–568). Оказывается, что легальное господство само подвержено рутинизации и противоречиям, что чревато конфликтами. Бюрократии не только собирают и накапливают знания, но и пытаются защитить их (ссылаясь, к примеру, на «служебную тайну») от «посторонних» (ср. Weber, [1922] 1976: 572–573), а также используют их в инструментальных целях. Вольф (Wolf, 1988: 166) приходит к выводу, что необходимое для осуществления господства преимущество в знаниях может быть сравнительно небольшим: «Нет необходимости знать все, достаточно знать лишь немного больше, чем потенциальный противник, чтобы, "благодаря знанию" сохранить шансы на реализацию своей воли». Таким образом, господство

посредством знания, как можно заключить из вышесказанного, указывает на растущую опасность политики без политиков.

Поскольку политические лидеры все чаще оказываются «дилетантами», контролировать экспертов могут только другие эксперты: правитель «контролирует одного специалиста при помощи других» (Weber, [1922] 1976: 574). Кто контролирует управленческий аппарат и господствует над ним? Вебер (Weber, [1922] 1972: 128) считает контроль со стороны неспециалиста возможным лишь до известной степени, так как в целом «профессиональный тайный советник в должности министра, как правило, в долгосрочной перспективе превосходит [...] неспециалиста в осуществлении своей воли».

Конвергенцию знания и правовых норм, составляющую суть легального господства, согласно Веберу, подрывает прогрессирующее расширение функций современного государства. Безусловно, знание по-прежнему играет важную роль, однако квазимонопольное положение юридического дискурса и, соответственно, когнитивных основ государственной власти все чаще оказывается под вопросом в свете растущей политической, технической и экономической значимости других форм власти. В первую очередь возрастает спрос на различные научные знания вне правовой науки, которые также образуют основу для принятия решений бюрократическим аппаратом современного государства. То, что расширение диапазона знаний, релевантных для бюрократических организаций, имеет как положительные, так и отрицательные последствия, прежде всего, для характера и объема возможного господства посредством знаний, очевидно. К негативным последствиям растущего доверия к неюридическому знанию, по мнению Погги (Poggi, 1982: 358), относится то, что уменьшается значение обыденного знания, и граждане становятся пассивными, незнающими зрителями, со стороны наблюдающими за важными для них действиями государства. Я попытаюсь показать, что открытость бюрократических организаций по отношению к новым формам знания имеет прямо противоположные последствия, в связи с чем можно говорить, скорее, об утрате власти по причине знания. К такому выводу подталкивает уже одно то, что степень дееспособности граждан — не только

в их взаимодействии с легальным господством — невозможно представить себе как нечто статичное.

Еще один важный в данном контексте вопрос касается того, достиг ли процесс бюрократизации и «рационализации» организаций максимально возможного уровня и определяются ли дальнейшие изменения авторитета организаций такого рода экономической эффективностью или рыночными факторами. Как показывают результаты многочисленных эмпирических исследований, корпоративные акторы отнюдь не всегда действуют рационально и эффективно. Кроме того, социальные изменения внутри организаций совершенно не обязательно следуют из стремления оптимизировать деятельность или из роста уровня рациональности (ср. DiMaggio, Powell, 1983).

Стиль и успех организаций все реже опирается на бюрократические модели. Децентрализация и внутренняя гомогенность — вот типичные признаки, которые все чаще встречаются в организациях современных обществ. Число различных типов организаций растет, а «продолжительность жизни» определенных организационных структур, которые берутся другими за образец, сокращается²³⁶. На основании обширной базы данных, собранных в 1980-е годы, Кантер (Kanter, 1991; см. также Barzeley, 1992) приходит к выводу, что крупные организации вступили в постбюрократическую фазу. Это означает, что эффективным способом реагирования на быстро меняющееся окружение с характерным для него высоким уровнем случайности и неопределенности оказывается уже не стремление полностью элиминировать риски, унификация, систематизация и повторение, а креативность, гибкость, дистанция и ориентация на результат. Работники новых корпораций, согласно Кантеру (Kanter, 1991: 75), надеются, что постбюрократические стратегии принесут им более высокий уровень удовлетворенности от работы и заработной платы, однако «большая часть этих преимуществ зависит от работы индивида или команды и не обеспечивается автоматически самой корпорацией».

²³⁶ Описание различных форм знания в современных организациях с точки зрения системной теории см. в: Baescker, 1998: 4–21.

Чиновники и специалисты как статусные группы схожи не только в теоретическом отношении, но и с точки зрения своего исторического развития, поэтому и рассматривать их следует в сравнении. Так, например, немецкая буржуазия, несмотря на существенные исторические различия, имеет очень много общего с англо–американским средним классом. И тот, и другой класс «достиг своего положения в значительной мере благодаря тем качествам, которые объединяют модели профессионализма и бюрократии» (Gipsen, 1988: 563).

Хотя немецко–итальянский социолог Роберт Михельс был не первым, кто обратил внимание на тенденцию к возникновению олигархических структур в сравнительно крупных социальных организациях, более ранние теории о схожем развитии власти небольшой группы внутри организаций такого рода гораздо более оптимистичны. Так, например, Карл Маркс и Фридрих Энгельс предполагали, что власть не будет сосредоточена в руках нескольких правителей, когда социалистические организации и их члены станут более «зрелыми». Роберт Михельс, напротив, не надеялся, что то, что с момента выхода в свет его работ стали называть «железным законом олигархии», когда–нибудь удастся преодолеть и заменить демократическими формами внутренней организации.

5.2. «Железный закон» олигархии

В своем классическом исследовании «Социология политической партии», посвященном недемократическим тенденциям в крупных организациях, которые парадоксальным образом появляются в процессе стремления к демократическим целям, Роберт Михельс (Michels, [1915] 1970: 83–85)²³⁷ описывает едва ли не

²³⁷ Цель и предмет своего исследования Михельс (Michels, [1908] 1987: 144) объясняет следующим образом: «Для освещения этих тенденций внутреннее устройство современных рабочих партий является наиболее подходящим полем для самого эффективного наблюдения. В консервативных партиях тенденции к олигархии проступают с той самоочевидной откровенностью, которая и определяет олигархический по своей сути характер этих партий. Однако и в оппозиционных партиях те же явления обнаруживаются с той же очевидностью, с той лишь разницей, что наблюдение в данном

«естественное» состояние некомпетентности и незрелости «массового человека» в современных демократических обществах. И тот факт, что массы объективно не в состоянии «самостоятельно организовать свои дела, делает необходимым появление экспертов». Так, в целом безразличные к политике рабочие в пролетарских организациях своими силами порождают новых правителей, «в арсенале которых их более высокий уровень образования является едва ли не самым мощным оружием»²³⁸. Партийная политика становится полноценной профессией, профессиональный политик доминирует в политической сфере — остается лишь добавить, что подобная ситуация во многих демократических странах сохранилась вплоть до сегодняшнего дня.

Далее Михельс (Michels, [1915] 1970: 75) утверждает, что из совокупности общественных тенденций, препятствующих реализации демократии, особо выделяется тенденция к организации, и связано это с тем, что организации обладают «жесткой структурой», образующей основу для появления «дифференциаций». Помимо размера организации, будь то демократическое государство, политическая партия или профсоюз, к дифференциации, например, в форме разделения труда, ведут определенные особенности организационных задач. Разделение труда порождает специалистов. Специалисты пользуются авторитетом. Компетентность начинает играть главную роль. Согласно краткой и четкой формулировке Михельса: «Говоря "организация", мы говорим "олигархия"».

Несмотря на то, что должность «вождя» организации формально подлежит контролю со стороны «ведомых», в «растущей организации <...> контроль обречен на иллюзорное существование. <...> Сфера демократического контроля непрерывно

случае оказывается гораздо более ценным, поскольку революционные партии, по своему волеизъявлению и цели возникновения, представляют собой отрицание данных тенденций. Стало быть, их появление там — несравненно более убедительное доказательство имманентного существования олигархических черт в любой целенаправленной организации».

²³⁸ В своих рассуждениях о неизбежном противостоянии между ведомым и ведущим Роберт Михельс придерживается теоретической позиции своего коллеги (с 1907 года) по Туринскому университету Гаэтано Моски и его теории элит (см. Cook, 1971).

сужается». Возникающие структуры дифференциации носят олигархический характер и проистекают из «технических потребностей», а также практической необходимости. Роберт Михельс (Michels, [1915] 1970: 75) отмечает, что даже «радикальное крыло в социально-демократической партии <...> не может ничего возразить против этого регрессивного развития. Говорят, что демократия — не более чем форма, а форму нельзя ставить выше содержания».

Распределение правящих ролей в растущих организациях происходит на основании компетентности претендентов, что ведет к существенному разрыву в уровне образования между простыми членами и лидерами организации. В пролетарских партиях «предводителями организованного пролетариата не вопреки, а по причине приобретенного ими во враждебном лагере изначально превосходящего знания» становятся «дезертиры, бежавшие из класса буржуазии» (Michels, [1915] 1970: 77). Это различие в компетентности и опыте сохраняется и за пределами организации, в частности, в парламентской системе, где также важны знания. В результате политическая элита становится незамеченной, внутри олигархий образуются новые олигархии, что, в свою очередь, ведет к отрицанию демократических принципов. Михельс (Michels, [1915] 1970: 85) на основании этих наблюдений делает общий вывод о том, что партия социал-демократов, которой посвящено его исследование, — не демократическая партия, а партия, ставящая перед собой цель достичь демократии. С точки зрения Роберта Михельса (Michels, [1915] 1970: 86), из всех его наблюдений и размышлений о соотношении знания и демократии следует, что «демократия [превращается] в правление лучших [компетентных], т.е. в [демократическую] аристократию». Поскольку в центре «Социологии политической партии» Михельса — Социал-демократическая партия Германии начала прошлого столетия, напрашивается вопрос, не удалось ли Михельсу с его «железным законом» олигархии и в самом деле открыть «социологический закон»²³⁹.

²³⁹ Возникает вопрос, как именно Роберт Михельс трактует понятие демократии в своем исследовании, измеряя тенденцию к олигархии внутри

Сеймур Мартин Липсет, Мартин Э. Трой и Джеймс С. Коулмен (Lipset, Trow, Coleman, 1959) в своем также уже классическом исследовании под названием «Профсоюзная демократия», где они, отталкиваясь от идей Роберта Михельса, анализируют демократические отношения в американском профсоюзе, а именно в Международном типографском союзе (ITU), показывают, что демократический контроль лидеров профсоюза со стороны рядовых членов в принципе вполне возможен. Объясняется это тем, что в данном конкретном профсоюзе существует две конкурирующие партии. Стало быть, мы не можем говорить о том, что Липсету и его коллегам на примере этого конкретного случая удалось в целом опровергнуть общую теорию Михельса²⁴⁰.

Невежество, пассивность и отсутствие интереса со стороны членов однопартийных профсоюзов на руку лидерам организации, поскольку укрепляют их властные преимущества. Так, Липсет и его коллеги (Lipset, Trow, Coleman, 1959: 402) подчеркивают: «Чем меньше членов знают или хотят знать о проводимой политике, тем надежнее положение лидеров. Поэтому однопартийная организация в профсоюзе старается ограничить участие, в то время

Немецкой социал-демократической партии. Филип Кук (Cook, 1971: 785) констатирует, что Михельс делает это с позиций радикального профсоюзного активиста, рассматривая демократию «не как институциональную форму или процесс принятия решений, а как синдикалистский социальный и политический идеал всеобщего равенства» (см. также Scaff, 1981). Любая организационная форма, неспособная реализовать непосредственное участие или «полностью воплотить в жизнь принцип суверенитета», по мнению Михельса, является нарушением такого идеала демократического поведения. Таким образом, для Михельса демократия — это абсолютный принцип, а не реализуемый в политической практике процесс. См. также критику позиции Михельса в работе Макса Вебера «Избирательное право и демократия в Германии» (Weber, [1917] 1980: 275–276).

²⁴⁰ Позже Сеймур Мартин Липсет (Lipset, 1959: 70) подчеркивал, что их эмпирическое исследование типографского профсоюза выявило «ярчайшее исключение из "железного закона олигархии" Роберта Михельса», но было бы не правильно видеть в нем подробный анализ профсоюзных структур в целом, так как речь идет лишь о возможности «проверить и уточнить "закон" Михельса». Результат исследования выбивающегося из общего ряда случая ведет, таким образом, к конкретизации, но отнюдь не к фальсификации общей теории, сформулированной Михельсом.

как в ИТУ заинтересованность и деятельность рядовых членов — движущая сила партийной жизни».

Совершенно в духе теории Михельса, и сегодня возможность совместить равномерное распределение знаний и демократию снова и снова ставится под сомнение. В работах, где речь идет о выраженной асимметрии и сильной стратификации распределения знаний в обществе, тезис о формировании общества знания неожиданно получает элитарную коннотацию, поскольку доля тех, кто считает себе способным компетентно обращаться с ресурсами информации и знаний или же надеется, что новые характеристики общества будут выгодны и ему, по необходимости невелика и в любом случае не охватывает всю «массу» граждан. Повсюду, как может показаться, те, кто занимает руководящие позиции в обществе, научились эффективно использовать свое превосходство в отношении знаний и обеспечивать себе эксклюзивное пользование техническими инновациями.

Впрочем, при этом, как правило, переоценивается стабильность и продолжительность того или иного преимущества. Так, крупные общественные учреждения, полагавшие, что основа их власти непоколебима, бывают вынуждены констатировать, что их авторитет и влияние падают.

Еще одно беспокойство, часто возникающее в связи с последствиями стремительного роста новых знаний, лучше всего выражено в тезисе о том, что знание по своей сути представляет «угрозу» для общественной стабильности. Так, в частности, Мишель Крозье (Crozier, [1979] 1982: 126) описывает психологические аспекты прироста знаний, которые, по его мнению, вселяют неуверенность и вызывают страх: «... знание подразумевает риск перемен. Оно порождает у людей опасения за свои желания или то, что они считают своими потребностями. Оно превращает упорядоченный интеллектуальный и социальный мир в хаос». Поэтому решающей Крозье считает психологическую реакцию общества на прирост знания, ибо общественная система, которая в состоянии принять риски, связанные с дополнительным знанием, меняется и развивается, в то время как общество, которое всячески избегает рисков, стоит на месте. Впрочем, тезис о том, что знание несет прежде всего непредсказуемые риски и

серьезную угрозу для традиционной картины мира и традиционных моделей поведения, означает в то же время принимаемые как само собой разумеющиеся завышенные ожидания в отношении практической эффективности дополнительного знания.

Концепция угрозы или даже уничтожения широкого символического капитала с появлением нового знания, как правило, сопряжена с убежденностью в том, что знание служит в первую очередь власть имущим. Другими словами, если для власть имущих знание оказывает стабилизирующее воздействие, закрепляя существующие отношения, то для социально слабых слоев оно дестабилизирует ситуацию. В целом характеристики знания, вызывающие опасения и воспринимаемые как угроза, происходят из способности нового знания ликвидировать старые его формы. Знание не только неравномерно распределено в обществе, но и, согласно данной аргументации, обладает свойствами нулевой суммы. Оно подавляет и разрушает условности, способности и ценности, носителями и сторонниками которых, как можно предположить, являются прежде всего низшие слои общества. Знание транслирует и усиливает когнитивное превосходство немногих²⁴¹.

Заключенную в подобных наблюдениях предпосылку о том, что предполагаемая общественная монополизация знания происходит аналогичным и столь же простым способом, что и монополизация капитала или инструментов насилия, я подвергну критическому анализу в последующих разделах моего исследования. Нам предстоит убедиться в том, что запретить пользоваться знанием гораздо сложнее, а утаивание знания связано с высокими затратами (см. также Elias, 1984: 251–252). Однако

²⁴¹ Крозье (Crozier, [1979] 1982: 128) описывает характерную фаталистскую реакцию на новое знание, которая, по его мнению, является чем-то вроде универсальной, разделяемой всеми установки, следующим образом: «На самом деле мы, по всей видимости, больше ничего не контролируем. Повсюду есть свои эксперты, которые устанавливают границы, заставляют людей мысленно с этими границами соглашаться, предписывают тот или иной правильный выбор. Все важные решения принимают те или иные специалисты, никоим образом не учитывающие ситуацию, в которой находятся люди. Кто-то даже думает, что, быть может, когда-нибудь компьютеры смогут принимать все решения без нашего участия».

сначала необходимо с разных теоретических точек зрения рассмотреть противоположный, но часто встречающийся тезис о симметричности власти и знания.

5.3. Симметрия власти и знания

Тот, кто обладает знанием, обладает авторитетом. Он может поучать других. Следовательно, кто претендует на авторитет, должен строить его на знании. Функцию знания в конечном итоге невозможно отделить от политической функции.

Никлас Луман (Luhmann, 1990: 149)

Именно в этом смысле значительная часть всего творчества Мишеля Фуко посвящена доказательству отношений сообщничества, существующих между знанием и техниками дисциплинации и подавления граждан в современном обществе. Знание и власть — это сиамские близнецы: «Власть производит знание; <...> власть и знание непосредственно предполагают друг друга; <...> нет ни отношения власти без соответствующего образования области знания, ни знания, которое не предполагает и вместе с тем не образует отношений власти» (Foucault, [1975] 1977:32)²⁴². Однако вопрос заключается в другом: должна ли эта неразделимость знания и политического авторитета служить всегда одной и той же социально-политической прослойке, а именно правящему классу?

Независимо от критического подхода Фуко в его генеалогии и археологии общественных проблем и сфер, таких как клиническая медицина, психиатрия, пенитенциарная система или сексуальность, где рождается симбиоз власти и знания, в целом соответствующие научные дисциплины вовлечены в организованные практики власти и «успешно» заняты тем, что помогают власть

²⁴² По мнению Фуко, нет смысла также надеяться на то, что общество однажды сможет «исцелиться» от слияния знания и власти: «Знание и власть — неотъемлемые составляющие друг друга, и нет смысла даже мечтать о времени, когда знание перестанет зависеть от власти. <...> Власть не может осуществляться без знания, знание не может родиться без власти» (Foucault, 1977:15).

имущим контролировать членов общества, должным образом влияя на их сознание. Государственные практики формирования гражданина основываются на знаниях, созданных социальными науками («governmentality») ²⁴³. Практические знания переплетаются с властью и, как и власть, суть феномены, зависящие от конкретной ситуации. Как подчеркивает Фуко, социально–политические практики, в которые интегрированы знания, необходимо анализировать в их совокупности. Поэтому направленность своих исследований Фуко (Foucault ([1969] 1972:194; см. также Foucault [1975] 1977:305) описывает следующим образом: «Это знание вместо того, чтобы быть рассмотренным, что всегда возможно, в направлении конкретной эпистемы, открывающей для него место, анализируется в направлении поведения, борьбы, конфликтов, решений и различных тактик. Таким образом выявляется политическое знание, не являющееся вторичной теоретизацией практики, а также чисто теоретическим приложением. <...> Оно немедленно вписывается в игру, разворачивающуюся в поле практических отличий, где сразу же обретает свою спецификацию, свои функции, свою сетку зависимостей».

Знание, интегрированное в различные дискурсивные виды деятельности и институты, Фуко последовательно описывает как политическую анатомию, политическую экономию, дискурсивный порядок или диспозицию и политическую технологию. В результате он приходит к выводу, что знания в форме «инструментов подавления и запретов, исключений и отказов, различных техник и методов ставят индивидов под контроль властей» (Lemert, Gillan, 1982: 60).

И все же Фуко не исключает полностью возможность того, что проявляющаяся в действиях государства взаимосвязь между

²⁴³ Николас Роуз и Питер Миллер (Rose, Miller, 1992: 175) так формулируют идею Фуко об «управляемости» и ключевой роли знания в данном контексте: «Государственное управление — это исторически сложившаяся матрица, в которой выражены все мечты, схемы, стратегии и маневры властей, пытающихся сформировать убеждения и поведение других людей в желаемом направлении, влияя на их волю, условия их жизни или их окружение. <...> Знание <...> играет главную роль в этой деятельности властей и в формировании объекта их воздействия, ибо государственное управление есть область познания, расчета, экспериментирования и анализа».

знанием и властью как «политическая форма централизованной и централизующей власти» (Foucault, 1981: 227), с помощью которой индивиды подвергаются сегрегации, нормализации, контролю, подавлению и идентификации (см., например: Foucault, [1975] 1977: 304), необязательно является тотальной и неограниченной, но может быть и открытой для противоположных воздействий. Власть тоже имеет свои пределы. Несмотря на то, что симбиоз власти и знания отличается высокой эффективностью, по мнению Фуко, есть надежда на то, что и у угнетенных появится некоторая ограниченная свобода выбора и решений. Впрочем, сопротивление как реакция на, казалось бы, исправно функционирующий механизм социального контроля остается за рамками подхода Мишеля Фуко²⁴⁴.

Невзирая на некоторые возможности установления пределов власти знания в роли прислужника власть имущим, доминирующая картина знания, интегрированного в дискурсивные практики, которые контролируются властью, остается неизменной. Образ абсолютной власти государства перекликается с большинством исторических описаний и аналитических работ эпохи великих империй, где воссоздается картина «всепобеждающей власти государства раннего модерна в его взаимодействии с подданными, будь то члены низших социальных слоев, бюрократы и

²⁴⁴ Ср. работу Дэвида Коллинсона (Collinson, 1994: 26), который, в отличие от Фуко, подробно анализирует вопросы возможностей, стратегий и форм сопротивления (как одной из форм власти) подчиненных в организации, в свою очередь отодвигая на задний план проблематику консенсуса, отсутствия интереса и беспомощности: «Почему и как возникает сопротивление? Какой дискурс и какие практики формируют сопротивление? Какие ресурсы и стратегии доступны тем, кто сопротивляется? Как мы оцениваем, эффективно сопротивление или нет? Каковы последствия сопротивления?» Коллинсон (Collinson, 1994: 49) обращает внимание на то, как приобретается и мобилизуется знание и информация в значении источников сопротивления подчиненных при тех или иных организационных условиях действия: «Наемные работники оказывают сопротивление, несмотря на свое подчиненное и нестабильное положение в организации и несмотря на то, что они никогда не обладают всей полнотой информации и знания о будущих последствий». С результатами других исследований на тему сопротивления в организациях можно ознакомиться в: Jermier, Knights, Nord, 1994.

управленцы или туземцы» (Edwards et al., 2011:1399). То же самое впечатление создается по прочтении работ Фуко, и игнорировать такое восприятие невозможно. Когда Фуко делает акцент на социальной эффективности знания, сопряженного с властью, и подчеркивает, насколько эффективна работа знания, оставляющая глубокий след в индивидах и обществе, остается мало надежды на то, что знание может способствовать разнообразию социальных дискретностей или хотя бы поддерживать их существование.

В своей влиятельной теории и критике власти знания в обществе Мишель Фуко не утверждает, что существует некий централизованный аппарат или сеть, в рамках которой знание аккумулируется и становится исходной точкой для централизованного управления механизмами подавления и манипулирования. Однако и власть дискурсов, описанная Фуко, безусловно, впечатляет и ужасает. В современном обществе реализация власти становится частью практики повседневного действия. Власть знания словно рассеивается, интегрируясь в действие и делаясь незаметной. Она проявляется прежде всего в стандартизации поведения и в практиках исключения. Практика власти производит и защищает нормального, стандартизованного индивида.

Ален Турен (Touraine [1992] 1995:168) в связи с данной концепцией всепобеждающей власти нормализации справедливо вопрошает: «Зачем сводить всю социальную жизнь к механизму нормализации? Почему не признать, что культурные ориентации и социальная власть всегда взаимосвязаны и что, следовательно, знание, экономическая деятельность и этические концепции всегда несут на себе отпечаток власти, но в то же время и отпечаток сопротивления ей?» (см. также Megill, 1985: 140–252).

В 1966 году Мишель Фуко издает книгу «Слова и вещи», которая становится философским бестселлером во Франции. В ней он исследует пути становления и развития биологии, экономики и медицины и приходит к выводу, что в конце XVIII века во всех этих дисциплинах происходит коренная трансформация: «Денежная реформа, банковское дело и торговля могут, конечно, принимать более рациональный вид, развиваться, сохраняться и исчезать согласно присущим им формам. Они всегда основывались на определенном, но смутном знании, которое не обнаруживается

для себя самого в рассуждении; однако его императивы — в точности те же, что и у абстрактных теорий или спекуляций, явно не связанных с действительностью» (цит. по: Pagas, 2006:23). Это «смутное знание», которое Фуко называет эпистемой, имеет решающее значение для всех форм дискурса каждого конкретного исторического периода.

На протяжении XVIII века доминирующая эпистема — это отображение действительности в виде таблицы. Все, что существует в этом мире, можно представить как таблицу. При этом нет никаких следов субъекта, составляющего все эти таблицы, что дало повод Канту высмеять данную практику как воплощение «табличного разума». Фуко же приходит к выводу, что для «человека» в подобной эпистеме просто не было места. Лишь с появлением дискурса модерна человек оказывается в центре эпистем. Это означает (во всяком случае, с точки зрения Фуко), что с завершением современного дискурса человек снова исчезнет из эпистемы, «как лицо, начертанное на прибрежном песке», как гласит последнее предложение «Слов и вещей».

В следующей книге Фуко, а именно в «Археологии знания», содержится программный тезис о том, что сам Фуко называет анализом дискурсивных формаций: «Если между определенным количеством высказываний мы можем описать подобную систему рассеиваний, то между субъектами, типами высказываний, концептами, тематическим выбором, мы можем выделить закономерности <...> Можно сказать, что мы имеем дело с дискурсивными формациями» (Foucault, [1969] 1972:41). Так Фуко описывает свое понимание взаимодействия между знанием, властью, дискурсами и объектами в обществе. На примере безумия он задается вопросом, что составляет единство определенной дискурсивной формации. Он не приемлет идею о том, что существуют некие внешние объекты или факты, которые при помощи научного языка можно описать более или менее правильно, ибо это само безумие с его «скрытым содержанием безгласной и замыкающейся на самое себе истины». Подлинному положению вещей соответствует обратный порядок: «психические заболевания были сведены в совокупность из всего того, что было сказано о них в группе высказываний, которые эти заболевания именовали» (Foucault, [1969] 1972:35).

Стало быть, недопустимо говорить о некоем дискурсе «о безумии». Та же логика применима и к конкретным случаям безумия, таким как невроз или меланхолия, и, следовательно, не имеет смысла говорить о «дискурсе о неврозе» или «дискурсе о меланхолии», поскольку данные объекты существуют исключительно в рамках дискурсивно определенных видов деятельности — и сами, в свою очередь, состоят из дискурса. Как следует уже из предыдущего тезиса о субъектах, именно дискурс конституирует объекты.

Таким образом, Фуко отвергает идею существования «додискурсивной» или опытной дискурсивности, которая как бы скрывается под поверхностью и может быть выявлена лишь в результате научного наблюдения или исследования. Соглашаясь с доминировавшими в то время во Франции структуралистами, Фуко утверждает, что «до любой человеческой жизни, до любой человеческой мысли должно было существовать некое знание, некая система, которую мы открываем заново» (цит. по: Paras, 2006:29). Для Фуко история знания — это «распутывание некоего анонимного процесса: процесса формации и трансформации основ высказываний в соответствии с отдельными правилами» (Paras, 2006:34–5)²⁴⁵.

Выбор терминологии объясняется эвристическими причинами. Выбранные понятия приводятся в соответствие с прочими фиксированными понятийными модальностями, такими как наука, идеология, теория или поле объективности. Одна из главных задач заключается в том, чтобы задокументировать поверхность возникновения того или иного объекта в дискурсном поле. Не некий стабильный объект порождает стабильный или однородный

²⁴⁵ В своей интерпретации Фуко Парас опирается на его лекции в Коллеж-де-Франс в начале 1980-х годов. Парас прослеживает развитие идей Фуко в контексте его интеллектуальных и социальных связей. Ранние споры с Сартром, события 1968-го года и политика «левых» во Франции, революция в Иране, близость к Делёзу, продолжительные визиты в Сан-Франциско и движение «новых философов» — все это сильно и непосредственно повлияло на философию Фуко. Сам Фуко признавал, что его творчество не отличается последовательностью, и единственная связующая нить, проходящая через все его труды, — это его биография (см. Paras, 2006:146). Парас полагает, что каждый кардинальный поворот в терминологии Фуко представляет собой реакцию на определенные, в свою очередь, связанные с актуальным политическим климатом слабые места его теории (Paras, 2006:11).

дискурс, а дискурсивная практика создает объект. Запечатлев этот процесс, можно увидеть, «где эти индивидуальные отличия <...> получают статус болезни, психического расстройств, отклонения, сумасшествия, невроза, психоза, дегенерации...» (Foucault, [1969] 1972:45). Далее Фуко пишет: «Эта поверхность появления различна для различных обществ, эпох и форм дискурса»²⁴⁶. Еще два элемента влияют на характеристики дискурсивной формации: это специализированные институты (Фуко называет их «демаркационными службами») и то, что он называет «классификационной сеткой» (например, тело, душа или история жизни).

В начале 1970-х годов Фуко принимает участие во многих политических и теоретических проектах своих друзей и коллег из числа неомарксистов. Последовавший за этим теоретический поворот часто описывают как отход от археологии и обращение к генеалогии. В рамках переориентации Фуко вновь интенсивно занимается теоретической проблемой власти. В разговоре со своим кумиром и частым собеседником Жаком Делёзом Фуко подчеркивает: «Мы по-прежнему не знаем, что такое власть. <...> А Маркса и Фрейда, пожалуй, недостаточно, чтобы помочь нам познать эту таинственную вещь, одновременно видимую и невидимую, присутствующую здесь и скрытую, содержащуюся во всем, познать то, что называют властью. Теория государства и традиционный анализ государственного аппарата, безусловно, не исчерпывают всего поля реализации власти» (цит. по: Paras, 2006: 64)²⁴⁷.

Дискурсы привязаны к власти и зависят от знания. Фуко предпринимает попытку преодолеть традиционную концепцию, трактующую власть либо как форму насилия, либо как форму убеждения и идеологии: «Власть не ограничивается этой дилеммой: либо

²⁴⁶ Здесь прослеживается интересная параллель с разработанной Нейратом программой физикализма в социологии, о которой шла речь выше. Социологи должны исследовать (и только исследовать) события в пространственном и временном контексте, проверять выражения, служащие их описанию и классификации, и искать связующую нить, объединяющие эти выражения.

²⁴⁷ В конце 1970-х годов, когда Фуко сблизился с группой «новых философов», резко критиковавших марксистскую традицию сталинизма в Советском Союзе, зародилась и его симпатия к неомарксистскому теоретическому подходу.

реализовываться в насилии, либо скрываться, добиваясь принятия за счет поддержания непринужденного дискурса идеологии. На самом деле каждый момент реализации власти — это в то же время область трансформации — трансформации не идеологии, а знания. С другой стороны, любое устоявшееся знание делает возможным и поддерживает реализацию власти (цит. по: Paras, 2006: 113). В данном подходе Фуко делает акцент как на понятии власти, так и на понятии знания: и то, и другое реализуют (во благо или во зло) свой генеративный потенциал. Фуко подчеркивает, что нет смысла рассматривать власть отдельно или в противопоставлении знанию. Знание делает возможной власть, а власть преобразует знание. Кроме того, нет причин различать знание и идеологию, ибо никакая пелена иллюзий не скрывает никаких истинных знаний.

Один из главных тезисов Фуко гласит, что современное индустриальное общество возникло с появлением социальных и гуманитарных наук. Социальные и гуманитарные науки производили те знания, которые играли роль теоретической основы для дисциплинации работающего населения и интеграции рабочего класса в зависящую от него социальную систему. Тюрьма и больница, надзор и безумие — вот те главные места и ситуации, которые необходимо было изучить. Название книг «Рождение клиники» и «Надзирать и наказывать: рождение тюрьмы» — это одновременно и исследовательская программа. Понятие дисциплины здесь понимается двояко: с одной стороны, оно обозначает практику дисциплинации рабочих и граждан, а, с другой, — академическое знание, которое позволяет власть имущим дисциплинировать рабочих. Поэтому, как уже говорилось выше, нет смысла разделять знание и власть. Они сливаются в единое целое, и одно не победить без другого. Нет истины, обращенной к власти имущим, а есть лишь знание, которое власть имущие производят и которое им служит. Возможно, в таком изложении симбиоза власти и знания я несколько утрирую объединение этих двух феноменов в теории Фуко (хотя в своих комментариях и интервью он именно так высказывается в отношении данной проблемы). Фуко предпочитал говорить об одновременном возникновении понятий и практик или дискурсов. Тем не менее, описанная им

конstellация взаимосвязи знания и власти несет ярко выраженные функционалистские черты, от которых Фуко отказался некоторое время спустя.

Наконец, Фуко заменяет понятийную взаимосвязь власти и знания концепцией управления. Некоторые наблюдатели трактуют этот шаг как часть его общей переориентации в направлении признания субъективности (см., например: Paras, 2006). В начале 1970–х годов тесное переплетение терминологии вокруг феноменов власти и знания привели Фуко к «непримиримому осуждению власти <...> отсюда возник вопрос управления — термин, который постепенно заменяет в работах Фуко слово "власть" для обозначения явления, воспринимаемого отныне не столь однозначно» (Pasquino, 1993: 79; цит. по: Dean, 2001: 325). Таким образом, теперь он рассматривает феномен власти как некую креативно–конструктивную силу, позволяющую субъектам взаимодействовать в рамках гибких отношений. Для обозначения репрессивных, однонаправленных и застывших форм власти Фуко использует понятие «господство». Господство ведет к ограничению возможностей действия, поскольку подразумевает крайне ограниченную степень свободы. То, что Фуко в данном контексте называет господством, по смыслу очень близко к понятию власти в работах Вебера и других социологов.

В интервью Полу Рабинову Фуко рассказывает о том интересе, который ведет его в его исследовательской работе. Он говорит, что стремится проанализировать отношение науки, политики и этики, или, если быть еще более точным, стремится понять, «как эти процессы переплетаются друг с другом в формировании научной области, политической структуры, моральной практики» (Foucault, 1984: 386). В качестве примера он приводит психиатрию: «Я попытался увидеть, каким образом формирование психиатрии как науки, ограничение ее поля и определение ее объекта вовлекает в себя политическую структуру и моральную практику, а именно в двояком смысле: они служат предпосылкой прогрессивной организации психиатрии как науки, и они тоже меняются с ее развитием. Психиатрия, в том виде, в каком мы ее знаем, не могла существовать без этого совокупного взаимовлияния с политическими структурами и без определенного комплекса этических

установок» (Foucault, 1984: 386–7). Далее Фуко говорит о том, что он применял одни и те же методологические принципы в исследовании безумия, девиантного поведения и сексуальности, т.е. «установления определенной объективности, развития политики и управления самим собой, а также разработки этических принципов и практики в отношении самого себя». Эти три направления исследования Фуко называет «основополагающими элементами любого опыта, а именно (1) игра правды, (2) отношения власти и (3) формы отношения к самому себе и другим». Он указывает на то, что в большинстве случаев акцент делается на каком-то одном измерении, тогда как два других остаются без внимания. В случае психиатрии главной целью стала организация знания, преступность рассматривалась как проблема, требующая политического вмешательства, а в сексуальности видели этическую проблему. Фуко говорит: «Всякий раз я пытался показать, каким образом присутствовали и два других элемента, какую роль они играли и как на каждый из них влияли изменения в остальных» (Foucault, 1984: 387–8)²⁴⁸.

Следующая трансформация в интерпретации отношений знания и власти происходит в поздний период творчества Фуко, а именно в его лекциях в Коллеж-де-Франс в 1977, а также под влиянием работ «новых философов» и наблюдений за революцией в Иране. В центре внимания Фуко оказывается субъект и измененные формы субъективности в современных обществах. Самоопределяющийся субъект, имевший большое значение и лично для самого Фуко, определяет свой взгляд на вещи и, следовательно, способен ослабить тотальный симбиоз господства и познания (см. Parag, 2006: 105–116). И в свете этого радикального поворота в теории Фуко тезис о том, что в современных обществах свобода — дочь знания, и для него уже не является утопической идеей.

²⁴⁸ В другом месте он признается, что лишь в «Безумии и обществе» представлены все три измерения, и то лишь «в довольно путанном виде». В «Рождении клиники» и «Словах и вещах» на первом плане — истина, тогда как в «Надзирать и наказывать» речь идет прежде всего о власти, а в «Истории сексуальности» — о сексуальности (Foucault, 1984: 352).

5.4. Новые классы знания

Целый ряд теорий, появившихся на протяжении нескольких прошедших десятилетий, можно объединить под одним неоднозначным названием «теории класса знания»²⁴⁹. Все теории класса знания объединяет одна общая предпосылка, а именно убежденность в том, что либо производители, либо трансляторы знания образуют нечто вроде социального класса, опирающегося на коллективную способность контролировать и в значительной степени монополизировать производство и предложение знания. Ввиду растущего общественного значения знания их положение во властной структуре общества нельзя назвать незначительным. Впрочем, основа общественного влияния класса знания — не материальные ресурсы, а индивидуальная креативность и компетентность его членов. С другой стороны, эти способности можно перевести в материальные и политические преимущества. В результате между классом знания и остальным обществом возникают конфликты и противоречия. Однако решающим остается его превосходство в сфере производства знания и контроль над трансляцией знания, необходимого обществу.

Размышления о роли класса знания в современных обществах, в отличие от дискуссий о роли экспертов и экспертизы, как правило, не ограничиваются научно-техническими познаниями в узком смысле слова. Как видно из тезисов Гельмута Шельски о классе производителей смыслов, данный класс охватывает

²⁴⁹ Понятие «класс знания» в конечном счете представляет собой лишь подкатегорию понятия «новый класс». Дэниел Белл (Bell, [1979] 1980) представил критический анализ истоков и различных подходов теории новых классов, как только они окончательно сформировались к концу 1970-х — началу 1980-х годов. Белл (Bell, [1979] 1980: 164) приходит к выводу, что трансформация капитализма, которую он констатирует в своих работах, произошла не под влиянием некоего нового класса, а, скорее, под воздействием множества общих изменений в послевоенный период, в частности, роста значения государственной власти или же установления господства гедонистической культуры: «Пытаясь отобразить направление и ход социальных изменений, не стоит принимать пену, поднимающуюся на поверхность [новый класс], за глубоководное течение, определяющее направление этих изменений».

также представителей гуманитарных и социальных наук и общественно активных интеллектуалов. Тот факт, что высокий престиж этого социального класса не опирается на традиционные факторы производства — собственность, капитал или рабочую силу, трактуется с различных точек зрения. Я в своем анализе теории и общественно–политического значения класса знаний буду опираться на четыре подробно проработанных в литературе примера: (1) класс производителей смыслов; (2) класс производителей информации; (3) креативный класс и, наконец, (4) глобальный класс — понятие, введенное Ральфом Дарендорфом (Dahrendorf, 2000) с тем, чтобы обратить внимание на новые формы неравенства в современных обществах, объединенных всемирными (глобальными) сетями.

5.4.1. Производители смыслов

Книга Гельмута Шельски «Работу делают другие» (Schelsky, 1975) — это не только социологическое описание послевоенной Германии 1960–х и начала 1970–х годов. Эта работа, безусловно, относится к жанру критики эпохи; автор критикует выявленные им общественные и политические тенденции, которые, по его мнению, объясняются властью нового класса. Для жанра критики эпохи характерно обращение не только к специалистом, хотя она предполагает дискуссию среди экспертов, но и к широкой общественности, а в используемых аргументах речь идет о конкретных традиционных политических и интеллектуальных интересах, представленных в общественности.

В данном случае имеются в виду так называемые антисоциологические тезисы социолога Гельмута Шельски, который предостерегает от господства жрецов (Lapp, 1965:3; Roszak, 1972:263) и прихода к власти нового слоя или даже класса интеллектуалов из сферы социальных наук в ближайшем будущем, причем главную опасность, по его мнению, в этом отношении представляют социологии как рефлексирующая элита современного общества. В данном случае речь идет о формах господства, опирающихся на такие инструменты власти, которые выявляются при помощи социологического анализа, психологии и теории знания, по аналогии

с властью клерикалов в прошлые эпохи. Как пишет Стивен Энгельман (Engelmann, 2011:168): «Под видом служения людям они [представители нового класса] на самом деле правят ими».

Тезис, который выдвигает Шельски, в то же время является реверсией классической социологической формулы источника социальной и политической власти. Шельски говорит о фактической власти идей. В то же время в этой своей концепции он опровергает собственное пророчество технологического государства, наступление которого он предсказывал в рамках своей теории научно-технической цивилизации (Schelsky, [1961] 1965). По всей видимости, власть объективных закономерностей или инструментального разума подрывается усилиями, которые Шельски в то время еще довольно скептически прославлял как эффективное оружие в борьбе против, казалось бы, неизбежного триумфа современной науки и техники, а именно героическим сопротивлением интеллектуалов.

Во втором, расширенном и дополненном издании этого полемического выступления против господствующей, по мнению Шельски, социологии он рассматривает также реакцию отдельных критиков его сочинения «Работу делают другие». Здесь, однако, необходимо подчеркнуть, что концепция Шельски об особом влиянии представителей социальных наук в целом и социологов в особенности в начале 1970-х годов отнюдь не была идиосинкразическим диагнозом власти именно этих научных дисциплин в обществе. Дело в том, что не только в ФРГ, но и в других странах в этот период авторитет и влияние представителей общественных наук действительно беспрецедентно возросли. Дэниэл П. Мойнихэн (Moynihan, 1970:2), в частности, констатирует резкий рост влияния профессоров, преподающих социальные науки в университетах, в США: «... ни в одном другом месте на земле профессор не обладал такой властью или таким авторитетом, как до недавнего времени в США. На протяжении последних тридцати лет интеллектуалы — университетские профессора — имели огромное, несопоставимое с прошлыми эпохами влияние в обществе».

Власть социологов в современном обществе стала возможной в связи с ослаблением традиционных социальных противоречий: поначалу «возникшее во всех индустриализированных обществах

европейского стиля классовое противостояние <...> "пролетариата" и "буржуазии" <...> , основанное на новых средствах производства в рамках технологичного процесса на базе разделения труда [все больше отходит на второй план] благодаря техническому прогрессу, реформам в сфере социальной политики, но, самое главное, демократическому государственному управлению и экономическому влиянию профсоюзов, уравнивающему экономическую власть корпораций. <...> На его место приходит "новая классовая борьба", основа которой — формирование нового класса» (13)²⁵⁰. Этот новый класс, по утверждению Шельски, составляет сознательно игнорируемая марксистами группа образованных людей, «представителей профессий, требующих академического образования и труда согласно духовным убеждениям и обязательствам, той групп, которой мы обязаны "просвещением" современной эпохи и, следовательно, не в последнюю очередь также теми тенденциями развития, что снижают накал "старой классовой борьбы"» (13).

Шельски признает, что он не первый из теоретиков, кто обратил внимание на растущее значение интеллектуалов. Альфред Вебер и Карл Мангейм сделали это еще в 1920–е годы, а позднее Алвин Гоулднер (Gouldner, 1979), а также Джордж Конрад и Иван Селеньи (Konrad, Szelényi, 1981) писали о том же применительно к западным промышленным странам и социалистическому лагерю, соответственно. Однако, в отличие от тезиса Вебера и Мангейма о свободно парящей интеллигенции, у Шельски речь идет о тенденциях, которые кардинальным образом изменили социальные предпосылки растущего влияния образованных слоев. По мнению Шельски, к этим изменившимся предпосылкам относится прежде всего «невероятно возросшее значение трансляции информации, новостей, научных знаний, специального и ориентировочного знания в сложно организованном обществе» (14).

Попробуем выразить эту мысль более кратко: особое значение знания для социального воспроизводства современного обще-

²⁵⁰ Здесь и далее я указываю лишь номера страниц в соответствующей книге Шельски 1975-го года издания.

ства — эта та основа, благодаря которой интеллектуалы получили возможность заявить о своих притязаниях на общественную и политическую власть и создать нечто вроде нового класса за счет монополизации инструмента власти — знания. Этот класс, стало быть, находится в противоречии или противостоянии «со всеми <...>, кто служит производству благ в значении обеспечения жизни, благосостояния и функционирования общественной системы» (14). Шельски называет эту формирующуюся группу производителей и трансляторов знаний классом «передатчиками смысла и спасения» (14). Впрочем, эта новая господствующая группа заинтересована в том, чтобы помешать восприятию ее притязаний на власть как новой классовой борьбы. По мнению Шельски, этого легко добиться, поскольку «реализация их власти охватывает прежде всего такие сферы, как образование, общественность и информация, т.е. нацелена на контроль над сознанием других людей» (14). Один из наиболее эффективных отвлекающих маневров, скрывающих подлинное положение вещей, — это поддержание мифа о продолжающейся традиционной классовой борьбе между пролетариями и капиталистами.

Из этих общих рассуждений следует, что, с исторической точки зрения, «с этим новым притязанием на власть и формированием нового класса происходит процесс деградации или "репримитивизации", по сравнению с начавшимся самое позднее в эпоху просвещения процессом ослабления властных позиций клерикалов; новый интеллектуальный "клир" пытается захватить власть над "мирскими" делами, политическими и экономическими действиями, подчинив их своей выгоде и своим целям» (15–16). Исконные противники просвещения лишены власти, и в результате «критически-агрессивная установка без реально существующего противника едва ли не автоматически оборачивается притязанием на власть, питающимся иллюзией и искусственным возрождением старых противоречий и конфликтов» (16).

Впрочем, пока это схематичное описание предполагаемой власти нового класса — трансляторов смыслов — не наполнено содержанием, ибо слишком мало сообщает о причинах готовности подвластных принимать и признавать легитимным тот смысл, который транслирует рефлекслирующая элита. Пока неясно,

каковы причины, делающие возможной власть такого рода мирского клира и ее особые проявления в современном обществе.

Поскольку нас книга Шельски «Работу делают другие» интересует прежде всего из-за содержащейся в ней теории потенциальной эффективности социально-научного знания в современном обществе, особое внимание мы уделяем представлениям Шельски о конкретном содержании власти интеллектуалов и, разумеется, вопросу о причинах предполагаемого успеха именно социологических концепций как источника смыслов для нашего общества.

В своей теории господства Шельски в значительной мере придерживается веберовского понимания этого явления. Как и Вебер, он исходит из того, что власть и авторитет необязательно опираются на монополию на физическое насилие, но что социальные действия других людей могут в решающей степени определяться и влиянием их ценностей и их веры в легитимность приказов или другого рода указаний со стороны других. В случае реализации господства, опирающегося на легитимность такого рода, речь идет об одной из форм интернализированного социального контроля или же психического принуждения. И эта форма контроля в самом общем виде опирается на «придание смысла жизни» человека. Системы господства, основанные на социально эффективном придании смысла такого, самого общего характера, Шельски по этой причине называет также «смысловыми или интеллектуальными системами правления» (40). Приданием смысла занимаются все «мыслительные, идейные и эмоциональные структуры, объясняющие человеку этот мир, дающие ему указания к действию и устанавливающие жизненные цели, к каковым он стремится ради осмысленного проживания жизни». «Интеллектуальная система правления», — продолжает Шельски, — «которой подчиняется человек, вносит "порядок" в его внутреннюю жизнь и освобождает его от внутренней противоречивости и нерешительности, от лавины фактов и власти случая, которым он противостоит в своем мире, будь то природа, человеческое окружение или же духовно-эмоциональные притязания» (41). Если говорить об идеальных типах, то применение насилия не отличается от придания смысла, так как и то, и другое есть форма социального контроля. С этой точки зрения Шельски не видит противоречий

в том, что он говорит о «власти через придание смысла» (41); если следовать веберовской теории господства, то это, разумеется, должно называться господством посредством придания смысла.

В содержательном отношении в наши дни и в контексте нашей культуры появляются «все новые социальные религии», «замещающие обещания загробного блаженства обещаниями спасения в этом мире» (75–76). Если говорить точнее, то «социальная религия обещает такое конечное состояние "общества", где нет места страху и страданиям, насилию и ударам судьбы, унижению и оскорблению, бедности и болезни, узурпаторству и эксплуатации» (77). Уже из этих немногих фраз, характеризующих содержание так называемой социальной религии, понятно, что Шельски имеет в виду в первую очередь программу политического движения, которое, как он считал, придет к власти, а именно программу прогрессивных или социалистических политических партий, марксистов или Франкфуртской школы. Но как он представлял себе пути и средства достижения власти со стороны этой социальной религии? Как могла она утвердиться в борьбе с другими представлениями? Шельски считает, что это произойдет благодаря успешному применению «современными социальными религиями <...> форм и методов трансляции воззрений, <...> разработанных прежде всего философией Просвещения» (91). Такое заявление нельзя назвать исчерпывающим, однако Шельски, к сожалению, не дает более конкретных объяснений. Он лишь указывает на «критическую философию», которая одержит верх над другими системами представлений, на скептическое отношение к существующей реальности и на претензии на монопольное владение рациональностью как инструментом мышления.

Критическое понимание становится главным принципом действия, или, как пишет Шельски, значение практики редуцируется до «исполнительного органа самовластной "теории"» (92), т.е. определенные фиксированные масштабы и инструменты рефлексии объявляются практическими целями, к которым необходимо приспособить действительность или которым она сама должна подчиниться. Другими словами, рефлекслирующая элита, от власти которой предостерегает Шельски, монополизирует смысловую интерпретацию современного мира, прежде

всего претендуя на единственно верную «"рациональность" и "критику" мира как юдоли скорби», а также на то, чтобы «определять и трактовать "подлинные" цели и конечные ценности человеческого и общественного бытия». Однако какие общественные условия позволяют рефлексизирующей элите захватить интеллектуальное господство в обществе?

Впрочем, с социологической точки зрения, следует задать вопрос не только о социальных предпосылках описываемой Шельски рефлексизирующей элиты, но и о лидерах этой правящей группы и о транслируемом ею содержании.

В самом общем смысле, по аналогии с аргументами социологии религии, Шельски исходит из того, что современная рефлексизирующая элита захватывает контроль над «смысловой интерпретацией» современного мира и таким образом правит большинством. Если смотреть в еще более широком и неоднозначном контексте, то эта власть основана на растущей, необратимой «комплексности всех социальных связей» (119) в современном обществе. В более четкой формулировке это означает: «Вследствие того, что современные суперструктуры с характерной для них анонимностью и недоступными для опыта отдельной жизни социальными взаимосвязями становятся фундаментом общественной жизни, на котором стоят любой труд и производство, администрация и политическое управление, досуг и образование человека, неизбежно повышается "уровень абстрактности" этих социальных отношений в понимании воспринимающих и трактующих их людей. Этот процесс, который я обозначаю термином "комплексность"», — утверждает далее Шельски (119), — «фиксируется почти всеми современными социологами под разными названиями; так, Тённис противопоставляет "общество" и "общность", Фрайер — "вторичную систему" и "первичные группы", а Луман (к которому Шельски в данном случае присоединяется) говорит о "возрастании комплексности в современных социальных системах"».

Как подчеркивали названные Шельски теоретики, такой уровень комплексности требует ее «редукции» во всех областях общественной и частной жизни. Впрочем, те же теоретики обращают внимание на то, что необходимость «редукции комплексности» и возможность ориентироваться и действовать в контексте

множества данных, взаимосвязей и отношений, являются антропологической константой, т.е. с точки зрения философской антропологии, «разгрузка» комплексности — это жизненная необходимость, причем во всех общественных формациях, а не только в современном обществе, которое и в самом деле по полноте и разнообразию возможностей действия гораздо более комплексно, нежели традиционные общества или общности. Одним словом, указание на комплексность или ее несравненно высокий уровень в контексте современных социальных отношений вряд ли может считаться исчерпывающим определением общественных причин господства рефлексизирующей элиты. Видимо, поэтому и Шельски полагает, что смысловые интерпретации неизбежно устаревают, что смысл в обществе через какое-то время изнашивается. Он исходит из того, что данная «редукция "современной" комплексности никогда не сможет вернуть общество к очевидностям или воззрениям прошлого; редукции, т.е. необходимое для современного социального и политического действия обобщение эмпирически необозримых взаимосвязей в отношении мотивов и ориентаций действия также будут вынуждены работать с обобщенными понятиями, что означает, что они сами, как и редуцируемая ими действительность, подчиняются закону повышения уровня абстрактности» (119).

Этот тип повышения уровня абстрактности применительно к необходимым смысловым интерпретациям неясных — и тем самым проясняемых — социальных отношений происходит, согласно Шельски, на нескольких уровнях:

1. Первый уровень характеризуется «возвращением к практическому или "технологическому" овладению» (119) сложными взаимосвязями современной цивилизации. Здесь «способность к действию» обеспечивается благодаря «элиминированию смысла», т. е. техника и производственные знания представляют собой форму доминантного знания, которое разрабатывается и применяется в условиях сознательного отказа от обсуждения поставленных целей. Но это еще не все: хотя Шельски в статье, предпосланной его книге «Работу делают другие», описывает наше общество как научно-техническую цивилизацию с полным

доминированием технического знания, оно, тем не менее, никак не способствует личному пониманию смысла и самого себя со стороны отдельного индивида. Даже наоборот: чем успешнее знание такого рода, тем больше дефицит смысла. Коротко говоря, первый уровень «повышения уровня абстрактности» в современном мире Шельски описывает как практическую или технологическую сциентификацию профессионального знания и утверждает,

2. Что «знание ориентиров», т. е. нормативных жизненных целей и правил действий вынуждено приспособляться к этому уровню абстрактности. На этом уровне человек, согласно Шельски, чтобы вообще иметь возможность «вести» свою жизнь, вынужден допускать контроль и управление со стороны тех институтов, которые транслируют мировоззренческие ориентиры. У Шельски, кроме того, не вызывает сомнений тот факт, что власть над знанием ориентиров в структурном отношении главнее власти над материальными средствами производства, не говоря уже о том, что между техникой и моралью существует взаимозависимость.
3. Наконец, на третьем уровне повышения абстрактности трансляторы смыслов конструируют идеи об обществе в целом. На этом уровне, который Шельски называет уровнем эмансипационного знания о достижении социального счастья (121), разрабатываются представления общего характера о всеобщем благополучии и совершенствовании. По аналогии с веберовской социологией религии, Шельски пытается реконструировать идейный уровень «внеповседневности», которую Вебер считал признаком любого интеллектуально–духовного господства, поскольку внеповседневность, в его представлении, есть основа любых притязаний на религиозную веру и, следовательно, господства жрецов. Остается лишь выяснить, какие социальные группы выполняют функцию передачи смысла в современном обществе. Это вряд ли ученые, ибо, по мнению Шельски, «ни одна наука <...> сегодня не <транслирует> некое общее, служащее всякой и в первую очередь управленческой практике превосходство и образцовость» (125). В результате возникает

«нормативный вакуум правления». Группы идеологических интеллектуалов, поначалу осторожно называющих себя производителями культуры, находят свое место в этом вакууме и захватывают власть. Их властные преимущества, однако, обеспечиваются не какими-то особыми познавательными достижениями этих групп, а находящимися в их распоряжении средствами управления, т. е. контролем над информационными технологиями и властью над процессами образования и профессиональной подготовки в обществе. В итоге все это, если использовать формулировку Шельски, ведет к контролю над «народным мнением» (133), так как «если сегодня и существует что-то вроде "народной воли" — "volonté générale", то она формируется и контролируется "информаторами" и "социализаторами" общества» (133). Рефлексирующая элита реализует одновременно классовое господство. Так возникает «классовое противостояние производителей товаров и производителей смысла». Разумеется, этот тезис необязательно связан с понятием класса, как его употребляет Маркс, но, с другой стороны, разделение общества на угнетателей и угнетенных на основании собственности — не единственная возможность выразить общественные противоречия и конфликты.

Внутри рефлексирующей элиты социологии отводится особенно влиятельная позиция. Более того: социология становится «главной наукой» современности. Собственно, основная идея книги «Работу делают другие» относится прежде всего к западно-германскому обществу, однако Шельски исходит из того, что социология выполняет функцию главной науки во всех развитых странах; даже «все мировоззренчески-тоталитарные социалистические государства» управляются «при помощи системы социологических идей» (Schelsky, 1976:171). Эта особая роль социологии не в последнюю очередь определяется тем, что образование и интеллектуально-духовная ориентация некоторых профессиональных групп «сегодня во все возрастающей степени определяется социологией». Здесь Шельски имеет в виду в первую очередь педагогов, богословов, публицистов и писателей, составляющих свиту социологов.

Остается еще выяснить, какие интеллектуально–духовные контенты становятся доминирующими и откуда они берутся. На основании утверждения, что социология играет ключевую роль (при том, что суть «социологической индоктринации» сводится к «приоритетности "общественного" понимания человека» (255)), эти содержания сравнительно легко описать.

Социология, согласно Шельски, выполняет три функции: она производит систематическую теорию, проводит эмпирические исследования и предоставляет практическое знание ориентиров. Из этих трех видов деятельности социологической науки «миссионеры социальной религии», как называет их Шельски (266), используют «прежде всего последнюю возможность воздействия. При этом речь не идет о научной доказательственной силе соответствующих ориентиров; свое воздействие в значении управления сознанием оказывает уже сама тематизация социологических проблем и социологический понятийный аппарат». При этом Шельски (267) имеет в виду прежде всего критическую теорию и ее исследовательскую проблематику, как видно из нижеследующей цитаты: «Гуманитарная и культурологическая критика современной эпохи, политическая критика капитализма, социологическая критика господства, критика идеологии или потребления <...> направлены главным образом не на изменение социальных фактов, а на изменение социального и индивидуального сознания. Основная задача — изменить образ мыслей, в робкой надежде на изменение мира фактов. Это как раз и означает поставить мир с ног на голову». Таким образом, просветительская деятельность, которой занимается или на которую претендует социология, подразумевает распространение партикулярных ориентиров. Просвещение, считает Шельски, всегда означает «передачу знаний и понимания, на которое способен каждый, т.е. здесь нет зависимости от научной оценки доказательств, а тем более, от научного понимания проблемы, зато есть освобождение индивида от интеллектуальной опеки» (261) со стороны определенных институтов и авторитетов. При этом социологическое просвещение обременено внутренними противоречиями: оно борется «в сознании индивидов против интеллектуального авторитета других наук, но не своего собственного» (261). Тому, что «социально–научные

теоретические системы», как пишет Шельски (259), «будучи, как может показаться, ориентирующим знанием, охватывающим всю совокупность социальной действительности, сильно меняя сознание, создают у далекой от социальной науки общественности видимость и иллюзию исчерпывающего понимания, называемого также "прозрачностью", служат подтверждением и убедительным примером самые разные системы политических идеологий в прошлом и настоящем». Власть социологии над сознанием, как конкретизирует свою критику Шельски, «действует не через ее выводы и результаты, а через определение тем и терминологические формулы» (264). Другими словами, к социологии прислушиваются не столько вследствие «надежных результатов социологических исследований», сколько в силу понятий, при помощи которых формулируются социологические проблемы. «Статус, роль, функция, сообщество, мобильность, социальная трансформация, группа, команда, в социальной психологии — стресс, фрустрация и так далее <...> все это не научные знания, а понятийные и смысловые формулы, превратившиеся в упрощенные, замкнутые на самих себе идеи, влияющие на действия современников» (264). В более систематическом выражении диагноз Шельски гласит, что социология, несмотря на ее внутреннее интеллектуальное разнообразие, т.е. многообразие конкурирующих теоретических подходов, транслирует одну общую идею, а именно идею «растворения личности и ориентированных на нее саму обязательных принципов действия» (267–268).

Таким образом, к основным безусловным представлениям сознания и смысловым горизонтам, транслируемым социологией, относится идея о том, что смысловые и ценностные предпосылки прошлого сегодня не могут использоваться как ориентирующее знание; т.е. «возводившаяся с эпохи Возрождения и далее в эпоху Просвещения XVIII–го века и политического идеализма века XIX–го система социальной ориентации любого действия, но прежде всего, конечно, действия социального, на индивида или отдельную личность и ее потенциал интериоризации, система ориентации, которая в конечном итоге опирается на утверждение христианства с его представлением об индивидуальной душе и совести, сегодня систематически уничтожается социологией

и базирующейся на ней социальной философии самого разного происхождения» (267). В более полемической формулировке это звучит так: «Личная совесть здесь <...> отпадает как социально незначимый факт» (269), из чего следует: «Аналогично <...> социологизации этики в результате "социологического просвещения" действуют и все значимые понятия и подходы современной социологии, как только они оказываются вырванными из своего сугубо профессионального контекста и становятся формулами общего отношения к жизни, популярными ориентирами политического и личного действия, в совокупности с конструированием "социологического" сознания времени» (269).

В критическом анализе «социологизации» структур обыденного индивидуального сознания, а также интерпретаций и стратегий действий корпоративных акторов в работе Шельски сразу же обращает на себя внимание констатация этого особого практического влияния социально-научных знаний, которая и сегодня еще многими недооценивается и которую впервые как социальное явление обнаружил именно Шельски.

Пессимистичная оценка влияния социологии на повседневную жизнь и в особенности на индивида тесно связана с описанием и оценкой исторических работ на тему социальных отношений, а также с тем, что Шельски воспринимает как прискорбный откат общества к своего рода современной органической солидарности. В этом смысле и дискуссия с Шельски должна происходить в первую очередь на этом уровне. В центре внимания должны находиться этика и политика тенденций развития, характерных для современно общества, а также консервативный взгляд Шельски на природу возникающих в этом обществе социальных отношений, которые, по мнению Шельски, аннулируют многие достижения буржуазной культуры. Другими словами, Шельски одновременно опирается на теоретиков постиндустриального общества и дистанцируется от них. Так, он разделяет позицию Рудольфа Баро, Радована Рихты и Дэниела Белла относительно растущего значения знания, равно как и их гипотезу о том, что власть переходит к образованным слоям. Однако же, в отличие от теоретиков постиндустриального и, возможно, даже постмодерного общества, он придерживается более традиционной теории, согласно

которой общество необходимо защищать от натиска нового класса интеллектуалов. Государственная политика может потерпеть фиаско в практической сфере, и такое происходит, пожалуй, даже слишком часто, однако язык социологической фантазии успешно влияет на эту самую практику.

5.4.2. Производители информации

Мануэль Кастельс (Castells, 1996) в своих работах, полных интересных идей и основанных на эмпирических фактах, доказывает, что современное общество, начиная с 1980-х годов, представляет собой сетевое общество, и во всем многообразии глобальной реструктуризации в сфере массового использования информационных и коммуникационных технологий во всех областях современной общественной жизни прослеживается определенное единство²⁵¹. Таким образом, инновации в сфере информационных и коммуникационных технологий точно так же, как и нововведения промышленной революции XVIII-го века, являются важным историческим событием и вехой в развитии материальной и общественной структуры и культуры. Кастельс разделяет точку зрения, наиболее бескомпромиссно сформулированную Карлом Марксом, согласно которой трансформация «материальной культуры» современного общества, чей фундамент — это начавшаяся в 1980-х годах информационная революция, ведет к появлению исторически новой формации капитализма (ср. Castells und Henderson, 1987)²⁵². Однако эта новая формация развитого

²⁵¹ Понятие сетевого общества Кастельс (Castells, 2009: 24) определяет так: «Сетевое общество — это общество, социальная структура которого выстраивается вокруг сетей, активируемых с помощью переведенной в цифровую форму информации и основанных на микроэлектронике коммуникационных технологий».

²⁵² По сравнению с многократно обсуждавшимся спорным тезисом о том, что мы находимся на пути в эру постмодерна или уже живем в постмодерном обществе, размышления Кастельса о современности как о сетевом обществе обладают тем преимуществом, что его наблюдения учитывают также материальные условия трансформации индустриального общества в общество сетевое. Анализ материальных предпосылок постмодерна и рассмотрения данной проблематики, столь редко встречающегося в теориях

капитализма, как подчеркивает Кастельс, не сводится к простой манифестации капиталистических интересов.

Согласно Кастельсу, новое сетевое общество, в котором государству по-прежнему отводится одна из главных функций²⁵³, возникает в результате смены технологической парадигмы и, следовательно, некоего динамического процесса, форсируемого переработкой информации или «информационизмом». В контексте разработанной Кастельсом концепции сетевого общества с характерной для него решающей зависимостью от применения коммуникационных технологий возникает вопрос, насколько понятие сетевого общества отличается от часто используемого понятия информационного общества и есть ли вообще какие-либо значимые различия между ними.

Различие, на которое указывает Кастельс и которое, по его мнению, является прогрессивным концептуальным шагом вперед в нашем аналитическом понимании современного общества, равно как и в теоретическом моделировании информационного общества, можно объяснить по аналогии с различением понятий «индустрия» и «индустриальный». Он обращает внимание на очевидное различие между понятиями «информация» и

постмодерна, можно найти в: Stehr, 1997. Кастельс (Castells, 2000:381) определяет эмерджентную социальную структуру информационной эпохи как сетевое общество, поскольку она состоит из «сетей производства, власти и опыта», «которые формируют культуру виртуальности в глобальных потоках, преодолевающих время и расстояние».

²⁵³ Если следовать аргументации Кастельса (Castells, 1996:13), то государственный аппарат продолжает играть активную и влиятельную роль в формирующемся сетевом обществе, поскольку модерирует отношения между общественными и техническими трансформациями: «Роль государства, неважно, сдерживает оно или, наоборот, устраняет препятствия или даже возглавляет технологические инновации, является решающим фактором во всем этом процессе, поскольку государство выражает и организует социальные и культурные силы, доминирующие в данном конкретном пространстве и времени». Применение новых технологий, как подчеркивают Кастельс и Хердерсон в другой работе (Castells, Henderson, 1987: 5), определяется капиталистической политикой и, следовательно, рестриктивной экономической логикой, которая, в свою очередь, усиливается за счет власти находящихся в ее распоряжении новых технологических инструментов.

«информационный». На первый взгляд такое различие, казалось бы, не отражает каких-либо значимых различий. Кастельс, однако, утверждает (Castells, 1996: 21), что «информация» (общество информации) и «информационный» (информационное общество) отражают два различных способа рассмотрения и знания чего-либо. Концепция информации или «коммуникации знаний», как ее также называет Кастельс, есть утверждение о том, что информация имеет значение во всех возможных социальных формациях или, другими словами, является антропологической константой во всех человеческих обществах. В отличие от информации, «термин "информационный" описывает характеристику особой формы социальной организации, где производство, обработка и передача информации становится главным источником производительности и власти, так как в данный исторический период формируются новые технологические условия». Информация становится непосредственно производительной силой (ср. Stehr, 1994: 99–104). В этом контексте особое значение приобретает класс производителей информации.

Кастельс помещает понятие информации на тот же логический уровень, что и понятие знания; и то, и другое, насколько я могу судить, лишь поверхностно сопряжено с социальным действием, тогда как понятие «информационный» указывает на вероятность того, что социальное действие и его внутренняя структура определяются информацией и что социальная организация действия меняется в связи с использованием той или иной информации.

То, что Кастельс привязывает свою теорию общества к возникновению информационных и коммуникационных технологий, а также сознательно смешивает понятия знания и информации²⁵⁴ осложняет задачу выявления кардинальных безусловных

²⁵⁴ Кастельс (Castells, 1996: 17) объясняет, почему он не видит причин отходить от редукционистского определения (теоретического) знания, как оно дано в теории постиндустриального общества Дэниела Белла (Bell, 1973: 175). Понятие «информационная технология» Кастельс (Castells, 1996: 30) приближается к понятию научной работы («В сферу информации я включаю также технологии генной инженерии»; в связи с этим и научные отрасли, такие как климатология, когнитивные науки или экономическое моделирование можно рассматривать как примеры информационной

различий между понятиями информационного и сетевого общества. С точки зрения большинства наблюдателей, информационная революция — это прежде всего технический прорыв. Меняются инструменты («гаджеты»), но не социально-когнитивный контекст, производственные знания, язык притязаний или научные системы²⁵⁵.

Краткое рассмотрение социальной прослойки производителей информации Кастельс помещает в контекст меняющихся классовых отношений сетевого общества. Новая система классовых отношений характеризуется, во-первых, «тенденцией к растущему социальному неравенству» в том, что касается доходов и социального статуса (Castells, 2000: 375). Во-вторых, процессы социального исключения затрагивают не только социально слабые группы, но и растущее число лиц и групп, которые вынуждены постоянно бороться за свое место на лестнице социального неравенства. В-третьих, самый важный источник инноваций — это информация и знания, в связи с чем «новые производители информационного капитализма — <...> это те генераторы знаний и обработчики информации, которые вносят наиболее ценный вклад в развитие фирмы, региона и национальной экономики» (Castells, 2000: 376). Производство и обработка информации погружены в организационный контекст, поэтому класс производителей информации включает в себя «очень большую группу менеджеров, профессионалов и технических специалистов, в совокупности составляющих что-то вроде "коллективного работника"» (Castells, 2000: 376). Если посмотреть на статистику,

технологии). Здесь речь идет о специальных научных отраслях или сферах, которые Белл определил бы как место производства научных знаний.

²⁵⁵ Несмотря на то, что Кастельс, насколько я могу судить, не причисляет себя к сторонником строгого технологического детерминизма, в его анализе сетевого общества неизбежно встречается целый ряд идей, подталкивающих к выводу об определенной близости его концепции к технологическому детерминизму. Сюда относится, например, акцент на инновационных процессах, не зависящих от конкретной ситуации. Технология, безусловно, занимает значимое место в современном жизненном мире и экономике, однако социологический анализ технологии должен обращать внимание, скорее, на значение социальных условий развития и распространения технических артефактов.

которую приводит Кастельс, то в странах ОЭСР примерно треть всего работающего населения относится к производителям информации. Оставшиеся работники выполняют виды деятельности, которые в будущем, возможно, будут выполнять машины. Производители информации не зависят от низшего слоя наемных работников.

Кастельс, впрочем, не анализирует, каким образом класс производителей информации конвертирует свое экономическое влияние в политическую власть. Нет в его анализе и указаний на то, что производители информации отдают предпочтение демократическим политическим нормам и участвуют в организованных политических действиях, направленных на укрепление демократических принципов в политической системе общества. По аналогии с переносом энергии, Кастельс описывает передачу информации и власти, но оставляет без внимания трансформацию власти в сетевых обществах: «Энергия (власть) потоков превосходит по значению потоки энергии (власти)» (Castells, 1996: 169)²⁵⁶. По-видимому, производители информации готовы служить любому политическому господину.

Кто присваивает себе производимую ими прибавочную стоимость? В этом отношении в сетевых обществах, по сравнению с обществами индустриальными, ничего не меняется. Работодатели, нанимающие производителей информации, в конечном итоге присваивают прибавочную стоимость себе, несмотря на то, что сам процесс присвоения несколько отличается. По сравнению с индустриальным обществом, он сложнее, так как класс производителей информации не организован, трудовые отношения выстраиваются в каждом случае индивидуально, некоторые производители информации работают на себя, а материальное вознаграждение зависит от развития крайне неустойчивых финансовых рынков. Отсюда следует, что отношения между работодателями и

²⁵⁶ Используя понятие потоков (flows), Кастельс (Castells, 1996: 412) имеет в виду «целенаправленные, повторяющиеся, программируемые цепочки обмена и взаимодействия между физически не связанными между собой позициями, занимаемыми социальными акторами в экономических, политических и символических структурах общества».

производителями информации не могут описываться в терминах классовых противоречий, и производители информации не являются классом—в—себе или, тем более, классом—для—себя. Базовые социальные конфликты сетевого общества — это конфликты между производителями информацией и низшим слоем наемных работников.

Безусловно, верно утверждение, что современная экономическая система кардинально изменилась в связи с распространением компьютеров и цифровых технологий. И, если следовать теории Кастельса, то развитие информационных технологий влечет за собой формирование сетевого общества. Кастельс утверждает, что понятие сетевого общества более точно отражает своеобразие современного общества, по сравнению с понятием информационного общества, поскольку учитывает те масштабные организационные трансформации, которыми сопровождается технологическое развитие. Впрочем, у меня складывается впечатление, что отличие этого понятия от хотя уже и устоявшегося, но теряющего популярность понятия информационного общества не так велико, как пытается доказать Кастельс. Можно выделить целый ряд общих характеристик, среди которых особенно важно то, что и понятие сетевого общества, и концепция информационного общества основываются на посылах, тесно связанных с позицией технологического детерминизма²⁵⁷. Более конкретно опровержение положений технологического детерминизма в рамках этих двух теоретических подходов можно сформулировать следующим образом: во—первых, существенный рост числа высококвалифицированных работников в ряде развитых стран за последние несколько десятилетий относится к периоду, предшествовавшему началу

²⁵⁷ Грамотное объяснение технологического детерминизма в сфере экономических отношений (хотя и не только) см. в классической работе Хайлбронера «Машины делают историю?» (Heilbroner, [1967] 1994; 1994) По мнению Хайлбронера (Heilbroner, [1967] 1994: 65), технологический детерминизм «представляет собой проблему определенной исторической эпохи, а именно эпохи развитого капитализма и отстающего социализма, где силы технического развития ничем не сдерживаются, а институты контроля и управления технологиями по—прежнему находятся в рудиментарном состоянии».

распространения информационных технологий. Во-вторых, растущее значение высококвалифицированной рабочей силы необязательно является реакцией на возросший спрос на работников высокой квалификации. Скорее, здесь речь идет об автономном, социально обусловленном процессе. В-третьих, растущее применение информационных технологий помогает предприятиям и менеджерам компенсировать возросшие расходы на заработную плату, возникшие вследствие этого сдвига в структуре спроса и предложения на рынке труда. Поэтому так называемый «парадокс производительности» (см. Stehr, 2000b) помогает нам понять, почему мы в данном случае имеем дело не с обусловленным технологическим прорывом переходом от индустриального общества к обществу информационному, а с переходом от индустриального общества к обществу знания, вызванным причинами социального порядка (ср. Stehr, 2000b; 2012b). Именно в этом смысле можно говорить о том, что сегодня мы можем наблюдать новую форму общественной современности. Поэтому специфическое достоинство представленного Кастельсом анализа современного общества связано прежде всего с его размышлениями о «природе» новой современности, а не о ее предыстории.

5.4.3. Креативный класс

Как я уже писал выше, тезис о том, что в обществе формируется новый класс, все чаще стал выдвигаться после второй мировой войны. К недавно появившимся теоретическим подходам, приписывающим значительное социальное влияние и соответствующий авторитет определенному социальному слою, относится концепция, согласно которой в настоящее время мы можем наблюдать возникновение «креативного класса». Источником этой простой и все же не совсем очевидной концепции появления нового социального класса стало исследование Ричарда Флориды «Креативный класс» (Florida, 2002). В нем Флорида в легкой стилистике непринужденной беседы чередует в пестрой мозаике биографические истории и научные аргументы, свободно переходя от «я» к «мы-нарративу» представителей универсально образованного поколения, предпочитающих оставаться там, где они получали высшее образование.

По более или менее строгой аналогии с ранними историческими формациями, в частности, с феодализмом или индустриальным обществом, члены креативного класса — «поставщики креативности» — представляют собой господствующий общественный класс в примечательный период капиталистического развития. Деятельность креативного класса образует основу экономического роста в современных классах. Ввиду этой главной функции становится понятно, что определение креативного класса, как его понимает Флорида, носит в первую очередь экономический характер, ориентируясь на типичную профессиональную деятельность людей. В качестве эмпирического индикатора для оценки размера и роста креативного класса в исследовании Флориды служат обозначения профессий, используемые Бюро трудовой статистики США (к слову, их же применял еще Фриц Махлуп в своих исследованиях трансформации рынка труда вследствие роста интеллектуальных профессий). Работая с этим методом, затрудняющим сравнительный международный анализ (Lorenz, Lundvall, 2011: 271–273), Флорида (Florida, 2002: 75) приходит к выводу, что доля креативного класса возросла с 10 процентов в 1900 году до 30 процентов в 1999 году.

Флорида (Florida, 2002: x) описывает, как в свое время, исследуя значение месторасположения предприятия для экономического роста, он задумался о том, что «экономический рост имел место в местах, отличавшихся толерантностью, многообразием и открытостью по отношению к креативной деятельности — ведь это были те регионы, где хотели жить креативные люди всех сортов». Безусловно, месторасположение всегда имело значение для экономической сферы, но теперь для этого появились новые причины, по сравнению с прежними, как, например, прямой доступ к природным ресурсам или транспортным путям. Сегодня значение месторасположения определяется привлекательностью, по причине которой креативные представители трудоспособного населения перебираются в то или иное место или не хотят его покидать.

Как правило, кардинальные перемены в экономике, вследствие которых появился и приобрел свое нынешнее значение креативный класс, описываются наблюдателями из числа экономистов и социологов, начиная с Дэниела Белла и заканчивая Питером

Друкером, как возникновение современной наукоемкой экономики. Само это понятие указывает на тот факт, что знание становится одним из новых факторов производства, дополняющим традиционные факторы — землю, труд и капитал. Перемены в экономике сопровождаются существенными изменениями в структуре занятости населения. «Собственники» нового фактора производства (знания) образуют влиятельный социальный слой, чье политическое влияние, впрочем, гораздо сложнее оценить. Флорида в своем описании характеристик креативного класса в значительной мере следует этому общему образцу.

Отсюда следует, что креативный класс, по используемым обычно критериям, охватывает и те профессии, на которые обращалось внимание и прежде, и в других контекстах (например, в работах Фрица Махлупа); к этим профессиям, по Флориде, относятся «работники сферы знаний», «символические аналитики», «эксперты» и «свободные профессии». К уже существующим описаниям характера труда, выполняемого данной прослойкой, Флорида (Florida, 2002: 68) в качестве типичного признака креативного класса добавляет тот способ, каким его представители организуют свою жизнь, включая, разумеется, и их мировоззрение и социальные идентичности. Особенность современной экономики, согласно данной аргументации, заключается в том, что источником экономического роста и успеха регионов и населенных пунктов являются не инвестиции в кирпич и известковый раствор, промышленные комплексы и станки, а предложение креативных талантов.

В центре многочисленных комментариев, появившихся в ответ на новое понятие креативного класса, оказались — совершенно в духе концепции Флориды — главным образом экономические и практически-политические последствия его тезиса. Согласно их авторам, практическая оценка работы Флориды зависит, во-первых, от того, как определяются критерии членства в креативном классе²⁵⁸, и, во-вторых, от того, как оценивается значение членов

²⁵⁸ Креативный класс (Florida, 2003: 8), чья функция заключается в «создании целесообразных новых форм», организован иерархически и связывает два основных типа профессий, а именно ядро креативного класса, состоящее из ученых, инженеров и креативных свободных профессий, где также

креативного класса для раскрытия региональных экономических преимуществ, что, в свою очередь, является вопросом конкретной взаимосвязи между вкладом креативного класса и ростом экономики; наконец, третий фактор — это точная причина предположительно растущей доли членов креативного класса в общей совокупности всего работающего населения²⁵⁹. Ни на один из этих вопросов не дается удовлетворительного ответа. Определение членства также остается неясным. Причинно—следственная связь между отдельными эмпирическими показателями, например, социальным окружением, которые, как считаются, способствуют привлечению и удержанию членов креативного класса в конкретных населенных пунктах, и экономическим ростом в конкретных регионах также неоднозначна²⁶⁰. Ученым еще предстоит проанализировать общественную динамику меняющегося конгломерата креативного класса (ср. Drucker, [1968] 1992; Stehr, 2000b).

Поскольку обсуждение концепции креативного класса в первую очередь касается его экономической роли в современном обществе, и лишь во вторую очередь — его влияния на повседневную жизнь в конкретных городах и регионах, где наблюдается высокая концентрация его членов, политическая роль креативного класса

целый ряд занятий основан на знании. Внутри креативного класса возможна вертикальная мобильность. Как правило, его члены относятся к высшему социальному слою. По оценкам Флориды (Florida, 2003: 8), в США креативный класс в настоящее время «включает около 38,9 млн. американцев, т.е. примерно 30 процентов всего работающего населения США — по сравнению с 10 процентами в начале XX-го века и менее чем 20 процентами в 1980-е». Креативный класс зависит от класса, находящегося ниже его по социальной лестнице и включающего в себя плохо оплачиваемых работников сферы услуг; их заработная плата не высока, так как их профессиональная деятельность не предполагает никаких креативных способностей.

²⁵⁹ По всей видимости, Флорида (Florida 2002:70) отдает предпочтение той концепции происхождения и роста креативного класса, в которой акцент делается на спросе на профессиональные способности его членов. Так, он, к примеру, подчеркивает: «Поскольку креативное содержание других сфер деятельности также возрастает, релевантный комплекс знаний усложняется, а людей начинают больше ценить за их неординарные способности в применении этих знаний, некоторые представители рабочего или служащего класса перемещаются в креативный или даже суперкреативный класс».

²⁶⁰ См. Sands, Reese, 2008; Hoyman, Faricy, 2008; Pratt, 2008.

остается во многом неизученной. Флорида (Florida, 2002:68) признает, что в данном случае нельзя говорить о классе—для—себя, что (пока) креативный класс не воспринимает себя как «уникальную социальную группу» с общими интересами и явно выраженным, четким классовым сознанием, однако же, по его мнению, уже есть основания говорить о классе—в—себе. Флорида (Florida, 2002:315) отмечает: «Немного больше классового сознания пошло бы на пользу креативному классу». Политическое будущее креативного класса неопределенно. По мнению тех, кто обнаружил его в современном обществе, креативный класс представляет собой естественный и единственной возможный слой правящей элиты XXI—го века.

Впрочем, Ричард Флорида (Florida, 2002:316) питает надежду, что креативный класс дорастет до отведенной ему общественно—политической роли. Он обладает способностью генерировать «новые формы гражданского участия, отвечающие требованиям нашего времени». Тем не менее, это обещание новых, коллективных политических процессов в будущем не выглядит надежным прогнозом ввиду отдельных значимых характеристик членов креативного класса, а, главное, ввиду его неприятия так называемого организационного века. Члены креативного класса стремятся к индивидуальности, предпочитают нежесткие связи, анонимность, многообразие, открытость и аутентичность и, напротив, избегают отношений общности и конформизма. Поэтому описанные Флоридой установки членов креативного класса вряд ли смогут стать плодотворной предпосылкой для его политического влияния и коллективных политических действий.

5.4.4. Глобальный класс

Несмотря на то, что по численности глобальный класс невелик²⁶¹, истоки его возникновения, как их в строгом значении

²⁶¹ Этот вывод я делаю из следующего замечания Дарендорфа (Dahrendorf, 2000:1058): «Глобальный класс хорошо известен тем, кто много путешествует и проводит много времени в лаунж—зонах международных аэропортов. Здесь можно видеть и слышать, как они по своим хитроумным телефонам

классического понятия класса описывает Ральф Дарендорф (Dahrendorf; 2000), восходят к социальным последствиям окончания холодной войны в последнем десятилетии прошлого века. Впрочем, ни холодная война, ни последствия ее окончания не являются непосредственной причиной возникновения глобального класса. Конец биполярного мира лишь обеспечил возможность стремительного развития тех общественных процессов, которые в итоге привели к появлению глобального класса. Обычно эти процессы рассматривают под общим заголовком «глобализация». Чтобы соответствовать своей многолетней славе теоретика конфликта, Дарендорф обращает внимание прежде всего на новые социальные противоречия и экономические антагонизмы глобализации. Главные ресурсы и двигатель развития — это информационные факторы и технологии (компьютеризация, дигитализация, миниатюризация, волоконно-оптический кабель, спутниковая связь, Интернет), которые обеспечивают доступ к этим самым ресурсам «в принципе» жителям всех регионов Земли. Поэтому адекватным понятием для обозначения возникающей общественной формации является понятие информационного общества. Оно, точно так же, как и власть тех, кто его контролирует, — общественная реальность, которую уже нельзя не замечать. Новые ресурсы и силы ведут к появлению новых интересов. Процесс глобализации влечет за собой становление нового глобального класса со своими особыми интересами и собственным классовым сознанием²⁶². Несмотря на то, что о доминировании и победе глобального класса говорить еще рано, неолиберальная экономическая политика поддерживает его интересы. Оптимизм и надежда — вот основные составляющие ее позиции, равно как указание на значимость

разговаривают с кем-то на другом конце Земли. "Ты где? В Гонолулу? Везет тебе; я во Франкфурте застрял. Слушай, договор нам подпишут..."», а также из его указания на то, что доля глобального класса в общей численности населения составляет не более одного процента (ср. Dahrendorf, 2000:1039).

²⁶² Розабет Мосс Кантер (Kanter, 1995) в своем исследовании возникновения и характеристик «мирового класса» указывает на эмерджентное сознание новой космополитической страты с типичным для него изобилием новых понятий, способностей и контактов.

таких личностных характеристик, как инициативность, креативность, гибкость, образованность и инновативность.

Власть глобального класса огромна, поскольку именно он контролирует ресурсы информационного общества. Глобальный класс «превратил нас в заложников, и чем "развитее" страны, тем беспрекословнее подчинились они его власти». Наше общество становится рабом глобального класса. Конечно, правящий класс все равно не всемогущ, но он так или иначе задает тон во многих сферах мирового общества (Dahrendorf, 2000: 1039). С появлением глобального класса и подчиненной ему экономики знания меняется объем общественно необходимого труда, что, в свою очередь, имеет серьезные последствия (см. также Stehr, 2001). Дарендорф (Dahrendorf, 2000: 1064) называет новую эпоху эрой капитала без труда. Общество труда уходит в прошлое. Новые формы неравенства становятся главным источником конфликтов в обществе, где заканчивается работа.

В следующем разделе своего исследования я хотел бы рассмотреть тезис о том, что знание в значении способности к действию, безусловно, играет важную роль в попытках организовать политическое сопротивление и что его первичная функция заключается не только в подавлении политической оппозиции или укреплении устоявшихся социальных, политических и экономических иерархий, чья общественная функция, как принято считать, основана на конвергенции знаний и власти, без более четкого определения данного процесса. Слияние знаний и власти, как оно проявляется, к примеру, в классовых отношениях, будь то класс производителей смыслов, креативный или глобальный класс, выступает в качестве серьезного препятствия для демократических процессов. Принимая во внимание различные высказывания о концентрации знания как ресурса в современном обществе, мой ответ на исходный вопрос моего исследования может звучать только так и никак иначе: знание обременяет демократию. Чтобы начать смотреть на отношения знаний и демократии под другим углом, имеет смысл обобщить наиболее важные из рассмотренных мною тезисов о природе и причинах конвергенции знания и власти, которую констатируют многие теоретики общества. Почему и при каких условиях знание является инструментом власти? Какие

объяснения предлагают авторы соответствующих концепций (Макс Вебер и его идея господства, основанного на знании, Роберт Михельс и его железный закон олигархии, или Мишель Фуко и его тезис о симбиозе власти и официальных знаний)?

Отвечая на этот вопрос, я хотел бы более подробно остановиться на двух значимых моментах: во-первых, почему знания присваивают себе те, кто обладает политической властью, а не политически слабые группы и субъекты? Во-вторых, почему знание столь могущественно и эффективно, несмотря на то, что, по моему определению, речь идет лишь о способности к действию? Ответ на первый вопрос сравнительно прост. Чтобы монополизировать и эффективно использовать знания, нужна власть. Транзакционные издержки, связанные с приобретением знаний, не говоря уже о ресурсах, необходимых для его применения, слишком высоки. Социально неблагополучные слои не могут себе позволить насладиться плодами знаний.

Ответ на второй вопрос об условиях, при которых знание является властью, схож с первым и заключается в том, что особое социальное значение научных знаний есть функция исключительной надежности, объективности, реалистичности и конформности сформулированных научным сообществом неопровержимых высказываний. В этом ответе делается акцент на научности научного знания. В наши дни миф о неких особых характеристиках научного знания в целом развенчан. Различия между обыденным знанием и научными открытиями не столь огромны, как принято думать, а научные выводы зачастую представляют собой спорные по сути утверждения, на разработку и интерпретацию которых влияют ненаучные или политические суждения. В качестве примера здесь можно привести климатический детерминизм — разделяемое практически всеми обыденное убеждение, которое встречается и в научных исследованиях климата (см. одну из недавних статей в «Nature», посвященную внутринациональным конфликтам и глобальному потеплению). Одним словом, научное знание неустойчиво, и с точки зрения демократического правления, это его достоинство, а не недостаток.

Однако какими бы условиями ни объяснялась власть знания, в любом случае ясно, что роль, которую знание играет

в демократическом обществе, подлежит общественным ограничениям, понижающим или, наоборот, повышающим его эффективность. Одно из таких препятствий, о котором пойдет речь ниже, можно сформулировать в виде вопроса: совместимы ли демократия и экспертное знание? Ввиду сложности и многоплановости современных общественных отношений значение и влияние специальных знаний, разумеется, нельзя игнорировать. Это, однако, не должно означать, что, если говорить словами Роберта Даля (Dahl, 1989:337), самой идее демократического политического устройства серьезно угрожает растущая комплексность общественных условий. Обеспокоенность по поводу пропасти, разделяющей экспертное знание и демократическое правление в политической практике, безусловно, берет свои истоки в идее о том, что право граждан на демократическое правление не должно ничем ограничиваться и что эксперты должны иметь не больше влияния, чем неспециалисты. Вопрос о власти экспертного знания (основанной на его предполагаемой объективности) должен включать в себя и вопрос о том, можно ли вообще на базе научных высказываний дать какие бы то ни было прямые рекомендации и указания к политическим действиям.

6. Знание слабых

... Государство [получает немалую] выгоду от образования низших классов народа <...> Чем более они образованны, тем менее они подвержены заблуждениям экстаза и суеверия, которые у непросвещенных наций часто вызывают самые ужасные беспорядки. <...> Такой народ более склонен критически мыслить и способен устанавливать истинный смысл корыстных претензий партий и мятежных элементов: ввиду этого его не так легко увлечь в легкомысленную или ненужную оппозицию мероприятиям правительства.

Адам Смит (Smith, [1976] 1978)²⁶³

Безразличное отношение к государству — не естественное состояние народа, ибо оно заканчивается, как только народ осознает, что он сам в действительности и есть государство и что последнее не образуют некую особую сферу политики, управлять которой от лица всего остального человечества должны специалисты.

Теодор В. Адорно (Adorno ([1951] 1986: 292)

Политическая практика демократии, если придерживаться одного из главных ее идеалов, требует «формирования» «умной» общественности, которая была бы в состоянии поднимать политические темы, разбираться в политических вопросах и принимать обдуманное решение²⁶⁴. Однако что именно имеется в виду

²⁶³ См. также работу Джеймса Эйлви (Alvey, 2001), посвященную теории морали Смита и его позиции относительно преподавания этики в школах.

²⁶⁴ Практика радикальной демократии опирается на требование эгалитарности со стороны народа для народа. По крайней мере, политические

под этим идеалом демократической практики с участием хорошо информированных граждан? Означает ли это, как полагает Джордж Герберт Мид (Mead, 1923: 244–245), что «прогресс в практике и теории демократии зависит от успешного перевода общественной политики в термины проблем, напрямую касающихся всех граждан»? Или это означает, что в политических делах должно быть задействовано максимальное число граждан?

Если придерживаться господствующей точки зрения, которую многие наблюдатели не раздумывая называли бы «реалистичной», то для нее характерна следующая комбинация из четырех аргументов: (1) Знание — сила (власть), (2) общественность гражданского общества не обладает знанием, (3) реализация политической власти закрепляется за счет контроля над релевантными научными знаниями, которыми, через посредство экспертов, обладают власть имущие, и поэтому (4) эффективное участие граждан сталкивается с серьезными препятствиями и проблемами. Разделить эти аргументы не так — то просто. Широко распространенное утверждение о лишении граждан их прав (disenfranchising) опровергается тенденцией к большей открытости политических решений и более широкому общественному участию, закрепленному в законодательстве, в частности, в вопросах регулирования или проверки строительных проектов на нескольких уровнях в рамках легитимных политических процессов и института консенсусной конференции (см. Laird, 1993; Epstein, 1996; Kleinman, 2000; Fuller, 2000a: 45–46; Jasanoff, 2003: 397–398). Ввиду этих тенденций и многих других, я хотел бы сразу заявить, что не разделяю этой демотивирующей убежденности в неизбежном политическом «порабощении» современного индивида, и подробно объяснить свою позицию.

Трактуемое как идеал ожидание того, что граждане будут принимать всестороннее участие в демократических процессах, резко

решения должны опираться на широкое участие населения, а не зависеть от мнения меньшинства. Скептики, ссылаясь на различные тенденции общественного развития, сомневаются в том, что сегодня возможна реализация хотя бы компромиссной версии этого требования. Одной из причин для сомнений в возможности широкой демократии является, к примеру, растущий разрыв между экспертным знанием и знанием обычных граждан (см. Bohman, 1995a).

контрастирует и противоречит наблюдению (в определенных случаях усиливающейся) «массовой апатии» граждан (в промежутках между выборами) и надежным эмпирическим данным, согласно которым большая часть граждан в демократических странах очень плохо информирована о политических вопросах, а, кроме того, редко видит в этом дефиците политической информации причину для беспокойства (Converse, [1964] 2006).

Одним из первых наблюдателей, который в 1901 году выступил с такого рода диагнозом в отношении Соединенных Штатов Америки, был британский ученый и политик лорд Джеймс Брюс (Bruce, 1901:331–334). Во многих эмпирических исследованиях и в электоральной статистике с начала прошлого века и в особенности после второй мировой войны зафиксирован спад электоральной активности по всему миру. Как пишет Моррис Розенберг (Rosenberg, 1951:506), тот факт, что от двадцати до тридцати процентов граждан США, обладающих правом голоса, не участвуют в большинстве выборов или даже вообще не тратят время и силы на то, чтобы хоть как-то повлиять на политику в своей стране, свидетельствует о «поистине монументальной апатии».

Первое, наиболее очевидное объяснение выжидательного, ведущего к самоисключению поведения многих избирателей в контексте демократических выборов предлагают экономисты (см., например: Wittman, 1989). Модель политического участия, опирающаяся на представление о «рациональном гражданине» (*homo politicus*), разумеется, довольно сильно абстрагируется от фактического политического процесса, но обладает немалой привлекательностью в глазах теоретиков, моделирующих политическое поведение по аналогии с экономической (в узком смысле слова) аргументацией и, таким образом, придерживающихся экономической теории демократии. Изначально абстрактный, рационально действующий гражданин — это, согласно, в частности, Энтони Доунсу (Downs, [1957] 1968: 7–8), такой человек, который «к любой ситуации подходит, с одной стороны, имея в виду возможную выгоду, а с другой, учитывая затраты, <...> обладает хорошо развитой способностью взвешивать оба эти фактора и <...> имеет выраженную потребность неизменно следовать тому пути, на который направляет его его рациональность».

Главный вопрос в рамках модели рационального политического поведения касается приобретения знаний и информации, во-первых, для конкретной цели принятия решения на выборах, а также для выяснения того, можно ли повлиять на политику в период между выборами, и если да, то как²⁶⁵. Еще проще это можно выразить так: поиск решений в обоих случаях требует определенной информации, а получение информации связано с затратами. В этой связи неудивительно, что представители рационального подхода приходят к выводу, что как по теоретическим причинам, так и на практике наблюдается значительный недостаток информации у избирателей.

Высокие затраты на приобретение информации в контексте модели Доунса включают в себя временные инвестиции, а также обременение прочими ресурсами, необходимыми для того, чтобы получить доступ к релевантным данным, усвоить их и сопоставить альтернативные решения. Затраты на приобретение информации в каждом современном обществе стратифицированы, в частности, на основании различий в уровне образования и доходов. Степень эффективности используемой информации также зависит от социального статуса. Если попытаться применить подход Доунса к наблюдаемому кардинальному сокращению показателей участия в политической жизни или, по крайней мере, в политических выборах во многих демократических странах, то в качестве первой причины этого постоянно растущего неучастия в формальных политических процессах и наблюдаемой во многих странах утраты доверия к демократическим институтам напрашивается быстрый рост уровня формального образования среди населения.

Получение и переработка информации начинается с критериев выбора, т.е. с правил, на основании которых принимается решение,

²⁶⁵ В понимании Доунса (Downs, [1957] 1968:203), который, в свою очередь, придерживается доминирующего в экономике подхода, понятия знания и информации (данных) взаимозаменяемы, что подтверждается следующим примером: «Необходимое знание заключается в понимании взаимосвязей и информации; для всех названных выше средств поиска решений, как правило, требуется и то, и другое <...> как понимание взаимосвязей [знание], так и информация в узком смысле могут трактоваться как информация, поскольку приобретение и того, и другого требует больших затрат».

какая информация обладает пользой, а какая скорее бесполезна. По признанию Доунса (Downs, [1957] 1968:207), всеохватывающее разделение труда в современных демократических обществах ведет к тому, что большинство граждан не ищут и не собирают самостоятельно информацию, которая, по их мнению, необходима им для принятия верных политических решений. Каким бы ни был объем информации, усваиваемой гражданином, без определенных критериев выбора в любом случае не обойтись. Отсюда следуют два основополагающих вопроса: какая политическая информация по своим характеристикам заслуживает того, чтобы быть усвоенной рациональным образом? В контексте разработанной Доунсом (Downs, [1957] 1968: 208) экономической модели поиска политических решений используемые на практике критерии выбора являются рациональными в том случае, если «их применение позволяет получить полезную информацию для таких решений, которые приближают гражданина к наиболее желательному для него состоянию общества». Доунс, впрочем, ставит вопрос и об объеме информации, получаемой рациональным образом (Downs, [1957] 1968). Политическая информация «обладает большой ценностью, поскольку помогает гражданам принимать оптимальные решения» (Downs, [1957] 1968: 253). Объем приобретаемой информации подчиняется закону предельной полезности. Тот, кто ищет информацию, «вкладывает средства в приобретение данных до тех пор, пока предельная выгода, которую приносит данная информация, не оказывается равна предельным затратам». Поскольку лишь немногие граждане в состоянии оказывать влияние при помощи того объема информации, который они могут получить, при том что и это возможно лишь в некоторых сферах политики, как правило, «быть политически информированным <...> иррационально», так как «незначительная польза от полученных данных» не оправдывает временных и прочих затрат (Downs, [1957] 1968: 253). На основании этих рассуждений о пользе информации для отдельного гражданина Доунс (Downs, [1957] 1968: 254) приходит к выводу, что «подлинное политическое неравенство невозможно и в условиях демократии до тех пор, пока (1) царит невежество, (2) существует разделение труда и (3) люди действуют рационально».

Какие аспекты модели рационального политического поведения вызывают принципиальные возражения? В первую очередь обращают на себя внимания те допущения рационального подхода, в которых описывается определенное положение *homo politicus* в обществе. Рациональный избиратель, точно так же, как и рациональный потребитель, — это по сути изолированное, более того, пассивное социальное существо или, если выразить эту идею в более позитивном ключе, независимый актор, следующий главным образом своей индивидуальной картине мира²⁶⁶.

Однако подавляющее большинство эмпирических исследований политического поведения в демократических странах, начиная с классической работы «Личное влияние» Элиху Каца и Пола Лазарсфельда (Katz, Lazarsfeld, [1955] 1962), свидетельствует о том, что модель рационального политического поведения, ориентирующаяся на индивидуальных акторов и их расчет экономических или политических предпочтений, почти совершенно упускает из виду решающее значение социальных сетей и основных ценностей акторов²⁶⁷ (равно как и других доступных актору контентов коммуникации, см. Richey, 2008; о значении момента, в который кто-либо получает информацию, см.: Chong; Druckman, 2010)²⁶⁸.

²⁶⁶ Мой скептический анализ вопроса о том, в какой мере модель рационального актора отражает фактическое поведение современных экономических акторов на рынке, представлен в работе «Морализация рынков» (Stehr, 2007).

²⁶⁷ Избиратели (точно так же как и потребители, туристы, студенты и т.д.) принимают решения не в каком-то одном измерении. Как подчеркивают Куклински и его коллеги в исследовании, посвященном позиции и электро-ральному поведению американской общественности в связи с атомной индустрией (Kuklinski et al., 1982: 629), «люди не принимают решения, четко разделяя различные сферы, как предполагает прежний подход. Подходя к кабине на избирательном участке, чтобы проголосовать по той или иной инициативе в области атомной энергии, они не приносят с собой расчеты прибыли и затрат, указания референтных групп или базовые ценности; они приносят все то, чем являются в совокупности. Без ответа остается вопрос, насколько важен модус принятия решений перед лицом других. Стало быть, необходима такая модель, которая бы учитывала одновременно все возможные влияния на политический выбор граждан».

²⁶⁸ По этой причине Энтони Доунс (Downs, [1957] 1968: 8) сетует на то, что «любой анализ экономики и политики <сводился бы> к простому довеску

Индивиды — не просто пассивные получатели импульсов из окружающей среды. Социальные сети акторов могут рассматриваться как их политически значимое окружение. Они влияют на политические суждения и либо «корректируют» их, либо подтверждают и усиливают (Kuklinski, Quirk, Jerit, Rich, 2001: 411–412). Впрочем, немалая часть в целом любых решений, например, в жизненном мире повседневности, принимается не активно, а по привычке, в рамках повторяющейся рутины и в тесной связи со схожими ситуациями в прошлом.

Доунс (Downs, [1957] 1968:7) признает, что рациональный избиратель в разработанном им умозрительном эксперименте — не «вычислительная машина» (в конечном итоге будущее нельзя просчитать), а лишь «абстракция фактической многосторонности человеческой личности». Однако, несмотря на эту самокритику со стороны автора модели рационального избирателя, сложно избежать впечатления, что этот абстрактный индивид, этот отдельно стоящий человек, схожий с субъектом типичного экономического дискурса, по его мнению, является типичным.

Еще один важный аспект, связанный с недостаточными политическими знаниями отдельных граждан и политической апатией или низким участием граждан, обладающих правом голоса, в выборах во многих демократических странах, — это высказывания политических теоретиков, которые говорят об апатии и отсутствии интереса к политике у большинства граждан как о некоем положительном факторе, способствующем укреплению стабильности, причем говорят они об этом без малейшего цинизма. Но как можно говорить о «власти незаинтересованных»? Еще Фридрих Науман (Naumann, 1909: 617) обращал внимание на то, что данное утверждение — одна из «самых странных загадок в игре политических сил»²⁶⁹.

социологии первичных групп», если бы не была верна его исходная посылка о том, что политические акторы не принимают решения в соответствии с теорией рационального поведения.

²⁶⁹ «Никто не может расшевелить аполитичных людей, пока все идет гладко. Много усилий надо приложить, чтобы привести их в движение, но уж если они сдвинутся с места, то в государстве произойдут перемены» (Naumann, 1909: 628).

Демократические теории более позднего времени (см., например: Pateman, 1970: 7; Sartori, 1962), где в центре внимания, как правило, находится коллективная политическая система, делают акцент на функциональности политической апатии большинства населения в демократических странах, аргументируя это тем, что фактически наблюдаемый объем участия служит тому, чтобы обеспечивать стабильность демократических режимов. Подобные концепции напоминают теорию Волтера Липпмана и его наблюдения, датируемые 20-ми годами прошлого века. Липпман также был убежден в том, что эффективность и стабильность политической системы обладают приоритетом и что эксперты и элиты в гораздо большей мере выступают гарантами этой стабильности, чем электоральное большинство.

Проведенное британским экологом и эволюционным биологом Кузином (Couzin et al., 2011) теоретическое (т. е. математическое) и экспериментальное исследование также посвящено роли и влиянию неинформированных акторов на процесс принятия коллективных решений. Кузин и его коллеги обращаются к вопросу о том, можно ли уменьшить непропорционально большое влияние меньшинства, безошибочно преследующего лишь свои корыстные интересы, повысив долю участия неинформированных членов группы, принимающей то или иное решение, и тем самым достигнув «демократического консенсуса», максимально отражающего весь спектр предпочтений, как бы слабо они ни были выражены. Эксперименты, на которые ссылаются Кузин и его коллеги, проводились с рыбами отряда *Notemigonus crysoleuca*, однако, по мнению авторов, результаты вполне можно перенести и на «самоорганизованные решения среди человеческих индивидов» (Couzin et al, 2011: 1580). Результаты эксперимента с рыбами указывают на то, что «неинформированные индивиды <... > ограничивают влияние всезнающего меньшинства, возвращая контроль численному большинству» (Couzin et al., 2011: 1579). Поэтому «неинформированные индивиды (т. е. индивиды с недостаточно выраженной позицией или же недостаточно информированные об аспектах, по которым принимается коллективное решение) <...> играют ключевую роль в достижении демократического консенсуса» (Couzin et al., 2011:

1578). Чем больше неинформированных акторов экспериментаторы включали в эксперимент, тем больше их коллективное решение приближалось к решению большинства (неинформированных субъектов). Решение индивидов определяется адаптацией к (поведенческим) предпочтениям тех акторов, которые составляют большинство²⁷⁰. Конечно, вызывает большие сомнения возможность переноса теоретических и экспериментальных результатов на решения, принимаемые людьми, хотя бы уже потому, что в контексте реального социального поведения условия принятия решений редко бывают настолько прозрачными, насколько они прозрачны в контексте эксперимента.

Мы вряд ли ошибемся, предположив, что эти представленные в рамках политической теории нормативные оценки политической функциональности доли и характеристик меньшинств и недостаточной информированности граждан, а также перенос результатов эксперимента на сферу политики исходят из представления об обществе, которое, быть может, когда-то и существовало, но теперь уже не соответствует реальности. Поэтому, рассуждая о роли компетентности, знания и информации в условиях демократического режима, важно абстрагироваться от микросоциального уровня и изучить макросоциальные характеристики современной политической жизни. Как было показано в экскурсе о правовом конфликте между штатом и городом Нью-Йорком по поводу финансирования государственного образования, вопрос о том, сколько знаний на самом деле нужно демократии и сколько эти знания должны стоить, затрагивает не только индивидуальные решения и затраты, но и входит в компетенцию крупных государственных учреждений. Поэтому в следующем разделе я рассмотрю роль политического действия в современных обществах знания. Общества знания образуют макросоциальный контекст характера и возможности политического действия в современных обществах.

²⁷⁰ Результаты эксперимента и их трактовка в работе Кузина и его коллег имеет определенное сходство с теорией спирали молчания Элизабет Нозль-Нойман (Noelle-Neumann, 1968). Главный тезис этой теории гласит, что многие люди готовы присоединиться к тому, что, с их точки зрения, является мнением большинства.

6.1. Политика в обществе знания

Демократизация воли государства нуждается в соответствующей демократизации знания, исходя из которого совершаются действия.

Ommo Heyram Otto
(*Neurath, [1908] 1998: 120*)

В этом разделе я обращаюсь к вопросу возможности управления или реализации политической власти в современных обществах, а также анализирую новые отношения индивидов с государственными организациями и, соответственно, последствия трансформаций обществ в общества знания для политической системы. Если говорить абстрактно и вне исторического контекста, то утверждение о том, что знание укрепляет демократию и гражданские свободы, звучит убедительно и многообещающе. Однако, с одной стороны, это противоречит реально существующим отношениям в современных обществах, как они отражены в институциональном развитии политики, и, с другой стороны, исходя из духовной близости знания и свободы, не учитывает динамики производства знаний.

Свой анализ я начну с современности. Если говорить точнее, я сначала рассмотрю диагнозы демократического характера обществ, которые соответствуют наиболее распространенному среди профессиональных наблюдателей представлению о развитии демократии после второй мировой войны. Затем я обращаюсь к динамике производства знаний в современных обществах и к вопросу о его значении в общественной жизни, а также к роли общественности в процессе принятия политических решений ввиду растущего значения высокоспециализированного знания для политического действия.

Предлагаемая мною постановка вопроса, впрочем, не означает, что я намереваюсь продолжить изучение вопроса, который впервые вызвал жаркие дискуссии среди политологов около сорока лет назад и касается того, не следует ли признать невозможным управление современными обществами ввиду инфляции требований граждан к государственным институтам и общего

расширения сферы государственной активности. В то время дискуссия о предполагаемом бессилии государства, безусловно, представляла собой первую реакцию ученых на начинающийся коллапс просуществовавшего вплоть до 1960-х годов практически всеобщего доверия к власти и к авторитету государства, а также веры в возможность (государственного) влияния на общественные отношения.

Дискуссия о возможности управления обществом в 1970-е годы, напротив, свидетельствует об упадке убежденности в том, что в современных обществах существует что-то вроде политического всемогущества. Теперь, как считается, государство тоже должно отказаться от части своих общих притязаний на компетентность. Это не означает «разгосударствления» общественных отношений, однако в рамках этих дискуссий такого рода тенденции нередко все еще вызывают сожаления по поводу утраты власти государством, а их участники ищут возможности компенсации дефицита власти и авторитета.

В настоящее время мы уже необязательно имеем дело с типичной реакцией на диагностируемые «пробелы в эффективности» управленческого поведения государства. Снижение эффективности, уменьшение компетентности и сокращение сферы действия государственной власти сегодня, как правило, связывают с утратой автономии национального государства, вызванной, в свою очередь, различными проявлениями глобализации (см., например: Zürnl et al., 2007), и/или с экономизацией общества, т.е. с изменением политики под влиянием рыночных процессов (Habermas, 1998), а также с возникновением совершенно новых, зачастую глобальных политических проблем (в сфере экологии или финансов) и юридизацией условий государственной власти. В результате, как аргументируют, к примеру, Хеншель и Цангл (Henschel, Zangl, 2008: 430), может произойти так, что реализация политической власти «в западных странах сегодня <...> будет осуществляться не только государственными акторами». Впрочем, данное наблюдение ничего не меняет в сохраняющейся централизованности государства (Genschel, Zangl, 2008: 430–431) как менеджера господства, чьи полномочия на принятие решений, организационная власть и легитимность сохраняются в прежнем объеме.

Стало быть, и недавние дискуссии о возможности управления современными обществами разделяют с более ранними подходами явно выраженную «государствоцентристскую» точку зрения, с той лишь разницей, что «лишение власти» государства теперь трактуется как многообещающий сигнал, в частности, как адекватный ответ на интернализацию политических задач и проблем и как стимул для отработки надгосударственных политических функций, или же как все более громкие требования расширения партиципаторной политики со стороны множества самых разных социальных движений гражданского общества (см. Hirschmüller, 2005) и как сопротивление системным экономическим и политическим трендам в современных обществах (см., например: Roberts, 2008).

Гораздо более полное объяснение динамичных отношений между государством и его гражданами, нежели то, что возможно в рамках данной работы, должно учитывать наличие особых культурных традиций и особого опыта в разных странах, оказывающего долгосрочное влияние на эти отношения. Влияние культурных особенностей проявляется, в частности, в том, то в англо-саксонском культурном пространстве отсутствует то, что Теодор Адорно (Adorno, [1951] 1986: 291) называет государственным фетишизмом, а в немецкоязычных странах до сих пор не изжито авторитарное мышление, т. е. ощущение, будто государственный аппарат возвышается над подданными. Наличие бюрократического аппарата, отчуждение многих граждан от государства при одновременной готовности признавать его авторитет — такие атрибуты отношения к государству характерны не для любого общества. Очевидно, определенный опыт и традиции в том, что касается роли государства в обществе, оказывают влияние на управляемость общества и изменения степени этой управляемости в ответ на коренные общественные трансформации.

Я в своей работе хочу уделить основное внимание не смещениям областей компетенции за пределами границ национального государства и иррелевантности этих границ ввиду глобальных взаимосвязей между экономическими, экологическими и культурными процессами и явлениями во всем мире, а тем тенденциям общественного развития, которые обычно недооцениваются,

а зачастую и вовсе остаются без внимания в рамках дискуссии об управляемости. Речь идет о политических последствиях описанного мною расширения возможностей и способностей действия отдельных граждан и групп, а именно о расширении радиуса действия политической общественности, которое, в свою очередь, является следствием более полного понимания подлинных взаимосвязей между общественными учреждениями и находит выражение в требовании большей подотчетности профессиональных политиков, в растущей прозрачности индивидуальных жизненных путей, а также в большей политической компетентности и в растущем политическом сознании граждан и в их требовании не отстранять их от участия в политическом процессе.

Тезис о сниженной способности высокодифференцированного общества к самоуправлению, как он представлен, прежде всего, в работах Никласа Лумана, также не находится в центре моего внимания. Коммуникативные подсистемы общества, такие как экономика, правовая система, наука или церковь, представляют собой самореферентно или аутопойетично закрытые сущности, которым очень сложно вмешиваться в дела других систем (см., например: Luhmann, 1987: 135; 1988). Даже если не соглашаться с Луманом, полагая, что государственное вмешательство в «дела» отдельных подсистем общества уже стало рутиной и воспринимается акторами, действующими в отдельных институтах, как повсеместное, меня в этой тематике управляемости в обществах знания все же интересует «эффективность» подобного вмешательства и политических мер, определяемая в соотношении с целями, которые власти ставят в процессе политической конкуренции, в частности, в борьбе против безработицы, изменения климата, финансового кризиса, в проведении программ, призванных усилить чувство социальной солидарности и повысить степень интеграции меньшинств, в сфере контроля над научными знаниями и развитием технического знания, в сокращении случаев девиантного поведения и так далее.

Ввиду многоплановости этих вопросов, разумеется, на них возможны лишь приблизительные ответы. Поэтому и я с моим собственным ответом не претендую на окончательную оценку того, соответствуют ли принятые политические решения или

использованные государственные ресурсы и инструменты управления — по аналогии с управляемым рыночной экономикой распределением средств — критерию «эффективной работы» (ср. Wittman, 1995) и, соответственно, рациональным экономическим требованиям.

Конечно же, я исхожу из того, что на демократическом «политическом рынке» в настоящее время действуют гораздо более информированные и, возможно, даже более рациональные участники, чем когда бы то ни было. Однако тем самым я не утверждаю, что, по аналогии с идеальным типом экономического рынка, к нынешнему моменту сложился эффективный политический рынок и что вследствие этого экономические дискурсы наиболее пригодны для анализа управляемости или «государственного фиаско» современных обществ. Также я не хотел бы в своем исследовании ссылаться на часто упоминаемое в данном контексте, но при всем при том все же очень неоднозначное наблюдение относительно растущей комплексности мира. Сюда относится, к примеру, тезис о стремительно увеличивающейся открытости многих систем действия или убежденность в том, что все проблемы, ждущие своего решения, так или иначе находятся в неразрывной взаимосвязи и являются так называемыми «коварными проблемами» (*wicked problems*) (см. Rittel, Webber, 1973; Rayner, 2012). Начиная с 1970-х годов в социально-научной дискуссии все чаще можно слышать об особом уровне сложности и многоплановости политических проблем. У этого наблюдения есть некий пессимистический привкус, и оно дает повод задуматься, а возможно ли вообще планирование и учреждение институтов, которые были бы в состоянии «управлять миром невероятно растущей сложности» (Skolnikoff, 1976: 77) или, более того, в данных условиях предоставить обществу возможность ограничения и контроля за действиями крупных общественных институтов (см. Fung, Wright, 2001)?

Не принимая такую постановку вопроса, я хотел бы обратить внимание прежде всего на то, что эффективность политики, при условии, что она действительно падает, является результатом абсолютно новых и широко распространенных характеристик акторов, с которыми сталкиваются государственные планы и правительственные меры. Общество знания «производит»

стремительно растущее количество акторов, для которых характерна беспрецедентная в истории степень компетентности (knowledgeability) (см. Salisbury, 1975). Если смотреть с этой точки зрения, то являются ли, к примеру, социологические опросы населения адекватной и эффективной заменой прямого политического участия?²⁷¹

Способность государства и других крупных социальных институтов ограничивать участие или конкурентное поведение на основании «внешне определяемого признака», например, класса, расы, языка, пола и так далее и тем самым проводить процесс «закрытия» (Weber, [1922] 1976: 201–203), т. е. контролировать или монополизировать доступ к ресурсам, в обществе знания продолжает стремительно сокращаться²⁷². Способность индивидов принимать решения (или сопротивляться решениям крупных общественных институтов), самостоятельно определять свой жизненный путь, эффективно влиять на политику и требовать полной политической подотчетности от власть имущих — все это, безусловно, не является прямым следствием усилий демократически организованных правительств, направленных на усиление фактического политического участия и активной роли граждан ввиду их соответствующих прав. И, тем не менее, правовые нормы относятся не только к предпосылкам возможности эффективно

²⁷¹ Аргументированную критику социологических опросов и основанно на них понятия общественного мнения см. в ранней работе Блумера: Blumer, 1948. Опросы общественного мнения не выявляют социальный характер и властные отношения внутри общества. Схожую критику наивных допущений, лежащих в основе опросов общественного мнения, и вытекающих из них искажений, прежде всего самого конструируемого данными опросами общественного мнения см. в: Bourdieu, [1973] 1993.

²⁷² В противоположном подходе, в том виде, как он представлен, в частности, в работах Меттлера и Сосса (Mettler, 2007; Mettler, Soss, 2004), наоборот, акцент делается на значении и роли государственной политики в формировании политических установок граждан современных обществ: «Правительственные программы образуют основу жизни современных граждан и постоянно присутствуют в ней. Политические аналитики регулярно анализируют социальные и экономические последствия такого рода программ, в то время как их политическое воздействие практически игнорируется» (Mettler, Soss, 2004: 64).

функционирующих рынков, несмотря на то, что у нас нет оснований говорить о появлении такого рода рынков, действующих строго по законам экономической теории, но и к фундаментальным основам легитимного политического участия.

По причине того, что все большему числу акторов доступны определенные ресурсы, политический процесс становится все более нестабильным. В этих условиях необходимо интенсивно изучать основы общественной солидарности, задаваясь вопросом о том, способна ли компетентность в ее нынешнем значении формирующего принципа современного общества выступать также в роли основы солидарного поведения, или же она, наоборот, ведет к резкому упадку социальной солидарности.

Общества знания представляют собой социальные структуры, связанные между собой элементами символического когнитивного характера. Это, впрочем, не означает, что в обществах знания имеет место неразрешимое противоречие или конфликт между кардинально различными принципами или логиками развития, а именно между когнитивной и материальной логикой. Расширение реальных возможностей действия в период перехода к обществу знания, о котором здесь идет речь, основано на изменении логики общественного развития, а именно на окончании доминирования материальной логики и росте значения когнитивных факторов.

Социальные, политические и экономические изменения, которые до недавнего времени в первую очередь интересовали представителей социальных наук, не позволяют пройти мимо того факта, что современное государство в последнее время во многих странах контролирует 50 процентов ВВП или даже больше (в 1950 году в Германии этот показатель составлял 25 процентов), а также того, что уже один этот факт должен оказывать огромное влияние на политику и возможности управления современными обществами. Многие исследователи уделяли внимание почти исключительно экономическим, политическим и культурным процессам, которые, по их мнению, непрерывно рационализировали, расколдовывали, концентрировали и централизовали общественную жизнь. В конечном итоге такого рода диагнозы было уже сложно отличить от концепции грядущего технического

государства, как оно описывается в работах Герберта Маркузе и Гельмута Шельски.

Разумеется, такой выборочный интерес вел к тому, что структуры и процессы, ответственные за сохранение определенных видов социального неравенств, культурных и региональных различий, разнообразных традиционных ценностей и образцов поведения, поколенческих различий и социального плюрализма, совершенно потерялись из виду. В то же время по-прежнему считался верным тезис о том, что экономические отношения, включая происходящую внутри данной системы трансформацию производственных отношений в связи с появлением современной техники, и в наши дни имеют ключевое и непосредственное значение для анализа разных шансов и разных уровней жизни. Вполне естественным выводом из этой посылки было то, что ключ к адекватному пониманию политического состояния возможностей управления современным обществом следует искать в характере экономических отношений или, во всяком случае, в тесной взаимосвязи с ними. Соответственно, вытекающие отсюда тревожные тенденции развития Герберт Маркузе (Marcuse, [1964] 1989: 68) описывает, к примеру, следующим образом: «... упадок свободы и оппозиции следует рассматривать не в связи с ухудшением нравственного и интеллектуального климата или коррупцией, но скорее как объективный общественный процесс, поскольку производство и распределение все растущего числа товаров и услуг укрепляют позиции технологической рациональности».

В противоположность такого рода убеждениям, при любом критическом анализе политической системы, политического участия, политического представительства, доверия к политикам и веры в политику, гражданского участия и политических реалий современного общества необходимо осознавать, что экономическая структура этого общества кардинально меняется, что главное изменение заключается в уменьшении значения традиционных факторов производства, а именно труда и собственности и что прежде не вызывавшее сомнение первостепенное значение экономической системы также оказывается под вопросом. То, что сегодня приносит наибольшую экономическую выгоду, обеспечивает возможность стабильного экономического роста и

кардинальным образом меняет сферу труда и производства, — это инвестиции в знания, интеллектуальный капитал и компетентность, которая, к тому же, гораздо проще преодолевает границы общественных систем и поддается генерализации. При этом меняется внутренняя сущность не только экономики, труда и неравенства, но и жизненных форм. В той растущей мере, в какой труд совершается представителями наукоемких профессий, которые в определенных условиях относятся к наиболее политически активным группам населения, вероятнее всего, меняется и общий характер политической системы и, самое главное, возможность дальнейшего воспроизводства традиционных отношений зависимости. По этой причине необходимо в целом подчеркнуть, что эффективность политического участия возрастает тем быстрее, чем в большей степени оно опирается на знания. Совершенно логично, что одновременно с этими общественными трансформациями меняется и подход к пониманию социально–политических реалий: от особого внимания к институциональным структурам к анализу значения политических действий потребителей, избирателей и граждан.

От ряда наблюдателей современного политического ландшафта эти изменения не ускользнули, и в центре их внимания отныне не обострение классовых противоречий и его влияние на электоральное поведение граждан развитых демократических стран, а развитие и формирование новых социальных движений или расширение политической общественности. Впрочем, формирование «новых» социальных движений — это «не революционное выступление против систем, а призыв к демократическим режимам меняться и адаптироваться» (Dalton, Kuechler, Bürklin, 1990: 3). С одной стороны, в новых политических движениях отражаются новые проблемы и новые ценности, например, постматериалистические установки. К новым предметам политических споров относятся, безусловно, вопросы экологии, новые риски и формы социального неравенства или роль потребителя услуг и товаров. На другом уровне преимущества в области знаний — например, способность успешно вмешиваться в политический процесс крупных обществ — образуют важный аспект добровольной политической мобилизации и соответствующих действий. На повестке дня

новых социальных движений в этом случае обычно оказываются требования более открытого политического процесса, а также все чаще и чаще требования отчета от власть имущих об их политических действиях.

6.2. Возможность управления обществами знания

Но все-таки один из аспектов этой новой общемировой политической культуры бросается в глаза: она будет политической культурой участия.

Алмонд и Верба (Almond, Verba, 1963: 14)

Неуправляемость и неподвижность (или даже временное бессилие) современных демократий в глазах тех, кто диагностирует и описывает это состояние, — это всегда моральный кризис. Впрочем, мой интерес к обсуждаемой проблематике вызван отнюдь не жалобами на распад системы политического господства современного государства и не поиском козла отпущения, на которого можно было бы свалить вину за якобы угрожающий демократическому государству отказ в поддержке со стороны общества. Способы терапии, особенно если они связаны с принципиальным сомнением в правильности устройства либерального государства и прежде всего в «абсолютной» гарантии права на свободу и равенства, которые, ввиду глубоких политических проблем государства, интерпретируются как угроза якобы спасительной, ответственной и инструментальной дисциплинации граждан, также не находятся в центре моего внимания.

Приведенное ниже, неоднозначно сформулированное предостережение Вильгельма Хенниса (Hennis, 1977: 16) может служить примером аргументации, сторонники которой не боятся требовать в качестве компенсации за сниженную дееспособность государства сокращения гарантируемых конституцией прав: «Поскольку любое поведение и весь образ жизни определены в наших мнениях, очевидно, насколько тяжело должно быть или, по крайней мере, может стать управление в коллективах, строящихся на принципе абсолютной свободы и равноправия всех

мнений и <...> Не вызывает сомнений тот факт, что серьезные вызовы, перед которыми оказываются или могут в ближайшем будущем оказаться отдельные политические общности и человечество в целом, можно преодолеть только за счет беспрецедентной дисциплинации, энергии и повиновения». Кроме того, сегодня можно наблюдать, как в качестве причины практической беспомощности государства выделяются определенные сущностные признаки (социально-)либеральной формы правления или государства всеобщего благосостояния, как, например, расширение системы социального обеспечения. Соответственно, то, «что марксисты ошибочно приписывали капиталистической экономике, <...> на самом деле является результатом демократического политического процесса» (Huntington, 1975: 73). Историк Эрнст Нольте (Nolte, 1993) согласен с этим диагнозом, считая его реалистичной оценкой состояния современного либерального государства и его политики. Поэтому, как справедливо подчеркивает Клаус Оффе (Offe, 1979: 314), «в консервативной картине мира <...> "кризис управляемости" является тем мешающим фактором, ввиду которого необходимо покинуть ошибочный путь политической модернизации и восстановить права неполитических упорядочивающих принципов — семьи, собственности, трудовых достижений, науки». Быть может, с точки зрения Европы, и кажется, что наука и труд как упорядочивающие принципы зародились давным-давно в Европе, однако с точки зрения современных, неконтинентальных мировоззрений это нет как. Но, как бы то ни было, возврат или обращение в прошлое, прежде всего в эпоху раннего модерна, полагавшую, что ее когерентность зависит от конформного отношения к централистским, иерархическим и патриархальным религиозным санкциям, — это, безусловно, абсурдное требование²⁷³.

²⁷³ Я не намерен поддаваться искушению сводить весь мир политики общества знания к технократическому подходу или научно-политической перспективе (см. Bell, 1976: 49) (диагноз отношения знания и политики, у которого к концу 1960-х годов уже почти не осталось сторонников; впрочем, см. работы сторонников данного подхода тех времен, например: Brooks, 1965; Bell, 1971), утверждая, к примеру, что самый насущный вопрос в отношении отставания социальных наук — это «исправление» их

Тезис о невозможности управления современными обществами предполагает, по крайней мере, на первый взгляд, что группы и индивиды, до сих пор считавшие себя лишенными какой-либо власти перед лицом всеподавляющего могущества государства, а также группы и индивиды, которые уже имели опыт успешного оппонирования правительственным решениям, теперь должны ощущать нечто вроде «прироста власти». Впрочем, политики и чиновники, вероятно, воспринимают новую ситуацию, в частности, по причине более ограниченного нормативного одобрения прежде всего как утрату власти. Поскольку до сих пор вопрос управляемости общества рассматривался главным образом с позиций уже не действующего в полную силу государства, он всегда касался почти исключительно уменьшения легитимности правительственной власти. Поэтому для всех этих диагнозов характерно отсутствие интереса к балансу потерь и возможных выгод. Поиск вероятных причин сократившихся возможностей государства в сфере управления, как правило, ограничивается указанием на утрату легитимности. В этом, на мой взгляд, проявляется убежденность в том, что раньше государство обладало относительно высоким авторитетом и что снижение эффективности привело к утрате легитимности, а не наоборот.

Политическая эффективность означает, что что-то делается или что удастся предотвратить нежелательное развитие. Способность реализовывать свою политическую волю — это не только вопрос готовности и способности принимать решения, но и

практически применимых знаний; т.е. социально-научные знания должны существовать в форме практического ноу-хау, приближающего открытые нравственные и политические вопросы к решению. Так, например, в последний период веры в технические решения спорных политических проблем Харви Брукс (Brooks, 1965: 68) пишет, что непременно нужно форсировать поиск «поддающихся управлению, новых аполитичных формулировок проблем» как в области науки, так и в политической сфере, чтобы предотвратить ситуацию, когда политические решения захлебываются в жарких спорах о технических деталях альтернативных решений от экспертов. Решения спорных политических вопросов, основанные на технологическом подходе, не оставляли возможности для демократического участия, поскольку любой, за исключением экспертов, изначально исключался из процесса принятия решений.

способности эти решения проводить в жизнь, в том числе вопреки сопротивлению. Чтобы способствовать и препятствовать определенному развитию, в целом необходимо, чтобы актор в какой-то мере контролировал рамочные условия своих действий. Соответственно, неуправляемость общества можно трактовать как симптом того, что государство все больше утрачивает контроль над релевантными рамочными условиями политических действий или что его возможности повлиять на них существенно сократились.

В современном обществе расширились и возросли не только сфера ответственности государства и ожидания от исполнительной власти, но и ситуации и, соответственно, рамочные условия этой ответственности. Характерные для конкретной ситуации условия, к каковым, разумеется, относятся и характеристики лиц и групп, действующих в спорных ситуациях, в которых должны реализовываться политические цели, также кардинальным образом изменились. И эти изменившиеся, характерные для конкретной ситуации условия в каждом отдельном случае уже не те, которыми государство может «манипулировать» по своему разумению относительно легко, напрямую и эффективно, если такое вообще когда-либо было возможно в прошлом. «Сопротивление обстоятельств» в целом стало гораздо сильнее. При этом утрата суверенитета национальными государствами — лишь одна составляющая процесса растущего сопротивления со стороны условий действия, с которыми сталкиваются государство как актор и подчиненные ему инстанции.

Важной составляющей восприятия невозможности управления являются «отстающие» (в значении «культурного лага») ожидания исполнительной власти, а также субъектов политических действий в отношении того, что процесс реализации политических действий в принципе должен протекать так же, как в прошлом, и что растущее сопротивление обстоятельств по этой причине можно в целом рассматривать как irrelevantное. Другими словами, расколдовывание государства и традиционной системы политического представительства, а также утрата доверия к правительствам всех сортов в развитых (но не в развивающихся странах) необязательно сопровождается формированием общего скептического отношения к любым, потенциально возможным

формам правления. Как раз наоборот: вера в то, что желаемую эффективность правления в принципе можно восстановить и что противоречие между ожиданиями и результатом может разрешиться, еще широко распространено в развитых странах. В целом, однако, возросшие возможности трансформаций приводят к тому, что люди хуже чувствуют границы сопротивления дальнейшим, в особенности кардинальным общественным изменениям, которые возникают по причине возросших возможностей действия. Как ни парадоксально, все большая «строптивость» или жесткость социальных феноменов, во всяком случае, с точки зрения крупных социальных институтов, есть результат возросших коллективных возможностей действия.

Джозеф Най (Nye, 1997) попытался квантифицировать степень уменьшения доверия к правительству, наблюдаемого в последние десятилетия в США: «В 1964 году три четверти опрошенных заявили, что они верят, что федеральное правительство поступает правильно, исходя из условий текущего момента. Сегодня [1997] такая вера есть лишь у 25 процентов американцев» (Nye, 1997: 1). С конца прошлого столетия этот показатель возрос до 56 процентов в 2002 году, но с тех пор снова неуклонно снижался. В 2008 году он составил всего 36 процентов (см. Norris, 2011a: 65). Соединенные Штаты в этом отношении отнюдь не являются исключением. Общественность теряет доверие к крупным социальным институтам во многих развитых странах. В европейских государствах можно выделить несколько различных тенденций. В некоторых демократических странах (например, в Англии, Португалии и Ирландии) доверие правительству еще меньше, чем в США. Тем не менее, нельзя утверждать, что доверие граждан по отношению к правительству демонстрирует некую единую тенденцию на протяжении нескольких лет во всех европейских странах и что повсюду утрата доверия происходит все быстрее (см. Norris, 2011a: 70–72). Утрата доверия в целом значительная, однако имеют место и существенные национальные различия.

Если разделить население, как это делает, к примеру, Рональд Инглхарт (Inglehart, 1997b: 219) в статистическом обобщении результатов своего исследования, на две группы, а именно на сторонников постматериалистического мировоззрения и тех, кто

придерживается материалистической картины мира, то бросается в глаза, что постматериалисты, несмотря на то, что живут они в той же политической системе, что и материалисты, не демонстрируют большей удовлетворенности или поддержки в отношении политической системы.

Инглхарт (Inglehart, 1997b: 222) объясняет этот результат следующим образом: с увеличением числа сторонников постматериалистических ценностей в современных обществах кардинальным образом изменились основные критерии, по которым оценивается работа правительства. Масштабом для оценки успеха политических действий отныне служат совершенно новые и гораздо более высокие ожидания. Как показывают представленные Инглхартом (Inglehart, 1997b: 222) данные опросов, в настоящее время наблюдается некий долгосрочный и весьма влиятельный тренд, указывающий на уменьшение власти и влияния крупных традиционных общественных институтов.

Поэтому для правительств и политических партий развитых стран может служить утешением лишь тот факт, что они не одиноки, так как упадок доверия со стороны населения затрагивает все крупные общественные институты и политические системы всех развитых стран. Однако распространенное, отнюдь не положительное отношение к политическим партиям и политикам, а также полный скептицизм в отношении правительственных мер и их результатов не должны рассматриваться как некое глобальное препятствие, угрожающее всей системе демократического общества. Как раз наоборот, скептическая реакция на политические меры может привести к появлению новых форм демократического участия, помимо традиционной представительской системы (ср. Bruch, Ferree, Soss, 2010), и тем самым укрепить демократию.

С точки зрения политики и правительства, отношения между активными гражданами и представителями класса политиков в каком-то смысле, безусловно, становятся обременительными и малоприятными. Однако не исключено, что современные либеральные общества не только нуждаются в гражданских активистах, но и во все большей степени зависят от них. Отсюда Роуз (Rose, 1999: 166) делает следующий вывод: «Гражданин в роли потребителя должен стать активным субъектом в процессе

регулирования профессиональной экспертизы; гражданин как представитель здравого смысла должен стать активным субъектом обеспечения безопасности; гражданин как работник должен стать активным субъектом возрождения промышленности, и так далее».

Изменения в распределении властных шансов не подчиняются автоматически ни так называемому принципу игры с нулевой суммой, ни интересам какой-то одной конкретной группы. Снижение управляемости или (с точки зрения государства как института) подконтрольности отношений вполне может сопровождаться усилением ощущения беспомощности или процессом деполитизации управляемого общества.

Очевидный успех современной экономической системы в том, что касается общего уменьшения материальной нужды, привел к тому, что уменьшилось общественное значение экономических вопросов, изменились актуальность и роль экономических конфликтов в обществе и, соответственно, типичная форма политических противостояний в обществе знания. Снижение значения традиционных факторов производства — труда и собственности — ведет не только к кардинальному смещению ценностей, которые со временем превращаются в политические цели, но, прежде всего, к расширению релевантных в политических конфликтах возможностей действия (и, соответственно, власти) многих, прежде лишенных власти акторов. Если в прошлом политические конфликты вернее всего описывались как борьба владельцев рабочей силы с собственниками средств производства, то политические конфликты будущего касаются вопросов социальной справедливости и солидарности или стиля жизни и прежде всего неэкономических, новых политических целей, в частности, контроля над новыми научными знаниями и техниками, а также нового спектра политических организаций.

Рональд Инглхарт (Inglehart, 1971; 1977; 1987) описывал и изучал наблюдаемые в современных обществах изменения политически релевантных мировоззрений и снижение актуальности классово-политических конфликтов как развитие в направлении постматериалистических ценностей. Постматериалистические ценности — это личная и коллективная свобода, возможность самореализации и вопрос качества жизни. Содержания и престиж

определенных постматериалистических ценностей трансформируются с течением времени и, в свою очередь, меняют это течение. Сфера постматериалистических ценностей охватывает как универсальные цели (в частности, экологию, мирное сосуществование, феминизм), так и партикуляристские убеждения и темы (например, этнические и сексуальные идентичности). Наконец, определенные постматериалистические ценности становятся целями крупных общественных институтов, в то время как другие ценности теряют свое влияние и переходят в режим скрытого существования до тех пор, пока общество не откроет их заново.

Впрочем, скорость изменения ценностных представлений в обществе в целом ограничивается тем, что эти смещения приспособляются к ритму поколения, как писал еще Карл Мангейм (Mannheim, [1928] 1964) в своем классическом эссе, посвященном феномену поколений. Возникновение постматериалистических мировоззрений вначале можно проследить среди более молодых возрастных групп, т. е. в когортах людей выросших в условиях относительной материальной стабильности после второй мировой войны. Другими словами, исходя из рассуждений Мангейма о социальных и культурных основах феномена поколения, Инглхарт утверждает, что фундаментальные нормативные представления человек приобретает сравнительно рано, и затем они влияют на его мировоззрение на протяжении всей жизни. Инглхарт комбинировал наблюдение о сравнительно продолжительном воздействии ранней социализации с тезисом об ограниченности средств, т.е. о том, что на приоритеты индивида, помимо всего прочего, решающее влияние оказывают господствующие экономические условия. В период экономического процветания формируются постматериалистические ценности, в период нехватки материальных благ, напротив, получают развитие материалистические ценности. Как показывают различные эмпирические исследования, в первую очередь молодые, хорошо образованные люди в развитых странах придерживаются постматериалистической картины мира (см., например: De Graaf, Evans, 1996: 623–625).

В связи с тенденцией к появлению постматериалистических ценностей у этих поколений появляются новые политические приоритеты, а именно в отношении «коллективных» политических

целей и вопросов стиля жизни. Далее, мировоззрение, которое все больше утверждается в качестве политической силы, приводит к нейтрализации или уменьшению классово обусловленных политических полярностей и солидарностей (см. также Inlehart, Abramson, 1994). В результате электоральное поведение в гораздо меньшей степени определяется «классовой принадлежностью». Говоря о сути этого развития, неоднократно подтвержденного многочисленными эмпирическими данными, Инглхарт (Inglehart, 1987: 1298) подчеркивает, что классово обусловленное электоральное поведение в большинстве демократических западных государств в настоящее время выражено примерно в два раза слабее, чем еще одно поколение назад.

С вопросом о коррелятах и истоках постматериалистических ценностей, безусловно, непосредственно связан вопрос о значении или влиянии образовательного уровня населения, а также об опосредованной роли опыта материального благополучия в последние годы истории человечества. И в самом деле, находятся критики концепции Инглхарта, которые подчеркивают и пытаются эмпирически доказать, что на формирование постматериалистических ценностей влияет прежде всего уровень формального образования (наряду с господствующими в данный момент экономическими условиями) (см., например: Duch, Taylor, 1993). Инглхарт возражает против такой интерпретации. Уровень формального образования, по его мнению, не оказывает прямого влияния на ценностные представления, а опыт материальных лишений или, наоборот, материального благополучия в юношеские годы оказывает лишь незначительное влияние.

Конечно, для тезиса о растущем статусе постматериалистических ценностей в современных обществах это расхождение не имеет особого значения, поскольку объяснения причин такого рода систем ценностей не противоречат допущению о росте значения и распространении этих установок. С одной стороны, как подчеркивают участники этой дискуссии, ранний (но не определяемый более конкретно) и, скорее, неосознаваемый опыт, по всей видимости, имеет решающее влияние на формирование ценностей; с другой стороны, и уровень формального образования и вытекающие из него процессы рефлексии также имеют огромное

значение. В данном случае мы имеем дело с обсуждением вопросов, ответить на которые при помощи опросных данных можно лишь в очень ограниченном объеме, тем более что мы не можем утверждать, что речь действительно идет о двух противоположных позициях. Абрамсон и Инглхарт (Abramson, Inglehart, 1995: 85) также признают, что на тему уровня материальной обеспеченности практически нет опросных данных и что эта «переменная» лишь с большим трудом поддается измерению.

По сути, разрешить этот спор можно лишь в том случае, если достичь полного — по возможности, типологизированного по системам образования и культуры или историческому периоду развития общества — понимания в вопросе об «окончании» формирования индивидуальной идентичности и причинах ее сравнительной неизменности, а также определить влияние различного опыта и разных условий жизни, которые, однако, в целом ведут к схожим мировоззрениям.

Еще Карл Мангейм в своем оставшемся незамеченным со стороны его противников классическом эссе о формировании поколений намеренно оставил открытым вопрос о конкретном моменте, когда можно говорить о завершении первичной социализации, и высказался о принципиальной возможности того, что в жизни могут неоднократно появляться обстоятельства, способствующие изменению образа мысли. Кроме того, нельзя исключать вероятность того, что к возникновению определенной картины мира могут вести разные пути. Одним словом, в настоящее время вряд ли можно дать точный ответ на вопрос о сравнительном значении продолжительности (не говоря уже о типе) формального образования и материально-семейного окружения (или национального, коллективного чувства экономического благосостояния в сравнительной перспективе), а значит, повод для дальнейших дискуссий по-прежнему остается.

В этой связи Инглхарт утверждает, что уровень формального образования может служить характерным показателем экономической обеспеченности, в условиях которой индивиды проживали в указанный им отрезок биографии — в так называемые «формирующие годы», т.е. в период их «юности», тем более что известно, что материальное благосостояние родителей тесно коррелирует

с уровнем образования, которого достигают их дети. Инглхарт признается, что, как однозначно следует из данных, полученных на основании опросов, «европейцы с более высоким уровнем образования <...>, по сравнению с теми, чей уровень образования ниже, с меньшей долей вероятности являются материалистами и с большей — постматериалистами» (Abramson, Inglehart, 1995: 77). Эта взаимосвязь действительна и для старших поколений и даже для тех, кто ходил в школу при Гитлере в Германии или при Муссолини в Италии. С другой стороны, наблюдается явная тенденция распространения постматериалистических ценностей. Эта тенденция проявляется, к примеру, в том, что среди представителей молодого поколения с университетским образованием гораздо выше доля людей с постматериалистическими ценностями, чем среди старшего поколения. Отсюда Абрамсон и Инглхарт (Abramson, Inglehart, 1995: 81) делают вывод, что «в самом образовании нет ничего, что автоматически порождает постматериалистические ценности». Вполне возможно, что современная система образования более положительно настроена по отношению к постматериалистическим ценностям, чем это было еще два или три поколения назад. Однако причина подобных изменений, по Инглхарту, заключается в экономических условиях и в последующей реакции и культурной адаптации в образовательной системе. И, по крайней мере, в этом смысле сам Инглхарт остается материалистом.

Подробный анализ относительного веса формального образования и опыта или ожидания материальной обеспеченности для формирования у молодых людей определенных ценностей, установок и идейных направлений, на основании которых затем складывается мировоззрение, остающееся с ними на всю жизнь, и в свете которых интерпретируются все последующие события и переживания, представляет немалый интерес и имеет большое значение. С другой стороны, как бы ни формировалось сознание и специфическое мировоззрение индивидов, это лишь один и, возможно, не самый важный процесс, если говорить об изменении места важнейших социальных институтов в современном обществе и их способности проводить в жизнь свою волю. Разумеется, содержания тех или иных картин мира и изменения коллективного значения различных мировоззрений имеют далеко идущие

последствия, однако мировоззрения и различия между поколениями существовали всегда, чего нельзя сказать о радикальных изменениях в общественном развитии и конкретно в управляемости или подконтрольности общественных условий.

Впрочем, как я уже объяснял выше, еще большее значение для изменения структуры политического ландшафта в целом, т.е. не только для установок отдельных избирателей и граждан, имеет существенно возросшее количество и качество ресурсов действия, находящихся в распоряжении политических акторов, чему Инглхарт не уделяет внимания в своем исследовании. Интенсификация и расширение полномочий государства парадоксальным образом ведут к расширению способности индивида и семьи, например, более решительно защищать границы между частной и общественной жизнью. Способность (empowerment) отдельного индивида действовать в собственных интересах существенно возросла. Успех политических действий государства, т.е. результат изначальной автономии и властвования государства и расширения сфер его деятельности и полномочий привели к тому, что именно за счет этого, а не в результате перераспределения власти, группы и индивиды, не относящиеся к государственному аппарату, существенно преумножили свою способность к действию (в форме знаний) и теперь могут все более эффективно сопротивляться влиянию государства, что, впрочем, необязательно приводит к уменьшению объема возможностей действия, контролируемых государством. Одним словом, государство имеет дело с клиентами, гражданами, избирателями и так далее, чьи коллективные возможности действия (компетентность) радикально возросли, в связи с чем меняется не только масштаб управляемости и возможностей реализации политических решений, но и содержание, границы и хрупкость современной политики. Государство утрачивает свои прежние монопольные качества, если оно вообще когда-либо обладало ими в современных обществах.

И по этой причине я хотел бы особо подчеркнуть, что как бы там ни было, нам не следует за всеми этими жалобами на утрату властных возможностей государства забывать историю существенного расширения возможностей действия отдельного гражданина, а также возможной взаимозависимости двух

этих тенденций. Повсеместное расширение системы образования и доступа к ней со стороны маргинализированных прежде групп, общее расширение и соблюдение гражданских прав, сокращение и уменьшение остроты классового конфликта, рост благосостояния и социального обеспечения, развитие средств массовой коммуникации и более легкий доступ к ним, развитие интернета, резкое увеличение числа и рост престижа наукоемких профессий и связанное с ними распределение знания и генерализуемых профессиональных навыков, а также сверхпропорциональный рост свободных профессий во многих областях, представители которых постоянно ищут возможностей расширения сферы своей профессиональной компетенции, — все это примеры релевантного развития, которые должны учитываться как противоположный полюс по отношению к дискуссии о меняющихся возможностях управления, которая ведется с точки зрения государства. Следовательно, утрата власти со стороны государства есть проявление его успешности, а не результат воздействия иного единичного фактора.

В данном контексте особое значение имеет вопрос о жарко обсуждаемых истоках изменения ценностей, о субъективном восприятии модернизации, постматериалистическом мировоззрении и резком расширении возможностей действия индивида. Ответы на вопрос, какие именно факторы сыграли решающую роль в этом процессе, сложно привести к кому-то общему знаменателю. Однако я полагаю, что увеличение индивидуально доступного знания играет решающую роль и является главной характеристикой общества знания и его неустойчивых структур.

С другой стороны, во многих аналитических работах акцент делается на труде и особенностях изменившейся сферы труда, так что складывается впечатление, будто между концом традиционного общества труда и изменением ценностей, стилей жизни и субъективными ощущениями современных людей, а также формированием постматериалистических ценностей в том числе за пределами мира труда существует не только своеобразное родство, но и едва ли не причинно-следственная связь. Трансформация прежде всего промышленного труда, но также и новые требования и трудности в расширяющейся сфере услуг идут рука об руку с изменениями стилей и форм жизни. Таким образом,

субъективная модернизация и формирование постматериалистических ценностей являются выражением и результатом кардинальных изменений требований к работникам в современном мире труда, где, в частности, неуклонно возрастает спрос на «коммуникативные» навыки. В контексте «бережливого производства» ("lean production") ценятся прежде всего результативность, самоорганизованность, инициатива, ответственность и мотивация (ср. Braczyk, Schienstock, 1996).

В данной аргументационной цепочке особый акцент делается на необходимости и, возможно, даже неизбежности приспособления трудовых навыков и требований к работникам к сравнительно независимым тенденциям развития, особенно в том случае, если имеется в виду объективная данность технического прогресса, включая так называемые «гуманитарные технологии» (см. Schelsky, [1961] 1965: 18). Вынужденная адаптация такого рода сильно зависит от конкретного поколения, поскольку стратифицировать необходимость приспособления к новым условиям труда по возрасту не представляется возможным. Впрочем, в рамках данной аргументации в целом часто недооценивается или игнорируется другая, противоположная альтернатива, а именно вероятность того, что особенности профессиональных требований — это не только или не в первую очередь реакция работников на объективную необходимость, что соответствовало бы мифу о сохраняющемся доминировании «условий предложения», а результат особых признаков квалификации якобы совершенно пассивного работника, способного лишь приспосабливаться к изменениям спроса.

Вопрос о комплексных условиях изменения мира труда и его давления вплоть до изменения ценностей лучше всего можно понять, пожалуй, по аналогии с вопросом о росте числа профессий, основанных на знаниях. В самом общем виде можно утверждать, что ответ на этот вопрос следует искать в стремительном развитии и расширении научно-технического знания и его практической релевантности, знании, которое сравнительно быстро можно применить на практике, которое быстро становится значимым для практической жизни и во все возрастающей степени определяет ее. Другими словами, спрос на экспертное знание возникает в том числе как раз из производства этого знания и успешного создания

или изменения социальных условий в духе этого знания. То, что в обществе, жизнь которого во все большей степени зависит от науки, эксперты со временем становятся все более востребованными, можно в какой-то мере назвать процессом самосозидания, т.е. для решения постоянно растущего числа проблем необходим, по меньшей мере, язык авторитета и эффективности, которого ждут от науки и техники (ср. Nowotny, 1979: 119). Вот краткая формула, выражающая суть этой концепции: растущий спрос на наукоемкие профессии есть результат (растущего) производства экспертизы. Этот тезис, в свою очередь, совместим с тезисом о смене ценностей, сопровождающей смену поколений в современном обществе, поскольку в первую очередь молодое поколение выигрывает от расширения образовательных предложений и соответствующим образом модифицирует свои ожидания.

В поисках эмпирического объяснения этих стремительных трансформаций рынка труда и прежде всего структуры оплаты труда в последние годы экономисты все чаще обращаются к определенным аспектам, которые, как правило, остаются без внимания в исследованиях рынка труда и демографических исследованиях. Многие авторы, кроме того, спекулируют на тему когнитивных способностей, значение которых постоянно возрастает в ходе реструктуризации промышленности и сектора услуг или в процессе перехода от накопления капитала устаревшими фордистскими структурами к новым гибким способам производства эпохи постфордизма. В этой связи было бы интересно на основании эмпирических данных оценить роль когнитивных способностей, причем не в зависимости от продолжительности формального образования — показателя уровня знаний, который до сих пор использовался гораздо чаще, если не исключительно в такого рода исследованиях. Так, например, Мурнейн, Уиллет и Леви (Murnane, Willett, Levy, 1995) пытаются выяснить, действительно ли роль фундаментальных когнитивных способностей в определении уровня зарплат во всей экономической системе США возросла. Главный вопрос этого исследования касается того, насколько математические способности выпускников средних школ впоследствии, а именно по достижении ими 24 лет влияют на их зарплаты. Этот вопрос авторы адресовали двум группам

респондентов, закончивших школу в 1972 и 1980 году. Они сравнили соотношение между заработными платами и оценками по математике для двух этих когорт и на основании этого сравнения сформулировали два вопроса: (1) «Можно ли сказать, что базовые когнитивные способности стали сильнее влиять на уровень заработной платы во всех сферах экономики?», и (2) «В какой мере повышение уровня заработной платы для людей с высшим образованием в 1980–е годы объясняется увеличением разрыва в уровне знаний и навыков между выпускниками высшей и средней школы?» (Murnane, Willett, Levy, 1995: 252).

Обратимся сначала к результатам исследования, касающимся ряда традиционных атрибутов, которые прежде также связывались с разницей в уровне зарплаты. Исследование Мурнейна воспроизводит уже давно известный тезис о влиянии продолжительности формального образования на последующую заработную плату. По оценкам авторов, в отношении мужской части выпуска 1972 года каждый год, проведенный в высшем учебном заведении, уже через несколько лет профессиональной жизни означал прирост заработной платы на 2,2 процента по сравнению с зарплатой того, кто не имел высшего образования. Для выпускников мужского пола 1980-го года этот показатель составил 4,5 %, а для выпускниц 1976-го и 1980-го года выпуска — 5,5 и 6,7 % соответственно. Главный результат исследования гласит, что «во всех сферах экономики базовые когнитивные способности в середине 1980–х годов в большей степени предопределяли уровень заработной платы по прошествии шести лет после средней школы, чем в конце 1970–х годов» (Murnane, Willett, Levy, 1995: 263). Отсюда авторы делают вывод, что растущее значение когнитивных способностей, оцениваемых на основании успеваемости по математике, отражает изменение структуры спроса, а именно его смещение в сторону фундаментальных знаний. Такого рода спрос не ограничивается отдельными фирмами, а настолько явно выражен, что прослеживается и в общенациональной выборке. Заработная плата — это своего рода «искусственное вознаграждение за многообразие навыков и умений» (Murphy, Welch, 1993: 109), и предложение и спрос на такие способности, естественно, меняются с течением времени. Исследование Мурнейна положило

начало этому направлению. Изучение влияния базовых математических знаний, которые приобретаются сравнительно рано в средней школе, может стать первым шагом к пониманию изменений на рынке труда. Впрочем, можно выделить две главных сферы повседневного жизненного мира, где, вне всякого сомнения, пересекаются знания, политическая система и демократия: это, во-первых, сфера так называемого политического знания гражданского общества, а, во-вторых, сфера научных знаний гражданского общества, в той мере, в какой они затрагивают проблему управляемости в демократических странах.

Я хочу уделить внимание прежде всего вопросу политических знаний, которыми обычно обладают граждане в современных демократических странах, и последствиям, которые эти знания граждан имеют для политического управления современным обществом. В некоторых работах, посвященных анализу коллективного баланса знаний и информации в послевоенный период, слышен отзвук работ ученых 1930-х и 1940-х годов прошлого века, в частности, Карла Мангейма (см., например: Mannheim, 1940: 45–46) или Йозефа Шумпетера, где они выражали свои опасения по поводу угрозы для демократии, вызванной вступлением на политическую арену так называемых «масс» (ср. Blockland, 2011: 40–42). При этом я вначале подробно рассмотрю то, что в литературе обычно фигурирует как «политическое знание», а затем, в рамках более широкого анализа, уделю внимание гораздо более высоким ожиданиям в отношении объема научных и технических знаний, которыми должны обладать граждане, чтобы иметь возможность эффективно участвовать в политическом процессе современного общества. Сразу после этого я хочу обратиться к вопросу о значении и достоверности политического знания, полученного при помощи традиционных эмпирических методов. Кроме того, нельзя упускать из виду дополнительную гипотезу о том, что «уровень фактического знания, как он измеряется в рамках эмпирических исследований, — индикатор чего-то гораздо более фундаментального» (Kuklinski, 1997: 927). Я утверждаю, что связь между знаниями и демократическими действиями осуществляется посредством компетентности, понимаемой как совокупность интеллектуальных и социальных навыков и способностей.

6.3. Политическое знание

Перечень вещей из области политики, которые не знает типичный гражданин, пугает. Объяснение этого невежества и использование этого объяснения для понимания различных аспектов политики — серьезная проверка для любой теории прагматического или политического познания.

Рассел Хардин (Hurdin, 2006: 179)

«Политическое знание» (или степень политической информированности) большого числа граждан в современных демократических странах и в самом деле находится на пугающе низком, с точки зрения многих наблюдателей (см., например: Gunn, 1995: 108), уровне, равно как и доверие граждан (см. Levi, Stoker, 2000; Nannestad, 2008)²⁷⁴ к главным демократическим организациям их страны и к ведущим представителям политических институтов²⁷⁵. Политические знания членов разных групп

²⁷⁴ Маргарет Леви и Лаура Стоукер (Levi, Stoker, 2000: 501) так резюмируют подробное рассмотрение полученных до сих пор результатов эмпирических исследований на тему доверия к политике: «Наличие или отсутствие доверия граждан к политикам или правительству влияет на то, становятся ли они политически активными, как они голосуют, отдают ли они предпочтение законодательным или институциональным реформам, подчиняются ли они политическим властям и доверяют ли они друг другу». Змерли и Ньютон (Zmerli, Newton, 2008: 706) в своем эмпирическом исследовании, основанном на показателях социального доверия, которые они считают более подходящим для данных целей, приходят к выводу о наличии «явной и статистически значимой корреляции между общим социальным доверием, с одной стороны, и доверием к политическим институтам и удовлетворенностью демократией, с другой. Эта связь является значимой для 23 европейских стран и для США». Впрочем, Змерли и Ньютон прослеживают не связь между политическими установками и поведением, а лишь связь между общим, социальным доверием к окружающим людям и политическими установками и политическими действиями.

²⁷⁵ Роберт Даль (Dahl, 2000) более детально изучил мнимый парадокс недостаточного доверия к важным демократическим институтам при широкой поддержке демократии со стороны общественности. Он приходит к выводу, что отношение отдельных граждан к демократии и недостаток

населения сильно отличаются друг от друга (Luskin, 1987). Так, например, отмечаются значимые различия между политическими знаниями женщин и мужчин (Wolak, McDevitt, 2011). Недостаток политических знаний в демократических странах подтвержден многочисленными эмпирическими исследованиями и остается сравнительно стабильным на протяжении долгого времени (Galston, 2001; Bennett, 2003, 2006)²⁷⁶. Большинство граждан обладают кое-какими политическими знаниями, но, как правило, лишь незначительными²⁷⁷.

доверия к демократическим организациям отнюдь не противоречат друг другу. Необходимо уточнить, что в обычных условиях, согласно результатам опросов, «большинство граждан в большинстве демократических стран не рассматривают участие в политической жизни ни как крайне необходимое, ни как особо продуктивное, и хотя многие недовольны тем, как работает правительство, подавляющее большинство граждан ценит те права и возможности, которые дает им демократическая система правления» (Dahl, 2000: 39). Этот выявленный Далем парадокс без труда можно применить и к контрасту между недостаточной индивидуальной информированностью в политической сфере, поддержкой демократии со стороны общественности и функциональной пригодностью существующей политической системы (см. также Berelson, 1954: 312).

²⁷⁶ Я не стану рассматривать методологические проблемы и тонкости изучения политического знания и политической информации. Эта работа уже была проделана другими авторами (см. Johan, 2008; Miller, Orr, 2008; Prior, Lupia, 2008; Sturgis, Allum, Smith, 2008). Скептический вывод Пьера Бурдьё (Bourdieu, [1973] 1993; см. также Champagne, 2005) относительно того, что общественного мнения не существует, если, конечно, мы не отождествляем его с результатами опросов о потенциальном электоральном поведении респондентов, также относится к категории методологической критики (в связи с недостаточной достоверностью результатов) политических установок, выявить которые призваны эти опросы.

²⁷⁷ В своем заслуживающем упоминания эмпирическом исследовании Эннс и Келлстафт (Enns, Kellstaft, 2008) изучили взаимосвязь между «уровнем политической культуры» (сводный показатель, объединяющий скорее общие, нежели конкретные аспекты: вопрос о том, кто является губернатором штата, где проживает респондент, как фамилии депутатов Конгресса от округа респондента, а также вопрос об уровне формального образования) и политическими установками. На основании опросов, проведенных в США в период с 1974 по 2002 год, авторы исследования приходят к результату, что все опрошенные усваивают политическую информацию и актуализируют свои политические установки. Изменение

Эти результаты явно контрастируют с общей растущей поддержкой демократии со стороны населения во всем мире, но подтверждают представления политических теоретиков и философов демократии о том, что невежество общественности и недостаточный уровень политической компетентности представляют угрозу для демократии. Политически компетентные и хорошо информированные граждане, согласно этой аргументации, способствуют сохранению и развитию демократии. Так, например, Кароль Эдвард Солтан (Soltan, 1999: 10) констатирует: «Исследователи в большинстве своем просто исходили из того, что компетентность в вопросах, влияющих на электоральные решения, имеет значение для демократии, и поэтому не могли скрыть свой ужас, когда эмпирическое исследование показало, на их взгляд, чудовищно низкий уровень компетентности».

Недостаточная политическая компетентность граждан, безусловно, имеет определенные последствия для политической ситуации. В пессимистичной оценке этих последствий Томас Соуэлл (Sowell, 1980: 164) приходит к следующему выводу, верному не только в отношении Соединенных Штатов: «Центр принятия решений сместился от индивидов, семьи и добровольных объединений разных сортов к правительству, а внутри правительства он, в свою очередь, сместился от выборных чиновников, обязанных отчитываться перед избирателями, к обособленным правительственным институтам, таким как бюрократия и назначаемый правительством судейский корпус». Очевидно, выявленные Соуэллом тенденции институционального развития в то же время

политических мнений не ограничивалось группой более информированных в политической сфере респондентов. Эннс и Келлстафт (Enns, Kellstaft, 2008: 437) обращают особое внимание на то, что «все сегменты электората получают информацию об экономике и используют ее, обновляя свои политические установки». Эмпирические результаты исследования Эннса и Келлстафта опровергают идею о том, что акторы, не располагающие практически никакой политической информацией и не способные мыслить дифференцированно, в большей или меньшей степени лишены политических прав. Результаты их работы, напротив, подтверждают тезис о том, что, «несмотря на подобные вариации, существуют некие общие послылы, которые так или иначе доходят до всех сегментов общества, и реакция на эти общие послылы влияет на общественное мнение».

оказывают глубокое воздействие на «индивидуальную свободу, а также те социальные способы, какими используется, искажается или лишается своей эффективности знание» (Sowell, 1980: 164).

Где авторы этих трагических диагнозов в отношении скромных объемов индивидуального знания или информации о политических процессах, мерах и политиках могли допустить ошибку?²⁷⁸ Какое значение имеют политические знания общественности и в особенности их недостаток для реально существующей политической системы общества и, с другой стороны, для нормативной теории демократии? Можно ли конвертировать политическую информацию, в частности, «фактические знания» основополагающих гражданских данных в политическую власть? Почему члены общества должны мириться с постоянно возникающими высокими транзакционными издержками, чтобы быть должным образом политически информированными? Несут ли расходы на приобретение информации прежде всего или, возможно, даже исключительно избиратели? Рационально ли политическое невежество? Является ли недостаток политического знания причиной диагностируемых Соуэллом явлений? Что именно следует считать политическим знанием? И, наконец, осуществляется ли поиск политических решений у более информированных граждан иначе, чем у менее информированной части населения (ср. Kuklinski, Metlay, Kay, 1982; Bullock, 2011)? И, учитывая и без того ограниченные конкретные эмпирические доказательства, действительно ли избиратели

²⁷⁸ Джеймс Куклинский и его коллеги (Kuklinski, 2000) убеждены, что важно различать понятия «неинформированность» и «ложная информация» (неверные факты): обладание ложной информацией может оказаться проблематичным, но еще проблематичнее результаты проведенного Куклинским (Kuklinski, 2000: 799–801) опроса, согласно которым значительное число респондентов убеждены, что имеющаяся у них ложная информация верна, и «те самые люди, которые в наибольшей степени нуждаются в корректировке своих убеждений, произведут ее с наименьшей вероятностью». Отсюда можно сделать вывод, что «предпочтения дезинформированных людей будет сложно изменить». Если судить по результатам эмпирического исследования Куклинского (Kuklinski (2000:810), это действительно так. В целом можно констатировать, что обычно общественное мнение изменить очень тяжело.

голосовали бы по-другому, если бы они были лучше информированы в политической сфере (Dow, 2011)?

Несмотря на то, что фактически практикуемое демократическое правление и участие и информированность населения о темах, по которым необходимо принять политическое решение, во многих случаях далеки от идеальных условий, демократический режим по-прежнему существует во многих странах, число которых даже возрастает, в то время как число стран, где демократия приходит в упадок или рушится, очень незначительно.

В области эмпирического изучения политического поведения и волеобразования членов общества, обладающих правом голоса, уже давно поднимаются вопросы о политическом знании или, вернее было бы сказать, о политической информированности акторов. (Нормативная) теория демократии указывает на необходимые индивидуальные характеристики избирателей, которые, по-видимому, являются условием эффективного и рационального участия в демократическом политическом процессе. Эта теория описывает, какими знаниями и какой мотивацией должны обладать избиратели в демократических странах. Сюда относятся, прежде всего, информированность о политическом устройстве и политических институтах страны, о спорных политических вопросах, о предлагаемых решениях, возможных последствиях политических мер и о влиятельных политических акторах.

Бернард Берельсон (Berelson, 1952) в работе, написанной им сразу после войны, где он призывает к междисциплинарному сотрудничеству между исследователями общественного мнения и политической теорией, рисует обобщающую картину не исключających друг друга личных качеств и условий выбора избирателя в демократической стране (см. также Lerner, 1958: 59). В идеале избиратель, в частности, должен:

1. Иметь определенную личностную структуру, т.е., если говорить более конкретно, он должен уметь брать на себя моральную ответственность за одобренные им решения; он должен быть в какой-то мере устойчив к фрустрации; он должен сформировать выверенный баланс между подчинением и самоутверждением; кроме того, он должен иметь здоровое, критическое отношение к политической власти.

2. Некоторый интерес и участие в политической жизни должны быть не только условием, но и результатом однажды принятых политических решений актора. Как подчеркивает Берельсон, дескриптивная документация этих характеристик, в отличие от приведенных выше личностных качеств, довольно объемна, и существенных изменений этого обстоятельства за последние несколько десятилетий исследований, посвященных политическому поведению, не произошло. Так, например, в 1950–е годы в США менее трети избирателей демонстрировали интерес к политике. Та часть населения, которая действительно интересовалась политикой, одновременно выполняла функцию выразителей общественного мнения. Берельсон (Berelson, 1952: 317) трактует данные показатели и наблюдавшийся уже в то время спад участия в выборах как выражение ощущения со стороны избирателей, «что они бессильны повлиять на политические дела ввиду сложности и масштабности вопросов».
3. Впрочем, политическая теория затрагивает не только эти личностные качества и социальные способности избирателей, но также исходит из того, что граждане обладают релевантной информацией и знаниями (что является условием формирования просвещенного общественного мнения), несмотря на то, что именно выразители общественного мнения не всегда бывают хорошо информированы (см. Trepte, Voecking, 2009). Берельсон соотносит информацию с отдельными фактами, а знание — с общими высказываниями. Как информация, так и знания являются, согласно Берельсону (Berelson, 1952: 318), надежной основой для понимания последствий политических решений: «Информация и знания требуются от электората, исходя из того, что именно они способствуют мудрости решений; информированные граждане принимают мудрые решения». Относительно этого аспекта еще в 1950–е годы были проведены весьма многочисленные исследования общественного мнения, а в последующий период их количество, разумеется, еще больше возросло.
4. Берельсон добавляет, что к демократическому процессу принятия решений, помимо атрибута «информация и знание»,

относится еще один элемент, а именно наличие принципов. Избиратели должны обладать определенным спектром стабильных политических норм или нравственных принципов и не выносить политические оценки на основании сиюминутных импульсов и настроений. Вначале я остановлюсь на общем определении объема информации и знаний электората, а также на последствиях этих эмпирических данных для демократических решений и участия. Затем я более подробно рассмотрю результаты исследований и концептуальные трактовки содержания политического знания.

Довольно часто — и уже в работе Бернарда Берельсона — можно встретить вывод о том, что общественность не очень хорошо информирована о политических событиях. К этому, как замечает Берельсон (Berelson, 1952: 318), добавляется то обстоятельство, что «большинство исследований опирались на простые, не связанные друг с другом вопросы о фактах (т.е. информации) и лишь редко — на исторические и общие тезисы (т. е. знание), которые лежат в основе политических решений». Как подчеркивает Берельсон (Berelson, 1952: 319), в представительных демократиях не следует предъявлять нереалистично высоких требований к объему имеющейся информации и степени понимания отдельных политических тем и последствий решений со стороны избирателей: «Фактически главные решения, которые вынужден принимать рядовой гражданин в рамках современной представительной демократии, включают в себя базовые упрощения, которые не нуждаются в привлечении широкого спектра информации постольку, поскольку основаны на определенном объеме ключевой информации, при условии ее разумной интерпретации. В конечном итоге эффективный выбор избирателя ограничен; он может проголосовать за республиканцев, он может проголосовать за демократов, или же он может воздержаться от голосования, и информированность по ряду менее важных вопросов обычно не перевешивает те немногие вещи, которые действительно имеют значение — трудовую деятельность, социальное обеспечение, прожиточный уровень, мир».

Юрген Хабермас (Habermas, 1962: 232), который в своей работе «Структурная трансформация общественности» ссылается в том

числе и на наблюдения Бернарда Берельсона относительно теории демократии и исследования общественного мнения, на основании данных о недостаточных политических знаниях избирателей приходит к следующему объяснению результатов эмпирических опросов:

«Между тем, если основная масса населения, обладающего правом голоса, на сегодняшний день настолько не соответствует демократической модели поведения, как об этом свидетельствуют многочисленные эмпирические исследования, неважно, измеряется ли это несоответствие лишь по таким внешним критериям, как уровень интереса к политике, информированности, политической инициативы и активности или участия в дискуссиях, то понять такого рода отклонение можно только с социологической точки зрения, во взаимосвязи со структурной и функциональной трансформацией самой общественности».

Хабермас констатирует, что с появлением массовой печати и сопутствующими ей техническими и коммерческими реалиями прежняя буржуазная общественность пришла в упадок и стала приобретать черты, характерные для эпохи феодализма. Коммуникация вновь подвергается одностороннему ограничению и влиянию отдельных акторов, обладающих властью и престижем. На манипулируемой общественной арене царит готовность к аккламации и мнения, искусственно создаваемые при помощи рекламных технологий, в отличие от подлинного общественного мнения по политическим вопросам. В результате очень эффективно организованного процесса коммуникации беспомощный электорат сталкивается с информацией, которая основана на социально-психологическом расчете, «обращается к бессознательным наклонностям в человеке и вызывает предсказуемые реакции. <...> Регулируемые в соответствии с тщательно проработанными параметрами и экспериментально проверенные воззвания должны <...> утратить связь с положениями политических или каких бы то ни было правительственных программ».

Хабермас соглашается с Отто Кирххаймером (Kirchheimer, 1959: 265), который описывает публичную сферу как успешно деполитизированную, где общественное мнение не может возникнуть по двум причинам: неформальные мнения (1) формируются не

рационально и не в результате сознательного изучения выявленных проблем, а также (2) не в ходе обсуждения и публичного дискурсивного сопоставления политических реалий. Вследствие этой успешной манипуляции безоружными и незащитными потребителями масс-медиа «для дезинтегрированной аудитории граждан при помощи средств публицистики в СМИ создается такой образ общественности, что, с одной стороны, его можно использовать для легитимации политических компромиссов, избегая, с другой стороны, необходимости участия в принятии эффективных решений или даже способности к такому участию» (Habermas, 1962: 242).

Этому двойственному выводу противостоит осторожно-прагматическая оценка асимметричности политических знаний у населения и акторов политической системы, которой придерживается видный политолог Джеймс Куклинский (Kuklinski, 1990: 394). Как можно судить по результатам инициированных им исследований (Forejohn, Kuklinski, 1990), Куклинский, который в 1980-х и 1990-х годах делал ставку на информационный подход, приходит к прозаичному выводу, что политическая система в современных обществах «работает», несмотря на обширные пробелы в знаниях избирателей.

Прежде чем перенести скептический взгляд на политическую общественность 1950-х и 1960-х годов на современность, я кратко опишу тот способ, каким обычно получают эмпирические данные по объему политических знаний у общественности. Со времен комментария Бернарда Берельсона к числовым показателям, полученным около шестидесяти лет назад, в методике сбора данных на тему политического знания общественности не произошло существенных изменений.

Измерение уровня политических знаний

Таблица 1.

Примеры вопросов из эмпирических исследований, призванных определить объем «политических знаний»

Вопросы (в скобках приводится процент верных ответов)
«измеряют»

а. структурное политическое знание (structural political knowledge)

1. Политическая система нашей страны основана на нашей конституции. Какими из следующих полномочий, согласно конституции, обладает государство? (55)
2. В Финляндии действует пропорциональная избирательная система. Какие из приведенных ниже описаний Вы соотносите с понятием «пропорциональная избирательная система»? (Можно выбрать один или несколько вариантов). (23)
3. Что означает разделение на избирательные округа? (39)
4. Какие субъекты или органы принятия политических решений избираются населением в ходе прямых парламентских выборов? (62)
5. Какие из следующих задач относятся к компетенции парламента Финляндии? (Можно выбрать один или несколько вариантов) (26)
6. Избирательная система переводит количество отданных голосов на выборах в места в парламенте. В Финляндии избиратели голосуют за кандидатов, которых они выбрали. Как оценивается отданный голос? (48)
7. Какие задачи, согласно Конституции, выполняет премьер-министр? (Можно выбрать один или несколько вариантов). (40)
8. Какие из приведенных ниже высказываний лучше всего описывают принцип парламентаризма? (39)

б. Политическая информированность

1. Можете ли Вы назвать мэра/главу муниципалитета города или коммуны, где Вы живете в настоящее время? (55)
2. Какой партии принадлежит большинство мест в городском или муниципальном совете в городе или коммуне, где Вы живете в настоящее время? (57)
3. Кто в настоящий момент является премьер-министром Финляндии и какую партию он/она представляет? (85)
4. Из приведенного ниже списка партий выберите те, что представлены в правительстве. (38)
5. Кто в настоящий момент является спикером парламента и какую партию он/она представляет? (63)

6. Назовите председателя одной из партий, представленных в нынешнем парламенте. (70)

Источник: Kimmo Elo, Lauri Rapelia (2011), "Determinants of Political Knowledge: The Effects of the Media on Knowledge and Information", *Journal of Elections, Public Opinion & Parties* 20: 133–146.

в. Конвенциональное знание (Conventional Knowledge Scale)

Правильные ответы отмечены звездочкой (*).

1. Мы хотели бы знать, насколько известны некоторые политические деятели. [Торонто] Кто в настоящий момент является премьер–министром Онтарио: Майк Харрис, Далтон Мак–Гинти*, Джон Тори или Ховард Хэмптон? [Монреаль] Кто в настоящий момент является премьер–министром Квебека: Бернар Ландри, Жан Шаре*, Андре Буаклер или Марио Дюмон?

2. Кто из судей возглавляет процесс вокруг спонсорского скандала: Алан Голд, Ирвин Котлер, Джон Гомери* или Беверли Маклаклин?

3. Помните ли Вы имя мэра Торонто / Монреаля? [Торонто] Это Мел Ластман, Джон Сьюэлл, Хейзел МакКаллион или Дэвид Миллер*? [Монреаль] Это Пьер Борк, Жан Доре Жиль Валенкурт или Жеральд Трамбле*?

4. Кто является новым генерал–губернатором Канады: Шейла Фрейзер, Микаэль Жан*, Адриенна Кларксон или Жанна Сове?

5. Кто возглавляет нынешний «женский» кабинет министров Оттавы: Энн МакЛеллан*, Ким Кемпбелл, Шейла Коппс или Дебора Грей?

6. Знаете ли Вы, какая партия представляет официальную оппозицию правящей партии в Оттаве? Это: Квебекский блок, Консервативная партия Канады, Либеральная партия* или НДП (Новая демократическая партия)?

7. Кто в настоящий момент является премьер–министром Канады: Стивен Харпер*, Жан Кретьен, Пол Мартин или Джордж Буш?

г. Практическое знание (Practical Knowledge Scale)

1. [Съемщики жилья] Если кто–то столкнулся с несоразмерным повышением арендной платы, куда ему следует обратиться с целью ее уменьшения: в городскую администрацию, управление

вопросами аренды*, министерство жилищного строительства или в Ипотечную и жилищную корпорацию Канады? [Собственники жилья] Если кто-то хочет сделать ремонт в своем доме, куда ему следует обратиться для получения разрешения на строительство: в Совет по недвижимости, городскую администрацию*, министерство жилищного строительства или в Ипотечную и жилищную корпорацию Канады?

2. [Женщины 50 лет и старше] В рамках медицинского страхования Онтарио маммограмма проводится бесплатно*, стоит 20\$, 50\$ или 80\$? [Женщины до 50 лет] В рамках медицинского страхования Онтарио цервикальный мазок из шейки матки проводится бесплатно*, стоит 20\$, 50\$ или 80\$? [Мужчины 50 лет и старше] В рамках медицинского страхования Онтарио обследование простаты проводится бесплатно*, стоит 20\$, 50\$ или 80\$? [Мужчины до 50 лет] В рамках медицинского страхования Онтарио обследование для выявления заболеваний, передающихся половым путем, проводится бесплатно*, стоит 20\$, 50\$ или 80\$?

3. Если кому-то отказали в аренде квартиры, и он думает, что причина отказа связана с его расовой принадлежностью, куда лучше обращаться с жалобой: к омбудсмену [Онтарио] [Квебека], в [Министерство генерального прокурора] [Департамент юстиции], в полицию, в Комиссию по правам человека* [Онтарио] [Квебека] или в [Совет арендаторов] [Управление жилищным фондом]?

4. Если бы вы узнали о факте жестокого обращения с ребенком, куда бы Вам следовало обратиться лучше всего? В школьный совет или школу, в Службу ювенальной юстиции, в организацию [Помощь детям*] [к начальнику управления защиты молодежи*], в министерство по делам детей и молодежи или в полицию?

5. Если кто-то участвует в судебном процессе и не может позволить себе услуги адвоката, куда ему следует обратиться? К омбудсмену [Онтарио] [Квебека], в бесплатную юридическую помощь*, в министерство генерального прокурора или в коллегия адвокатов [Онтарио] [Квебека]?

6. Люди с низким уровнем дохода могут претендовать на различные льготы при подаче федеральной налоговой декларации. Могут ли люди с низкими доходами претендовать на возврат налогов? [да*]

7. Могут ли они претендовать на налоговые льготы для детей? [да*]

Источник: Dietlind Stolle und Elisabeth Gidengil (2010), "What do Women Really Know? A Gendered Analysis of Varieties of Political Knowledge", *Perspectives on Politics* 8: 93–109.

д. Политическое знание

Эта переменная складывается из ответов на открытые вопросы о различных политических фактах. Ниже приведены примеры таких вопросов, которые в подавляющем большинстве касаются персоналий и событий национального, а не муниципального или регионального уровня (ср. Shaker, 2012): «Кто является премьер-министром Великобритании?», «Кто является спикером палаты представителей в Конгрессе США?», «Кто занимает должность вице-президента США?» и «Губернатором какого штата является Сара Пейлин?». За каждый правильный ответ опрошенные получали одно очко. Сумма правильных ответов определяет место респондента на шкале политического знания.

Источник: Jung, Nakwon Yonghwan Kim und Homero Gil de Zúñiga (2011), "The mediating role of knowledge and efficacy in the effects of communication on political participation", *Mass Communication and Society* 14: 418.

Сложно представить, каким образом определения вроде того, что «понятие знания <отсылает> к верифицируемым извне дескриптивным представлениям о том, что "есть"» (Lambert, Curtis, Kay, Brown, 1988), могут способствовать прояснению общей идее о том, что «знание» укрепляет и стабилизирует демократию. Почему и каким образом (выявленная в ходе опроса) информированность²⁷⁹ отдельного гражданина о том или ином политическом деятеле или его способность определять место той или иной

²⁷⁹ Кент Дженнингс в своей работе о влиянии поколенческого фактора на политическую информацию выделяет хрестоматийное знание (информацию о форме правления), наблюдательное знание (знание актуальных политических событий) и исторические факты (коллективную память). Впрочем, эти понятия также отсылают к политической информации, а отнюдь не к политическому знанию или компетентности.

партии в спектре «левых» и «правых», поддерживает демократическое правление? В чем именно заключается эта взаимосвязь? В конечном итоге и в тоталитарных режимах вероятность того, что большинство опрошенных знают, как зовут их (национального) лидера, так же велика. Другими словами, вполне вероятно, что «информированность» играет не столь значительную роль по сравнению с другими факторами, влияющими на политические решения. Так, например, некоторые представители социальной психологии (см. Cohen, 2003) утверждают, что даже информированные избиратели предпочитают следовать политической платформе своей партии или позиции ее лидеров (использование так называемой ключевой информации).

В ответ на такого рода критические замечания можно было бы, вслед за Ламбертом и его соавторами (Lambert, 1988: 360), возразить: «Политическое знание может рассматриваться как важный сигнал, предсказывающий политические действия, в частности, результат голосования. Голосование, впрочем, является лишь одним из способов вовлеченности населения в политику. Так же, как и политическую эффективность, политическое знание, таким образом, следует трактовать как самостоятельную значимую форму политического участия».

Результаты эмпирических исследований политической информированности среднестатистического гражданина демократического государства отражают лишь один фрагмент политической реальности в современных обществах. Эмпирические результаты по своей сути не могут опровергнуть нормативные теории демократии. Эмпирический анализ индивидуальной политической компетентности не может служить основой для отрицания системных характеристик демократии. Как подчеркивает Стивен Льюкс (Lukes, 1977: 40), эмпирическое исследование индивидуальных политических знаний не может служить поводом для кардинального пересмотра или трансформации классической теории демократии²⁸⁰.

²⁸⁰ Бернард Берельсон и его коллеги (Berelson, 1954: 306) в их классическом эмпирическом исследовании электорального поведения в 1950–х годах сами оценили важность полученных ими результатов для теории демократии, подчеркнув, что, «возможно, главным вкладом реалистичного

6.4. Новая общественность

В наших повседневных испытаниях бунт играет такую же роль, какую играет «*cogito*» в порядке мышления; <...> Я бунтую, следовательно, мы существуем. <...> человек должен бунтовать, но его бунт не должен нарушать границы, открытые бунтарем в самом себе, границы, за которыми люди, объединившись, начинают свое подлинное бытие.

Альбер Камю (Camus, [1951] 1953: 22)

Ввиду закона одновременности неодновременных общественных процессов считается, что в современных обществах мы имеем дело с обеими формами общественности — опекаемой и новой. Ниже я намереваюсь показать, почему политическое и экономическое значение опекаемой общественности все больше вытесняется растущим влиянием новой общественности.

Принято считать, что опекаемая общественность — это общественность незрелая, по сути представляющая собой лишенную власти, неорганизованную, отчужденную, беспомощную, аполитичную массу и объект манипуляций. Опекаемая общественность массового общества не является некой однородной социальной структурой; характерная для нее беспомощность проявляется во всех публичных ролях. Она легко становится жертвой идеологических манипуляций, осуществляемой носителями авторитета в школе и профессиональной жизни, в сфере потребления, а также медийными корпорациями и политиками.

Лучше всего эти характеристики опекаемой общественности в современных обществах можно объяснить, обратившись к общественным диагнозам первых десятилетий послевоенного периода, тем более что в них содержится также ответ на

исследования современной политики стало то, что в результате были несколько снижены выдвинутые традиционной нормативной теорией требования к обычным гражданам». Разумеется, ни Берельсон, ни его коллеги не могли знать, насколько расширяться условия и возможности политического участия в последующие десятилетия.

вопрос об условиях, благодаря которым стало возможным появление опекаемой общественности. Так, например, американский социолог Чарльз Райт Миллс (Mills, 1956a), выступая в каком-то смысле выразителем духа эпохи и большинства своих современников-интеллектуалов, весьма эмоционально говорит о неограниченной как местной, так и национальной власти элит. Обнаружить эти элиты, по мнению Миллса, можно в крупных общественных институтах — в науке, политике, государстве, крупных корпорациях, вооруженных силах и СМИ. В настоящее время наблюдается централизация средств и носителей информации, вследствие чего власть в обществе сосредоточивается в руках немногих²⁸¹. И нередко эти немногие сменяют друг друга на ведущих постах, а именно политики идут в экономику, ученые — в политику, а менеджеры — в масс-медиа. В результате формируется властная элита, обладающая властью определения и санкционирования буквально во всех общественных сферах.

Что остается делать массам, таким образом отстраненным от властных позиций, как не принять всестороннюю опеку в отношении своего жизненного мира как само собой разумеющуюся? Более того, было зафиксировано согласие с господствующими условиями: сопротивление бесполезно, стало быть, надо подчиняться. Поскольку декларируемые интересы опекаемой общественности не отражали ее скрытых интересов, неясным оставалось лишь одно: почему опекаемая общественность не протестует? То, что на самом деле общественность в современных обществах протестует и явно выражает свое недовольство, можно подтвердить многочисленными примерами. В Таблице 2 приведены

²⁸¹ В рамках схожей аргументации, которую я более подробно рассмотрю в одном из следующих разделов, говорится о растущем значении научных знаний для легитимации политических действий и характера рассматриваемых политических решений (см., например: Jasanoff, 1990). На основании этих допущений формулируется тезис о господстве «экспертов» и о связанной с этим утрате демократии. Ввиду сциентификации политической системы среднестатистический гражданин по своим интеллектуальным характеристикам оказывается не в состоянии вмешиваться в политическую дискуссию. Одним из результатов такого развития является деполитизация общественности (ср. Rayner, 2003a: 164–165).

результаты ряда провалившихся референдумов, касающихся Европейского Союза, которые, как правило, пользовались поддержкой политического класса, но, несмотря на это (и зачастую при значительном участии населения) провалились²⁸².

Таблица 2

Провалившиеся референдумы ЕС, 1972–2008

Страна	Год	Отклонение %	Участие %	Тема
Норвегия	1972	53,5	79,1	Членство в ЕС
Дания	1992	50,7	82,9	Маастрихтский договор
Норвегия	1994	52,5	88,8	Членство в ЕС
Дания	2000	53,2	87,6	Введение евро
Ирландия	2001	53,9	34,8	Ниццкий договор
Швеция	2003	56,1	81,2	Введение евро
Франция	2005	54,7	69,3	Конституция ЕС
Нидерланды	2005	61,5	62,8	Конституция ЕС
Ирландия	2008	53,4	53,1	Лиссабонский договор

Источник: Hillebrandt, 2008: 3–4.

²⁸² В приведенных ниже работах результаты этих референдумов в различных странах анализируются более подробно: Бьеркланд (Bjorkland, 1997) исследует результаты голосований в Норвегии в 1972 и 1994 годах; в сравнительном исследовании 14 референдумов о европейской интеграции (Hug, Sciarini, 2000) речь идет о разных институциональных контекстах голосований, в то время как Хиллебрандт (Hillebrandt, 2008: 8) уделяет основное внимание времени проведения референдумов после заключения Маастрихтского договора и констатирует, что не состоявшиеся референдумы свидетельствуют о появлении «нового тренда в выражении общественного недовольства».

Даже сегодня диагноз Миллса, который лишь немногим отличается от описания авторитарного общества, многие влиятельные американские интеллектуалы, как например, Алан Вольфе считают гораздо более верным, чем аналитические работы некоторых авторов, которые в свое время работали с «объективными» или количественными методами, критиковали концепцию Миллса и считали своих сограждан гражданами плюралистического общества. Конечно, описание Миллса можно считать неправильным и критиковать, как это делал, например, Роберт Даль (Dahl, 1961b). Тем не менее, в послевоенной социальной науке утвердилось мнение, что общественность в целом пассивна и не представляет опасности для власть имущих и сложившейся ситуации. В доминировании этой позиции не последнюю роль сыграли многие представители неомарксизма, в частности, Мишель Фуко и Пьер Бурдьё. И каким бы великим ни был их вклад в изучение скрытых форм господства, их общая оценка современного общества не сулила ничего хорошего. Однако то, что мы наблюдаем на самом деле, — это появление множества новых, отчасти очень эффективных общественностей, которые зачастую опровергают мрачные пророчества.

Какие изменения в обществе привели к становлению и росту новой общественности? Три перемены, с одной стороны, относительно тесно привязанные к статусу физических лиц, а, с другой стороны, касающиеся влияния и реакции части населения на глобализацию, буквально напрашиваются сами собой, хотя это и не означает, что структурная трансформация, затрагивающая свойства и роль корпоративных акторов, в частности, политической системы, была не столь значительной. Три исторически уникальных тенденции общественного развития, возможно, вызвали появление и укрепили положение новой общественности в последние десятилетия. Это повышение общего уровня благосостояния и среднего уровня знаний, прежде всего, в западных странах после второй мировой войны, и национальные последствия и реакции на характер глобализационных процессов с последующей утратой власти со стороны крупных общественных институтов (экономики, науки, государства, профсоюзов, церкви). Так, например, крупные концерны сегодня уже не обладают той

экономической властью и влиянием, какими они обладали всего тридцать лет назад²⁸³. Но чем именно вызвана эта утрата власти?

Поскольку в другом месте мы уже подробно обсуждали и комментировали социальное и политическое мобилизирующее воздействие растущих жизненных стандартов в развитых странах и резкое повышение уровня образования населения, теперь мы в своем анализе общественных предпосылок формирования новой общественности сосредоточимся на влиянии процессов глобализации.

В случае глобализации утрата власти со стороны различных институтов национального государства однозначна и заметна. Так, например, национальное государство теряет верховную власть над экономической политикой. Процессы глобализации, кроме того, оказывают серьезное влияние и на неэкономическую, внутригосударственную политику (см. Stehr, 2009). Нас в контексте нашего исследования интересует реакция общественности на процессы глобализации и ее трансформация вследствие данных процессов.

На этот счет существует две противоречащие друг другу гипотезы: в демократических странах глобализация ведет к деполитизации общественности (см., например: Kurtz, 2004; Holzner, 2007), и: процессы глобализации способствуют реполитизации непарламентской общественности (см., например: Pappas, 2008). Согласно первой трактовке, вызванные глобализацией экономические трансформации ведут к усиленному выражению коллективных жалоб в связи с неблагоприятными последствиями радикальной либерализации рынка. Согласно конкурирующей точке зрения, те же самые глобальные политические факторы усиливают

²⁸³ Как справедливо отмечает Роберт Райх (Reich, 2007:10), несмотря на то, что он имеет в виду главным образом социально-политические и социально-экономические условия на протяжении предыдущих десятилетий в американском обществе, «достаточно взглянуть на современную экономику в любой стране, и вы убедитесь, что типичная фирма обладает меньшим влиянием на рынке, чем типичная фирма тридцать лет назад <...> фирмы всех размеров борются друг с другом более ожесточенно, чем когда-либо прежде. В мировой экономике осталось гораздо меньше олигополий, чем пару десятилетий назад, и почти не осталось монополий, если не брать во внимание те, что были созданы или поддерживаются правительством».

национальную бедность и социальное неравенство, что, в свою очередь, уменьшает привлекательность коллективного сопротивления (в частности, в рамках профсоюзов, политических партий или организаций гражданского общества) и уменьшают объем социального капитала в обществе (ср. Putnam, Goss, 2002).

Социально санкционированные возможности мобилизации гражданского общества с целью сопротивления опосредованным и непосредственным внутринациональным последствиям глобализации в демократическом обществе несравнимо шире, чем в обществе политически, юридически и культурно авторитарного типа. Эмпирический анализ (Arce, Kim, 2011) протестных движений во всем мире и в особенности в Латинской Америке и Восточной Азии с 1970-го по 2006-й год отчетливо показывает, какое сильное влияние на характер взаимодействия между протестными движениями, глобализацией и демократией имеют национальные особенности общества²⁸⁴. Во-первых, на глобальном уровне, независимо от политического режима, степень протеста уменьшается по мере усиления последствий глобализации, что подтверждает тезис о деполитизации населения вследствие глобализации. Во-вторых, как показывают результаты для региональных групп стран, взаимосвязь между глобализацией и деполитизацией в Восточной Азии выражена сильнее, чем в Латинской Америке. В демократических странах Латинской Америки протесты усиливались по мере усиления глобализации: «По мере усиления экономической глобализации население стран Латинской Америки становится все более политически активным, а при условии благоприятного демократического окружения люди с большей вероятностью готовы выйти на улицы, протестуя против экономических рисков и угроз, связанных с глобализацией». Поэтому остается неясным, в какой мере выделенная нами национальная трансформация общества играет еще более важную роль, выступая в качестве условия возможности перехода от опекаемой к самостоятельно мыслящей общественности».

²⁸⁴ В качестве контрольных переменных в данном исследовании использовались показатели дохода, экономического роста и численности населения, а также различные показатели политического устройства той или иной страны (Arce, Kim, 2011).

Авторы описанного выше исследования совершенно сознательно оставляют без внимания другие характеристики процессов глобализации, которые, возможно, тоже играют важную роль, способствуя формированию новых общественностей. Обобщенно эти характеристики можно описать как диффузию событий, ценностей, стратегий, поводов, целей и реакций на постепенное исчезновение опекаемой общественности на национальном уровне. Стремительная глобальная диффузия и обусловленный ею мультипликативный эффект от событий и целей компенсируют те общественные условия формирования новых общественностей, которые, возможно, пока отсутствуют.

Новая общественность обратила на себя внимание прежде всего тем, что уже одним своим присутствием ограничила возможности действий институтов. Утрата последними власти проявилась в первую очередь в форме не-решения, что означает не что иное, как то, что крупные институты все чаще оказывались не в состоянии провести свою волю в жизнь. Впервые этот факт стал замечен во время войны во Вьетнаме. Сопrotивление новой общественности и новых социальных движений ограничил политические возможности американского правительства, причем не в последнюю очередь возможность ядерного удара, и в конце концов привел не только к завершению войны, но и к отмене воинской повинности в США (1972).

Таким образом, новая общественность обращает на себя внимание — будь то на местном, общенациональном или международном уровне — прежде всего через (новые) социальные движения. Она делает проблемы предметом общественных дискуссий и может при этом положиться на логику отбора со стороны вездесущих СМИ. Такая констелляция уже ввиду возможности вмешательства общественности оказывает давление на крупные институты. Так новая общественность повышает проницаемость между ними: акторы гражданского общества становятся экономическими и политическими акторами, например, когда организованные жертвы насилия меняют практику применения законов или даже само законодательство, когда протесты против атомных электростанций ведут к (долгосрочному) отказу от этой формы производства энергии, когда на короткий срок мобилизуется

общественное мнение или когда происходят постепенные кардинальные изменения культуры общества, способа жизни и мышления его членов.

Разумеется, внутри новой общественности также существуют свои линии конфликтов, как существовали противоречивые интересы внутри опекаемой общественности. Новая общественность не выступает единым политическим фронтом. Она необязательно принадлежит к либеральному или консервативному крылу. И, разумеется, для функционирования демократии и ее институтов новая общественность представляет определенную проблему (см. об этом подробнее Stehr, 2001).

То, что, несмотря на весь скепсис в связи с разочарованием и усталостью от политики и оукливание (*cooing*) (два ключевых слова в современных дебатах вокруг теории демократии), новая общественность, как правило, неожиданно и неожиданно мощно заявляет о себе, можно наблюдать именно в наши дни. Если в недавнем прошлом наблюдатели скептически относились к, казалось бы, ничего не значащим развлекательным мероприятиям на базе новых медиа — флэшмомам и «морковным бандам», группам в фейсбуке и так далее, то сегодня можно констатировать явную реполитизацию и активно обсуждаемое расширение социальной основы такого рода деятельной общественности. На примере движения «Штутгарт 21», акций протеста против транспортировки радиоактивных отходов (*Castor–Transport*) на протяжении многих лет и усиливающейся профессионализации политического участия средствами новых медиа (*avaaz.org*, *online–giving market–places* и т. д.) прослеживается показательная динамика. Поражение Гамбургского сената в вопросе школьной реформы или баварский референдум по закону о запрете курения также являются примерами могущества индивидуальных акторов и небольших групп. При этом нельзя недооценивать политическую эффективность протестов, которые поначалу, возможно, вызывали лишь снисходительную улыбку. Долгосрочное, системное воздействие обсуждения и осмысления вопросов общего блага становится понятным не в последнюю очередь на примере названного выше протеста против перестройки Штутгартского вокзала. Становится очевидным, что даже объединенные политические

и экономические акторы не в состоянии реализовать некий престижный проект исключительно на экспертном уровне, опираясь на легитимность представительной демократии.

Власть новой общественности возможна не только благодаря существенно упростившейся внутренней коммуникации. То, что раньше подготавливалось сверху силами многочисленных и материально обеспеченных союзов и объединений, сегодня зачастую переносится на децентрализованную сеть, исходя из которой в модусе ширящейся протестной солидарности организуются спонтанные акции. Однако не меньшее значение имеют и рычаги привлечения внимания, которыми в медийном обществе могут воспользоваться изначально маргинальные группы. Достигнутый благодаря постановке примечательных событий доступ к общественно-медийному вниманию (яркий пример — ставшие уже классическими акции Гринписа на нефтяных платформах и в море), который прежде имели только специализированные организации, сегодня также подвержен тенденции демократизации. Это не означает, что любой индивид в любой момент времени может привлечь внимание общественности на свои темы и проблемы; однако знание логики привлечения внимания и организации медийной коммуникации распространилось среди широких слоев населения. Профессиональные журналистские форматы также служат рупором индивидам и группам, которые в прежние времена ограниченных каналов информации оставались неслышанными. А то, что остается незамеченным СМИ, проникает в сеть — это поистине необозримое преддверие медийной общественности.

6.5. Мягкая власть и демократия

Я уже рассматривал роль и влияние медиа на демократическую форму правления, впрочем, ограничиваясь тем, что я называю обществом вещания (broadcast society), т.е. такого общества, где доминирующими масс-медиа были газеты, радио, телевидение и кино. Его эпоха закончилась с появлением и распространением интернета. Для общества вещания характерен ограниченный для большинства населения доступ к каналам коммуникации и, следовательно, в лучшем случае ограниченная возможность

широкомасштабного демократического контроля. Большинство населения просто — на просто не имело прямого или опосредованного доступа к печатному станку, эфирным волнам или киностудиям. Коммуникация, таким образом, была асимметричной. Функция демократического надзора в значительной степени была сосредоточена в руках «элиты» — профессиональных редакторов, журналистов или режиссеров, выступавших в роли охранителей и проводников. Интернет уничтожил монополию профессиональных посредников на доступ к широкой аудитории и значительно улучшил, по сравнению с реалиями общества вещания, содержательное многообразие контента. Впрочем, и во времена интернета то содержательное многообразие, которое стало доступно широкой аудитории, также нельзя назвать «нейтральным», безграничным или свободным от могущественных «проводников» (каким является, к примеру, поисковик Google)²⁸⁵.

Отсюда возникает вопрос: действительно ли новые цифровые возможности коммуникации (информационные технологии) открывают новую эру в истории демократии, а именно эру партиципативных политических процессов, сильно затрудняющих управление «сверху»?²⁸⁶ В своей работе «Технология без границ», где речь идет о новой эпохе телекоммуникационных технологий, политолог Итиль де Сола Пул (de Sola Pool, 1990: 262) исследует вопрос о том, действительно ли новые технологии, насколько это можно предугадать, «будут способствовать усилению индивидуализма и не облегчать, а усложнять процесс управления и организации сплоченного общества». Сформулированные им вопросы о социальных последствиях новых коммуникационных технологий оказываются в центре всех аналитических работ,

²⁸⁵ См. интервью с Виктором Майер-Шёнбергером «Нейтральные результаты поиска — фикция» в: DIE ZEIT, 24.09.2012, S. 24.

²⁸⁶ Теоретически и практически сокращенное — в особенности официальное — описание так называемого «цифрового неравенства» делает акцент почти исключительно на недостаточном техническом доступе или исключении определенных слоев населения из процесса пользования новыми меди (см. Mansell, 2002: 412–417). В результате за рамками остается проблематика развития и освоения интеллектуальных способностей, позволяющих критически обращаться с новыми медиа.

посвященных мягкой власти новых медиа и их отношениям с демократией.

Социальные медиа сыграли, по всей видимости, определяющую роль в революциях 2011-го года в Тунисе и Египте. Фейсбук и твиттер и другие перспективные, пока еще мало известные платформы коммуникации в интернете могут служить показательными примерами быстрого распространения горизонтальной коммуникации («информационного каскада») в обход попыток национального государства контролировать их при помощи цензуры и подавления или же манипулировать их влиянием²⁸⁷. Или пока еще слишком рано делать окончательные выводы о политическом значении новых возможностей коммуникации и их потенциале в отношении расширения свобод и политического участия? Или пока еще есть время для пересмотра однозначных, торжественных заявлений²⁸⁸ о политических последствиях

²⁸⁷ В своем исследовании так называемого «электронного участия» в недемократических странах Карл Йохан Острем и его коллеги (Åström et al., 2012:143–144) приходят к выводу, что различные формы и распространение цифрового участия особенно явно заметны в некоторых, но не во всех недемократических странах. Причину такого развития авторы видят в необходимости регулируемых государством стратегий легитимации: «Политика электронного участия касается в первую очередь легитимации. Авторитарные правительства не столько руководствуются необходимостью отдавать отчет о своей деятельности, сколько под давлением со стороны международного сообщества пытаются продемонстрировать современный характер и легитимность своей власти через сайты электронного участия, одновременно используя их для пропаганды и расширения репрессивных и бюрократических процессов, что также является неотъемлемой частью государства офлайн — взаимодействий граждан <...> Согласно гипотезе легитимации, экономическая глобализация и технологическое развитие порождают инициативы электронного участия в авторитарных государствах, независимо от уровня демократизации и тенденций ее распространения». Приведет ли стратегия, направленная на стабилизацию системы, к прямо противоположному результату, покажет время.

²⁸⁸ Юрген Хабермас (Habermas, 2006a: 423) присоединяется к этому диагнозу, когда в одной из сносках в рамках краткого комментария относительно политической роли интернета подчеркивает, что интернет «компенсирует кажущиеся дефициты, которые проистекают из безличного и асимметричного характера вещания, вводя делиберативные элементы в электронную коммуникацию. Интернет, безусловно, возродил элементарные

распространения новых медиа?²⁸⁹ В конце концов, история науки и техники знает немало примеров первоначальной эйфории по поводу трансформационного потенциала изобретений, которые впоследствии нередко получали гораздо более сдержанную и реалистичную оценку с точки зрения своих последствий (ср. Hindman, 2009)²⁹⁰.

основы эгалитарной общественности авторов и аудитории. Несмотря на это, коммуникация посредством компьютерных технологий в сети может претендовать на обладание однозначными демократическими достоинствами лишь в одном особом контексте: она может расшатать механизм цензуры авторитарного режима, пытающегося контролировать и подавлять общественное мнение. В рамках либеральных режимов появление миллионов разрозненных чатовых пространств по всему миру, напротив, скорее ведет к тому, что обширная, но политически сплоченная массовая аудитория распадается на огромное множество изолированных общественностей по тому или иному вопросу. В рамках устоявшихся сфер национальной общественности онлайн-дебаты среди пользователей сети способствуют политической коммуникации в том случае, если новостные группы кристаллизуются вокруг центральных элементов качественной печати, например, национальных газет или политических журналов.

²⁸⁹ Высказывания о новизне тех или иных социальных и материальных явлений справедливо наталкиваются на недоверие и сомнения в том, что речь действительно идет о чем-то принципиально новом. Это касается и социальных медиа в роли катализаторов общественных трансформаций. Так, в одной из статей в журнале «The Economist» можно найти следующие размышления о ходе Реформации в Центральной Европе около 500 лет назад: то, что мы наблюдали в арабских странах в 2011 году, «уже имело место в ходе Реформации пятьсот лет назад, когда Мартин Лютер и его соратники взяли в свои руки новые медиа той эпохи — памфлеты, баллады и лубочные картинки — и распространяли их по социальным сетям, продвигая таким образом свои идеи о религиозной реформе» (Источник: <http://www.economist.com/blogs/babbage/2011/12/social-media-16th-century>). См. также настойчивые предостережения Роберта Дарнтона об ошибочности рассмотрения развития коммуникационных медиа как преимущественно современного феномена: «Чудеса коммуникационных технологий в наши дни породили ложные представления о прошлом, вплоть до утверждений о том, что у коммуникации нет истории или что до появления телевидения и интернета в этой области не было ничего достойного внимания».

²⁹⁰ Авторы эмпирического исследования на тему использования интернета с точки зрения конкуренции с телевидением в США (Liebowitz, Zentner, 2012) приходят к выводу, что интернет уменьшает среднее время просмотра телевизора главным образом среди молодого поколения. Этот результат

Опережение (но не устранение) коммуникативных возможностей общества вещания способно изменить международные политические отношения, процессы и характер участия. Общество вещания во многих, хотя и не во всех аспектах ограничивается национальным государством. Влияние газет, радио и телевидения наиболее сильно ощутимо внутри государственных границ. В эпоху общества вещания национальные государства — главные игроки на международной сцене. С появлением интернета значение границ национального государства для коммуникации меняется. Все более широкие слои населения получают доступ к знаниям и информации за пределами национального государства. Распространение возможностей коммуникации и снижение связанных с ними затрат уменьшают возможности государства контролировать информационные границы и доступ граждан к информации. Негосударственные акторы получают доступ к мировой политической арене и начинают оказывать влияние на происходящие на ней процессы. Впрочем, скептический вопрос о том, исчезают ли контролеры или же на их месте появляются новые, в любом случае остается открытым. В связи с встречей «Большой восьмерки» во Франции в 2011 году французский президент Саркози — который, по всей видимости, исходил из того, что интернет уже обладает значительным политическим весом — потребовал принятия мер по усиленному контролю интернета, поскольку существующее законодательство в недостаточной мере регулирует реалии нового глобального сетевого мира²⁹¹. Главы

в то же время говорит о том, что в будущем интернет в целом приведет к сокращению потребления телевидения, причем даже среди пожилых людей, которым он уже будет хорошо известен и который они будут рассматривать как средство развлечения.

²⁹¹ Ср. статью Эрик Пфэннера под названием «Лидеры "Большой восьмерки" призывают к более строгому контролю над интернетом» в «New York Times» от 24.05.2011. Крайне скептически об эмансипаторном потенциале интернета высказался в своей работе «Сеть как иллюзия» Евгений Морозов (Morozov, 2011). По утверждению Морозова, любая возможность коммуникации — лишь средство, которое можно использовать для достижения как моральных, так и аморальных целей. Французский историк Пьер Розанваллон (Rosanvallon, [2006] 2008: 70) решительно возражает против этого вывода: «Интернет находится в процессе <...> созидания открытого

авторитарных режимов пытаются контролировать и манипулировать современными масс-медиа, используя их для формирования у граждан лояльности к режиму. Однако в целом эти усилия не очень успешны, что свидетельствует о том, что власть медиа и целенаправленное определение контента способно оказывать лишь неустойчивое и ограниченное воздействие на сознание граждан.

Некоторые и даже весьма сильные надежды на распространение и укрепление демократии в нашу эпоху, прежде всего в оставшихся авторитарных странах, связаны с быстрым ростом информационных и коммуникационных технологий и доступа к интернету. Широкое распространение информационных и коммуникационных технологий с характерным для них горизонтальным уклоном образуют основу идеи о том, что мы живем в информационном или сетевом обществе (см. также Weinberger, 2011). Однако вопрос о том, следует ли доступ к интернету и все более активное его использование — и, стало быть, доступность и интенсивную циркуляцию всего того, что можно объединить в понятии мягкой власти, т.е. идей, ценностей, знания и информации — рассматривать как исключительно техническое решение, или же интернет оказывает глубокое влияние и на демократическое участие, способствуя его расширению, укрепляет демократические формы правления как внутри страны, так и на международной арене, и образует основу для широкой демократической эмансипации на транснациональном уровне, в настоящее время остается спорным (см. Bimber, 1998; Coombs, Cutbirth, 1998; Coleman, 1999; Boas, 2000).

Повсеместный доступ к интернету и содержательное многообразие мнений и информации, о чем чаще всего говорят в ходе обсуждения влияния интернета, еще не гарантируют открытость политически релевантной информации и возможность эффективной политической самоорганизации граждан, в особенности если последняя запрещена законодательством. Политические режимы, причем не только авторитарные, зачастую делают все возможное, чтобы ограничить гласность политических действий. Демократические страны существенно отличаются от

пространства для мониторинга и оценки. Интернет — не просто "инструмент", это функция наблюдения и контроля».

авторитарных в том, какой объем «государственной» информации они делают публичной. Успех социальных движений за открытый доступ к информации, контролируемой государством, различается от страны к стране. В этой связи неудивительно, что вопрос о реакции демократического правительства на возможности цифровой коммуникации по-прежнему остается спорным (Ward, Gibson, Lusoli, 2003; Marlin–Bennett, 2011; Loader, Mercea, 2011). Некоторые политики и ученые убеждены, что новые возможности коммуникаций и сильно возросший потенциал горизонтальной коммуникации ведут к усилению демократии (см., например: Coleman, Blumler, 2009), другие менее оптимистичны (см., например: Sunstein, 2001). Последние придерживаются гораздо более трезвой оценки и не уверены даже в том, что использование интернета приведет к каким бы то ни было изменениям существующих, сильно стратифицированных структур политического участия²⁹². Свое исследование мягкой власти медиа я начну с (составляющих большинство) скептических подходов к политическому значению и влиянию интернета.

Тезис о том, что расширение каналов и улучшение доступа к информации способствуют установлению демократического правления и росту политического участия, необязательно верен, поскольку возможно и другое, патологическое и пропагандистское использование интернета, которое в настоящее время практикуется в авторитарных странах. Лауреат нобелевской премии, политик Альберт Гор (Gore, 2007:260), разумеется, осознает, что

²⁹² Если для ответа на эти вопросы мы привлечем результаты репрезентативного исследования «Интернет и жизнь в Америке», проведенного исследовательским центром "Pew Research Center" в 2008 году, то не найдем значимых указаний на «какие-либо изменения в степени стратификации политического участия в зависимости от социально-экономического статуса, но найдем основания полагать, что интернет способствовал уменьшению хорошо известного дефицита участия среди тех, кто лишь недавно получил право голоса. Даже если учитывать только те слои населения, которые обладают доступом к интернету, такие акты политического участия, как поддержка кандидатов, обращение к чиновникам, подписание политических петиций и общение с политическими группами демонстрируют одинаковую степень социально-экономической стратификации как в сетевом режиме, так и офлайн».

интернет, благодаря своей открытости, может транслировать и недемократические ценности и целевые установки, но, несмотря на это, он все же определяет интернет как «платформу для поисков истины и децентрализованного зарождения и распространения идей <...> Это платформа <...> для разума». Дэвид Рансимен (Runciman, 2005) в своей рецензии на книгу Майкла Грэтца и Иэна Шипиро под названием «Не мытьем так катаньем — борьба вокруг налогов на унаследованное имущество» (Graetz, Shapiro, 2005)²⁹³, посвященной попыткам добиться отмены налогов на наследство в США в 2001 году, утверждает, что это движение является показательным примером успешной кампании против конкретного налога, убедительным примером власти нарратива в политике, а также трансформации этой политики под воздействием мягкой власти, представленной интернетом, и того, как легко отдельные нарративы могут оказаться в центре политических дебатов:

«Новые информационные технологии с их каскадом слухов и бесконечным потоком личных историй гораздо чаще препятствует, нежели способствует информированной публичной дискуссии. Ввиду безграничной готовности всех и каждого откликаться на прямой голос личного опыта стало труднее создавать более обширный контекст для хоть сколько-нибудь убедительной защиты прогрессивной политики. Это приводит к неуклонному сдвигу политики вправо».

Касс Санстейн (Sunstein, 2001)²⁹⁴ также обращает внимание на ограничивающую способность, казалось бы, безграничного доступа к информации в интернете. В своей критике интернета он не забывает указать на его прямое сильное воздействие на демократическое поведение, однако при этом он уверен, что в целом

²⁹³ Схожие наблюдения можно найти в статье Джозефа С. Нея мл. «Будущее власти», опубликованной в журнале "The Chronicle of Higher Education" за 5 июня 2011-го года (<http://chronicle.com/login.ezproxy.library.ualberta.ca/article/The-Future-of-Power/127753/>; последнее обращение 30-го октября 2011-го года).

²⁹⁴ Я не привожу номера страниц для отдельных цитат из работ Касса Санстейна, поскольку пользуюсь их электронной версией в сети: (<http://bostonreview.net/BR26.3/sunstein.php>; последнее обращение 30-го сентября 2011 года).

нет никаких оснований говорить о совершенствовании демократических процессов. Имеющееся в новых цифровых технологиях программное обеспечение позволяет пользователям и другим игрокам создавать фильтры. Индивидуальные фильтры ориентированы на использование интернета индивидом с его сугубо личными предпочтениями и персонализацию его контакта с различными темами, идеями и воззрениями, что также означает, что индивид даже не сталкивается с «дикими», т.е. неожиданными для него идеями и мнениями. С точки зрения Санстейна, такого рода персонализация оказывает медвежью услугу демократии и свободе, поскольку «неожиданные столкновения, включающие в себя незнакомые и даже раздражающие темы и позиции», — это самая соль демократии. Фильтры, как подчеркивает Санстейн, сами по себе хороши, однако ведут к весьма спорным последствиям.

Но что именно меняется с появлением интернета по сравнению с возможностями коммуникации в эпоху общества вещания? Большинство читателей и слушателей в обществе вещания не имели прямого доступа к «авторам» идей и участникам выступлений и прочих мероприятий. Люди, читающие газету, сталкиваются с уже отобранными новостями и сами, в свою очередь, читают выборочно лишь то, что их интересует. Эта функция «контролирующего привратника» или посредника сохраняется в цифровой век. Далее, считается, что читатель, как и пользователь других медиа, руководствуется своими индивидуальными интересами²⁹⁵. Факт неизбежно избирательного использования

²⁹⁵ В этой связи не стоит принимать на веру часто встречающуюся критику в отношении переизбытка информации (information overload) в интернете. Мы не воспринимаем информацию как просто данные. Сама идея переизбытка информации не нова (Blair, 2010), но проблема в том, что, как и раньше, ее сторонники слишком легко абстрагируются от пользователей или потребителей информации. Для литературы на данную тему весьма характерна оценка «информационного общества», данная Фрэнком Уэбстером (Webster, 1999: 375): современное «"информационное общество" отличается тем, что огромные объемы доступной информации по сути неинформативны, это "неполноценная информация", сравнимая с неполноценной едой, обильной, но не питательной». Информационное общество в такой интерпретации предстает как общество без людей. Поэтому то, что действительно необходимо, это культурологическая теория информации.

сети дает повод критически настроенным наблюдателям констатировать, что структура общества вещания с характерным для нее ограниченным числом выразителей идей и многочисленными слушателями сохраняется и в век интернета (Weinberger, 2008: 202).

Власть посредников и проводников, однако, не так сильна, как прежде, уже хотя бы потому, что их число резко возросло, а вместе с этим увеличились и возможности выбора. Тем не менее, вопрос о том, действительно ли исчезновение с информационной арены профессиональных проводников (журналистов) или влиятельных публичных интеллектуалов приводит к ослаблению демократии, так как посредники — по мнению Санстейна — выполняли важные демократические функции в обществе вещания, обеспечивая возможность связующего опыта и столкновения различных акторов со случайными контентом, по-прежнему остается спорным²⁹⁶.

На это можно было бы возразить, что исчезновение характерных для общества вещания посредников превращает пассивных читателей в активных участников коммуникации (с анонимной аудиторией). Кроме того, возникает вопрос, какая форма использования современных медиа в большей степени способствует рефлексивному потреблению информации: случайное столкновение с идеями, не сильно отличающимися от идей самого пользователя, или же контакт с идеями, резко противоречащими его взглядам на вещи? Я не исключаю, что критическое мышление

²⁹⁶ Юрген Хабермас (Habermas, 2006b: 4) высказывает предположение, что опасное исчезновение центров коммуникации связано с расширенными возможностями горизонтальной коммуникации в интернете: «Формирование горизонтальных и неформальных сетей коммуникации в то же время подрывает достижения традиционных обществ. Последние, в частности, фокусируют в рамках тех или иных политических сообществ внимание анонимной и разрозненной публики к избранным сообщениям, так что граждане могут в одно и то же время заниматься одними и теми же, критически отобранными темами и высказанными позициями. Усиление эгалитаризма, которое дарует нам интернет и которое можно только приветствовать, имеет свою цену — децентрализацию доступа к неотредактированным комментариям. В рамках этого средства коммуникации комментарии интеллектуалов теряют способность фокусировать внимание общественности». Впрочем, недавние революционные события в арабских странах свидетельствуют о том, что данная опасность не столь велика.

стимулируют, скорее, схожие идеи, а резко отличающиеся мнения лишь убеждают человека в правильности его позиции. Эти наблюдения противоречат позиции Касса Санстейна (Sunstein, 2001), который выступает за создание пространства, где индивид сталкивался бы с широкой палитрой самых разных информационных материалов, так как уже само это разнообразие, по его мнению, способствует зарождению сомнений и ведет к изменению собственного мнения²⁹⁷.

По утверждению Санстейна, резко возросший объем содержания и идей, распространяемых в интернете, приводит к выбору определенных стратегий обращения с этим многообразием и сложностью, а именно к преждевременному прерыванию поиска противоречащих идей. Материалы, предлагаемые интернетом, «во многих случаях с высокой вероятностью ведут к тому, что люди пытаются найти удобную для них информацию или комментарии людей, похожих на них самих». Эта форма обращения с многообразием содержания, доступного в интернете, в конечном итоге лишь усиливает социальный раскол между группами людей (т. е. ведет к групповой поляризации). Групповая поляризация вместо открытости конкурирующим воззрениям и поддерживающим их социальным группам есть «закон человеческого рода», и его действие «еще больше усилится, если люди будут воспринимать себя как часть группы, обладая общей идентичностью и определенной степенью солидарности» (Sunstein, 2001). Одним словом, интернет — это важное средство коммуникации, способствующее групповой поляризации.

Повсеместная групповая поляризация, если вообще есть основания говорить о влиянии на нее со стороны многообразных

²⁹⁷ Объясняя эти взаимосвязи, Касс Санстейн (Sunstein, 2001) обращает внимание на то, что «система, в которой ты не обладаешь полным контролем над тем конкретным контентом, который ты видишь, имеет очень много общего с оживленной улицей, где ты встречаешь не только друзей, но и множество других людей, вовлеченных в самые разные виды деятельности (включая, быть может, политические протесты и попрошайничество). На самом деле с системой полного индивидуального контроля связана опасность уменьшения значимости "публичной сферы" и в целом общественного пространства».

возможностей интернета, может, впрочем, усиливать демократические свободы, а не только вести к их ограничению. Санстейн соглашается с этим тезисом, но в то же время высказывает опасения в связи с вероятностью того, что интернет будет использоваться исключительно как подтверждающая коммуникативная опция. В связи с этим особенно важно «убедиться, что люди время от времени сталкиваются с взглядами, отличающимися от тех, которые они в настоящий момент разделяют, что защищает от опасного воздействия групповой поляризации на индивидуальное мышление и на сплоченность общества» (Sunstein, 2001). Независимо от того, какие явления усиливаются под воздействием интернета — конформность, рефлексия или спонтанность, Санстейн, очевидно, уверен в том, что интернет обладает значительной и непосредственной силой убеждения в политической жизни современного общества: «Вселенная коммуникации, которая со временем становится все более фрагментированной, снижает уровень общего опыта, значимого для различных групп» (Sunstein, 2001), а, значит, интернет в конечном итоге усиливает процесс индивидуализации, внося свой вклад в увеличение сегмента пользователей, уходящих в свою индивидуальную жизнь и никак не связанных с жизнью общественности.

Впрочем, контекст, оказывающий гораздо более сильное и продолжительное воздействие на формирование и утверждение политических убеждений индивидов и групп, заключается не в одиночном, изолированном обращении индивидов с различными цифровыми средствами коммуникации, а, скорее, в социальных сетях и прежде всего в эмоционально нагруженном, непосредственном взаимодействии с другими людьми. С этой точки зрения новые возможности коммуникации представляют собой расширенное продолжение (экстензию)²⁹⁸ медиа, характерных для общества вещания, и формируют контекст, в котором неизменно проявляется немалое влияние мягкой власти идей и точек зрения.

²⁹⁸ Понятие социальной экстензии как удобный рабочий концепт для общего описания процессов общественного развития я более подробно рассматриваю в своей работе «Труд, собственность и знание» (Stehr, 1994).

Исследования воздействия «массовой коммуникации» на установки и решения граждан по-прежнему опираются на эмпирические работы и выводы пионеров в этой области — Элиху Каца и Пола Лазарсфельда. Многочисленные исследования Каца, Лазарсфельда и других сотрудников Бюро прикладных социальных исследований Колумбийского университета в целом фиксируют большую значимость социальных влияний, по сравнению с непосредственным воздействием информации на принятие решений, и, стало быть, ограниченное, хотя, разумеется, не совсем irrelevantное воздействие масс-медиа (ср. Katz, 1987)²⁹⁹. Есть ли основания полагать, что когнитивные эффекты цифровых средств коммуникации делают данный вывод устаревшим и что ввиду происходящих в настоящее время общественных и технологических трансформаций мы имеем дело с абсолютно прямым влиянием новых медиа на установки их пользователей?³⁰⁰ Даже если ответ на этот вопрос окажется отрицательным, т.е. структура основного влияния медиа по-прежнему соответствует утвердившимся социальным траекториям, это еще совершенно не означает, что новые возможности коммуникации не имеют политического значения, слабы или никак не влияют на восприятие политики.

Не столь скептическая оценка общественной роли новых возможностей коммуникации ввиду потенциального множества информации в интернете опирается на целый ряд факторов.

²⁹⁹ В одной из своих ранних работ Пол Лазарсфельд (Lazarsfeld, 1948) подчеркивает: «Основной эффект масс-медиа заключается не в продвижении каких-то конкретных идей или формировании позиции по определенному вопросу. Скорее, то, что они на самом деле делают, — это создают для нас картину более отдаленного мира, с которым у нас нет непосредственного личного контакта. <...> Краткосрочные исследования никогда не смогут проследить, каким образом на протяжении человеческой жизни масс-медиа акцентируют для некоторых людей отдельные сферы социального мира, утаивая другие» (цит. по: Katz, 1987: 36).

³⁰⁰ Ряд авторов, ожидающих подобных трансформаций не только в способе воздействия новых медиа в современных обществах, исходит из того, что причина возросшего значения медиа может заключаться и в ослаблении традиционных ограничений, которым подчиняется индивид в гражданском обществе и которые описывает в своих работах, в частности, Роберт Патнэм (Putnam, 2000; см. также Iyengar, 1991; Bennet, Iyengar, 2008).

Среди них можно назвать следующие: снижение транзакционных издержек, связанных с обращением к релевантной политической информации; использование нескольких политических опций; низкие временные затраты; сократившийся путь к необходимой информации; едва ли не ничтожно малые расходы, возникающие на этом пути; сравнительно простой доступ к возможностям коммуникации для людей и групп, которые раньше были обречены на молчание; предположительно менее острая необходимость и снизившаяся возможность регулирования новых медиа со стороны государства³⁰¹; но также и в целом открывающиеся неожиданные возможности политического контроля (а также его патологической стороны — доноительства) и, наконец, тот факт, что при помощи новых медиа можно достигаться до людей, знакомых интернетом, но редко или даже никогда не пользующихся типичными средствами коммуникации общества вещания (ср. Ward, de Vreese, 2011; Rosanvallon, [2006] 2008: 66–71; Ward, Gibson, Lusoli, 2002: 663). Одним словом, согласно данной аргументации, мы должны исходить из того, что доступ к интернету и влияние заключенного в нем огромного объема информации способствует уменьшению политической апатии, стимулирует политическую активность и помогает выстраивать сетевые связи на региональном, национальном и международном уровнях. Такого рода ожидания в отношении влияния новых возможностей коммуникации поднимают уже известный вопрос о том, меняются ли под воздействием интернета структуры стратифицированного

³⁰¹ Йохай Бенклер (Benkler, 1999:562) приходит к схожему выводу: «Современные технологии делают возможной децентрализацию и демократизацию за счет того, что позволяют небольшим группам избирателей и индивидам стать пользователями, т.е. участвовать в создании их информационного окружения, в большей степени по сравнению с незначительным регулированием концентрированных коммерческих масс-медиа с тем, чтобы они лучше отвечали запросам индивидов, понимаемых как пассивные потребители. Структурное регулирование масс-медиа в XXI веке должно, в свою очередь, фокусироваться на обеспечении возможности широкого распространения умения производить и передавать информацию как на наиболее эффективном и привлекательном, с нормативной точки зрения способе служения целям, которые традиционно являлись стимулом для структурного регулирования медиа».

политического участия или же в главном они остаются по-прежнему односторонними, т. е. точно такими же, какими они были в эпоху общества вещания. Поскольку интернет и новые медиа представляют собой эмерджентный вариант коммуникации, вполне возможно, что делать окончательный вывод о его влиянии на политические процессы в отдельных странах и регионах мира, а также на глобальное политическое развитие пока еще рано. Пользование интернетом во всем мире быстро меняется. Так, например, количественный анализ на тему использования интернета и демократизации, который Бест и Уэйд (Best, Wade, 2009) проводили на протяжении одиннадцати лет (1992–2002) при помощи рейтинга Фридом Хаус, привел к различным результатам, в зависимости от региона. Данные для 2001–2002 года, напротив, демонстрируют однозначно положительную взаимосвязь между использованием интернета и демократией. Бест и Уэйд (Best, Wade, 2009: 270) подытоживают результаты своего исследования в оптимистичном выводе: «Впрочем, несмотря ни на что, наши результаты подтверждают наличие положительной корреляции между ростом демократии и распространением интернета». В любом случае ранние восторженные суждения о политическом влиянии новых медиа, а также о реализуемой с их помощью цифровой демократии следует пересмотреть с учетом неоднозначности воздействия их мягкой власти на общество (см. также: Loader, Mercea, 2011).

6.6. Демократия и научные знания

Меня преследует мысль, что такой разрыв в человеческой цивилизации вызван именно открытием научного метода и наступил, быть может, необратимо. Хотя я влюблен в науку, меня не покидает чувство, что ход развития естественных наук настолько противостоит всей истории и традициям человечества, что наша цивилизация просто не в состоянии сжиться с этим процессом. Нынешние политические и милитаристские ужасы, полный распад этики — всему этому я

сам был свидетелем на протяжении своей жизни. Эти ужасы можно объяснить не как симптом эфемерной социальной слабости, а как необходимое следствие роста науки, которая сама по себе есть одно из высших достижений человеческого разума.

Макс Борн (Born, 1968: 58)

Концепции теоретиков постмодерного и постиндустриального общества (Жана-Франсуа Лиотара, Дэниела Белла, Збигнева Бжезинского) отличаются друг от друга во многих отношениях и, в частности, в определении знания и в представлении о том, какая форма знания играет или будет играть в будущем решающую роль в обществе. Но в одном все теоретики едины: в современных обществах знание становится инструментом власти. Из этой базовой посылки едва ли не автоматически следует политический вывод: в постмодерном или постиндустриальном обществе для обычного гражданина становится все сложнее быть политически активным. Ему не хватает знаний для того, чтобы активно участвовать в политических дискуссиях и противостояниях. Однако поскольку такое участие желательно, это ведет к усилению ощущения политического отчуждения, собственной недееспособности и бессмысленности любой деятельности, что, в свою очередь, влечет за собой уход в частную жизнь. Помимо этих общих, схематичных диагнозов политической ситуации в современном обществе с характерным для нее усилением иерархии теоретики постмодерных и постиндустриальных обществ, впрочем, не останавливаются более подробно на особенностях нынешней политической жизни. Как полагает Сэмюэл Хантингтон (Huntington, 1974: 165–166), отсутствие у социальных теоретиков выраженной позиции в отношении политического развития и структурных изменений в современных социальных системах объясняется тремя причинами:

Во-первых, возможно, здесь сыграла свою роль убежденность в том, что политические процессы в постиндустриальных обществах имеют лишь небольшое значение. Это вполне объяснимо, учитывая, что основные идеи постиндустриальных теорий схожи с основными идеями технократических теорий; на смену иррациональности политических решений приходит рациональность

науки как нового модуса их поиска. Во-вторых, акцент делается на таких сферах политики, как политика науки и промышленности, а также на прерывистости и особой внутренней динамике развития науки и политики. В-третьих, политические процессы не лишены значения, а, скорее, «вызывают неудобства», и, как подчеркивает Хантингтон (Huntington, 1974: 166), «более рациональное общество могло бы порождать меньше политических конфликтов, когда политика становится сценой для выражения эмоциональной фрустрации и иррациональных порывов, которые не имеют возможности проявиться в какой-либо другой сфере общественной жизни. Постиндустриальная политика <...> может оказаться теневой стороной постиндустриального общества».

В исследовании роли и влияния экспертов в демократических обществах, возможно, нет необходимости обращать внимание на разделяемое многими вплоть до недавнего времени убеждение, в основе которого лежит тезис о том, что «право принятия окончательного решения должно принадлежать тем, кто действует под влиянием используемого знания, а не специалистам, делающим этого знание доступным», как верно обобщает эту мысль Сэнфорд Лакофф (Lakoff, 1971: 12).

Независимо от той ограниченной функции, которая здесь отводится экспертам, уже сравнительно давно ведется оживленная дискуссия вокруг тезиса о том, что роль, которую по идее должны играть граждане и их представители, а именно принятие независимых, самостоятельных решений, когда специальные знания выступают лишь в качестве средства, в частности, для поиска «обоснованных политических решений» (Aktionsrat Bildung, 2007: 146), все чаще берут на себя консультанты, специалисты, эксперты и другие лица, обладающие специальными знаниями, в результате чего, как опасается Ханна Арендт (Arendt, 1953), логика вытесняет здравый смысл из политической жизни.

Ричард Левонтин в своем эссе, не так давно опубликованном в «New York Review of Books» (18-е ноября 2004 года, с. 38), подчеркивает: «Знания, необходимые для достижения политической рациональности и прежде доступные массам, отныне находятся в руках специально образованной элиты, и такая ситуация создает целый ряд несоответствий и противоречий в работе

представительной демократии». Наблюдения Левонтина очень схожи с часто высказываемыми опасениями в связи с растущей пропастью между экспертным знанием и «знанием непосвященных» и, как следствием, «смертью демократии». В результате, как опасаются некоторые наблюдатели, знание оказывается неразрывно связанным с властью; политические действия все больше опираются на экспертное знание, без которого политики уже не могут обойтись. В конечном итоге тесная взаимосвязь знания и власти ведет к недееспособности обычных граждан³⁰².

Если этот тезис о власти экспертов в обществе верен, означает ли это, что разделяемый философами французского Просвещения и в первую очередь маркизом де Кондорсе оптимизм в отношении социальной роли знания в борьбе против бедности, насилия и невежества, а также в развитии стабильного демократического общества, не имеет под собой оснований (см. Jones, 2004: 16–63)?

Скептические рассуждения Ричарда Левонтина о растущей роли прежде всего естественнонаучных и технических познаний не только в работе правительства, но и в целом в качестве инструмента политики (ср. Pielke, 2007), напрямую отсылают нас к рассматриваемым в данном разделе вопросам о взаимодействии специального знания, общества и демократии.

Ясно одно: недостаточные научные познания обычного гражданина превращаются в, казалось бы, непреодолимое препятствие для политического участия. Этот тезис я хотел бы рассмотреть более подробно.

Анализируя значение научных знаний и демократического участия, имеет смысл различать два вопроса: (1) Можно ли считать часто констатируемый недостаток научных знаний у большинства представителей гражданского общества адекватным описанием

³⁰² Зависимость современных обществ от экспертного знания и экспертов — разумеется, явление гораздо более универсальное, не ограничивающееся политическими решениями (см. также Stehr, Grundmann, 2011). Влияние экспертного знания простирается на все сферы жизни человека, вследствие чего неуклонно растет круг членов общества, неспособных помочь самим себе (Böhme, 1992: 51). Впрочем, я в своем исследовании роли экспертов в современных обществах первостепенное внимание уделяю их функции в рамках политической системы, а не повседневной жизни.

нынешней ситуации и, исходя из него, следует ли задумываться о том, как устранить этот недостаток? (2) Другой вариант, которому я отдаю предпочтение, заключается в том, чтобы усомниться в самом этом диагнозе и в связанных с ним гипотезах, в частности, в допущении о власти научного познания.

6.7. Научные познания и здравый смысл

Если вы хотите получать наслаждение от вина, необязательно разбираться в его основных свойствах.

Мишель Монтень
(Montaigne, [1580] 1998: 516)

В начале этого раздела я хотел бы еще раз кратко рассмотреть распространенные взгляды на взаимосвязь между знанием, демократией и политической властью. Вот что обозреватели и комментаторы считают реалистичной оценкой современной ситуации в политике: (1) Знание — сила (власть), (2) общественность невежественна, (3) реализация власти опирается на контроль над значимыми научными знаниями со стороны власть имущих, (4) что существенно затрудняет политическое участие членов гражданского общества. Как я уже подчеркивал, эти воззрения и аргументы довольно сложно отделить друг от друга.

Для начала я хотел бы в самом общем виде сформулировать свою критику в адрес этого набора распространенных тезисов о слиянии знания и власти.

1. Тезис о том, что научные знания более или менее автоматически служат интересам власть имущих и без труда ими монополизируются, неверен.
2. Можно ли сочетать демократию и экспертизу? Тезис о слиянии власти и знания вводит нас в заблуждение постольку, поскольку предполагает непосредственное и прямое влияние научных знаний на политический процесс. Из научных знаний нельзя вывести конкретные указания к действию. Это всегда лишь предварительные утверждения. Выбор между вариантами действия никогда не решается исключительно научными методами. На общественный

дискурс влияет совокупность научных и политических аргументов, и в этой связи нельзя забывать и о политизации языка науки.

3. Значимость (якобы объективной) экспертизы или влияние «рациональных», научно обоснованных соображений или фактов, учитываемых в ходе политических споров, переоценивается. Неверно полагать, что недостаток «либеральных» и, соответственно, избыток «консервативных» свойств научных знаний играют решающую роль в том, что касается практической релевантности научных знаний, и что по этой причине научные знания становятся факторами власти.
4. Дефицит научных и технических акторов является определяющей и в целом необратимой характеристикой многих сторон повседневной жизни в современном обществе, вследствие чего снижается предполагаемая опасность этого прискорбного для многих факта. Наука не ведет к деполитизации политических процессов³⁰³. Гражданское общество не теряет автоматически способность к участию в обсуждении и принятии решений о взаимодействии общества с научными познаниями и техническим прогрессом. Различные группы гражданского общества обладают своими собственными интеллектуальными способностями и эпистемологическими культурами. Чтобы бросить вызов экспертному знанию, не нужно «знать» столько же, сколько эксперты (см. Nelkin, 1975: 49–54)³⁰⁴. Вопросы общественной жизни по-прежнему остаются политическими.

³⁰³ Утверждение, что научные познания не ведут к деполитизации политических процессов, не означает, что политические акторы определяют и трактуют политические темы как сугубо технические вопросы.

³⁰⁴ Дороти Нелькин (Nelkin, 1975: 53–54) так резюмирует результаты своего эмпирического исследования, посвященного двум крупномасштабным и неоднозначным строительным проектам — возведению атомной электростанции и посадочной полосы в одном из международных аэропортов: «Противостояние тому или иному решению не требует сбора исчерпывающего компромата. Достаточно поднять вопросы, которые поставят под сомнение экспертизу организаторов проекта, чья власть и легитимность базируются на их монополии на знания или на их притязаниях на обладание особой компетенцией».

4. Последний пункт критики, который я более подробно рассмотрю после этого общего обзора, касается вопроса о том, действительно ли, как считал, к примеру, Йозеф Шумпетер, расчет или логика политических решений со стороны знающих индивидов отличаются от расчета и логики индивидов, обладающих меньшим объемом знаний³⁰⁵.
5. Наконец, мне остается обратить внимание на то, что социально-научные знания, если не трактовать их как сугубо инструментальные, могут играть конструктивную роль в отрезвляющем анализе дефицита научных знаний и практического обращения с ними в повседневной жизни.

Влияние и диапазон действий некоторых социальных институтов и типичных социальных ролей внутри этих институтов, в первую очередь в экономике и науке современного общества, равно как и в целом роль эксперта, консультанта и специалиста, вопреки теории функциональной дифференциации, как правило, выходят за установленные институциональные границы. Точные последствия комплексного влияния этих институтов на общества остаются предметом дискуссий и зачастую критики. Так, например, многие представители социальных и гуманитарных наук предостерегают нас от непреодолимой, по их мнению, власти рынка. Кто-то бьет тревогу и призывает к сопротивлению этой часто невидимой и загадочной власти (см., например: Bourdieu, 1998).

Остается лишь удивляться, что те представители социальных и гуманитарных наук (а такие все же есть), которые не разделяют тезис о беспрецедентном могуществе научных знаний и научной экспертизы, подрывающем основы демократической формы правления, не выступают с критикой такого рода заявлений. И все же в целом ученые практически единодушны в том, что наука занимает особую, чрезвычайно значимую и едва ли не беспроницаемую

³⁰⁵ Эмпирическое исследование электорального поведения американских избирателей на президентских выборах в период с 1992 по 2004 год показывает, что «главное последствие повышения уровня знаний у избирателей — это рост явки и тенденция сохранения позиции, существовавшей до выборов» (Dow, 2011: 381).

ную позицию в современном обществе. Единодушны ученые и в том, что степень информированности членов гражданского общества в области научных знаний в конечном итоге сводится к полному невежеству. Среди многих наблюдателей за пределами научного сообщества также царит единодушие относительно того, что наше незнание влечет за собой скорее отрицательные политические — и возможно многие другие, также нежелательные — последствия. Социальные и научные потери, связанные с невежеством, например, в сфере здоровья и медицины, весьма значительны.

В научной среде многие готовы согласиться с моим кратким диагнозом: не только ученые—естествоиспытатели, но и многие представители социальных и гуманитарных наук убеждены, что общество и общественность утратили контроль над наукой и что в настоящее время научные дисциплины обладают монополией на то, что считается «истиной» (ср. Latour, 1999: 258). Известный социолог Иммануил Валлерстайн (Wallerstein, 2004: 8) расширил этот диагноз и пришел к выводу, что, за некоторыми исключениями, растущая специализация производства научного знания ограничивает способность неспециалиста независимо и рационально оценивать качество, доказательность или логичность теоретического мышления. Как добавляет Валлерстайн, этот вывод верен прежде всего для «жестких» наук.

Поэтому автор признанного многими исторического описания первоначальных отношений между наукой, обществом и общественностью (Shapin, 1990: 991) исходит из того, что «в прошлом связь между наукой и общественностью были тесной, глубокой и последовательной. То, что относилось к сфере науки, не было четко отделено от того, что к ней не относилось, точно так же как не было четкой грани между человеком науки и другими социальными ролями. Общественные и другие социальные и культурные структуры проникали в структуры науки. Общественные проблемы могли влиять не только на направление научной работы, но и на содержание научного знания».

Историк науки Геральд Холтон еще более однозначен в своей оценке современного состояния отношений между наукой, общественностью и обществом. По мнению Холтона, граждане

современных обществ — это рабы³⁰⁶, которые не в состоянии действовать по собственному разумению: «Новые безграмотные будут рабами в том, что касается ключевых вопросов самоуправления» (см. также Holton, 1996: 51). Рабский менталитет современного гражданина, как можно было добавить в данном контексте, проявляется не только во «власти без представительства» (Hure, Edwards, 2011), но и в лакейском сознании и соответствующих формах социального поведения. Демократия означает, что правительство обязано давать отчет гражданам о своей деятельности. Однако распространенный рабский менталитет и связанные с ним политический статус и влияние гражданина ведут к тому, что в действительности, наоборот, граждане обязаны отчитываться перед правительством. На нас обрушивается волна запретов, законов и общественных кампаний. Так, например, оказывается, что мы неправильно питаемся или плохо справляемся с ролью родителей (Minogue, 2010: 4).

Ввиду симбиоза власти и знания новые безграмотные, словно в гротескной пародии на мечты эпохи Просвещения, оказываются беззащитными жертвами (см. Turner, 2001). Майкл Полани и Ч. П. Сноу также полагали, что в современных обществах возникла опасная пропасть между научным сообществом и повседневной культурой. Известный эколог Джеймс Лавлок, автор «гипотезы Геи», разделяет пессимистическую убежденность в том, что современное человечество просто — на просто глупо для того, чтобы, к примеру, избежать угрозы изменения климата³⁰⁷. Шведский исследователь медиа Питер Дальгрэн (Dahlgren, 2009) говорит о «психической разрухе эпохи позднего модерна», когда граждане утратили всякое чувство политического участия просто

³⁰⁶ Схожую метафору, хотя и в прямо противоположном смысле использует Пол Фейерабенд (Feuerabend, [1978] 1980: 234). Фейерабенд обращается к самому себе как к преподавателю в университете с призывом не выступать в интересах рабовладельцев, т.е. не быть рупором господствующей социально-философской образовательной программы.

³⁰⁷ См. интервью с ним в мартовском номере «Guardian» (2010) (см. также статью Криса Хантингфорда под названием «От пессимизма Джеймса Лавлока в отношении изменения климата нет никакой пользы» в «Guardian» от 1.04.2010.

потому, что не чувствуют себя компетентными. Как утверждается, современные процессы модернизации и доминирование рационального рыночного поведения усиливают базовую тенденцию к всестороннему отчуждению индивида.

Свои критические размышления о якобы существующей пропасти между наукой и знаниями гражданского общества я начну с ряда столь же универсальных вопросов и требований: как (в отличие от Карла Маркса) подчеркивает Макс Хоркхаймер, неверно утверждать, будто справедливость или равенство, с одной стороны, и свобода, с другой, поддерживают и усиливают друг друга. Верно ли это противоречие и для отношений между демократией и научными знаниями? Или знание способствует демократизации? Является ли прогресс знания и прежде всего стремительное развитие научного знания бременем для демократии и гражданского общества и ограничивает ли оно способность индивида реализовывать свою волю? И если действительно существует противоречие между научными знаниями и демократическими процессами, то имеем ли мы дело с новыми тенденциями, или же повсеместное утверждение либеральной демократии обусловлено в том числе общим воздействием знаний, производимых научным сообществом, и демократическим политическим поведением, вследствие чего с полным основанием можно утверждать, что гражданское общество или даже демократия являются порождением специализированного знания? Или же это убеждение не имеет под собой никаких других оснований, кроме наивной веры в силу знания?

Имеет смысл сначала привести ряд бесспорных тезисов о нашей эпохе: научная экспертиза — крайне ценный политический ресурс, и почти все знания, добытые в процессе коллективного поиска знаний, недоступны подавляющему большинству людей. Растущая пропасть между теми, кто обладает как специальными знаниями, так и политическим влиянием, и большинством граждан, лишенных соответствующих прав, обычно трактуется в том смысле, что данные факты и вызванная процессом глобализации коллективная утрата суверенитета представляют собой серьезную угрозу для национальных представительных демократий. Очень многие ученые разделяют допущение о том, что стремительное развитие научных знаний — которые, как считается,

нельзя назвать спорными, предварительными, фрагментарными, изменчивыми, неоднозначными, неустойчивыми и нестабильными, а, наоборот, следует считать стабильными, логичными, надежными и технологизированными — образует основу политических решений и, следовательно, возможности коллективного планомерного управления и организации нашего жизненного мира таким образом, чтобы он мог справляться с возникающими трудностями. По той же причине триумф научно-технических знаний представляет угрозу для политической эффективности отдельных граждан³⁰⁸. «Технократизация» знаний и

³⁰⁸ Это утверждение имеет огромное значения, если иметь в виду, к примеру, основополагающее определение демократии, данное Монтескье (Montesquieu, [1748] 2007: 8): «Если в республике верховная власть принадлежит всему народу, то это демократия. Если верховная власть находится в руках части народа, то такое правление называется аристократией». Джеральд Холтон (Holton, 1986: 102) так объясняет свои опасения: «По мере того, как увеличивается разрыв между теми, кто делает политику, и гражданами, не обладающими достаточными знаниями для того, чтобы отстаивать свои интересы, возрастает и угроза: нация рискует расколоться надвое. Рана, которую уже давно ощущали остро чувствующие гуманисты, в частности, Триллинг, рано или поздно должна обернуться травматичным разрывом — это, по горькой иронии, цена за прогресс в сфере науки и технологий. По одну сторону бездны будет находиться сравнительно небольшая, технически подкованная элита, состоящая главным образом из ученых, инженеров и технических специалистов, а также прочих высококвалифицированных индивидов, составляющих всего несколько процентов от общей численности населения. По мере возрастания доли решений, включающих в себя научные или технические компоненты, они будут обеспечивать новые возможности, а также консультировать по вопросам управления ими и их использования. По другую сторону будет находиться подавляющее большинство людей, не обладающих достаточной языковой компетенцией, инструментами или методами для того, чтобы обсуждать и спорить с экспертами, проверять предлагаемые ими варианты и давать отпор их технологическому энтузиазму или их пророчествам о приближающемся конце света. Это большинство позволит распоряжаться своей судьбой элите, возможно, довольствовавшись комфортом и развлечениями, которые им обеспечит современная технология». Холтон (Holton, 1986: 102) добавляет: «Циники, возможно, даже приветствуют такое развитие событий, ибо невежественными людьми легче управлять, превращая их в воинствующих обывателей».

информации, как описывается, в частности, в работах Шмуэля Эйзенштедта (Eisenstadt, 1999: 90), способствует, казалось бы, необратимой концентрации власти в современных демократических странах. Выводы и притязания, опирающиеся на специальное знание, имеют большое значение для повседневного политического процесса, однако непонятны для широких слоев населения. Это, как подчеркивает Эйзенштедт (Eisenstadt, 1999: 90), может привести к усилению политической апатии гражданского общества, к повсеместному отказу от политического участия и, следовательно, к дальнейшей концентрации политической власти прежде всего в руках исполнительных органов.

Таким образом, тенденции производства и передачи знания однозначно толкают общество на такой путь развития, который все стремительнее уводит его от цели, поставленной Отто Нейратом (Neurath, ([1945] 1996: 254; ср. также Siemsen, 2001), а именно от демократизации научных знаний. Впрочем, как я покажу далее, утверждения о недостаточном демократическом контроле над научными познаниями сами по себе не являются причиной для уныния. Кроме того, эти взгляды отнюдь не новы и характерны не только для нашей эпохи.

Современных ученых, которых я цитировал выше, нельзя упрекнуть в том, что они довольны диагностируемой ими ситуацией или даже с большим или меньшим пафосом рекомендуют общественности «отчуждение» от науки. Однако же и такая позиция встречается. Поэтому есть смысл упомянуть о том, что тезис об оскудении демократии в связи с недостаточными научными познаниями у членов гражданского общества странным образом перекликается с более ранней критикой в отношении того, что сегодня мы считаем желательным, говоря о состоянии современной демократии, а именно, в отношении делиберативной демократии (где открытость спорным политическим темам является одной из характерных установок граждан; см. Hirschman, 1989: 77).

Так, например, Густав Лебон, Якоб Буркхардт, Карл Мангейм, Уолтер Липпман и многие другие критики эмерджентных форм гражданского общества высказывали опасения в связи с возникновением «массового общества» и связанным с ним упадком многих положительных или даже «священных» свойств общества:

«положения, собственности, религии, уважаемой традиции, высших учебных заведений всех сортов» (Буркхардт, цит. по: Viereck, 1956: 159). Массовые общества, как правило, способствуют установлению господства некомпетентных лиц, а вовсе не экспертов. Во время второй мировой войны, т.е. в период, когда у власти в Германии находились национал-социалисты, Карл Мангейм (Mannheim, 1940: 86–87) писал: «Открытый характер демократического массового общества, вкупе с его увеличением в размерах и тенденцией к всеобщему участию, не только порождает слишком обширные группы элит, но и лишает их эксклюзивного характера, в котором они нуждаются [для выполнения своих функций]».

Ричард Левонтин, как я уже упоминал выше, также весьма песимистично оценивает рациональность современных граждан³⁰⁹. Впрочем, я не разделяю эйфории Левонтина в отношении того, что он косвенно описывает как явно лучшее, по сравнению с настоящим, прошлое — общество, в котором, как это имеет место в появившихся в период раннего модерна теориях демократии, каждый человек столь же компетентен, как и любой другой, а научные знания доступны широким массам. Я также не могу предложить убедительную модель современного общества, в котором бы настоящее не отличалось от прошлого, описываемого Левонтином. Вместо этого я хотел бы выразить свои сомнения в обоснованности его пренебрежительных замечаний о сегодняшней ситуации в обществе, о роли науки, гражданского общества и демократической формы правления. Кроме того, я попытаюсь показать, что приводит Левонтина к его позиции, весьма распространенной в естественных и социальных науках³¹⁰. Для иллюстрации мнения, разделяемого многими учеными, я вновь кратко рассмотрю

³⁰⁹ В целесообразности различения между «исправимым» и «неисправимым невежеством» общественности, на котором настаивает Филип Китчер (Kitcher, 2011: 119–120), можно усомниться.

³¹⁰ Не только отдельные ученые, чьи взгляды я упоминаю в своей работе, считают недостаточную информированность и недостаточный уровень знаний среди общественности серьезной проблемой современного общества. На самом деле, этого мнения придерживаются почти все ученые. Крупномасштабное эмпирическое исследование 2009-го года, в частности, показывает, что 85 процентов опрошенных ученых воспринимают

показательное в этом отношении творчество Мишеля Фуко. Фуко, как я уже упоминал ранее, относится к наиболее видным общественным теоретикам, с особой настойчивостью отстаивавшим тезис о симметричности власти и знания (см., например: Foucault, [1975] 1977: 27). Ввиду уже кратко проанализированной политической ситуации и продолжающегося развития науки и техники встает простой и насущный вопрос: прислушивается ли еще кто-нибудь к тому, что говорят граждане? Действительно ли существует непримиримое противоречие между системной эффективностью и политическим участием граждан в современных демократии, если, как диагностировал еще Уолтер Липпман (Lippmann, [1922] 1997: 195), «мнения, сосредоточенные на самих себе, недостаточны для успешного управления»? Отражает ли представительная демократия устаревший взгляд на политику в той сложной, хрупкой и нестабильной Вселенной, в которой мы сегодня живем?

6.8. Пропась между обыденным знанием и наукой

На протяжении последних десятилетий, а, может быть, даже гораздо более долгого периода большинство ответов на вопрос о причинах и последствиях резкого разграничения или даже раскола между экспертами и неспециалистами во многих областях человеческой деятельности (например, в области права (Berger, Solan, 2008), медицины или политики) почти всегда указывают на недостаток знания, в котором обвиняется более слабая, в когнитивном отношении, сторона. Из этой аргументации следует, что сфера индивидуального и коллективного самоопределения или свободы в демократических обществах все больше ограничивается сферой влияния научной экспертизы.

Арнольд Гелен (Gehlen, [1957] 2004: 50) в своем культурологическом анализе социально-психологических проблем в индустриальных обществах рассмотрел этот систематический дефицит и критически осветил его последствия. Приобрести «добротные»

невежество общественности как в высшей степени актуальную общественную проблему (Pew Research Center, 2009; Besley, Nisbet, 2011).

(т. е. подходящие, адекватные потребностям) знания в современном обществе могут лишь немногие:

«Остальные вообще не в состоянии покорить "вершины знания", но, с другой стороны, радикальные последствия происходящего, простирающиеся вплоть до их собственного дома, вынуждают их реагировать на происходящее в целом. И тогда остается не так много возможностей: либо человек реагирует ассоциативно и эмоционально, т. е. примитивно, либо происходящее, в равной степени примитивно, персонифицируется, и человек более или менее смиренно или враждебно подчиняется тому, что "они делают там наверху"».

Чего недостает доминирующим подходам к анализу причин констатируемого дефицита научных познаний в обыденной жизни, так это указания на тенденции общественного развития, приведшие к данной ситуации, или на влиятельные группы акторов, которые — в отличие от тех, кого это касается напрямую — возможно, как-то связаны с сильной социальной изоляцией знания сообществ специалистов, организованных силами частных лиц или государства. Недостаточное участие науки в гражданском обществе или ее креативные возможности³¹¹ в отношении организации публичного пространства редко становятся темой для дискуссий или исследований в научном сообществе³¹². Такое же

³¹¹ Ср. в связи с этим усилия Отто Нейрата (Neurath, [1945] 1996: 262–264) по разработке визуального языка науки или визуального *lingua franca*. Как подчеркивает Нейрат, при использовании визуальных средств «не возникает ощущения, что существуют две отдельные сферы — наука и не-наука. В этом случае присутствует общая основа визуального материала. В визуальном образовании нет четкого разделения ни на естественные и гуманитарные науки, ни на низкое и высокое знание <...> Развитие визуального образования тесно связано с демократизацией дискуссий и аргументации».

³¹² Хороший пример такого исследования представляет собой работа Андреаса Даума (Daum, 2002: 138), посвященная роли науки в немецком обществе XIX-го века. Даум предпринимает попытку связать историю науки с историей гражданского общества. Он подчеркивает, что интегративный метод «помогает нам охватить огромный спектр не-университетских модусов, существовавших в сфере производства, преобразования и потребления знания в Германии». История отношений между наукой и обществом концентрируется главным образом на роли государства, а также на успехе

безразличие царит в отношении ключевого тезиса о существовании и предполагаемых последствиях пропасти между экспертами и общественностью. Но и здесь сразу же встают новые вопросы: мешают ли барьеры, существующие между носителями специального знания и общественностью, функционированию демократических режимов? Ведут ли пробелы в знаниях общественности к усилению «автономии» носителей политических, юридических и законодательных решений?³¹³ Или же «невежество» членов гражданского общества не только понятно, но и ожидаемо, так как отражает устоявшееся общественное разделение труда в сфере производства специального знания? И что если пропасть между наукой и общественностью — миф?³¹⁴ И играет ли это различие

немецкой академической науки. Альтернативные исследовательские подходы никоим образом не учитываются, и в особенности «история естественных наук в Германии изучалась почти исключительно в терминах институционального развития в университетах, государственной поддержки, взаимодействия между государством и промышленностью и профессионализации ученых». В своем комплементарном подходе Даум пытается «показать, что вклад в науку за пределами контролируемых государством образовательных институтов также играл существенную роль в рамках культуры науки в частности и гражданской культуры в целом, <...> включая широкий спектр любительской деятельности в области естественной истории и того, что называют дилетантской наукой» (Daum, 2002: 115).

³¹³ Так, Сэмюэл Деканио (DeCanio, 2006) обращает внимание на то, что общественное мнение не в состоянии ограничить влияние элит, если только общественность не проинформирована должным образом об основаниях, на которых официальные игроки принимают свои решения.

³¹⁴ Ввиду частоты и интенсивности, с которой обсуждается пропасть между общим разумом общественности и пониманием специализированных научных данных, удивительно, что в литературе на эту тему вообще встречаются работы, авторы которых поддерживают противоположную точку зрения. Примером может служить статья в британском журнале «Economic and Social Research Council» за 1999 год под названием «Политика в области ГМО. Риск, наука и общественное доверие». Выводы в этой статье опираются главным образом на интервью с членами фокус-групп, которые дают в том числе следующие комментарии: «Высокопоставленные политики часто делают акцент на том, что решения по ГМО должны приниматься в свете "непредвзятых научных знаний"». Их отношение к обеспокоенности со стороны общественности по поводу генных технологий часто сводится к характеристике общественности как невежественной,

вообще какую-либо роль, если «реальная жизнь», как подчеркивает, например, Макс Вебер, протекает по совершенно иным законам?³¹⁵ Подводя итоги этого раздела, я еще раз обращаюсь к совокупности насущных, однако не обсуждаемых проблем, но прежде я хотел бы рассмотреть еще некоторые мысли о градиенте между наукой и демократической политической практикой³¹⁶.

Хотя коренное различие и противоречие между научными познаниями и обыденным знанием — явление отнюдь не новое, принято считать, что этот разрыв резко увеличился в современных обществах (о генеалогии трактуемого таким образом различия см: Bensaude-Vincent, 2001), вследствие чего³¹⁷ на

иррациональной или даже истеричной». Результаты эмпирического исследования подталкивают авторов к выводу о том, что «многие представители общественности, пусть и не понимают во всех подробностях научные знания, тем не менее, хорошо информированы о новейших достижениях науки и о новейших технологиях, а также способны к сложным размышлениям над научными вопросами. Многие "простые" люди демонстрируют глубокое понимание таких моментов, как неопределенность: если есть что-то, в чем общественность превосходит многих ученых и политических консультантов, так это в инстинктивном ощущении необходимости предупредительных мер».

³¹⁵ Идеи, которые Макс Вебер (Weber, [1919] 1922: 537–538) высказывает в своем докладе «Наука как профессия» о скептическом отношении к науке среди современного ему молодого поколения, могут служить примером такого рода выводов: «Сегодня как раз у молодежи появилось скорее противоположное чувство, а именно что мыслительные построения науки представляют собой лишенное реальности царство надуманных абстракций, пытающихся своими иссохшими пальцами ухватить плоть и кровь действительной жизни, но никогда не достигающих этого. И, напротив, здесь, в жизни, в том, что для Платона было игрой теней на стенах пещеры, бьется пульс реальной действительности, все остальное лишь безжизненные, отвлеченные тени, и ничего больше».

³¹⁶ Следует заметить, что отсылка к экономической системе и указание на знание и информацию экономических субъектов не входят в круг ключевых тем, когда речь идет о разрыве между научным и повседневным знанием, причины которого ищут в системе науки.

³¹⁷ Схожее, хотя и не идентичное наблюдение гласит, что, казалось бы, неизбежный (и, возможно, даже нелинейный) прирост «незнания» в отношении научных познаний есть результат прироста этих самых познаний (см., например: Ravetz, 1986: 423; Luhmann, 1997: 1106; Wehling, 2008: 31).

политическом уровне упрочило свое положение, власть и авторитет элита, состоящая из ссылающихся друг на друга советников и консультантов и одновременно ученых и уже давно не обладающая в глазах общественности интеллектуальной легитимностью, не говоря уже о легитимности демократической.

Если эксперты и в самом деле существуют в практически самореферентной системе общественно значимых суждений, имеющих далеко идущие последствия, то любая попытка интегрировать экспертизу в демократический дискурс обречена на провал, и отсюда возможен только один вывод: усиливающаяся зависимость от специализированного знания означает одновременно политическую иррелевантность суждений неспециалистов и «обрекает граждан на роль пассивных, непонимающих наблюдателей (которые, возможно, выигрывают от происходящего) даже непосредственно касающихся их действий государства» (Poggi, 1982: 358). Уже одни эти рассуждения позволяют увидеть, что в настоящее время подлинно представительная демократия, не говоря уже о демократии делиберативной, невозможна, если, конечно, общество не бросит вызов экспертам³¹⁸. Как я уже подчеркивал, в обеспокоенности видных членов научного сообщества и ученых в целом в отношении непрочных основ эффективного демократического участия большинства граждан находят отражение более ранние опасения и эмпирические данные (см., например: . Lippmann, [1922] 1997³¹⁹,

В этом заключается идея так называемого «парадокса знания и невежества», касающегося роста специального знания, которому противостоит параллельный и ускоряющийся рост незнания гражданского общества (см. Bauer, 1966; Ungar, 2008).

³¹⁸ Анжела Либераторе и Сильвио Фунтович (Liberatore, Funtowicz, 2003: 147) сомневаются в верности вывода о непоколебимой монополии экспертов в демократических странах. Они полагают, что граждане могут попытаться проследить и *ex post facto* проанализировать решения, принятые на основе заключений экспертов, и выяснить, была ли достигнута поставленная цель. Демократизация экспертных оценок — «важный компонент, гарантирующий соблюдение предусмотренных законом процедур <...>, а также обеспечивающий плюрализм рекомендаций экспертов» (Liberatore, Funtowicz, 2003: 147).

³¹⁹ Здесь имеет смысл привести пространную цитату из работы Уолтера Липпмана «Общественное мнение» (Lippmann, [1922] 1997: 193): «Когда

возражение Липпману см. в: Dewey, [1927] 1996, результаты ранних эмпирических исследований см. в: Hyman, Sheatsley, 1947; Berelson et al, 1954; Converse, [1964] 2006). Они касаются отсутствия условий и низкой вероятности реализации системы представительной демократии и действенного гражданского участия³²⁰, т. е. недостаточной компетентности граждан или, если говорить еще более пренебрежительно, политического и научного невежества многих граждан демократических государств (Gilley, 2009:117–120; Somin, 2009; Sturgis, Smith, 2008)³²¹. В результате правовед Ричард

отсутствуют институты и образование, с помощью которых информация о среде доносится до людей столь успешно, что реалии общественной жизни могут быть сопоставлены с замкнутым на себе мнением отдельных групп, общие интересы полностью ускользают от общественного мнения и могут управляться только специальным классом, личные интересы которого выходят за пределы местного сообщества. Этот класс не несет ответственности, поскольку действует на основе информации, не являющейся всеобщим достоянием, в ситуациях, которые общество в целом не понимает, и может быть привлечен к ответственности только на основе свершившегося факта».

³²⁰ Более полувека назад Бернард Берельсон (Berelson, 1952: 316–317) в одной из своих работ, в которой он предостерегает от тесного сотрудничества между исследователями общественного мнения и политологами, обратил внимание на низкий интерес избирателей в США к политике, к тому моменту уже было подробно изученный во многих эмпирических исследованиях: менее трети опрошенных заявили о «подлинном интересе» к политическим темам. Одновременно снизилась доля избирателей, участвовавших в выборах. Берельсон объясняет эти тенденции, сохранившиеся в неизменном виде на протяжении последних десятилетий, появлением у избирателей чувства, что «они не в состоянии влиять на политические дела ввиду сложности и масштабности решаемых вопросов». Разумеется, вывод Берельсона может трактоваться как лицензия на захват власти экспертами.

³²¹ Различные наблюдения относительно осведомленности граждан стали отчетливо появляться уже в 1950–е годы в результатах исследований, проведенных в США, например, в классическом эмпирическом исследовании «Американский избиратель» (Campbell et al., 1960: 543), результатом которого стал «портрет электората, не обладающего почти никакой конкретной информацией о процессе принятия решений в правительстве». «Фактическое участие избирателей в электоральном процессе, по-видимому, сводится едва ли не исключительно к плохо информированному выбору между конкурирующими кандидатами, периодически заявляющими о себе с тем, чтобы получить голоса избирателей на национальных выборах» (Skinner, 1973: 301). Поэтому неудивительно, что результаты такого

Познер (Posner, 2003: 16), например, настаивает на том, чтобы демократия и не стремилась стать чем-то иным, нежели процессом постоянной смены правящих элит.

Выводы Ричарда Познера и других ученых заставляют задуматься о том, является ли определение «демократический» адекватным описанием современных обществ, в особенности ввиду тех сложных проблем, перед которыми они оказались, и типичных вариантов решений, которые очень часто формулируются с помощью понятий высоко специализированного интеллектуального дискурса. Большинство граждан современных обществ не имеют ни доступа к такого рода дискурсам, ни стремления овладеть соответствующими техническими ноу-хау или умением реагировать на них каким-то иным образом, чем «обоснованными суждениями» (т.е. суждениями, погруженными в контекст культурного мировоззрения; см. Kahan, Slovic, Braman, Gastil, 2006).

Предположим, концепция пропасти между знанием и гражданским обществом и ее серьезных последствий для политики верна — что в таком случае можно сделать для демократизации типичного способа обращения с доминантной ролью научных знаний в демократических странах? Усилия по преодолению разрыва между знаниями членов гражданского общества и знаниями экспертов требуют осмысления вопроса о том, кто или что является причиной недостаточных знаний со стороны гражданского общества.

6.9. Что можно сделать?

Если мы соглашаемся с печальным диагнозом растущего разрыва между научными знаниями и знаниями гражданского общества, но при этом недовольны сложившейся ситуацией, возникает вопрос: что в этой ситуации можно сделать? Действительно ли необходимо последовательно сокращать пробелы в знаниях и имеет ли смысл пытаться преодолеть пропасть между современной наукой и ее достижениями и тем, что члены гражданского общества принимают как заслуживающие доверия

рода эмпирических исследований дали повод для критики политической системы США в связи с властью «правлящего класса».

суждения? Наилучшее решение проблемы нарушенного демократического процесса — это, если следовать Филиппу Китчеру (Kitcher, 2011: 122), усиление демократии.

Один из практикуемых способов создания новых отношений между наукой и общественностью — это «Общественное понимание науки» (Public Understanding of Science, PUS) или, если использовать новое название этого проекта, «Вовлечение общественности в научную деятельность» (Public Engagement with Science, PES). Менее масштабные проекты с теми же целевыми установками — это, например, консенсусные конференции, впервые проведенные Датским советом по технологиям (Elam, Bertilson, 2003: 238–243; Blok, 2007). Дискуссия в рамках «Общественного понимания науки», длящаяся уже более тридцати лет, переняла диагноз резкого разрыва между недостаточными научными познаниями большинства населения и стремительным развитием науки и техники, а сам проект оказывает поддержку различным политическим начинаниям, направленным на улучшение знаний граждан и достижение растущего, стабильного участия общественности в политике науки и техники (см., например: Nelkin, 1984; Callon et al, 2009; Durant, 2011)³²².

Впрочем, как правило, речь идет о попытках познакомить общественность с преимуществами определенного понимания научных познаний. Так, например, ставится цель повысить уровень научных знаний (научной грамотности) гражданского общества. Такая цель определяла политику в данной области уже в прошлые годы, когда она проводилась под эгидой популяризации науки, в первую очередь с помощью научно-популярных журналов, знакомящих общественность главным образом с естественнонаучными знаниями (см. Schirrmacher, 2008). Таким образом, обоюдная передача или распространение знаний

³²² В ответ на диагноз отчужденных отношений между наукой, техникой и общественностью некоторым правительствам, в частности, правительству канадской провинции Квебек, удалось при помощи различных инициатив создать «ряд организаций, занимающихся непосредственно коммуникацией в сфере науки, и структур, включая специальные медиа, научные лагеря, музеи, научно-развлекательные организации, просветительские центры и коллективные мероприятия» (Santerre, 2008: 289)..

отсутствовали (ср. Bogner, 2012). В обмене и согласовании между рациональностями повседневной жизни и науки не видели необходимости.

Что касается Китчера (Kitcher, 2011: 122), то он, как и авторы идеи «Общественного понимания науки», предлагает создать гражданские инициативы, которые, «расширяя организованную академическую науку, проверяя процедуры сертификации и анализируя актуальные дебаты, могут расширить свою деятельность, взяв на себя функции контроля и оценки источников технической информации. В той мере, в какой они будут пользоваться общественным доверием, они, со своей стороны, могут оказывать доверие независимым источникам передачи знаний, ликвидируя застарелое невежество и восстанавливая веру в надежное разделение познавательного труда». Предложения Китчера по созданию гражданских инициатив, сопровождающих развитие науки и техники, однако, обременены теми же практическими и политическими трудностями, что и усилия, направленные на реализацию идеи PUS. Кроме того, предложения такого рода часто используют терминологию, от которой ради их же целей следовало бы избавиться.

Другой полюс спектра предложений в отношении преодоления растущего разрыва между экспертами и дилетантами представлен требованием демократизации самого процесса производства научного знания (ср. van Bouwel, 2009). Но как организовать на практике эффективное разделение труда между учеными и дилетантами? Остается неясным, какие виды деятельности должны быть закреплены за той или иной группой и каким образом мотивировать членов гражданского общества к участию в научном процессе, особенно если речь идет о такой сфере исследований, которая не оказывает существенного влияния на их привычный жизненный мир. Предложение демократизировать производство знаний внутри системы науки не приближает проблему преодоления дефицита знаний к практическому решению.

Однако мы должны спросить себя и о том, в чем причина этого «прискорбного» состояния осведомленности о достижениях науки среди широких слоев населения гражданского общества. Типичный ответ, как уже отмечалось выше и как, наверное, можно было ожидать, отнюдь не заключается в обвинении

современной науки или класса экспертов³²³. Если следовать встречающей всеобщее одобрение концепции Уолтера Липпмана или Йозефа Шумпетера, обычные граждане просто — на просто неспособны или не желают получать информацию. В политических вопросах «типичный гражданин», как гласит безрадостный диагноз Шумпетера (Schumpeters, [1942] 1993: 262–263), следует иррациональным стереотипам и импульсам, а ввиду необозримого объема информации, какой бы полной и правдивой она ни была, его невежество сохранится и впредь.

Свои выводы Шумпетер, по всей видимости, основывает на предположении о том, что увеличение объема (рационального) знания и информации среди граждан укрепило бы доверие к политическим решениям и политическому классу или, еще шире, к демократии в целом. Однако не имеет ли здесь место ошибочная оценка ситуации, не только в том, что касается типичного характера научных знаний, но и эффекта, которого можно от этих знаний ожидать? Возможно ли, например, что на практике научные знания имеют обратные последствия, т. е. что с ростом знаний доверие гражданского общества к политике уменьшается (Termeer, Breeman, van Lieshout, Pot, 2010)?

Еще один ответ на вопрос о причинах или, по крайней мере, факторах, обуславливающих «порабощение» общественности, отсылает нас к профессиональной журналистике, которая прислушивается прежде всего к экспертам и дает им слово, причем зачастую без упоминаний культурной обусловленности и спорности высказываний, формулируемых представителями научного

³²³ Один из немногих ученых, обвиняющих в дефиците знаний гражданского общества науку, — Филип Китчер (Kitcher, 2011: 103): «Наши исследования не всегда направлены на вопросы, непосредственно касающиеся большинства населения; результаты, о которых договариваются эксперты, не всегда опираются на основания, которые готова принять широкая общественность, а распространяемая информация настолько извращена, что вместо свободной дискуссии и дебатов имеет место непродуктивная перепалка по принципу "кто кого перекричит"». В этом контексте стоит указать на концепцию «несделанной науки» Фрикеля (Frickel et al., 2010). Среди тем научного исследования, остающихся без внимания научного сообщества, но воспринимаемых как релевантные гражданским обществом, например, проблемы СПИДа или рака груди.

сообщества. Это может в каком-то смысле деморализовать читателей и слушателей, заставить их усомниться в собственных сомнениях, парализовать их в волю, вследствие чего они уже будут не в состоянии приобретать рефлексивные знания и/или использовать их в процессе принятия политических решений, а, значит, утратят способность эффективно участвовать в обсуждении этих решений (см. Carey, 1993: 15; и намного раньше: Lippmann, 1922).

6.10. Современные общества и стратификация знания

Чтобы приблизиться к решению проблемы, анализ пессимистичного нарратива об общественном распределении знания в наше время и о влиянии этого распределения на демократию следует соотнести с теорией современного общества и с наблюдаемыми в нем изменениями в распределении общественной власти внутри крупных институтов, а также между ними. Прежде всего следует обратить внимание на структурные изменения, значимые для проблематики нашего исследования.

Несмотря на то, что и в наше время еще есть домохозяйства, для которых актуален вопрос простого выживания, к таким изменениям относится беспрецедентный в истории общий уровень благосостояния, при котором стремление к спасению души перестало быть главной целью человеческого существования. Рост среднего культурного, социального и экономического капитала во многих странах мира после окончания второй мировой войны не имеет аналогов в истории. Впрочем, увеличение объема культурного капитала еще не гарантирует сближение научного и обыденного знания (примером здесь могут служить исследования в области климата). Также в этой связи важен прогресс науки и техники, изменивший основы и контекст гражданских инициатив. Эти изменения находят отражение в политических действиях. Однако способ, которым граждане переводят свои интересы, мировоззрения и нравственные ценности в политическую практику, не обязательно заключается в прямых или ожидаемых действиях, например, в непосредственном вмешательстве в дебаты о последствиях развития науки или в более активном участии в предвыборной

борьбе и выборах. Приведенные выше размышления о демократии и знании гражданского общества я хотел бы еще раз обобщить в разделе, озаглавленном «Новые риски знания».

6.11. Новые риски знания

Прежде всего я хочу обратить внимание на сильно недооцененный «риск» научно–технического развития, а именно на представление о том, что знание обладает эмансипаторным потенциалом. Само это представление требует определенной смелости, так как в эпоху расколдовывания социальной роли науки³²⁴, отказа от веры «в естественный прогресс в природе и человеческом мире» и утраты «доверия к гуманистическому космополитическому смыслу интеллектуальных и нравственных усилий» (Plessner, [1924] 1985: 77) не так просто помнить об освобождающей способности знания, как ее видели, к примеру, французские просветители. Расколдовывание науки означает отказ от иллюзии, будто она указывает человечеству верный путь к истине и счастью. Впрочем, и в этом контексте проявляется дилемма современных знаний: само расколдовывание прогресса было бы невозможно без научной критики идеи прогресса.

Как показала история, неверными оказались не только прогнозы об усилении этих, казалось бы, могущественных общественных акторов и о необратимом занятии ими монопольного положения в обществе, но и рассуждения об односторонне–репрессивной инструментализации знания в связи с такого рода развитием (или даже в качестве его отправной точки и двигателя). Конечно же, могущественные социальные институты неоднократно и зачастую не жалея средств пытались накопить, инструментализировать и закрепить за собой знания, информацию и технологии. Однако почти всегда результат был таким, что

³²⁴ Так, например, Ульрих Бек (Beck, 1986) убежден, что общественность или, другими словами, неинформированные граждане, утратила доверие к науке и экспертам, так как последние, по всей видимости, не в состоянии контролировать отрицательные и непредвиденные последствия развития науки и технологии (критику см. в: Callon, 1999).

поначалу они действительно чувствовали себя в полной безопасности, а в конечном итоге оказывались среди тех, кто, совершенно неожиданно для себя, последним получал известие о собственном крахе. Власть имущие, безусловно, всегда ценили преимущество в уровне знаний и эксклюзивные возможности использования технологий, однако их значение в качестве инструментов власти часто переоценивают.

Общественная роль знания слишком долго воспринималась с точки зрения подходов, сосредоточенных на государстве, науке и классовой или профессиональной структуре, что неизбежно предполагало ожидание (или предостережение от) грядущей концентрации власти и господства в руках одной из общественных групп. Соотнесение власти и научного знания и одностороннее восприятие общественной роли знания как связующего звена между реализацией власти и процессом познания неудивительно. С точки зрения теории общества, предупреждающей о сосредоточении власти в руках классовой или профессиональной группы, корпораций, политических элит и так далее, и в самом деле имеет смысл делать акцент на, казалось бы, односторонней функции знания как служанки власти.

Таким образом, обращает на себя внимание то, что традиция Просвещения, в рамках которой знание трактовалось как фактор эмансипации, в последующих теоретических размышлениях об общественной роли знания встречается лишь крайне редко. Другими словами, Просвещение «как попытка напрямую связать прогресс истины и историю свободы» (Foucault, [1984] 2005: 699) в дальнейшем только в редких случаях рассматривалось как актуальный философский и политический вопрос.

Поэтому, если, к примеру, Ханс Моргентхау (Morgenthau, 1970: 38) прав, утверждая, что у многих современных людей есть ощущение, что они живут «в мире, напоминающем Вселенную Кафки», «будучи ничтожными существами, отданными на милость бессменных и невидимых сил <...> в мире гигантской фальсификации и лжи», то проект Просвещения вкупе со всеми освобождающими свойствами, которые он приписывал знанию, безусловно, потерпел сокрушительное фиаско и может существовать дальше лишь как мечта или утопия, в настоящий момент,

возможно, еще более далекая от реализации, чем двести лет назад. Даже Карл Поппер (Popper, [1991], 1992: 141), пытаясь соотнести плюсы и минусы научного прогресса для человечества, приходит к неутешительному результату: «Научный прогресс — сам по себе отчасти являющийся следствием идеала самоосвобождения при помощи знания — увеличивает продолжительность нашей жизни и обогащает ее, но при этом именно он заставил нас проживать нашу жизнь в условиях угрозы ядерной войны, и есть основания сомневаться в том, что в итоге он способствовал счастью и удовлетворенности человека своей жизнью». Успехи и достижения, которые все же обычно связывают с ростом научного знания и техническим прогрессом, почти столь же само собой разумеющимся образом связаны с таким пониманием науки, которое сегодня все чаще характеризуют как сциентистский имидж. Здесь имеются в виду не только ситуации, в которых оспариваются или же расширяются границы когнитивного авторитета научных притязаний, с тем, чтобы охватить и те сферы, которые на данный момент, как считается, не входят в компетенцию науки. В данном контексте сциентизм означает, скорее, исключительность, с которой утверждаются определенные представления о том, какие методы разработки и подтверждения достоверности научных высказываний обладают особой ценностью и эффективностью. Так, например, то, что считается «реалистичным» представлением о том, как делается наука, можно было бы воспринимать как сциентистскую концепцию с претензией на универсальность. Интеллектуальная и материальная ценность растущих научных познаний в данном контексте оценивается в прямой зависимости от степени научности той или иной формы знания.

Я же, напротив, настаиваю на том, что такого рода зависимость необязательна. И если такое взаимоотношение имеет место, то объясняется оно случайными факторами. Связь между эмансипацией и приростом знания не зависит исключительно или преимущественно от повышения научности (объективности) научных знаний. Полезность знания — это не всегда вопрос абстрактных стандартов, на основании которых она измеряется. Точно так же нет прямой взаимосвязи между соотносительностью знания, его реалистичности и эмансипации и крепнущей убежденностью

представителей социальных наук, что научные знания конструируются, а не открываются. С другой стороны, эта трактовка функции научного знания не лишена значения. Напротив, демифологизация научного познания, отход от идеала абсолютной рациональности и убежденности в том, что степень, в которой знания соответствуют реальности, как бы автоматически оптимизирует возможности его применения, освобождает взгляд на фактическое производство знания и способствует распространению в обществе представления о науке, избавленного от необходимости постоянной демонстрации лучших результатов. Быть может, вера в научное познание от этого несколько ослабевает, но зато становятся ближе и понятнее научные способы аргументации. Поскольку возможность однозначных, основанных исключительно на научных знаниях решений постепенно сходит на «нет», и в этом смысле они оказываются неприемлемыми, возрастает число лиц и групп, которые могут использовать научные аргументы в своих интересах.

В свете всего вышесказанного, если мы хотим дать реалистичную, лишенную каких-либо иллюзий оценку общественной роли знания, то мы должны принять, что расширение знания в значении возможности действия в целом несет в себе не только необозримые риски и неопределенности³²⁵, о которых нам не без оснований постоянно напоминают критики науки и техники, но и эмансипаторный потенциал для многих индивидов и социальных групп. Основное препятствие на пути к более реалистичной оценке социальной роли знания — это, пожалуй, та самоочевидность, с какой знанию приписывают способность укреплять существующие властные отношения, поскольку «прогресс знания», как может показаться, самым «естественным образом» играет на руку власти имущим, имеет в значительной степени инструментальный характер, с легкостью может быть монополизирован правящим классом и снова и снова успешно выхолащивает или даже полностью уничтожает традиционные формы знания.

³²⁵ Мэри Дуглас и Арон Вилдавски (Douglas, Wildavsky, 1982: 51) писали об этом еще двадцать пять лет назад: «Когда-то являясь источником надежности, сегодня наука и технология стали источником рисков».

Такая слава знания, которой, возможно, отдают предпочтение исключительно власть имущие, а также общий его имидж как имманентно—репрессивного инструмента в целом не являются ни истинными, ни заслуженными. В них недооценивается влияние самых разных (иногда так называемых внешних) факторов на производство знания и сложности, возникающие при пересечении знанием существующих социальных и культурных границ. Однако именно эти сложности и пространства интерпретации открывают перед акторами возможность самим обустроить свою жизнь и влиять на политические решения, вопреки экспертизе, специальному и авторитарному знанию (ср. Wynne, Smith, 1989). Другими словами, уже ввиду необходимости постоянного воспроизводства знания и его усвоения акторами возникает возможность наложить на знание тот или иной отпечаток. Процесс усвоения оставляет следы. В ходе этой, ставшей само собой разумеющейся деятельности акторы приобретают новые когнитивные навыки, развивают существующие способности и в целом повышают эффективность обращения со знанием, благодаря чему они оказываются в состоянии критически анализировать предлагаемые знания и реализовывать новые возможности действия. Каким бы важным ни было формирование противоположного, скептического имиджа научного познания, для его признания широкими слоями общества потребуются, по—видимому, немало времени. Поэтому так важно помнить о социальном распределении знания в современном обществе.

Это распределение не обладает свойствами игры с нулевой суммой. Увеличение суммы общественного знания, например, не влечет за собой линейное повышение уровня знаний, а с высокой долей вероятности ведет к своего рода взрывному, т.е. геометрическому приумножению возможностей действия и, тем самым, к расширению знания многих индивидов и групп. В результате складывается ситуация, в которой, в отличие от прошлого, неограниченный круг акторов контролирует релевантные возможности действия, а множество акторов обществ знания имеют определенное влияние на эти возможности. Это общее расширение общественного разделения знания, впрочем, не означает, что среднестатистические граждане, избиратели, потребители,

пациенты или ученики внезапно начинают остро ощущать, что контексты их повседневных действий стали прозрачными, понятными или даже поддающимися управлению (см. Giddens, 1990: 146). Другими словами, общее расширение возможностей действия не следует понимать как избавление от страха, опасностей, влияния случая и произвола и в целом любых обстоятельств действия, которые отдельный индивид может контролировать лишь в очень незначительной степени. Однако общество, где узкий круг лиц контролирует почти все условия действий, несравнимо с обществом, где широкий круг лиц имеет, по крайней мере, ограниченный контроль над интересующими их условиями действий.

Впрочем, из этих общих размышлений вытекают другие, еще более сложные вопросы. Помимо сомнений в считающемся самоочевидным допущении, что спрос на политические решения, основанные на научных знаниях, растет³²⁶, можно задать наивный вопрос о том, не предусматривает ли демократия право на незнание и не рациональнее ли в вопросах знания в целом вести себя сдержаннее (ср. Downs, [1957] 1968; Olson, 1965), особенно ввиду высоких и постоянно растущих издержек, связанных с приобретением политической информации. Если во многих ситуациях повседневной жизни здравый смысл подсказывает людям подчиниться мнению экспертов, то политическая экспертиза зачастую воспринимается с недоверием. Такое отношение основывается на реалистичном наблюдении, что круг политических экспертов и консультантов очень ограничен и что, если использовать формулировку Иэна Шапиро (Shapiro, 1994: 140–141), «люди,

³²⁶ Одно из менее очевидных объяснений снижения политической активности гражданского общества (в частности, отказа от участия в выборах) — это предположение Стива Рейнера (Rayner, 2003a: 164; 2003b: 5114) о том, что все более активное использование научных знаний в политике, т. е. «вытеснение морального суждения из публичной сферы как-то связано со снижением участия в выборах». Какая разница, кто несет ответственность за решение, если в конечном счете оно принимается исключительно на основании сугубо технических решений? «Если раньше граждане голосовали за тех или иных кандидатов, исходя из того, насколько те соответствуют их собственным ценностям, то сегодня такие решения отошли на второй план, и их стало сложнее принимать» (Rayner, 2003b: 5114). Пиетет перед заключениями ученых усиливает безразличие к политике.

выдающие себя за экспертов в области политики, способны лишь на шарлатанство», и «всегда оказывается, что эксперты отнюдь не беспристрастны, а занимают чью-то сторону, причем необязательно нашу», т.е. их ноу-хау нельзя назвать невосприимчивым к корыстной аргументации³²⁷. Однако такого, принципиально скептического отношения к политической роли экспертов как хранителей специального знания может оказаться недостаточно для гарантированного исключения экспертов и их представлений из сферы политики или для демократизации экспертного знания (Maasen, Weingart, 2004) и политизации научных знаний (Brown, 2009: 185–199). Но что в любом случае необходимо, так это осознание хрупкости или недостаточной устойчивости экспертизы

6.12. Хрупкость экспертизы

К названным выше общесоциальным изменениям добавляется постепенная корректировка господствующего нарратива о роли научных знаний в политике и обществе. Пока в соответствующей дискуссии по-прежнему доминируют ученые, журналисты-популяризаторы науки и интересующиеся наукой непрофессионалы, но, несмотря на это, все чаще звучат критические замечания и сомнения, не в последнюю очередь под влиянием усилий представителей социальных наук, которые открыли нам новый взгляд на производство научных знаний и отношения между наукой и обществом. Вот некоторые из возникающих в этой связи вопросов: является ли специальное знание автономным и могут ли научные познания принести непосредственную пользу, например, предоставив сведения, способные разрешить политические споры? Надежде на то, что наука станет главным способом разрешения повседневных и политических проблем, противостоит для многих ставшее уже само собой разумеющимся представление о том, что специальное знание спорно и что разные объединения экспертов и специалистов придерживаются разных взглядов

³²⁷ Стив Фуллер (Fuller, 1988, 1994) относится к числу социологов, которые с некоторого времени скептически относятся к экспертному знанию и требуют справедливых, равных предпосылок для экспертов и дилетантов.

(ср. Grundmann, Stehr, 2010), по-разному интерпретируют опытные данные (ср. Barnes, 1995: 104) и в любой момент могут оказаться в ситуации спора и конфликта.

Как я уже писал в связи с различными конкретными вопросами, которые в настоящий момент встают перед демократическими странами, а также в связи с формальными аспектами демократических процессов, сомнения в отношении демократической формы правления не являются чем-то новым даже среди сторонников демократии: существуют и другие оправдания для «власти большего знания» со стороны экспертов и верности решений, основанных на знании «более высокого уровня». Они могут касаться, например, определенного понимания роли государства как условия возможности рациональной и эффективной функциональной дифференциации социальных систем. Один из отцов классической социологии Эмиль Дюркгейм (Durkheim, [1957] 1991: 132–133) так выражает эту убежденность в соответствующей роли государства и форм знаний, поддерживающих ее: «У государства нет задачи обобщать и выражать нерелексифируемые идеи масс; скорее, оно призвано добавить к этому нерелексифирующему мышлению более релексифируемое, которое по этой причине, разумеется, неизбежно будет отличаться от первого. Государство есть и должно быть источником новых и оригинальных идей, дающих обществу возможность существовать более разумно, чем оно делает это, руководствуясь лишь теми неясными чувствами, что в нем бродят».

Несколько «разгрузив» эту цитату, в итоге мы получим утверждение, что невозможно и не следует пренебрегать различием между знанием экспертов и неспециалистов, поскольку реальность такова, что действительно существуют люди, информированные лучше и знающие больше других. Размышляя об эффективности политических решений, особенно в условиях необходимости скорейших действий, важно различать эти две группы акторов и прислушиваться к советам экспертам. Все мы хотим покупать полезное мясо (а не протухшее или накаченное антибиотиками) или эко-яйца, при этом не принимая на себя обязанностей контроллера продуктов питания.

Если следовать зачастую принимаемому за стандарт представлению об общественной функции научного познания, то его

результаты можно применить напрямую, без каких-либо сложностей и ограничений. Поток знаний течет в направлении от экспертов к неспециалистам. Наука доносит свои знания до власти и гражданского общества. Научные и технологические феномены не вызывают никаких опасений с политической или моральной точки зрения, так как свободны от моральных и политических воззрений. Но так ли это?

Авторы эмпирически более точного описания процессов взаимодействия между наукой, экспертами и гражданским обществом в гораздо меньшей степени поражаются практическим успехам или автоматической социальной власти науки. Как показали экспериментальные исследования Дэна Кахана и его коллег (Kahan et al., 2011), на практике общественность демонстрирует прямо противоположную реакцию на научные знания, в отношении которых в научном сообществе царит единодушие (например, по теме антропогенного потепления климата), а именно явное недоверие, которое можно объяснить лишь тем фактом, что общественная оценка научной коммуникации сильно отягощена уже существующими, специфическими для данной культуры ценностными установками. Эти ценностные представления действуют как своего рода «эффективные» фильтры: они подтверждают или подрывают авторитет экспертов. Независимо, насколько настойчиво эксперты указывают на токсичность определенных веществ, содержащихся в продуктах питания, — пока существуют в культуре соответствующие релевантные убеждения, эти сообщения остаются без внимания. Сертификация науки в качестве надежного или, наоборот, ненадежного источника знания происходит не в некоем когнитивно-эмоциональном вакууме, а зависит от суждений и стереотипов. Ответ на вопрос о критериях, используемых в процессе принятия решения осведомленными и менее осведомленными гражданами, гласит, что хорошо информированные читатели, избиратели, ученики способны размышлять о более длинных цепочках последствий политических действий, однако в конце их размышлений, когда уже речь идет о непосредственном сравнении альтернатив и оценке последствий тех или иных решений, все равно важную или даже решающую роль играют определенные ценности или политические идеологии. Поэтому имеет

смысл говорить о хрупком балансе между автономией и зависимостью, определяющем роль науки в современном обществе.

Прекращение тесного интеллектуально–духовного взаимодействия между учеными и общественностью вполне может сопровождаться диффузной поддержкой науки, а также поддержкой правовых и политических мер по контролю последствий применения науки и техники со стороны гражданского общества. Впрочем, в другом отношении эта утрата когнитивного контакта не имеет значения для практической жизни, а именно в том случае, если под «контактом» понимать тесную когнитивную близость как условие участия в процессе принятия решений, в котором определенную роль играют научные и технологические знания (см., впрочем: Caron–Finterman, Broerse, Bunders, 2007). Такое условие не имеет практически никакого значения, поскольку подразумевает требования участия общественности в текущей работе ученых.

Чтобы приблизиться к прагматичной и реалистичной оценке роли экспертизы в гражданском обществе, необходимо учитывать релевантные контексты и темы, противоречащие данной экспертизе. Кроме того, реальность такова, что не всякая тема, обсуждаемая широкой общественностью, может стать предметом партиципативного демократического обсуждения. Реалистичный ключ к пониманию роли знания и демократии в современном обществе не может заключаться в каком–то одном общем «решении», а всегда варьируется от случая к случаю. Каждый новый политический спор порождает новую общественность.

Если ставить вопрос о роли экспертизы в современных обществах в таком контексте, очевидно, что асимметрия в уровне знаний гражданского общества и экспертов не представляет собой непреодолимого препятствия, которое бы не позволяло усомниться в заключениях экспертов в определенных социальных ситуациях, например, в случае политических или правовых споров. Как показывают эмпирические исследования (классический пример — работа Дороти Нелькин (Nelkin, 1975), чтобы поставить под сомнение экспертное знание в данном контексте, соотношение объемов знания не должно быть симметричным. Предполагаемое бессилие гражданского общества не предопределено раз и навсегда. Отношения между научными и профессиональными

знаниями и общественностью следуют трактовать не как ряд фиксированных, необратимых событий или как абсолютно преодолимое различие, а как возможности и ситуации, в которых сталкиваются различные культурные идентичности и идеологические воззрения, например, в самом общем виде в отношении оценки общественной пользы от современной науки и технологии.

Свой диагноз по поводу отношений между спорными научными знаниями и общественной / политической властью я хотел бы наглядно продемонстрировать на примере проблематики изменения климата. Когда мы на практике сталкиваемся с коварными проблемами (*wicked problems*), т. е. с проблемами, охватывающими открытые, комплексные и недостаточно изученные системы (а изменение климата как раз и есть одна из таких коварных проблем), мы не можем вывести конкретные указания к действию напрямую из научных знаний. Это касается, например, и геонаук. Геонауки могут разработать сценарии ситуаций, угрожающих сейсмически опасным регионам, однако определить на основании этих сценариев риски, с которыми общество готово мириться в случае строительства атомной электростанции, невозможно³²⁸.

Изменение климата следует рассматривать не как отдельно стоящую проблему, ожидающую своего решения, а как перманентную проблемную ситуацию, с которой нужно и можно — лучше или хуже — как-то жить. Это лишь часть более широкого контекста такого рода проблемных ситуаций, к которым, среди прочего, относятся демографические и технологические проблемы, неравномерное распределение богатства, использование природных ресурсов. В этом смысле изменение климата нельзя назвать и исключительно «экологической» проблемой, ибо оно связано также с проблемой энергетики, экономического развития и землепользования, и такой подход к изменению климата может оказаться более перспективным, чем восприятие его как задачи взять под контроль трансформацию климата и земного ландшафта за счет изменений в использовании энергетических ресурсов.

³²⁸ В своей аргументации я опираюсь на доклад группы «Hartwell Paper» (Prins et al., 2010), где более подробно изложены релевантные научно-теоретические вопросы.

Коварство подобных проблем связано с невозможностью их однозначной формулировки: информация, необходимая для их понимания, зависит от того, как участники дискуссии представляют себе их решение. Кроме того, в отношении «коварных проблем» не существует правила, определяющего конец поисков: мы не можем знать, поняли ли мы достаточно для того, чтобы прекратить дальнейшие усилия. Во взаимодействующих открытых системах, лучшим примером которых может служить климат, цепочки причинно-следственных связей бесконечны. Поэтому любая «коварная проблема» может восприниматься как симптом другой проблемы. Практический вывод для политики из этой идеи заключается в том, что комплексные цели лучше всего достигаются в случае непрямого подхода (см. Kay, 2010).

Однако у политиков такие методы вызывают только фрустрацию. Поэтому на коварные проблемы они часто реагируют объявлением «войны», надеясь поскорее расправиться с ними и перейти к остальной повестке дня. На самом деле любое «объявление войны», понимаемое не буквально, а, скорее, метафорически, — это верный признак того, что в данном случае мы имеем дело с «коварной» проблемой. Так, мы являемся свидетелями борьбы с онкологическими заболеваниями, с бедностью, наркотиками, терроризмом и с изменением климата (см. Prins et al., 2010).

Зачастую подобные объявления войны сначала «встряхивают» общественность, однако по мере того, как коварные проблемы ускользают от решения, интерес к ним вскоре угасает. Как можно судить по результатам недавних опросов, прежде сильный общественный интерес к проблемам климата во многих развитых странах падает по мере того, как выясняется, что эту проблему так же сложно «решить», как, например, проблему бедности, и люди снова возвращаются к тем вопросам, которые кажутся им более актуальными, в частности, к проблемам экономики.

В эпоху, когда все громче звучат требования осознанной политики в области знаний (Stehr, 2003), ввиду различных обоснований и все более активных усилий со стороны политиков, направленных на регулирование новых научных и технических познаний, а также ввиду готовности общественности поддерживать требования такого рода, вместо того чтобы с восторгом принимать любую

новую форму знаний и любой новый технический артефакт, безусловно, верно, что общественность не просто невосприимчива к новым познаниям, а с осторожностью и сомнением размышляет о потенциальных последствиях реализации новых возможностей действия. Инновации, основанные на научных знаниях и технологиях, оцениваются гражданским обществом на основании существующих в нем мировоззрений, ценностей, предпочтений и убеждений, независимо от недостатка научно-технических знаний. Показательный пример — исследования стволовых клеток, медицинская генетика или генно-модифицированная кукуруза. Если говорить в общем, то меняются правила политической игры. В контексте политики знания и публичного дискурса об общественной легитимации инновационных форм действия это ведет к установлению нового властного баланса между наукой и гражданским обществом с ростом влияния и власти последнего.

Если бы члены гражданского общества не демонстрировали определенную степень безличного доверия к экспертам, то эксперты исчезли бы как институт. Условие «разумного» доверия, как пишет Онара О'Нейл (O'Neill, 2002:64), — это не только «информация о предложениях и мерах, продвигаемых другими», но и «информация о тех, кто их продвигает». Кроме того, эксперты сегодня постоянно оказываются вовлечены в споры всех видов и сортов. Растущее политическое поле, в котором устанавливаются верхние пределы содержания определенных веществ в продуктах питания, задаются стандарты безопасности и контролируются риски, в качестве побочного эффекта подрывало авторитет экспертов. До тех пор, пока публично обсуждаемые вопросы вызывают противоречивые мнения, влияние экспертов (и их противников также из числа экспертов) остается ограниченным. Однако как только решение принято и реализовано на практике, эксперты отвоевывают какую-то часть своего авторитета обратно.

В следующем разделе я хотел бы более подробно рассмотреть тезис о том, что знание как возможность действия играет важную роль (в частности, для сопротивления, которое слабые слои общества могут оказать контролирующему государству) и выполняют важнейшую функцию не только в отношении подавления оппозиции или поддержки и укрепления статус-кво в социальном,

политическом и экономическом аспекте. Критическое описание возможностей «слабых» в том, что касается реализации политической власти при помощи научных знаний, однако, предполагает понимание того, что дополнительные способности к действию необязательно черпаются исключительно в системе науки.

6.13. Знание как оружие «слабых»

Большая часть политической жизни подчиненных групп заключается не в открытом коллективном неповиновении власти предрержащим и не в абсолютном подчинении власти, а разворачивается внутри огромного пространства между этих двух полюсов.

Джеймс Скотт (Scott, 1990: 136)

Исследовательские интересы Джеймса Скотта охватывают в том числе и проблематику политического сопротивления слабым, и потому его голос звучит неожиданно и свежо в монотонном хоре тех ученых, которых не волнует тема возможности сопротивления, казалось бы, беспомощных групп населения тем, кто обладает властью в обществе. Обычно в размышлениях о политических процессах в современных обществах теоретические и эмпирические акценты расставляются таким образом, что нельзя не заметить настоящей зачарованности исследователей безграничной властью власть имущих и способностью элит достигать консенсуса (Converse, 2006), подавлять оппозицию и, самое главное, монополизировать старые и новые знания³²⁹. Один из наиболее частых диагнозов в связи с безвластием слабых — это,

³²⁹ Исходя из действительно нуждающегося в объяснении факта, что подчиненные, например, в трудовой деятельности, зачастую воспринимают свое угнетение и угнетателей как легитимных (см., например: Clegg, 1989: 220), представители социальных наук в послевоенный период потратили неоправданно много времени, пытаясь объяснить недостаточное сопротивление тех, кто лишен власти (Bugawo, 1979, 1985). Коллинсон (Collinson, 1994: 164) полагает, что вместо этого ученым следовало бы «гораздо подробнее изучить условия, процессы и последствия сопротивления на рабочем месте».

разумеется, «невежество», на котором основывается господство власть имущих (см., например: Clegg, 1989: 212).

Но каковы именно общественные условия, являющиеся причиной того, что, например, социальные движения время от времени достигают успеха в своих попытках ограничить власть господствующего слоя, основанную на превосходстве в знаниях? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо прежде всего рассмотреть особенности структуры и культуры современного общества, понимая, что производство нового, общественно релевантного потенциала действия имеет место не только внутри науки. К этому комплексу вопросов я и хотел бы теперь обратиться.

Один из надежных показателей власти знания — это страх диктаторов и авторитарных политических режимов перед диссидентами. При этом страх власть имущим внушает не столько фактическое поведение диссидентов, сколько их знание и, возможно, неудержимо распространяющееся (например, через неформальные социальные связи, которые сложно контролировать)³³⁰ понимание того, что культурная, экономическая и политическая жизнь может быть организована по-другому. Впрочем, если прислушаться к отрезвляющему описанию распределения когнитивных способностей в современных обществах, которое дает Роберт К. Мертон (Merton, 1966: 1056; см. также Collins, Evans, 2007; Miller, 2001: 118), то приходится согласиться с его утверждением, что не все люди «в равной мере способны осуществлять демократическое управление. Люди различаются по своим способностям, по приобретенным навыкам и по уровню знания». В этом случае не остается особых надежд на то, что знания могут стать оружием слабых или новых социальных движений. Таким образом, авторы наиболее известных описаний и теорий способности к эффективному демократическому участию, которые в то же время уделяют внимание отношениям между знанием и властью, склонны

³³⁰ Джеффри Беккер (Becker, 2012: 1398) исследовал социальные условия возможности сопротивления рабочих в современном Китае. Он пришел к выводу, что «неформальные социальные связи дают рабочим в авторитарных государствах возможность протестовать против эксплуатации, несмотря на ограничения со стороны официальных организаций».

констатировать существование пропасти между теми людьми и коллективами, кому принадлежит и власть, и знание, и теми, кто не обладает ни общественно–политической властью, ни релевантными познаниями.

Ярчайший пример теории симбиоза знания и власти — это теория власти научного знания Мишеля Фуко, которую я уже рассматривал более подробно, а здесь хотел бы еще раз кратко проанализировать в критическом ключе. Взгляды Фуко, по крайней мере, в отношении теоретически постулируемых общественных последствий, совпадают с мнением других видных ученых. В описании Фуко обычные граждане предстают жертвами научного знания. В своем эссе об идеях Просвещения Фуко (Foucault, [1984] 2005: 48; ср. также Horkheimer, Adorno, 1982: xiii) формулирует ключевую, по его мнению, дилемму этой эпохи. Для Фуко (Foucault, [1984] 2005: 705) главный вопрос заключается в том, как можно (и можно ли вообще) ослабить тесную и парадоксальную связь³³¹ между «возрастающими способностями» (прежде всего техническими) и «усиливающимися властными отношениями»³³². Другими словами, есть опасность, что порождаемые наукой растущие

³³¹ Несмотря на то, что меня интересует главным образом общественная роль знания, необходимо подчеркнуть, что определенные институциональные структуры и условия действия (в значении принуждения к нему) могут ограничивать потенциальную сопряженность возможностей действия и комплексного участия широких слоев населения в принятии политических решений, в частности, в сфере власти технологий. В этой связи Джеймс Боман (Bohman, 2007: 716) подчеркивает: «Не разделяя разум и власть, рост возможностей не является саморазрушающей силой до тех пор, пока демократический потенциал граждан имеет адекватное институциональное воплощение».

³³² Фуко объясняет «парадокс отношений между способностью и властью» тем, что «на протяжении всей истории западных обществ <...> ее неотъемлемыми составляющими были процесс приобретения способностей и борьба за свободу. Можно увидеть, какие формы властных отношений утверждались благодаря различными технологиям (будь то производство в экономических целях, учреждения с целью социального регулирования или коммуникационные технологии). Примером здесь могут служить как коллективные, так и индивидуальные техники дисциплинирования и нормирования, применяемые от имени государственной власти, во имя общественного блага или в интересах отдельных регионов».

технические возможности действия сегодня, как и прежде, служат в первую очередь тем, кто уже обладает властью.

Меня, впрочем, пессимистичная микрофизика власти, как она представлена в работах Фуко, не убеждает. В целом индивидов Фуко описывает как субъектов, производящих знание. С этим общим тезисом я согласен. Как известно, в своих генеalogиях Фуко описывает процесс односторонней коррекции индивида со стороны научных дисциплин, таких как пенеология, психоанализ и тому подобное и огромную власть регламентации и измерения, которая присуща важнейшим социальным институтам. Тезис Фуко об «исчезновении субъекта», насколько я могу судить, основан на представлении о том, что как используемое соответствующими инстанциями знание, так и сами эти инстанции обладают огромной властью. В своих наблюдениях Фуко упускает из виду вполне реалистичную возможность того, что знание крупных общественных институтов, таких как государство, может иметь «доброкачественные», с точки зрения гражданского общества, последствия и служить нравственным целям (ср. Scott, 1998: 77, 339–340).

По мнению Фуко (Foucault, [1973] 2000: 86–87), капитализм гораздо глубже проникает в основы нашего существования, чем это признает марксизм. Власть делает возможным процесс познания и форсирует его. То, что Фуко обозначает термином «инфравласть», представляет собой «всю совокупность микровластей, микроинститутов, расположенных на низшем уровне, <...> работающих над и вне производственных отношений <...> Власть и знания, таким образом, глубоко укоренены — это не просто надстройка над производственными отношениями». Тезис Фуко о невероятной власти научных знаний и об их типичном положении в обществе не допускает никакого другого вывода, кроме того, что научные знания вряд ли когда-нибудь могут стать оружием слабых.

Согласно Фуко, общественная роль знания (как он описывает ее, например, в «Археологии знания», — это анонимный дискурс, контролирующий бесправного и беспомощного индивида³³³.

³³³ Утверждение Фуко о родстве власти и знания напоминает тезис о том, что увеличение объема коллективного человеческого капитала хотя и «по-

Фуко явно недооценивает возможности влияния на знания и их крайнюю уязвимость, равно как и способность индивидов и организаций гражданского общества применять (произведенное другими) знание или генерировать собственные способности к действию с тем, чтобы оказать сопротивление и ограничить подавление, которое может исходить от важнейших социальных институтов современного общества³³⁴.

Страх того, что лишенные власти индивиды приобретут знания и смогут применить его в борьбе против правящих элит, провоцирует бесконечные попытки власть предержащих монополизировать инструменты передачи знания или каким-то другим образом утаить знание, регламентировать автономию институтов, производящих знания, и доступ к ним, ограничить общественную дискуссию и ввести цензуру, а также строжайшим образом контролировать распространение знаний, например, контролируя право собственности на знания или добившись централизации средств коммуникации. В современном мире эти усилия осложняются многими факторами, и не только потому, что в связи с распространением знания изменилась социальная структура общества, но и ввиду совокупности новых средств коммуникации, преодолевающих границы и обходящих цензуру, более свободного хождения знания и информации и возросшего значения знания как одной из главных предпосылок возможности экономического роста в современном мире.

Интернет, как я уже писал более подробно выше, не только способствует (причем в настоящий момент нельзя однозначно сказать, в какой мере) мобилизации и распространению знания среди

вышает способность людей сопротивляться угнетателям», однако в то же время повышает и «выгоду, которую извлекает для себя из угнетения подчиненных господствующая группа» (Barro, 1999: 159).

³³⁴ Фуко (Foucault, 2008: 104) видит властный потенциал человеческого действия, проявляющийся в дискурсивном сопротивлении: «Дискурс пропускает через себя и производит власть, он ее усиливает, но также подтачивает, выставляет напоказ, делает хрупкой, позволяет ее перечеркнуть». Но гораздо типичнее, по его мнению, невидимая власть. Его анализ дискурсивного сопротивления, его основы, потенциала и производительности, неубедителен (ср. также Giddens, 1984: 157).

слабых³³⁵, но и создает пространство возможностей для контроля над властью имущими со стороны слабых (см. Rosanvallon, [2006] 2008: 70). Если использовать теоретический понятийный аппарат, разработанный Альбертом Хиршманом (Hirschman, 1970), то Фуко в своем анализе оставляет без внимания как процессы противоречия (voice, т.е. протест, критику, выражение собственного мнения), так и возможность ухода (exit, выхода, разрыва отношений), представляющие собой важные модальности политического участия, причем прежде всего в тех обществах, где существует обширная публичная сфера и возникают новые возможности социального взаимодействия. Пьер Розанваллон (Rosanvallon, 2006: 221) резюмирует это описание меняющегося общественного устройства демократических стран, подчеркивая, что демократические общества — а, возможно, даже и тоталитарные политические режимы — «выхолащиваются» в том случае, если они существенно расширяют возможности граждан устанавливать связь с институтами и между собой. В то же время это может означать лишь, что, по крайней мере, для демократических режимов не характерна сильная концентрация власти, опирающаяся на сосредоточение общественно значимых специальных знаний в руках элиты.

Еще одно наблюдение на тему значения знания слабых касается роли социальных движений в современных обществах, причем не только по причине мобилизации (произведенных другими) знаний в ситуации политического конфликта, но и в связи с производством знаний самими социальными движениями. Появившаяся за последние несколько десятилетий социально-научная литература, посвященная интересующим нас вопросам взаимосвязи знания и эмансипации слабых, состоит из эмпирических исследований общественного статуса новых социальных движений, «когнитивной мобилизации» индивидов и малых групп

³³⁵ Если я верно интерпретирую важный для данного контекста тезис Мануэля Кастельса (Castells, 2009: 47), то, по его мнению, властные процессы, использующие новые технические возможности, направляются логикой, которая может как породить, так и подорвать властные структуры; это, в свою очередь, означает, что «сопротивление власти достигается теми же двумя механизмами, что формируют власть в сетевом обществе: программами сетей и переключениями между сетями».

в современном обществе и форм и ресурсов сопротивления в трудовой сфере (Collinson, 1994).

В последнее время в сферу интересов ученых, занимающихся проблематикой науки, технологии и общества (STS — Science, Technology & Society), попали и социальные движения. Так, технология и те движения, которые ориентированы на конкретный продукт и, как правило, поддерживают контакт с частными фирмами, ставят своей целью развитие и распространение альтернативных технологий и продуктов. В отличие от уже изученных новых социальных движений, их деятельность в меньшей мере связана с «политикой протеста и в большей — с формированием и распространением альтернативных форм материальной культуры» (Hess, 2005: 516). Результаты соответствующих исследований в любом случае заслуживают внимания и критического анализа.

Для социальных движений нет какого-то одного, признаваемого всеми определения, хотя появились они не сегодня. Как и в случае классификации других явлений, в отношении социальных движений можно назвать несколько признаков или примеров, которые многими наблюдателями признаются как характерные или идеально-типические. Другие примеры или свойства, напротив, вызывают, казалось бы, неразрешимые споры. Если следовать авторам, использующим понятие новых социальных движений (см., например: Touraine, 1977; McCarthy, Zald, 1977), то они характерны для высокоразвитых стран.

Социальные движения, структурно расположенные между уровнем повседневной частной жизни и уровнем крупных общественных институтов, отличаются от социальных классов и поколений, но в то же время имеют определенное сходство с ними. Классовое положение — это «объективный» факт; невозможно неким сознательным волевым актом выйти из своего класса. Классовое сознание, впрочем, необязательно вытекает из классового положения. Поколение, как подчеркивает Карл Мангейм (Mannheim, [1928] 1964) в своем классическом эссе по данной проблематике, — это прежде всего вопрос биологического ритма жизни и смерти. В то же время существование поколений указывает на схожую историческую ситуацию и сопоставимый жизненный путь возрастных когорт. Поколения отражают стратификацию

общественного опыта. Общественные трансформации, в свою очередь, служат предпосылкой для формирования стратифицированного опыта, а скорость этих трансформаций определяет его структуру. Социальные связи и социальная сплоченность представителей разных социальных классов и поколений, как правило, отличаются низкой интенсивностью. Это касается в особенности эмоциональных отношений. Поэтому социальные движения, по аналогии с понятием класса и поколения, могут трактоваться как организованная деятельность, обязанная своим формированием и существованием ускоренным общественным трансформациям. Членство в них временное, а отношения между членами хотя и не столь тесные, но, как правило, отличаются более высокой степенью эмоциональной привязанности. Социальные движения преследуют более или менее однозначно определенные, но спорные цели и имеют своей задачей преодоление общественного статус-кво.

Меня социальные движения в современных обществах интересуют постольку, поскольку они отражают развивающиеся и все более значимые отношения между знанием и эмансипацией слабых. Таким образом, я обращаю особое внимание на трансформационные последствия, которые имеют для общества в целом и для отдельных индивидов возросшие возможности участия, расширение репертуара конфликтного поведения, создание новых площадок для общественных дискуссий и легитимация решения конфликтов (ср. Tilly, 1995: 41), а также на связанное с этим расширение возможностей успешно противостоять крупным институтам. В этом смысле социальные движения указывают на структурные и культурные явления; они показывают не только то, «что делают люди, когда они вовлечены в конфликт с другими людьми, но и что они знают о различных способах действий и каких действий ожидают от них другие» (Tarrow, 1998: 30).

Оппозиция и протест в современных обществах заявляют о себе не только в исключительных или чрезвычайных ситуациях, как это имело место во время «арабской весны» в странах Ближнего Востока, т. е. в форме революций, восстаний или уличных противостояний. В социальных движениях решительный протест сочетается с конструктивными намерениями, меняющими политическую культуру общества. Социальные движения — это

трансляторы и усилители эффективного применения знаний. Их новизна заключается в особом значении и объеме когнитивной активности. Имеющиеся информационные ресурсы социального движения представляют собой важную часть их дееспособности, их притязаний на легитимность, их стратифицированной эффективности и влияния в контексте политических ситуаций, в которых польза от определенных форм знания имеет решающее значение, поскольку они влияют на политиков, широкие слои гражданского общества и политические и экономические решения и мобилизуют общественную поддержку.

Рон Эйерман и Эндрю Джеймисон в своей работе также подчеркивают значение интеллектуальных практик в социальных отношениях. При этом они используют понятие «когнитивная практика», очевидно, по аналогии с классическим понятием классового сознания. Понятие когнитивной практики социального движения как конкретной группы включает в себя определенное мировоззрение или (что отличает это новое понятие) сознание участников движения, которое, в свою очередь, охватывает общие убеждения членов движения, их специфические стереотипы, практики и цели, формирующие идентичность данного конкретного движения (Eyerman, Jamison, 1991: 3)³³⁶. Подход Эйермана и Джеймисона, однако, неконкретен, когда речь заходит о формах знания, используемых социальными движениями как ресурс. Авторы игнорируют вопрос о том, является ли использование научных и технических или гибридных познаний или знаний, производимых ими самими, главной отличительной чертой новых социальных движений³³⁷.

³³⁶ Социальные движения могут трактоваться не только как формы социальной организации или как социальные объединения людей, использующих знания в стратегических целях, а именно для мобилизации коллективных действий (см. Oliver, Marwell, 1992: 255–257), но и как такие организационные единицы, которые стремятся на общественном уровне реализовать свои «познавательные интересы» или свое понимание определенных проблемных ситуаций. Поэтому неудивительно, что растущий успех социальных движений ставит под угрозу их существование (ср. Eyerman, Jamison, 1991: 4).

³³⁷ Как ни парадоксально, в рамках данного теоретического проекта основной интерес в процессе изучения роли научного знания в социальных

Каса–Кортес, Остервейл и Пауэлл (Casas–Cortés, Osterwell, Powell, 2008: 19–20), напротив, в целом ряде сравнительных междо-национальных кейс–стади разработали идею (локальных) практик знания (knowledge practices), реализуемых социальными движениями³³⁸. Если говорить более конкретно, то имеются в виду

движениях направлен на функциональный аспект, что находит выражение в тезисе о том, что «научное знание напрямую зависит от социальных движений по разным основаниям». Так, например, считается, что интеллектуальное влияние социальных движений на производство знаний в системе науки заслуживает особого внимания (см. Eyerman, Jamison, 1991: 54). Теория мобилизации ресурсов (Zald, McCarthy, 1987; Morris, McClurg Mueller, 1992) представляет собой альтернативный подход, а именно анализ социальных движений с учетом таких ключевых ресурсов, как деньги, труд и легитимность. Данная теория работает в рамках индивидуалистического подхода и опирается на допущение о том, что действующие субъекты присоединяются к такого рода организациям и поддерживают их из рациональных (инструментальных) соображений. В этом же ключе данная теория делает акцент на исключительно инструментальном использовании знаний в качестве средства реализации целей социальных движений. Интересы к роли идей и идеологий сторонники данного подхода не проявляют. Как предполагают Сноу и Бенфорд (Snow und Benford, 1992: 135), это отсутствие интереса объясняется убежденностью в том, что идеологические аспекты, по сравнению с другими факторами, являются неизменной составляющей социальных движений и вследствие данного факта не представляют интереса для научного анализа. Это касается также попыток при анализе социальных движений работать с синтезом из теорий мобильности ресурсов и определенных когнитивных теоретических подходов; так, например, Дайэни (Diani, 1996) не делает акцента на особой роли и практической эффективности символических систем в новых социальных движениях. Кресс и Сноу (Cress, Snow, 1996) провели эмпирическое исследование значение «информационных ресурсов» («знаний и информационного капитала, релевантных для сохранения и мобилизации организаций», которые точнее было бы назвать «ноу–хау») в социальных движениях, занимающихся поддержкой бездомных. В результате они пришли к выводу, что информация, наряду с лидерскими качествами руководителей и регулярным местом для встреч, относится к важнейшим ресурсам социальной организации такого рода.

³³⁸ В одном из определений практик знания авторы указывают на множество возможностей действия, обозначаемых данным родовым понятием: «Практики знания простираются от тех вещей, которые мы привыкли определять как знание, в частности, исследовательские практики и критика, которая задействует, приумножает и иногда ставит под сомнение

«споры, охватывающие жаркие дебаты в сети и в печати вокруг характера и значения итальянского движения противников глобализации *movimento no global*, в ходе которых определяются новые формы ситуативного и рефлексивного теоретического производства; часы, потраченные на разработку стратегий мгновенного реагирования на семинарах Объединенных книжных магазинов в Чикаго, где разрабатываются теории воплощенной демократии; и палаточные конференции на территории коренных американцев, когда знания аборигенов дополняют научные знания экологов».

Речь идет о социальных контекстах, в которых находит отражение собственное производство, реконструкция и распространение практических знаний, т. е. таких знаний, которые тесно связаны с теми или иными локальными социальными практиками, но не всегда обходятся без адаптивного использования результатов научных исследований³³⁹. В то же самое время Каса–Кортес, Остервейл и Пауэлл (Casa–Cortés, Osterweil, Powell, 2008: 20) подчеркивают политическое значение практик знания в рамках социальных движений, а также в целом для того общества, в котором они действуют.

Разумеется, существует целый ряд общественных институтов и обстоятельств, ограничивающих свободную циркуляцию,

знание ученых или политических экспертов, до микрополитических и культурных вмешательств, в большей степени связанных с "ноу-хау" или "когнитивной практикой, информирующей любую социальную активность" и конкурирующей с большинством базовых социальных институтов, которые, в свою очередь, учат нас, как жить в этом мире».

³³⁹ Так, например, Каса–Кортес, Остервейл и Пауэлл (Casa–Cortés, Osterweil, Powell, 2008: 32) указывают на понятие «энергетической справедливости». Данное понятие возникает из «соединения различных эпистемологических практик: "западной" и "природной" науки и технологии, экономики, автохтонной эпистемологии и живого опыта членов соответствующих сообществ. Научное знание, таким образом, не отвергается полностью, а задействуется и переплетается с традиционным знанием и технологиями с целью создания прецедента альтернативных подходов к производству энергии и, более широко, с целью анализа существующих условий экономического и прочего неравенства среди сообществ коренного населения. Таким образом, "энергетическая справедливость" может рассматриваться не только как нормативная концепция, но и как требование изменить традиционное мышление о производстве и потреблении электрической и атомной энергии в истории США».

распределение и доступ к знаниям и информации. В следующем разделе я рассмотрю одно из таких ограничений распространения научных знаний³⁴⁰.

6.14. Совместимы ли демократия и знание как собственность?

Более века назад Джон Пауэлл, пионер в области геонаук, на одном из слушаний в Конгрессе США обратил внимание на одно из удивительных свойств знания: «Владение собственностью эксклюзивно, владение знаниями — нет». Впрочем, вопреки тезису Пауэлла, некоторые формы знания также эксклюзивны и становятся частной собственностью по причине правовых ограничений, таких как патенты или авторское право.

Вопрос о том, как трактовать знание — как общее или как частное благо, имеет множество важных измерений и последствий. Так, например, дополнительное (инкрементальное) или новое знание охраняется в первую очередь. В контексте экономических и научных систем это ведет к серьезной дилемме. Прирост знания основывается на знании, и если знание охраняется, то это препятствует его приросту. Если же оно не охраняется, то, как утверждают экономисты, исчезает стимул вкладывать средства в новое знание; монопольные права, по их мнению, существенным образом способствуют развитию знаний и изобретений.

В отличие от дополнительного знания, общий фонд обыденного и рутинного знания ни с чем не конкурирует и никого не исключает, т.е. данный тип знания вполне может считаться общим благом.

Научные познания образуют одну из важнейших предпосылок возможности модернизации в значении постоянного расширения и увеличения социального и экономического потенциала действий, который в современном обществе производится наукой, а не какой-либо социальной системой.

³⁴⁰ Свободной и беспрепятственной циркуляции знания и информации препятствуют не только правовые ограничения, но также языковые особенности, местные практики и уже существующие знания и информация (ср. Edwards et al., 2011: 1398).

Спорный вопрос о том, что предпочесть — признание индивидуальных прав собственности на знание в надежде на рост благосостояния общества в целом, или же трактовку знания как общего блага с вытекающими из нее финансовыми потерями для тех, кто не получит никакой материальной выгоды от своих изобретений или открытий, я не хотел бы рассматривать более подробно.

Экономисты, юристы и крупные международные организации, такие как Всемирный банк, придерживаются точки зрения, что знание должно быть (глобальным) общим благом³⁴¹. С экономической точки зрения это означает, что знание как раз не должно обладать признаками, типичными для экономических товаров, а именно конкурентностью и исключительностью. Тот факт, что некоторые формы знания являются общественным благом, по всей видимости, меньше всего способствуют производству нового, дополнительного знания, а именно оно обладает экономическим потенциалом. Так давняя дилемма, наделяет ли собственность властью и тем самым определяет человеческие отношения или наоборот, продолжает существовать и в обществах знания.

Дискурс об отношении научного познания и демократии всегда был ориентирован на науку, будь то в обсуждении роли экспертов или в спорной концепции знания как собственности. При этом спор шел исключительно о социальной роли естественнонаучного или технического знания. Я же в своих заключительных

³⁴¹ Как подчеркивается в ежегодном докладе Всемирного банка под названием «Знание для развития»: «Знание подобно свету. Невесомое и нематериальное, оно без труда может облететь весь мир и повсюду озарить жизнь людей. Однако миллиарды людей живут во мраке нищеты, хотя этого можно было бы избежать» (Weltbank, 1990: 1). Вопрос, однако, заключается в том, может ли вообще и должно ли знание быть доступным в глобальном масштабе. Является ли знание, например, в области здравоохранения (ср. Chen, Evans, Cash, 1999) общественным благом, которое можно применить справедливым образом? В мире действительно существуют значительные несоответствия в распределении знания. И на протяжении последних десятилетий эти структурные неравенства, возможно, не только не уменьшились, но даже усилились, так что теперь речь идет не просто о «проблемах». Если следовать концепции Всемирного банка, то равномерное распределение знания в глобальном масштабе — это больше, чем просто незавершенный проект.

замечаниях хотел бы рассмотреть социально–научные знания и их влияние на современное общество.

6.15. Знания, наделяющие способностью?

Знание выполняет общественную функцию, оно — воздух, которому мы обязаны жизнью.

*Жан Лерон д'Аламбер*³⁴²

В обращении с научными утверждениями, выдвинутыми в рамках социальных и гуманитарных наук, можно выделить две модели. В первой, инструментальной модели, находят отражение многие из высказанных выше идей, а ее сторонники убеждены в резком разрыве между уровнем знания науки и общества. Наука обращается к обществу, и то, что она говорит, не только пользуется большим авторитетом, но и всегда бывает услышано, в то время как у общества либо мало, либо никаких возможностей ответить или возразить³⁴³. Одним словом, если исходить из представлений инструментальной модели, то социально–научные познания сами порождают свой успех (или неуспех) в обществе. Если говорить точнее, то, согласно данной модели, практическая польза от социальных наук зависит целиком и исключительно от солидной «научности» их знаний. Чем больше производство социально–научных знаний приближается к идеалу «научного» знания, тем вероятнее, что они окажутся полезны в практическом отношении.

На практике инструментальное знание, произведенное социальными и/или гуманитарными науками, приближается к социальной технологии. Метафорическое утверждение, согласно которому «нет ничего практичнее хорошей теории», всякий раз используется для того, чтобы описать требования, предъявляемые

³⁴² Цит. по: Gehlen, [1957] 2004: 379.

³⁴³ Предполагаемое господство научного знания над обществом и то уважение, которым пользуется наука в условиях исключения всех других форм познания, побудили Пола Фейерабенда (Feuerabend, [1975] 2006) поставить вопрос о том, как общество может защититься от науки. Его ответ гласит: с помощью инклюзивной, в интеллектуальном смысле, системы образования.

инструментальной моделью к полезности знания. Фактически же социально–научная основа полезного инструментального знания, которое может использоваться в этом смысле как социальная технология, крайне мала; этот факт подталкивает некоторых ученых к сомнению в собственных достижениях и к убежденности в том, что результаты их деятельности в лучшем случае можно назвать наукой с маленькой буквы «н» (ср. Eggertsson, 2009)³⁴⁴.

Альтернативный подход к определению общественного вклада социально–научных (и не только) познаний опирается на модель возможности действия. По аналогии с определением знания как возможности действовать, данная модель основной акцент делает на условиях возможности ощутимого общественного влияния социальных и гуманитарных наук, рассматривая его как процесс, который запускает воздействие идей на общество и его акторов.

В этом отношении социальные и гуманитарные науки выступают в роли производителей смыслов. Они не предлагают в первую очередь инструментальное знание, как утверждают сторонники инструментальной модели, т. е. познания, открывающее новые возможности и генерируемые главным образом в рамках естественных наук и технологий. Социальные науки, если использовать формулировку, предложенную историком Джеймсом Харви Робинсоном (Robinson, 1923: 16), — это «делатели смысла», производители смыслов и идей, силы, воздействующие на мышление³⁴⁵. Влияние идей, производимых в рамках социальных

³⁴⁴ В своей работе «Прогресс ноу–хау. Его истоки и границы» Дэниел Заревиц и Ричард Нельсон (Sarewitz, Nelson, 2008; см. также Nelson, 2008) объясняют, почему эволюция знаний по–разному проходит в разных областях науки и какие факторы влияют на то, что в некоторых сферах гуманитарных наук сложнее добиться прироста знания, чем в остальных областях. Согласно Заревицу и Нельсону, ответ на этот вопрос связан с разной способностью разрабатывать ноу–хау, необходимое для того, чтобы предложить стандартизированные процедуры применения технологического ноу–хау на уровне управления и политики (ср. Nelson, 2003).

³⁴⁵ Робинсон (Robinson, 1923: 16–17) ссылается на довольно длинный список профессий, выполняющих функцию «производства смысла» в современных обществах: «Те, кто ищет смысл, ставят под сомнение очевидное и банальное и предлагают свое видение. Мы в самых общих чертах разделим их на поэтов, религиозных лидеров, моралистов, рассказчиков,

и гуманитарных наук, зависит от предлагаемых ими понятий (целей, средств, способов) в значении возможностей действия, включая предложения относительно того, как и почему могут быть реализованы данные идеи.

Однако даже если допустимо трактовать социальные науки как большой и даже растущий резервуар смыслов и идей, проникающих в общество по различным социальным «трубопроводам» (медиа, учителя, священнослужители, писатели), они все же не обладают монополией на производство смыслов. В отличие от инструментальной модели, в модели возможности действия подчеркивается, что акторы, «применяющие» социально–научные познания, являются активно действующими субъектами, которые эти познания преобразуют и представляют уже в новом виде. «Поиск смыслов» как атрибут, подчеркивающий активную деятельность, служит аргументом против того, что социально–научный дискурс ведет к одностороннему «онаучиванию» профанных мировоззрений.

Согласно концепции способности к действию, социально–научные познания являют собой комплексный интеллектуальный ресурс, открытый многим возможностям, и потому в процессе их «путешествия» из социально–научного сообщества в общества они могут трансформироваться. Далее, данная модель предполагает, что ни в производстве, ни в применении этого знания речь не идет об идентичном воспроизводстве. В этом смысле модель способности к действию содержит возможность критического усвоения социально–научных познаний за счет использования

философов, богословов, художников, ученых, изобретателей». Однако Робинсон (Robinson, 1923: 17) ставит еще один важный, непосредственно вытекающий из предыдущего вопрос: «Что влияет на успех новой идеи, что придает ей значимость и социальное значение, помогая преодолеть невежество и равнодушие или же устоявшиеся конкурирующие и противоречащие ей убеждения?» В этой связи он подчеркивает, что «истинность новой, ждущей одобрения идее играет абсолютно второстепенную роль» (Robinson, 1923: 20). Вопрос Робинсона об условиях успеха новой идеи, разумеется, следует расширить, стараясь понять, почему новые идеи не в состоянии вытеснить определенные банальные или воспринимаемые как само собой разумеющиеся воззрения или какую именно «социальную функцию» выполняют устоявшиеся идеи и при каких условиях они могут ее выполнять.

локальных информационных ресурсов и вовлечения социальных наук в сферу общественной ответственности.

Помимо всего выше перечисленного, социальные и гуманитарные науки, понимаемые как источник знания, дающего нам новые способности, могут выполнять эту функцию постольку, поскольку они, в отличие от более формального, дедуктивного и эпистемического знания, напрямую вовлекают в процесс производства знания сведения о значимых характеристиках существующих общественных отношений, включая информацию о роли локального знания и многообразии природной среды (см. также Carolan, 2006).

6.16. Реалистичная точка зрения

Свобода — это не только возможность делать все, что нам вздумается, или делать выбор из заданных вариантов. Свобода — это, прежде всего, возможность определить варианты выбора, обсудить их и только потом принять решение. Вот почему не может быть свободы без повышения роли разума в человеческих делах.

Ч. Райт Миллс (Mills, 1959: 174)

Если согласиться с высокими и, пожалуй, сложно реализуемыми требованиями, которые предъявляет Сэнфорд Лакофф (Lakoff, 1971: 12), то «демократическая система, в которой знание становится предметом постоянного общественного интереса, в современных условиях является единственно возможной основой эффективного и ответственного управления». Французский просветитель, философ маркиз де Кондорсе был так же требователен. Он был убежден, что «аргумент, согласно которому граждане якобы не могут в полной мере участвовать в дебатах, а аргументация отдельного индивида не может быть услышана всеми, ничтожен» (цит. по: Urbinati, 2006: 202).

Для Кондорсе решающим аспектом является не компетентность в том или ином вопросе, а наличие адекватных правил и условий, позволяющих индивиду обращаться к релевантной информации и вместе ее обсуждать. Помимо нормативного и даже

закрепленного в конституции права всех граждан быть услышанными и в тех политических вопросах, которые сопряжены с высокоспециализированными знаниями, Кондорсе напоминает нам, что коллективное мышление и коллективная активность могут лишь выиграть от правил, контекстов и возможностей, способствующих такому мышлению. Это одна сторона отношений демократии и экспертного знания. Мой основной тезис, напротив, гласит, что развитие современных обществ и их превращение в общества знания во все возрастающей степени простирается и на демократизацию и публичное обсуждение знания. Мы постепенно отходим от того, что можно было бы назвать властью экспертов, и приближаемся к более широкому, коллективному управлению знанием (Stehr, 2005; Leighninger, 2006) и государственному управлению при поддержке экспертизы. В конце концов, одна из сильных сторон (либеральной) демократии заключается в том, что предполагается вовлечение граждан в процесс принятия политических решений. И какой бы ни была формальная основа такого вовлечения, его условием не является наличие определенной степени профессиональной или интеллектуальной компетентности граждан³⁴⁶.

Кроме того, я исхожу из того, что научное и техническое знание на практике оказывается гораздо более спорным, противоречивым и доступным, чем можно предположить, исходя из классической философии науки. Помимо этого существует не только «просветительская модель» отношений науки и общества (Irwin, [1995] 1999), но и новый взгляд на научные познания, ставший возможным благодаря новой социологии научного знания. Это касается, к примеру, производства научных знаний, которое во многих отношениях осуществляется точно так же, как и другие социальные практики, где создаются новые возможности действия.

³⁴⁶ Николас Роуз (Rose, 1993:296; см. также 1994) описывает эти современные тенденции общественного развития как изменение властных отношений: «"эффекты власти", безусловно, не подчиняются простой логике доминирования или концепции игры с нулевой суммой. Их анализ требует изучения того, что делает современных граждан активными субъектами управления».

Таким образом, стена, разделяющая науку и общества, отнюдь не так высока, как думают многие. Разумеется, разрыв между научным и обыденным знанием не ликвидирован — он продолжает существовать. Однако границы и возможности взаимодействия между специальным, экспертным и обыденным знанием гораздо менее жесткие, чем принято считать и в особенности чем это находит отражения в приведенных выше суждениях на пропасть между экспертным знанием и знанием общественности.

К этому добавляется то, что в современном обществе проблему все чаще видят не в том, что мы знаем недостаточно, а в том, что мы знаем слишком много. Публичное обсуждение нового потенциала знания (генерируемого наукой и техникой) зависит не столько от научно-технического специального знания, сколько от тех возможностей, которые открывают перед общественностью социальные и гуманитарные науки.

Общий доступ гражданского общества к знаниям, произведенным в рамках социальных наук и дающим обществу новые возможности, в меньшей степени ограничен разного рода препятствиями, нежели доступ к естественнонаучным познаниям. Компетентность и уровень практически доступных знаний породили демократию, в большей мере основанную на активном участии граждан, и привели к социальной экстернализации знаний, что пошло на пользу в первую очередь гражданскому обществу. В этой связи возникают новые задачи не только в отношении доступа к социально-научным познаниям, но и в виде новых форм участия. В этом контексте перед организациями гражданского общества встают новые задачи.

Одна из задач демократических институтов — «поддерживать среди членов мотивацию быть хорошо информированными» (ср. Merton, 1966: 1056). Общественная активность и участие в науке не только не представляют опасности для научного сообщества, но и являются частью социального устройства демократии (см. Culliton, 1978). Впрочем, это лишь одна сторона отношений между демократией и специальными знаниями.

Другая сторона связана с утверждением о том, что широкое обсуждение специального знания общественностью изначально обречено на провал ввиду интеллектуальной неспособности

большинства граждан. Впрочем, данный аргумент усиливает свойства модели инструментальной рациональности как привычного режима когнитивного взаимодействия между научным познанием и обществом, причем, как утверждают его сторонники, в том числе и в связи с характерными преимуществами этой модели, а именно из-за возможности решения на основании рационального расчета (технического поиска решений) и вероятности того, что политические решения будут становиться все более эффективными.

Социальное пространство для коммуникации между (социальной) наукой и общественностью уже существует. Возможность демократического обсуждения научной практики должна рассматриваться как часть более крупного социального проекта и более широкого общественного контекста, где в дискурсе участвуют как ученые (в роли экспертов), так и неспециалисты. Общественная активность в вопросе изменения климата и борьбы со СПИДом является хорошим примером социальных процессов, в которых границы между специалистами и обычными людьми поддаются воздействию и изменению (ср. Epstein, 1996; Bohman, 1999b). Как подчеркивает Отто Нейрат (Neurath, 1946: 79) в своем последнем опубликованном докладе: «Я не думаю, что можно разделить проблемы ученых и проблемы простого человека с улицы. В конечном итоге они связаны между собой теснее, чем иногда думают люди».

Нам не стоит также сетовать на то, что многое из того, что в обычной жизни мы воспринимаем как знание, не имеет под собой достаточной научной основы, ведь так или иначе — по крайней мере, большую часть времени и в отношении большей части практических задач — мы совсем неплохо обходимся и этим знанием (ср. Schütz, 1946: 463; Hardin, 2003: 5). И, как отмечает Людвиг Витгенштейн (Wittgenstein, 1969: § 344; см. также: Sidgwick, [1895] 1905: 427): «Вся моя жизнь состоит из того, что я чем-то доволюсь и с чем-то примирюсь». Не утратило актуальности и прагматичное наблюдение Джона Стюарта Милля (Mill, [1861] 1977): «Нужно иметь очень выраженное пристрастие к интеллектуальным нагрузкам, чтобы добровольно взваливать на себя бремя мышления, если от него нельзя ожидать никакого внешнего эффекта <...> Единственный достаточный стимул для

умственного напряжения <...> это перспектива какой-либо практической пользы, ожидаемой от его результатов (глава 3, раздел 2)».

Совершенно нереалистично «ожидать от граждан, причем даже от высокообразованных, наличия достаточных специальных знаний» (Dahl, 1977: 18), чтобы, например, участвовать в экономическом дискурсе о политических решениях в связи с инфляцией и безработицей. Точно так же нельзя назвать реалистичным часто встречающееся убеждение, что политические (и одновременно экономические) элиты образуют сплоченную и однородную, в интеллектуальном и идеологическом отношении, прослойку, обладающую монополией на политическую деятельность.

Способность уклоняться, препятствовать, не подчиняться, ограничивать проявление власти и разрабатывать собственные нарративы, выполняющие функцию контрсилы, указывают на повседневные формы сопротивления. Не всегда организованный или совершенно неорганизованный отказ части гражданского общества следовать предписаниям, а также неструктурированное недоверие являются выражением сопротивления так называемых необразованных, социально слабых членов общества, которое в теории общества часто теряется за более яркими, но гораздо реже встречающимися формами открытого мятежа (ср. Scott, 1985; Rushforth, 1994: 338 – 346; Baiocchi, 2003)³⁴⁷. Важно признавать знание источником власти, казалось бы, лишенных власти

³⁴⁷ Информативный перечень других конкретных форм гражданского непослушания можно найти у Аккермана и Родала (Ackerman, Rodal, 2008: 111): «Население осуществляло подрывные действия в наказание с тем, чтобы бросить вызов и лишить легитимности правителей, мобилизовать общественность, ограничить авторитарную власть, подорвать источники ее поддержки и пошатнуть лояльность. Петиции, марши, стачки и демонстрации использовались для расшатывания общественного послушания и мобилизации общественности. Различные формы отказа от сотрудничества, такие как забастовки, бойкоты, добровольные уходы со службы и гражданское непослушание имели своей целью срыв действий правительства. Прямые вмешательства, такие как блокады, захват заводов и сидячие забастовки сводили на "нет" способность правительства подчинять население своей воле. Последовательное, неослабевающее применение этих ненасильственных мер возымело результат: тираны капитулировали, режимы рухнули, армии оккупантов покинули оккупированные

слоев населения, источником их деятельности и формой активности, ставящей под сомнение авторитет элит, а также исследовать знание в этом качестве.

Кроме того, необходимо отметить, что эпоха модерна, прежде всего в значении «базиса» современных общества, вне всякого сомнения, является дочерью нового типа знаний (см. также Goldstone, 2006). Свобода в современных обществах — тоже дочь знания. Впрочем, в отличие от того, что составляет сущность модерна как особой формации обществ XXI-го века, свободу необходимо время от времени защищать. Видимо, новизна модерна устойчивее свободы.

территории, а политические системы, попирающие права человека, были лишены легитимности и уничтожены».

Знание / Демократия

Заключительное слово

....тем самым пороком, которым историки попрекают народные массы, можно попрекнуть всех людей вообще и больше всего государей.

... уверяю вас, что народ постоянное и много рассудительнее всякого государя.

Никколо Макиавелли
(«Рассуждения»)

Демократия «есть форма власти рефлексии; она позволяет гражданину принимать законы своей страны с большим пониманием, а, стало быть, с меньшей пассивностью»

Эмиль Дюркгейм
(*Durkheim, [1957] 1991: 131*)

Исходя из моих метарефлексивных размышлений об истории, нынешнем состоянии и перспективах отношений между демократией и знанием, можно сформулировать следующие выводы и ответы на главный вопрос моего исследования: является ли демократия дочерью знания и служит ли широкое и более равномерное распределение знаний и прежде всего компетентности в обществе задаче стабильного демократического правления? Для ответа на этот вопрос необходимо сначала обобщить главные идеи моей работы, а также наиболее распространенные ответы и основные критические замечания, направленные против устоявшихся воззрений на отношение между знанием и демократическим правлением.

Первое: главный и, как часто можно услышать, подтвержденный эмпирическими данными тезис гласит, что граждане

современных обществ обладают крайне низким уровнем политического знания. А поскольку политическое знание, как утверждается, открывает кратчайший путь к обдумыванию политических вопросов на основании более или менее полной информации, то сам собой напрашивается вывод, что простые граждане лишь в незначительной степени способны самостоятельно и рационально рассуждать о политических вопросах и, следовательно, если они вообще пытаются сформировать собственное мнение о том или ином политическом решении, они легко оказываются жертвой пристрастной аргументации, которую политическая пропаганда преподносит им в виде совета экспертов, который, в свою очередь, основывается на превосходящем знании небольшой группы индивидов, обладающих специальными знаниями, или консультационными и экспертными организациями. Однако технократическая аргументация и соответствующие методы в процессе принятия политических решений препятствуют публичным дебатам, анализу и оценке рассматриваемых вопросов. Технократическое переопределение политических проблем антидемократично.

Второе: главный аргумент по своей сути и независимо от вытекающих из него выводов основан на знании или сфокусирован на знании в значении информации. Совершенно очевидно, что научное знание — или, вернее, то, что люди отождествляют с научным знанием, т.е., например, дух, логика или этос науки — это основное значение, в котором используется понятие в дискуссиях о том, как знание может (или же не может) способствовать усилению демократической формы правления.

Третье: мой собственный вывод гласит, что демократия, ее эволюция и прогрессивная трансформация не зависит напрямую от знания в смысле научных и технических достижений, а, скорее, является дочерью креативного знания или компетентности. Компетентность связана с научным знанием и одновременно не зависит от него. Связана она с ним постольку, поскольку это знание понимается не как некое порождение позитивистского производства знания, а как поддерживающий элемент компетентности. Не зависит она от научного знания постольку, поскольку характеристики компетентности усиливаются и без одновременного

прироста научного знания и могут быть широко распространены, ибо общественное распространение компетентности связано прежде всего со структурными изменениями в обществе. Компетентность как совокупность когнитивных и социальных умений и способностей служит опорой социальным свободам и креативности, так как, с одной стороны, усиливает сопротивляемость индивидов и групп, а, с другой стороны, заставляет крупные общественные институты отчитываться перед гражданами в их различных социальных ролях (в роли потребителя, гражданина, избирателя, пациента, работника, туриста и так далее).

Если в прошлом основная задача заключалась в усилении демократии за счет повышения уровня компетентности, то сегодня главная цель — это демократизация знания. Поэтому большая проблема современности заключается не в высоком уровне образования широких слоев населения и их приверженности демократии, которой многие обязаны своим продвижением по социальной лестнице, а по-прежнему огромный слой тех членов общества, чей уровень образования недостаточно высок для независимого существования в современном обществе и принятия этого общества.

Мой, наверное, оптимистичный тезис гласит, что свобода — дочь знания, что, однако, нельзя трактовать как аргумент в пользу недифференцированной и утопичной возможности идеального общества (Berlin, [1998] 2000: 22–23), в котором гармонично сочетаются цель абсолютной свободы и равенства или же счастья и познания, т.е. некоего совершенного общества как решения всех или почти всех наших частных и коллективных проблем. В прошлом такие оптимистичные ожидания действительно имели место. Однако задумавшись о том, какие препятствия могут возникнуть на путь к такому совершенному обществу или хотя бы о том, что практическая реализация определенных базовых ценностей, например, равенства и свободы или знания и счастья, обременена внутренними противоречиями, мы поймем, что такого общества быть не может (Berlin, [1998] 2000: 22)³⁴⁸. Ситуация постоянно

³⁴⁸ Исая Берлин дает бескомпромиссно верную оценку идеи возможности «совершенного» общества: «Сама идея совершенного мира, в котором все хорошее сосуществует, внутренне противоречива. А если это

улучшается, если граждане, потребители, пациенты, родители, школьники, студенты, туристы и так далее заявляют о себе и вносят свои требования в политическую повестку дня. Тем, чем демократия не всегда была в прошлом, она должна стать теперь, чтобы обеспечить свое будущее, свою стабильность и процветания: она должна стать дочерью свободы. Причин для радужных надежд у нас нет, но и причин для отчаяния не так много.

так, а я не знаю, как могло бы быть иначе, то само понятие идеального мира, ради которого никакая жертва не покажется слишком большой, превращается в ничто».

Библиография

Произведения каждого автора приведены в обратном хронологическом порядке, начиная с последних публикаций. В случае нескольких переизданий первое издание указано в квадратных скобках.

- Abel, Günter (2009), «Forms of knowledge problems, projects, perspective», S. 11–34 in Peter Meusburger, Peter, Michael Welker and Edgar Wunder (Hg.), *Clashes of Knowledge. Orthodoxies and Heterodoxies in Science and Religion*. Heidelberg: Springer.
- Abramson, Paul R. and Ronald Inglehart (1995), *Value Change in Global Perspective*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Acemoglu, Daron und James A. Robinson (2012), *Why Nations Fail. The Origins of Power, prosperity, and Poverty*. New York: Crown Publishers.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson und Pierre Yared (2008), «Income and democracy», *American Economic Review* 98: 808–842.
- Acemoglu, Daron, Simon Johnson, James A. Robinson und Pierre Yared (2006), «From education to democracy», *American Economic Review* 95: 44–49.
- Acemoglu, Daron (2002), «Technical change, inequality, and the labour market», *Journal of Economic Literature* 40: 7–72.
- Acemoglu, Daron und James A. Robinson (2000), «Why did the West extend the franchise? Democracy, inequality, and growth in historical perspective», *The Quarterly Journal of Economics* 115: 1167–1199.
- Ackerman, Peter and Berel Rodal (2008), «The strategic dimensions of civil resistance», *Survival* 50: 111–126.
- Arce, Moises und Wonik Kim (2011), «Globalization and extra-parliamentary politics in an era of democracy», *European Political Science Review* DOI: 10.1017/S1755773910000408

- Ackoff, Russell L. (1989), «From data to wisdom», *Journal of Applied Systems Analysis* 16: 3–9.
- Adorno, Theodor W. and Max Horkheimer ([1947] 1987), *Dialektik der Aufklärung*. S. 13–290 in: Max Horkheimer, *Gesammelte Schriften*. Band 5. Frankfurt am Main: Fischer.
- Adorno, Theodor W. ([1951] 1986), «Individuum und Staat», S. 287–292 in Theodor W. Adorno, *Gesammelte Schriften* 20.1: *Vermischte Schriften* 1, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Aktionsrat Bildung (2007), *Jahresgutachten*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Alexander, Jeffrey C. (1987), «Fundamentale Zweideutigkeiten in Max Webers Theorie der Rationalisierung: Warum erscheint Weber wie ein Marxist, obwohl er keiner ist?», S. 90–103 in: Stefan Böckler und Johannes Weiß (Hg.), *Marx oder Weber? Zur Aktualisierung einer Kontroverse*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Ali, Abdiweli M. und Hodan Said Isse (2004), «Political freedom and the stability of economic policy», *Cato Journal* 24: 251–260.
- Allen, John (2003), *Lost Geographies of Power*. Oxford: Blackwell.
- Almond, Gabriel und Sidney Verba (1963), *The Civic Culture*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Almond, Gabriel (1956), «Comparative political systems», *Journal of Politics* 18: 391–409.
- Alvey, James E. (2001), «Moral education as a means to human perfection and social order: Adam Smith's view of education in commercial society», *History of the Human Sciences* 14: 1–18.
- Anderson, Robert (2012), «Support for democracy in cross-national perspective: The detrimental effect of economic inequality», *Research in Social Stratification and Mobility* <http://dx.doi.org/10.1016/j.rssm.2012.04.002>
- Andreski, Stranislav (1972), *Social Sciences as Sorcery*. London: Andre Deutsch.
- Ankersmit, Frank R. (2002), «Representational democracy», *Common Knowledge* 8: 24–46.
- Arce, Moises und Wonik Kim (2011), «Globalization and extra-parliamentary politics in an era of democracy», *European Political Science Review* 3: 253–278.
- Arendt, Hannah (1953), «Understanding and politics», *Partisan Review* No. 4 (July–August): 377–392.

- Aristotle ([350] 1932) *Politics*. Translated by H. Rackham. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Aron, Raymond (1985), «Tocqueville and Marx», in: Raymond Aron, *History, Truth, Liberty. Selected Writings of Raymond Aron*. Chicago: University of Chicago.
- Aron, Raymond ([1965] 1984), «Politische Freiheit in der technisierten Gesellschaft», S. 88–121 in: Raymond Aron, *Über die Freiheiten*. Stuttgart: Klett–Cotta.
- Arrow, Kenneth J. ([1951] 1963), *Social Choice and Individual Values*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Aslaksen, Silje (2010), «Oil and democracy: More than a cross-country correlation?», *Journal of Peace Research* 47: 1–11.
- Åström, Joachim, Martin Karlsson, Jonas Linde und Ali Pirannejad (2012), «Understanding the rise of e-participation in non-democratic democracies: Domestic and international factors», *Government Information Quarterly* 29: 142–150.
- Attewell, Paul (1992), «Technology diffusion and organizational learning: the case of business computing», *Organization Science* 3: 1–19.
- Baber, Walter F. und Robert V. Barlett (2005), *Deliberative Environmental Politics. Democracy and Ecological Rationality*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Bachelard, Gaston ([1938] 1972), *La Formation de l'esprit scientifique*. Paris: Vrin.
- Backhouse, Roger E. und Bradley W. Bateman (2009), «Keynes and capitalism», *History of Political Economy* 41: 645–671.
- Baecker, Dirk (1998), «Zum Problem des Wissens in Organisationen», *Organisationsentwicklung* 17: 4–21.
- Baiocchi, Gianpaolo (2003), «Emergent public spheres: talking politics in participatory governance», *American Sociological Review* 68: 52–74.
- Ballantyne, Tony (2011), «Paper, pen, and print: The transformation of the Kai Tahu knowledge order», *Comparative Studies in Society and History* 53: 232–260.
- Barber, Benjamin (2008), «Shrunk sovereign: Consumerism, globalization and American emptiness», *World Affairs* 170: 73–81.

- Barber, Benjamin (1984), *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. Berkeley, California: University of California Press.
- Barber, Bernhard (1952), *Science and the Social Order*. New York: Free Press.
- Barnes, Barry (1995), *The Elements of Social Theory*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Barnes, Barry S. und R. G. A. Dolby, (1970), «The scientific ethos: A deviant viewpoint», *European Journal of Sociology* 11: 3–25.
- Barro, Robert und Lee Jong Wha, (2010), «A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950–2010», NBER Working Paper No. 15902.
- Barro, Robert (1999), «The determinants of democracy», *Journal of Political Economy* 107: 158–183.
- Bateson, Gregory (1972), *Steps to an Ecology of Mind*. New York: Ballantine.
- Bartels, Larry M. (2005), «Homer gets a text cut: Inequality and public policy in the American Mind», *Perspectives on Politics* 3: 15–31.
- Barth, Fredrik (2002), «An anthropology of knowledge», *Current Anthropology* 43: 1–18.
- Barzeley, Michael (1992), *Breaking through Bueraucracy*. Berkeley, California: University of California Press.
- Basdash, Lawrence (2000), «Science and McCarthyism», *Minerva* 38: 53–80.
- Baudrillard, Jean (1988), *Selected Writings*. Edited by M. Poster. Palo Alto, California, Stanford University Press.
- Bauer, Martin (1996), «Socio–demographic correlates of DK–responses in knowledge surveys: self–attributed ignorance of science», *Social Science Information* 35: 39–68.
- Baum, Matthew A. und David A. Lake (2003), «The political economy of growth: democracy and human capital», *American Journal of Political Science* 47: 333–347.
- Bay, Christian (1965), «Politics and pseudopolitics: a critical evaluation of some behavioral literature», *American Political Science Review* 59: 39–51.
- Bearce, David H. und Jennifer A. Laks Hutnik (2011), «Toward an alternative explanation for the resource curse: Natural resources, immigration, and democratization», *Comparative Political Studies* 44: 689–718.

- Beck, Ulrich (1986), *Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich (1983), «Jenseits von Stand und Klasse? Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen und Identitäten», S. 35–74 in: Reinhard Kreckel (Hg.), *Soziale Ungleichheiten. Soziale Welt, Sonderband 2*. Göttingen: Schwartz.
- Becker, Jeffrey (2012), «The knowledge to act: Chinese migrant labor protests in comparative perspective», *Comparative Political Studies* 44: 1379–1404.
- Beckfield, Jason (2003), «Inequality in the World Polity: The Structure of International Organization», *American Sociological Review* 68: 401–424.
- Beeson, Mark (2010), «The coming of environmental authoritarianism», *Environmental Politics* 19: 276: 264.
- Bell, Daniel (1996), «Welcome to the post-industrial society», *Physics Today* February: 40–48.
- Bell, Daniel ([1979] 1980), «The new class: A muddled concept», S. 144–164, in: Daniel Bell, *The Winding Passage. Essays and Sociological Journeys 1960–1980*. Cambridge, MA: Abt Books.
- Bell, Daniel (1979) «The social framework of the information society», S. 163–211, in: Michael L. Dertouzos and Joel Moses (eds), *The Computer Age: A Twenty-Year View*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Bell, Daniel (1976), *The Cultural Contradictions of Capitalism*. New York: Basic Books.
- Bell, Daniel (1973), *The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
- Bell, Daniel (1971), «Technocracy and politics». *Survey* 16: 1–24.
- Bell, Daniel (1967), «Notes on the post-industrial society». *The Public Interest* 6: 24–35.
- Bell, Daniel (1960), *The End of ideology: on the exhaustion of political ideas in the fifties*. New York: Free Press.
- Benavot, Aaron, Yun-Lyung Cha, David Kamens, John W. Meyer und Suk-Ying Wong (1991), «Knowledge for the masses: world models and national curricula, 1920–1986», *American Sociological Review* 56: 85–100.

- Benkler, Y (1999), «From consumers to users: Shifting the deeper structures of regulation toward sustainable commons and user access», *Federal Communications Law Journal* 52: 561–79.
- Bennett, Stephen Earl (2006), «Democratic competence, before Converse and after», *Critical Review*, 18: 105–141.
- Bennett, Stephen Earl (2003), «Is the public's ignorance of politics trivial?», *Critical Review* 15: 307–37.
- Bennett, W. Lance und Shanto Iyengar (2008), «A new era of minimal effects? The changing foundations of political communication», *Journal of Communication* 58: 707–731.
- Bennett, W. Lance (1998), «Ithiel De Sola Pool lecture: The uncivic culture: Communication, identity, and the rise of lifestyle politics», *PS: olitical Science and Politics* 31: 740–761.
- Bensaude–Vincent, Bernadette (2001), «A genealogy of the increasing gap between science and the public», *Public Understanding of Science* 10: 99–113.
- Benson, Lee, Ira Harkavy und John Puckett (2007), *Dewey's Dream. Universities and Democracy in an Age of Education Reform*. Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press.
- Berelson, Bernard (1952), «Democratic theory and public opinion», *Public Opinion Quarterly* 16: 313–330.
- Berelson, Bernard, Paul F. Lazarsfeld und William N. McPhee (1954), *Voting. A Study of Public Opinion in a Presidential Campaign*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Berg–Schlosser, Dirk (2003), «Comment on Welzel, Inglehart & Klingemann's The theory of human development: A cross–cultural analysis», *European Journal of Political Research* 42: 381–386.
- Berger, Margaret A. und Lawrence M. Solan (2008), «Symposium: a cross–disciplinary look at scientific truth: what's the law to do? The uneasy relationship between science and law: an essay and introduction», *Brooklyn Law Review* 73: 847–56.
- Berlin, Isaiah ([1998] 2000), «My intellectual path», S. 1–23 in Isaiah Berlin, *The Power of Ideas*. Edited by Henry Hardy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Berlin, Isaiah ([1995] 2002), «Liberty», in Isaiah Berlin, *The Power of Ideas*. Edited by Henry Hardy. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, S. 111–114.

- Berlin, Isaiah ([1958] 1969), «Two concepts of liberty», S. 118–172, in: Isaiah Berlin, *Four Essays on Liberty*. Oxford: Oxford University Press.
- Berlin, Isaiah (1949/1950), «Political ideas in the twentieth century», *Foreign Affairs* 28: 351–385.
- Bernal, John D. (1939), *The Social Functions of Science*. New York: Macmillan.
- Besley, John C. und Matthew Nisbet (2011), «How scientists view the public, the media and the political process», *Public Understanding of Science*.
- Best, Michael L. und Keegan W. Wade (2009), «The Internet and democracy. Global catalyst or democratic dud?», *Bulletin of Science, Technology & Society* 29: 255–271.
- Biesta, Gert (2007), «Towards the knowledge democracy? Knowledge production and the civic role of the university», *Studies in the Philosophy of Education* 26: 467–479.
- Bimber, Bruce (1998), «The Internet and political transformation: populism, community, and accelerated pluralism», *Polity* 31: 133–160.
- Bjorkland, Tor (1997), «Old and new patterns: The "No" majority in the 1972 and 2006 EC/EU referendums in Norway», *Acta Sociologica* 40: 143–159.
- Blackler, Frank (1995), «Knowledge, knowledge work and organizations: an overview and interpretation», *Organization Studies* 16: 1021–1046.
- Blair, Ann (2010), *Too much to know. Managing Scholarly Information before the Modern Age*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Blanchard, Troy und Todd L. Matthews (2006), «The configuration of local economic power and civic participation in the global economy», *Social Forces* 84: 2241–2257.
- Blok, Anders (2007), «Experts on public trial: on democratizing expertise through a Danish consensus conference», *Public Understanding of Science* 16: 163–182.
- Blokland, Hans (2011), *Pluralism, Democracy and Political Knowledge: Robert A. Dahl und His Critics on Modern Politics*. London: Asgate.
- Blome, Astrid (2006), «Vom Adressbüro zum Intelligenzblatt – Ein Beitrag zur Genese der Wissensgesellschaft», *Jahrbuch für Kommunikationsgeschichte* 8: 3–29.

- Bloom, Pazit Ben–Nun und Gizem Arikan (2012), «Religion and support for democracy: A cross–national test of mediating mechanisms», *British Journal of Political Science* doi:10.1017/S0007123412000427.
- Blumer, Herbert (1948), «Public opinion and public opinion polling», *American Sociological Review* 13: 542–549.
- Boas, Franz (1938), *Manifesto on Freedom of Science*. The Committee of the American Academy for the Advancement of Science.
- Boas, Franz (1939), «Democracy and Intellectual Freedom». Address delivered at a Meeting sponsored by the Lincoln's Birthday Committee for Democracy and Intellectual Freedom, February 12, 1939. *The American Teacher*, March: 1.
- Boas, Taylor C. (2000), «The dictator's dilemma? The Internet and U.S. policy toward Cuba», *The Washington Quarterly* 23: 57–67.
- Böckler, Anne, Günther Knoblich und Natalie Sebanz (2010), «Socializing cognition», in: B.M. Glatzeder et al. (Hg), *Towards a Theory of Thinking*. Berlin–Heidelberg: Springer, S. 233–250.
- Böhme, Gernot (1992), «Science and other types of knowledge», in: Gernot Böhme, *Coping with Science*. Boulder, Colorado: Westview, S. 51–63.
- Bösch, Fank und Norbet Frei (Hg.) (2006), *Medialisierung und Demokratie im 20. Jahrhundert*. Göttingen: Wallstein.
- Bogner, Alexander (2012), «Wissenschaft und Öffentlichkeit: Von Information zu Partizipation», S. 379–392, in: Maasen, Sabine, Kaiser, Mario, Reinhart, Martin und Barbara Sutter (Hg.), *Handbuch Wissenschaftssoziologie*. Wiesbaden: Springer.
- Bogner, Alexander (2010), «Partizipation als Laborexperiment – Paradoxien der Laiendeliberation in Technikfragen», *Zeitschrift für Soziologie* 39: 87–105.
- Bohman, James (2007), «We, heirs of enlightenment: Critical theory. Democracy, and social science», in: Stephen P. Turner und Mark W. Risjord (eds.), *Philosophy of Anthropology and Sociology. Handbook of the Philosophy of Science*. Amsterdam: Elsevier, S. 711–726.
- Bohman, James (1999a), «Citizenship and norms of publicity. Wide public reason in cosmopolitan societies», *Political Theory* 27: 176–202.
- Bohman, James (1999b), «Democracy as inquiry; inquiry as democratic: pragmatism, social science, and the cognitive division of labor», *American Journal of Political Science* 43: 590–607.

- Bohman, James (1995a), «Modernization and impediments to democracy. The problems of hyperrationality and hypercomplexity», *Theoria* 86: 1–20.
- Boix, Carles (2011), «Democracy, development and The international system», *American Political Science Review* 105: 809–828.
- Boix, Charles (2003), *Democracy and Redistribution*. New York: Cambridge University Press.
- Boix, Carles und Susan C. Stokes (2003), «Endogenous democratization», *World Politics* 55: 517–549.
- Boli, John und George M. Thomas (1997), «World Culture in The World Polity: A Century of International Non–governmental Organization», *American Sociological Review* 62: 171–90.
- Boltanski, Luc und Laurent Thévenot (1999), «The sociology of critical capacity», *European Journal of Sociology* 2: 359–377.
- Borgmann, Albert (1999), *Holding on to Reality. The Nature of Information at The Turn of The Millennium*, Chicago: University of Chicago Press.
- Born, Max (1968), Borooah, Vani K. und Martin Paldam (2007), «Why is The world short of democracy? A cross–country analysis of barriers to representative government», *European Journal of Political Economy* 23: 582–604.
- Botero, Juan, Alejandro Ponce und Andrei Shleifer (2012), «Education and The quality of government», NBER Working Paper 18119.
- Boulding, Kenneth (1965), *The Meaning of The Twentieth Century. The Great Transition*. New York: Harper & Row.
- Bourdieu, Pierre (1999), «Scattered remarks», *European Journal of Social Theory* 2: 334–340.
- Bourdieu, Pierre (1998), *Acts of Resistance. Against The Tyranny of The Market*. New York: The New Press.
- Bourdieu, Pierre (1992), «Ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital», in: Pierre Bourdieu, *Die verborgenen Mechanismen der Macht*. Hamburg: VSA, S. 49–75.
- Bourdieu, Pierre ([1979] 1982), *Die feinen Unterschiede*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Bourdieu, Pierre ([1980] 1990), *The Logic of Practice*. Cambridge: Polity Press.
- Bourdieu, Pierre (1975), «The specificity of The scientific field and The social conditions of The progress of reason», *Social Science Information* 14: 19–47.

- Bourdieu, Pierre ([1973] 1993), «Public opinion does not exist», S. 149–157, in: Pierre Bourdieu, *Sociology in Question*. London: Sage.
- Bourguignon, François und Thierry Verdier (2000), «Oligarchy, democracy, inequality and growth», *Journal of Development Economics* 62: 285–313.
- Boyle, James (2007), «Mertonianism unbound? Imaging free, decentralized access to most cultural and scientific material», in: Charlotte Hess and Elinor Ostrom (eds.), *Understanding Knowledge as a Commons. From Theory to Practice*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, S. 123–143.
- Braczyk, Hans Joachim und Gerd Schienstock (1996), «Lean Production in Baden–Württemberg. Erwartungen, Wirkungen und Folgen», S. 121–133, in: Hans Joachim Braczyk und Gerd Schienstock (Hg.), *Kurswechsel in der Industrie*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Brecht, Arnold (1946), «Democracy – challenge to theory», *Social Research* 13: 195–224.
- Broman, Thomas H. (2002), «Some preliminary considerations on science and civil society», *Osiris* 17:1–21.
- Brooks, Harvey (1965), «Scientific concepts and cultural change», *Daedalus* 94: 66–83.
- Brown, Mark B. (2009), *Science in Democracy. Expertise, Institutions, and Representation*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Brown, Mark B. (2004), «The political philosophy of science policy. Review essay of Philip Kitcher, *Science, Truth and Democracy*», *Minerva* 42: 77–94.
- Brown, John Seely and Paul Duguid. 2000. *The Social Life of Information*. Boston, MA: Harvard University Press.
- Bruch, Sarah K., Myra Marx Ferree and Joe Soss (2010), «From policy to polity: Democracy, paternalism, and The incorporation of disadvantaged citizens», *American Sociological Review* 75: 205–226.
- Bryce, James (1901), *The American Government*. Band 2. New York: Macmillan.
- Bull, Hedley (1977), *The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics*. London: Macmillan.
- Bullock, John G. (2011), «Elite influence on public opinion in an informed electorate», *American Political Science Review* 105: 496–515.
- Bunce, Valerie (2001), «Democratization and economic reform», *Annual Review of Political Science* 4: 43–65.

- Burke, Edmund ([1790] 1955), *Reflections on The Revolution in France*. Stanford: Stanford University Press.
- Burawoy, Michael (1985), *The Politics of Production*. London: Verso.
- Burawoy, Michael (1979), *Manufacturing Consent*. Chicago: University of Chicago Press.
- Burton–Jones, Alan (1999), *Knowledge Capitalism. Business, Work, and Learning in The New Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Cacciatore, Michael A., Dietram A. Scheufele and Elizabeth A. Corley (2012), «Another (methodological) look at knowledge gaps and the Internet's potential for closing them», *Public Understanding of Science* published online 19 June 2012 DOI: 10.1177/0963662512447606.
- Callon, Michel, P Lascoume and Yannik BarThe (2009), *Acting in an Uncertain World. An Essay on Technical Democracy*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Callon, Michel (1999), «The role of lay people in the production and dissemination of scientific knowledge», *Science, Technology & Society* 4: 81–94.
- Callon, Michel (1998), «Introduction: The embeddedness of economic models in economics», S. 1–57, in: Michel Callon (Hg.), *The Laws of the Market*. Oxford: Blackwell.
- Cambrosio, Alberto and Peter Keating (1988), «"Going monoclonal": art, science and magic in the day–to–day use of hybridoma technology», *Social Problems* 35: 244–260.
- Campante, Filipe R. und Davin Chor (2011a), «Schooling, political participation, and the economy», *Review of Economics and Statistics* (accepted for publication).
- Campante, Filipe R. und Davon Chor (2011b), «‘The people want the fall of the regime’: Schooling, political protest, and the economy», *Harvard Kennedy School Faculty Research Paper* 11–018.
- Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller und Donald E. Stokes (1960), *The American Voter*. New Yoerk: John Wiley.
- Camus, Albert ([1951] 1953), *The Rebel. An Essay on Man in Revolt*. London: Hamilton.
- Capaccio, Giovanni und Daniel Ziblatt (2010), «The historical turn in democratization studies: A new research agenda for Europe and beyond», *Comparative Political Studies* 43: 931–968.

- Caplan, Bryan D. (2007), *The Myth of the Rational Voter. Why Democracies chose bad Policies*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Carey, James W., Shanto Iyengar, Anker Brink Lund und Inka Salovaara (2009), «Media system, public knowledge and democracy: A comparative study», *European Journal of Communication* 25: 5–26.
- Carey, James W. (1993), «The mass media and democracy. Between the modern and the postmodern», *Journal of International Affairs* 47: 1–21.
- Carley, Kathleen (1986), «Knowledge acquisition as a social phenomenon», *Instructional Science* 14: 381–438.
- Carneiro, Pedro, Claire Crawford, und Alissa Goodman (2007), «The Impact of Early Cognitive and Non-cognitive Skills on Later Outcomes». Discussion Paper no. 92, Centre Econ. Educ., London School of Economics.
- Carolan, Michael S. (2006), «Science, expertise, and the democratization of the decision-making process», *Society and Natural Resources* 19: 661–668.
- Caron-Finterman, J. Francisca, Jacqueline E.W. Broerse und Joske F. G. Bunders (2007), «Patient partnership in decision-making on biomedical research», *Science, Technology & Human Values* 32: 339–368.
- Carolan, Michael S. (2006), «Science, expertise, and the democratization of the decision-making process», *Society and Natural Resources* 19: 661–668.
- Carlsson, Magnus, Gordon B. Dahl und Dan-Ole Rooth (2012), «The effect of schooling on cognitive skills», NBER Working Paper 18484.
- Carter, Stephen L. (2009), «Where's the bailout for publishing», <http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-03-17/wheres-the-bailout-for-publishing/p/>
- Cartwright, Nancy, Jordi Cat, Lola Fleck und Thomas Uebel (1996), *Otto Neurath. Philosophy between Science and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cacciatore, Michael A., Dietram A. Scheufele und Elizabeth A. Corley (2012), «Another (methodological) look at knowledge gaps and the Internet's potential for closing them», *Public Understanding of Science*. Published online 19 Juni 2012 DOI: 10.1177/0963662512447606

- Casas–Cortés, María Isabel, Michal Osterweil und Dana E. Powell (2008), «Blurring boundaries: Recognizing knowledge–practices in the study of social movements», *Anthropological Quarterly* 81: 17–58.
- Catelló–Climent, Amparo (2008), «On the distribution of education and democracy», *Journal of Developmental Economics* 87: 179–190.
- Castells, Manuel (2009), *Communication Power*. Oxford: Oxford University Press.
- Castells, Manuel (2000), *The Information Age: Economy, Society and Culture. Volume III: End of Millennium. Second Edition*. Oxford: Blackwell.
- Castells, Manuel (1996), *The Rise of Network Society*. Oxford: Blackwell.
- Castells, Manuel und Jeffrey Henderson (1987) «Introduction. Techno–economic restructuring, socio–political processes and spatial transformation: a global perspective», in: Jeffrey Henderson und Manuel Castells (eds.), *Global Restructuring and Territorial Development*. London: Sage, S. 1–17.
- Cerny, Philip G. (1990), *The Changing Architecture of Politics. Structure, Agency and the Future of the State*. London: Sage.
- Chaffee, Steven H. und Miriam J. Metzger (2001), «The end of mass communication», *Mass Communication & Society* 4: 365–379.
- Champagne, Patrick (2005), «"Making the people speak": on the social uses of and reactions to public opinion polls», S. 111–132, in: Loïc Wacquant (Hg.), *Pierre Bourdieu and Democratic Politics*. Cambridge: Polity Press.
- Che, Yi, YI Lu, Zhigang Tao und Peng Wang (2012), «The impact of income on democracy revisited», *Journal of Comparative Economics* <http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2012.05.006>
- Chen, Jie und Chunlong Lu (2011), «Democratization and the middle class in China: The middle class's attitudes toward democracy», *Political Research Quarterly* 64: 705–719.
- Chen, Lincoln C., Tim G. Evans and Richard A. Cash (1999). «Health as a global public good», in: Inge Kaul, Isabelle Grunberg und Marc A. Stern (Hg.), *Global Public Goods*. Oxford: Oxford University Press, pp. 284–304.
- Chong, Dennis und James N. Druckman. 2010. «Dynamic public opinion: Communication effects over time», *American Political Science Review* 104: 663–680.

- Chong, Dennis and Mark Gradstein (2009), «Education and democratic preferences», Inter-American Development Bank Banco Interamericano de Desarrollo (IDB) Research Department Departamento de Investigación Working Paper #684 RG-N3338.
- Chong, Dennis und James N. Druckman (2007), «Framing public opinion in competitive democracies», *American Political Science Review* 101: 639–655.
- Clegg, Stewart R. (1989), *Frameworks of Power*. London: Sage.
- Coglianesi, C. Gary (2003), «The Internet and public participation in rulemaking», John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Faculty Research Working Papers Series RWPO3–022.
- Cohen, Geoffrey L. (2003), «Party over policy: The dominating impact of group influence on political beliefs», *Journal of Personality and Social Psychology* 85: 808–822.
- Cohen, Jean L. und Andrew Arato (1992), *Civil Society and Political Theory*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Cohn, Bernard S. (1996), *Colonialism and Its Form of Knowledge: The British in India*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Coleman, James S. (1988), «Social capital in the creation of human capital», *American Journal of Sociology* 94: S95–S120.
- Coleman, Stephen und Jay G. Blumler (2009), *The Internet and Democratic Citizenship. Theory, Practice, and Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coleman, Stephen (1999), «Can the new media invigorate democracy?», *Political Quarterly* 70: 16–22.
- Collins, Harry und Robert Evans (2007), *Rethinking Expertise*. Chicago: University of Chicago Press.
- Collins, Harry (1993), «The structure of knowledge», *Social Research* 60: 95–116.
- Collinson, David (1994), «Strategies of resistance: Power, knowledge and subjectivity in the workplace», S. 25–68, in: John M. Jermier, David Knights und Walter R. Nord (Hg.) (1994), *Resistance and Power in Organizations*. London: Routledge.
- Cook, Philip J. (1971), «Robert Michels's political parties in perspective», *The Journal of Politics* 33: 773–796.

- Coombs, W. Timothy und Craig W. Cutbirth (1998), «Mediated political communication, the Internet, and the new knowledge elites: prospects and portents», *Telematics and Informatics* 15: 203–217.
- Condorcet, Marquis de (1796), *Outlines of an Historical View of the Progress of the Human Mind. Being a Posthumous Work of the Late M. de Condorcet*. Philadelphia: Land und Ustick.
- Connolly, William E. (1991) *Identity\ Difference: Democratic Negotiations of Political Paradox*. Ithica, New York: Cornell University Press.
- Converse, Philip E. (2006), «Democratic theory and electoral reality», *Critical Review* 18: 297–329.
- Converse, Philip E. ([1964] 2006), «The nature of belief systems in mass publics», *Critical Review* 18: 1–74.
- Coppedge, Michael und John Gerring with David Altman, Michael Bernhard, Steven Fish, Allen Hicken, Matthew Kroenig, Stefan I. Lindberg, Kelly McMann, Pamela Paxton, Holli A. Semetko, Svend-Erik Skaaning, Jeffrey Staton, und Jan Teorell (2011), «Conceptualizing and measuring democracy: A new approach», *Perspectives on Politics* 9: 247–267.
- Couzin, Iain D., Christos C. Ioannou, Guven Demirel, Thilo Gross, Colin J. Torney, Andrew Hartnett, Larissa Conradt, Simon A. Levin and Naomi E. Leonard (2011), «Uninformed individuals promote democratic consensus in animal groups», *Science* 334: 1578–1580.
- Crain, Robert L. und Donald B. Rosenthal (1967), «Community status as a dimension of local decision-making», *American Sociological Review* 32: 970–984.
- Cranston, Maurice (1971), «Some aspects of the history of freedom», in: Klaus von Beyme (Hg.), *Theory and Politics—Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich*. The Hague: Martinus Nihoff, S. 18–34.
- Cress, Daniel M. and David A. Snow (1996), «Mobilization at the margins: resources, benefactors, and the viability of homeless social movement organizations», *American Sociological Review* 61: 1089–1109.
- Croissant, Jennifer und Sal Restivo (1995), «Science, social problems, and progressive thought», S. 39–87, in: Susan Leigh Star (Hg.), *Ecologies of Knowledge. Work and Politics in Science and Technology*. Albany. New York: State University of New York Press.
- Crouch, Colin (2004), *Post-Democracy*. Cambridge: Polity Press.

- Crozier, Michel ([1979] 1982) *Strategies for Change: The Future of French Society*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Culliton, Barbara J. (1978), «Science's restive public», *Daedalus* 107: 147–156.
- Curran, James, Shanto Iyengar, Anker Brink Lund und Inka Salovaara – Moring (2009), «Media System, Public Knowledge and Democracy: A Comparative Study», *European Journal of Communication* 24: 5–26.
- Daele, van den Wolfgang (1977), «The social construction of science: institutionalization and definition of positive science in the latter half of the Seventeenth century», in: Everett Mendelsohn, Peter Weingart und Richard Whitley (eds.), *The Social Production of Scientific Knowledge*. Dordrecht: D. Reidel, S. 27–54.
- Dahl, Robert A. (2006), *On Political Equality*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (2005), «What political institutions does large-scale democracy require?», *Political Science Quarterly* 120: 187–197.
- Dahl, Robert A. (2000), «A democratic paradox?», *Political Science Quarterly* 115: 35–40.
- Dahl, Robert A. (1999), «The shifting boundaries of democratic government», *Social Research* 66: 915–931.
- Dahl, Robert A. (1998), *Democracy*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (1994), «A democratic dilemma: system effectiveness versus citizen participation», *Political Science Quarterly* 109: 23–34.
- Dahl, Robert A. (1992), «The problem of civic competence», *Journal of Democracy* 3: 45–59.
- Dahl, Robert A. (1989), *Democracy and its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (1977), «On removing certain impediments to democracy in the United States», *Political Science Quarterly* 92: 1–20.
- Dahl, Robert A. (1971), *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Dahl, Robert A. (1961a), «The behavioral approach in political science: epitaph for a movement to a successful protest», *American Political Science Review* 55.

- Dahl Robert A (1961b), *Who Governs? Democracy and Power in an American City*. New Haven: Yale University.
- Dahlgren, Peter (2009), *Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Engagement*. New York: Cambridge University Press.
- Dahrendorf, Ralf (2002), *Die Krise der Demokratie. Ein Gespräch*. München: C.H. Beck.
- Dahrendorf, Ralf (2000), «Die globale Klasse und die neue Ungleichheit», *Merkur* 54: 1057–1068.
- Dahrendorf, Ralf (1996), «Economic opportunity, civil society, and political liberty», *Development and Change* 27: 229–249.
- Dahrendorf, Ralf (1974), «Citizenship and beyond: The social dynamics of an idea», *Social Research* 41: 673–701.
- Dahrendorf, Ralf ([1967] 1974), «Soziologie und industrielle Gesellschaft», S. 64–73, in: Ralf Dahrendorf (Hg.), *Pfade aus Utopia. Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie*. München: Piper.
- Dahrendorf, Ralf (1966), «The present position of the theory of social stratification», Paper presented to the Sixth World Congress of Sociology, Evian, September 3–10.
- Dahrendorf, Ralf ([1963] 1968), «Uncertainty, science and democracy», S. 232–255, in: Ralf Dahrendorf, *Essays in the Theory of Society*. London: Routledge and Kegan.
- Dalton, Russell J., Doh C. Shin und Willy Jou (2007), «Understanding democracy: Data from unlikely places», *Journal of Democracy* 18: 142–156.
- Dalton, Russell J. und Hnu–Ngoc T. Ong (2005), «Authority orientations and democratic attitudes: A test of the "Asian values" hypothesis», *Japanese Journal of Political Science* 6: 211–231.
- Dalton, Russell J., Manfred Kuechler und Wilhelm Bürklin (1990), «The challenge of new movements», in: Russell J. Dalton, und Manfred Kuechler (Hg.), *Challenging the Political Order. New Social and Political Movements in Western Democracies*, New York: Oxford University Press, S. 3–20.
- Darnton, Robert (2010), *Poetry and the Police. Communication Networks in Eighteenth–Century Paris*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Dasgupta, Partha S. und Paul A. David (1994), «Toward a new economics of science», *Research Policy* 23: 487–521.

- Daum, Andreas W. (2002), «Science, politics, and religion: Humboldtian thinking and the transformations of civil society in Germany, 1830–1870», *Osiris* 17: 107–140.
- Dean, Mitchell (2001), «Michel Foucault: "A Man in Danger"», in George Ritzer and Barry Smart, *Handbook of Social Theory*, London: Sage, P. 324–338.
- DeCanio, Samuel (2006), «Mass opinion and American political development», *Critical Review* 18: 339–356.
- Dee, Thomas S. (2003), «Are there civic returns to education?», NBER Working Paper Series 9588. www.nber.org/papers/w9588
- De Graaf, N.D. und G. Evans (1996), «Why are the young more postmaterialist? A cross-national analysis of individual and contextual influences on postmaterial values», *Comparative Political Studies* 28: 608–635.
- Deininger, Klaus und Lyn Squire (1996), «A new set data set measuring income inequality», *World Bank Economic Review* 10: 565–591.
- Dell, Melissa, Benjamin F. Jones, and Benjamin A. Olken (2008), «Climate shocks and economic growth: Evidence from the last half century». Working Paper no. 14132, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
- Delli, Carpini, Michael X., Fay Lomax Cook und Lawrence R. Jacobs (2004), «Public deliberation, discursive participation, and citizen engagement: A review of the empirical literature», *Annual Review of Political Science* 7: 315–344.
- Delli, Carpini, Michael X. und Scott Keeler (1996), *What Americans Know about Politics and Why it Matters*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Delli, Carpini, Michael X. und Scott Keeler (1993), «Measuring political knowledge: putting things first», *American Journal of Political Science* 37: 1179–1206.
- Delli, Carpini, Michael X. und Scott Keeler (1991), «Stability and change in the U.S. public's knowledge of politics», *Public Opinion Quarterly* 55: 583–612.
- Deht, Jan van und Martin Elff (2000), «Political involvement and apathy in Europe 1973–1998», *Arbeitspapiere – Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung* 33.
- Deutsch, Karl (1961), «Social mobilization and political development», *American Political Science Review* 60: 493–514.

- Deutscher, Irving (1972), «Public and private opinions: Social situations and multiple realities», in: S. Z. Nagi und Ronald G. Corwin (eds.) *The Social Contexts of Research*. New York: Wiley, S.
- Dewey, John (1984), *The later works, 1925–1953. Volume 1: Experience and Nature*. Carbondale, Illinois: Southern Illinois Press.
- Dewey, John. ([1916] 2000), *Demokratie und Erziehung. Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Dewey, John (1931), «Social science and social control», *the New Republic* 67: 276–277.
- Dewey, John. ([1938] 2002), *Logik. Die Theorie der Forschung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Dewey, John (1941), «Science and democracy», *The Scientific Monthly* 52: 55.
- Dewey, John ([1936] 1939), «Science and the future of society», in Joseph Ratner (Hg.), *Intelligence in the Modern World. John Dewey's Philosophy*. New York: Modern Library, S. 343–363.
- Dewey, John ([1938] 1955), «Unity of science as a social problem», in: Otto Neurath, Rudolf Carnap und Charles Morris (Hg.), *The International Encyclopedia of Unified Science. Volume 1*. Chicago: University of Chicago Press, S. 29–38.
- Dewey, John (1929), *The Quest for Certainty: A Study of the Relation of Knowledge and Action*.
- Dewey, John ([1927] 1954), *The Public and its Problems*. Athens, Ohio: Swallow Press.
- Dewey, John ([1916] 2005), *Democracy and Education*. Stilwell, Kansas: Dirireads.
- Diamond, Larry (2011), «Why democracies survive», *Journal of Democracy* 22: 17–30
- Diamond, Larry (2010), «Liberation technology», *Journal of Democracy* 21: 69–83
- DiMaggio, Paul (1997), «Culture and cognition», *Annual Review of Sociology* 23: 263–287.
- DiMaggio, Paul J. und Walter W. Powell (1983), «The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organization fields», *American Sociological Review* 48: 147–160.
- Diani, Mario (1996), «Linking mobilization frames and political opportunities: Insights from regional populism in Italy», *American Sociological Review* 61: 1053–1069.

- Dosi, Giovanni und Marco Grazzi (2009), «On the nature of technologies: Knowledge, procedures, artifacts and production inputs», *Cambridge Journal of Economics* 34: 173–184.
- Dosi, Giovanni (1996), «The contribution of economic theory to the understanding of a knowledge-based economy», in: *Organization for Economic Co-Operation and Development* (1996b), *Employment and Growth in the Knowledge-Based Economy*, Paris: OECD, S. 81–92.
- Doucouliafos, Hristos und Mehmet Ali Ulubasoglu (2008), «Democracy and economic growth: A meta-analysis», *American Journal of Political Science* 52: 61–83.
- Douglas, Mary und Aaron Wildavsky (1982), *Risk and Culture. An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers*. Berkeley, California: University of California Press.
- Dow, Jay K. (2011), «Political knowledge and electoral choice in the 1992–2004 United States presidential elections: Are more and less informed citizens distinguishable?», *Journal of Elections, Public Opinion and Parties* 21: 381–405.
- Downs, Anthony ([1957] 1968), *Ökonomische Theorie der Demokratie*. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Sieneck).
- Dretske, Fred (1981), *Knowledge and the Flow of Information*. Cambridge: MIT Press.
- Drucker, Peter F. (1969), *The Age of Discontinuity. Guidelines to our Changing Society*. New York: Harper & Row.
- Drucker, Peter ([1968] 1992), *The Age of Discontinuity. Guidelines to Our Changing Society. With a New Introduction by the Author*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.
- Drucker, Peter (1939), *The End of Economic Man. A Study of the New Totalitarianism*. London: William Heinemann.
- Dryberg, Torben Bech (1997), *The Circular Structure of Power, Politics and Identity*. London: Verso.
- Dryzek, John S. and Hayley Stevenson (2011), «Global democracy and earth system governance», *Ecological Economics* 70: 1865–1874.
- Duch, Raymond M. and Michael A. Taylor (1993), «Postmaterialism and the economic condition», *American Journal of Political Science* 37: 747–779.
- Dunn, John (2008), «Capitalist democracy: elective affinity or beguiling illusion», *Daedalus* 136: 5–13.

- Dupré, J. Stefan and Sanford Lakoff (1962), *Science and the Nation. Policy and Politics*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice–Hall.
- Durant, Darrin (2011), «Models of democracy in social studies of science», *Social Studies of Science* 41: 691–714.
- Durham, J, Benson (1999), «Economic growth and political regimes», *Journal of Economic Growth* 4: 81–111.
- Durkheim, Émile ([1957] 1991), *Physik der Sitten und des Rechts. Vorlesungen zur Soziologie der Moral*. Eingeleitet von Hans–Peter Müller. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Durkheim, Émile ([1930] 1977), *Über soziale Arbeitsteilung. Studie über die Organisation höherer Gesellschaften*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Dworkin, Ronald (2002), *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Economist, The (1997), «The disappearing taxpayer», 31. Mai 1997. <http://www.economist.com/node/150080>
- Economist, The (2014), «Inverse Logic», 20. September 2014. <http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21618912-america-weighs-action-discourage-corporate-exodus-inverse-logic>
- Edgerton, David (2011), «In praise of Luddism», *Nature* 471 (March 3): 27–29.
- Edwards, Paul N., Lisa Gitelman, Gabrielle Hecht, Adian Jones, Brian Larkin and Neil Safier (2011), «AHR conversation: Historical perspectives on the circulation of information», *American Historical Review* 116: 1393–1435.
- Eggertsson, Thráinn (2009), «Knowledge and the theory of institutional change», *Journal of Institutional Economics* 5: 137–150.
- Eisele, J. Christopher (1975), «John Dewey and the immigrants», *History of Education Quarterly* 15: 67–85.
- Eisenstadt, Shmuel N. (1999), *Paradoxes of Democracy. Fragility, Continuity, and Change*. Baltimore, Maryland: John Hopkins University Press.
- Eisenstadt, Shmuel N. (1982), «Kulturelle Vielfalt und wissenschaftliche Begriffsbildung, The diversity of meaning of similar concepts in sociological research and its roots – illustrated from the field of political sociology», *Angewandte Sozialforschung* 10: 57–74.

- Elam, Mark und Margareta Bertilsson (2003), «Consuming, engaging, and confronting science. The emerging dimensions of scientific citizenship», *European Journal of Social Theory* 6: 233–251.
- Elias, Norbert (1984), «Knowledge and power», S. 251– 292 in Nico Stehr and Volker Meja (Hg.), *Society and Knowledge. Contemporary Perspectives on the Sociology of Knowledge*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.
- Elias, Norbert ([1971] 2006), «Wissenssoziologie: Neue Perspektiven». S. 219–256, in: Norbert Elias, *Aufsätze und andere Schriften I*. Norbert Elias *Gesammelte Schriften*. Band 14. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Elias, Norbert (1971), «Sociology of knowledge: New perspectives», *Sociology* 5: 149–168, 335–370.
- Engelmann, Stephen G. (2011), «Review article: social science against democracy», *History of the Human Sciences* 24: 167–179.
- Enns, Peter K. and Paul M. Kellstaft (2008), «Policy mood and political sophistication: Why everybody moves mood», *British Journal of Political Science* 38: 433–454.
- Epstein, Stephen (1996), *Impure Science: AIDS, Activism and the Politics of Knowledge*. Berkeley, California: University of California Press.
- Essed, Philomena (1991), «Knowledge and resistance: black women talk about racism in the Netherlands and the USA», *Feminism & Psychology* 1: 201–219.
- Ettema, James S. und F. Gerald Kline (1977), «Deficits, differences, and ceilings. Contingent conditions for understanding the knowledge gap», *Communication Research* 4: 179–202.
- Eulau, Heinz (1973), «Skill revolution and consultative commonwealth», *American Political Science Review* 67: 169–191.
- Eyerman, Ron and Andrew Jamison (1991), *Social Movements: A Cognitive Approach*. University Park, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press.
- Ezrahi, Yaron (2004), «Science and the political imagination in contemporary democracies», S. 254–273, in: Sheila Jasanoff (Hg.), *States of Knowledge. The Co-Production of Science and the Social Order*. London: Routledge.

- Faulkner, Wendy (1994), «Conceptualizing knowledge used in innovation: a second look at the science–technology distinction and industrial innovation», *Science, Technology & Human Values* 19: 425–458.
- Feng, Yi (1997), «Democracy, political stability and economic growth», *British Journal of Political Science* 27: 391–418.
- Fernández, Raquel (2010), «Does culture matter?», NBER Working Paper 16277.
- Feyerabend, Paul ([1975] 2006), «How to defend society against science», S. 358–369, in: Selinger, Evan and Robert P. Crease (eds.), *The Philosophy of Expertise*. New York: Columbia University Press.
- Feyerabend, Paul ([1978] 1980), *Erkenntnis für freie Menschen*. Veränderte Ausgabe. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Fichte, Johann Gottlieb ([1794] 1959), *Über die Bestimmung des Gelehrten*. Darmstadt: WBG.
- Finkel, Steven E. and Amy Erica Smith (2011), «Civic education, political discussion, and the social transmission of democratic knowledge and values in a democracy», *American Journal of Political Science* 55: 417–435.
- Finkel, Steven E. (2003), «Can democracy be taught?», *Journal of Democracy* 14: 137–151.
- Fish, M. Steven and Robin S. Brooks (2004), «Does diversity hurt democracy?», *Journal of Democracy* 15: 154–166.
- Fisher, Diana R. and Jessica F. Green (2004), «Understanding disenfranchisement: civil society and developing countries' influence and participation in global governance for sustainable development», *Global Environmental Politics* 4: 65–84.
- Florida, Richard (2003), «Cities and the creative class», *City & Community* 2: 3–19.
- Florida, Richard (2002), *The Rise of the Creative Class*. New York: Basic Books.
- Fogel, Robert W. (2008), «Capitalism & democracy in 2040», *Daedalus* 136: 87–95.
- Forejohn, John A. und James H. Kuklinski (1990), *Information and Democratic Processes*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Forey, Dominique (2006), *The Economics of Knowledge*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.

- Foucault, Michel (2008), *Sexualität und Wahrheit. Der Wille zum Wissen*, in: ders. *Die Hauptwerke*. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Foucault, Michel ([1984] 2005), «Was ist Aufklärung?», in Michel Foucault, *Dits et Ecrits. Schriften. Vierter Band*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Foucault, Michel ([1976] 2000), «Truth and power», in Michel Foucault, *Power. The Essential Works of Michel Foucault 1954–1984. Volume Three*. New York: The New Press, S. 111–133.
- Foucault, Michel (1981) "Omnes et Singulatim", in Sterling M. McMurrin (Hg.), *The Tanner Lectures on Human Values. Volume 2*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Foucault, Michel (1980), *Power/Knowledge: Selected Interviews and other Writings 1972–1977*. Brighton, Sussex: Harvester Press.
- Foucault, Michel (1977), «Prison talk: an interview», *Radical Philosophy* 16: 10–15.
- Foucault, Michel ([1975] 1977), *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Random House.
- Foucault, Michel ([1969] 1972), *The Archeology of Knowledge*. London: Tavistock.
- Freeman, John R. und Dennis P. Quinn (2012), «The economic origins of democracy reconsidered», *American Political Science Review* 106: 58–80.
- Frickel, Scott et al. (2010), «Undone science: Charting social movement and civil society challenges to research agenda setting», *Science, Technology & Human Values* 35: 444–473.
- Friedman, Benjamin M. (2010), «Economic well-being in a historical context», in: Lorenzo Pecchi and Gustavo Piga (eds.), *Revisiting Keynes. Economic Possibilities for our Grandchildren*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, S. 125–134.
- Friedman, Benjamin M. (2008), «Capitalism, economic growth & democracy», *Daedalus* 136:46–52.
- Friedman, Benjamin M. (2006), «The moral consequences of economic growth», *Society* 43: 15–22.
- Friedman, Benjamin M. (2005), *The Moral Consequences of Economic Growth*. New York: Vintage Books.
- Friedman, Jonathan (1992), «General historical and culturally specified properties of global systems», *Review* 15: 335–372.

- Friedman, Jonathan (1989), «Culture, identity, and world process», *Review* 12: 51–69.
- Friedman, Milton ([1962] 2004), *Kapitalismus und Freiheit*. München: Piper.
- Frühwald, Wolfgang (1998), «Athen aus Alexandrien zurückerobern», *Frankfurter Allgemeine Zeitung*, 9. April. S. 9–10.
- Fuerstein, Michael (2008), «Epistemic democracy and the social character of knowledge», *Episteme* 5: 74–93.
- Fukuyama, Francis (2006), «After the "end of history"», https://www.opendemocracy.net/democracy-fukuyama/revisited_3496.jsp
- Fukuyama, Francis (2001), «Social capital, civil society, and development», *Third World Quarterly* 22: 7–28.
- Fuller, Steve (2000a), *The Governance of Science. Ideology and the Future of the Open Society*. Buckingham: Open Society Press.
- Fuller, Steve (2000b), «Commentary on Michael Polanyi's *The Republic of Science*», *Minerva* 38: 26–32.
- Fuller, Steve (2002c), *Knowledge Management Foundations*. Boston, Massachusetts: Butterworth Heinemann.
- Fuller, Steve (1994), «The constitutively social character of expertise», *The International Journal of Expert Systems* 7: 51–64.
- Fuller, Steve (1988), *Social Epistemology*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press.
- Fung, Archon and Erik Olin Wright (2001), «Deepening democracy: Innovations in empowered participatory government», *Politics & Society* 29: 5–41.
- Galbraith, John K. (1967), *The New Industrial State*. Boston: Houghton Mifflin.
- Galbraith, John K. (1957), *The Affluent Society*. Boston: Houghton Mifflin.
- Galison, Peter (1990), «Aufbau/Bauhaus: logical positivism and architectural modernism», *Critical Inquiry* 16: 709–752.
- Galston, William A. (2001), «Political Knowledge, political engagement, and civic education», *Annual Review of Political Science* 4: 217–234.
- Gallie, Walter Bryce (1955–1956), «Essentially contested concepts», *Proceedings of the Aristotelian Society New Series* 56: 167–198.
- Gallup–International (2005), *Voice of the People*. <http://www.gallup-international.com/>

- Garcia, José María Rodríguez (2001), «Scientia potestas est – knowledge is power: Francis Bacon to Michel Foucault», *Neohelicon* 38: 109–122.
- Gardiner, Stephen (2011), *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change*. Oxford: Oxford University Press.
- Gehlen, Arnold ([1957] 2004), «Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft», S. 1–140, in: Arnold Gehlen, *Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft*. Arnold Gehlen Gesamtausgabe Band 6. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Gehlen, Arnold ([1952] 2004), «Mensch trotz Masse», S. 217–228, in: Arnold Gehlen, *Die Seele im technischen Zeitalter und andere soziologische Schriften und Kulturanalysen*. Arnold Gehlen Gesamtausgabe Band 6. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Gehlen, Arnold ([1940] 1993), *Der Mensch*. Textkritische Edition. Teilband 1. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
- Gellner, Ernest (1994), *Conditions of Liberty. Civil Society and its Rivals*. London: Hamish Hamilton.
- Gellner, Ernest (1983), *Nations and Nationalism*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Genova, B.K.L. und Bradley S. Greenberg (1979), «Interest in the news and the knowledge gap», *Public Opinion Quarterly* 43: 79–91.
- Genschel, Philipp und Bernhard Zangl (2008), «Metamorphosen des Staates – Vom Herrschaftsmonopolisten zum Herrschaftsmanager», *Leviathan* 36: 430–454.
- Gerring, John, Peter Kingstone und Matthew Lange (2011), «Democracy, history, and economic performance: A case–study approach», *World Development* 39: 1735–1748.
- Geuss, Raymond (2002), «Liberalism and its discontents», *Political Theory* 30: 320–338.
- Giddens, Anthony (1999), *BBC Reith Lectures 1999. Runaway World*. Lecture 5: Democracy.
- Giddens, Anthony (1990), *The Consequences of Modernity*. Stanford: Stanford University Press.
- Giddens, Anthony (1984), *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, Anthony (1981), *A Contemporary Critique of Historical Materialism*. Volume 1: Power, Property and the State. London: Macmillan.

- Gilley, Bruce (2012), «Authoritarian environmentalism and China's response to climate change», *Environmental Politics* 21: 287–307.
- Gilley, Bruce (2009), «Is democracy possible?», *Journal of Democracy* 20: 113–127.
- Gipsen, C.W.R. (1988), «German engineers and American social theory: Historical perspectives on professionalization», *Comparative Studies in Society and History* 30: 550–574.
- Gisler, Priska und Monika Kurath (2010), «Paradise lost? 'Science' and the "public" after Asilomar», *Science, Technology, & Human Values* Online First August 3, 2010.
- Glaeser, Edward L., La Porta, Rafael, Lopez–de–Silanes, Florencio and Andrei Shleifer (2004), «Do Institutions Cause Growth?», *Journal of Economic Growth*, 2004, 9: 271–303.
- Glazer, Nathan (2010), «Democracy and deep divides», *Journal of Democracy* 21: 5–19.
- Gleditsch, Kristian Skrede und Michael D. Ward (2008), «Diffusion and the spread of democratic institutions», in: Beth A. Simmons, Frank Dobbin and Geoffrey Garrett (eds.), *The Global Diffusion of Markets and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, S. 261–302.
- Goldman, Alvin I. (1999), *Knowledge in a Social World*. Oxford: Clarendon Press.
- Goldstone, Jack A. (2006), «A historical, not comparative, method: Breakthroughs and limitations in the theory and methodology of Michael Mann's analysis of power», S. 263–282, in: John Al Hall und Ralph Schroeder (Hg.), *An Anatomy of Power. The Social Theory of Michael Mann*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goldthorpe, John H. (2007), «"Cultural capital": some critical observations», *Sociology Working Papers 2007–07*. Oxford: Oxford University.
- Goldthorpe, John H. (1966), «Social stratification in industrial society», S. 648–659, in: Reinhard Bendix und Seymour M. Lipset (Hg.), *Class, Status and Power*. New York: Free Press.
- Goodin, Robert E. (1979), «The development–rights trade–off: Some unwarranted economic and political assumptions», *Universal Human Rights* 1: 31–42.
- Gore, Albert (2007), *The Assault on Reason*. London: Penguin Press.

- Gouldner, Alvin W. (1979), *The Future of Intellectuals and the Rise of the New Class. A Frame of Reference, Theses, Conjectures, Arguments, and an Historical Perspectives on the Role of Intellectuals and Intelligentsia in the International Class Contest in the Modern Era.* New York: Continuum.
- Gouldner, Alvin W. (1978), «The New Class project, I», *Theory and Society* 6: 153–203.
- Graber, Doris (2003), «The media and democracy: beyond myths and stereotypes», *Annual Review of Political Science* 6: 139–160.
- Graetz, Michael und Ian Shapiro (2005), *Death by a Thousand Cuts: The Fight over Taxing Inherited Wealth.* Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Green, Duncan (2008), *From Poverty to Power. How Active Citizens and Effective States can Change the World.* Bourton on Dunsmore: Practical Action Publishing.
- Greenberg, Daniel S. (2001), *Science, Money, and Politics. Political Triumph and Ethical Erosion.* Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Grint, Keith und Steve Woolgar (1997), *The Machine at Work. Technology, Work and Organization.* Oxford: Polity Press.
- Grofman, Bernard und Barbara Norrander (1990), «Efficient use of reference group cues in a single dimension», *Public Choice* 64: 213–227.
- Grosjean, Pauline und Claudia Senik (2011), «Democracy, market liberalization, and political preferences», *The Review of Economics and Statistics* 93: 365–381.
- Grube, Norbert (2010), «Mass democracy and political governance. The Walter Lippman –John Dewey debate», in: Daniel Tröger, Thomas Schlag und Fritz Osterwalder (Hg.), *Pragmatism and Modernities.* Rotterdam: Sense Publishers, S. 145–161.
- Gruber, Helmut (1991), *Red Vienna. Experiments in Working-Class Culture 1919–1934.* Oxford: Oxford University Press.
- Grundmann, Reiner und Nico Stehr (2010), *Expertenwissen. Die Kultur und die Macht von Experten, Beratern und Ratgebern.* Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Grundmann, Reiner und Nico Stehr (2011), *Die Macht der Erkenntnis.* Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Gunn, J.A.W. (1995), «"Public Opinion" in modern political science», S. 99–123, in: James Farr, John S. Dryzek and Stephen T. Leonhard

- (Hg.), *Political Science in History*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Haber, Stephen and Victor Menaldo (2011), «Do natural resources fuel authoritarianism? A reappraisal of the resource curse», *American Political Science Review* 105: 1–26.
- Habermas, Jürgen (2006a), «Political communication in media society: Does democracy still enjoy an epistemic dimension? The impact of normative theory on empirical research», *Communication Theory* 16: 411–424.
- Habermas, Jürgen (2006b), «Ein avantgardistischer Spürsinn für Relevanzen. Was den Intellektuellen auszeichnet», Preisrede anlässlich der Verleihung des Bruno–Kreisky–Preises für das politische Buch 2005 am 9. März 2006 im Großen Festsaal der Universität Wien. <http://www.renner-institut.at/download/texte/habermas2006-03-09.pdf> (aufgerufen 30. August 2011).
- Habermas, Jürgen (1998), «Die postnationale Konstellation und die Zukunft der Demokratie», Vortrag anlässlich des Kulturforums der Sozialdemokraten am 5. Juni 1998 im Willy–Brandt–Haus, Berlin.
- Habermas, Jürgen (1968), *Erkenntnis und Interesse*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Habermas, Jürgen (1962), *Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*. Neuwied: Luchterhand.
- Haggard, Stephan und Robert R. Kaufmann (2012), «Inequality and regime change: Democratic transitions and the stability of democratic rule», *American Political Science Review* DOI: 10.1017/S0003055412000287
- Haggard, Stephan und Robert R. Kaufmann (1997), «The political economy of democratic transitions», *Comparative Politics* 29: 262–283.
- Haldane, Andrew (2009), «Rethinking the financial network, speech delivered at the Financial Student Association, Amsterdam, [Online] Available at <http://www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/2009/speech386.pdf> (Abgerufen am 10. November 2012).
- Hardin, Garrett (1977), «Living on a lifeboat», in: Baden, John A. und Garrett Hardin, (eds.), *Managing the Commons*. San Francisco: W.H. Freeman.

- Hardin, Russell J. (2006), «Ignorant democracy», *Critical Review* 18:179–195.
- Hardin, Russell J. (2003), «If it rained knowledge», *Philosophy of the Social Sciences* 33: 3–24.
- Hardin, Russell J. (2002), "Street-level epistemology and democratic participation», *The Journal of Political Philosophy* 10: 212–229.
- Hayek, Friedrich A. ([1960] 2005), *Die Verfassung der Freiheit*. Gesamelte Schriften in deutscher Sprache Band 3. 4. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck.
- Hayek, Friedrich A. ([1945] 1976), «Die Verwertung des Wissens in der Gesellschaft», S. 103–121, in: Friedrich A. Hayek, *Individualismus und wirtschaftliche Ordnung*, Salzburg: Wolfgang Neugebauer.
- Hayek, Friedrich A. ([1939] 1997), «Freedom and the economic system», S. 189–211, in: Friedrich A. Hayek, *War and Socialism*. *Collected Works of Friedrich A. Hayek*. Volume 10. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Heilbroner, Robert L. (1994), «Technological determinism revisited», S. 67–78, in: Merritt Roe Smith and Leo Marx (Hg.), *Does Technology Drive History?*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Heilbroner, Robert L. ([1967] 1994), «Do machines make history», S. 53–66, in: Merritt Roe Smith and Leo Marx (Hg.), *Does Technology Drive History?*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Heilbroner, Robert L. (1974), *An Inquiry into the Human Prospect*. New York: W.W. Norton.
- Held, David (1991) «Democracy, the nation-state and the global system», *Economy and Society* 20: 138–171.
- Held, David (1991), «The possibilities of democracy», *Theory & Society* 20: 875–889.
- Helliwell, John F. (1994), «Empirical linkages between democracy and economic growth», *British Journal of Political Science* 25: 225–248.
- Hennis, Wilhelm (1977), «Zur Begründung der Fragestellung», S. 9–21, in: Wilhelm Hennis, Peter Graf Kielmansegg und Ulrich Matz (Hg.), *Regierbarkeit. Studien zu ihrer Problematisierung*. Band 1. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hess, David J. (2005), «Technology- and product-oriented movements: approximating social movements studies and science and technology studies», *Science, Technology & Human Values* 30: 515–535.

- Hess, David J. (1997), *Science Studies. An Advanced Introduction*. New York: New York University Press.
- Hill, Christopher (1967), «Review of Peter Laslett's *The World We Have Lost*», *History and Theory* 6: 117–127.
- Hillebrandt, Maarten (2008), «Rejection by Referendum: a New Expression of Discontent in the EU», *Reinvention: a Journal of Undergraduate Research*, Volume 1, Issue 2, <http://www2.warwick.ac.uk/go/reinventionjournal/issues/volume1issue2/Hillebrandt> (Abgerufen am 30. September 2011).
- Hilpinen, Risto (1970), «Knowing that one knows and the classical definition of knowledge», *Synthese* 21: 109–132.
- Hindman, Matthew (2009), *The Myth of Digital Democracy*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Hippel, Eric von. (2006), *Democratizing Innovation*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Hirschman, Albert O. (1989), «Having opinions – one of the elements of well being?», *The American Economic Review* 79: 75–79.
- Hirschman, Albert O. (1970), *Exit, Voice, and Loyalty*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hisschemöller, Matthijs (2005), «Participation as knowledge production and the limits of democracy», in: Sabine Maasen und Peter Weingart (Hg.), *Democratisation of Expertise? Exploring Novel Forms of Scientific Advice in Political Decision-Making*. *Sociology of the Sciences Yearbook* 24: 189–208.
- Hobsbawm, Eric ([2007] 2008), *Globalisation, Democracy and Terrorism*. London: Abacus (Little, Brown).
- Hobsbawm, Eric (1996), «The future of the state», *Development and Change* 27: 267–278.
- Hobsbawm, Eric ([1994] 1996), *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914–1991*. London: Michael Joseph.
- Hörning, Karl H. (2001), *Experten des Alltags. Die Wiederentdeckung des praktischen Wissens*. Weilerswist. Velbrück Wissenschaft.
- Holbrook, Thomas M. (2002), «Presidential campaigns and the knowledge gap», *Political Communication* 19: 437–454.
- Hollinger, David A. ([1983] 1996), «The Defense of Democracy and Robert K. Merton's Formulation of the Scientific Ethos», in David A. Hollinger, *Science, Jews, and Secular Culture: Studies in Mid-Twentieth*

- Century American Intellectual History. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, S. 80–96.
- Hollinger, David A. (1995), «Science as a weapon in Kulturkampf in the United States and after World War II», *Isis* 86: 440–454.
- Holton, Gerald (1996), *Einstein, history, and other passions*. Reading, MA: Addison–Wesley.
- Holton, Gerald (1986), «The advancement of science, and its burdens», *Daedalus* 115: 75, 77–104.
- Holzner, Claudio A. (2007), «The poverty of democracy: neoliberal reforms and political participation of the poor in Mexico», *Latin American Politics and Society* 49: 87–122.
- Hondrich, Karl Otto (1984), «Der Wert der Gleichheit und der Bedeutungswandel der Ungleichheit», *Soziale Welt* 35: 267–293.
- Horkheimer, Max and Theodor W. Adorno (1982), *Dialectic of the Enlightenment*. New York: Pantheon Books.
- Horkheimer, Max. (1947), *The Eclipse of Reason*. New York: Oxford University Press.
- Horkheimer, Max ([1932] 1998), «Bemerkungen über Wissenschaft und Krise», S. 40–47, in: Max Horkheimer, *Gesammelte Schriften*. Band 3: *Schriften 1931–1936*. Frankfurt am Main: S. Fischer.
- Houtman, Dick (1998), «Culture, industrialism and modernity», Paper presented at the World Congress of Sociology, Montreal, Quebec, Canada, July 26 – August 1.
- Howitt, Peter ([1996] 1998) «On some problems in measuring knowledge-based growth», in: Dale Neef (ed.), *The Knowledge Economy*. Boston: Butterworth–Heinemann, pp. 97–117.
- Hoyman, Michele und Christopher Faricy (2008), «It takes a village. A test of the creative class, social capital, and human capital theories», *Urban Affairs Review*, doi: 10.1177/1078087408321496.
- Huber, Evelyne, Dietrich Rueschemeyer und John D. Stephens (1993), «The impact of economic development on democracy», *Journal of Economic Perspectives* 7: 71–85.
- Huber, George F. (1991), «Organization learning: The contributing processes and the literatures», *Organization Science* 2: 88–115.
- Hug, Simon and Pascal Sciarini (2000), «Referendums on European integration: Do institutions matter in voter's decision», *Comparative Political Studies* 33: 3–36.

- Hume, David ([1777] 1985), *Essays: Moral, Political and Literary*. Indianapolis: Liberty Classics.
- Huntington, Samuel P. (1993), «The clash of civilizations», *Foreign Affairs* 72: 22–49.
- Huntington, Samuel P. (1993), «Postindustrial politics: how benign will it be?», *Comparative Politics* 6: 163–191.
- Huntington, Samuel P. (1991), *The Third Wave. Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
- Huntington, Samuel P. (1987), *Understanding Political Development*. Boston, Massachusetts: Little, Brown.
- Huntington, Samuel P. (1984), «Will more countries become democratic?», *Political Science Quarterly* 99: 193–218.
- Huntington, Samuel P. (1975), «The United States», S. 55–118, in: Michel Crozier, Samuel P. Huntington und Joji Watanuki (Hg.), *The Crisis of Democracy*. New York: New York University Press.
- Huntington, Samuel P. (1974), «Postindustrial Politics: How Benign Will It Be?», *Comparative Politics* 6: 163–191.
- Huntington, Samuel P. (1968), *Political Order in Changing Societies*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Huntington, Samuel P. (1965), «Political development and political decay», *World Politics* 17: 386–430.
- Hupe, Peter and Arthur Edwards (2011), «The accountability of power: Democracy and governance in modern times», *European Political Science Review*, <http://dx.doi.org/10.1017/S1755773911000154>.
- Hyman, Herbert and P. Sheatsley (1947), «Some reasons why information campaigns fail», *Public Opinion Quarterly* 11: 412–423.
- Ibarra, Andoni und Thomas Mormann (2003), «Engaged scientific inquiry in the Vienna Circle: the case of Otto Neurath», *Technology in Society* 25: 235–247.
- Inglehart, Ronald und Christian Welzel (2010), «Changing mass priorities: The link between modernization and democracy», *Perspectives on Politics* 8: 551–567.
- Inglehart, Ronald und Christian Welzel (2005), *Modernization, Cultural Change and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Inglehart, Ronald (2003), «How solid is mass support for democracy — and how can we measure it?», *PS: Political Science & Politics* 36: 51–57.
- Inglehart, Ronald (2000), «Culture and democracy», S. 80–97, in: Lawrence E. Harrison und Samuel P. Huntington (Hg.), *Culture Matters. How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Inglehart, Ronald (1997), *Modernization and Postmodernization. Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Inglehart Ronald (1997b), «Postmaterialist values and the erosion of institutional authority», S. 217–236, in: Joseph S. Nye, Philip D. Zelikow and David C. King (Hg.), *Why People Don't Trust Government*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Inglehart, Ronald (1987), «Value change in industrial society», *American Political Science Review* 81: 1289–1303.
- Inglehart, Ronald (1977), *The Silent Revolution*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart, Ronald and Paul R. Abramson (1994), «Economic security and value change», *American Political Science Review* 88: 336–354.
- Inglehart, Ronald (1971), «The silent revolution in Europe: intergenerational change in post-industrial societies», *American Political Science Review* 65: 999–1017.
- Innis, Harold ([1950] 2007), *Empire and Communications*. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield.
- Inoguchi, Takashi (2002), «Broadening the basis of social capital in Japan», S. 358–392, in: Robert D. Putnam (Hg.), *Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*. New York, New York: Oxford University Press.
- Irwin, Alan ([1995] 1999), «Science and citizenship», S. 14–36, in: Eileen Scanlon, Elizabeth Whitelegg and Simeon Yates (Hg.), *Communicating Science: Contexts and Channels. Reader 2*. London: Routledge.
- Iyengar, Shanto (1991). *Is Anyone Responsible? How Television Frames Political Issues*. Chicago: University of Chicago Press.
- Jacob, (2010), «Democracy and capitalism: Structure, agency, and organized combat», *Politics & Society* 38: 243–254.
- Jacobson, Jo und Indra de Soysa (2006), «Do foreign investors punish democracy? Theory and empirics, 1984–2001», *Kyklos* 59: 383–410.

- Jaffer, Jameel (2010). «The mosaic theory», *Social Research* 77: 873–882.
- James, William (1890), *Principles of Psychology*. Band Eins. New York: Dover Publications.
- Jarvie, Ian C. (2001), «Science in a democratic republic», *Philosophy of Science* 68: 545–564.
- Jasanoff, Sheila (2009), «The essential parallel between science and democracy», *Seed Magazine*. http://seedmagazine.com/content/article/the_essential_parallel_between_science_and_democracy/.
- Jasanoff, Sheila (2003), «Breaking the waves in science studies. Comment on H.M. Collins and Robert Evans 'The third wave of science studies'», *Social Studies of Science* 33: 389–400.
- Jasanoff, Sheila (1990), *The Fifth Branch. Science Advisors as policy-makers*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Jashapara, Ashok (2005), *Knowledge Management: An Integrated Approach*. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
- Jeffres, Leo W. Kimberly Neuendorf and David J. Atkin (2012), «Acquiring knowledge from the media in the Internet age», *Communication Quarterly*, 60: 59–79
- Jennings, M. Kent (1996), «Political knowledge over time and across generations», *Public Opinion Quarterly* 60: 228–252.
- Jermier, John M., David Knights und Walter R. Nord (Hg.) (1994), *Resistance and Power in Organizations*. London: Routledge.
- Jörke, Dirk (2005), «Auf dem Weg zur Postdemokratie», *Leviathan* 33: 482–491.
- Johann, David (2008), «Probleme der befragungsbasierten Messung von Faktenwissen», *Sozialwissenschaften und Berufspraxis* 31: 53–65.
- Jones, Gareth Stedman (2004). *An End to Poverty? A Historical Debate*. New York: Columbia University Press.
- Judt, Tony (2005), *Postwar. A History of Europe since 1945*. London: William Heinemann.
- Jung, Nakwon Yonghwan Kim and Homero Gil de Zúñiga (2011), «The mediating role of knowledge and efficacy in the effects of communication on political participation», *Mass Communication and Society*, 14: 407–430
- Kahan, Dan M., Hank Jenkins-Smith und Donald Braman (2011), «Cultural cognition of scientific consensus», *Journal of Risk Analysis* 14: 147–174.

- Kahan, Dan M., Paul Slovic, Donald Braman, and John Gastil (2006), «Fear of democracy: A cultural evaluation of unstein on Risk», *Harvard Law Review* 119: 1071–1109
- Kalleberg, Ragnvald (2010), «The ethos of science and ethos of democracy», in: Craig J. Calhoun (Hg.), Robert K. Merton: *Sociology of Science and Sociology as Science*. New York: Columbia University Press.
- Kalleberg, Ragnvald (2007), «A reconstruction of the ethos of science», *Journal of Classical Sociology* 72: 137–160.
- Kallen, Horace M. 1934, «Pragmatism», in: Edwin R.A. Seligman (Hg.), *Encyclopedia of the Social Sciences*. Volume 12. New York: Macmillan.
- Kant, Immanuel (1783), «Was ist Aufklärung?», *Berlinische Monatsschrift*, Bd. 4, Zwölftes Stück, S. 481–494 .
- Kanter, Rosabeth Moss (1995), *World Class: Thriving Locally in the Global Economy*. New York: Simon & Schuster, 1995.
- Kanter, Rosabeth Moss (1991), «The future of bureaucracy and hierarchy in organizational theory: a report from the field», in: Pierre Bourdieu und James S. Coleman (Hg.), *Social Theory for a Changing Society*, Boulder, Colorado: Westview Press, S. 63–87.
- Kaplan, Robert D. (2012), *The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle Against Fate*. New York: Random House.
- Karatnycky, Adrian und Peter Ackerman (2005), «How Freedom Is Won: From Civic Resistance to Durable Democracy». Freedom House Report. Washington, DC: Freedom House.
- Katz, Elihu (1987), «Communication research since Lazarsfeld», *Public Opinion Quarterly* 51, S25–S45.
- Katz, Elihu und Paul F. Lazarsfeld ([1955] 1962), *Persönlicher Einfluß und Meinungsbildung*. München: Oldenbourg.
- Katz, Lawrence F. and Kevin M. Murphy (1992), «Changes in relative wages, 1963–1987: Supply and demand factors», *Quarterly Journal of Economics* 107: 35–78.
- Kaufmann, Felix (1959), «John Dewey's Theory of Inquiry», *The Journal of Philosophy* 56: 826–836.
- Kay, John (2010), *Obliquity. Why Our Goals are Best Achieve Indirectly*. London: Profile Books.
- Keane, John (2009), *The Life and Death of Democracy*. London: Simon & Schuster.

- Keating, Peter, Cambrosio Alberto (1998) «Interlaboratory life: regulating flow cytometry», in: Gaudillière JP, Löwy I, (eds.), *The Invisible industrialist: manufacturers and the construction of scientific knowledge*. London: Macmillan, pp. 250–295.
- Kennedy, Duncan (2010), «Knowledge and the political: Bruno Latour's political epistemology», *Cultural Critique* 74: 83–97.
- Kennedy, Robert F. (1968), *Remarks of Robert F. Kennedy at the University of Kansas, March 18, 1968*, John F. Kennedy Presidential Library and Museum. www.jfklibrary.org.
- Kennedy, Ryan (2010b), «The contradiction of modernity: A conditional model of endogenous democratization», *The Journal of Politics* 72: 785–798.
- Keohane, Robert O. (2006), «Accountability in world politics», *Scandinavian Political Studies* 29: 75–87.
- Kerr, Clark (1963) *The Uses of the University*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Keynes, John M. (1936), *General Theory of Employment, Interest and Money*. London: Macmillan.
- Keynes, John Maynard (1930), «Economic possibilities for our grandchildren», in: John Maynard Keynes, *Essays in Persuasion*. London: Macmillan, S. Keynes, John Maynard ([1919] 2009), *The Economic Consequences of the Peace*. Rockville, Maryland: Serenity Publishers.
- Kimmo, Elo und Lauri Rapeli (2011), «Determinants of political knowledge: The effects of the Media on knowledge and information», *Journal of Elections, Public Opinion & Parties* 20: 133–146.
- Kirchheimer, Otto (1959), «Majoritäten und Minoritäten in westeuropäischen Regierungen», *Die neue Gesellschaft* 6: 256–270.
- Kitcher, Philip (2011), «Public knowledge and its discontents», *Theory and Research in Education* 9: 103–124.
- Kitcher, Philip (2006), «Public knowledge and the difficulties of democracy», *Social Research* 73: 1205–1224.
- Kitcher, Philip (2001), *Science, Truth, and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Klapper, Leora F., Annamaria Lusardi and Georgios A. Panos (2012), «Financial literacy and the financial crisis», NBER Working Paper Series, Working Paper 17930, <http://www.nber.org/papers/w17930>.

- Klein, Anna und Wilhelm Heitmeyer (2011), «Demokratieentlehrung und Ökonomisierung des Sozialen: Ungleichwertigkeit als Folge verschobener Kontrollbilanzen», *Leviathan* 39: 361–383.
- Kleinman, Daniel Lee (2000), *Science, Technology and Democracy*. Albany: State University of the New Press.
- Klingemann, Hans–Dieter (1999), «Mapping political support in the 1990s: A global analysis», in: Pippa Norris (Hg.), *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press, S. 31–56.
- Knight, Frank H. (1960), *Intelligence and Democratic Action*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Knight, Frank H. (1949), «Virtue and knowledge: The view of Professor Polanyi», *Ethics* 59: 271–284.
- Knight, Frank H. (1941), «The meaning of democracy: Its politico–economic structure and ideals», *The Journal of Negro Education* 10: 318–332.
- Knight, Frank H. (1938), «Lippmann's The Good Society», *Journal of Political Economy* 46: 864–872.
- Knutsen, Carl Hendrick (2011), «Which democracies prosper? Electoral rules, form of government and economic growth», *Electoral Studies* 30: 83–90.
- Koch, Adrienne und William Peden (Hg.) (1944), *The Life and the Writings of Thomas Jefferson*. New York: The Modern Library.
- Koch, Claus und Dieter Senghaas (Hg.) (1970), *Texte zur Technokratie–diskussion*. Frankfurt am Main: Europäische Verlagsanstalt.
- Koehane, Robert O. (2006), «Accountability in world politics», *Scandinavian Political Studies* 29: 75–87.
- Koestner, Robert und Kevin Callison (2011), «Adolescent cognitive and noncognitive correlates of adult health», *Journal of Human Capital* 5: 29–69.
- Konings, Martijn (2010), «The pragmatist sources of modern power», *European Journal of Sociology* 60: 55–91.
- Konrád, George und Ivan Szelényi. (1979), *The Intellectuals on the Road to Class Power*. Brighton, Sussex: Harvester.
- Kornhauser, William (1959), *The Politics of Mass Society*. Glencoe, Illinois: The Free Press.
- Koselleck, Reinhart (1989), *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

- Krohn, Wolfgang (1981), «"Wissen ist Macht": Zur Soziogenese eines neuzeitlichen wissenschaftlichen Geltungsanspruchs», in Kurt Bayertz (ed.), *Wissenschaftsgeschichte und wissenschaftliche Revolution*. Köln: Pahl–Rugenstein, pp. 29–57.
- Krohn, Wolfgang and Johannes Weyer (1989), «Gesellschaft als Labor. Die Erzeugung sozialer Risiken durch experimentelle Forschung», *Soziale Welt* 40: 349–373.
- Kuhn, Robert L. (2003), «Science as democratizer», *American Scientist Online* (September–October) <http://www.americanscientist.org/issues/pub/science-as-democratizer>.
- Kuklinski, James N., Paul J. Quirk, Jennifer Jerit und Robert F. Rich (2001), «The political environment and citizen competence», *American Journal of Political Science* 45: 410–424.
- Kuklinski, James H., Paul J. Quirk, Jennifer Jerit, David Schwieder und Robert F. Rich (2000), «Misinformation and the currency of democratic citizenship», *The Journal of Politics* 62: 790–816.
- Kuklinski, James H. (1997), «Review of Michael X. Delli Carpini und Scott Keeter, *What Americans know about Politics and why it Matters*», *The Journal of Politics* 59: 925–999.
- Kuklinski, James A. (1990), «Information and the study of politics», S. 391–395, in: Forejohn, John A. und James H. Kuklinski (1990), *Information and Democratic Processes*. Urbana and Chicago: University of Illinois Press.
- Kuklinski, James H., Metlay, Daniel S. und W.D. Kay (1982), «Citizen knowledge and choices on the complex issue of nuclear energy», *American Journal of Political Science* 26: 615–642.
- Kurtz, Markus J. (2004), «The dilemmas of democracy in the open economy: lessons from Latin America», *World Politics* 56: 262–302.
- Kuznets, Simon (1973), «Modern economic growth: findings and reflections», *American Economic Review* 63: 247–258.
- Kuznets, Simon (1955), «Economic growth and income inequality», *American Economic Review* 45: 18–30.
- Laird, Frank N. (1993), «Participatory analysis, democracy, and technological decision making», *Science, Technology & Human Values* 18: 341–361.
- Lakoff, Sanford A. (1971), «Knowledge, power and democratic theory», *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 394: 4–12.

- Lambert, Ronald D., James E. Curtis, Barry J. Kay, Steven D. Brown (1988), «The Social Sources of Political Knowledge», *Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique* 21: 359–374.
- Lane, Robert E. (1966), «The decline of politics and ideology in a knowledgeable society», *American Sociological Review* 31: 649–662.
- Lane, Robert E. (1953), «Political character and political analysis», *Psychiatry* 16: 387–398.
- Landes, David S. (1998), *The Wealth and Poverty of Nations. Why Some are So Rich, and Some are Poor*. New York, New York: W.W. Norton.
- Lakoff, Sanford (1971), «Knowledge, power, and democratic theory», *Annals of the American Academy of Political and Social Science* 394: 4–12.
- Lakoff, Sanford A. (1966), *Knowledge and Power. Essays on Science and Government*. New York: The Free Press.
- Lapp, Ralph (1965), *The New Priesthood: The Scientific Elite and the Uses of Power*. New York: Harper and Row.
- Larson, Magali Sarfatti (1990), «In the matter of experts and professionals, or how impossible it is to leave nothing unsaid», S. 24–50, in: Rolf Torstendahl and Michael Burrage (Hg.), *The Formation of Professions. Knowledge, State and Strategy*. London: Sage.
- Lasswell, Harold D. (1966), *The Analysis of Political Behavior. An Empirical Approach*. Hamdon, Connecticut: The Shoestring Press.
- Latour, Bruno (1999), *Pandora's Hope. Essays on the Reality of Science Studies*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Lazarsfeld, Paul F. (1948), «Communication research and the social psychologist», in: Wayne Dennis (Hg.), *Current Trends in Social Psychology*. Pittsburgh, Pennsylvania: University of Pittsburg Press.
- Lazarsfeld, Paul F. und Robert K. Merton ([1948] 1957), «Mass communication, popular taste and organized social action», in: Bernhard Rosenberg und David Manning White (Hg.), *Mass Culture. The Popular Arts in America*, New York: Free Press, S. 457–473.
- Leeson, Peter T. (2008), «Media freedom, political knowledge, and participation», *Journal of Economic Perspectives* 22: 155–169.
- Leibholz, Gerhard (1938), «The nature and various forms of democracy», *Social Research* 5: 84–100.
- Leighninger, Matt (2006). *The Next Form of Democracy. How Expert Rule is Giving Way to Shared Governance and Why Poli-*

- tics will Never be the Same. Nashville, Tennessee: Vanderbilt University Press.
- Lemert, Charles C. und Garth Gillan (1982) Michel Foucault: Social Theory as Transgression. New York: Columbia University Press.
- Lerner, Daniel (1959), «Social science: whence and whither?», in: Daniel Lerner (Hg.), The Human Meaning of the Social Sciences. Original Essays on the History and the Application of the Social Sciences. Cleveland, Ohio: The World Publishing Company, S. 13–39.
- Lerner, Daniel (1958), The Passing of Tradition Society. Glencoe: Free Press.
- Levi, Margaret and Laura Stoker (2000), «Political trust and trustworthiness», Annual Review of Political Science 3: 475–507.
- Leyshon, Andrew and Nigel Thrift (1997) Money/Space. Geographies of Monetary Transformation. London: Routledge.
- Liberatore, Angela and Silvio Funtowicz (2003), «Democratising expertise, expertising democracy: What does it mean, and why bother?», Science and Public Policy 30: 146–150.
- Liebowitz, Stan J. und Alejandro Zentner (2012), «Class of the titans: Does Internet use reduce television viewing», The Review of Economics and Statistics 94: 234–245.
- Lijphart, Arend (1977), Democracy in Plural Societies. New Haven: Yale University Press.
- Lindblom, Charles E. (2001), The Market System. What it is, How it Works, and What to Make of it. New Haven: Yale University Press.
- Lindblom, Charles E. (1995) «Market and democracy — obliquely», PS: Political Science & Politics 28: 684–688.
- Linos, Katerina (2011), «Diffusion through democracy», American Journal of Political Science 55: 678–695.
- Lippmann, Walter. [1922] 1997. Public Opinion. New York: Free Press.
- Lipset, Seymour ([1960] 1962), Soziologie der Demokratie. Neuwied: Luchterhand.
- Lipset, Seymour Martin (1959), «Some social requisites of democracy: economic development and political legitimacy», American Political Science Review 53: 69–105.
- Lipset, Seymour Martin, Martin A. Trow und James S. Coleman (1959), Union Democracy. The Internal Politics of the International Typographical Union. Glencoe, Illinois: The Free Press.

- Lipsky, Michael (1968), «Protest as a political resource», *American Political Science Review* 62: 1144–1158.
- Loader, Brian D. und Dan Mercea (2011), «Social media innovations and participatory politics», *Information, Communication & Society* 14: 757–769.
- Lorenz, Edward und Bengt–Åke Lundvall (2011), «Accounting for creativity in the European Union: A multi–level analysis of individual competence, labour market structure, and systems of education and training», *Cambridge Journal of Economics* 35: 269–294.
- Lovelock, James (2009), *The Vanishing Face of Gaia. A Final Warning*, New York; Basic Books.
- Lovelock, James (2006), *The Revenge of Gaia. Why the Earth is Fighting Back – and How We Can Still Save Humanity*. London: Allen Lane.
- Lowe, Adolph (1971), «Is present–day higher learning "relevant"?», *Social Research* 38: 563–580.
- Luckmann, Thomas ([1982] 2002), «Individuelles Handeln und gesellschaftliches Wissen», S. 69–89, in: Thomas Luckmann, *Wissen und Gesellschaft*. Konstanz: UVK.
- Lübbe, Hermann (2005), *Die Zivilisationsökumene. Globalisierung kulturell, technisch und politisch*. München: Wilhelm Fink Verlag.
- Luhmann, Niklas (2002), *Einführung in die Systemtheorie*. Heidelberg: Carl–Auer–Systeme Verlag.
- Luhmann, Niklas (2002b). *Das Erziehungssystem der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1997), *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1992), *Beobachtungen der Moderne*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Luhmann, Niklas (1990), *Die Wissenschaft der Gesellschaft*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1987), «Enttäuschungen und Hoffnungen. Zur Zukunft der Demokratie», in: Niklas Luhmann, *Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaft*. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 133–141.
- Luhmann, Niklas ([1986] 1987), «Die Zukunft der Demokratie», in: Niklas Luhmann, *Soziologische Aufklärung 4. Beiträge zur funktionalen*

- Differenzierung der Gesellschaft. Opladen: Westdeutscher Verlag, S. 126–132.
- Luhmann, Niklas (1984), *Soziale Systeme*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Luhmann, Niklas (1979), «Erleben und Handeln», in Hans Lenk (Hrsg.), *Handlungstheorien interdisziplinär*, Bd. II, 1. München 1979, S. 235–253.
- Luhmann, Niklas (1970), «Selbststeuerung der Wissenschaft», in Niklas Luhmann, *Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme*. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970.
- Luhmann, Niklas (1969), «Normen in soziologischer Perspektive», *Soziale Welt* 20: 28–48.
- Lukes, Steven (2007), «The problem of apparently irrational beliefs», S. 591–606, in: Stephen P. Turner and Mark W. Risjord (Hg.), *Philosophy of Anthropology and Sociology. Handbook of the Philosophy of Science*. Amsterdam: Elsevier.
- Lukes, Steven (1977), *Essays in Social Theory*. New York: Columbia University Press.
- Lupia, Arthur und Mathew D. McCubbins (1998), *The Democratic Dilemma. Can Citizens Learn What They Need To Know*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lupu, Noam und Jonas Pontusson (2011), «The structure of inequality and the politics of redistribution», *American Political Science Review* 105: 316–336.
- Luskin, Robert C. (1987), «Measuring political sophistication», *American Journal of Political Science* 31: 856–899.
- Lyotard, Jean-François [1979] 1984, *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*. Minnesota: University of Minnesota Press.
- Maasen, Sabine und Peter Weingart (2004), *Democratization of Expertise. Exploring novel Forms of Scientific Advice in Political–Decision–Making*. Dordrecht: Kluwer.
- Machlup, Fritz (1983), «Semantic quirks in studies of information», in: Fritz Machlup und Una Mansfield (eds.), *The Study of Information*. New York: Wiley.
- Machlup, Fritz (1979), «Use, value, and benefits of knowledge», *Knowledge* 1: 62–81.

- Machlup, Fritz (1962), *Funtion and Distribution of Knowledge in the United States*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- MacKenzie, Donald (2006), *An Engine, Not a Camera. How Financial Models Shape Markets*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- MacLeod, Roy (1997), «Science and democracy: historical reflections on present discontents», *Minerva* 35: 369–384.
- Macpherson, Crawford B. (1962), *The Political Theory of Possessive Individualism*. New York: Oxford University Press.
- Magnusson, Warren (1996), *The Search for Political Space. Globalization, Social Movements, and the Urban Political Experience*. Toronto: University of Toronto Press.
- Maier, Hans (1971), «Zur neueren Geschichte des Demokratiebegriffs», in: Klaus von Beyme (Hg.), *Theory and Politics—Theorie und Politik. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim Friedrich*. Haag: Martinus Nihoff, S. 127–161.
- Malik, Suheil (2005), «Information and knowledge», *Theory, Culture & Society* 22: 29–49.
- Mannheim, Karl (1929), *Ideologie und Utopie*. Bonn: Friedrich Cohen.
- Mannheim, Karl ([1928] 1964), «Das Problem der Generationen», S. 509–565, in: Kurt H. Wolff (Hg.), *Karl Mannheim: Wissenssoziologie. Auswahl aus seinem Werk*. Neuwied am Rhein: Luchterhand.
- Mannheim, Karl (1940), *Man and Society in an Age of Reconstruction*. London: Routledge.
- Mansell, Robin (2002), «From digital divides to digital entitlements in knowledge societies», *Current Sociology* 50: 407–426.
- Mansfield, Edward D. and Jon Pevehouse (2006), *Democratization and the Varieties of International Organizations*. Conference on The New Science of International Organizations, University of Pennsylvania.
- Marcuse, Herbert ([1964] 1989), *Der eindimensionale Mensch. Studien zur Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft*. Schriften 7, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Markoff John (2011), «A moving target: democracy», *European Journal of Sociology* 52: 239–276.
- Markoff, John (1986), «Literacy and revolt: some empirical notes on 1789 in France», *American Journal of Sociology* 92: 323–349.

- Marks, Abigail and Chris Baldry (2009), «Stuck in the middle with who? The class identity of knowledge workers», *Work, Employment and Society* 23: 49–65.
- Marlin–Bennett, Renée (2011), «I hear America tweeting and other themes for a virtual polis: Rethinking democracy in the global info-tech age», *Journal of Information Technology & Politics* 8: 129–145.
- Marsh, Robert M. (1988), «Sociological Explanations of Economic Growth», *Studies in Comparative International Development*, 23: 41–76
- Marshall, Monty G. und Keith Jagers (2005), «Polity IV Project: Political Regime Characteristics and Transitions, 1800– 2003. «Abfrage September 30, 2010. (<http://www.systemicpeace.org/polity/polity4.htm>).
- Marshall, T.H. (1950), *Citizenship and Social Class*. Cambridge: Cambridge University Press.
- McCarthy, John D. und Mayer N. Zald (1977), «Resource mobilization and social movements, *American Journal of Sociology* 82: 1212–1241.
- McDonnell, Gavan (1997), «Scientific and everyday knowledge: trust and the politics of environmental initiatives», *Social Studies of Science* 27: 819–863.
- McGinnis, John O. (2006), «Age of the empirical», *Policy Review* 137: 47–58.
- McKibben, Bill (2012), «Global Warming’s Terrifying New Math — Three simple numbers that add up to global catastrophe — and that make clear who the real enemy is», *Rolling Stones* July 19.
- McLuhan, Marshall (1964), *Understanding Media*. New York: McGraw Hill.
- McNair, Brian (2000), *Journalism and Democracy. An Evaluation of the Political Public Sphere*. London: Routledge.
- Mead, George H. (1923), «Scientific method and the moral sciences», *International Journal of Ethics* 33: 229–247.
- Meadows, Dennis (2011), «From 40 Years Observing Limits to Growth: Perspectives on Growth, Wellbeing, Quality of Life», *Anhörung vor dem Deutschen Bundestag*, 24. Oktober 2011.
- Megill, Allan (1985), *Prophets of Extremity. Nietzsche, Heidegger, Foucault, Derrida*. Berkeley, California: University of California Press.
- Mensch, Kirsten und Jan C. Schmidt (Hg) 2003, *Technik und Demokratie*. Opladen: Leske + Budrich.
- Merton, Robert K. ([1942] 1996), «The ethos of science», S. 267–276, in: Robert K. Merton, *On Social Structure and Science*, Edited and with an Introduction by Piotr Sztompka. Chicago: University of Chicago Press.

- Merton, Robert K. (1995), «The Thomas theorem and the Matthew Effect», *Social Forces* 74: 379–424.
- Merton, Robert K. (1988), «The Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property», *Isis* 79: 606–623.
- Merton, Robert K. (1989), «Unanticipated Consequences and Kindred Sociological Ideas: A Personal Gloss», S. 307–329 in Mongardini und Tabboni (Hg.), *Opera di R. K. Merton e la Sociologica Congemporeana*. Genova: Edizioni Culturali Internazionali Genova.
- Merton, Robert K. (1976), *Sociological Ambivalence and Other Essays*. New York: Free Press.
- Merton, Robert K. ([1942] 1973), «The normative structure of science», in: Robert K. Merton, *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Merton, Robert K. (1968), «The Matthew Effect in Science», *Science* 1959: 56–63.
- Merton, Robert K. (1966), «Dilemmas of democracy in the voluntary associations», *American Journal of Nursing* 66: 1055–1061.
- Merton, Robert K. (1952), «Introduction», in: Bernard Barber, *Science and the Social Order*. New York: Free Press.
- Merton, Robert K. ([1957] 1973), «Priorities in scientific discoveries», S. 286–324, in: Robert K. Merton, *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Merton, Robert K. ([1942] 1985), «Die normative Struktur der Wissenschaft», S. 86–99, in: Robert K. Merton, *Entwicklung und Wandel von Forschungsinteressen. Aufsätze zur Wissenschaftssoziologie*. Eingeleitet und Herausgegeben von Nico Stehr. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Merton, Robert K. (1957), «Introduction: Studies in the sociology of science», in: Robert K. Merton, *Social Theory and Social Structure*. Revised and Enlarged Edition. New York: Free Press, S. 531–556.
- Merton, Robert K. (1942), «A note on science and democracy», *Journal of Legal and Political Sociology* 1: 115–126.
- Merton, Robert K. (1939), «Bureaucratic structure and personality», in: *Social Forces* 18: 560–568.

- Merton, Robert K. ([1938] 1973), «Science and the social order», in: Robert K. Merton, *The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, S. 254–266.
- Merton, Robert K. (1936), «The unanticipated consequences of purposive social action», *American Sociological Review* 1: 894–904.
- Mettler, Suzanne (2007), «Bringing government back into civic engagement: Considering the role of public policy», *International Journal of Public Administration* 30: 643–650.
- Mettler, Suzanne und Joe Soss (2004), «The consequences of public policy for democratic citizenship: Bridging policy studies and mass politics», *Perspectives on Politics* 55–73.
- Meyer, John W., John Boli, George M. Thomas, and Francisco O. Ramirez (1997), «World Society and the Nation–State», *American Journal of Sociology* 103: 144–81.
- Meyer, John W., Kamens, D. and Aaron Benavot (1992), *School Knowledge for the Masses*. Washington, DC: Falmer.
- Michel, Patrick (1992), «Religious renewal or political deficiency: Religion and democracy in central Europe», *Religion, State and Society* 20: 339–344.
- Michels, Robert ([1915] 1970), *Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Untersuchungen über die oligarchischen Tendenzen des Gruppenlebens*, Stuttgart: Alfred Kröber.
- Michels, Robert ([1908] 1987), «Die oligarchischen Tendenzen der Gesellschaft», in: Robert Michels, *Masse, Führer, Intellektuelle*. Frankfurt am Main: Campus.
- Miljkovic, Dragan und Arbindra Rimal (2008), «The impact of socio–economic factors on political stability», *Journal of Socio–Economics* 37: 2454–2463.
- Milward, Alan S. (1992), *The European Rescue of the Nation–State*. Berkeley: University of California Press.
- Mill, John Stuart ([1861] 1977), «Considerations on representative government», in: *Essays on politics and society*, vol. 19 of *Collected Works of John Stuart Mill*, edited by J. M. Robson, 371–613. Toronto, Canada: University of Toronto Press.
- Mill, John Stuart ([1859] 1948) *Über die Freiheit*. Heidelberg: Freiheit Verlag.

- Miller, Melissa K. und Shannon K. Orr (2008), «Experimenting with a "third way" in estimating political knowledge», *Public Opinion Quarterly* 72: 768–780.
- Miller, Steve (2001), «Public understanding of science at the cross-roads», *Public Understanding of Science* 10: 115–120.
- Milligan, Kevin, Enrico Moretti und Philip Oreopoulos (2003), «Does education improve citizenship? Evidence from the U.S. and the U.K.», NBER Working Paper Series 9584. www.nber.org/papers/w9584.
- Mills, C. Wright (1959), *The Sociological Imagination*. New York: Oxford University Press.
- Mills, C. Wright. (1956a), *The Power Elite*. New York: Oxford University Press.
- Mills, C. Wright (1956b), *White Collar. The American Middle Class*. New York: Oxford University Press.
- Mills, C. Wright ([1955] 1967), «On knowledge and power», S. 599–613, in: C. Wright Mills, *Power, Politics & People. The Collected Essays by C. Wright Mills* edited by Irving Louis Horowitz. New York: Oxford University Press.
- Milner, Henry (2002), *Civic Literacy. How Informed Citizens Make Democracy Work*. Hanover, New England: United Press of New England.
- Minier, Jenny A. (1998), «Democracy and growth: alternative approaches», *Journal of Economic Growth* 3: 241–266.
- Minogue, Kenneth (2010), «Morals & servile mind», *The New Criterion* 28: 4–9.
- Mirowski, Philip (2004), «The scientific dimension of social knowledge and their distant echoes in 20th-century American philosophy of science», *Studies in History and Philosophy of Science* 35: 283–326.
- Mitchell, Timothy (2009), «Carbon democracy», *Economy and Society* 38: 399–432.
- Mokyr, Joel (1990), *The Lever of Riches*. Oxford: Oxford University Press.
- Mommsen, Wolfgang (1989), *The Political and Social Theory of Max Weber*. Cambridge: Polity Press.
- Mooney, Chris (2010), *Do Scientists Understand the Public?* Cambridge, Massachusetts: American Academy of Arts and Sciences.
- Moore, Barrington (1966), *The Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Boston: Beacon Press.

- Montesquieu, Charles de (1748), *The Spirit of the Laws*.
- Morgenthau, Hans J. (1970) «Reflections on the end of the republic», *New York Review of Books* 15 (September 23): 38–41.
- Morozov, Evgeny (2011), *The Net Delusion. The Dark Side of Internet Freedom*. New York, New York: Public Affairs
- Morris, Charles (1948), *The Open Self*. New York: Prentice–Hall.
- Morris, Aldon D. und Carol McClurg Mueller (Hg.) (1992), *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Moynihan, Daniel P. (1970), «The role of social scientists in action research», *SSRC Newsletter*.
- Mahdavy, Hussein (1970), «The Patterns and Problems of Economic Development in Rentier States: The Case of Iran», in: M.A. Cook (Hg.), *Studies in the Economic History of the Middle East*. London: Oxford University Press.
- Mullan, B. (1997): «Anthony Giddens», S. 74–94, in: Christopher Bryant/David Jary (Hg.), *Anthony Giddens. Critical Assessments*. Bd. 1. London: Routledge.
- Murnane, Richard J., John B. Willett, and Frank Levy (1995), «The growing importance of cognitive skills in wage determination», *Review of Economics and Statistics* 77: 251–266
- Murphy, Kevin M. und Finis Welch (1993), «Inequality and relative wages», *The American Economic Review: Papers and Proceedings*. 83: 104–109
- Murphy, Kevin M. und Finis Welch (1992), «Industrial change and the rising importance of skill», S. 101–132, in: Sheldon Danziger and Peter Gottschalk (Hg.), *Uneven Tides: Rising Inequality in the 1980s*. New York: Russell Sage Foundation.
- Nagel, Ernest (1936), «Impressions and appraisals of analytic philosophy in Europe I», *Journal of Philosophy* 33: 5–24.
- Nannestad, Peter (2008), «What have we learned about generalized trust, if anything?», *Annual Review of Political Science* 11: 413–436.
- Nonaka, Ikujiro (1994), «A dynamic theory of organization knowledge creation», *Organization Science* 5: 14–37.
- Narayan, Paresh, Seema Narayan und Russel Smith (2011), «Does democracy facilitate economic growth or does economic growth

- facilitate democracy? An empirical study of Sub-Saharan Africa», *Economic Modeling* 28: 900–910.
- Naumann, Friedrich (1909), «Von wem werden wir regiert?», *Neue Rundschau* 20: 625–636.
- Nelkin, Dorothy (1984), «Science and technology policy and the democratic process», in: James C. Peterson (Hg.), *Citizen Participation in Science Policy*. Amherst, Massachusetts: University of Massachusetts Press, S. 18–39.
- Nelkin, Dorothy (1979). «Scientific knowledge, public policy, and democracy: A review essay», *Science Communication* 1: 106–122.
- Nelkin, Dorothy (1975), «The political impact of technical expertise», *Social Studies of Science* 5: 350–54.
- Nelson, Michael A. und Ram D. Singh (1998), «Democracy, economic freedom, fiscal policy and growth in LCDs: a fresh look», *Economic Development and Cultural Change* 46: 677–696.
- Nelson, Richard R. (2008), «What enables rapid economic progress : What are the needed institutions?», *Research Policy* 37: 1–11.
- Nelson, Richard R. (2003), «On the uneven evolution of human know-how», *Research Policy* 32: 909–922.
- Nemeth, Elisabeth (1994), «Utopien für eine wissenschaftliche Sicht der Welt und des Wissens», S.97–129, in: Paul Neurath und Elisabeth Nemeth (Hg.), *Otto Neurath oder Die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft*. Wien: Böhlau.
- Neurath, Otto ([1942] 1973), «International planning for freedom», S. 422–440, in: Otto Neurath, *Empiricism and Sociology*. Dordrecht: Reidel.
- Neurath, Otto ([1930/1931] 1994), «Wege der wissenschaftlichen Weltanschauung», *Erkenntnis* 1: 106–125 [auch S. 351–367 in Paul Neurath und Elisabeth Nemeth (Hg.) (1994), *Otto Neurath oder Die Einheit von Wissenschaft und Gesellschaft*. Wien: Böhlau).
- Neurath, Otto (1946), «After six years», *Synthese* 5: 77–82.
- Neurath, Otto (1944), *Foundations of the Social Sciences*. Chicago: University of Chicago Press.
- Neurath, Otto ([1945] 1996), «Visual education: humanization versus popularization», S. 248–335, in: Juha Manninen, Elisabeth Nemeth und Friedrich Stadler (Hg.), *Encyclopedia and Utopia: The Life and Work of Otto Neurath*. Dordrecht: Kluwer.

- Neurath, Otto (1937), «Inventory of the Standard of Living», *Zeitschrift für Sozialforschung* 6: 140–151.
- Neurath, Otto (1931), *Empirische Soziologie. Der wissenschaftliche Gehalt der Geschichte und Nationalökonomie*. Wien: Julius Springer.
- Neurath, Otto (1931), «Soziologie im Physikalismus», *Erkenntnis* 2: 393–431.
- Neurath, Otto ([1908] 1998), «Die allgemeine Einführung des volkswirtschaftlichen und staatsbürgerlichen Unterrichts», S. 119–132, in: Otto Neurath, *Gesammelte ökonomische, soziologische und sozialpolitische Schriften*, 1. Herausgegeben von Rudolf Haller und Ulf Höfer. Wien: Holder–Pichler–Temsky.
- Neurath, Otto and W. Schumann, (1919), «Zur Einführung», *Wirtschaft und Lebensordnung* 1 (1919) (zitiert in Uebel 2004: 58).
- Newman, Edward and Roland Rich (2004), *The UN Role in Promoting Democracy*. New York: United Nations University Press.
- Niethammer, Lutz ([1989] 1992), *Posthistory. Has History Come to an End?* London: Verso.
- Noah, Timothy (2012), *The Great Divergence. America's Growing Inequality Crisis and What Can be Done About It*. New York, New York: Bloomsbury Press.
- Noelle–Neumann, Elisabeth (1968), *Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale Haut*. München: Langen–Müller.
- Nolte, Ernst (1993), «Die Fragilität des Triumphs. Zur Lage des liberalen Systems nach der neuen Weltordnung», *Frankfurter Allgemeine Zeitung* (151), 3. Juli.
- Nordhaus, Ted and Michael Shellqenberger (2009), «Apocalypse Fatigue: Losing the Public on Climate Change», *Environment* 360 <http://e360.yale.edu/content/feature.msp?id=2210>.
- Norris, Andrew (1996), «Arendt, Kant, and the politics of common sense», *Polity* 24: 165–191.
- Norris, Pippa (2011a), *Democratic Deficit. Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, Pippa (2011b), «Making democratic governance work: The consequences of prosperity», *Harvard Kennedy School Research Working Paper RWP11–035*.
- Norris, Pippa und Ronald Inglehart (2002), «Islamic culture and democracy: testing the "clash of civilizations" thesis», *Comparative Sociology* 1: 235–263.

- Norris, Pippa (Hg.) (1999), *Critical Citizens. Global Support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press.
- Norris, Pippa (1996), «Does television erode social capital? A reply to Putnam», *PS: Political Science and Politics* 29: 474–480.
- Nowotny, Helga (1979), *Kernenergie: Gefahr oder Notwendigkeit? Anatomie eines Konflikts*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Nussbaum, Martha C. (2000), *Women and Human Development. The Capabilities Approach*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nussbaum, Martha C. und Amartya Sen (1993), *The Quality of Life*. Oxford: Clarendon Press.
- Nye, Joseph S. Jr. (1997), «Introduction: The decline of confidence in government», S. 118, in: Joseph S. Nye Jr., Philip D. Zelikow und David C. King (Hg.), *Why People Don't Trust Government*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Nye, Joseph S. Jr. (1990), *Bound to Lead. The Changing Nature of American Power*. New York: Basic Books.
- Ober, Josiah (2012), «Democracy's dignity», *American Political Science Review* doi:10.1017/S000305541200038X
- Ober, Josiah (2010), *Democracy and Knowledge. Innovation and Learning in Classical Athens*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Offe, Claus (1979), «"Unregierbarkeit". Zur Renaissance konservativer Krisentheorien», S. 294–318, in: Jürgen Habermas (Hg.), *Stichworte zur 'Geistigen Situation der Zeit'.* Band 1: Nation und Republik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- O'Donnell, Guillermo A. and Philippe C. Schmitter (1986), «Tentative conclusions about uncertain democracies», in: Guillermo A. O'Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead (Hg.), *Transitions from Authoritarian Rule*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- O'Donnell, Guillermo A. (1978), «Reflections on the Patterns of Change in the Bureaucratic Authoritarian States», *Latin American Research Review*, 13: 3–36.
- O'Donnell, Guillermo A. (1973), *Modernization and Bureaucratic-Authoritarianism*. Berkeley, California: Institute for International Studies.

- Oliver, Pamela E. and Gerald Marwell (1992), «Mobilizing technologies for collective action», 252–272, in: Aldon D. Morris and Carol M. Mueller (Hg.), *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven: Connecticut: Yale University Press.
- Olson, Mancur (2000), «Dictatorship, democracy, and development», S. 119–137, in: Mancur Olson und Satu Kähkönen (Hg.), *A Not-So Dismal Science. A Broader View of Economics and Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Olson, Mancur (1982), *The Rise and Decline of Nations. Economic Growth, Stagflation, and Social Rigidities*. New Haven: Yale University Press.
- Olson, Mancur (1965), *The Logic of Collective Action*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- O'Neill, John (1999), «Socialism, ecology and Austrian economics», S. 123–145, in: Elisabeth Nemeth und Richard Heinrich (Hg.), *Otto Neurath: Rationalität, Planung, Vielfalt*. Wien: Oldenbourg.
- O'Neill, Onara (2002), *A Question of Trust*. BBC Reid Lectures, Cambridge: Cambridge University Press.
- Oppenheim, Felix E. (1961), *Dimensions of Freedom. An Analysis*. New York: St. Martin's Press.
- Oppenheim, Felix E. (1960), «Degrees of power and freedom», *American Political Science Review* 54: 437–446.
- Oyama, Susan (2000), *Evolution's Eye. A Systems View of the Biology – Culture Divide*. Durham, North Carolina: Duke University Press.
- Palmer, R.P. (1953), «Notes on the use of the word "democracy" 1979–1799», *Political Science Quarterly* 68: 203–226.
- Pappas, Takis S. (2008), «Political leadership and the emergence of radical mass movements in democracy», *Comparative Political Studies* 41: 1117–1140.
- Paras, Eric (2006), *Foucault 2.0. Beyond Power and Knowledge*. New York: The Other Press.
- Park, Robert E. (1940), «News as a form of knowledge: a chapter in the sociology of knowledge», *American Journal of Sociology* 45: 669–686.
- Parsons, Talcott (1963), «On the concept of political power», *Proceedings of the American Philosophical Society* 107: 232–262.

- Parsons, Talcott (1957), «The distribution of power in American society», *World Politics* 10: 123–143.
- Parsons, Talcott (1954), «A revised analytical approach to the theory of social stratification», S. 386–439, in: Talcott Parsons, *Essays in Sociological Theory*. New York: Free Press.
- Pateman, Carole (1970), *Participation and Democratic Theory*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peck, Jamie (2005), «Struggling with the creative class», *International Journal of Urban and Regional Research* 29: 740–770.
- Perrin, Andrew J. and Katherine McFarland (2011), «Social theory and public opinion», *Annual Review of Sociology* 37: 87–107.
- Persaud, Avinash (2001), «The knowledge gap», *Foreign Affairs* 80: 107–117.
- Persson, Torsten and Guido Tabellini (2007), «The growth effect of democracy: Is it heterogeneous and how can it be estimated?», NBER Working Paper 13150 <http://www.nber.org/papers/w13150>.
- Persson, Torsten und Guido Tabellini (2006), «Democracy and development: The devil in the details», *American Economic Review* 96: 319–324.
- Pew Research Center (2009), «Public praises science; scientists fault public, media. Scientific achievements less prominent than a decade ago», <http://people-press.org/report/528/> (Abgerufen am 28. Juli 2011).
- Pielke, Roger A. Jr. (2010), *The Climate Fix*. New York: Basic Books.
- Pielke, Roger A. Jr. (2007), *The Honest Broker. Making Sense of Science in Policy and Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pipes, Richard (1955), «Max Weber and Russia», *World Politics* 7: 371–401.
- Pitkin, Hanna (1967), *The Concept of Representation*. Berkeley: University of California Press.
- Plessner, Helmuth ([1924] 1985), «Zur Soziologie der modernen Forschung und ihrer Organisation in der Deutschen Universität – Tradition und Ideologie», S. 7–30, in: Helmuth Plessner, *Gesammelte Schriften. Band X: Schriften zur Soziologie und Sozialphilosophie*, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Plotke, David (1997), «Representation is democracy», *Constellations* 4: 19–34.
- Poggi, Gianfranco (1982), «The modern state and the idea of progress», in: Gabriel A. Almond, Marvin Chodorow und Roy Harvey Pearce (Hg.), *Progress and its Discontents*. Berkeley: University of California Press, S. 337–369.

- Polanyi, Michael ([1962] 2000), «The republic of science: its political and economic theory», *Minerva* 38: 1–32.
- Polanyi, Michael (1967), *The Tacit Dimension*. New York: Doubleday.
- Polanyi, Karl (1947), «Our obsolete market mentality. Our civilization must find a new thought pattern», *Commentary* 3: 109–117.
- Pool, Ithiel de Sola (1990), *Technologies without Boundaries. On Telecommunication in a Global Age*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Pool, Ithiel de Sola (1983), *Technologies of Freedom. On Free Speech in an Electronic Age*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Popkin, Samuel L. (1991), *The Reasoning Voter. Communication and Persuasion in Presidential Campaigns*. Chicago: University of Chicago Press.
- Popper, Karl ([2008] 2012), *After the Open Society*. London: Routledge.
- Popper, Karl ([1991] 1992), «Emancipation through knowledge», S. 137–150, in: Karl Popper, *Search of a Better World. Lectures and Essays from Thirty Years*. London: Routledge.
- Popper, Karl (1965), *The Open Society and its Enemies*. London: Routledge.
- Popper, Karl ([1960] 1968), «On the sources of knowledge and of ignorance», in: Karl Popper, *Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge*. New York: Harper and Row, S. 3–30.
- Posner, Richard (2003), *Law, Pragmatism, and Democracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Potter, David M. ([1954] 1958), *People of Plenty. Economic Abundance and the American Character*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press.
- Pratt, Andy C. (2008), «Creative cities: The cultural industries and the creative class», *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography* 90: 107–117.
- Prewitt, Kenneth and Heinz Eulau (1969), «Political matrix and political representation: Prolegomenon to a new departure from an old problem», *American Political Science Review* 63: 427–441.
- Prins, Gwyn, Isabel Galiana, Professor Christopher Green, Reiner Grundmann, Mike Hulme, Atte Korhola, Frank Laird, Ted Nordhaus, Roger Pielke Jr., Steve Rayner, Daniel Sarewitz, Michael

- Shellenberger, Nico Stehr, und Hiroyuki Tezuka (2010), Hartwell Paper. London: London School of Economics.
- Prior, Markus und Arthur Lupia (2008), «Money, time, and political knowledge: Distinguishing quick recall and political learning skills», *American Journal of Political Science* 52: 169–183.
- Przeworski, Adam (2004), «Democracy and economic development», in: Edward D. Mansfield and Richard Sisson (Hg.), *Political Science and the Public Interest*. Columbus: Ohio State University Press (zitiert aus der Version von der Homepage des Autors, konsultiert am 15 Mai, 2011).
- Przeworski, Adam, Michael Alvarez, José A. Cheibub und Fernando Limongi (2000), *Democracy and Development. Political Institutions and Material Well-Being in the World, 1950–1990*. New York: Cambridge University Press.
- Przeworski, Adam (1991) *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America*. New York: Cambridge University Press.
- Przeworski, Adam and Fernando Limongi (1993), «Political regimes and economic growth», *Journal of Economic Perspectives* 7: 51–69.
- Purdy, Jedediah (2009), «The politics of nature: Climate change, environmental law, and democracy», *The Yale Law Journal* 119: 1122–1192.
- Putnam, Robert D. and Kristin A. Goss (2002), «Introduction», S. 3–19, in: Robert D. Putnam, (Hg.), *Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Putnam, Robert D. (2002), «Conclusion», S. 391–418, in: Robert D. Putnam, (Hg.), *Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society*. Oxford: Oxford University Press.
- Putnam, Robert D. (2000), *Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Putnam, Robert D. (1996), «The strange disappearance of civic America», *Policy* 12: 3–13.
- Putnam, Robert D. (1993), *Making Democracy Work*. Princeton: Princeton University Press.
- Radder, Hans (1986), «Experiment, technology and the intrinsic connection between knowledge and power», *Social Studies of Science* 16: 663–683.

- Ramsey, Kristopher W. (2011), «Revisiting the resource curse: natural disasters, the price of oil, and democracy», *International Organization* 65: 507–529.
- Randers, Jørgen (2012), 2052. Der neue Bericht an den Club of Rome. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre. München: Oekom Verlag.
- Ranis, Gustav, Stewart, Frances und Emma Samman (2006), «Human Development: Beyond the Human Development Index», *Journal of Human Development and Capabilities* 7: 323–358.
- Ravetz, Jerome (1986), «Useable knowledge, useable ignorance», S. 415–432, in: William C. Clark und R.E. Munn (Hg.), *Sustainable Development of the Biosphere*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, John (1997), «The idea of public reason revisited», *The University of Chicago Law Review* 64: 765–807.
- Rawls, John ([1971] 1991), *Eine Theorie der Gerechtigkeit*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Rayner, Steve (2012), «Uncomfortable knowledge: The social construction of ignorance in science and environmental policy discourses», *Economy and Society* 41: 107–125.
- Rayner, Steve (2003a), «Democracy on an age of assessment: Reflections on the roles of expertise and democracy in public–sector decision–making», *Science and Public Policy* 30: 163–170.
- Rayner, Steve (2003b), «Who's in charge? Worldwide displacement of democratic judgment by expert assessments», *Economic and Political Weekly* 29: 51135119.
- Reeves, Richard (2007), *John Stuart Mill. Victorian Firebrand*. London: Atlantic Books.
- Reich, Robert B. (2007), *Supercapitalism. The Transformation of Business, Democracy, and Everyday Life*. New York: Alfred A. Knopf.
- Reisch, George A. (2005) *How the Cold War Transformed Philosophy of Science. The Icy Slopes of Logic*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Richey, Sean (2008), «The autoregressive influence of social networks political knowledge on voting behavior», *British Journal of Political Science* 38: 527–542.
- Riesman, David ([1950] 1961), *The Lonely Crowd. A Study of the Changing American Character*. New Haven: Yale University Press.

- Ringen, Stein (2010), «The measurement of democracy. Toward a new paradigm», *Society* 48: 12–16.
- Ringen, Stein (2008), «Do we need self-knowledge in order to live as free citizens», S. 25–37, in: Nico Stehr (Hg.), *Knowledge & Democracy. A 21st Century Perspective*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.
- Rittel, Horst W.J. und Melvin M. Webber (1973), «Dilemmas in the General Theory of Planning», *Policy Sciences*, 4: 154–169.
- Roberts, Kenneth M. (2008), «The mobilization of opposition to economic liberalization», *Annual Review of Political Science* 11: 327–349.
- Robinson, James A., Ragnar Torvik and Thierry Verdier (2006), «Political foundations of the resource curse», *Journal of Development Economics* 79: 447–468.
- Robinson, James A. (2006), «Economic development and democracy», *Annual Review of Political Science* 9: 503–527.
- Robinson, James Harvey (1923), *The Humanizing of Knowledge*. New York, New York: George H. Doran.
- Rogers, Melvin L. (2007), «Action and inquiry in Dewey's philosophy», *Transactions of the Charles Pierce Society* 43: 90–115.
- Rosanvallon, Pierre ([2006] 2008), *Counter-Democracy. Politics in an Age of Distrust*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rosanvallon, Pierre (2006), *Democracy. Past and Future*. New York: Columbia University Press.
- Rose, Nikolas (1999), *Powers of Freedom. Reframing Political Thought*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rose, Nikolas (1994), «Expertise and the government of conduct», *Studies in Law, Politics and Society* 14: 359–397.
- Rose, Nikolas (1993), «Government, authority and expertise in advanced liberalism», *Economy and Society* 22:283–299.
- Rose, Nikolas und Peter Miller (1992), «Political power beyond the state: Problematics of government», *British Journal of Sociology* 43: 173–205.
- Rose, Richard (1979), «Pervasive problems of governing: An analytic framework», S. 29–54, in: Joachim Matthes (Hg.), *Sozialer Wandel in Westeuropa. Verhandlungen des 19. Deutschen Soziologentages*, Berlin 1979. Frankfurt: Campus.

- Rosenberg, Morris (1954–1955), «Some determinants of political apathy», *Public Opinion Quarterly* 18: 349–366.
- Rosenberg, Morris (1951), «The meaning of politics in mass society», *Public Opinion Quarterly* 15: 5–15.
- Rosenfeld, Sophia (2008), «Before democracy: The production and uses of common sense», *The Journal of Modern History* 80: 1–54.
- Ross, Michael L (2001), «Does oil hinder democracy?», *World Politics* 53(3): 325–361.
- Roszak, Theodore (1972), *Where the Wasteland Ends. Politics and Transcendence in Postindustrial Society*. Doubleday, New York, New York: Doubleday.
- Rowley, Jennifer (2007), «The wisdom hierarchy: Representations of the DIWW hierarchy», *Journal of Information Science* 33: 163–180.
- Rueschemeyer, Dietrich, Evelyn Huber Stephens und John D. Stephens (1992), *Capitalist Development & Democracy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Runciman, David (2005), «Tax breaks for rich murderers: review of Michael Graetz and Ian Shapiro, *Death by a Thousand Cuts*», *London Review of Books* 27 (11): http://www.lrb.co.uk/v27/n11/runc01_.html.
- Rushforth, Scott (1994), «Political resistance in a contemporary hunter–gatherer society: More about Bearlake Athabaskan knowledge and authority», *American Ethnologist* 21: 335–352.
- Rustow, Dankwart A. (1970), «Transitions to democracy: Toward a dynamic model», *Comparative Politics* 2: 337–363.
- Ryle, Gilbert ([1949] 2002), *The Concept of Mind*. Chicago: University of Chicago Press.
- Ryle, Gilbert (1945/46), «Knowing how and knowing that», *Proceedings of the Aristotelian Society* 46: 1–16.
- Sachs, Jeffrey D., John W. McArthur, Guido Schmidt–Traub, Margaret Kruk, Chandrika Bahadur, Michael Faye, and Gordon McCord (2004), «Ending Africa's poverty trap», *Brookings Papers on Economic Activity* 1: 117–240.
- Sagoff, Mark ([1988] 2008), *The Economy of the Earth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Salisbury, Robert H. (1975), «Research on political participation», *American Journal of Political Science* 19 :323–341.

- Salomon, Jean-Jacques (2000), «Science, technology and democracy», *Minerva* 38: 33–51.
- Sander, Thomas H. und Robert D. Putnam (2010), «Still bowling alone? The post 9/11 split», *Journal of Democracy* 21: 9–16.
- Sands, Gary and Laura A. Reese (2008), «Cultivating the creative class: And what about Nanaimo?», *Economic Development Quarterly* 22: 8–23.
- Santerre, Lise (2008), «From democratization of knowledge to bridge building between science, technology and society», pp. 287–300 in: D. Cheng (ed.), *Communicating Science in Social Contexts*. Heidelberg, Springer.
- Sarewitz, Daniel and Richard P. Nelson (2008), «Progress in know-how. Its origins and limits», *Innovation* 3: 101–117.
- Sartori, Giovanni (1968), «Democracy», in: Davis Sills (Hg.), *International Encyclopedia of the Social Sciences*. Volume 4. New York: Macmillan and Free Press, S. 112–121.
- Sartori, Giovanni (1962), *Democratic Theory*. Detroit, Michigan: Wayne State University Press.
- Saward, M. (1993), «Green democracy», in: Andrew Dobson und Paul Lucardie (Hg.), *The Politics of Nature. Explorations in Green Political Theory*. London: Routledge, S. 63–80.
- Scaff, Lawrence A. (1981), «Max Weber and Robert Michels», *American Journal of Sociology* 86: 1269–1286.
- Scheler, Max ([1926] 1960), *Versuche zu einer Soziologie des Wissens*. Bern and München: Francke.
- Schelsky, Helmut. (1976), «Die metawissenschaftlichen Wirkungen der Soziologie», S. 171–182, in: Werner Becker and Kurt Hübner (Hg.) *Objektivität in den Natur- und Geisteswissenschaften*. Hamburg: Hoffmann und Campe.
- Schelsky, Helmut (1975), *Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priesterherrschaft der Intellektuellen*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Schelsky, Helmut ([1961] 1965), «Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation», in: Helmut Schelsky, *Auf der Suche nach der Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze*. Düsseldorf: Diederichs, S. 439–480.
- Schelsky, Helmut (1955), *Wandlungen der deutschen Familie in der Gegenwart*. Dritte, durch einen Anhang erweiterte Auflage. Stuttgart: Ferdinand Enke.

- Schelsky, Helmut ([1953] 1965), «Die Bedeutung des Schichtungsbegriffes für die Analyse der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft», in Helmut Schelsky, *Auf der Suche nach der Wirklichkeit. Gesammelte Aufsätze*. Düsseldorf: Diederichs, S. 331–336.
- Scherer, Bonnie A. (2004–2005), «Footing the bill for a sound education in New York City: The implementation of campaign for fiscal equity v. state», *Fordham Urban Law Journal* 32: 901–935.
- Schieder, Theodor (1977), «Einmaligkeit oder Wiederkehr. Historische Dimensionen der heutigen Krise», S. 22–42, in: Wilhelm Hennis, Peter Graf Kielmansegg und Ulrich Matz (Hg.), *Regierbarkeit. Studien zu ihrer Problematisierung*. Band 1. Stuttgart: Klett–Cotta.
- Schieman, Scott and Gabriele Plickert (2008), «How knowledge is power: the sense of control», *Social Forces* 87: 153–183.
- Schiller, Dan (1997) «The information commodity: a preliminary view», S. 103–120, in: Jim Davis, Thomas A. Hirschl and Michael Stack (Hg.), *Cutting Edge. Technology, Information Capitalism and Social Revolution*. London: Verso.
- Schirmacher, Arne (2008), «Nach der Popularisierung. Zur Relation von Wissenschaft und Öffentlichkeit im 20. Jahrhundert», *Geschichte und Gesellschaft* 34: 73–95.
- Schleicher, Andreas (2006), *The economics of knowledge: why education is key for Europe's success*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development (This document may be found on the OECD website at: <http://www.oecd.org/dataoecd/43/11/36278531.pdf>, aufgerufen Dezember 2011).
- Schlozman, Kay Lehmann, Sidney Verba, and Henry E. Brady (2010), «Weapon of the strong? Participatory inequality and the internet», *Perspectives on Politics* 8: 487–509.
- Schmitt, Carl (1984), *Politische Theologie II. Die Legende von der Erledigung jeder politischen Theologie*. 2. Auflage. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitter, Phillipe C. (2010a), «Twenty-five years, fifteen findings», *Journal of Democracy* 21: 17–28.
- Schmitter, Phillipe C. (2010b), «Review of Pierre Rosanvallon, *Counter Democracy. Politics in an Age of Distrust*», *Perspectives on Politics* 8: 887–889.

- Schneider, Stephen H. (2009), *Science as a Contact Sport. Inside the Battle to Save the Earth's Climate*. Washington: National Geographic.
- Schon, Donald A. ([1963] 1967), *Invention and the Evolution of Ideas*. London: Tavistock.
- Schudson, Michael (2006), «The trouble with experts – and why democracies need them», *Theory & Society* 35: 491–506.
- Schuman, Howard und Amy D. Corning (2000), «Collective knowledge of public events: the Soviet era from the great purge to glasnost», *American Journal of Sociology* 105: 913–956.
- Schumpeter, Joseph A., ([1942] 1993), *Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie*. Tübingen: Francke.
- Schütz, Alfred (1946), «The well-informed citizen. An essay on the social distribution of knowledge», *Social Research* 13: 463–478.
- Scott, James C. (1998), *Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition have Failed*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Scott, James C. (1990), *Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press.
- Scott, James C. (1985), *Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, Connecticut: Yale University Press.
- Selinger, Evan M. (2003), «Feyerabend's democratic critique of expertise», *Critical Review* 15: 359–373.
- Sen, Amartya (2003), «Democracy and its global roots. Why democratization is not the same as Westernization», *The New Republic* 229 (October 6): 28–36.
- Sen, Amartya (2002), *Rationality and Freedom*. Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press.
- Sen, Amartya (1994), «Markets and the freedom to choose», S. 123–138, in: Horst Siebert (Hg.), *The Ethical Foundations of the Market*. Tübingen: Siebeck Mohr.
- Sen, Amartya (1999), «Democracy as a universal value», *Journal of Democracy* 10: 3–17.
- Sen, Amartya (1993a), «Markets and freedoms: Achievements and limitations of the market mechanism in promoting individual freedoms», *Oxford Economic Papers* 45: 519–541.

- Sen, Amartya (1993b), «Capability and well-being», S. 30–53, in: Martha C. Nussbaum und Amartya Sen (Hg.), *The Quality of Life*. Oxford: Oxford University Press.
- Sen, Amartya (1992), *Inequality Reexamined*. Cambridge: Harvard University Press.
- Sen, Amartya (1985), «Well-being, agency and freedom», *Journal of Philosophy* 82: 169–221.
- Sen, Amartya (1984a), *Resources, Values and Development*. Oxford: Basil Blackwell.
- Sen, Amartya (1984b), «The standard of living», *Oxford Economic Papers* 36: 74–90.
- Sen, Amartya (1983), «Development: which way now?», *Economic Journal* 93 :745–762.
- Shaker, Lee (2012), «Local political knowledge and assessments of citizen competence», *Public Opinion Quarterly* 76: 525–537.
- Shannon, Claude (1948), «A Mathematical Theory of Communication», *Bell System Technical Journal* 28: 656–715.
- Shannon, Lyle E. (1958), «Is level of development related to capacity for self-government? An analysis of the economic characteristics of self-governing and non-self-governing areas», *American Journal of Economics and Sociology* 17: 367–382.
- Shapin, Steven (1990), «Science and the Public», S. 990–1007 in R. Olby, G. Cantor, J. Christie and M. Hodge (Hg.), *Companion to the History of Modern Science*. London: Routledge.
- Shapiro, Ian (1994), «Three ways to be a democrat», *Political Theory* 22: 124–151.
- Shearman, David and Joseph Wayne Smith (2007), *The Climate Change Challenge and the Failure of Democracy*. Westport, Connecticut: Praeger.
- Shin, Doh Chull (2007), «Democratization: Perspectives from global citizenries», S. 259–282, in: Russell J, Dalton und Hans-Dieter Klingemann (Hg.), *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press.
- Shin, Doh Chull (1994), «On the third wave of democratization: A synthesis and evaluation of recent theory and research», *World Politics* 47: 135–170.
- Sibley, Mulford Q. (1973), «Utopian thought and technology», *American Journal of Political Science* 17: 255–281.

- Sidgwick, Henry ([1895] 1905), «The philosophy of common sense», in: Henry Sidgwick, *Lectures on the Philosophy of Kant and other Philosophical Lectures and Essays*. London: Macmillan, pp. 406–430.
- Siemsen, Hayo (2001), «The Mach–Planck debate revisited: democratization of science or elite knowledge», *Public Understanding of Science* 19: 293–310.
- Silver, Nate (2012), *The Signal and the Noise. Why So Many Predictions Fail – But Some Don't*. New York: Penguin.
- Simmel, Georg ([1907] 1989), *Philosophie des Geldes*. Gesamtausgabe Band 6, Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Sirowy, Larry and Alex Inkeles (1990), «The effects of economic growth on democracy and inequality: A review», *Studies in Comparative International Development* 25: 126–157.
- Skidelsky, Robert und Edward Skidelsky (2012), *How much is enough? Money and the good life*. New York: Other Press.
- Skinner, Quentin (1973), «The empirical theorists of democracy and their critics: a plague on both of their houses», *Political Theory* 1: 287–306.
- Skocpol, Theda (2004), «Voice and inequality: The transformation of American civic democracy», *Perspectives on Politics* 2: 3–20.
- Skolnikoff, Eugene B. (1976), «The governability of complexity», in: Chester L. Cooper (Hg.), *Growth in America*, Woodrow Wilson International Center for Scholars. Westport, Connecticut, S. 75–88.
- Smith, Adam ([1776] 1978), *Der Wohlstand der Nationen*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.
- Smith, Anthony (1982), «Information technology and the myth of abundance», *Daedalus* 111: 1–16.
- Smith, Stephen Samuel und Jessica Kulynych (2002), «It may be social, but why is it capital? The social construction of social capital and the politics of language», *Politics & Society* 30: 149–186.
- Snow, Charles Percy ([1959] 1964) *The Two Cultures, A Second Look: An Expanded Version of the Two Cultures and the Scientific Revolution*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Snow, Stephanie J. (2012), «Translating new knowledge into practices: reconceptualising stroke as an emergency condition», *Chronic Illness* DOI: 10.1177/1742395312464663.
- Sörlin, Sverker (2002), «Cultivating the places of knowledge», *Studies in Philosophy and Education* 21: 377–388.

- Solt, Frederick (2008), «Economic inequality and democratic political engagement», *American Journal of Political Science* 51: 48–60.
- Soltan, Karol Edward (1999), «Introduction: Civic competence, democracy, and the good society», in: Elkin Stephen L., and Karol E. Soltan, Hg. *Citizen Competence and Democratic Institutions*. University Park: Pennsylvania State University Press.
- Sombart, Werner (1934), *Deutscher Sozialismus*. Berlin: Buchholz & Weisswange.
- Somer, Murat (2011), «Does it take democrats to democratize? Lessons from Islamic and secular elite values in Turkey», *Comparative Political Studies* 44: 511–545.
- Somin, Ilya (2009), *Democracy and the Problem of Political Ignorance*. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press.
- Sorensen, Georg (2010), «Democracy and democratization», S. 441–458, in: Kevin T. Leicht and J.Craig Jenkins (Hg.), *Handbook of Politics*. Heidelberg: Springer.
- Soss, Joe (1999), «Lessons of welfare: Policy design, political learning, and political action», *American Political Science Review* 93: 363–380.
- Sowell, Thomas (1980), *Knowledge and Decisions*. New York: Basic Books.
- Snow, David A. und Robert D. Benford (1992), «Master frames and cycles of protest», in: Aldon D. Morris and Carol McClurg Mueller (Hg.), *Frontiers in Social Movement Theory*. New Haven, Connecticut: Yale University Press, S. 133–155.
- Starbuck, William H. (1992), «Learning by knowledge-intensive firms», *Journal of Management Studies* 29: 713–740.
- Starr, Paul (2004), *The Creation of the Media: Political Origins of Modern Communications*. New York: Basic Books.
- Stehr, Nico (2013), «An inconvenient democracy: Knowledge and climate Change», *Society*.
- Stehr, Nico (2012a), «Knowledge and non-knowledge», *Science, Technology & Innovation Studies* 8: 3–13.
- Stehr, Nico (2012b), «Education, knowledgeability, and the labour market», S. 145–162, in: Daniel Tröhler and Ragnhild Barbu (Hg.), *The Future of Education Research*. Volume 1. Amsterdam: Sense Publishers.
- Stehr, Nico (2009), «Wissenswelten, Governance und Demokratie», S. 479–502, in: Sebastian Bolzen, Janetter Hofmann, Sigrid Quack, Gunnar Folke Schuppert und Holger Straßheim (Hg.), *Governance*

- als Prozess. Koordinationsformen im Wandel. Baden–Baden: Nomos, 2009.
- Stehr, Nico (2007), *Moralisierung der Märkte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Stehr, Nico (2005), *Knowledge Politics. Governing the Consequences of Science and Technology*. Boulder, Colorado: Paradigm Publishers.
- Stehr, Nico (2003), *Wissenspolitik. Die Überwachung des Wissens*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Stehr, Nico (2001), *Wissen und Wirtschaften: Die gesellschaftlichen Grundlagen der modernen Ökonomie*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2001.
- Stehr, Nico (2000a), *Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften. Die Stagnation der Macht und die Chancen des Individuums*. Weilerswist: Velbrueck Wissenschaft.
- Stehr, Nico (2000b), «The productivity paradox: ICT's Knowledge and the labour market», S. 255–271, in: John de la Mother and Gilles Parquet (Hg.), *Information, Innovation and Impacts*. Dordrecht: Kluwer.
- Stehr, Nico (1999), «The future of inequality», *Society* 36: 54–59.
- Stehr, Nico. (1997) «Les limites du possibles: La postmodernité et les sociétés du savoir», *Sociétés* 58: 101–124.
- Stehr, Nico (1994), *Arbeit, Eigentum und Wissen. Zur Theorie von Wissensgesellschaften*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
- Stehr, Nico (1991), «The power of scientific knowledge – and its limits», *Canadian Review of Sociology and Anthropology* 29: 460–482.
- Stehr, Nico (1989), «Von den Tugenden sozialwissenschaftlichen Wissens: Max Weber und der evangelisch–soziale Kongress», *Sociologia Internationalis* 27: 129–14.
- Stehr, Nico (1978), «The ethos of science revisited», *Sociological Inquiry* 172–196.
- Stehr, Nico und Marian Adolf (in Vorbereitung), *Wissen*. London: Routledge.
- Stehr, Nico und Reiner Grundmann (2011), *Experten*. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft.
- Stehr, Nico, Christoph Henning and Bernd Weiler (Hg.) (2006), *The Moralization of the Markets*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.
- Stehr, Nico und Volker Meja (2005), «Introduction: The development of the sociology of knowledge and science», S. 1–30, in: Nico Stehr and Volker Meja, *Society & Knowledge*.

- Contemporary Perspectives in the Sociology of Knowledge and Science. Second Revised Edition. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.
- Stehr, Nico and Volker Meja (1998), «Robert K. Merton's structural analysis», S. 21–43, in: Carlo Mongardini and Simotta Tabboni (Hg.), Robert K. Merton and Contemporary Sociology. London: Transaction Books.
- Stepan, Alfred, Juan J. Linz and Yogendra Yadav (2010), «The rise of "state–nations"», Journal of Democracy 21: 50–68.
- Stevenson, Hayley und John S. Dryzek (2012), «The discursive democratization of global climate governance», Environmental Politics 21: 189–210.
- Stewart, Mark B. (2011), «The Changing Picture of Earnings Inequality in Britain and the Role of Regional and Sectoral Differences», National Institute Economic Review 218: R20–R32.
- Stewart, Thomas A. (1997), Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Doubleday.
- Stigler, George J. (1978), «Wealth and possibly liberty», Journal of Legal Studies 7: 213–217.
- Stiglitz, Joseph E. (2008), «Toward a general theory of consumerism: Reflections on Keynes's Economic Possibilities for our Grandchildren», S. 41–85 in Lorenzo Pechci and Gustavo Piga (Hg.), Revisiting Keynes. Economic Possibilities for our Grandchildren. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
- Stiglitz, Joseph E. (2005), «The ethical economist», Foreign Affairs 84: 128–134.
- Stolle, Dietlind und Elisabeth Gidengil (2010), «What do women really know? A gendered analysis of varieties of political knowledge», Perspectives on Politics 8: 93–109.
- Stone, Lawrence (1969), «Literacy and education in England, 1640–1900», Past and Present no. 42: 69–139.
- Strauss, Anselm L., Schatzman, L., Bucher, R. Ehrlich D. and M. Sabshin (1964) Psychiatric Ideologies and Institutions. New York: Free Press.
- Sturgis, Patrick, Nick Allum and Patten Smith (2008), «An experiment on the measurement of political knowledge in surveys», Public Opinion Quarterly 85: 90–102.

- Sturgis, Patrick and Nick Allum (2004), «Science in society: re-evaluating the deficit model of public attitudes», *Public Understanding of Science* 13: 55–74.
- Swidler, Ann (1986), «Culture in action: symbols and strategies», *American Sociological Review* 51: 273–286.
- Sunstein, Cass (2001), «The daily we. Is the Internet really a blessing for democracy?», *The Boston Review* (Summer): <http://bostonreview.net/BR26.3/sunstein.php> (aufgerufen 30. September 2011).
- Tarrow, Sidney (1998), *Power in Movement. Social Movements and Contentious Politics*. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press.
- Taylor, Charles (2004), *Social Imageries*. Durham, North Carolina: Duke University Press.
- Tenbruck, Friedrich H. ([1989] 1996), «Gesellschaftsgeschichte oder Weltgeschichte?», S. 75–98, in: Friedrich H. Tenbruck, *Perspektiven der Kulturosoziologie. Gesammelte Aufsätze*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Tenbruck, Friedrich H. (1977), «Grenzen der staatlichen Planung», S. 134–149, in: Wilhelm Hennis, Peter Graf Kielmansegg and Ulrich Matz (Hg.), *Regierbarkeit. Studien zu ihrer Problematisierung*. Band 1. Stuttgart: Klett–Cotta.
- Tenbruck, Friedrich H. ([1977] 1996), «Fortschritt der Wissenschaft», S. 158–194, in: Friedrich H. Tenruck, *Perspektiven der Kulturosoziologie. Gesammelte Aufsätze*. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
- Tenbruck, Friedrich H. (1969), «Regulative Funktionen der Wissenschaft in der pluralistischen Gesellschaft», in: Herbert Scholz (ed.), *Die Rolle der Wissenschaft in der modernen Gesellschaft*. Berlin: Duncker & Humblot, pp. 61–85.
- Teorell, Jan und Axel Hadenius (2006), «Democracy without democratic values: A rejoinder to Welzel and Inglehart», *Studies in Comparative International Development* 41: 95–111.
- Termeer, Katrien, Gerard Breeman, Maartje van Lieshout and Wieke Pot (2010), «Why more knowledge could thwart democracy: configurations and fixations in the Dutch mega–stables debate», S. 99–110, in: Roel in 't Veld (Hg.), *Knowledge Democracy*. Heidelberg: Springer–Verlag.

- Tetlock, Philip E. (2002), «Social–Functionalist Frameworks for Judgment and Choice: The Intuitive Politician, Theologian, and Prosecutor», *Psychological Review* 109: 451–472.
- Thorpe, Charles (2009), «Community and the market in Michael Polanyi's philosophy of science», *Modern Intellectual History* 6: 59–89.
- Tichenor, Phillip J., George A. Donohue and Clarice N. Olien (1980), *Community conflict and the press*. Beverly Hills, California: Sage.
- Tichenor, Phillip J., George A. Donohue und Clarice N. Olien (1970), «Mass media flow and differential growth in knowledge, Public Opinion Quarterly 34: 159–170.
- Tilly, Charles (2007), *Democracy*. New York: Cambridge University Press.
- Tilly, Charles (2003a), «Inequality, democratization, and de–democratization», *Sociological Theory* 21: 37–43.
- Tilly, Charles (2003b), «Changing forms of inequality», *Sociological Theory* 21: 31–36
- Tilly, Charles (1999), «Now where?», in George Steinmetz (Hg.), *State/Culture. State–Formation after the Cultural Turn*. Ithaca, New York: Cornell University Press, S. 407–419.
- Tilly, Charles (1995), *Popular Contention in Great Britain, 1758–1834*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
- Timmons, Jeffrey F. (2010), «Does democracy reduce economic inequality?», *British Journal of Political Science* 40:741–757.
- Tocqueville de, Alexis ([1835–40] 2000), *Democracy in America*. Translated, Edited, and with an Introduction by Harvey C. Mansfield and Debra Winthrop. Chicago: University of Chicago Press.
- Torfason, Magnus Thor and Paul Ingram (2010), «The global rise of democracy: A network account», *American Sociological Review* 75: 355–377.
- Touraine, Alain (2001), «Knowledge, power and self as distinct spheres», in: Riccardo Viale (Hg.), *Knowledge and Politics*. Heidelberg: Physica–Verlag, S. 119–136.
- Touraine, Alain (1977) *The Self–Production of Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Touraine, Alain ([1992] 1995), *Critique of Modernity*. Oxford: Blackwell.
- Treisman, Daniel (2011), «Income, Democracy, and the Cunning of Reason», NBER Working Paper Nr. 17132.
- Trepte, Sabine und Benjamin Boecking (2009), «Was wissen die Meinungsführer?», *Medien und Kommunikationswissenschaft* 57: 443–463.

- Tsui, Kevin K. (2010), «More oil, less democracy: Evidence from world-wide crude oil discoveries», *Economic Journal* 121: 80–115.
- Turner, Stephen (2007), «Merton's "norms" in political and intellectual context», *Classical Sociology* 7: 161–178.
- Turner, Stephen (2001), «What is the problem with experts?», *Social Studies of Science* 31: 123–149.
- Uebel, Thomas E. (2004), «Education, enlightenment and positivism: The Vienna Circle's scientific world-conception», *Science & Education* 13: 41–66.
- Uebel, Thomas E. (2000), «Logical empiricism and the sociology of knowledge: the case of Neurath and Frank», *Philosophy of Science Proceedings. Part II* 67: 138–150.
- Ungar, Sheldon 2008. «Ignorance as an under-identified social problem», *British Journal of Sociology* 59: 301–326.
- Urbinati, Nadia and Mark E. Warren (2008), «The concept of representation in contemporary democratic theory», *Annual Review of Political Science* 11: 387–412.
- Urbinati, Nadia (2006), *Representative Democracy. Principles & Genealogy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Urbinati, Nadia (2000), «Representation and democracy. A study of democratic deliberation», *Political Theory* 28: 758–786.
- Uslaner, Eric M. (1998), «Social Capital, Television, and the "Mean World": Trust, Optimism, and Civic Participation», *Political Psychology* 19: 441–467.
- Van Bouwel, Jeroen (Hrsg.) (2009), *The Social Sciences and Democracy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Van der Meer, T.W.G. and E.J. van Ingen (2009), «Schools of democracy? Disentangling the relationship between civic participation and political action in 17 European countries», *European Journal of Political Research* 48: 281–308.
- Verein Ernst Mach ([1929] 1981), «Wissenschaftliche Weltauffassung. Der Wiener Kreis, in: Otto Neurath, *Gesammelte philosophische und methodologische Schriften*. Band 1. Wien: Hölder-Pichler-Temsky, S. 299–316.
- Viereck, Peter (1956), *Conservative Thinkers*. Van Nostrand.

- Virchow, Rudolf ([1848] 1907), *Briefe an meine Eltern 1839–1864*. Leipzig: Engelmann.
- Vlas, Natalia und Sergiu Gherghina (2012), «Where does religion meet democracy? A comparative analysis in Europe», *International Political Science Review* 33336–351.
- Ward, Janelle und Claes de Vreese (2011), «Political consumerism, young citizens and the Internet», *Media Culture & Society* DOI: 10.1177/0163443710394900.
- Ward, Stephen, Rachel Gibson and Wainer Lusoli (2003), «Online participation and mobilization in Britain: Hype, hope and reality», *Parliamentary Affairs* 56: 652–668.
- Walker, Edward T. Andrew W. Martin and John D. McCarthy (2008), «Confronting the state, the corporation, and the academy: The influence of institutional targets on social movement repertoires», *American Journal of Sociology* 114: 35–76.
- Walker, Melanie (2008), «Widening participation; widening capability», *London Review of Education* 6: 267–279.
- Wallerstein, Immanuel (2004), *The Uncertainties of Knowledge*. Philadelphia, Pennsylvania: Temple University Press.
- Weaver, Warren (1949), «Recent contributions to the mathematical theory of communication», Weber, Max (1946), *Essays in Sociology*. New York: Oxford University Press.
- Weber, Max, ([1922] 1976), *Wirtschaft und Gesellschaft*, 5. bearbeitete Auflage, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max ([1921] 1980), *Gesammelte politische Schriften*. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max ([1919] 1922), «Wissenschaft als Beruf», S. 524–555 in Max Weber, *Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre*. Tübingen: J.B.C. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max ([1918] 1980), «Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland», S. 306–446, in: Max Weber (1980). *Gesammelte politische Schriften*. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max ([1918] 1958) «Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland», S. 306–443, in: Max Weber, *Gesammelte politische Schriften*, Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).

- Weber, Max ([1917] 1980), «Wahlrecht und Demokratie in Deutschland», S. 245–291, in: Max Weber. Gesammelte politische Schriften. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max ([1906] 1980), «Zur Lage der bürgerlichen Demokratie in Rußland», S. 33–68, in: Max Weber, Gesammelte politische Schriften. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max (1980), Gesammelte politische Schriften. Herausgegeben von Johannes Winckelmann. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck).
- Weber, Max ([1904] 1952), «Kapitalismus und Agrarverfassung», Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft 108: 431–452.
- Webster, Frank (1999), «Knowledgeability and democracy in an information age», Library Review 48: 373–383.
- Weede, Erich und Sebastian Kämpf (2002), «The Impact of Intelligence and Institutional Improvements on Economic Growth», Kyklos 55: 361–380.
- Wehling, Peter 2009. «Nichtwissen — Bestimmungen, Abgrenzungen, Bewertungen», EWE 20:95–106.
- Wejnert, Barbara (2005), «Diffusion, development, and democracy», American Sociological Review 70: 53–81.
- Weinberger, David (2011), Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Aren't the Facts, Experts Are Everywhere, and the Smartest Person in the Room. New York: Basic Books.
- Weinberger, David (2008), Everything is Miscellaneous. The Power of Digital Disorder. New York: Henry Holt.
- Weingart, Peter (1983), «Verwissenschaftlichung der Gesellschaft – Politisierung der Wissenschaft», Zeitschrift für Soziologie 12: 225–241.
- Welzel, Christian and Ronald Inglehart (2006), «Emancipative values and democracy: Response to Hadenius and Teorell», Studies in Comparative International Development 41: 74–94.
- Welzel, Christian und Ronald Inglehart (2005), «Demokratisierung und Freiheitsstreben: Die Perspektive der Humanentwicklung», Politische Vierteljahresschrift 46: 62–85,
- Welzel, Christian, Ronald Inglehart und Hans–Dieter Klingemann ([2001] 2003), «The theory of human development: A cross–cultural analysis», European Journal of Political Research 42: 341–379.
- Westhoff, Laura M. (1995), «The popularization of knowledge: John Dewey on experts and American Democracy», History of Education Quarterly 35: 27–47.

- White, Richard (1995), *The Organic Machine. The Remaking of the Columbia River*. New York: Hill & Wang.
- Whitehead, Alfred North (1948), *Einführung in die Mathematik*. Bern: A. Francke.
- Whitehead, Laurence (2011), «Enlivening the concept of democratization: The biological metaphor», *Perspectives on Politics* 9: 291–299.
- Wittgenstein, Ludwig (1969), *On Certainty*. Oxford: Blackwell.
- Wikström, Solveig and Richard Normann (1994), *Knowledge and Value. A New Perspective on Corporate Transformation*. London: Routledge.
- Wilkinson, Richard and Kate Pickett (2009), *The Spirit Level. Why More Equal Societies Almost Always Do Better*. London: Penguin.
- Williams, Raymond (1988), «Democracy», S. 93–98 in Raymond Williams, *Keywords*. London: Fontana Press.
- Wilson, William Julius (1987), *The Truly Disadvantaged: The Inner City, the Underclass, and Public Policy*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wittgenstein, Ludwig (1969), *On Certainty*. Oxford: Blackwell.
- Wittman, Donald (1995), *The Myth of Democratic Failure. Why Political Institutions are Efficient*. Chicago: University of Chicago Press.
- Wittman, Donald (1989), «Why democracies produce efficient results», *The Journal of Political Economy* 97: 1395–1424.
- Wnuk–Lipinski, Edmund (2007), «Civil society and democratization», S. 675–692, in: Russell J. Dalton and Hans–Dieter Klingemann (Hg.), *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press.
- Woodberry, Robert D. (2012), «The missionary roots of liberal democracy», *American Political Science Review* 106: 244–274.
- Wolak, Jennifer und Michael McDevitt (2011), «The roots of the gender gap in political knowledge», *Political Behavior* 33: 505–533.
- Wolf, Rainer (1988), «„Herrschaft kraft Wissen“ in der Risikogesellschaft», *Soziale Welt* 39: 164–187.
- Wolin, Sheldon S. (2001), *Tocqueville between two Worlds. The Making of a Political and Theoretical Life*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- World Bank (1999), *World Development Report. Knowledge for Development*. New York: Oxford University Press.

- World Economic Forum (2011), «Shares norms for the new reality, [«http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2011»](http://www.weforum.org/events/world-economic-forum-annual-meeting-2011).
- Wu, Tim (2011), *The Master Switch. The Rise and Fall of Information Empires*. New York, New York: Knopf.
- Wynne, Brian and Roger Smith (Hg.) (1989) *Expert Evidence: Interpreting Science in the Law*. London: Routledge.
- Young, Michael (1961), *The Rise of Meritocracy*. London: Penguin Books.
- Zald, Meyer M. and John D. McCarthy (Hg.) (1987), *Social Movements in an Organizational Society*. New Brunswick, New Jersey: Transaction Books.
- Zelenyi, Milan (1987), «Management support systems: Toward an integrated knowledge management», *Human Systems Management* 7: 59–70.
- Ziman, John (2000), «Commentary on Michael Polanyi's *The Republic of Science*», *Minerva* 38: 21–25.
- Zmerli, Sonja and Ken Newton (2008), «Social trust and attitudes toward democracy», *Public Opinion Quarterly*, Vol. 72: 706–724.
- Zürn, Michael et al. (2007), «Politische Ordnungsbildung wider Willen», *Zeitschrift für internationale Beziehungen* 14: 129–164.

Именной указатель

А

- Abel, Günter 55
Abramson, Paul R. 361, 362, 363
Acemoglu, Daron 121, 197, 203, 204, 213
Ackerman, Peter 149, 463
Adolf, Marian 45
Adorno, Theodor W. 157, 335, 346, 445
Alexander, Jeffrey C. 285
Ali, Abdiweli M. 91
Allen, John 98
Allum, Nick 371
Almond, Gabriel 73, 136, 152, 353
Alvey, James E. 111, 335
Anderson, B. 215
Andreski, Stranislav 24
Ankersmit, Frank R. 79
Arato, Andrew 145
Arce, Moises 74, 389
Arendt, Hannah 49, 408
Aristoteles 173, 190
Aron, Raymond 13, 89, 93
Aslaksen, Silje 183
Atkin, David J. 281
Attewell, Paul 65

В

- Baber, Walter F. 273
Backhouse, Roger E. 18, 173
Baecker, Dirk 291

- Baiocchi, Gianpaolo 463
Ballantyne, Tony 33, 155
Barber, Benjamin 81, 88, 168
Barber, Bernhard 233, 238
Barlett, Robert V. 273
Barnes, Barry S. 233, 437
Barro, Robert 104, 115, 120, 124, 177, 189, 202, 447
Barth, Fredrik 35, 45
Basdash, Lawrence 274
Bateman, Bradley W. 18
Bateson, Gregory 64
Baudrillard, Jean 157
Bauer, Martin W. 423
Baum, Matthew A. 188, 196
Bay, Christian 76
Bearce, David H. 184
Beck, Ulrich 210, 430
Becker, Jeffrey 444
Beckfield, Jason 168
Beeson, Mark 272
Bell, Daniel 12, 60, 135, 279, 306, 322, 354
Benford, Robert D. 452
Benkler, Yochai 405
Bennett, Stephen Earl. 371
Bensaude-Vincent, Bernadette 422
Benson, Lee 256
Berelson, Bernard 76, 102, 371, 374, 376, 383, 424
Berger Margaret A. 419
Berg-Schlosser, Dirk 25
Berlin, Isaiah 14, 44, 85, 88, 91, 261, 467
Bernal, John D. 263
Bertilsson, Margareta 426
Biesta, Gert 249
Bimber, Bruce 397
Bjorkland, Tor 386
Blackler, Frank 63
Blair, Ann 400

- Blanchard, Troy 147
Blok, Anders 426
Blokland Hans 17
Blumer, Herbert 349
Blumler, Jay G. 159, 398
Boas, Franz 231, 262, 263
Boecking, Benjamin 375
Bogner, Alexander 427
Bohman, James 74, 336, 445, 462
Böhme, Gernot 226, 228
Boix, Carles 171, 189, 211
Boli, John 169
Boltanski, Luc 132
Borgmann, Albert 31, 55, 66
Borooah, Vani K. 175
Boulding, Kenneth 57
Bourdieu, Pierre 130, 134, 138, 349, 371, 412
Bourguignon, François 122
Braczyk, Hans Joachim 366
Braman, Donald 425
Brecht, Arnold 26
Breeman, Gerard 428
Broerse, Jacqueline E. W. 439
Broman, Thomas H. 148
Brooks, Harvey 224
Brooks, Robin S. 153
Brown, John 57
Brown, Mark B. 382
Brown, Steven D. 436
Bruch, Sarah K. 358
Bryce, James 75
Bull, Hedley 167
Bunce, Valerie 192
Bunders, Joske F. G. 439
Burawoy, Michael 443
Burke, Edmund 86
Bürklin, Wilhelm 352

Burton-Jones, Alan 55

C

Callon, Michel 36, 426, 430

Campante, Filipe R. 124, 125, 211

Campbell, Angus 424

Camus, Albert 384

Caplan, Bryan D. 75

Carey, James W. 429

Carley, Kathleen 64

Carneiro, Pedro 143

Carolan, Michael S. 459

Caron-Finterman J. F. 439

Carter, Stephen L. 10

Casas-Cortés, Maribel 370

Cash, Richard A. 455

Castello-Climent, Amparo 121, 122, 123

Castells, Manuel 320–324, 448

Cat, Jordi 242

Champagne, Patrick 371

Chen, Jie 204, 455

Chong, Dennis 120, 255, 340

Chor, Davin 124, 125, 211

Clegg, Stewart R. 443

Coglianesi, Cary 82

Cohen, Jean L. 145

Cohn, Bernard S. 33

Coleman, James S. 146, 293

Coleman, Stephen 159, 397

Collins, Harry 27

Collinson, David 298, 445, 449

Condorcet, Marquis de 5, 409, 459

Connolly, William E. 163, 167

Converse, Philip E. 254, 337, 424, 444

Cook, Philip J. 291, 293

Coombs, W. Timothy 397

Coppedge, Michael 122

Corning, Amy D. 71
Couzin, Ian D. 12, 342
Crain, Robert L. 182
Cranston, Maurice 28
Cress, Daniel M. 452
Croissant, Jennifer 221
Crouch, Colin 75
Crozier, Michel 294, 295
Culliton, Barbara J. 461
Cutbirth, Craig W. 397

D

Daele, van den Wolfgang 228
Dahl, Robert A. 68, 69, 76, 77, 80, 83, 120, 129, 153, 210, 334, 370,
371, 387, 463
Dahlgren, Peter 414
Dahrendorf, Ralf 20, 75, 166, 214, 221, 307, 330, 331, 332
Dalton, Russell J. 25, 151
Dasgupta, Partha S. 54
Daum, Andreas W. 420, 421
David, Paul A. 54
De Graaf, N.D. 360
DeCanio, Samuel 421
Dee, Thomas S. 123
Deininger, Klaus 216
Dell, Melissa 103
Delli Carpini, Michael 189
Deutsch, Karl 38, 73
Deutscher, Irving 233
Dewey, John 12, 35, 104, 105, 133, 220, 222, 223, 238, 246–253,
256, 257, 424
Diamond, Larry 197
Diani, Mario 452
DiMaggio, Paul 32, 289
Dolby, R. G. A. 233
Donohue, George A. 281
Dosi, Giovanni 56, 62

- Doucouliagos, Hristos 188
Douglas, Mary 433
Dow, Jay K. 374, 412
Downs, Anthony 337–341, 435
Dretske, Fred 29, 56
Drucker, Peter 45, 192, 329
Druckman, James N. 255, 340
Dryzek, John S. 140
Duch, Raymond M. 361
Duguid, Paul 57
Dunn, John 176
Dupré, J. Stefan 104
Durant, Darrin 426
Durham, J, Benson 196
Durkheim, Emile 7, 34, 38, 40, 262, 437, 465,
Dworkin, Ronald 13

E

- Edgerton, David 42
Edwards, Arthur 27, 55, 153, 299, 414, 454
Eggertsson, Thràinn 457
Eisele, J. Christopher 252
Eisenstadt, Shmuel N. 8, 11, 13, 147, 176, 417
Elam, Mark 426
Elias, Norbert 19, 21, 31, 119, 219, 225, 295
Engelmann, Stephen G. 308
Enns, Peter K. 371, 372
Epstein, Stephen 336, 462
Essed, Philomena 140
Ettema, James S. 381
Eulau, Heinz 80, 279, 280
Evans, G. 360, 444, 355
Eyerman, Ron 451, 452
Ezrahi, Yaron 55, 224

F

- Faricy, Christopher 329

- Faulkner, Wendy 53
Feng, Yi 176, 188, 189
Fernández, Raquel 113
Feyerabend, Paul 9, 12, 138, 239, 240, 414, 456
Finkel, Steven E. 120
Fish, M. Steven 153
Fleck, Lola 242
Florida, Ricgard 141, 142, 326-- 330
Fogel, Robert W. 175
Forejohn, John A. 378
Foucault, Michel 96, 296–305, 419, 431, 445–447
Frickel, Scott et al. 428
Friedman, Benjamin M. 175, 177, 195
Friedman, Jonathan 89, 165
Friedman, Milton 89, 193–195, 212
Fuerstein, Michael 133, 140
Fukuyama, Francis 111, 147
Fuller, Steve 56, 336, 436
Fung, Archon 349
Funtowicz, Silvio 423

G

- Galbraith, John K. 211, 279
Galison, Peter 245
Gallie, Walter Bryce 28, 129
Galston, William A. 371
Garcia, José Maria Rodriguez 33
Gastil, John 425
Gehlen, Arnold 31, 35, 54, 419, 456
Gellner, Ernest 145, 211, 212
Genschel, Philipp 345
Gerring, John 177
Geuss, Raymond 89
Gibson, Rachel 398, 405
Giddens, Anthony 81, 129, 164, 166, 435, 447
Gidengil, Elisabeth 382
Gillan, Garth 297

- Gilley, Bruce 74, 254, 424
Glaeser, Edward L. 121
Glazer, Nathan 74
Gleditsch, Kristian Skrede 17, 171, 172
Goldstone, Jack A. 464
Goldthorpe, John H. 134
Goodin, Robert E. 207
Gore, Albert 400
Goss, Kristin A. 147, 389
Gouldner, Alvin W. 280, 309
Graber, Doris 155
Gradstein, Mark 120
Graetz, Michael 399
Green, Jessica F. 73
Greenberg, Bradley S. 281
Greenberg, Daniel S. 230
Grofman, Bernard 133
Grube, Norbert 255
Grundmann, Reiner 43, 164, 437
Gunn, J. A. W. 370

Н

- Haber, Stephen 183
Habermas, Jürgen 242, 345, 376, 378, 394, 401
Haggard 178, 212
Haldanes, Andrew 30
Hardin, Garrett 261
Hardin, Russell J. 50, 255, 462
Harkavy, Ira 256
Hayek, Friedrich A. 37, 39, 89, 90, 118, 132, 139, 268–270, 272
Hecht, Gabrielle 55
Heilbroner, Robert L. 261, 325
Held, David 75
Helliwell, John F. 189
Henderson, Jeffrey 320
Henning, Christoph 177
Hennis, Wilhelm 353

- Hess, David J. 449
Hill, Christopher 125
Hillebrandt, Maarten 386
Hilpinen, Risto 46
Hindman, Matthew 395
Hippel, Eric von 132
Hirschman, Albert O. 20, 142, 150, 184, 417, 448
Hobsbawm, Eric 48, 75, 115, 146, 164, 260
Holbrook, Thomas M. 281
Hollinger, David A. 231
Holton, Gerald 414, 416
Holzner, Claudio A. 388
Horkheimer, Max 157, 221, 249, 445
Hörning, Karl H. 54
Howitt, Peter 39, 40
Hoyman, Michele 329
Huber, Evelyne 203
Hug, Simon 386
Hume, David 12
Huntington, Samuel P. 72, 73, 112, 113, 119, 145, 176, 188, 197, 212, 354, 407, 408
Hupe, Peter 414
Hyman, Herbert 424

I

- Ibarra, Andoni 242
Ingen, E.J. van 150
Inglehart, Ronald 25, 144, 177, 357, 358, 359, 362, 363
Ingram, Paul 167, 170
Inkeles, Alex 188, 189, 206, 207
Innis, Harold 155, 156
Irwin, Alan 460
Iyengar, Shanto 404

J

- Jacobs, Lawrence R. 189
Jacobson, Jo 188

- Jaggers, Keit 169
James, William 59, 60
Jamison, Andrew 451
Jarvie, Ian C. 11, 229
Jasanoff, Sheila 336, 385
Jashapara, Ashok 56
Jerit, Jennifer 341
Jermier, John M. 298
Judt, Tony 14
Jung, Nakwon Yonghwan Kim 382

K

- Kahan, Dan M. 425, 438
Kalleberg, Ragnvald 234, 235
Kallen, Horace M. 248
Kämpf, Sebastian 217
Kant, Immanuel 24, 29, 300
Kaplan, Matthew 17
Karatnycky, Adrian 149
Katz, Elihu 340, 404
Kaufmann, Robert R. 179, 212, 246
Kay, John 373, 382, 441
Keane, John 72
Keating, Peter 63
Keeter, Scott 71
Kellstaft, Paul M. 371, 372
Kennedy, Duncan 36, 184, 188
Kerr, Clark 45
Keynes, John Maynard 18, 173, 180, 208
Kimmo, Elo 380
Kirchheimer, Otto 377
Kitcher, Philip 45, 418, 426–428
Klapper, Leora F. 138
Kleinman, Daniel Lee 336
Kline, F. Gerald 281
Klingemann, Hans–Dieter 111, 150
Knight, Frank H. 72, 259

- Knights, David 298
Knutsen, Carl Hendrick 177
Koch, Adrienne 103, 259
Koehane, Robert O. 167, 168
Koestner, Robert 143
Konrád, George 309
Kornhauser, William 157
Koselleck, Reinhart 30
Krohn, Wolfgang 35, 44
Kuechler, Manfred 352
Kuhn, Robert L. 13
Kuklinski, James H. 103, 340, 341, 369, 373, 378
Kulynych, Jessica 146
Kurtz, Markus J. 388
Kuznets, Simon 185, 205, 206

L

- Laird, Frank N. 336
Lake, David A. 188, 196
Lambert, Ronald D. 382, 383
Landes, David S. 189
Lane, Robert E. 135, 280
Lange, Matthew 177
Lapp, Ralph 307
Larson, Magali Sarfatti 139
Lasswell, Harold D. 70
Latour, Bruno 413
Lazarsfeld, Paul F. 102, 158, 340, 404
Leeson, Peter T. 159, 160
Leibholz, Gerhard 77, 79
Leighninger, Matt 460
Lemert, Charles C. 297
Lerner, Daniel 12, 76, 125, 126, 220, 274
Levi, Margaret 370
Levy, Frank 367, 368
Liberatore, Angela 423
Liebowitz, Stan J. 395

- Lieshout, Maartje van 428
Lijphart, Arend 153
Limongi, Fernando 189
Lindberg, Staffan I. 67
Lindblom, Charles E. 187, 193, 194
Linos, Katerina 170, 171
Linz, Juan J. 74
Lippmann, Walter 75, 196, 253, 254, 418, 423, 429
Lipset, Seymour Martin 69, 70, 104, 120, 145, 150, 152, 182, 192,
198 – 202, 211, 212, 293,
Lipsky, Michael 148
Loader, Brian D. 398, 408
Lorenz, Edward 327
Lovelock, James 267, 269
Lowe, Adolph 100
Lübbe, Herrmann 79
Luckmann, Thomas 22, 132
Luhmann, Niklas 9, 26, 31, 32, 35, 38, 40, 56, 64, 86, 101, 234,
296, 347, 422,
Lukes, Steven 51
Lundvall, Bengt-Eke 327
Lupia, Arthur 34, 371
Lusardi, Annamaria 138
Luskin, Robert C. 371
Lusoli, Wainer 398, 405
Lyotard, Jean-Franzois 28, 38

М

- Maasen, Sabine 436
Machlup, Fritz 57
MacKenzie, Donald 38
MacLeod, Roy 228
Mahdavy, Hussein 183
Maier, Hans 77
Malik, Suheil 56
Mannheim, Karl 12, 38, 284, 360, 369, 418
Mansell, Robin 393

-
- Marcuse, Herbert 242, 351
Markoff, John 76
Marlin-Bennett, Renée 398
Marsh, Robert M. 207
Marshall, Monty G. 122, 169
Marshall Thomas H. 191, 201
Marwell, Gerald 451
McCarthy, John D. 449, 452
McClurg Mueller, Carol 452
McCubbins, Mathew D. 34
McDevitt, Michael 371
McKibben, Bill 273
McLuhan, Marshall 27
McPhee, William N. 102
Mead, George H. 336
Megill, Allan 299
Meja, Volker 50, 235
Menaldo, Victor 183
Mercea, Dan 398, 406
Merton, Robert K. 12, 27, 36, 158, 224, 225, 231–236, 287, 444, 461
Metlay, Daniel S. 373
Metzger, Miriam J. 157
Meyer, John W. 151
Michael, Mike 111
Michels, Robert 286, 290–292
Miljkovic, Dragan 190
Mill, John Stuart 87, 95, 96, 116, 152, 462
Miller, Joanne M. 363
Miller, Melissa K. 371
Miller, Peter 297
Milligan, Kevin 123
Mills, C. Wright 14, 98, 141, 154, 157, 274, 385, 459
Milward, Alan S. 179
Minier, Jenny A. 178
Minogue, Kenneth 414
Mirowski, Philip 246
Mises, Ludwig 29

Mitchell, Timothy 30
Mokyr, Joel 189
Mommsen, Wolfgang 286
Montaigne, Michel de 410
Montesquieu, Charles de 416
Moore, Barrington 198
Moretti, Enrico 123
Mormann, Thomas 242
Morozov, Evgeny 396
Morris, Aldon D. 452
Moynihan, Daniel P. 308
Mullan, B. 130
Murnane, Richard J. 367, 368
Murphy, Kevin M. 368

N

Nagel, Ernest 245
Narayan, Paresh 188
Naumann, Friedrich 275, 341
Nelkin, Dorothy 411, 426, 439
Nelson, Michael A. 196
Nelson, Richard R. 457
Nemeth, Elisabeth 242
Neuendorf, Kimberly 281
Neurath, Otto 12, 78, 92, 185, 243, 244, 344, 417, 420, 462
Newman, Edward 174
Newton, Ken 370
Niethammer, Lutz 283
Nietzsche, Friedrich 100
Nisbet, Matthew C. 419
Noah, Timothy 211
Noelle-Neuman, Elisabeth 343
Nolte, Ernst 354
Nonaka, Ikujiro 29, 58, 63
Nord, Walter R. 298
Normann, Richard 56
Norrande, Barbara 133

- Norris, Andrew 73, 113, 157
Norris, Pippa 161, 188, 357
Nowotny, Helga 367
Nussbaum, Martha 136
Nye, Joseph S. Jr. 141, 357

O

- O'Neill, John 242
O'Neill, Onara 442
Ober, Josiah 25, 231
O'Donnell, Guillermo A. 144, 177, 207
Offe, Claus 354
Oliver, Pamela E. 451
Olson, Mancur 18, 111, 173, 435
Ong, Hnu-Ngoc T. 151
Oppenheim, Felix E. 91, 100
Oreopoulos, Philip 123
Orr, Shannon K. 371
Osterweil, Michal 452, 453
Oyama, Susan 64

P

- Paldam, Martin 175
Palmer, R. P. 77
Panos, Georgios A. 138
Pappas, Takis S. 388
Paras, Eric 300–304
Park, Robert E. 60
Parsons, Talcott 97–99, 210
Pateman, Carole 342
Peden, William 103
Persaud, Avinash 282
Persson, Torsten 189, 190
Pevehouse, Jon 24
Pew Research Center 398, 419
Pickett, Kate 71
Pielke, Roger A. Jr. 265, 409

- Pipes, Richard 190, 191
Pitkin, Hanna 21, 80
Plessner, Helmuth 9, 430
Plickert, Gabriele 133
Plotke, David 81
Poggi, Gianfranco 15, 284, 288, 423
Polanyi, Michael 11, 12, 56, 177, 229
Pontusson, Jonas 212
Pool, Ithiel de Sola 393
Popkin, Samuel L. 103
Popper, Karl 110, 200, 226, 432
Posner, Richard 254, 425
Pot, Wieke 428
Potter, David M. 196
Powell, Dana E. 289, 452
Pratt, Andy C. 329
Prewitt, Kenneth 80
Prins, Gwyn 273, 276, 440, 441
Prior, Markus 371
Przeworski, Adam 104, 120, 189, 196, 198, 208, 212
Puckett, John 256
Purdy, Jedediah 269
Putnam, Robert D. 16, 146, 156, 389, 404

Q

- Quirk, Paul J. 341

R

- Radder, Hans 44, 268
Ramsey, Kristopher W. 183
Ranis, Gustav 185
Rapeli, Lauri 55, 380
Ravetz, Jerome 422
Rawls, John 13, 140, 240
Rayner, Steve 348, 385, 435
Reese, Laura A. 239
Reeves, Richard 88

- Reich, Robert B. 174, 193, 388
Reisch, George A. 243
Restivo, Sal 221
Richey, Sean 340
Riesman, David 158
Rimal, Arbindra 190
Ringel, Stein 85, 185
Rittel, Horst W. J. 273, 348
Roberts, Kenneth M. 346
Robinson, James A. 177, 183, 197, 457, 458
Rodal, Berel 463
Rogers, Melvin L. 250
Rosanvallon, Pierre 16, 132, 145, 258, 265, 396, 405, 448
Rose, Nikolas 297, 358, 460
Rosenberg, Morris 337
Rosenfeld, Sophia 49
Rosenthal, Donald B. 182
Ross, Michael L. 183
Roszak, Theodore 307
Rueschemeyer, Dietrich 203
Rustow, Dankwart A. 111
Ryle, Gilbert 59

S

- Sachs, Jeffrey D. 189, 258
Salisbury, Robert H. 349
Salomon, Jean-Jacques 222
Samman, Emma 185
Sander, Thomas H. 146
Sands, Gary 329
Santerre, Charles R. 426
Sarewitz, Daniel 457
Sartori, Giovanni 24, 342
Saward, M. 24
Scheler, Max 49, 50
Schelsky, Helmut 210, 307, 308, 316, 366
Scherer, Bonnie A. 106

- Scheufele, Dietram A. 281
Schieman, Scott 133
Schienstock, Gerd 366
Schiller, Dan 62
Schirmacher, Arne 426
Schleicher, Andreas 217
Schmitter, Philippe C. 16, 144, 177
Schneider, Stephen H. 16
Schumann, Howard 71, 78
Schumpeter, Joseph A. 18, 428
Sciarini, Pascal 386
Scott, James C. 37, 443, 446, 463
Selinger, Evan M. 138
Sen, Amartya 14, 26, 35, 72, 84, 86, 87, 90, 95, 136, 137, 180,
189, 190
Senik, Claudia 178
Shaker, Lee 382
Shannon, Claude 33
Shannon, Lyle E. 201
Shapin, Steven 413
Shapiro, Ian 399, 435
Shearman, David 74, 266
Sheatsley, P. 424
Shin, Doh C. 25, 149
Shleifer, Andrei 111
Sidgwick, Henry 462
Siemens, Hayo 417
Silver, Nate 54
Simmel, Georg 137
Singh, Ram D. 196
Sirowy, Larry 188, 189, 206, 207
Skinner, Quentin 76, 424
Skocpol, Theda 145
Skolnikoff, Eugene B. 348
Slovic, Paul 425
Smith, Adam 335
Smith, Amy Erica 120

- Smith, Joseph Wayne 266, 371, 434
Smith, Patten 424
Smith, Stephen Samuel 146
Snow, Charles Percy 33, 452
Snow, Stephanie 43
Solan, Lawrence M. 419
Solt, Frederick 209, 214, 215
Soltan, Karol Edward 372
Sombart, Werner 41, 42
Somer, Murat 17
Somin, Ilya 254, 424
Soss, Joe 215, 349, 358
Sowell, Thomas 372
Soysa, Indra de 188
Squire, Lyn 216
Starbuck, William H. 57
Starr, Paul 157
Stephans, John D. 203
Stevenson, Hayley 140, 273
Stewart, Mark B. 185, 214
Stewart, Thomas A. 53
Stigler, George J. 144
Stiglitz, Joseph E. 181, 185, 195
Stoker, Laura 370
Stokes, Susan C. 171
Stolle, Dietlind 382
Stone, Lawrence 125
Strauss, Anselm L. 38
Sturgis, Patrick 371, 424
Sunstein, Cass 398, 400
Swidler, Ann 32
Szelényi, Ivan 309

T

- Tabellini, Guido 189, 190
Tarrow, Sidney 450
Taylor, Charles 41

- Taylor, Michael A. 361
Tenbruck, Friedrich H. 31, 164, 269
Termeer, Katrien 428
Tetlock, Philip E. 139
Thévenot, Laurent 40, 132
Thorpe, Charles 12, 134, 210
Tichenor, Phillip J. 281
Tilly, Charles 78, 176, 210, 450
Timmons, Jeffrey F. 216
Tocqueville de, Alexis 14, 117, 131, 154
Torfason, Magnus Thor 167–170
Torvik, Ragnar 183
Touraine, Alain 46, 80, 299, 449
Treisman, Daniel 207
Trepte, Sabine 375
Tsui, Kevin K. 184
Turner, Stephen 231, 414

U

- Uebel, Thomas E. 241, 242
Ulubasoglu, Mehmet Ali 198
Ungar, Sheldon 423
Urbinati, Nadia 80, 81, 459

V

- Van Bouwel, Jeroen 427
Van der Meer, T. W. G. 150
Verba, Sidney 73, 136, 353
Verdier, Thierry 122, 183
Verein Ernst Mach 243–245, 251
Viereck, Peter 418
Virchow, Rudolf 237
Vreese, Claes de 405

W

- Wade, Keegan W. 406
Walker, Edward T. 137

-
- Wallerstein, Immanuel 413
Ward, Janelle 405
Ward, Michael D. 17, 171, 172
Ward, Stephen 398, 405
Warren, Mark E. 80
Weaver, Warren 58
Webber, Melvin 273, 348
Weber, Max 10, 15, 18, 81, 134, 174, 178, 190-192, 199, 282-288,
293, 349, 422
Webster, Frank 48, 78, 400
Weede, Erich 217
Wehling, Peter 422
Weiler, Bernd 177
Weinberger, David 28, 397, 401
Weingart, Peter 51, 436
Wejnert, Barbara 109
Welch, Finis 368
Welzel, Christian 111, 177
Weyer, Johanes 44
White, Richard 30
Whitehead, Alfred North 37
Whitehead, Laurence 76
Wikström, Solveig 56
Wildavsky, Aaron 433
Wilkinson, Richard 71
Willett, John B. 367, 368
Williams, Raymond 77
Wilson, William J. 214
Wittgenstein, Ludwig 462
Wittman, Donald 337, 348
Wnuk-Lipinski, Edmund 145
Wolak, Jennifer 371
Wolin, Sheldon S. 75
Wright, Erik Olin 348
Wynne, Brian 434

Y

Yadav, Yogendra 74

Young, Michael 279

Z

Zald, Mayer N. 449, 452

Zangl, Bernhard 345

Zelenyi, Milan 32

Zentner, Alejandro 395

Ziblatt, Daniel 112

Zmerli, Sonja 370

Zúñiga, Homero Gil de 382

Предметный указатель

А

Автономия 81

Б

Благосостояние 177 и далее, 194 и далее, 429

Богатство 201

Бюрократия 282 и далее

В

Власть 95 и далее

Возможность демократии (Сеймур Липсет) 196 – 198

Вызревшее знание (Арнольд Гелен) 420

Г

Гипотеза о разрыве в уровне знания 281

Глобализация 388

Господство 303, 306

Границы свободы 86

Д

Движения 352, 448 и далее

Демократия 72, 145 и далее, 206 и далее

— сомнения в демократии 424 и далее

Доверие (Джозеф Ней) 357 и далее

Ж

Жизненный стандарт 388

З

Здравый смысл 222

Знание 29 и далее, 432 и далее, 446 и далее

Знание как способность к действию 42 – 44

И

Избиратели 374 и далее

Изменение климата 259

Индикаторы 182 и далее

Индустриальное общество 300 и далее

Иновация 323

Интернет 331, 365, 393

Информация 55, 62 и далее, 320 и далее

К

Класс производителей смыслов (Гельмут Шельски) 307
и далее

Коварные проблемы (Wicked problems) 273 и далее, 2348
и далее

Компетентность 29, 129, 349

Компетенции 10, 129, 349

Комплексность 308

Кондициональность 101

Коэффициент Джини 123, 209, 213 и далее

Креативный класс (Ричард Флорида) 326 и далее

М

Масс – медиа 156

Метафизические высказывания (Венский кружок) 241
и далее

Мир (Венский кружок) 244 и далее

Модель инструментальности / возможности действия 456
и далее

Н

Навыки действия 138

Наука 226 и далее 248

— доверие в науке 237

— наука и общественность 425

- политическая функция науки 220 и далее
- свобода в науке 223 и далее
- этос науки 221

Научное и повседневное знание 51 и далее, 333 и далее, 460

Научное сообщество 230 и далее

Национальное государство 162 и далее

Неправительственные (международные) организации 167
и далее, 264 и далее

Неравенство 213 и далее

Неявное знание 56

Новые медиа 156

О

Образование 103, 116 и далее

Образованные элиты 274 и далее

Общественность 327 и далее, 389

Общество вещания 392 и далее

Объективированное знание 27 и далее

П

Парадокс производительности 326

Партийная политика 292

Повышение уровня абстрактности 313

Познание 430

Политика в области знания 441

Политическая апатия 342 и далее

Политическое знание 71, 372 и далее, 382

Получение эмпирических данных 378

Постбюрократический период 289 и далее

Постдемократия 74 и далее

Постиндустриальное общество (Дэниел Белл) 60 и далее

Постматериалистические ценности 352

Потребление 174

Прагматизм 246

Практики знания 327

Практическое знание 130

Приобретение способностей 364

- Просвещение 409
Просвещенное понимание 68 и далее
Противопоставление «знания чего – либо» и знания
о чем – либо» 59

Р

- Рабы 414
Рационализация 289
Рационально действующие граждане (Энтони Доунс) 337
и далее
Революция навыков (Хайнц Ойлау) 279
Рыночные механизмы 193 и далее

С

- Свобода 86 и далее, 467
Свобода масс – медиа 159 и далее
Сетевое общество (Мануэль Кастельс) 320 и далее
Симметричность знания и власти 296 и далее
Собственность на знание 35
Соппротивление 127, 140, 356 и далее, 389, 412
Социальное действие (Карл Мангейм) 37 и далее
Социальный капитал 146
Социология 317 и далее
Специальное знание (Макс Вебер) 282 и далее
Специальное знание 256
Стратификация 209 и далее

Т

- Трехфазовая модель (Дэниел Лернер) 126

У

- Управление 389
Управляемость (Мишель Фуко) 346
Участие 406 и далее

Ф

- Формы знания (Макс Шелер) 49

Э

Эксперты 320, 436,

Элитарная демократия (Уолтер Липпман) 253

Энергия 30

Эффективность политики 336, 348

Homo politicus 337, 340

Notemigonus crysoleuca 342

sciencia est potentia (Фрэнсис Бэкон) 33 и далее

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
1. Определение понятий	24
1.1. Знание: способность к действию?	29
1.1.1. Какое знание имеется в виду и почему?	48
1.1.2. Информация и знание	52
1.1.3. Почему знание и информация должны рассматриваться как политический капитал?	67
1.2. Демократия: кто правит?	72
1.2.1. Свобода: какие свободы имеются в виду?	85
1.2.2. «Свобода от» и «свобода для»	86
1.2.3. Политические свободы	91
1.2.4. Экономические свободы	94
1.2.5. Гражданские или социальные свободы	95
1.3. Проблема власти	96
Экскурс: Сколько знаний нужно демократии и сколько они должны стоить?	102
2. Объяснения условий и устойчивости свободы	110
2.1. Знание и свободы	115
2.2. Роль формального образования (посещения школы)	119
2.3. Компетентность как социальный феномен	129
2.4. Компетентность как совокупность социальных способностей	134
2.5. Организации гражданского общества	144
2.6. Политическая культура	151
2.7. Роль СМИ	154
2.8. Национальное государство и демократия	162
2.9. Международные сети	166
3. Экономические формации обеспечивают (не) возможность свободы	173
3.1. Роль благосостояния	182
3.2. Богатство как основа демократии	196
3.3. Экономический рост и демократические страны	205
3.4. Неравенство и демократия	208
3.5. Экономическое благополучие и знание	216
4. Scientia est libertas	220
4.1. Истоки и надежды науки	226
4.2. Наука как модель для демократии	229

4.3. Научный этос и демократия	231
4.4. Совместимы ли (научное) познание и демократия?	237
4.5. Венский кружок	241
4.6. Джон Дьюи: наука и демократия	246
4.7. Липпман, Дьюи и демократическая форма правления	253
Экскурс: Неудобная демократия: научные знания и изменение климата	258
4.8. Границы свободы науки	273
5. Знание власть имущих	276
5.1. Господство на основе знания	282
5.2. «Железный закон» олигархии	290
5.3. Симметрия власти и знания	296
5.4. Новые классы знания	306
5.4.1. Производители смыслов	307
5.4.2. Производители информации	320
5.4.3. Креативный класс	326
5.4.4. Глобальный класс	330
6. Знание слабых	335
6.1. Политика в обществе знания	344
6.2. Возможность управления обществами знания	353
6.3. Политическое знание	370
6.4. Новая общественность	384
6.5. Мягкая власть и демократия	392
6.6. Демократия и научные знания	406
6.7. Научные познания и здравый смысл	410
6.8. Пропасть между обыденным знанием и наукой	419
6.9. Что можно сделать?	425
6.10. Современные общества и стратификация знания	429
6.11. Новые риски знания	430
6.12. Хрупкость экспертизы	436
6.13. Знание как оружие «слабых»	443
6.14. Совместимы ли демократия и знание как собственность?	454
6.15. Знания, наделяющие способностью?	456
6.16. Реалистичная точка зрения	459
Знание / Демократия Заключительное слово	465
Библиография	469
Именной указатель	543
Предметный указатель	565

Штер Нико

Информация, власть и знание

Главный редактор издательства

Игорь Александрович Савкин

Дизайн обложки *И.Н. Граве*

Оригинал-макет *Е.А. Виноградова*

Корректор *С.А. Семенов*



ИД № 04372 от 26.03.2001 г.

Издательство «Алетейя»

Заказ книг: тел. +7 (921) 951-98-99,

e-mail: fempro@yandex.ru, Савкина Татьяна Михайловна
192029, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 86 А, оф. 536, 532

Редакция: тел. (812) 577-48-72, e-mail: aletheia92@mail.ru,
191015, г. Санкт-Петербург, ул. 9-ая Советская, д. 4, офис 304

www.aletheia.spb.ru

*Книги издательства «Алетейя» можно приобрести
в Москве:*

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru

Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83

«Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. Тел. (495) 915-27-97

«Фаланстер», М. Гнезниковский пер., 12/27. Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21

«Циолковский», ул. Б. Молчановка, 18. Тел. (495) 691-51-16

Книжная лавка «У Кентавра». Миусская площадь, д. 6, корп. 6

Тел. (495) 250-65-46, +7-901-729-43-40, kentavr@kpole.ru

в Киеве:

«Книжный бум». Тел. +38 067 273-50-10, gron1111@mail.ru

в Минске:

«Экономпресс», ул. Толбухина, 11. Тел. +37 529 685-70-44, shop@literature.by

в Варшаве:

«Centrum Nauczania Języka Rosyjskiego»,

ul. Ptasia 4. Тел. +48 (22) 826-17-36, szkola@jezykrosyjski.com.pl

в Риге:

«Intelektuāla grāmata»

Rīga, Kr. Barona iela 45/47. Тел. +371 67315727, info@merion.lv

Интернет-магазин: www.ozon.ru

Формат 60х88 1/16. Усл. печ. л. 35,8. Печать офсетная.

Тираж 500 экз.

Заказ №